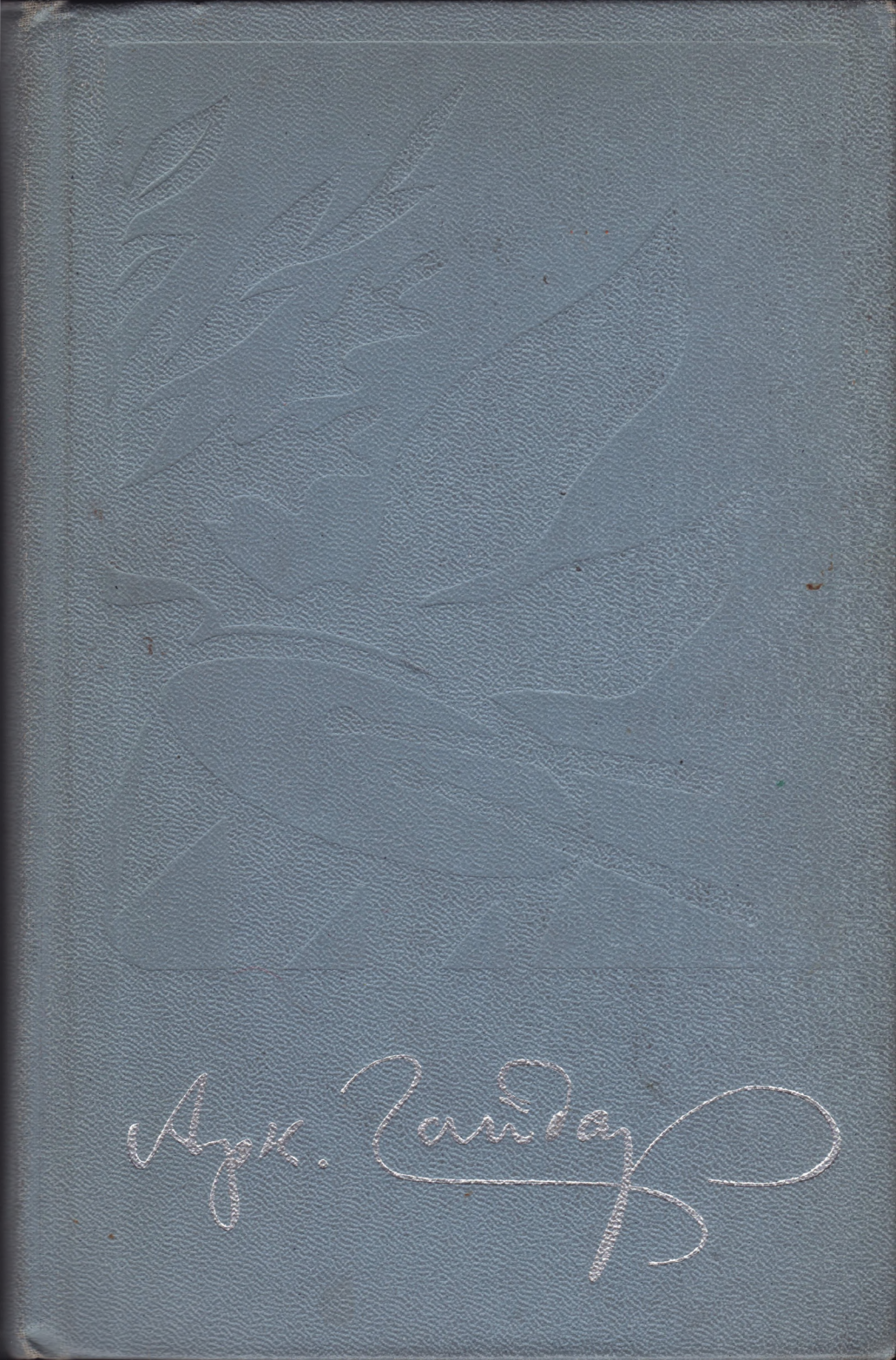






Арк. Гайдар



АРКАДИЙ ГАЙДАР



собрание
сочинений
в четырех
томах



МОСКВА • 1981

АРКАДИЙ ГАЙДАР

★

том второй



«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Р2
Г14

Редакционная коллегия

А. Л. БАРТО, Н. В. БОГДАНОВ, А. А. ВИНОГРАДОВ,
Т. А. ГАЙДАР Т. А. КУЦЕНКО

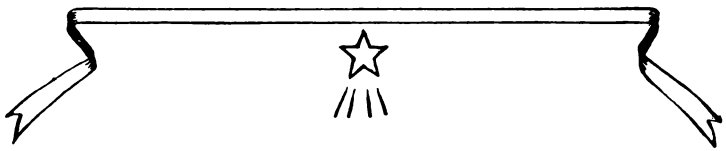
Составление, подготовка текста
и комментарии
БОРИСА КАМОВА

Оформление Е. АНДРЕЕВОЙ

Рисунки А. ВЕРКАУ

Г $\frac{70803-518}{М101(03)80}$ Подп. изд.

© Состав. Комментарии. Оформление. Иллюстрации.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1980 г



АВТОБИОГРАФИЯ

(1937 г.)

В августе 1914 года, когда мне стукнуло десять лет, отца взяли в солдаты и послали на германский фронт.

Забежал он из казармы прощаться. Бритая голова, серая папаха, тяжелые, кованные железом, сапоги.

Не узнала его наша рыжая собачонка Каштанка, зарычала, залаяла. Самая младшая сестренка, Катюшка, так до конца и не поняла, в чем дело. Всё таращила глаза, за шинель трогала, за погоны тянула и смеялась:

— Солдат папа! Папа солдат!

Когда пришла минута прощанья — все заплакали. Поняла Катюшка, что дело не до смеха, и подняла такой рев, как будто бы ее кипятком ошпарили.

Я крепился.

За окном трещали барабаны, гремела военная музыка, и с маршевой ротой ушел на вокзал мой отец.

Помню — вечерело. Крепко пахло на вокзале нефтью, карболкой и антоновскими яблоками, которых уродилась в тот год неисчислимая сила.

И как раз помню, когда уже отошел поезд, остановился я на мостике через овраг.

Удивительным цветом горело в тот вечер небо.

Меж стремительных, но тяжело-угрюмых туч над горизонтом блистали величаво-багровые зарева. И казалось, что где-то там, куда скрылся эшелон, за деревней Морозовкой, загоралась иная жизнь. Уже отцеловались, отплакались, звякнули, загудели, тронулись и поехали. «Прощайте, солдаты, прощайте!» Уезжали под плач, с громом, свистом и с песнями. С чем-то назад вернетесь?

И они вернулись назад через четыре года.

Те, кто не были искалечены, отравлены, засыпаны землей и убиты на полях Галиции, на Карпатах, под Трапезундом и под Ригой,— те вернулись назад на помощь рабочим Москвы и Петрограда, которые уже бились на баррикадах за лучшую долю, за счастье, за братство народов, за советскую власть.

Мне было всего четырнадцать лет, когда я ушел в Красную Армию. Но я был высокий, широкоплечий и, конечно, соврал, что мне уже шестнадцать.

Я был на фронтах: петлюровском, польском, кавказском, внутреннем, на антоновщине и, наконец, близ границы Монголии. Что я видел, где мы наступали, где отступали, скоро всего не перескажешь. Но самое главное, что я запомнил,— это то, с каким бешеным упорством, с какой ненавистью к врагу, безграничной и беспредельной, сражалась Красная Армия одна против всего белогвардейского мира.

Под Киевом, возле Боярки, умирал и бредил мой друг, курсант Яша Оксюз. Уже розоватая пена дымилась на его запекшихся губах, и он говорил уже что-то не совсем складное и для других непонятное.

«Если бы,— бормотал он,— на заре переменить позицию. Да краем по Днепру, да прямо за Волгу. А там письмо бросьте. Бомбы бросайте осторожнее! И никогда, никогда... Вот и все! Нет... не все. Нет — все, товарищи!»

И что бы он там ни бормотал, лежа меж истоптанных огуречных и морковных грядок, мотал головой, щептал, хмурил брови, я знал и понимал, что он хочет и торопится сказать,— чтобы били мы белых и сегодня, и завтра, и до самой смерти, проверяли на заре полевые караулы, что Петлюра убежит с Днепра*[1], что Колчака прогнали уже

[1] Объяснение слов, отмеченных звездочкой, см. в комментариях в конце книги.

за Волгу*, что наш часовой не вовремя бросил бомбу, и от этого нехорошо так сегодня получилось, что письмо к жене-девчонке у него лежит, да я и сам его вижу — торчит из кармана потертого защитного френча. И в том письме, конечно, все те же ей слова: прощай, мол, помни! Но нет силы, которая сломала бы советскую власть ни сегодня, ни завтра. И это все.

Кто знает под Киевом, где-то возле Боярки, деревеньку Кожуховку? Какие-то, интересно, там сейчас и как называются колхозы? «Заря революции», «Октябрь», «Пламя», «Вперед», «Победа» или просто какой-нибудь тихий и скромный «Рассвет»,— вот там и схоронили мы Яшу. А потом хоронили еще и десять, и двадцать, и сто, и тысячу. Но Советская власть жила, живет, и никто с ней, товарищи, ничего не сделает.

В Красной Армии я пробыл шесть лет. Пятнадцати лет я окончил Киевские командные курсы и тут же, в августе 1919 года, был назначен командиром шестой роты второго полка бригады курсантов.

Потом я был командиром батальона, командиром сводного отряда, командиром 23-го полка в Воронеже и, наконец, командиром 58-го отдельного полка по борьбе с бандитизмом.

Я был тогда очень молод, командовал, конечно, не как Чапаев. И то у меня не так, и это не эдак. Иной раз, бывало, закрутишься, посмотришь в окошко и подумаешь: а хорошо бы отстегнуть саблю, сдать маузер и пойти с ребятишками играть в лапту!

Частенько я оступался, срывался, бывало даже своевольничал, и тогда меня жестоко за это свои же обрывали и одергивали, но все это пошло мне только на пользу.

Я любил Красную Армию и думал остаться в ней на всю жизнь. Но в 23-м году из-за старой контузии в правую половину головы я вдруг крепко заболел*. Все что-то шумело в висках, гудело, и губы неприятно дергались. Долго меня лечили, и наконец в апреле 1924 года, как раз когда мне исполнилось двадцать лет, я был зачислен по должности командира полка — в запас*.

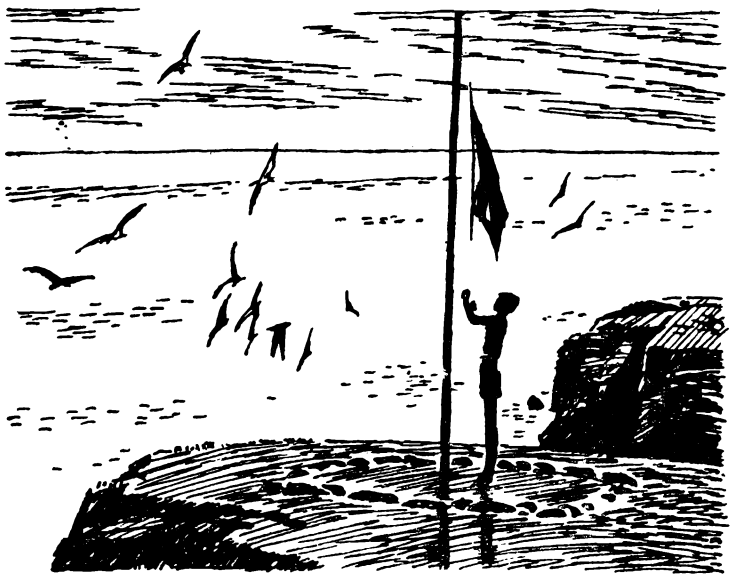
С тех пор я стал писать. Вероятно, потому, что в армии я был еще мальчишкой, мне захотелось рассказать новым мальчишкам и девчонкам — какая она была, жизнь? Как оно все начиналось да как продолжалось, потому что повидать я успел все же немало.

Какие книги я написал — вы знаете. Если выкинуть первые, совсем еще слабые, то останутся: «Р.В.С.», «Школа», «Дальние страны», «Четвертый блиндаж», «Военная тайна» и «Голубая чашка».

Сейчас я заканчиваю повесть «Судьба барабанщика». Эта книга не о войне, но о делах суровых и опасных — не меньше, чем сама война.

1937 г.





ВОЕННАЯ ТАЙНА

Из-за какой-то беды поезд два часа простоял на полустанке и пришел в Москву только в три с половиной. Это огорчило Натку Шегалову, потому что севастопольский скорый уходил ровно в пять, и у нее не оставалось времени, чтобы зайти к дяде.

Тогда по автомату, через коммутатор штаба корпуса, она попросила кабинет начальника — Шегалова.

— Дядя,— крикнула опечаленная Натка,— я в Москве!.. Ну да: я, Натка. Дядя, поезд уходит в пять, и мне очень, очень жаль, что я так и не смогу тебя увидеть.

В ответ, очевидно, Натку выругали, потому что она быстро затараторила свои оправдания. Но потом сказали

ей что-то такое, отчего она сразу обрадовалась и заулыбалась.

Выбравшись из телефонной будки, комсомолка Натка поправила синюю косынку и вскинула на плечи не очень-то тугой походный мешок.

Ждать ей пришлось недолго. Вскоре рявкнул гудок, у подъезда вокзала остановилась машина, и крепкий старик с орденом распахнул перед Наткой дверцу.

— И что за горячка? — выбранил он Натку.— Ну, поехала бы завтра. А то «дядя», «жалко»... «поезд в пять часов»...

— Дядя,— виновато и весело заговорила Натка,— хорошо тебе — «завтра». А я и так на трое суток опоздала. То в горкоме сказали: «завтра», то вдруг мать попросила: «завтра». А тут еще поезд на два часа... Ты уже много раз был в Крыму да на Кавказе. Ты и на бронепоезде ездил и на аэроплане летал. Я однажды твой портрет видела. Ты стоишь, да Буденный, да еще какие-то начальники. А я нигде, ни на чем, никуда и ни разу. Тебе сколько лет? Уже больше пятидесяти, а мне восемнадцать. А ты — «завтра» да «завтра»...

— Ой, Натка! — почти испуганно ответил Шегалов, сбитый ее бестолковым, шумным натиском.— Ой, Натка, и до чего же ты на мою Маруську похожа!

— А ты постарел, дядя,— продолжала Натка.— Я тебя еще знаешь каким помню? В черной папахе. Сбоку у тебя длинная блестящая сабля. Шпоры: грох, грох. Ты откуда к нам приезжал? У тебя рука была прострелена. Вот однажды ты лег спать, а я и еще одна девчонка — Верка — потихоньку вытащили твою саблю, спрятались за печку и рассматриваем. А мать увидала нас да хворостиной. Мы — реветь. Ты проснулся и спрашиваешь у матери: «Отчего это, Даша, девчонки ревут?» — «Да они, проклятые, твою саблю вытащили. Того гляди, сломают». А ты засмеялся: «Эх, Даша, плохая бы у меня была сабля, если бы ее такие девчонки сломать могли. Не трогай их, пусть смотрят». Ты помнишь это, дядя?

— Нет, не помню, Натка,— улыбнулся Шегалов.— Давно это было. Еще в девятнадцатом. Я тогда из-под Бессарабии приезжал.

Машина медленно продвигалась по Мясницкой*. Был час, когда люди возвращались с работы. Неумолчно гремели грузовики и трамваи. Но все это нравилось Натке —

и людской поток, и пыльные желтые автобусы, и звенящие трамваи, которые то сходились, то разбегались своими путаными дорогами к каким-то далеким и неизвестным ей окраинам: к Дангауэровке, к Дорогомиловке, к Сокольникам, к Тюфелевой и Марьиной рощам и еще и еще куда-то.

И, когда, свернув с тесной Мясницкой к Земляному валу, шофер увеличил скорость так, что машина с легким, упругим жужжанием понеслась по асфальтовой мостовой, широкой и серой, как туго растянутое суконное одеяло, Натка сдернула синий платок, чтобы ветер сильней бил в лицо и трепал, как хочет, черные волосы.

В ожидании поезда они расположились на тенистой террасе вокзального буфета. Отсюда были видны железнодорожные пути, яркие семафоры и крутые асфальтовые платформы, по которым спешили люди на дачные поезда.

Здесь Шегалов заказал два обеда, бутылку пива и мороженое.

— Дядя,— задумчиво сказала Натка,— три года тому назад я говорила тебе, что хочу быть летчиком или капитаном морского парохода. А вот случилось так, что послали меня сначала в совпартшколу,— учись, говорят, в совпартшколе,— а теперь послали на пионерработу: иди, говорят, и работай.

Натка отодвинула тарелку, взяла блюдечко с розовым, быстро тающим мороженым и посмотрела на Шегалова так, как будто она ожидала ответа на заданный вопрос.

Но Шегалов выпил стакан пива, вытер ладонью жесткие усы и ждал, что скажет она дальше.

— И послали на пионерработу,— упрямо повторила Натка.— Летчики летят своими путями. Пароходы плывут своими морями. Верка — это та самая, с которой мы вытащили твою саблю,— через два года будет инженером. А я сижу на пионерработе и не знаю — почему.

— Ты не любишь свою работу? — осторожно спросил Шегалов.— Не любишь или не справляешься?

— Не люблю,— созналась Натка.— Я и сама, дядя, знаю, что нужная и важная... Все это я знаю сама. Но мне кажется, что я не на своем месте. Не понимаешь? Ну вот, например: когда грянула гражданская война, взяли бы тогда тебе и сказали: не трогайте, Шегалов,

винтовку, оставьте саблю и поезжайте в такую-то школу и учите там ребят грамматике и арифметике. Ты бы что?

— Из меня грамматик плохой бы тогда вышел,— насторожившись, отшутился Шегалов. Он помолчал, вспомнил и, улыбнувшись, сказал: — А вот однажды сняли меня с отряда, отозвали с фронта. И целые три месяца, в самую горячку, считал я вагоны с овсом и сеном, отправлял мешки с мукой, грузил бочонки с капустой. И отряд мой давно уже разбили. И вперед наши давно уже прорвались. И назад наших давно уже шарахнули. А я все хожу, считаю, вешаю, отправляю, чтобы точнее, чтобы больше, чтобы лучше. Это как, по-твоему?

Шегалов глянул в лицо нахмурившейся Натки и добродушно переспросил:

— Ты не справляешься? Так давай, дочка, подучись, подтянись. Я и сам раньше кислую капусту только в солдатских щах ложкой хлебал. А потом пошла и капуста вагонами, и табак, и селедка. Два эшелона полудохлой скотины — и те сберег, выкормил, выправил. Приехали с фронта из шестнадцатой армии приемщики. Глядят — скотина ровная, гладкая. «Господи,— говорят,— да неужели же это нам такое привалило? А у нас полки на одной картошке сидят, усталые, отощалые». Помню, один неспокойный комиссар так и норовит, так и норовит со мною поцеловаться.

Тут Шегалов остановился и серьезно посмотрел на Натку.

— Целоваться я, конечно, не стал: характер не позволяет. Ешьте, говорю, товарищи, на доброе здоровье. Да... Ну вот. О чем это я? Так ты не робей, Натка, тогда все, как надо, будет.— И, глядя мимо рассерженной Натки, Шегалов неторопливо поздоровался с проходившим мимо командиром.

Натка недоверчиво глянула на Шегалова. Что он: не понял или нарочно?

— Как не справляюсь? — с негодованием спросила она.— Кто тебе сказал? Это ты сам выдумал. Вот кто!

И, покрасневшая, уязвленная, она бросила ему целый десяток доказательств того, что она справляется. И справляется неплохо, справляется хорошо. И что на конкурсе на лучшую подготовку к летним лагерям они взяли по краю первое место. И что за это она получила вот

эту самую путевку на отдых в лучший пионерский лагерь, в Крым.

— Эх, Натка! — пристыдил ее Шегалов.— Тебе бы радоваться, а ты... И посмотрю я на тебя... ну, до чего же ты, Натка, на мою Маруську похожа!.. Тоже была летчик! — с грустной улыбкой докончил он и, звякнув шпорами, встал со стула, потому что ударил звонок и рупоры громко закричали о том, что на севастопольский № 2 посадка.

Через тоннель они вышли на платформу.

— Поедешь назад — телеграфируй,— говорил ей на прощание Шегалов.— Будет время — приеду встречать, нет — так кого-нибудь пришлю. Погостишь два-три дня. Посмотришь Шурку. Ты ее теперь не узнаешь. Ну, до свиданья!

Он любил Натку, потому что крепко она напоминала ему старшую дочь, погибшую на фронте в те дни, когда он носился со своим отрядом по границам пылающей Бессарабии.

Утром Натка пошла в вагон-ресторан. Там было пусто. Сидел рыжий иностранец и читал газету; двое военных играли в шахматы.

Натка попросила себе вареных яиц и чаю. Ожидая, пока чай остынет, она вынула из-за цветка позабытый кем-то журнал. Журнал оказался прошлогодним.

«Ну да... все старое: «Расстрел рабочей демонстрации в Австрии», «Забастовка марсельских докеров».— Она перевернула страничку и прищурилась.— И вот это.... Это тоже уже прошлое». Перед ней лежала фотография, обведенная черной траурной каемкой: это была румынская, вернее, молдавская еврейка-комсомолка Марица Маргулис. Присужденная к пяти годам каторги, она бежала, но через год была вновь схвачена и убита в суровых башнях кишиневской тюрьмы.

Смуглое лицо с мягкими, не очень правильными чертами. Густые, немного растрепанные косы и глядящие в упор яркие, спокойные глаза.

Вот такой, вероятно, и стояла она; так, вероятно, и глядела она, когда привели ее для первого допроса к блестящим жандармским офицерам или следователям беспощадной сигуранцы.

...Марица Маргулис.

Натка закрыла журнал и положила его на прежнее место.

Погода менялась. Дул ветер, и с горизонта надвигались стремительные, тяжелые облака. Натка долго смотрела, как они сходятся, чернеют, потом движутся вместе и в то же время как бы скользят одно сквозь другое, упрямо собираясь в грозовые тучи.

Близилась непогода, и официанты поспешно задвигали тяжелые запылившиеся окна.

Поезд круто затормозил перед небольшой станцией. В вагон вошли еще двое: высокий, сероглазый, с крестообразным шрамом ниже левого виска, а с ним шестилетний белокурый мальчуган, но с глазами темными и веселыми.

— Сюда,— сказал мальчуган, указывая на свободный столик.

Он проворно взобрался на стул и, стоя на коленях, подвинул к себе стеклянную вазу.

— Папа...— попросил он, указывая пальцем на большое красное яблоко.

— Хорошо, но потом,— ответил отец.

— Ладно, потом,— согласился мальчуган и, взяв яблоко, положил его рядом с тарелкой.

Человек достал папиросу.

— Алька,— попросил он,— я забыл спички. Пойди принеси.

— Где? — спросил мальчуган и быстро соскочил со стула.

— В купе, на столике, а если нет на столике, то в кармане в пальто.

— То в кармане в пальто,— повторил мальчуган и направился к открытой двери вагона.

Человек в сером френче открыл газету, а Натка, которая с любопытством слушала весь этот короткий разговор, посмотрела на него искоса и неодобрительно.

Но вот за окном, подавая сигнал к отправлению, засвистел кондуктор. Человек во френче отложил газету и быстро вышел. Вернулись они уже вдвоем.

— Ты зачем приходил? Я бы и сам принес,— спросил мальчуган, опять забираясь коленями на сиденье стула.

— Я это знаю,— ответил отец.— Но я вспомнил, что позабыл другую газету.

Поезд ускорил ход. С грохотом пролетел он через мост, и Натка загляделась на реку, на луга, по которым хлестал грозовой ливень. И вдруг Натка заметила, что мальчуган, спрашивая о чем-то отца, указывает рукой в ее сторону. Отец, не оборачиваясь, кивнул головой.

Мальчуган, придерживаясь за спинки стульев, направился к ней и приветливо улыбнулся.

— Это моя книжка,— сказал он, указывая на торчавший из-за цветка журнал.

— Почему твоя? — спросила Натка.

— Потому что это я забыл. Ну, утром забыл,— объяснил он, подозревая, что Натка не хочет отдать ему книжку.

— Что же, возьми, если твоя,— ответила Натка, заметив, как заблестели его глаза и быстро сдвинулись едва заметные брови.— Тебя как зовут?

— Алька,— отчетливо произнес он и, схватив журнал, убежал к своему месту.

Еще раз Натка увидала их уже тогда, когда она сошла в Симферополе. Алька смотрел в распахнутое окно и что-то говорил отцу, указывая рукой на голубые вершины уже недалеких гор.

Поезд умчался дальше на Севастополь, а Натка, вскинув сумку, зашагала в город, чтобы сегодня же с первой автомашиной уехать на берег этого совсем незнакомого ей моря.

В синих шароварах и майке, с полотенцем в руках, извилистыми тропками спускалась Натка Шегалова к пляжу. Когда она вышла на платановую аллею, то встретила поднимающихся в гору ребят-новичков. Они шли с узелками, баульчиками и корзинками, веселые, запыленные и усталые. Они держали наспех подобранные круглые камешки и хрупкие раковины. Многие из них уже успели набить рты кислым придорожным виноградом.

— Здоро́во, ребята! Откуда? — спросила Натка, поравнявшись с этой шумной ватагой.

— Ленинградцы!.. Мурманцы!.. — охотно закричали ей в ответ.

— Машиной,— спросила Натка,— или с парохода?

— С парохода, с парохода! — точно обрадовавшись хорошему слову, дружно загалдели только что приплывшие ребята.

— Ну, идите, да идите не по аллее, а сверните влево, вверх по тропке,— тут ближе.

Когда Натка уже спустилась на горячие камни, к самому берегу, то увидела, что по дороге из Ялты во весь дух катит на велосипеде старший вожатый пионерского лагеря Алеша Николаев.

— Натка,— соскакивая с велосипеда, закричал он сверху,— уральцы приехали?

— Не видала, Алеша. Ленинградцев сейчас встретила да утром человек десять каких-то. Кажется, опять украинцы.

— Ну, значит, еще не приехали... Натка,— закричал он опять, вскакивая в седло велосипеда,— выкупаешься, зайди ко мне или к Федору Михайловичу. Есть важное дело.

— Какое еще дело? — удивилась Натка, но Алеша махнул рукой и умчался под гору.

Море было тихое: вода светлая и теплая.

После всегда холодной и быстрой реки, в которой привыкла Натка купаться еще с детства, плыть по соленым спокойным волнам показалось ей до смешного легко. Она заплыла далеко. И теперь отсюда, с моря, эти кипарисовые парки, зеленые виноградники, кривые тропинки и широкие аллеи — весь этот лагерь, раскинувшийся у склона могучей горы, показался ей светлым и прекрасным.

На обратном пути она вспомнила, что ее просил зайти Алеша. «Какие у него ко мне дела, да еще важные?» — подумала Натка и, свернув на крутую тропку, раздвигая ветви, направилась в ту сторону, где стоял штаб лагеря.

Вскоре она очутилась на полянке, возле низенькой будки с водопроводным краном. Ей захотелось пить. Вода была теплая и невкусная. Недавно неожиданно обмелел пополнявшийся горными ключами бассейн. В лагере встревожились, бросились разыскивать новые источники и наконец нашли небольшое чистое озеро, которое лежало в горах. Но работы подвигались что-то очень медленно.

Алешу Николаева Натка не застала. Ей сказали, что он только что ушел в гараж. Оказывается, у уральцев в двенадцати километрах от лагеря сломалась машина, и они прислали гонцов просить о помощи.

Гонцы — это Толька Шестаков и Владик Дашевский — сидели тут же на скамейке, раскрасневшиеся и гордые.

Однако гордость эта не помешала Тольке набить на дороге карманы яблоками, а Владику — запустить огрызком в спину какому-то толстому, неповоротливому мальчугану.

Мальчуган этот долго и сердито ворочался и все никак не мог понять, от кого ему попало, потому что Толька и Владик, оба, сидели невозмутимые и спокойные.

— Ты откуда? Вас сколько приехало? — спросила Натка у неповоротливого и недогадливого паренька.

— Из-под Тамбова. Один я приехал,— басистым и застенчивым голосом ответил мальчуган.— Из колхоза я. Меня в премию послали.

— Как — в премию? — не совсем поняла Натка.

— Баранкин мое фамилие. Семен Михайлов Баранкин,— охотно объяснил мальчуган.— А послали меня в премию за то, что я завод придумал.

— Какой завод?

— Походный, фильтровальный,— серьезно ответил Баранкин, и, недоверчиво посмотрев в ту сторону, где сидели смирные и лукавые гонцы, он добавил сердито: — И кто это в спину кидается? Тут и так вспотел, а еще кидаются.

Натка не успела расспросить Баранкина подробнее, потому что с крыльца ее окликнул высокий старик. Это и был начальник лагеря, Федор Михайлович.

— Заходи,— сказал он, пропуская Натку в комнату.— Садись. Вот что, Ната,— начал он таким ласковым голосом, что Натка сразу встревожилась,— в верхнем санаторном отряде заболел вожатый Корчаганов, а помощница его Нина Карашвили порезала ногу о камень. Ну конечно, нарыв. А у нас, сама видишь, сейчас приемка, горячка; хорошо, ты так кстати подвернулась.

— Но я ничего не понимаю ни в приемке, ни в горячке,— испугалась Натка.— Я и сама тут, Федор Михайлович, третий день.

— Да тебе и понимать ничего не надо,— взмахнул длинными, костлявыми руками напористый старик.— Там есть и фельдшерица и сестры. Они сами примут. А твое дело что? Ты будешь вожатым. Ну, разобьешь по звеньям,

наметишь звеньевых, выберете совет отряда. Да что тебе объяснять? Была же ты вожатым!

— Два года,— сердито ответила Натка.— А долго ли, Федор Михайлович, этот Корчаганов болеть будет? Он, может быть, еще недели две пролежит?

— Что ты, что ты! — отмахиваясь руками и качая головой, заговорил начальник.— Ну, пять, шесть дней. А там снова гуляй сколько хочешь. Вот и хорошо, что быстро договорились. Я люблю, чтоб быстро. Ну, а теперь иди, иди. А то Нина одна совсем запуталась.

— Да сколько хоть человек в этом отряде? — унылым голосом спросила Натка.

— Там узнаешь, иди, иди,— повторил старик, поднимаясь со скрипучего камышового стула. И, широко шагая к выходу, он добавил: — Вот и хорошо. Очень хорошо, что быстро договорились.

...Всех отрядов в лагере было пять. Три дня в верхнем санаторном, куда неожиданно попала вожатой Натка, бушевала неуемная суета.

Только что прибыла последняя партия — средневолжцы и нижегородцы.

Девчата уже вымылись и разбежались по палатам, а мальчики, грязные и запыленные, нетерпеливо толпились у дверей ванной комнаты.

В ванную они заходили партиями по шесть человек. Дорвавшись до воды, они визжали, барахтались, плескались и затыкали пальцами краны так, что вода била брызгами в широко распахнутое окно, из-под которого уже несколько раз доносился строгий голос копавшегося в цветочных грядках чернорабочего Гейки.

— Будет, будет вам баловаться! — хриплым басом кричал в окно босой длиннобородый Гейка.— Вот погодите, сорву крапиву да через окно крапивой. И что за баловная нация!..

Несколько раз забегал в ванную дежурный по отряду, веснушчатый пионер Иоська Розенцвейг, и, отчаянно картавя, кричал:

— Что за безобразие? Прекратите это безобразие!

И новенькие ребята, которые еще не знали, что сам-то Иоська всего только третий день в лагере, а озорник он еще больший, чем многие из них, затихали. Под грозные Иоськины окрики они смущенно выскакивали из воды и, кое-как вытершись, натягивали трусы.

Выбегали они из ванной стайками. Чистые, в синих трусах, в серых рубахах с резинкой, и, еще не успев подвязать красные галстуки, наперегонки неслись занять очередь к парикмахеру.

— Иоська! — окликнула Натка.— Вот что, дежурный. Всех, кто от парикмахера, направляй к фельдшеру — оспу прививать... А то как по площадке гоняться, то все тут, а как оспу прививать, то никого нет. Ну-ка, быстренько!

— Оспу! — выбегая на площадку, грозно кричал маленький и большеголовый Иоська.— Кто не прививал, вылетай живо!

— Нина! — окликнула Натка, увидав на террасе свою незадачливую помощницу, которая тихонько переступала, опираясь на бамбуковую палку.— Ты зачем ходишь? Ты сиди. Сколько у нас октябрят, Нина?

— Октябрят у нас десять человек, как раз звено. К ним звеньевым надо Розу Ковалеву. А как с черкесом Ингуловым? Он, Натка, ни слова по-русски.

— Ингулова, Нина, надо в то же звено, в котором казачонок-кубанец.

— Лыбатько?

— Ну да, Лыбатько. Он немного говорит по-черкесски. А башкирку Эмине оставь пока у октябрят. Они хорошо друг друга понимают и без языка. Вот она как носится!

Из-за угла стремительно вылетел дежурный Иоська.

— Время к ужину! — запыхавшись, крикнул он, отдуваясь и подпрыгивая, как будто кто-то поймал его арканом за ногу.

— Подавай сигнал,— ответила Натка,— сейчас я приду.

«Надо Иоську в звеньевые выделить,— подумала Натка.— Маленький, смешной, а проворный парень».

В половине девятого умывались, чистили зубы. С целой пачкой градусников приходила заступившая на ночь дежурная сестра, и Натка отправлялась с коротким рапортом о делах минувшего дня к старшему вожатому всего лагеря. После этого она была свободна.

Вечер был жаркий, лунный, и с волейбольной площадки, где играли комсомольцы, долго раздавались крики, удары мяча и короткие судейские свистки.

Но Натка не пошла к площадке, а, поднявшись в го-

ру, свернула по тропинке, к подножию одинокого утеса.

Незаметно зашла она далеко, устала и села на каменную глыбу под стволом раскидистого дуба.

Под обрывом чернело спокойное море. Где-то тарахтела моторная лодка. Тут только Натка разглядела, что почти рядом с ней, под тенью кипарисов, притаившись у обрыва, под скалой, без света в окнах, стоит маленький, точно игрушечный, домик.

Чьи-то шаги послышались из-за поворота, и Натка подвинулась глубже в черную тень листвы, чтобы ее не заметили. Вышли двое. Луна осветила их лица. Но даже в самую черную ночь Натка узнала бы их по голосам. Это был тот высокий, белокурый, во френче, а рядом с ним, держась за руку, шагал маленький Алька.

Перед тем как подойти к дереву, в тени которого пряталась Натка, они, по-видимому, о чем-то поспорили и несколько шагов прошли молча.

— А как по-твоему,— останавливаясь, спросил высокий,— стоит ли нам, Алька, из-за таких пустяков ссориться?

— Не стоит,— согласился мальчуган и добавил сердито: — Папка, папка, ты бы меня хоть на руки взял. А то мы все идем да идем, а дома все нет и нет.

— Как нет? Вот мы и пришли! Ну, смотри — вот дом, а вот я уже и ключ вынул.

Они свернули к крыльцу, и вскоре в крайнем окошке, выходящем на море, вспыхнул свет.

«Они через Севастополь приехали,— догадалась Натка.— Что же они здесь делают?»

В комнате у дежурной сестры Натке сказали, что Толька Шестаков, подкравшись на четвереньках в палату к девчонкам, тихонько схватил башкирку Эмине за пятку, отчего эта башкирка ужасно заорала, да рыжеволосая толстушка Вострецова долго хохотала и мешала девчатам спать. А в общем, улеглись спокойно. Это порадовало Натку, и она пошла за угол в свою комнатку, которая была здесь же, рядом с палатами.

Ночь была душная. Ночью в море что-то гремело, но спала Натка крепко и к рассвету увидела хороший сон.

Проснулась Натка около семи. Завернувшись в простыню, она пошла под душ. Потом босиком вышла на широкую террасу.

Далеко в море дымили уходящие к горизонту военные корабли. Отовсюду из-под густой непросохшей зелени доносилось звонкое щебетание. Неподалеку от террасы чернорабочий Гейка колол дрова.

— Хорошо! — негромко крикнула Натка и рассмеялась, услыхав откуда-то из-под скалы такой же, как ее, вскрик — веселое чистое эхо.

— Натка... ты что? — услышала она позади себя удивленный голос.

— Корабли, Нина...— не переставая улыбаться, ответила Натка, указывая рукой на далекий сверкающий горизонт.

— А ты слышала, Натка, как сегодня ночью они в море бахали? Я проснулась и слышу: у-ух! у-ух! Встала и пошла к палатам. Ничего, все спят. Один Владик Дашевский проснулся. Я ему говорю: «Спи». Он лег. Я — из палаты. А он шарах на террасу. Забрался на перила, ухватился руками за столб, и не оторвешь его. А в море огни, взрывы, прожекторы. Мне и самой-то интересно. Я ему говорю: «Иди, Владик, спать». И просила, и ругала, и обещала на линейке вызвать. А он стоит, молчит, ухватился за столб и как каменный. Неужели ты ничего не слыхала?

— Нина,— помолчав, спросила Натка,— ты не встреча́ла здесь таких двоих?.. Один высокий, в сапогах и в сером френче, а с ним маленький, белокурый, темноглазый мальчуган.

— В сером френче...— повторила Нина.— Нет, Натка, в сером френче с мальчуганом не встречала. А кто это?

— Я и сама не знаю. Такой забавный мальчуган.

— Видела я человека во френче,— не сразу вспомнила Нина.— Только тот был без мальчугана и ехал верхом по тропке в горы. Конь у него был высокий, худой, а сапоги грязные.

— И большой шрам на лице,— подсказала Натка.

— Да, большой шрам на лице. Это кто, Натка? — спросила Нина и с любопытством посмотрела на подругу.

— Не знаю, Нина.

— Я встал, можно звонить подъем? — басистым голосом сообщил, выдвигаясь из-за двери, дежурный.

— Можно,— сказала Натка.— Звони. «Экий увалень!» — подумала она, глядя, как, размахивая короткими руками, Баранкин уверенно направился к колоколу.

Это и был тот самый пионер тамбовского колхоза Баранкин, которого послали «в премию» за то, что он во время весеннего сева организовал походный ремонтно-фильтровальный завод.

Все оборудование этого завода умещалось на ручной тележке и состояло из двух лоханей, одного решета, трех старых мешков, двух сгребков и кучи тряпок. И, выезжая в поле за тракторами, этот ребячий завод фильтровал воду для моторов и во время стоянок очищал тракторы от грязи.

Баранкин подошел к колоколу, крепко зажал в кулак конец лохматой бечевки и ударил так здорово, что разом обернувшиеся Нина и Натка закричали ему, чтобы он звонил потише.

Среди соснового парка, на песчаном бугре, ребята, разбившись кучками, расположились на отдых.

Занимался каждый чем хотел. Одни, собравшись возле Натки, слушали, что читала она им о жизни негров, другие что-то записывали или рисовали, третьи потихоньку играли в камешки, четвертые что-то строгали, пятые просто ничего не делали, а, лежа на спине, считали шишки на соснах или потихоньку баловались.

Владик Дашевский и Толька Шестаков разместились очень удобно. Если они повертывались на правый бок, было слышно то, что читала Натка про негров. Если на левый, им было слышно то, что читал Иоська про полярные путешествия ледокола «Малыгин». Если отползти немного назад, то можно было из-за куста, и очень незаметно, запустить в спину Кашину и Баранкину еловую шишку. И, наконец, если подвинуться немного вперед, можно было кончиком прута пощекотать пятки башкирки Эмине, которая бойко обставляла в камешки трех русских девочек и затесавшегося к ним октябренка Карасикова.

Так они и сделали. Послушали про негров и про ледокол. Бросили две шишки в спину Баранкину, но не решились провести Эмине прутом по пяткам, потому что заранее знали, что подпрыгнет она с таким визгом, как будто ее за ногу хватила собака.

— Толька,— спросил Владик,— а ты слышал, как ночью сегодня бабахнуло? Я сплю, вдруг бабах... бабах... Как на фронте. Это корабли в море стреляли. У них маневры, что ли. А я, Толька, на фронте родился.

— Врать-то! — равнодушно ответил Толька.— Ты всегда что-нибудь да придумаешь.

— Ничего не врать, мне мама все рассказала. Они тогда возле Брест-Литовска жили. Ты знаешь, где в Польше Брест-Литовск?* Нет? Ну, так я тебе потом на карте покажу. Когда пришли в двадцатом красные, этого мать не запомнила. Тихо пришли. А вот когда красные отступали, то очень хорошо запомнила. Грохот был или день, или два. И день и ночь грохот. Сестренку Юльку да бабку Юзефу мать в погреб спрятала. Свечка в погребе горит, а бабка все бормочет, молится. Как чуть стихнет, Юлька наверх вылезает. Как загрохочет, она опять нырк в погреб.

— А мать где? — спросил Толька.— Ты все рассказывай по порядку.

— Я и так по порядку. А мать все наверху бегает: то хлеб принесет, то кринку молока достанет, то узлы завязывает. Вдруг к ночи стихло. Юлька сидит. Нет никого, тихо. Хотела она вылазить. Толкнулась, а крышка погреба заперта. Это мать куда-то ушла, а сверху ящик поставила, чтобы она никуда не вылазила. Потом хлопнула дверь — это мать. Открыла она погреб. Запыхалась, сама растрепанная. «Вылезайте»,— говорит. Юлька вылезла, а бабка не хочет. Не вылазит. Насилу уговорили ее. Входит отец с винтовкой. «Готовы? — спрашивает.— Ну, скорее». А бабка не идет и злобно на отца ругается.

— Чего же это она ругалась? — удивился Толька.

— Как отчего? Да оттого ругалась, зачем отец поляк, а с русскими красными уходит.

— Так и не пошла?

— И не пошла. Сама не идет и других не пускает. Отец как посадил ее в угол, так она и села. Вышли наши во двор да на телегу. А кругом все горит: деревня горит, костел горит... Это от снарядов. А дальше у матери все смешалось: как отступали, как их окружали, потому что тут на дороге я родился. Из-за меня наши от красных отбились и попали в плен к немцам, в Восточную Пруссию. Там мы четыре или пять лет и прожили.

— Отец-то почему с винтовкой приходил?

— А он, Толька, в народной милиции был. Когда в Польшу пришли красные, так у нас народная милиция появилась. Помещиков ловили и еще там разных... Как поймают, так и в ревком.

— Нельзя было отцу оставаться,— согласился Толька.— Могли бы, пожалуй, потом и повесить.

— Очень просто. У нас дедушка нигде не был, только в ревкоме рассыльным, и то год в тюрьме держали. А сестра у меня — ей сейчас двадцать восемь лет,— так она и теперь в тюрьме сидит. Сначала посадили ее — три года сидела. Потом выпустили — три года на воле была. Теперь опять посадили. И уже четыре года сидит.

— Скоро опять выпустят?

— Нет, еще не скоро. Еще четыре года пройдет, тогда выпустят. Она в Мокотовской тюрьме сидит. Оттуда скоро не выпускают.

— Она коммунистка?

Владик молча кивнул головой, и оба притихли, обдумывая свой разговор и прислушиваясь к тому, что читала Натка о неграх.

— Толька! — тихо и оживленно заговорил вдруг Владик.— А что, если бы мы с тобой были ученые? Ну, химики, что ли. И придумали бы мы с тобой такую мазь или порошок, которым если натрешься, то никто тебя не видит. Я где-то такую книжку читал. Вот бы нам с тобой такой порошок!

— И я читал... Так ведь все это враки, Владик,— усмехнулся Толька.

— Ну и пусть враки! Ну, а если бы?

— А если бы? — заинтересовался Толька.— Ну, тогда мы с тобой уж что-нибудь придумали бы.

— Что там придумывать! Купили бы мы с тобой билеты до заграницы.

— Зачем же билеты? — удивился Толька.— Ведь нас бы и так никто не увидел.

— Чудак ты! — усмехнулся Владик.— Так мы бы сначала не натершись поехали. Что нам на советской стороне натираться? Доехали бы мы до границы, а там пошли бы в поле и натерлись. Потом перешли бы границу. Стоит жандарм — мы мимо, а он ничего не видит.

— Можно было бы подойти сзади да кулаком по башке стукнуть,— предложил Толька.

— Можно,— согласился Владик.— Он, поди-ка, тоже, как Баранкин, все оглядывался бы, оглядывался: откуда это ему попало?

— Вот уж нет,— возразил Толька.— В Баранкина это мы потихоньку, в шутку. А тут так дернули бы,

что, пожалуй, и не завертишься. Ну ладно! А потом?

— А потом... потом поехали бы мы прямо к тюрьме. Убили бы одного часового, потом дальше... Убили бы другого часового. Вошли бы в тюрьму. Убили бы надзирателя...

— Что-то уж очень много убили бы, Владик! — поежившись, сказал Толька.

— А что их, собак, жалеть? — холодно ответил Владик.— Они наших жалеют? Недавно к отцу товарищ приехал. Так когда стал он рассказывать отцу про то, что в тюрьмах делается, то меня мать на улицу из комнаты отослала. Тоже умная! А я взял потихоньку сел в саду под окошком и все до слова слышал. Ну вот, забрали бы мы у надзирателя ключи и отворили бы все камеры.

— И что бы мы сказали? — нетерпеливо спросил Толька.

— Ничего бы не сказали. Крикнули бы: «Бегите, кто куда хочет!»

— А они бы что подумали? Ведь мы же натертые, и нас не видно.

— А было бы им время раздумывать? Видят — камеры отперты, часовые побиты. Небось, сразу бы догадались.

— То-то бы они обрадовались, Владик!

— Чудак! Просидишь четыре года да еще четыре года сидеть, конечно, обрадуешься... Ну, а потом... потом зашли бы мы в самую богатую кондитерскую и наелись бы там разных печений и пирожных. Я один раз в Москве четыре штуки съел. Это когда другая сестра, Юлька, замуж выходила.

Нельзя наедаться,— серьезно поправил Толька.— Я в этой книжке читал, что есть ничего нельзя, потому что пирожные — они ведь не натертые, их наешься, а они в животе просвечивать будут.

— А ведь и правда будут! — согласился Владик.

И оба они расхохотались.

— Сказки все это,— помолчав, сознался и сам Владик.— Все это сказки. Чепуха!

Он отвернулся, лег на спину и долго смотрел в небо, так что Тольке показалось, что он прислушивается к тому, что читает Натка.

Но Владик не слушал, а думал о чем-то другом.

Сказки,— повторил он, поворачиваясь к Тольке.—

А вот в Австрии есть коммунист один. Он раньше солдатом был. Потом стал коммунистом. Так этот и без всяких натираний невидимый.

— Как — невидимый? — насторожился Толька.

— А так. С тех пор как убежал он из тюрьмы, три года его полиция ищет и все никак найти не может. А он то здесь появится, то там, у нас. В Львове он прямо открыто на собрании деповских рабочих выступил. Все так и ахнули. Пока полиция прибежала, а он уже полчаса проговорил.

— Ну, и что же полиция? Ну, и куда же он девался?

— А вот поди спроси — куда,— с гордостью ответил Владик.— Как только полиция в двери, вдруг хлоп... свет погас. А окон много, и все окна почему-то распахнуты. Кинулась полиция к механику, а механик кричит, ругается. «Идите, говорит, к черту! У меня и без того беда: кажется, обмотка якоря перегорела».

— Так это он нарочно! — с восхищением воскликнул Толька.

— А вот поди-ка ты докажи, нарочно или не нарочно,— усмехнулся Владик и добавил уже снисходительно: — Рабочие прячут, оттого и невидимый. А ты что думал? Порошок, что ли?

Издалека донесся гул колокола — к обеду, и ребятишки, хватая подушки, простыни и полотенца, с визгом повскакали со своих мест.

После обеда полагалось ложиться отдыхать. Но в третьей палате плотники еще с утра пробивали новую дверь на террасу. Койки были вынесены, на полу валялись стружки и штукатурка, а плотники запаздывали.

Поэтому второму звену разрешено было отдыхать в парке.

Владик и Толька забрались в орешник. Толька вскоре задремал, но Владику не спалось. Он ждал сегодня важного письма, но почтальон к обеду почему-то не приехал. Владик вертелся с боку на бок и с завистью глядел на спокойно похрапывающего Тольку. Вскоре вертеться ему надоело, он приподнялся и подергал Тольку за ногу:

— Вставай, Толька! Чего спишь? Ночью выспишься.

Но Толька дрыгнул ногой и повернулся к Владику спиной. Владик рассердился и дернул Тольку за руку·

— Вставай... вставай, Толька! Кругом измена! Все в плену. Командир убит... Помощник контужен. Я ранен четырежды, ты трижды. Держи знамя! Бросай бомбы! Трах-та-бабах! Отобьемся!..

И, всучив ошалелому Тольке полотенце вместо знамени и старый сандалий вместо бомбы, Владик потащил товарища через кусты под горку.

— За такие дела можно и по шее...— начал было рассерженный Толька.

— Отбились! — торжественно заявил Владик.— За такие геройские дела представляю тебя к ордену.— И, сорвав колючий репейник, Владик прицепил его к Толькиной безрукавке.— Брось, Толька, дуться! Вон под горою какой-то дом. Вон за горою какая-то вышка. Вон там, в овраге, что-то стучит. Вон под ногами у нас кривая тропка. Что за дом? Что за вышка? Кто стучит? Куда тропка? Гайда, Толька! Все спят, никого нет, и мы всё разведаем.

Толька зевнул, улыбнулся и согласился.

Быстро, но осторожно, чтобы никому не попасться на глаза, они перебегали дорожки, ныряли в чащу кустарника, пролезали через колючие ограды, ползли вверх, спускались вниз, ничего не оставляя на своем пути незамеченным.

Так они наткнулись на ветхую беседку, возле которой стояла позеленевшая каменная статуя. Потом нашли глубокий заброшенный колодец. Затем попали в фруктовый сад, откуда мгновенно умчались, заслышав ворчание злой собаки.

Продравшись через колючие заросли дикой ажины, они очутились на заднем дворе небольшой лагерной больницы.

Они осторожно заглянули в окно и в одной из палат увидели незнакомого мальчишку, который, скучая, лениво вертел красное яблоко.

Они легонько постучали в стекло и приветливо помахали мальчишке руками. Но мальчишка рассердился и показал им кулак. Они обиделись и показали целых четыре.

Тогда злорадный мальчишка неожиданно громко заорал, призывая няньку. Испуганные ребята разом перемахнули через ограду и помчались наугад по тропинке.

Вскоре они очутились высоко над берегом моря. Слева

громоздились изрезанные ущельями горы. Справа, посреди густого дубняка и липы, торчали остатки невысокой крепости.

Ребята остановились. Было очень жарко.

Торжественно гремел из-за пыльного кустарника мощный хор невидимых цикад.

Внизу плескалось море. А кругом — ни души.

— Это древняя крепость,— объяснил Владик.— Давай, Толька, поищем, может быть, и наткнемся на что-нибудь старинное.

Искали они долго. Они нашли выцветшую папиросную коробку, жестяную консервную банку, стоптанный башмак и рыжий собачий хвост. Но ни старинных мечей, ни заржавленных доспехов, ни тяжелых цепей, ни человечьих костей им не попалось.

Тогда, раздосадованные, они спустились вниз. Здесь, под стеной, меж колючей травы, они наткнулись на темное, пахнувшее сыростью отверстие.

Они остановились, раздумывая, как быть. Но в это время издалека, от лагеря, похожий отсюда на комариный писк, раздался сигнал к подъему.

Надо было уходить, но они решили вернуться сюда еще раз, захватив бечевку, палку, свечку и спички.

Полдороги они пробежали молча. Потом устали и пошли рядом.

— Владик,— с любопытством спросил Толька,— вот ты всегда что-нибудь выдумываешь. А хотел бы ты быть настоящим старинным рыцарем? С мечом, со щитом, с орлом, в панцире?

— Нет,— ответил Владик.— Я хотел бы быть не старинным, со щитом и с орлом, а теперешним, со звездою и маузером. Как, например, один человек.

— Как кто?

— Как Дзержинский. Ты знаешь, Толька, он тоже был поляк. У нас дома висит его портрет, и сестра под ним написала по-польски: «Милый рыцарь. Смелый друг всего пролетариата». А когда он умер, то сестра в тюрьме плакала и вечером на допросе плюнула в лицо какому-то жандармскому капитану.

Пароход с почтой запоздал, и поэтому толстый почтальон, тяжело пыхтя и опираясь на старую суковатую палку, поднялся в гору только к ужину.

Отмахиваясь от обступивших его ребят, он называл их по фамилиям, а тех, кого знал, то и просто по именам.

— Коля,— говорил он басом и тащил за рукав тихо стоявшего мальчугана,— ну-ка, брат, распишись. Да не лезьте под руки, озорной народ! Дайте человеку расписаться. Тебе, Мишаков, нет письма. Тебе, Баранкин, письмо. И кто это тебе такие толстые письма пишет?

— Это мне брат из колхоза пишет,— громко отвечал Баранкин, крепко напирая плечом и протискиваясь сквозь толпу ребят.— Это брат Василий. У меня два брата. Есть брат Григорий — тот в Красной Армии, в броневом отряде. А это брат Василий — он у нас в колхозе старшим конюхом. Григория взяли, а Василий уже отслужил. У нас три брата да три сестры. Две грамотные, а одна еще неграмотная, мала девка.

— А теток у тебя сколько?

— А корова у вас есть?

— А курицы есть? А коза есть? — закричали Баранкину сразу несколько человек.

— Теток у меня нет,— охотно отвечал Баранкин, протягивая руку за шершавым пакетом.— Корова у нас есть, свинью закололи, только поросенок остался. А коз у нас в деревне не держат. От козы нам пользы мало, только огороду потрава. А что смеетесь? — добродушно и удивленно обернулся он, услышав вокруг себя дружный смех.— Сами спрашивают, а сами смеются.

Когда уже большинство ребят разошлись, то подошел Владик Дашевский и спросил, нет ли письма ему. Письма не было. Он неожиданно погрозил пальцем почтальону, потом равнодушно засвистел и пошел прочь, сбивая хлыстиком верхушки придорожной травы.

Натка Шегалова получила заказное с Урала от подруги — от Веры.

Сразу после ужина весь санаторный отряд ушел с Ниной на нижнюю площадку, где затевались игры.

В просторных палатах и на широкой лужайке перед террасой стало по-необычному тихо и пусто.

Натка прошла к себе в комнату, распечатала письмо, из которого выпал потертый и почему-то пахнувший керосином фотоснимок.

Возле толстого, охваченного чугунными брусьями столба, опустившись на одно колено и оттягивая пряжки кривой железной «кошки», стояла Вера. Ее черная глухая

спецовка была перетянута широким брезентовым поясом, а к металлическим кольцам пояса были пристегнуты молоток, плоскогубцы, кусачки и еще какие-то инструменты.

Было понятно и то, что Верка собирается забраться на столб, и что она торопится, потому что неподалеку от нее смотрел на провода не то инженер, не то электротехник, а рядом с ним стоял кто-то маленький, черноволосый — вероятно, бригадир или десятник. И лицо у этого черноволосого было озабоченное и сердитое, как будто его только что крепко выругали. День был солнечный. Вдалеке виднелись неясные серые громады незаконченных построек и клочья густого, черного дыма.

Письмо было короткое. Верка писала, что жива, здорова. Что практика скоро кончается. Что за работу по досрочному монтажу понижающей подстанции она получила премию. Что за короткое замыкание она получила выговор. А в общем все хорошо — устала, поздоровела и перед началом занятий обязательно заедет с Урала в Москву, и там хорошо бы с Наткой встретиться.

Натка задумалась. Она с любопытством посмотрела еще раз на черную, пыльную спецовку, на тяжелые, толстые ботинки, на ту торопливую хватку, с которой пристегивала Верка железные десятифунтовые «кошки», и с досадой отодвинула фотоснимок, потому что она завидовала Верке.

Неожиданно обе половины оконной занавески раздвинулись и оттуда высунулась круглая голова Баранкина.

— Баранкин,— удивилась и рассердилась Натка,— ты почему не на площадке? Ребята играют, а ты что?

— Это не игра,— убежденно произнес Баранкин, наваливаясь грудью на подоконник.— Ну, завязали мне ноги в мешок — беги, говорят. Я шагнул и — бац на землю. Шагнул и — опять бац. А они смеются. Потом положили в ложку сырое яйцо, дали в руки и опять — беги! Конечно, яйцо хлоп и разбилось. Разве же это игра? У нас в колхозе за такую игру и хворостиной недолго.— Он укоризненно посмотрел на Натку и добродушно добавил: — Я тут буду. Никуда не денусь. А лучше пойду помогу Гейке дрова пилить.

Круглая голова Баранкина скрылась.

Но через минуту раскрасневшееся лицо его опять просунулось в комнату.

— Забыл,— спокойно сказал он, увидав недовольное

лицо Натки.— Проходил мимо площадки, где комсомольцы в мяч играют. Остановили и наказывают: беги шибче, и если Шегалова свободна, пусть скорее идет. Совсем забыл,— повторил он и, неловко улыбнувшись, почему-то вспомнил: — У нас в колхозе как-то ночью амбар подожгли. Брата не было. Кинулся я в сарай лошадь запрягать — темно. А чересседельник с гвоздя как соскочит да мне прямо по башке. Так всю память и отшибло. Насилу я во двор вылез. А амбар горит, горит...

— Баранкин,— спросила Натка, положив руку на его крепкое плечо,— у тебя мать есть?

— Есть. Александрой зовут,— охотно и обрадованно ответил Баранкин.— Александра Тимофеевна. Она у нас в колхозе скотницей. Всю эту весну пролежала. Теперь ничего... поздоровела. Бык ее в грудь боднул. У нас хороший бык, породистый. В Моршанске прошлую зиму колхоз за шестьсот рублей купил... Иду, иду! — крикнул Баранкин, оборачиваясь на чей-то далекий хриплый окрик.— Это Гейка зовет,— объяснил он.— Мы с ним дружки.

...Когда Натка спускалась к площадке, солнце уже скрывалось за морем. Бесшумно заскользили серые вечерние стрижи. Задымили сторожевые костры на виноградниках. Зажглись зеленые огни створного маяка. Ночь надвигалась быстро, но игра была в самом разгаре.

«Хорошие свечки дает Картузик»,— подумала Натка, глядя на то, как тугой мяч гулко взвился к небу, повис на мгновение над острыми вершинами старых кипарисов и по той же прямой плавно рванулся к земле. Натка подпрыгнула, пробуя, крепко ли затянуты сандалии, поправила косынку и, уже не спуская глаз с мяча, подбежала к сетке и стала на пустое место, слева от Картузика.

— Пасовать,— вполголоса строго сказал ей Картузик.

— Есть пасовать,— также вполголоса ответила она и сильным ударом послала мяч далеко за сетку.

— Пасовать,— повторил Картузик.— Спокойней, Натка.

Но вот он, крученый, хитрый мяч, метнулся сразу на третью линию. Отбитый косым ударом, мяч взвился прямо над головой отпрыгнувшего Картузика.

— Дай! — вскрикнула Натка Картузику.

— Возьми! — ответил Картузик.

— Режь! — вскрикнула Натка, подавая ему невысокую свечку.

— Есть! — ответил он и с яростью ударил по мячу вниз.

— Один — ноль,— объявил судья и, засвистев, предупредил: — Шегалова и Картузик, не переговариваться, а то запишу штрафное очко.

Натка рассмеялась. Невозмутимый Картузик улыбнулся, и они хитро и понимающе переглянулись.

— Шегалова,— крикнул ей кто-то из ребят,— тебя Алеша Николаев зачем-то ищет!

— Еще что! — отмахнулась Натка.— Что ему ночью надо? Там Нина осталась.

Темнота сгущалась. На счете «один — ноль» догорела заря. На «восемь — пять» зажглись звезды. А когда судья объявил сэт-бол, то из-за гор вылезла такая ослепительно яркая луна, что хоть опять начинай всю игру сначала.

— Сэт-бол! — крикнул судья, и почти тотчас же черный мяч взвился высоко над серединой сетки.

«Дай!» — глазами попросила Натка у Картузика.

«Возьми!» — ответил он молчаливым кивком головы.

«Режь!» — зажмуривая глаза, вздрогнула Натка и еще втемную услышала глухой удар и звонкий свисток судьи.

— Шегалова и Картузик, не переговариваться! — добродушно сказал судья. Но уже не в виде замечания, а как бы предупреждая.

Возвращаясь домой, Натка встретила Гейку; он волок за собой под гору целую кипу гремящих и подпрыгивающих жердей. Узнав Натку, он остановился.

— Федор Михайлович спрашивал,— угрюмо сообщил он Натке.— Меня посылал искать, да я не нашел. Не знаю, зачем-то шибко ему понадобились.

«Что-нибудь случилось?» — с тревогой подумала Натка и круто свернула с дороги влево. Маленькие камешки с шорохом посыпались из-под ее ног. Быстро перепрыгивая от куста к кусту, по ступенчатой тропинке она спустилась на лужайку.

Все было тихо и спокойно. Она постояла, раздумывая, стоит ли идти в штаб лагеря или нет, и, решив, что все равно уже поздно и все спят, она тихонько прошла в коридор.

Прежде чем зайти к дежурной и узнать, в чем дело, она зашла к себе, чтобы вытряхнуть из сандалий набившиеся туда острые камешки. Не зажигая огня, она села на кровать. Одна из пряжек что-то не расстегивалась, и Натка потянулась к выключателю. Но вдруг она вздрогнула и притихла: ей показалось, что в комнате она не одна.

Не решаясь пошевельнуться, Натка прислушалась и теперь, уже ясно расслышав чье-то дыхание, поняла, что в комнате кто-то спрятан. Она тихонько повернула выключатель.

Вспыхнул свет.

Она увидала, что у противоположной стены стоит небольшая железная кровать, а в ней крепко и спокойно спит все тот же и знакомый и незнакомый ей мальчуган. Все тот же белокурый и темноглазый Алька.

Все это было очень неожиданно, а главное — совсем непонятно.

Свет ударил спящему Альке в лицо, и он заворочался. Натка сдернула синий платок и накинула его поверх абажура.

Зашуршала дверь, и в комнату просунулось сонное лицо дежурной сестры.

— Ольга Тимофеевна,— полушепотом спросила Натка,— кто это? Почему это?

— Это Алька,— равнодушно ответила дежурная.— Тебя весь вечер искали, искали. Тебе на столе записка.

Записка была от Алеши Николаева.

«Натка! — писал Алеша.— Это Алька, сын инженера Ганина, который работает сейчас по водопроводке у Верхнего озера. Сегодня случилась беда: перерезали подземный ключ, и вода затопляет выемки. Сам инженер уехал к озеру. Ты не сердись — мы поставили пока кровать к тебе, а завтра что-нибудь придумаем».

Возле кроватки стояла белая табуретка. На ней лежали: синие трусики, голубая безрукавка, круглый камешек, картонная коробочка и цветная картинка, изображавшая одинокого всадника, мчавшегося под ослепительно яркой пятиконечной звездой.

Натка открыла коробочку, и оттуда выпрыгнули к ней на колени два серых кузнечика.

Натка тихонько рассмеялась и потушила свет. На Алешу Николаева она не сердилась.

...Не доезжая до верхних бараков у новой плотины, инженер свернул ко второму участку. Еще издалека он увидел в беспорядке выкинутые на берег тачки, мотыги и лопаты. Очевидно, вода застала работавших врасплох.

Инженер соскочил с коня. Мутная жижа уже больше чем на полтора метра залила выемку. В воде торчал невыдернутый разметочный кол и спокойно плавали две деревянные лопаты.

Инженер понял, что, поднявшись еще на полметра, вода пойдет назад, заливая соседнюю впадину, а когда вода поднимется еще на метр, перельется через гребень и, круто свернув направо, затопит и сорвет первый участок, на котором шли работы по прокладке деревянных желобов.

— Плохо, Сергей Алексеевич! — закричал старший десятник Дягилев, спускаясь с горы впереди двух подвод, которые, с треском ломая кустарник, волокли доски и бревна.

— Когда прорвало? — спросил инженер.— Шалимов где?

— Разве же с таким народом работать можно, Сергей Алексеевич? С таким народом только из пустого в порожнее переливать. Прорвало часов в девять. Шалимовская бригада работала... Как рванило это снизу, им бы сейчас же брезент тащить да камнями заваливать, а они — туды, сюды, меня искать... Пока то да се, пока меня разыскали, а ее — дыру-то — чуть ли не в сажень разворотило.

— Шалимов где?

— Сейчас придет. В своей деревне рабочих собирает.

Всю ночь стучали топоры, полыхали костры и трещали смоляные факелы. К рассвету сколотили плот и целых три часа сбрасывали рогожные кули со щебнем в то место, откуда била прорвавшаяся вода. И, когда наконец, сбросив последнюю руду балласта, забили подводную дыру, мокрый, забрызганный грязью инженер вытер раскрасневшееся лицо и сошел на берег.

Но едва только он опустился на колени, доставая из костра горящий уголек, как на берегу раздались шум, крики и ругань. Он вскочил и отшвырнул нераскуренную папиросу.

Вырываясь со дна, гораздо правее, чем в первый раз,

вода клокотала и пенилась, как в кипящем котле. Закупоренную родниковую жилу прорвало в другом месте и, по-видимому, прорвало еще сильнее, чем прежде.

Мимо обозленных землекопов инженер подошел к Дягилеву и Шалимову. Он повел их по краю лощины к тому месту, где лощина была перегорожена невысокой, но толстой каменистой грядой.

— Вот! — сказал он.— Поставим сюда тридцать человек. Ройте поперек, и мы спустим воду по скату.

— Грунт-то какой, Сергей Алексеевич! — возразил Дягилев, переглядываясь с Шалимовым.— Хорошо, если сначала от силы метров сорок за сутки возьмем, а дальше, сами видите, голый камень.

— Ройте,— повторил инженер.— Ройте посменно, без перерыва. А дальше взорвем динамитом.

— Нет у нас динамита, Сергей Алексеевич, напрасно только людей замотаем.

— Ройте,— отвязывая повод застоявшегося коня, повторил инженер.— Надо достать, а то пропала вся наша работа.

Спустившись в лагерь и не заходя к Альке, инженер пошел к телефону и долго, настойчиво вызывал Севастополь. Наконец он дозвонился, но из Взрывсельпрома ему ответили, что без наряда от Москвы динамита ему не могут отпустить ни килограмма.

Выехав на шоссейную дорогу, инженер повернул направо и по-над берегом моря рысью поскакал к мысу, где среди скалистого парка высились красивые белые здания. Это было прежде богатое поместье, а теперь шеф пионерского лагеря, дом отдыха ЦИК и Совнаркома — Ай-Су.

Соскочив у высокой узорной решетки, он зашел в дежурку и спросил, есть ли среди отдыхающих товарищи Самарин или Гитаевич. Ему ответили, что Самарин еще с утра уехал в Ялту и вернется только к вечеру, а Гитаевич здесь.

Инженер взял пропуск и, похлопывая плетью о голенище грязного сапога, пошел к виднеющемуся в глубине аллеи просвету.

Гитаевича он встретил у лесенки, ведущей к морю. Это был черноволосый с проседью человек в больших круглых очках, с широкой черной бородой.

— Здравствуйте! — громко сказал инженер, прикладывая руку к козырьку.

Гитаевич с удивлением посмотрел на этого внезапно возникшего человека в грязных сапогах и в запачканном глиною френче.

— Ба!.. Ба!.. Сергей! — улыбаясь, заговорил он резким, каркающим голосом.— Откуда? И в каком виде — сапоги, френч... нагайка! Что ты, прямо из разведки в штаб полка?

— Дело, товарищ Гитаевич,— сказал Сергей, сжимая протянутую руку.— Спешное дело.

— Уволь, уволь,— заговорил Гитаевич, усаживаясь на скамейку.— Газет не читаю, телеграмм не распечатываю. О чем хочешь? Старину вспомним... дивизию, Бессарабию. Так поговорим — это с большим удовольствием, а от дела избавь. У меня здесь ни чина, ни должности, ни обязанностей. Лежу на солнышке да вот, видишь, стихи читаю.

— Дело, товарищ Гитаевич,— упрямо повторил Сергей.— Если бы не важное, то и не просил бы.

— Палицын где?.. Матусевич? И этот... как его? Ну, со шрамом на щеке... Ах ты! Да как же его, этого, что со шрамом? — как бы не расслышав Сергея, продолжал Гитаевич.

— Много со шрамами было, товарищ Гитаевич. Я и сам со шрамом,— продолжал Сергей.— Мне динамит нужен. Взрывсельпром не дает. Говорит, Москву запрашивать надо. А если вы напишете, то даст. Ваш дом отдыха — наш шеф. Вы отдыхаете, значит, вы тоже шеф.

— Какой динамит? Какие шефы? — с раздражением и беспокойством переспросил Гитаевич.— И откуда ты на мою голову свалился? Я выкупался, иду, читаю стихи, а он вдруг: дело... динамит... шефы... Ну, что у тебя такое? Наверное, какая-нибудь ерунда?

— Дело ерундовое,— согласился Сергей и рассказал все, что ему было нужно.

Окончилось тем, что Гитаевич поморщился, взял протянутую ему бумагу, карандаш, что-то написал и передал Сергею.

— Возьми,— грубовато сказал он.— От тебя не отстанешь.

— Ваша школа, товарищ Гитаевич,— ответил Сергей и, спрятав бумагу, добавил: — Знавал я на Украине одного комиссара дивизии, которого однажды командую-

щий на гауптвахту посадил. Иначе, говорит, этот не отстанет.

Прищурив под дымчатыми стеклами узкие строгие глаза, Гитаевич взглянул искоса и насмешливо, как бы подбадривая Сергея: ну, дескать, продолжай, продолжай. Но Сергей теперь и сам неспроста посматривал на Гитаевича и молча доставал из портсигара папиросу.

— Так посадил, говоришь? — неожиданно веселым, но все тем же каркающим голосом спросил Гитаевич, и, взяв Сергея за руку, он дружески хлопнул его по плечу.— Давно это было, Сергей,— уже тише добавил он.

— Давно, товарищ Гитаевич.

— Так ты теперь не в армии?

— Инженер. Командир запаса.

— Почему же, Сережа, ты инженер? Я что-то не припоминаю, чтобы у тебя какие-нибудь инженерские задатки были... Постой, куда же ты? — спросил Гитаевич, увидав, что Сергей поднимается и застегивает полевую сумку.— Да, у тебя динамит. Ну, когда выберешь свободное время, заходи. Только заходи без всякого дела. Пойдем к морю, выкупаемся, поговорим. Ты один? — глядя в лицо Сергея и почему-то тише и ласковей, спросил Гитаевич.

— Один. То есть нас двое — я и Алька,— ответил Сергей.— Двое, я и сын,— повторил он и замолчал.

— Ну, до свиданья,— сказал Гитаевич, который, по-видимому, что-то хотел сказать или о чем-то спросить, но раздумал — не сказал и не спросил, а только крепче, чем обыкновенно, пожал протянутую ему руку.

Чтобы сократить путь к озеру, Сергей взял наперерез через тропку, но, еще не доезжая до перевала, он вспомнил, что позабыл заехать в лагерь и заказать машину на Севастополь.

Досадуя на свою оплошность и опасаясь, как бы машину не угнали в другое место, он остановил усталого коня.

Тропинка была глухая, заросшая травою и засыпанная мелкими камнями. Неподалеку торчали остатки маленькой старинной крепости с развалившейся башенкой, на обломках которой густо разросся низкорослый кудрявый кустарник. Конь насторожил уши — на тропку из-за кустов выскочили два мальчугана. Один из них держал палку, к концу которой была привязана обыкновенная

стеариновая свеча, а другой тащил большой клубок тонкой бечевки.

Столкнувшись с незнакомым человеком, оба они смутились.

— Из лагеря? — спросил Сергей.— А ну-ка, подите сюда!

— Из лагеря,— хмуро и неохотно ответил тот, который был повыше, стараясь спрятать за спину палку со свечой.— Мы гуляли.

— Вот что,— сказал Сергей.— Вы потом погуляете, а сейчас я вам дам записку. Тащите ее во весь дух к начальнику лагеря и скажите: пусть через час приготовит мне машину на Севастополь.

Пока он писал, оба мальчугана переглянулись, и старший успокоенно кивнул младшему.

Догадавшись, что встретившийся человек ни в чем плохом их не подозревает, они охотно приняли записку и поспешно скрылись в кустарнике.

В горах на месте катастрофы вода разлилась широко. Над низовым кустарником, пронзительно чирикая, носились встревоженные пичужки. Сухие травы, стебли, рыжая пухлая пена — все это плавало и кружилось на поверхности мутной воды.

— Много вынули? — спросил Сергей у бригадира Шалимова, который ругался по-татарски с маленьким сухощавым землекопом.

— А не мерил еще,— медленно выговаривая русские слова, ответил Шалимов.— Кубометров десять, должно быть, вынули.

— Мало,— сказал Сергей.— Плохо работаешь, Шалимов.

— Грунт тяжелый,— равнодушно ответил Шалимов,— не земля, а камень.

— Ну, камень! До камня еще далеко. Смотри, Шалимов, беда будет. Зальет второй участок, и оставим мы ребят без воды.

— Как можно без воды? — согласился Шалимов.— Пить нету, обед варить нету, ванну делать нету, цветы поливать нету. Как можно без воды? — разведя руками, закончил он и невозмутимо сел на камень, собираясь вступить в длинный и благодушный разговор.

— Плохо, Сергей Алексеевич! — крикнул запыхав-

шийся десятник Дягилев.— Вы посмотрите на выемку — так и рвет со дна, так и рвет! И откуда такая силища? Это не ключ, а сама подземная речка.

— Видел,— ответил Сергей.— До утра продержимся.

— Ой ли продержимся, Сергей Алексеевич?

— Надо продержаться.

Сергей приказал: как только обнажится каменная гряда, поставить бурить скважины, а землекопов перебросить рыть канаву к другой небольшой впадине, которая могла оттянуть воду и задержать перелив еще на три-четыре часа.

— Дягилев,— сказал он напоследок,— я вернусь ночью, к рассвету. Ты отвечаешь. Да не ругайтесь вы с Шалимовым, а работайте. Как ни приду, или Шалимов на тебя жалуется, или ты на Шалимова. С рабочими за прошлую десятидневку рассчитались?

— Давно уже, Сергей Алексеевич. Это еще по старой ведомости, до вашего приезда, прежним техником подписана была.

— Вы потом покажите мне все эти ведомости,— сказал Сергей.— Я поехал.

Возле Ялты хлынул грозовой ливень. Это задержало машину на два часа: шофер был вынужден уменьшить скорость, потому что на крутых поворотах скользкой дороги машину сильно заносило. В Севастополь они прибыли только в восемь вечера. Понадобились долгие телефонные звонки, понадобилось вмешательство секретаря райкома и даже коменданта города для того, чтобы получить пропуск и открыть уже запечатанные склады Взрывсельпрома.

И, когда небольшой, но тяжелый ящик был осторожно погружен на машину, стрелка часов уже подходила к половине одиннадцатого.

Луна сквозь сплошные черные тучи не обозначалась даже слабым просветом. Скрылись очертания горных вершин. Растворились в темноте рощи, сады, поля, виноградники, и только полоса широкого ровного шоссе, как бы расплавленного ослепительным светом автомобильных фар, сверкала влажной желтоватой белизной.

— Ну, давай! — подбадривающе сказал Сергей, усаживаясь рядом с шофером.— Ночь темная, а дорога длинная.

Только теперь, сидя на кожаных подушках вздрагивающего автомобиля, Сергей почувствовал, что он сильно устал. Запахнув плащ и крепче надвинув фуражку, он закрыл глаза. И так в полусне, только по собачьему лаю да по кудахтанью распуганных кур угадывая проносящиеся мимо поселки и деревушки, сидел он долго и молча.

Ра-а! Ра-а-а!..— звонко и тревожно гудел сигнал, и машину плавно покачивало на бесчисленных крутых поворотах.

Дорога забирала в горы.

И эта непроницаемая, беззвездная тьма, и этот свежий и влажный ветер, приглушенный собачий лай, запах сена и спелого винограда напомнили Сергею что-то радостное, но очень молодое и очень далекое.

И вот почему-то пылал костер. Тихо звеня уздечками, тут же рядом ворочались разномастные кони.

Ра-а-а!..— звонко гудела машина, взлетая в гору все круче и круче.

Темные кони, вороные и каурые, были невидимы, но один, белогривый, маленький и смешной Пегашка, вскинув короткую морду, поднял длинные уши, настороженно прислушиваясь к неразгаданному шуму.

— Это мой конь! — сказал Сергей, поднимаясь от костра и тренькая звонкими шпорами.

— Да,— согласился начальник заставы,— эта худая, недобитая скотина — твой конь. Но что это шумит впереди на дороге?

— Хорошо! Посмотрим! — гневно крикнул Сергей и вскочил на Пегашку, который сразу же оказался самым лучшим конем в этой разбитой, но смелой армии.

— Плохо! — крикнул ему вдогонку умный, осторожный начальник заставы.— Это тревога, это белые.

И тотчас же погас костер, лязгнули расхваченные винтовки, а изменник Каплаухов тайно разорвал партийный билет.

— Это беженцы! — крикнул возвратившийся Сергей.— Это не белые, а просто беженцы. Их много, целый табор.

И тогда всем стало так радостно и смешно, что, наскоро расстреляв проклятого Каплаухова, вздули они яркие костры и весело пили чай, угощая хлебом бежен-

ских мальчишек и девочек, которые смотрели на них огромными доверчивыми глазами.

— Это мой конь! — гордо сказал Сергей, показывая ребятишкам на маленького белогривого Пегашку.— Это очень хороший конь.

Но глупые ребятишки не понимали и молча жадно грызли черный хлеб.

— Это хороший конь! — гневно и нетерпеливо повторил Сергей и посмотрел на глупых ребятишек недобрыми глазами.

— Хороший конь,— слегка картавя, звонко повторила по-русски худенькая, стройная девчонка, вздрагивавшая под рваной и яркой шалью.— И конь хороший, и сам ты хороший.

Ра-а-а!..— заревела машина, и Сергей решил: «Стоп! Довольно. Теперь пора просыпаться».

Но глаза не открывались.

«Довольно!» — с тревогой подумал он, потому что хороший сон уже круто и упрямо сворачивал туда, где было темно, тревожно и опасно.

Но тут его крепко качнуло, машина остановилась, и шофер громко сказал:

— Есть! Закурим. Это Байдары.

— Байдары...— машинально повторил Сергей и открыл глаза.

Машина стояла на самой высокой точке перевала. Запутавшиеся в горах тучи остались позади. Далеко под ногами в кипарисовой черноте спало все южное побережье.

Кругом было тихо и спокойно. Сон прошел. Они закурили и быстро помчались вперед, потому что было уже далеко за полночь.

Проснувшись, Натка увидела Альку.

Алька стоял, открыв коробку, и удивлялся тому, что она пуста.

— Это ты открыла или они сами повылазили? — спросил Алька, показывая на коробку.

— Это я нечаянно,— созналась Натка.— Я открыла и даже испугалась.

— Они не кусаются,— успокоил ее Алька.— Они только прыгают. И ты очень испугалась?

— Очень испугалась,— к великому удовольствию

Альки, подтвердила Натка и потащила его в умывальную комнату.

— Алька,— спросила Натка, когда, умывшись, вышли они на террасу,— скажи мне, пожалуйста, что ты за человек?

— Человек? — удивленно переспросил Алька.— Ну, просто человек. Я да папа.— И, серьезно поглядев на нее, он спросил: — А ты что за человек? Я тебя узнаю. Это ты с нами в вагоне ехала.

— Алька,— спросила Натка,— почему это ты да папа? А почему ваша мама не приехала?

— Мамы нет,— ответил Алька.

И Натка пожалела о том, что задала этот неосторожный вопрос.

— Мамы нет,— повторил Алька, и Натке показалось, что, подозревая ее в чем-то, он посмотрел на нее недоверчиво и почти враждебно.

— Алька,— быстро сказала Натка, поднимая его на руки и показывая на море,— посмотри, какой быстрый, большой корабль.

— Это сторожевое судно,— ответил Алька.— Я его видел еще вчера.

— Почему сторожевое? Может быть, обыкновенное?

— Это сторожевое. Ты не спорь. Так мне папа сказал, а он лучше тебя знает.

В этот день готовились к первому лагерному костру, и Натка повела Альку к октябрятам.

На лужайке босой пионер Василюк, забравшись на спину согнувшегося Баранкина, учил легонькую и ловкую башкирку Эмине вспрыгивать на плечи с развернутым красным флагом.

— Ты не так прыгаешь, Эмка,— терпеливо повторял Василюк.— Ты когда прыгнешь, то стой спокойно, а не дрыгай ногами. Ты дрыгнешь — я колыхнусь, и полетим мы с тобой прямо Баранкину на голову. Эх, ты! Ну, и как мне с тобой сговориться? — огорчился он, увидав, что Эмине не понимает ни слова.— Ну ладно, беги. Потом Юлай придет, он уж тебе по-вашему объяснит.

Эмине спрыгнула и, заметив Альку, остановилась и с любопытством разглядывала этого маленького, незнакомого ей человека.

— Пионер? — смело спросила она, указывая на его красный галстук.

— Пионер,— ответил Алька и протянул ей цветную картинку с мчавшимся всадником.— Это белый,— хитро прищуриваясь и указывая пальцем на всадника, попробовал обмануть ее Алька.— Это белый. Это царь.

— Это красный,— еще хитрее улыбнувшись, ответила Эмине.— Это Буденный.

— Это белый,— настойчиво повторил Алька, указывая на саблю. Вот сабля.

— Это красный,— твердо повторила Эмине, указывая на серую папаху.— Вот звезда!

И, рассмеявшись, оба очень довольные, что хорошо поняли друг друга, они вприпрыжку понеслись к кустам, откуда доносилось нестройное пение октябрят.

Проводив Альку к октябрятам, Натка повернула к сосновой роще и натолкнулась на звеньевого третьего звена Иоську. В одной руке Иоська тащил что-то длинное, свернутое в трубочку, а в другой — маленький, крепко завязанный узелок.

— Ты откуда? Куда?

— В клуб бегал,— быстро и неохотно ответил Иоська, подпрыгивая и увертливо пряча узелок за спину.— В клуб за плакатами. Мы сейчас рассказ будем читать о танках.

— Иоська,— удивилась Натка,— почему же это о танках, когда у тебя сегодня по плану не танки, а памятка пионеру-автодоровцу?

— Памятку потом. Мы сегодня с купанья шли — глядим, четыре танка ползут. Интересно! Я скорей в библиотеку. Давай, думаю, сегодня, пока интересно, будем читать о танках.

— Ну ладно, Иоська. Это хорошо. А что это ты в узелке за спиной прячешь?

— Это? Это орехи,— с отчаянием заговорил Иоська, еще нетерпеливей подпрыгивая и отскакивая от Натки.— Это я такую игру придумал. Мне инструктор написал семь вопросов о танках. Ну вот, кто угадает, а кто не угадает...

— Да ты хоть скажи, откуда орехи-то взял?

Но тут увертливый Иоська подпрыгнул так высоко, как будто бы камни очень сильно прижгли ему голые пятки, и, замотав головой, не дожидаясь расспросов, он юркнул в кусты.

...Из-за подготовки к костру перепутались и разорвались все звенья. Певцы ушли в хоровой кружок, гимнасты — на спортивную площадку, танцоры — в клуб. И, пользуясь этой веселой суматохой, никем не замеченные, двое ребят скрылись потихоньку из лагеря.

Добравшись по глухой тропке до развалин маленькой крепости, они вытащили клубок тонкой бечевы и огарок стеариновой свечки. Раздвигая заросли густой душистой полыни, они пробрались к небольшой черной дыре у подножия дряхлой башенки.

Ярко жгло полуденное солнце, и от этого пахнувшее сыростью отверстие казалось еще более черным и загадочным.

— А что, если у нас бечевы не хватит, тогда как? — спросил Владик, привязывая свечку к концу длинной палки.— А что, если вдруг под ногами обрыв? Я, знаешь, Толька, где-то читал такое, что вот идешь... идешь подземным ходом, вдруг — бац, и летишь ты в пропасть. А внизу, в этой пропасти, разные гадюки... змеи...

— Какие еще змеи? — переспросил Толька, поглядывая на сырую черную дыру.— И что ты, Владик, всегда какую-нибудь ерунду придумаешь? То тебе порошком натереться, то тебе змеи. Ты лучше бы свечку покрепче привязал, а то слетит свечка, вот тебе и будут змеи.

— А что, Толька,— обматывая свечку, задумчиво продолжал Владик,— а что, если мы спустимся, вдруг обвалится башня и останемся мы с тобой запертыми в подземных ходах? Я где-то тоже такое читал. Сначала они свечи поели, потом башмаки, потом ремни, а потом, кажется, и друг друга сожрали. Очень интересная книга.

— И что ты, Владик, всегда какую-то ерунду читаешь? — совсем уже унылым голосом спросил Толька и опять покосился на черную дыру.

— Лезем! — оборвал его Владик.— Мало ли что я говорю! Это я тебя, дурака, дразню.

Он зажег свечу и осторожно спустил ноги на покатый каменистый вход.

Толька, держа в руках клубок с разматывающейся бечевой, полез вслед за ним.

Потихоньку ощупывая каждый камешек, они прошли метров пять. Здесь ход круто сворачивал направо. Огля-

нувшись еще раз на просвет, они решительно повернули вправо. Но, к своему разочарованию, они очутились в небольшом затхлом подвальчике, заваленном мусором и щебнем. Никакого подземного хода не было.

— Тоже крепость! — рассердился Толька.— А все, Владик, ты. Полезем да полезем. Ну, вот тебе и полезли. Идем лучше назад, а то я ногой в какую-то дрянь наступил.

Они выбрались из погреба и, цепляясь за уступы, залезли на поросшую кустами башенку. Отсюда было видно море — огромное и пустынное.

Опустившись на траву, ребята притихли и, щурясь от солнца, лежали долго и молча.

— Толька! — спросил вдруг Владик, и, как всегда, когда он придумывал что-нибудь интересное, глаза его заблестели.— А что, Толька, если бы налетели аэропланы, надвинулись танки, орудия, собрались бы белые со всего света, и разбили бы они Красную Армию, и поставили бы они все по-старому? Мы бы с тобой тогда как?

— Еще что! — равнодушно ответил Толька, который уже привык к странным фантазиям своего товарища.

— И разбили бы они Красную Армию,— упрямо и дерзко продолжал Владик,— перевешали бы коммунистов, перекидали бы в тюрьмы комсомольцев, разогнали бы всех пионеров, тогда бы мы с тобой как?

— Еще что! — уже с раздражением повторил Толька, потому что даже он, привыкший к выдумкам Владика, нашел эти слова очень уж оскорбительными и невероятными.— Так бы наши им и поддались! Ты знаешь, какая у нас Красная Армия? У нас советская... На весь мир. У нас у самих танки. Глупый ты, дурак. И сам ты все знаешь, а сам нарочно спрашивает, спрашивает...

Толька покраснел и, презрительно фыркнув, отвернулся от Владика.

— Ну и пусть глупый! Пусть знаю,— спокойнее продолжал Владик.— Ну, а если бы? Тогда бы мы с тобой как?

— Тогда бы и придумали,— вздохнул Толька.

— Что там придумывать? — быстро заговорил Владик.— Ушли бы мы с тобой в горы, в леса. Собрали бы отряд, и всю жизнь, до самой смерти, нападали бы мы на белых и не изменили, не сдались бы никогда. Ни-

когда! — повторил он, прищуривая блестящие серые глаза.

Это становилось интересным. Толька приподнялся на локтях и повернулся к Владику.

— Так бы всю жизнь одни и прожили в лесах? — спросил он, подвигаясь поближе.

— Зачем одни? Иногда бы мы с тобой переодевались и пробирались потихоньку в город за приказами. Потом к рабочим. Ведь всех рабочих они все равно не перевешают. Кто же тогда работать будет — сами буржуи, что ли? Потом во время восстания бросились бы все мы к городу, грохнули бы бомбами в полицию, в белогвардейский штаб, в ворота тюрьмы, во дворцы к генералам, к губернаторам. Смелее, товарищи! Пусть грохает.

— Что-то уж очень много грохает! — засомневался Толька.— Так, пожалуй, и все дома закачаются.

— Пусть качаются,— ответил Владик.— Так им и надо.

— Тише, Владик! — зашипел вдруг Толька и стиснул локоть товарища.— Смотри, Владик, кто это?

Из-за кустов вышел незнакомый чернобородый человек.

В руках он держал что-то продолговатое, завернутое в бумагу. По-видимому, он очень торопился. Оглядываясь по сторонам, он постоял некоторое время не двигаясь, потом уверенно раздвинул кустарники и исчез в черной дыре, из которой еще только совсем недавно выбрались ребятишки.

Не позже чем через пять-шесть минут он вылез обратно и поспешно скрылся в кустах.

Озадаченные ребята молча переглянулись, потихоньку соскользнули вниз и, осторожно пригибаясь, выскочили на тропку.

Здесь-то и встретили они возвращавшегося от Гитаевича Сергея, который и приказал им передать записку начальнику лагеря.

— Ты знаешь, где мой папа? — спросил Алька, перед тем как лечь спать.— У него случилась какая-то беда. Он сел на коня и уехал в горы.

Алька подумал, повертелся под одеялом и неожиданно спросил:

— А у тебя, Натка, случалась когда-нибудь беда?

— Нет, не случалась,— не совсем уверенно ответила Натка.— А у тебя, Алька?

— У меня? — Алька запнулся.— А у меня, Натка, очень, очень большая случилась. Только я тебе про нее не сейчас расскажу.

«У него умерла мать»,— почему-то подумала Натка, и, чтобы он не вспоминал об этом, она села на край кровати и рассказала ему смешную историю о толстой кошке, которую обманул хитрый заяц.

— Спи, Алька,— сказала Натка, закончив рассказ.— Уже поздно.

Но Альке что-то не спалось.

— Ну, расскажи мне сам что-нибудь,— попросила Натка.— Расскажи какую-нибудь историю.

— Я не знаю истории,— подумав, ответил Алька.— Я знаю одну сказку. Очень хорошая сказка. Только это не такая... не про кошек и не про зайцев. Это военная, смелая сказка.

— Расскажи мне, Алька, смелую военную сказку,— попросила Натка, и, потушив свет, она подсела к нему поближе.

Тогда, усевшись на подушку, Алька рассказал ей сказку про гордого Мальчиша-Кибальчиша, про измену, про твердое слово и про неразгаданную Военную Тайну.

Потом он уснул, но Натка долго еще ворочалась, обдумывая эту странную Алькину сказку.

Было уже очень поздно, когда далекий, но сильный гул ворвался в открытое настежь окно, как будто бы ударили в море залпом могучие, тяжелые батареи.

Натка вздрогнула, но тут же вспомнила, что еще с вечера всех вожатых предупредили, что если ночью в горах будут взрывы, то пусть не пугаются — это так надо.

Она быстро прошла в палату.

Однако набегавшиеся за день ребята продолжали крепко спать, и только трое или четверо подняли головы, испуганно прислушиваясь к непонятному грохоту. Успокоив их, Натка пошла к себе. Распахнув дверь, она увидела, что, ухватившись за спинку кровати, Алька стоит на подушке и смотрит широко открытыми, но еще сонными глазами.

— Что это? — спросил он тревожным полушепотом.

— Спи, Алька, спи! — быстро ответила Натка, укла-

дывая его в постель.— Это ничего... Это твой папа поправляет беду.

— А, папа...— уже закрывая глаза, с улыбкой повторил Алька и почти тотчас же заснул.

Ребята-октябрята были самым дружным народом в отряде. Держались они всегда стайкой: петь так петь, играть так играть. Даже реву задавали они и то не поодиночке, а сразу целым хором, как это было на днях, когда их не взяли на экскурсию в горы.

К полудню Натка увела их на поляну, к сосновой роще, потому что звеньевой октябрят Роза Ковалева была в этот день помощником дежурного по лагерю.

Едва только Натка опустилась на траву, как октябрята с криком бросились занимать места поближе и быстро раскинулись вокруг нее веселой босоногой звездочкой.

— Расскажи, Натка!

— Почитай, Натка!

— Покажи картинки!

— Спой, Натка! — на все голоса закричали октябрята, протягивая ей книжки, картинки и даже неизвестно для чего подсовывая прорванный барабан и сломанное чучело полинялой бесхвостой птицы.

— Расскажи, Натка, интересное,— попросил обиженно октябренок Карасиков.— А то вчера Роза обещала рассказать интересное, а сама рассказала, как мыть руки да чистить зубы. Разве же это интересное?

— Расскажи, Натка, сказку,— попросила синеглазая девчурка и виновато улыбнулась.

— Сказку? — задумалась Натка.— Я что-то не знаю сказок. Или нет... я расскажу вам Алькину сказку. Можно? — спросила она у насторожившегося Альки.

— Можно,— позволил Алька, горделиво посматривая на притихших октябрят.

— Я расскажу Алькину сказку своими словами. А если я что-нибудь позабыла или скажу не так, то пусть он меня поправит. Ну вот, слушайте!

В те дальние-дальние годы, когда только что отгремела по всей стране война, жил да был Мальчиш-Кибальчиш.

В ту пору далеко прогнала Красная Армия белые

войска проклятых буржуинов, и тихо стало на тех широких полях, на зеленых лугах, где рожь росла, где гречиха цвела, где среди густых садов да вишневых кустов стоял домишко, в котором жил Мальчиш, по прозванию Кибальчиш, да отец Мальчиша, да старший брат Мальчиша, а матери у них не было.

Отец работает — сено косит. Брат работает — сено возит. Да и сам Мальчиш то отцу, то брату помогает или просто с другими мальчишами прыгает да балуется.

Гоп!.. Гоп!.. Хорошо! Не визжат пули, не грохают снаряды, не горят деревни. Не надо от пуль на пол ложиться, не надо от снарядов в погреба прятаться, не надо от пожаров в лес бежать. Нечего буржуинов бояться. Некому в пояс кланяться. Живи да работай — хорошая жизнь!

Вот однажды — дело к вечеру — вышел Мальчиш-Кибальчиш на крыльцо. Смотрит он — небо ясное, ветер теплый, солнце к ночи за Черные Горы садится. И все бы хорошо, да что-то нехорошо. Слышится Мальчишу, будто то ли что-то гремит, то ли что-то стучит. Чудится Мальчишу, будто пахнет ветер не цветами с садов, не медом с лугов, а пахнет ветер то ли дымом с пожаров, то ли порохом с разрывов. Сказал он отцу, а отец усталый пришел.

— Что ты? — говорит он Мальчишу.— Это дальние грозы гремят за Черными Горами. Это пастухи дымят кострами за Синей Рекой, стада пасут да ужин варят. Иди, Мальчиш, и спи спокойно.

Ушел Мальчиш. Лег спать. Но не спится ему — ну, никак не засыпается. Вдруг слышит он на улице топот, у окон — стук. Глянул Мальчиш-Кибальчиш, и видит он, стоит у окна всадник. Конь — вороной, сабля — светлая, папаха — серая, а звезда — красная.

— Эй, вставайте! — крикнул всадник.— Пришла беда, откуда не ждали. Напал на нас из-за Черных Гор проклятый буржуин. Опять уже свистят пули, опять уже рвутся снаряды. Бьются с буржуинами наши отряды, и мчатся гонцы звать на помощь далекую Красную Армию.

Так сказал эти тревожные слова краснозвездный всадник и умчался прочь. А отец Мальчиша подошел к стене, снял винтовку, закинул сумку и надел патронташ.

— Что же,— говорит старшему сыну,— я рожь густо

сеял — видно, убирать тебе много придется. Что же,— говорит он Мальчишу,— я жизнь круто прожил, и пожить за меня спокойно, видно, тебе, Мальчиш, придется.

Так сказал он, крепко поцеловал Мальчиша и ушел. А много ему расцеловываться некогда было, потому что теперь уже всем и видно и слышно было, как гудят за лугами взрывы и горят за горами зори от зарева дымных пожаров...

— Так я говорю, Алька? — спросила Натка, оглядывая притихших ребят.

— Так... так, Натка,— тихо ответил Алька и положил свою руку на ее загорелое плечо.

— Ну вот... День проходит, два проходит. Выйдет Мальчиш на крыльцо: нет... не видать еще Красной Армии. Залезет Мальчиш на крышу. Весь день с крыши не слезает. Нет, не видать. Лег он к ночи спать. Вдруг слышит он на улице топот, у окошка — стук. Выглянул Мальчиш: стоит у окна тот же всадник. Только конь худой да усталый, только сабля погнутая, темная, только папаха простреленная, звезда разрубленная, а голова повязанная.

— Эй, вставайте! — крикнул всадник.— Было полбеды, а теперь кругом беда. Много буржуинов, да мало наших. В поле пули тучами, по отрядам снаряды тысячами. Эй, вставайте, давайте подмогу!

Встал тогда старший брат, сказал Мальчишу:

— Прощай, Мальчиш... Остаешься ты один... Щи в котле, каравай на столе, вода в ключах, а голова на плечах... Живи как сумеешь, а меня не дожидайся.

День проходит, два проходит. Сидит Мальчиш у трубы на крыше и видит Мальчиш, что скачет издалека незнакомый всадник.

Доскакал всадник до Мальчиша, спрыгнул с коня и говорит:

— Дай мне, хороший Мальчиш, воды напиться. Я три дня не пил, три ночи не спал, три коня загнал. Узнала Красная Армия про нашу беду. Затрубили трубачи во все сигнальные трубы. Забили барабанщики во все громкие барабаны. Развернули знаменосцы боевые знамена. Мчится и скачет на помощь вся Красная Армия. Только бы нам, Мальчиш, до завтрашней ночи продержаться.

Слез Мальчиш с крыши, принес напиться. Напился гонец и поскакал дальше.

Вот приходит вечер, и лег Мальчиш спать. Но не спится Мальчишу — ну, какой тут сон?

Вдруг он слышит на улице шаги, у окошка — шорох. Глянул Мальчиш и видит, стоит у окна все тот же человек. Тот, да не тот: и коня нет — пропал конь, и сабли нет — сломалась сабля, и папахи нет — слетела папаха, да и сам-то стоит — шатается.

— Эй, вставайте! — закричал он в последний раз.— И снаряды есть, да стрелки побиты. И винтовки есть, да бойцов мало. И помощь близка, да силы нету. Эй, вставайте, кто еще остался! Только бы нам ночь простоять да день продержаться.

Глянул Мальчиш-Кибальчиш на улицу: пустая улица. Не хлопают ставни, не скрипят ворота — некому вставать. И отцы ушли, и братья ушли — никого не осталось.

Только видит Мальчиш, что вышел из ворот один старый дед во сто лет. Хотел дед винтовку поднять, да такой он старый, что не поднимет. Хотел дед саблю нацепить, да такой он слабый, что не нацепит.

Сел тогда дед на завалинку, опустил голову и заплакал.

— Так я говорю, Алька? — спросила Натка, чтобы перевести дух, и оглянулась.

Уже не одни октябрята слушали эту Алькину сказку. Кто его знает, когда подползло бесшумно все пионерское Иоськино звено. И даже башкирка Эмине, которая только едва понимала по-русски, сидела задумавшаяся и серьезная. Даже озорной Владик, который лежал поодаль, делая вид, что он не слушает, на самом деле слушал, потому что лежал тихо, ни с кем не разговаривая и никого не задевая.

— Так, Натка, так... Еще лучше, чем так,— ответил Алька, подвигаясь к ней еще поближе.

— Ну вот... Сел на завалинку старый дед, опустил голову и заплакал.

Больно тогда Мальчишу стало. Выскочил тогда Мальчиш-Кибальчиш на улицу и громко-громко крикнул:

— Эй же вы, мальчиши, мальчиши-малыши! Или нам, мальчишам, только в палки играть да в скакалки скакать? И отцы ушли, и братья ушли. Или нам, мальчишам, сидеть дожидаться, чтоб буржуины пришли и забрали нас в свое проклятое буржуинство?

Как услышали такие слова мальчиши-малыши, как заорут они на все голоса! Кто в дверь выбегает, кто в окно вылезает, кто через плетень скачет.

Все хотят идти на подмогу. Лишь один Мальчиш-Плохиш захотел идти в буржуинство. Но такой был хитрый этот Плохиш, что никому ничего он не сказал, а подтянул штаны и помчался вместе со всеми, как будто бы на подмогу.

Бьются мальчиши от темной ночи до светлой зари. Лишь один Плохиш не бьется, а все ходит да высматривает, как бы это буржуинам помочь. И видит Плохиш, что лежит за горкой громада ящиков, а спрятаны в тех ящиках черные бомбы, белые снаряды да желтые патроны. «Эге,— подумал Плохиш,— вот это мне и нужно».

А в это время спрашивает Главный Буржуин у своих буржуинов:

— Ну что, буржуины, добились вы победы?

— Нет, Главный Буржуин,— отвечают буржуины,— мы отцов и братьев разбили, и совсем была наша победа, да примчался к ним на подмогу Мальчиш-Кибальчиш, и никак мы с ним все еще не справимся.

Очень удивился и рассердился тогда Главный Буржуин, и закричал он грозным голосом:

— Может ли быть, чтобы не справились с Мальчишем? Ах вы, негодные трусищи-буржуищи! Как это вы не можете разбить такого маловатого? Скачите скорей и не возвращайтесь назад без победы.

Вот сидят буржуины и думают: что же это такое им сделать? Вдруг видят: вылезает из-за кустов Мальчиш-Плохиш и прямо к ним.

— Радуйтесь! — кричит он им.— Это все я, Плохиш, сделал. Я дров нарубил, я сена натащил, и зажег я все ящики с черными бомбами, с белыми снарядами да с желтыми патронами. То-то сейчас грохнет!

Обрадовались тогда буржуины, записали поскорее Мальчиша-Плохиша в свое буржуинство и дали ему целую бочку варенья да целую корзину печенья.

Сидит Мальчиш-Плохиш, жрет и радуется.

Вдруг как взорвались зажженные ящики! И так грохнуло, будто бы тысячи громов в одном месте ударили и тысячи молний из одной тучи сверкнули.

— Измена! — крикнул Мальчиш-Кибальчиш.

— Измена! — крикнули все его верные мальчиши

Но тут из-за дыма и огня налетела буржуинская сила, и скрутила и схватила она Мальчиша-Кибальчиша.

Заковали Мальчиша в тяжелые цепи. Посадили Мальчиша в каменную башню. И помчались спрашивать: что же с пленным Мальчишем прикажет теперь Главный Буржуин делать?

Долго думал Главный Буржуин, а потом придумал и сказал:

— Мы погубим этого Мальчиша. Но пусть он сначала расскажет нам всю их Военную Тайну. Вы идите, буржуины, и спросите у него:

— Отчего, Мальчиш, бились с Красной Армией Сорок Царей да Сорок Королей, бились, бились, да только сами разбились?

— Отчего, Мальчиш, и все тюрьмы полны, и все каторги забиты, и все жандармы на углах, и все войска на ногах, а нет нам покоя ни в светлый день, ни в темную ночь?

— Отчего, Мальчиш, проклятый Кибальчиш, и в моем Горном Буржуинстве, и в другом — Равнинном Королевстве, и в третьем — Снежном Царстве, и в четвертом — Знойном Государстве в тот же день в раннюю весну и в тот же день в позднюю осень на разных языках, но те же песни поют, в разных руках, но те же знамена несут, те же речи говорят, то же думают и то же делают?

Вы спросите, буржуины:

— Нет ли, Мальчиш, у Красной Армии военного секрета?

И пусть он расскажет секрет.

— Нет ли у наших рабочих чужой помощи?

И пусть он расскажет, откуда помощь.

— Нет ли, Мальчиш, тайного хода из вашей страны во все другие страны, по которому, как у вас кликнут, так у нас откликаются, как у вас запоют, так у нас подхватывают, что у вас скажут, над тем у нас задумаются?

Ушли буржуины, да скоро назад вернулись:

— Нет, Главный Буржуин, не открыл нам Мальчиш-Кибальчиш Военной Тайны. Рассмеялся он нам в лицо.

— Есть,— говорит он,— и могучий секрет у крепкой Красной Армии. И когда б вы ни напали, не будет вам победы.

— Есть,— говорит,— и неисчислимая помощь, и, сколько бы вы в тюрьмы ни кидали, все равно не перекидаете, и не будет вам покоя ни в светлый день, ни в темную ночь.

— Есть,— говорит,— и глубокие тайные ходы. Но сколько бы вы ни искали, все равно не найдете. А и нашли бы, так не завалите, не заложите, не засыплете. А больше я вам, буржуинам, ничего не скажу, а самим вам, проклятым, и ввек не догадаться.

Нахмурился тогда Главный Буржуин и говорит:

— Сделайте же, буржуины, этому скрытному Мальчишу-Кибальчишу самую страшную Муку, какая только есть на свете, и выпытайте от него Военную Тайну, потому что не будет нам ни житья, ни покоя без этой важной Тайны.

Ушли буржуины, а вернулись теперь они не скоро. Идут и головами покачивают.

— Нет,— говорят они,— начальник наш Главный Буржуин. Бледный стоял он, Мальчиш, но гордый, и не сказал он нам Военной Тайны, потому что такое уж у него твердое слово. А когда мы уходили, то опустился он на пол, приложил ухо к тяжелому камню холодного пола, и, ты поверишь ли, о Главный Буржуин, улыбнулся он так, что вздрогнули мы, буржуины, и страшно нам стало, что не услышал ли он, как шагает по тайным ходам наша неминучая погибель?..

— Это не по тайным... это Красная Армия скачет! — восторженно крикнул не вытерпевший октябренок Карасиков.

И он так воинственно взмахнул рукой с воображаемой саблей, что та самая девчонка, которая еще недавно, подскакивая на одной ноге, безбоязненно дразнила его «Карасик-ругасик», недовольно взглянула на него и на всякий случай отодвинулась подальше.

Тут Натка оборвала рассказ, потому что издалека раздался сигнал к обеду.

— Досказывай,— повелительно произнес Алька, сердито заглядывая ей в лицо.

— Досказывай,— убедительно произнес раскрасневшийся Иоська.— Мы за это быстро построимся.

Натка оглянулась. Никто из ребятишек не поднимался. Она увидела много-много ребячьих голов — белокурых, темных, каштановых, золотоволосых. Отовсюду на

нее смотрели глаза — большие, карие, как у Альки, ясные, васильковые, как у той синеглазой, что попросила сказку, узкие, черные, как у Эмине, и много-много других глаз — обыкновенно веселых и озорных, а сейчас задумчивых и серьезных.

— Хорошо, ребята, я доскажу.

...— И стало нам страшно, Главный Буржуин, что не услышал ли он, как шагает по тайным ходам наша неминучая погибель?

— Что это за страна? — воскликнул тогда удивленный Главный Буржуин.— Что же это такая за непонятная страна, в которой даже такие малыши знают Военную Тайну и так крепко держат свое твердое слово? Торопитесь же, буржуины, и погубите этого гордого Мальчиша. Заряжайте же пушки, вынимайте сабли, раскрывайте наши буржуинские знамена, потому что слышу я, как трубят тревогу наши сигнальщики и машут флагами наши махальщики. Видно, будет у нас сейчас не легкий бой, а тяжелая битва.

— И погиб Мальчиш-Кибальчиш...— произнесла Натка.

При этих неожиданных словах лицо у октябренка Карасикова сделалось вдруг печальным, растерянным, и он уже не махал рукой. Синеглазая девчурка нахмурилась, а веснушчатое лицо Иоськи стало злым, как будто его только что обманули или обидели. Ребята заворочались, зашептались, и только Алька, который знал уже эту сказку, один сидел спокойно.

— Но... видели ли вы, ребята, бурю? — громко спросила Натка, оглядывая приумолкших ребят.— Вот так же, как громы, загремели боевые орудия. Так же, как молния, засверкали огненные взрывы. Так же, как ветры, ворвались конные отряды, и так же, как тучи, пронеслись красные знамена. Это так наступала Красная Армия.

А видели ли вы проливные грозы в сухое и знойное лето? Вот так же, как ручьи, сбегая с пыльных гор, сливались в бурливые, пенистые потоки, так же при первом грохоте войны забурлили в Горном Буржуинстве восстания, и откликнулись тысячи гневных голосов и из Равнинного Королевства, и из Снежного Царства, и из Знойного Государства.

И в страхе бежал разбитый Главный Буржуин, громко проклиная эту страну с ее удивительным народом, с

ее непобедимой армией и с ее неразгаданной Военной Тайной.

А Мальчиша-Кибальчиша схоронили на зеленом бугре у Синей Реки. И поставили над могилой большой красный флаг.

Плывут пароходы — привет Мальчишу!
Пролетают летчики — привет Мальчишу!
Пробегут паровозы — привет Мальчишу!
А пройдут пионеры — салют Мальчишу!

Вот вам, ребята, и вся сказка.

...Рано утром, когда большая вода уже схлынула, к Сергею подбежал десятник Дягилев. Он запыхался и оттолкнул старика татарина, который тихо и бестолково жаловался Сергею на то, что его обсчитали:

— Нет, вы подумайте! Ну и народ! Головы им рвать надо... Где Шалимов? Скажите, Сергей Алексеевич, чтобы этого черта Шалимова сейчас же сюда позвали.

— Зачем черта? Зачем ругаешься? — раздался из-за кустов равнодушный голос Шалимова.— Ты дело говори, а то кричит-пищит, как петух под лисицей. Ну, на что тебе нужен Шалимов?

— Ночью замок сорвали,— плачущим голосом объяснил Дягилев.— Начисто. Вместе с пробоем. Ружье украли, двустволку. Шкатулка запертая стояла. В ней шестьдесят рублей казенных денег, документы, ведомости, расписки. Что же это такое, Сергей Алексеевич? — недоуменно разводя руками, спросил Дягилев.

И, обернувшись к кучке насторожившихся татар, он погрозил кулаком.

— Зачем кулаком махаешь? — все так же невозмутимо переспросил Шалимов.— Воры есть русские, воры есть татары. Всякие есть воры. Зачем, пустой человек, зря кулаком махать?

Шалимов сердито вздернул брови и укоризненно добавил:

— Вон татары землю копают, а вон твой русский идет, водки напился. Разве хороший человек с утра напивается?

И точно, подошел вдрызг пьяный дядёк и, неуклюже погрозив Шалимову, бессмысленно рассмеялся.

— Спать, спать иди! — ловко выпирая пьяного, прикрикнул смутившийся Дягилев.— И что за народ! Что за народ! — скороговоркой докончил он и беспомощно махнул рукой.

Сергей приказал рыть к скату метровую канаву и рубить крепежные стойки. Он обернулся, отыскивая того старика, который жаловался, что его обсчитали, но старика уже нигде не было. Тогда вместе с Дягилевым он пошел вниз, к дощатому бараку, где помещалась десятниковская конторка.

Рассерженный Дягилев ругал теперь и русских, и татар, и всех, кого попало.

— Как хотите, Сергей Алексеевич, а работать я, право, не согласен. Пусть Шалимов остается. Мотаешься, мотаешься... Всюду ругань, всем не так. А тут еще вон что!

Ни дягилевской двустволки, ни шестидесяти рублей Сергею не было жалко, но он крепко досадовал, что вместе с денежной шкатулкой пропали ведомости и документы.

Он приказал заявить в милицию, а сам, протирая сонные глаза, вышел из барака.

По пути на первый участок Сергей опять увидел все того же пьяного. Пьяный этот стоял, прислонившись к выступу, и нескладно пел про субботу и про день ненастный, когда нельзя в поле работать. Сергей хотел подойти и спросить, что за беда и почему человек напился спозаранку. Но пьяный тут же свалился под кусты и заснул.

На первом участке работа шла своим чередом. Здесь молодой вихрастый бригадир огорченно рассказывал, что сто восемьдесят метров желоба уже проложено и что было бы больше, да, опасаясь прорыва воды, всю ночь они перетаскивали материалы в гору.

Сергей пообещал прислать от Дягилева пару лошадей и десяток чернорабочих.

Выбравшись на берег под горячее солнце, Сергей почувствовал, что ему крепко хочется спать, но надо было еще повидать Альку. Из-за Альки он взял этот отпуск. Из-за Альки он согласился проследить за работами по прокладке водопровода. И все-таки с Алькой приходилось встречаться ему редко. Сама работа была пустяковая. Но все что-то не ладилось. Например, совсем недавно, перед его приездом, пропало сорок лопат. И вовсе уж

бестолково вынули двести кубометров земли не оттуда, откуда было надо.

Сергей наскоро выкупался, вымыл грязные сапоги, одернул помятый френч и пошел к лагерю.

За обедом звеньевой Иоська спросил у Владика, почему тот вчера не был ни на спортивном кружке, ни на отрядной площадке.

Насторожившийся Владик открыл рот, чтобы сразу соврать, будто бы он работал в мастерской. Но тут, как назло, раздавая мороженое, подошел дежурный по столу пионер Башкатов, а при нем никак нельзя было соврать, потому что он сам вчера в мастерской был за старшего.

Чтобы замять разговор, Владик быстро повернулся и как бы нечаянно опрокинул Иоськину вазочку с мороженым. Но это вышло неловко, и всем было видно, что опрокинул Владик нарочно.

— Хулиган! — рассердился Иоська и быстро выхватил из рук Башкатова то мороженое, которое Башкатов протягивал Владику.

Все рассмеялись, а Владик рванул вазочку, и мороженое плюхнулось в салатник.

Поднялся шум, чуть не драка, а кончилось тем, что подошел дежурный по лагерю и Владика с позором выставили из-за стола.

Обозленный Владик показал Иоське кулак и тотчас же ушел прочь.

Сразу же после обеда Натка отправилась к берегу, в штаб. Там на сегодня был назначен совет вожатых — готовились к общелагерному костру третьей смены, который был назначен на послезавтра.

Во время перерыва Алеша Николаев спросил:

— Что это, Шегалова, ребята сегодня все время гудят, спорят... Сказка, сказка... Я что-то ничего не понял. Про что ты им рассказывала?

— Сказку, Алеша, рассказывала. Хорошая сказка.

— Отчего вздумалось тебе рассказывать сказку? Ну, рассказала бы что-нибудь про настоящее. Вот, например, читала ты, опять пионер предотвратил железнодорожное крушение? Взяла бы и рассказала.

— Рассказала уже,— рассмеявшись, ответила Натка.— Ну, говорят, шел, ну, увидел, что у рельсы гайка

развинтилась, ну, побежал и сказал сторожу. Это что! Так и каждый из нас обязательно сделал бы. А ты вот послушай... «Заковали Мальчиша в тяжелые цепи. Посадили Мальчиша в каменную башню. И помчались спрашивать: что же теперь Главный Буржуин прикажет с пленным Мальчишем делать?»

— Черт тебя знает, что ты городишь, Натка! — перебил ее Алеша.— Какой Главный Буржуин? Кого заковали?

— Мальчиша заковали! — настойчиво повторила Натка. И тотчас же успокоила: — А про крушение я еще раз обязательно расскажу. Сама знаю... транспорт, грузопотоки... Первый год, что ли? — И, неожиданно улыбнувшись, она повторила:— «Плывут пароходы — привет Мальчишу! Бегут паровозы — привет Мальчишу!» Это тебе что! Не транспорт, что ли? А пройдут, Алеша, пионеры — салют Мальчишу! Эх ты... гайка! — рассмеявшись, закончила Натка, и, схватив Алешу за руку, она потащила его на крыльцо, мимо которого шумно волокли на площадку новый огромный плакат.

После совещания Натка вспомнила, что еще не готовы к празднику костюмы для отрядных танцорок. На складе она выбрала охапку ярких лоскутьев, связку разноцветных лент и сверток глянцевой бумаги.

Чтобы не возвращаться круговой дорогой, она прошла напрямик. Но вышло не совсем ладно. Кустарник вскоре сомкнулся так плотно, что Натке приходилось поминутно останавливаться, а бесчисленные случайные тропки петляли и разбегались совсем не туда, куда было надо.

Вдруг что-то больно царапнуло пониже колена. Натка охнула и увидела, что это колючая проволока.

— Я вас, бездельники! Я вот вас хворостиной!— раздался грозный голос.

Кусты за изгородью раздвинулись, и перед Наткой оказался распоясанный, босоногий Гейка.

Увидав нагруженную поклажей Натку, Гейка сконфузился и, насупившись, объяснил:

— Сторож в баню пошел, а ребятишки в сад лазят. Груши еще вовсе зеленые, твердые — кабан не раскусит. Все равно лезут. Вечор двоих ваших поймал. «Стыдно! — говорю.— Вас, голоштанных, и пирожными кормят и мороженым. Всякие вам повара, доктора, а вы вон что!»

По-настоящему надо бы их крапивой, да вижу — скраснели. Такие негодники! Отобрал я у них зеленые груши, дал по спелому яблоку. Все одно стоят и молчат. «Ладно,— говорю им,— бегите. Эх вы... босоногая диктатура!»

Гейка улыбнулся. Он показал Натке дорогу, постоял, глядя ей вслед, и, все еще продолжая чему-то улыбаться, с шумом исчез за кустами.

Натка взобралась на бугор, нырнула в орешник и, услышав голоса, раздвинула ветви. Перед ней оказалась небольшая обрывистая поляна, и здесь, не дальше чем в десяти шагах, лежали Сергей и Алька.

Конечно, надо было незаметно отойти, но, как назло, концы цветных лоскутьев запутались в колючках, и теперь Натка стояла, боясь шелохнуться, чтобы не заметили и не подумали, будто она прячется нарочно.

— Папка,— предложил Алька,— знаешь, давай споем нашу любимую песню. То ты уедешь, то ты приедешь, а мы не поем да не поем.

— Спой лучше один, Алька. Я ночью на работе сто раз кричал, ругался, и у меня горло охрипло.

— А ты бы без крику,— посоветовал Алька.— Ну давай начинай, и я тоже.

Это была хорошая песня. Это была песня о заводах, которые восстали*, об отрядах, которые, шагая в битву, смыкались все крепче и крепче, и о героях-товарищах, которые томились в тюрьмах и мучились в холодных застенках.

И странно: теперь, когда на пустой полянке смешной октябренок Алька, подергивая отца за рукав и покачивая в такт головой, звонко распевал эту замечательную песню, вдруг показалось Натке, что все хорошо и что работать ей весело.

Вот-вот, поднимая ребят, ударит колокол, и с шумом, с визгом сорвется с постелей весь ее неугомонный отряд. А Владик с Толькой, вероятно, уже и так проснулись и в ожидании сигнала ерзают, сорванцы, по койкам и, конечно, мешают другим спать.

«А много нашего советского народа вырастает»,—прислушиваясь к песне, подумала Натка. Выдергивая зацепившийся лоскут, она обломала ветку и испуганно притихла.

— Папка,— заглядывая Сергею в лицо, спросил Алька,— отчего это, когда мы поем «Заводы, вставайте»

и «шеренги смыкайте», то все хорошо и хорошо. А вот как допоем до «товарищей в тюрьмах, в застенках холодных», то ты всегда лежишь и глаза жмуришь.

— Отчего же всегда? — ответил Сергей.— Солнце в глаза светит, оттого и жмурю.

— А когда луна? — помолчав немного, переспросил Алька.

— А когда луна, то от луны. Вот какой ты чудак, Алька!

— А когда ни солнце, ни звезды, ни луна? — громко и уже настойчиво повторил Алька.— Я и сам знаю почему.

Он вскочил, протянул руку, показывая куда-то под обрыв, вниз, на серые камни. Молча взглянул на отца и быстро поднял руку, точно отдавая салют чему-то такому, чего удивленная Натка так и не смогла увидеть.

Натка подвинулась. Из-под ее ног с шумом покатились камешки. Алька обернулся, и теперь Натке уже не оставалось ничего, кроме как спрыгнуть навстречу.

— Это и есть она самая! — закричал Алька, глядя на запутавшуюся в цветных лентах и лоскутьях девушку.

— Наташа? — догадался Сергей.

— Я и есть самая,— подтвердила Натка.

— Ну, что Алька?

— Бегает, балуется. Такой...— Натка запнулась,— такой малыш. Не дергай, Алька, за ленты. Мы из них к празднику Эмине костюм сделаем. Вы еще с нею не поссорились?

— Нет, не поссорились,— ответил Алька.— Это мы с Васькой Бубякиным уже подрались. Он берет, а я не даю. Он говорит: дай! А я — не дам. Он меня — раз. А я его — раз, раз тоже. Только мы уже опять два раза помирились.

И, обернувшись к отцу, Алька объяснил:

— Эмине — это маленькая девчонка такая веселая... башкирка. Сегодня плаксун Карасиков стал реветь: муу! муу! Она подпрыгнула, хохочет, скачет около него на одной ноге да по-башкирскому дразнится: тыр-быр-тыр, бур-тыр-тыр... Да быстро так, а сама все скачет, скачет. Очень хорошая башкирка. Только боится, когда ее за пятки схватишь: орет на всю палату.

Издалека загудел сигнальный колокол. Натка заторопилась:

— Алька ко мне? Или вы его с собой возьмете?

— Нет, не с собою,— ответил, поднимаясь, Сергей.— Пойду отдохну, потом к озеру, а с утра в Ялту. Ну, бегите. Значит, послезавтра увидимся.

— Обязательно послезавтра,— приказал Алька.— Вечером будет костер, музыка, а потом... Нет, лучше не скажу. Придешь, тогда сам увидишь.

Они убежали.

Сергей постоял, подошел к обрыву, куда только что молча показывал Алька. Он поглядел вниз и тоже улыбнулся, как будто бы и он что-то видел там, меж глыбами серого, влажного камня.

Потом он свистнул, одернул ремень и зашагал вниз, на ходу припоминая, что надо послать на первый участок обещанных лошадей и надо разыскать того старика татарина, который жаловался, что его обсчитали.

Бригадиру Шалимову Сергей верил не очень.

На другой день, сразу же после завтрака, Тольку Шестакова отослали за краской на нижний склад. Толька подмигнул Владику, чтобы Владик подождал.

Но на складе, как нарочно, пришлось долго стоять в очереди. Все отряды спешно заканчивали предпраздничные работы. То и дело подбегали гонцы и требовали проволоки, шпагата, бумаги, краски, кумачу, фонарей, свечей, гвоздей. Все торопились, и всем было некогда.

Когда Толька наконец вернулся в отряд, оказалось, что куда-то исчез Владик.

Толька носился туда и сюда, рыскал по всем углам и до того намозолил всем глаза, что Натка засадила его приколачивать мелкими гвоздиками золотую каемку по краям пятиконечной звезды.

Едва Толька уселся, как откуда-то вынырнул Владик, который никуда далеко не уходил, а нарочно, чтобы дождаться друга, прошмыгнул вне очереди принимать ванну.

С досады и чтобы поскорее им освободиться, Владик тоже вызвался приколачивать гвоздики. Но хитрая Натка сразу смекнула, что от такой работы толку будет мало, и, всучив Владику целую кипу маленьких флажков, приказала тащить их вниз и сдать дежурному по главной лагерной площадке.

В другое время Владик обязательно заспорил бы, но

сейчас это было невыгодно: ему нужно было казаться послушным.

Сердито глянув на Тольку, он спокойно вышел, а очутившись за дверью, напролом через кустарник, через ручейки и овражки он помчался вниз, чтобы поскорей вернуться и, пользуясь предпраздничной суматохой, убежать с Толькой к развалинам старых башен.

Однако, когда взмокший Владик вернулся, Тольку он не застал. Оказывается, сразу же после ухода Владика Натка выругала Тольку за то, что он криво забивает гвоздики, и турнула его прочь. А обрадованный Толька тотчас же ринулся догонять Владика, но не напролом, а мимо сада, через мостик и дальше по тропке.

«Вот еще напасть!» — подумал огорченный Владик и сгоряча дал подзатыльник подвернувшемуся черкесёнку Ингулову. Но тут на помощь Ингулову выглянул здоровенный пионер, кубанец Лыбатько, и Владику пришлось уносить ноги подальше.

На поляне, под кипарисами, злой и усталый Владик наткнулся на Альку и октябренка Карасикова, которые копошились возле толстого чурбана, пытаясь спихнуть его под откос, в болотце.

Здесь Владик вспомнил, что и октябренку Карасикову надо дать щелчка: Карасиков утром наябедничал, что Владик запихал Баранкину под простыню жестяную мыльницу и платяную щетку.

Но тут оглянулся Алька и, спокойно глядя на грозное лицо Владика, попросил, чтобы он помог им сдвинуть тяжелый чурбан.

Такая смелая просьба Владику понравилась.

Через минуту чурбан с треском полетел вниз и, как бомба, плюхнулся в болотце, заставив разлететься во все стороны обалдевших лягушек.

— Ты хороший человек, Алька! — присаживаясь на траву, задумчиво проговорил Владик.

Алька улыбнулся и с любопытством посмотрел Владику в глаза.

— Ты хороший человек,— внезапно придумал Владик.— Жалко, что ты мал еще, а то я взял бы тебя к себе в товарищи. Мы бы залезли с тобой на самую высокую гору, стали бы с винтовками и сторожили бы оттуда всю страну.

— И я бы тоже залез,— обиженно вставил Карасиков,

который после того, как увидел, что щелчка не будет, осмелел и подвинулся поближе.

— Или нет,— охваченный новой фантазией и показывая Карасикову кукиш, продолжал Владик.— Я бы стоял с винтовкой, ты бы смотрел в подзорную трубу, а Толька сидел бы возле радиопередатчика. И чуть что — нажал ключ, и сразу искры, искры... тревога!.. тревога!.. Вставайте, товарищи!.. Тогда разом повсюду загудят гудки — паровозы, пароходы, сверкнут прожектора. Летчики — к самолетам. Кавалеристы — к коням. Пехотинцы — в поход. И рабочие бегут на заводы, и работницы бегут. Спокойней, товарищи! Нам не страшно!

— Я бы тоже побежал! — уныло завопил оскорбленный Карасиков.— Раз все бегут, значит, я тоже.

Этот жалобный возглас охладил Владика. Он сразу потух, остыл и продолжал уже негромко и насмешливо:

— А потом после боя вдруг вспомнил бы: а где это, братцы, наш герой Карасиков? Ни среди живых его нет, ни среди мертвых, ни среди раненых. А кто это ворочается в спальне под кроватью? Ах, это вы, гражданин Карасиков! Ах, вы умеете только языком болтать да ябедничать, как я Баранкину под простыню мыльницу да щетку запихал! Да раз ему за такие дела щелчка! Два щелчка! То-то, карасятина!

Не успел отщелканный Карасиков пикнуть, как озорной Владик уже исчез.

Карасиков хныкнул и вопросительно посмотрел на Альку.

— Ничего! — успокоил Алька.— Он тебе только два раза. А про все другое — это он нарочно. Там Красная Армия и без нас сторожит. Там не один часовой, а тысячи часовых, и все стоят и не шелохнутся.

— И я бы тоже не шелохнулся,— не уступал Карасиков.

— Нет, ты бы шелохнулся! — рассердился Алька.— Почему же вчера на утренней линейке все стоят смирно, а ты ворочался, ворочался... даже Натка заругалась?

— И вовсе не ворочался. Это оттого, что у меня шнурок оборвался и штаны вниз сползали,— обидчиво возразил Карасиков.

— А разве же у часовых сползают? — снисходительно усмехнулся Алька.— Эх, ты, хвастунишка!

Из-за кустов выскочил Иоська.

— Где вы запропастились? — размахивая руками, затараторил он.— Бегите скорее! В море катер! Сейчас встречать... Гости едут. Матросы!.. Ворошиловцы!..

Уже выбивали дробь барабанщики, трубили сигналисты, кричали звеньевые, и гулко в море заревела сирена причаливающего катера.

Это приплыли пионеры севастопольского военизированного лагеря — ворошиловцы.

В длинных черных брюках, в матросках с голубыми полосатыми воротниками, на подбор рослые, здоровые, они шагали быстро, уверенно, и видно было, что они крепко дорожат и гордятся своей выправкой и дисциплиной.

Среди них Владик увидел знакомого мальчишку и нетерпеливо крикнул ему:

— Мишка, здоро́во!

Но тот только повел глазами и чуть-чуть улыбнулся, как бы давая понять, что хотя он и сам рад, но все это потом, а сейчас он пионер, матрос, ворошиловец, в строю.

После ужина ребята получили новые трусы, безрукавки и галстуки. Везде было шумно, бестолково и весело.

Барабанщики подтягивали барабаны, горнисты отчаянно гудели на блестящих, как золото, трубах. На террасе взволнованная башкирка Эмине уже десятый раз легко взлетала по чужим плечам чуть не к потолку и, раскинув в стороны шелковые флажки, неумело, но задорно кричала:

— Привет старай гвардий от юнай смена!

На крыльце, рассевшись, как воробьи, громко и нестройно пели октябрята. Тут же рядом вспотевший Баранкин заколачивал последние гвозди в башенку фанерного танка, а прыткий Иоська вертелся около него, подпрыгивал, похваливал, поругивал и поторапливал, потому что танк надо было еще успеть выкрасить.

— Так, значит, завтра? — уговаривался Толька с Владиком.

— Сказано, завтра.

— И чтобы не получилось, как сегодня. Я туда — он сюда. Он сюда, а я туда. Как только приведут, скомандуют «разойдись», я сразу нырк, ты тоже. И на верхней тропке, возле беседки, встретимся.

— А если там кто-нибудь уже есть?

— Тогда шарах в кусты. Сиди да посвистывай.

— Я-то свистну! — усмехнулся Владик, и, щелкнув языком, он рассыпался такой оглушительной трелью, что Натка подозрительно посмотрела на этих друзей и погрозила пальцем.

Наступил вечер праздника.

При первом ударе колокола затихли песни, оборвались споры, прекратились игры, и все поспешней, чем обыкновенно, бросились к своим местам в строю.

— Ты не видала папу? — уже в третий раз спрашивал огорченный Алька у Натки.

— Нет, Алька, еще не видала. А ну, ребята, одернуть безрукавки, поправить галстуки. Как у тебя шнурок, Карасиков? Опять трусы сползать будут?

Пока ребята одергивали и оправляли друг друга, она успокоила Альку:

— Ты не печалься. Раз он сказал, что придет,— значит, придет. Наверно, на работе немного задержался.

На другом конце линейки разгневанный звеньевой Иоська ахал и прыгал возле насупившегося Баранкина.

— Сам танк заставлял красить, а теперь сам ругается,— хмуро оправдывался Баранкин.

— Так разве же я тебя галстуком заставлял красить? — возмущался Иоська.— И тут пятно, и там пятно. Эх, Баранкин, Баранкин! Ты бы хоть раньше сказал, а теперь и кладовая заперта и кастелянша ушла. Ну, что мне теперь делать, Баранкин?

— Раньше я пошел галстук горячей водой с мылом мыть, а сейчас, когда высохло, гляжу — опять на сухом видно. Я макнул кисть, вдруг кто-то меня толк под руку. Ну, вот и брызнуло. Разве же, когда человек работает, тогда толкаются? Я, когда человек работает, лучше его за сто шагов обойду, а толкать никак не буду.

— Значит, у беседки,— еще раз шепотом напомнил Толька.— Спички взял?

— Взял... Помалкивай,— тихо ответил Владик и неосторожно похлопал по заправленной в трусы безрукавке.

Неполный спичечный коробок брякнул, и звеньевой Иоська разом обернулся:

— Ты зачем спички взял? Нехорошо! Брось, Владик.

— А тебе что? — испуганно прошипел Владик.— Какие спички?

— Звено, Владик, ударное, а у одного галстук в краске, у другого спички спрятаны... Брось лучше. Стыдно! Да чего ты грозишься? А то не посмотрю, что товарищ, и скажу вожатой.

— Ну, говори... Провокатор!

Иоська отшатнулся. Доброе веснушчатое лицо перекосилось, губы дернулись, кулаки сжались. Но в это же самое мгновение снизу, от главного штаба, взвилась сигнальная ракета — «всем сбор». И от фланга к флангу раздалась громкая команда: «Внимание!»

Если бы это был не Иоська, а кто-либо другой, то, вероятно, несмотря на сигнал, несмотря на команду, позорная драка в строю была бы неминуема.

Но Иоська сразу опомнился, тяжело задышал и, медленно разжимая кулаки, стал в строй.

Все это случилось так быстро, что почти никто из ребят ничего не заметил.

Сразу же рассчитались, повернули направо и с дружной песней о юном барабанщике, слава о котором не умрет никогда, двинулись вниз.

Внизу, невдалеке от моря, с трех сторон окаймленная крутыми цветущими холмами, распласталась широкая лагерная площадка.

На скамьях, на табуретках, на скалистых уступах, на возвышенных зеленых лужайках расположились ребята, нетерпеливо ожидая, когда в конце праздника вспыхнет невиданно огромный костер, искусно выложенный в форме высокой пятиконечной звезды.

Условившись о месте сбора, ребята Наткиного отряда разбежались, каждый куда хотел.

Уже загремела музыка. Подплыла на моторке ялтинская делегация. Подошли летчики из военного санатория, и, неторопливо покачиваясь на седлах, подъехали старики татары из соседнего колхоза.

В толпе Натку окликнул знакомый ей комсомолец Картузиков.

— Ну что?.. Здóрово? — не останавливаясь, спросил он.— Приходи завтра на волейбол.— И уже издалека он крикнул: — Забыл... Там тебе письмо... спешное. На столе в дежурке лежит.

«Что за спешное? — с неудовольствием подумала Натка.— И от кого бы? От Верки только что было. Мать спешного посылать не станет. А больше будто бы и

неоткуда. Успею!» — подумала она и пошла туда, где танцующий хоровод ребят окружил смущенных летчиков.

Раскрасневшиеся летчики неумело маневрировали и так и этак, пытаясь вырваться из заколдованного круга. Стоило им сделать шаг, и веселый хоровод двигался вместе с ними. И так до тех пор, пока они не оказались припертыми к стенке беседки. Тут их расхватали, растащили и рассадили всех порознь, чтобы никому из ребят не было обидно.

Натка постояла, постояла и снова вспомнила о письме.

«А что, ведь успею еще и сейчас,— подумала она.— Добежать долго ли?»

Она одернула майку и, не отвечая ни на чьи вопросы, помчалась к дежурке.

И все-таки письмо оказалось от матери. Письмо было серьезное и бестолковое. Мать писала, что отца куда-то переводят надолго и отец обещает ехать всей семьей. Там будет квартира в три комнаты, огород и сарай. Езды туда целая неделя. И что отец ходит веселый, а пятилетний братишка Ванька еще веселей и уже разбил Наткину дареную чернильницу. И что она, мать, хотя не скучная, но и веселиться ей не с чего. Здесь жили, жили, а там еще кто знает? Сторона там чужая, и народ, говорят, не русский.

Два раза Натка прочла это письмо, но так и не поняла: кто переводит? Куда переводят? Какая сторона и какой народ?

Поняла она только одно: что мать просит ее приехать пораньше и в Москве, у дяди, никак не задерживаться.

Натка задумалась. Вдруг волны быстрой, веселой музыки, потом многоголосая знакомая песня рванулись через окно в пустую дежурку.

Натка сунула письмо за майку, выбежала и увидела с горки, что лагерный праздник уже гремит и сверкает сотнями огней.

Это проходили парадом физкультурники.

— Ты что пропала? Я тебя искал,— сердито спросил откуда-то выползший Алька.— Идем скорее, а то, пока я тебя искал, какой-то мальчишка сел на мою табуретку, и мне теперь нигде и ничего не видно.

Натка взяла его за руку и пробралась к тому краю, где стоял десяток свободных стульев.

— Туда нельзя,— остановил ее озабоченный Алеша Николаев.— Это места для шефов. И чего только опаздывают!

— Ну, что шефы! Придут — мы тогда уступим. Он же маленький, и ему ничего не видно, Алеша.

— Пусти одного, потом другой, потом третий...— ворчливо начал было Алеша, но не кончил, потому что на площадку с приветственным словом вышел летчик.

Не успел он дойти до середины, как все бесчисленные огни разом погасли, в темноте что-то зашипело, треснуло. Через две-три секунды высоко над площадкой вспыхнул огонек, и, поддерживаемая парашютом, повисла в воздухе маленькая серебристая модель аэроплана.

Тогда с земли, с лужаек, из-за кустов, из-за скалистых камней вырвался такой победно-торжествующий крик, что летчик недоуменно покачал головой и почти целую минуту молчал, не зная, как ему быть и с чего начать.

Но потом он выпрямился и слово за словом нашел такие простые, горячие слова, что все примолкли, притихли, а заслушавшийся Иоська, который и сам давно уже мечтал быть летчиком, нечаянно оступился и едва не полетел, но только не к далекому синему небу, а в глубокую канаву с колючками.

Потом выскочили девчонки — танцорки и физкультурницы, и тут же сразу случилась заминка. Сначала пробежал легкий говорок, потом громче, громче, и наконец, зашумело, загудело:

— Идут... Идут... Идут...

Из глубины аллеи показалось человек десять уже пожилых людей. Это и была делегация шефов лагеря из дома отдыха ЦИК в Ай-Су.

Натка поспешно встала и взяла Альку на руки.

Когда стихли приветствия и шефы сели на места, а праздник пошел своим чередом, Натка увидела, что крайний стул, как раз тот самый, с которого она встала, остался свободным. Она потихоньку подвинула стул, села и посадила Альку на колени.

В то время как девчата-физкультурницы строили замысловатую пирамиду, Натка искоса разглядывала прибывших шефов. И вдруг на соседнем стуле она увидела очень знакомое лицо.

«Кто это? — растерялась Натка.— Лицо смуглое, чернобородый. Седина, очки... Да кто же это?»

Как раз в эту минуту все дружно захлопали, засмеялись.

Засмеялся и чернобородый: карр! карр! И тогда обрадованная Натка сразу поняла, что это, уж конечно, Гитаевич, тот самый, который так часто бывал у Шегалова и с которым так подружилась Натка, когда два года тому назад она целый месяц гостила у дяди в Москве.

Натка придвинула стул, взяла Гитаевича за руку и заглянула ему в лицо.

Он узнал ее сразу и засмеялся-закаркал так громко, что удивленный Алька соскользнул с Наткиных колен и с откровенным любопытством уставился на этого странного, похожего на цыгана человека.

— Кто это у тебя? — шутливо спросил Гитаевич.— Для сына велик, для братишки мал. Племянник, что ли?

— Это Алька Ганин, сын одного инженера. Он к моему отряду прикомандирован,— пошутила Натка.

Гитаевич угловато двинулся.

Он протер очки и, как показалось Натке, что-то уж очень пристально посмотрел на стоявшего перед ним маленького человечка.

— Я побегу... мне пора. Я сюда вернусь,— заторопился Алька и с обидою добавил: — Эх, папка, папка, так и не пришел.

— Сережи Ганина? — глядя вслед убегающему Альке, переспросил Гитаевич.

— Да, Ганина. А вы его разве знаете?

— Я-то его знаю,— ответил Гитаевич,— очень давно. Еще по армии знаю.

— Значит, вы их всех хорошо знаете? — помолчав немного, спросила Натка.— А где, Гитаевич, у Альки мать? Она умерла?

Гром барабанов и гул музыки заглушили ответ. Это проходили лагерные военизированные отряды пионеров. Сначала с лучшими стрелками впереди прошла пехота. Шаг в шаг, точно не касаясь земли, прошли матросы-ворошиловцы. За ними — девочки-санитарки. Потом как-то хитроумно проползли фанерные танки. Затем по опустевшей площадке забегали какие-то прыткие ловкачи. Что-то по земле размотали, растянули и скрылись.

Музыканты ударили «Марш Буденного»*. Двойной ряд

пионеров расступился, и в строю, по четыре, на колесных и игрушечных конях выехал «Первый сводный октябрятский эскадрон имени мировой революции».

Там был и Алька.

Поддерживая равнение, эскадрон проходил быстрым шагом и под взрывы дружного хохота, под музыку и песню буденновского марша, подхваченную и пионерами, и гостями, и шефами, скрылся на противоположном конце площадки.

— Жулики! — обиженно объяснил кому-то сидевший неподалеку Карасиков.— Разве же они сами едут? Их с другого конца на бечевках тянут. Я уже все узнал. Это если бы и меня потянули, я бы тоже поехал.

Теперь почти вся площадка заполнилась ребятами. Затевались массовые игры, и выступали отрядные кружки.

Ночь была душная. Гитаевич вытер лоб и обернулся к Натке, отвечая на ее вопросы:

— У него мать не умерла. Его мать была румынской комсомолкой, потом коммунисткой, и была убита...

— Марица Маргулис! — почти вскрикнула пораженная Натка.

Гитаевич кивнул головой и сразу закашлял, заулыбался, потому что со всех ног к ним бежал с площадки всадник «Первого октябрятского эскадрона имени мировой революции» — счастливый и смеющийся Алька.

В это время Натке сообщили, что Катюша Вострецова разбила себе нос и ревет во весь голос, а у Федьки Кукушкина схватило живот и, вероятно, этот обжора Федька объелся под шумок незрелым виноградом.

Натка оставила Альку с Гитаевичем и пошла в дежурку.

Катюша уже не ревела, а только всхлипывала, придерживая мокрый платок у переносицы, а перепуганный Федька громко сознался, что съел три яблока, две груши, а сколько винограду, не знает, потому что было темно.

— Танком ее по носу задело,— сердито объяснял Натке звеньевой Василюк.— Я ей говорю: не суйся. Так нет, растяпа, не послушалась. Иоськина башня повернулась — и бац ей орудием прямо по носу!

Растяпу Катюшу и обжору Федьку Натка приказала отправить домой, а сама по-над берегом пошла к Альке.

Вскоре она остановилась. Перед ней расстилалось

невидимое отсюда море, и только слышно было, как равномерно плещутся волны.

На небе ни луны, ни звезд не было, и только где-то, но очень далеко и слабо, мерцал быстрый летящий огонек — должно быть, пограничного костра. И вдруг Натка подумала, что совсем ведь недалеко, всего только на другом берегу моря, лежит эта тяжелая страна Румыния, где погибла Марица...

Кто-то тронул ее за руку. Она нехотя обернулась и увидела Сергея.

— Алька где? Я спрашивал, и мне сказали, что он с вами, Наташа.

— Он со мною,— обрадовалась Натка.— Сейчас он сидит с Гитаевичем. Пойдемте... Он вас ждал, ждал...

— Опоздал я, Наташа,— виновато ответил Сергей.— Там у меня всякая чертовщина творится.

Они не дошли до Гитаевича всего несколько шагов, как опять разом погас свет и все смолкло.

— Стойте! — шепнула Натка.— Сейчас зажгут костер.

В темной тишине резко зазвучал горн, и сейчас же по краям площадки вспыхнули пять дымных факельных огней. Горн зазвучал еще раз, и огни стремительно, точно по воздуху, рванулись к центру площадки.

Долго огонь бежал и метался внутри подожженного костра. То он вырывался меж сучьев, то опять забирался вглубь, то шарахался по земле. И вдруг, как бы устав шутить и баловаться, огромный вихрь пламени взметнулся и загудел над костром.

Тяжелые ветви скорчились, затрещали. Тысячи горящих искр помчались в небо. Стало так светло и жарко, что даже те, кто сидел далеко, щурили глаза и вытирали лица, а сидевшие поближе повскакали и с визгом кинулись прочь.

Когда Натка обернулась, то увидела, что Сергей уже держит Альку на руках, а раскрасневшийся, взволнованный Алька быстро рассказывает отцу о делах минувшего дня.

Было уже поздно, когда кое-как, вразброд, вернулся Наткин отряд к дому.

Не успела еще Натка взойти на крыльцо, а к ней уже подбежала встревоженная дежурная сестра и тихо рассказала, что всего десять минут назад Владик Дашев-

ский привел исцарапанного, разбитого Тольку Шестакова и у Тольки, кажется, вывихнута рука.

Натка кинулась в дежурку. Там, сгорбившись на клеенчатом диване, с лицом, заляпанным йодом, с примочкой под глазом и с рукою на перевязи, сидел Толька. Видно было, что ему очень больно, но что из какого-то упрямства он сознаваться в этом не хочет.

— Как же это? Где это вы? — подсаживаясь рядом, участливо спросила Натка.

Толька молчал. Вмешалась дежурная:

— Говорит, что когда заканчивался костер и стали ребята разбегаться, то, чтобы обогнать всех, бросились они с Владиком прямой тропинкой... А там ручьи, кусты, камни, овраги. Сорвался где-то на берегу и брякнулся.

Разыскали сонного Гейку. Гейка засуетился и быстро запряг лошадь.

Тольку повезли в свой же лагерный лазарет, а Натка, несмотря на полночь, собралась с докладом к начальнику: строго-настрого было приказано обо всех несчастных случаях доносить ему во всякое время дня и ночи.

Перед тем как идти, Натка завернула в палату. Она вошла бесшумно, неожиданно и, несмотря на полутьму, успела заметить, как Владик быстро повернулся и притих. Значит, он еще не спал.

— Владик,— спросила Натка,— расскажи, пожалуйста, где... как это все случилось?

Владик не отвечал.

— Дашевский,— строго повторила Натка,— ты не ври. Я же видела, что ты не спишь. Говори, или я сегодня же расскажу про тебя начальнику лагеря.

С начальником Владик разговаривать не хотел, и, сердито приподнявшись, сухо и коротко он слово в слово повторил то, что уже говорил дежурной сестре Толька.

— Черт вас ночью по оврагам носит,— не сдержавшись, выругалась Натка и в потемках устало побрела к начальнику.

А Сергей опоздал на праздник вот из-за чего.

Вернувшись из Ялты, после обеда Сергей пошел по участкам. На первом дела подвигались быстро и толково, поэтому, не задерживаясь, Сергей прошел на второй.

Там еще не закончили рыть запасной водослив, а кре-

пить совсем еще не начинали. Он спросил: «Где Дягилев?» Ему ответили, что Дягилев на третьем. Тогда и Сергей пошел к плотине, на третий.

Поднимаясь к озеру, еще издалека Сергей увидел впереди на тропке того самого старика татарина, который и был ему нужен.

В это время верхом на тощей коняге Сергея догнал десятник Шалимов и, соскочив с седла, пошел рядом.

— Плохо дело, начальник! — вздохнул Шалимов и вытер концом башлыка пыльное морщинистое лицо.— Люди работают плохо.

— Сам вижу, что плохо. Водослив еще не кончили, крепить не начинали. Хорошего мало!

— Грунт тяжелый,— еще глубже вздохнул Шалимов,— камень, щебенка. Человек работает, работает, ничего не заработает. Крепко жалуются. Вчера на работу трое не вышло. Сегодня опять некоторые говорят: если не будет прибавки, то никто не выйдет. Ну, что мне, начальник, делать? — И Шалимов огорченно развел руками.

— Почему это только тебе, а ни мне, ни Дягилеву никто не жалуется? Чудно́ что-то, Шалимов.

— Ты человек новый, к тебе еще не привыкли. А Дягилеву говорили уже. Да что с него толку? Чурбан человек. А с меня все спрашивают: ты старший, ты и говори.

— Ладно,— решил Сергей.— К вечеру, сразу после работ, собери людей на участке. Я сам приду, тогда и потолкуем. А теперь поезжай назад. Да посматривай сам получше,— быстро и наугад соврал Сергей,— а то сегодня двое жаловались мне, что им работу не так замерили.

— Где, начальник? — забеспокоился Шалимов.— На водосливе или у насыпи?

— Не спросил. Некогда было. Ты там старший — тебе на месте видней. До свиданья, Шалимов. Значит, сразу после работы.

«Что-то неладно»,— подумал Сергей и увидел, что старика татарина на тропе уже не было. Сергей прибавил шагу, дошел до поворота, но и за поворотом старика не было тоже.

Вскоре Сергей очутился на берегу небольшого спокойного озера.

Слева, у плотины, стучали топоры. Густо пахло горячей смолой. Шестеро пильщиков, дружно вскрикивая, заваливали на козлы тяжелое, еще сырое бревно.

— Дягилев где? — спросил Сергей у встретившегося парня.

— А вон он! — И парень показал топорищем куда-то на горку.

Сергей посмотрел, но глаза ему слепило солнцем, и он никого не видел.

— Да вон он! — повторил парень.— Видишь, у куста стоит и с братом разговаривает.

— С каким братом?

— Ну, с каким? Со своим... с родным...

«Вон оно что! — подумал Сергей, увидав возле Дягилева того самого дядю, который на днях так не ко времени напился.— То-то Дягилев тогда растерялся».

Увидав Сергея, дягилевский брат неловко поздоровался и пошел прочь.

— Так смотрите же! — строго крикнул ему вдогонку Дягилев.— Чтобы к вечеру все шестьдесят плах были готовы! Плотник это наш,— объяснил он Сергею.— Он у них за старшего. Работник хороший.— И, отворачиваясь от Сергея, он нехотя добавил: — Конечно... бывает, что и выпивает.

Они пошли по стройке.

— Говорили что-нибудь из шалимовской бригады насчет расценок? — спросил Сергей.

— Да так, болтали. Разве их всех переслушаешь?

— На что жаловались?

— Известно, на что: грунт плохой, нормы велики, расценки малы. Что же им еще говорить?

— А на третьем участке, на первом, там, где русские, почему там не жалуются?

Дягилев промолчал.

— Чудно дело,— удивился Сергей.— Грунт одинаковый, нормы везде те же, расценки те же. Русские не жалуются, а татары жалуются. И не пойму я, с чего бы это такое, Дягилев?

— Значит, такой уж у них характер вредный,— не очень уверенно предположил Дягилев и тут же вспомнил: — На втором пролете, Сергей Алексеевич, опорный столб треснул, и я сказал, чтобы новым заменили. Вон, поглядите, плотники рубят.

...Уже совсем свечерело, когда Сергей спускался на второй участок. Он торопился, потому что сразу же после собрания должен был, как обещал Альке, прийти на праздник. И вот на пустынной тропке, опять на том же самом месте, Сергей увидел все того же старика татарина.

«Что такое?» — удивился Сергей и прямо направился к поджидавшему. Старик поздоровался и тихо пошел рядом.

— Ну что? — нетерпеливо спросил Сергей.— И куда ты все прячешься? Рассказывай, что у тебя... Обсчитали?.. Обманули?.. Обидели?..

— Обманули,— равнодушно согласился старик,— и обсчитали — верно. И обидели... верно!

— Ты и сейчас работаешь?

— Нет,— так же равнодушно, точно и не о нем шла речь, продолжал старик.— В тот раз Шалимов заметил, что я тебе жаловался. На другой день уволил. Старый, говорит, плохо работаешь. А раньше, когда молчал, то хорошо работал. И все, кто молчит, тот хорош. Вчера троих опять отослал — плохо работают. А тебе, может быть, сказал: сами ушли. Расценки низкие. Конечно, низкие,— дергая Сергея за рукав, продолжал старик.— Я двадцать кубометров взял, а получил деньги за шестнадцать. А разве я один? Таких много. Где четыре кубометра? Конечно, выходит низкая. Я ему говорю, а он сердится: «Ты мне голову не путай, я тебя грамотней». Я пошел к старшему, к Дягилеву, а он говорит: «Я вашего дела не знаю. Я даю Шалимову бумагу — ведомость — и деньги. Деньги он берет, а бумагу с вашими расписками несет мне обратно. Если все верно, то и я говорю — верно. Вы с ним считайтесь, а я и языка вашего не понимаю, кто свою мне фамилию распишет, кто чужую... Аллах вас разберет». Конечно, аллах,— с насмешкой повторил старик и совсем уже неожиданно закончил: — До свидания, начальник, спасибо!

— Погоди! — окликнул Сергей.— Постой, куда же ты? Пойдем со мной.

Но старик, сгорбившись и не оборачиваясь, быстро-быстренько шмыгнул в кусты.

Сергей спустился на второй участок и попросил, чтобы ему нашли Шалимова. Он ждал долго. Наконец посланный вернулся и сказал, что Шалимов зашиб себе ногу и уехал домой.

Он пошел к сараям и увидел, что там собралось всего человек восемь. Он спросил, почему так мало. Сначала ему не отвечали, но потом объяснили, что сегодня на деревне праздник. Он заинтересовался, какой же это праздник, и тогда после некоторого молчания ему объяснили, что у шалимовского сына третьего дня родился ребенок. Сколько ни вызывал Сергей на разговор собравшихся, казалось, что они так и не поняли, чего он хочет.

Сергей отпустил людей и пошел к лагерю.

И тогда он решил, пока дело разберется, Шалимова сейчас же выгнать, попросить в райкоме татарского докладчика. Вспомнив о том, что вместе со шкатулкой пропали все ведомости, документы и расписки, Сергей нахмурился.

Уже совсем стемнело. Влево от тропки расплывчато обозначались очертания башенных развалин. Очень издалека, снизу, вместе с порывами жаркого ветра доносилась музыка.

«Опаздываю,— понял Сергей.— Алька рассердится».

За кустами блеснул огонь. Гулкий выстрел грянул так близко, что дрогнул воздух, и где-то над головой Сергея с треском ударил в каменную скалу дробовой заряд.

— Кто? — падая на камни и выхватывая браунинг, крикнул Сергей.

Ему не отвечали, и только хруст кустарника показал, что кто-то поспешно убегал прочь.

Сергей приподнялся и дважды выстрелил в воздух.

Он прислушался, и ему показалось, что уже далеко кто-то вскрикнул.

Тогда Сергей встал. Не выпуская из рук браунинга, он пошел дальше и шел так до тех пор, пока с перевала не открылась перед ним широкая, ровная дорога.

Музыка внизу играла громче, громче, а лагерная площадка сверкала отсюда всеми своими огнями.

Сергей защелкнул предохранитель, спрятал браунинг и еще быстрее зашагал к Альке.

Наутро после костра ребят разбудили часом позже. Еще задолго до линейки ребята уже разведали про то, что с Толькой Шестаковым случилось несчастье. Но что именно случилось и как, этого никто толком не знал, и поэтому к Натке подбегали с расспросами один за другим без перерыва.

Спрашивали: верно ли, что Толька сломал себе ногу? Верно ли, что Тольке во время вчерашнего фейерверка стукнуло осколком по башке? Верно ли, что доктор сказал, что Толька теперь будет и слепой, и глухой, и вроде как бы совсем дурак? Или только слепой? Или только глухой? Или не глухой и не слепой, а просто полоумный?

Сначала Натка отвечала, но потом, когда увидела, что все равно кругом галдят, спорят и несут какую-то чушь, она стала сердиться, и, опасаясь, как бы вздорные слухи во время общелагерного завтрака не перекинулись в другие отряды, она вызвала угрюмого Владика и попросила его, чтобы он сейчас же, на утренней линейке, вышел и рассказал отряду, как было дело.

Но Владик отказался наотрез. Она просила, уговаривала, приказывала, но все было бесполезно.

Раздраженная Натка посулила ему это припомнить и велела подать сигнал на пять минут раньше, чем обычно.

Собирались долго, строились шумно, бестолково, равнялись плохо. Против обыкновения, Владик стоял молча, никого не задирая и не отвечая ни на чьи вопросы.

Молча и внимательней, чем обыкновенно, наблюдал за Владиком Иоська. Очевидно, вчерашнее не забыл, что-то угадывал и к чему-то готовился.

Со слов Владика, Натка коротко рассказала ребятам, как было дело с Толькой. Пристыдила за нелепые выдумки и предупредила, что в следующие разы за самовольное бегство из отряда будет строго взыскано и что на случае с Толькой Шестаковым ребята теперь и сами могут убедиться, к чему такое самовольничанье приводит.

— Неправда! — прозвучал по всей линейке негодующий голос.— Все это враки и неправда!

Натка нахмурилась, отыскивая того, кто хулиганит, и, к большому изумлению своему, увидела, что это выкрикнул красный и взволнованный Иоська.

Ребята зашевелились и зашептались.

— Тишина! — громко окрикнула Натка.— Почему говоришь, что все неправда?

— Все неправда,— убежденно повторил Иоська.— Когда вчера строились, Владик Дашевский зачем-то спрятал спички. Я пристыдил его, а он назвал меня провокатором. На костре ни его, ни Тольки не было, а бегали они еще куда-то. А куда, не знаю. И там, а не по дороге

с костра, с ними что-то случилось. Я-то не провокатор, а Дашевский врун и обманывает весь отряд.

Все были уверены, что после таких слов Владик набросится на Иоську или со злобой начнет оправдываться. Но побледневший Владик, презрительно скривив губы, стоял молча.

— Дашевский,— в упор спросила Натка,— это правда, что вас вчера на костре не было?

Не пошевельнувшись, не поворачивая даже к ней головы, Владик молчал.

— Дашевский,— сердито сказала тогда Натка,— сегодня же на вечернем докладе обо всем этом будет сказано начальнику лагеря, а сейчас выйди из строя и завтракать пойдешь отдельно.

Ни слова не говоря, Владик вышел и завернул в палату.

Через минуту отряд с песней шел вниз к завтраку. Завтракать Владик не пошел совсем.

Уже после обеда, после часа отдыха, когда ребята занимались каждый чем хотел, на пустом холмике, под тенью спаленной солнцем акации, сидел невеселый Владик. Все вышло как-то не так... нелепо и бестолково.

В сущности, Владику очень хотелось, чтобы ничего не было: ни вчерашней ссоры с Иоськой, ни вчерашнего случая с Толькой, ни утренней ссоры с Наткой, ни позорной утренней линейки. Но так как уже ничего поправить было нельзя, то он решил, что пусть будет, как будет, а он ни в чем не сознается, ничего не скажет. И хоть вызывай его сто начальников, он будет стоять молча, и пусть думают, как хотят.

По ту сторону забора весело играли в мяч. Вдруг мяч взметнулся и, ударившись о столб, отлетел рикошетом и покатился прямо к ногам Владика.

Владик посмотрел на мяч и не пошевельнулся.

Он не пошевельнулся и не крикнул даже тогда, когда за забором поднялась суматоха: все бегали, разыскивая потерянный мячик, и громче других раздавался недоумевающий голос Иоськи: «Да он же вот в эту сторону полетел... Я же видел, что в эту!»

«Мне-то что?» — даже без злорадства подумал Владик и нехотя повернулся, заслышав чьи-то шаги.

Подошел и сел незнакомый парнишка. Он был старше и крепче Владика. Лицо его было какое-то серое, точно

вымазанное серым мылом, а рот приоткрыт, как будто бы и в такую жару у него был насморк.

Он наскреб табаку, поднял с земли кусок бумаги и, хитро подмигнув Владику, свернул и закурил.

Из-за угла выскочил Иоська. Наткнувшись на Владика, он было остановился, но, заметив мяч, подошел, поднял и укоризненно сказал:

— Что же! Если ты на меня злишься, то тебе и все виноваты? Ребята ищут, ищут, а ты не можешь мяч через забор перекинуть? Какой же ты товарищ?

Иоська убежал.

— Видал? — поворачиваясь к парню, презрительно сказал оскорбленный Владик.— Они будут мяч кидать, а я им подкидывай. Нашли дурака-подавальщика.

— Известно,— сплевывая на траву, охотно согласился парень.— Им только этого и надо. Ишь ты какой рябой выискался!

В сущности, озлобленный Владик и сам знал, что говорит он сейчас ерунду и ему гораздо легче было бы, если бы этот парень заспорил с ним и не согласился. Но парень согласился, и поэтому раздражение Владика еще более усилилось, и он продолжал совсем уж глупо и фальшиво:

— Он думает, что раз он звеньевой, то я ему и штаны поддерживай. Нет, брат, врешь, нынче лакеев нету.

— Конечно,— все так же охотно поддакнул парень.— Это такой народ... Ты им сунь палец, а они и всю руку норовят слопать. Такая уж ихняя порода.

— Какая порода? — удивился и не понял Владик.

— Как какая? Мальчишка-то прибегал — жид? Значит, и порода такая!

Владик растерялся, как будто бы кто-то со всего размаха хватил его по лицу крапивой.

«Вот оно что! Вот кто за тебя! — пронеслось в его голове.— Иоська все-таки свой... пионер... товарищ. А теперь вон что!»

Сам не помня как, Владик вскочил и что было силы ударил парня по голове. Парень оторопело покачнулся. Но он был крупнее и сильнее. Он с ругательствами кинулся на Владика. Но тот, не обращая внимания на удары, с таким бешенством бросался вперед, что парень вдруг струсил и, кое-как подхватив фуражку, оставив на бугре табак и спички, с воем кинулся прочь.

Когда Владик опомнился, то рядом уж никого не было. За стеною все так же задорно и весело играли в мяч. Очевидно, там ничего не слыхали.

Владик осмотрелся. По серой безрукавке расплывались ярко-красные пятна: из носа капала кровь. Он хотел спрятаться в кусты, как вдруг увидел Альку.

Запыхавшийся Алька стоял всего в пяти-шести шагах и внимательно, с сожалением смотрел на Владика.

— Это тебя толстый избил? — тихо спросил Алька.— А отчего он сам ревел? Ты ему дал тоже?

— Алька,— пробормотал испуганный Владик,— иди... ты не уходи... мы сейчас вместе.

Они ушли в глубь кустов. Там Владик сел и закинул голову. Кровь утихла, но ярко-красные пятна на безрукавке и ссадина пониже виска остались.

Если бы только пятна крови, можно было бы сослаться на то, что напекло солнцем голову. Если бы только ссадина, можно было бы сказать, что оцарапался о колючки. Но, когда всё вместе, кто поверит? Кто же поверит после вчерашнего и после сегодняшнего? И можно ли объяснить, оправдаться, как и почему случилась драка? Нет, объяснить нельзя никак...

— Алька,— быстро заговорил Владик,— ты не уходи. Давай с тобой скоренько сбегаем к морю. Я за утесом место знаю. Там никогда никого нет... Я выполощу рубашку. Пока назад добежим, она высохнет — никто и не заметит.

Боковой дорожкой они спустились к морю. Алька уселся за глыбами и начал сооружать из камешков башню, а Владик снял безрукавку и пошел к воде. Но так как ночью был шторм, и к берегу натащило всякой дряни, то Владик зашел в воду подальше. Здесь вода была чистая, и Владик начал поспешно прополаскивать безрукавку.

«Ничего,— думал он,— выстираю, высохнет, и никто не заметит. Ну, вызовут к начальнику или на совет лагеря. Ну, конечно, выговор. Ладно. Стерплю, обойдется. А потом выздоровеет Толька, и тогда можно начать по-другому, по-хорошему...»

«Ах, собака! — злорадно вспомнил он серомордого парня.— Что, получил? Тоже нашел себе товарища!»

Он окунулся до шеи, обмыл лицо и ссадину.

И вдруг ему почудилось, что кто-то гневно окликнул

его по имени. Он вздрогнул, выпрямился и увидел, что на площадке сверху скалы стоит Натка и грозит ему пальцем.

Так она постояла немного, махнула рукой и исчезла.

И в ту же минуту Владик понял, что теперь надежды на спасение нет, что погиб он окончательно, бесповоротно и ничто в мире не может спасти от того, чтобы его завтра же не выставили из отряда и не отправили домой.

Было немало своих законов у этого огромного лагеря. Как и всюду, нередко законы эти обходили и нарушали. Как и всюду, виновных ловили, уличали, стыдили и наказывали. Но чаще всего прощали.

Слишком здесь много было сверкающего солнца для ребенка, приехавшего впервые на юг из-под сумрачного Мурманска. Слишком здесь пышно цвела удивительная зелень, росли яблоки, груши, сливы, виноград для парнишки, присланного из-под холодного Архангельска. Слишком здесь часто попадались прохладные ущелья, журчащие потоки, укромные поляны, невиданные цветники для девчонки, приехавшей из пустынь Средней Азии, из тундр Лапландии или из безрадостных, бескрайних степей Закаспия.

И прощали за солнце, за яблони, за виноград, за сорванные цветы, за примятую зелень.

Но за море не прощали никогда.

С тех пор, как много лет тому назад, купаясь без надзора, утонул в море двенадцатилетний пионер, незыблемый и неумолимый вырос в лагере закон: каждый, кто без спроса, без надзора уйдет купаться, будет тотчас же выписан из лагеря и отправлен домой.

И от этого беспощадного закона лагерь не отступал еще никогда.

Владик вышел из воды, крепко выжал безрукавку, оделся и взял Альку за руку.

Они прошлись вдоль берега и наткнулись на каменный городок из гигантских глыб, рухнувших с горной вершины. Они сели на обломок и долго смотрели, как пенистые волны с шумом и ворчаньем бродят по пустынным площадям и уличкам.

— Знаешь, Алька,— грустно заговорил Владик,— когда я был еще маленьким, как ты, или, может быть, немножко поменьше, мы жили тогда не здесь, не в Советской стране. Вот один раз пошли мы с сестрой в ро-

щу. А сестра, Влада, уже большая была — семнадцать лет. Пришли мы в рощу. Она легла на полянке. Иди, говорит, побегай, а я тут подожду. А я, как сейчас помню, услышал вдруг: «фю-фю». Смотрю — птичка с куста на куст прыг, прыг. Я тихонько за ней. Она все прыгает, а я за ней и за ней. Далеко зашел. Потом вспорхнула — и на дерево. Гляжу — на дереве гнездо. Постоял я и пошел назад. Иду, иду — нет никого. Я кричу: «Влада!» Не отвечает. Я думаю: «Наверно, пошутила». Постоял, подождал, кричу: «Влада!» Нет, не отвечает. Что же такое? Вдруг, гляжу, под кустом что-то красное. Поднял, вижу — это лента от ее платья. Ах, вот как! Значит, я не заблудился. Значит, это та самая поляна, а она просто меня обманула и нарочно бросила, чтобы отделаться. Хорошо еще, что роща близко от дома и дорога знакомая. И до того я тогда обозлился, что всю дорогу ругал ее про себя дурой, дрянью и еще как-то. Прибежал домой и кричу: «Где Владка? Ну, пусть лучше она теперь домой не ворочается!» А мать как ахнет, а бабка Юзефа подпрыгнула сзади да раз меня по затылку, два по затылку! Я стою — ничего не понимаю.

А потом уж мне рассказали, что, пока я за птицей гонялся, пришли два жандарма, взяли ее и увели. А она, чтобы не пугать меня, нарочно не крикнула. И вышло, что зря я только на нее кричал и ругался. Горько мне потом было, Алька.

— Она и сейчас в тюрьме сидит? — спросил не пропустивший ни слова Алька.

— И сейчас, только она уже не в тот, а в третий раз сидит. Я, Алька, все эти дни из дома письма ждал. Говорили, что будет амнистия, все думали: уж и так четыре года сидит — может быть, выпустят. А позавчера пришло письмо: нет, не выпустили. Каких-то там из других партий повыпускали, а коммунистов — нет... не выпускают...

А потом на другой день пошел я уже один в рощу, и назло гнездо разорил, и в птицу камнем так свистнул, что насилу она увернулась.

— Разве ж она виновата, Владик?

— А знал я тогда, кто виноват? — сердито возразил Владик. И вдруг, вспомнив о том, что сегодня случилось, он сразу притих.— Завтра меня из отряда выгонят,— объяснил он Альке.— Пока ты за скалой играл, Натка меня сверху увидела.

— Так ты же не купался, ты только безрукавку полоскал! — удивился Алька.

— А кто поверит?

— А ты правду скажи, что только полоскал,— заглядывая Владику в лицо, взволновался Алька.

— А кто теперь моей правде поверит?

— Ну, я скажу. Я же, Владик, все видел. Я играл, а сам все видел.

— Так ты еще малыш! — рассмеялся Владик.

Владик крепко схватил Альку за руку. Он вздохнул и уже серьезно попросил:

— Нет, ты уж лучше помалкивай. А то и тебе попадет: зачем со мной связался? Да мне еще хуже будет: зачем я тебя к морю утащил? Идем, Алька! Эх, ты! И кто тебя, такого малыша, на свет уродил?

Алька помолчал.

— А моя мама тоже в тюрьме была убита,— неожиданно ответил Алька и прямо взглянул на растерявшегося Владика своими спокойными нерусскими глазами.

Ужинать отряд ходил без Натки. Натка долго проканителилась в больнице, где ей пришлось ожидать доктора, занятого в перевязочной.

С Толькой оказалось уж не так плохо: три ушиба и небольшой вывих. Она боялась, что будет хуже.

На обратном пути ее окликнули из библиотеки. Там ей ехидно показали две книжки с вырванными страницами и одну с вырезанной картинкой. Про две книжки Натка ничего не знала, а про третью сказала комсомольскому библиотекарю, что он врет и что картинка эта была вырезана еще до того, как книжка побывала в ее отряде.

Библиотекарь заспорил, Натка вспылила и уже от двери назло напомнила ему, как он всучил недавно октябренку Бубякину вместо книги о домашних животных популярную астрономию Фламмариона*.

Голодная и усталая, она понеслась в столовую. Там уже давно все убрали, и ей досталось только два помидора да холодное вареное яйцо.

Она вернулась в отряд, но там, как нарочно, уже поджидала ее кастелянша со своими бумагами и подсчетами. Увернуться Натка не успела.

— Сколько у вас потеряно носовых платков? — спро-

сила кастелянша, решительно усаживая рядом с собой Натку и неторопливо раскладывая свои записки.

— Сколько? — вздохнула горько Натка и начала про себя подсчитывать по пальцам.— Вася! — крикнула она пробегавшему октябренку Бубякину.— Сбегай, позови звеньевых. Только Розу не ищи — она внизу. А потом узнай, нашел Карасиков свой платок или нет. Наверно, растрепа, не нашел.

— Он на меня вчера плюнул,— мрачно заявил Вася,— и я с ним больше не вожусь.

— Ну, не водись, а сбегай. Вот погодите, я с вами поговорю на линейке,— пригрозила Натка. И, обернувшись к кастелянше, она продолжала: — Полотенец у нас уже четырех не хватает. Галстуки еще вчера у всех были. А вчера наши ребята в кустах подобрали две чужие панамы, маленькую подушку и один кожаный сандалий. Погодите записывать, Марта Адольфовна, сейчас звеньевые придут — может быть, и галстуков уже не хватает. Я ничего не знаю. Я сегодня весь день как угорелая.

Натка обернулась и увидела, что ее тихонько трогает за рукав Алька.

— Ну, что тебе? — спросила она не сердито, но и не совсем так приветливо, как обыкновенно.

— Знаешь что? — негромко, так, чтобы не услышала кастелянша, заговорил Алька.— А я тебя искал, искал... Знаешь... Он совсем не виноват. Я сам был и все видел.

— Кто не виноват? — рассеянно спросила Натка и, не дослушав, сказала: — А две вчерашние безрукавки, Марта Адольфовна, это совсем не наши. У нас и ребят таких нет. Это на здорового дядю. Может быть, в первом отряде два-три таких наберется. А у меня... откуда же?

— Он совсем не виноват,— еще тише и взволнованней продолжал Алька.— Ты, Натка, послушай... Он просто с мальчишкой подрался и хотел потом выполоскать. Он хороший, Натка. Он всё письма про сестру ждал, ждал. Других выпустили, а ее не выпустили.

— Я вот им подерусь! Я вот им подерусь! — машинально пригрозила Натка.— Беги, Алька, что тебе тут надо? Ну что, Вася, идут звеньевые? А как у Карасикова?

— Он на меня фигу показал,— хмуро пожаловался Вася,— и я с ним больше никогда не вожусь. А плат-

ка у него все равно нет. И я сам видел, как он сейчас пальцем высморкался.

— Ладно, ладно. Я с вами потом разберусь. Значит, шести платков не хватает, Марта Адольфовна.

— Он нисколько не виноват, а ты на него думаешь,— уже со злобой и едва сдерживая слезы, забормотал Алька.— Он и сам тоже один раз на сестру подумал: и дура, и дрянь, а она совсем не была виновата. Горько потом было. Ты только послушай, Натка... Он, Владик, лежал...

— Что Владик? Кто дрянь? Кто тебе позволил с ним бегать? — резко обернулась так ничего и не разобравшая Натка и тотчас же накинулась на Иоську, который, как ей показалось, подходил не очень быстро.

Если бы Натка была не так раздражена, если бы она обернулась в эту минуту, то она все-таки выслушала бы Альку. Но она вспомнила и обернулась уже тогда, когда Альки позади не было.

На вечерней линейке Альки вдруг не оказалось. Пошли посмотреть в палату: не уснул ли. Нет, не было. Покричали с террасы — нет, не откликается.

Тогда забеспокоились и забегали, стали друг у друга расспрашивать: где? как и куда?

Вскоре выяснилось, что Карасиков, который подкрался к двери подслушать, как Васька будет жаловаться на него за фигу, вдруг увидел, что мимо него весь в слезах пробежал Алька. Но когда обрадованный Карасиков припустился было вдогонку и закричал: «Плакса-вакса!» — то Алька остановился и швырнул в Карасикова камнем так здорово, что Карасиков дальше не побежал, а пошел было пожаловаться Натке, да только раздумал, потому что Васька Бубякин и на него самого только что пожаловался.

Все это, конечно, узнала не Натка, а сами ребята, которые тотчас же наперебой рассказали об этом Натке. Тогда она вызвала десяток ребят постарше и посмышленей и приказала им обшарить все ближайшие полянки, дорожки и тропки, а сама села на лавку, усталая и подавленная.

Смутно припоминались ей какие-то непонятные Алькины слова: «...А я тебя искал, искал... Он всё письма ждал, ждал... Ты только послушай, Натка...»

«Зачем искал? Какого письма?» — с трудом соображала она. И тут подумала, что проще всего пойти и спро-

сить у самого Владика. Но и Владик тоже уже куда-то исчез.

«Хорошо,— подумала Натка.— Хорошо, завтра тебе и это все припомнится».

Один за другим возвращались посланные. И когда наконец вернулся последний, десятый, Натка выбежала на крыльцо и, путаясь в темноте, помчалась к третьему корпусу, чтобы оттуда позвонить дежурному по лагерю.

Когда уже замелькали среди кустов огоньки, когда уже она поравнялась с первым фонарем, сбоку затрещало, захрустело, и откуда-то прямо наперерез ей вылетел Владик.

— Не надо,— задыхаясь, сказал он,— не надо...

— Ты нашел? — крикнула Натка.— Где он? Уже дома? В отряде?

— А то как же! — негромко ответил Владик.

И тут Натка увидела, что глаза его смотрят на нее с прямой и открытой ненавистью.

Больше он ничего не сказал и повернулся. Она громко и тревожно окликнула его, он не послушался и исчез. Бояться ему все равно теперь было некого и нечего.

Когда Натка вернулась, то ей рассказали, что Владик Дашевский нашел Альку в двух километрах от лагеря, в маленьком домике под скалой, у отца. Там Алька сейчас и остался.

Натка прошла к себе в комнату и села.

Рассеянно прислушиваясь к тому, как шуршит крупная бабочка возле лампы, она припомнила свои печальные последние сутки: и Катюшу Вострецову с ее разбитым носом, и Тольку с его рукой, и Владика, и кастеляншу с ее галстуками, и дурака-библиотекаря с его враньем... И от всего этого ей стало так грустно, что захотелось даже заплакать.

В дверь неожиданно постучали. Заглянула дежурная и сказала Натке, что ее хочет видеть Алькин отец.

Натка не удивилась. Она только быстро потянулась к графину, но графин был теплый. Тогда, проходя мимо умывальника, она наспех жадно напилась прямо из-под крана и через террасу вышла к парку. Ночь была темная, но она сейчас же разглядела фигуру человека, который сидел на ступеньках каменной лестницы.

Они поздоровались и разговаривали в эту ночь очень долго.

На другой день Владика ни к начальнику, ни на совет лагеря не вызвали.

На следующий день не вызвали тоже.

И когда он понял, что его так и не вызовут, он притих, осунулся и все ходил сначала одиноким, осторожным волчонком, вот-вот готов был прыгнуть и огрызнуться.

Но так как огрызаться было не на кого и жизнь в Наткином отряде, всем на радость, пошла ладно, дружно и весело, то вскоре он успокоился и в ожидании, пока выздоровеет Толька, подолгу пропадал теперь в лагерном стрелковом тире.

С Наткой он был сдержан и вежлив.

Но, едва-едва стоило ей заговорить с ним о том, как же все-таки на самом деле Толька свихнул себе руку, Владик замолкал и обязательно исчезал под каким-нибудь предлогом, придумывать которые он был непревзойденный мастер.

И еще что заметила Натка — это то, с какой настойчивостью этот дерзковатый мальчишка незаметно и ревниво оберегал во всем веселую Алькину ребячью жизнь.

Так, недавно, возвращаясь с прогулки, Натка строго спросила у Альки, куда он задевал новую коробку для жуков и бабочек.

Алька покраснел и очень неуверенно ответил, что он, кажется, забыл ее дома. А Натка очень уверенно ответила, что, кажется, он опять позабыл банку под кустом или у ручья. И все же, когда они вернулись домой, то металлическая банка с сеткой стояла на тумбочке возле Алькиной кровати.

Озадаченная Натка готова была уже поверить в то, что она ошиблась, если бы совсем нечаянно не перехватила торжествующий взгляд запыхавшегося Владика.

А лагерь готовился к новому празднику. Давно уже обмелели пруды, зацвели бассейны, замолкли фонтаны и пересохли веселые ручейки. Даже ванна и души были заперты на ключ и открывались только к ночи на полчаса, на час.

Шли спешные последние работы, и через три дня целый поток холодной, свежей воды должен был хлынуть с гор к лагерю.

Однажды Сергей вернулся с работы рано. Старуха-

сторожиха сказала ему, что у него на столе лежит телеграмма.

Важных телеграмм он не ждал ниоткуда, поэтому сначала он сбросил гимнастерку, умылся, закурил и только тогда распечатал.

Он прочел. Сел. Перечел еще раз и задумался. Телеграмма была не длинная и как будто бы не очень понятная. Смысл ее был таков, что ему приказывали быть готовым во всякую минуту прервать отпуск и вернуться в Москву.

Но Сергей эту телеграмму понял, и вдруг ему очень захотелось повидать Альку. Он оделся и пошел к лагерю.

В это время ребята ужинали, и Сергей сел на камень за кустами, поджидая, когда они будут возвращаться из столовой.

Сначала прошли двое, сытые, молчаливые. Они так и не заметили Сергея. Потом пронеслась целая стайка. Потом еще издалека послышался спор, крик, и на лужайку выкатились трое: давно уже помирившиеся октябрята Бубякин и Карасиков, а с ними задорная башкирка Эмине. Все они держали по большому красному яблоку.

Натолкнувшись на незнакомого человека, растерявшийся Карасиков выронил яблоко, которое тотчас же подхватила ловкая Эмине.

— Коза! Коза! Отдай, Эмка! Васька, держи ее! — завопил Карасиков, с негодованием глядя на хладнокровно остановившегося товарища.

— Доганай! — гортанно крикнула Эмине, ловко подбрасывая и подхватывая тяжелое яблоко.— У, глупый... На! — сердито крикнула она, бросая яблоко на траву. И вдруг, обернувшись к Сергею, она лукаво улыбнулась и кинула ему свое яблоко: — На! — А сама уже издалека звонко крикнула: — Ты Алькин?.. Да? Кушай! — и, не найдя больше слов, затрясла головой, рассмеялась и убежала.

— А ваш Алька вчера ее, Эмку, водой облил,— торжественно съябедничал Карасиков.— А Ваську Бубякина за ухо дернул.

— Что же вы его не поколотите? — полюбопытствовал Сергей.

Карасиков задумался.

— Его не надо колотить,— помолчав немного, объяснил он.— У него мать была хорошая.

— Откуда вы знаете, что хорошая?

— Знаем,— коротко ответил Карасиков.— Нам Натка рассказывала.— И, помолчав немного, он добавил: — А когда Васька хотел его поколотить, то он приткнулся к стенке, вырвал крапиву да отбивается. Попробуй-ка подойти, ноги-то, ведь они голые.

Сергей рассмеялся.

Где-то неподалеку на волейбольной площадке гулко ахнул мяч, и ребятишки кинулись туда.

Потом подошли Натка, а за ней Алька и Катюшка Вострецова, которые волокли на бечевке маленький грузовичок, до краев наполненный яблоками, грушами и сливами.

— Это наши ребята за ужином нагрузили. Вот мы и увозим,— объяснил Алька.— Ты проводи нас, папка, до отряда, а потом мы с тобой гулять пойдем.

Грузовик двинулся, а Сергей и Натка пошли сзади.

— Он, вероятно, на днях уедет со мной в Москву,— неохотно сообщил Сергей.— Так надо,— ответил он на удивленный взгляд Натки.— Надо так, Наташа.

— Ганин! — набравшись решимости, спросила Натка.— А что, Алька когда-нибудь мать свою видел? То есть... видел, конечно... но он ее хорошо помнит?

Грузовик вздрогнул, два яблока выпали и покатились по дорожке. Алька, быстро обернувшись, взглянул на отца.

Сергей наклонился, подобрал яблоки, положил их в кузов и с укоризною сказал:

— Что же это, шофер? Ты тормози плавно, а то шестеренки сорвешь да и машину опрокинешь.

Они подошли к дому. Сергей сказал, что задержит Альку ненадолго. Однако Алька вернулся только ко сну.

Натка раздела его, уложила и, закрыв абажур платком, стала перечитывать второе, только что сегодня полученное письмо.

Мать с тревогой писала, что отца переводят на стройку в Таджикистан и что скоро всем надо будет уезжать. Мать волновалась, горячо просила Натку приехать пораньше и сообщала, что отец уже сговорился с горкомом, и если Натка захочет, то и ее отпустят вместе с семьей.

Противоречивые чувства охватили Натку. Хотелось побыть и здесь до конца отпуска, тем более что вожатый Корчаганов уже выздоравливал. Хорошо было поехать

и в Таджикистан, хотя и грустно покидать город, где прошло все детство. И было как-то неспокойно и радостно. Чувствовалось, что вот она, жизнь, разворачивается и раскидывается всеми своими дорогами. Давно ли: дядя... папаха, дядина сабля за печкой... мать с хворостиной... Давно ли пионеротряд... сама пионерка... Потом совпартшкола. И вдруг год-два — и сразу уже ей девятнадцатый.

Ей показалось, что в комнате душно, и, натянув сетку, она распахнула настежь окно.

Обернувшись, она увидела, что Алька все еще не спит, а лежит с открытыми и вовсе не сонными глазами.

— Ты что? Спи, малыш! — накинулась на него Натка.

Алька улыбнулся и привстал.

— А мы сегодня с папой на высокую гору лазили. Он лез и меня тащил. Высоко затащил. Ничего не видно, только одно море и море. Я его спрашиваю: «Папа, а в какой стороне та сторона, где была наша мамка?» Он подумал и показал: «Вон, в той». Я смотрел, смотрел, все равно только одно море. Я спросил: «А где та сторона, в которой сидит в тюрьме Владикина Влада?» Он подумал и показал: «Вон, в той». Чудно́, правда, Натка?

— Что же чудно́, Алька?

— И в той стороне... и в другой стороне...— протяжно сказал Алька.— Повсюду. Помнишь, как в нашей сказке, Натка? — живо продолжал он.— Папа у меня русский, мама румынская, а я какой? Ну, угадай.

— А ты? Ты советский. Спи, Алька, спи,— быстро заговорила Натка, потому что глаза у Альки что-то уж очень ярко заблестели.

Но Альке не спалось. Она присела к нему на кровать, закутала в одеяло и взяла его на руки:

— Спи, Алька. Хочешь, я тебе песенку спою?

Он прикорнул к ней, притих, задремал, а она вполголоса пела ему простую, баюкающую песенку, ту самую, которую пела ей мать еще в очень глубоком, почти позабытом детстве:

Плыл кораблик голубой,
А на нем и я с тобой.
В синем море тишина,
В небе звездочка видна.
А за тучами вдали
Виден край чужой земли..

Тут во сне Алька заворочался. Неожиданно он открыл глаза, и счастливая улыбка разошлась по его раскрасневшемуся лицу.

— А знаешь, Натка? — прижимаясь к ней, радостно сказал Алька.— А я все-таки свою маму один раз видел. Долго видел... целую неделю.

— Где? — не сдержавшись, быстро спросила Натка.

Алька подумал, помолчал, потом решительно качнул головой:

— Нет, не скажу.... Это наша с папкой тоже — военная тайна.

Он рассмеялся, уткнулся к ней в плечо и потом, уже совсем засыпая, тихонько предупредил:

— Смотри... и ты не говори никому тоже.

После обеда в лагерь приехал Дягилев получать из склада болты и гвозди. Сергей приказал, чтобы после приемки Дягилев кликнул его, и тогда они поедут к озеру вместе.

Лагерный тир был расположен у берега, как раз по пути, пониже шоссейной дороги. Сергей завернул к тиру.

Только что окончился послеобеденный отдых, и поэтому ребят в тире было немного — человек восемь. Среди них были Владик и Иоська.

Сергей стоял поодаль, наблюдая за Владиком. Когда Владик подходил к барьеру, лицо его чуть бледнело, серые глаза щурились, а когда он посылал пулю, губы вздрагивали и сжимались, как будто он бил не по мишени, а по скрытому за ней врагу.

Стреляли из мелкокалиберки на пятьдесят метров.

— Тридцать пять,— откладывая винтовку и оборачиваясь к Иоське, спокойно сказал Владик.— Бьюсь обо что хочешь, что тебе не взять и тридцати.

— Тридцать выбью,— поколебавшись, решил Иоська.

— Ого! Ну, попробуй!

Иоська виновато взглянул на товарищей и взял винтовку. Приготавливался он к выстрелу дольше, целился медленней, и, перезаряжая после выстрела, он глотал слюну, точно у него пересыхало горло.

И все-таки тридцать очков он выбил.

В это время к Сергею подошел Дягилев.

— Дурная голова! — с досадой сказал он, постукивая себя пальцем по лбу.— Сам-то я поехал, а наряд в кон-

торке позабыл. Подпишите новый, Сергей Алексеевич. А вернемся — я тогда прежний порву.

— Сорок выбью,— уверенно заявил Владик и легко взял из рук покрасневшего Иоськи винтовку.— Меньше сорока не будет,— твердо заявил он, чувствуя, как ладно и послушно легла винтовка к плечу.

— Сорок мне не выбить,— сознался Иоська.— У меня после третьего выстрела рука устает.

— А ты не целься по часу,— посоветовал Владик. И, вскинув приклад, он с первой же пули положил десять.

Ребята насторожились и заулыбались.

— А ты не целься по часу,— повторил Владик и снова выбил десять.

На третьем выстреле, перезаряжая винтовку, торжествующий Владик мельком оглянулся на Сергея.

Тут как будто бы кто-то его дернул. Он как-то неловко, не по-своему вскинул, не вовремя нажал, и четвертая пуля со свистом ударила совсем за мишень.

— Сорвал! Что ты? Что ты? — зашептались и задвигались ребята.

Владик торопливо перезарядил. Целился он теперь долго. Пальцы дрожали, и мушка прыгала.

— Ну, двойка! — разочарованно крикнул кто-то, когда он выстрелил.

Владик оттолкнул винтовку и, ничего не говоря, пошел прочь.

Сергею стало жалко растерявшегося Владика.

— Не сердись,— успокоил он, задерживая его руку.— Ты хорошо стреляешь. Только не надо было оборачиваться.

— Нет,— сердито ответил Владик.— Это совсем не то.

Несколько шагов вдоль берега они прошли молча. Владик тяжело дышал.

— Я знаю,— сказал он останавливаясь,— это вы за меня заступились перед Наткой. Вы не спорьте, я хорошо знаю.

— Я не спорю, но я не заступался. Я только рассказал ей то, что передал мне Алька. А ему я, Владик, очень крепко верю.

— И я тоже.— Владик облизал пересохшие губы. И, не зная, как начать, он отшвырнул ногою попавшийся камешек.— Это кто к вам сейчас подходил?

— Сейчас? Это старший десятник. А что, Владик?

Владик запнулся.

— А если он десятник, то зачем он ружья прячет? Зачем? Из-за него мы с Толькой нечаянно чуть вас не убили. Из-за него Толька свихнул себе руку. Из-за него я сейчас промахнулся. У меня три патрона — тридцать очков. Вдруг вижу... Что? Кто это? Откуда? Конечно, раз сорвал... сорвал два, а если бы сразу обернулся, то и все пять сорвал бы. Разве я его тут ожидал?

— Постой, постой, да ты не кричи! — остановил Владика Сергей.— Кто меня убил? Какое ружье? Кто прячет? Поди сюда, сядь.

Они сели на камень.

— Помните, вы верхом ехали и двум мальчишкам записку к начальнику лагеря дали?

— Ну?

— Это мы с Толькой были. На башню, дураки, лазили... Помните, вы однажды шли, вдруг около вас бабахнуло. Вы окликнули да по кустам из нагана...

— Я не по кустам, я в воздух.

— Все равно. Это мы с Толькой бабахнули. Это он нечаянно. А потом мы бросились бежать; тут он — под откос и расшибся.

— А ружье? Ружье где вы взяли?

— А ружье вот этот самый дядька в яму под башню спрятал. Мы там лазили и нечаянно натолкнулись.

— Какой дядька? Может быть, другой? Может быть, вовсе не этот? — настойчиво переспрашивал Сергей.

— Этот самый. Мы с Толькой наверху рядом сидели. Тоже сунулся под руку,— с досадой добавил Владик.— Я обернулся, гляжу — он. Откуда, думаю? Может быть, за ружьем? Раз, раз — и сорвал.

— А ружье где?

— Там оно... где-нибудь в чаще, под обрывом,— уже нехотя докончил Владик.— Если надо, так сходим, можно и найти.

— Владик,— торопливо попросил Сергей, увидав подъезжающего Дягилева.— Ты беги в тир. Я сейчас тоже приду. А потом мы возьмем с собой Альку и пойдемте вместе гулять. Там заодно все посмотрим и поищем.

В этот же день к вечеру Сергей вызвал Шалимова и послал на третий участок за Дягилевым. Ободранная о

камни, грязная двустволка стояла в углу. Ее нашли в колючках под обрывом.

На все расспросы Сергея Шалимов отмалчивался и твердил только одно: что аллах велик и, конечно, видит, что он, Шалимов, ни в чем не виноват.

Вошел Дягилев. Еще с порога он начал жаловаться, что шалимовская бригада совсем отбилась от рук и что куда-то затерялся ящик с метровыми гайками.

Но, наткнувшись на Шалимова, он сразу насторожился, сдвинул с табуретки молодого парнишку-рассыльного и сел напротив Сергея.

— Врешь, что тебя обворовали,— прямо сказал Сергей.— Ты сам вор. Документы бросил, а двустволку спрятал.

И, указывая на притихшего Шалимова, он спросил:

— А рабочих обкрадывали вместе? Скажите, сколько украли?

— Шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть,— быстро ответил нерастерявшийся Дягилев.— Что ты, Сергей Алексеевич? Или динамитом в голову контузило?

Но тут он разглядел стоявшую за спиной Сергея двустволку и злобно взглянул на молчавшего Шалимова:

— Ах, вот что! Святой Магомет, это ты что-нибудь напророчил?

— Я ничего не говорил,— испуганно забормотал Шалимов.— Я ничего не видал, ничего не слыхал и не знаю. Это бог все знает.

— Святая истина,— мрачно согласился Дягилев.— Ну, и что дальше?

— Документы у тебя свои или чужие? — спросил Сергей.

— Документ советский, за свои нынче строго. Да что ты ко мне пристал, Сергей Алексеевич? Вор украл, вор и бросил, а я-то тут при чем?

В эту минуту дверь стукнула, и Дягилев увидел на пороге незнакомого мальчика.

— Владик,— спросил мальчика Сергей, указывая на Дягилева,— этот человек ружье прятал?

Владик молча кивнул головой. Сергей обернулся к телефону.

Почуяв недоброе, Дягилев тоже встал и, отталкивая пытавшегося его задержать рассыльного, пошел к двери.

— Ты постой, вор! — вскрикнул побледневший Владик.— Здесь еще я стою.

— А ты что за орел-птица? — крикнул озадаченный Дягилев и нехотя сел, потому что Сергей бросил трубку телефона.

— Отпустите лучше, Сергей Алексеевич,— сказал Дягилев.— Стройка закончена. Плотина готова. Вы себе с миром в одну сторону, а я — в другую. Всем жрать надо.

— Всем надо, да не все воруют.

— Вам воровать не к чему. У вас и так все свое.

— А у вас?

— А у нас? Про нас разговор особый. Отпустите добром, вам же лучше будет.

— Мне лучше не надо. Мне и так хорошо... А ты, я смотрю, кулак. Но-но! Не балуй! — окрикнул Сергей, увидев, что Дягилев встал и подвинул к себе тяжелую табуретку.

— Был с кулаком, остался с кукишом,— огрызнулся Дягилев и безнадежно махнул рукой, увидев подъезжавших к окну двух верховых милиционеров.

— Лучше бы отпустили, себе только хуже сделаете,— как бы с сожалением повторил Дягилев и злобно дернул за рукав все еще что-то бормотавшего Шалимова.— Вставай, святой Магомет! Социализм строили... строили и надорвались. В рай домой поехали! А вон за окном и архангелы.

Через два дня, в полдень, торжественно открыли шлюзы, и потоки холодной воды хлынули с гор к лагерю.

Вечером по нижнему парковому пруду, куда направили всю первую, еще мутную воду, уже катались на лодках.

Наутро били фонтаны, сверкали светлые бассейны, из-под душей неслась отчаянный визг. И суровый Гейка, которого уже несколько раз обрызгивали из окошек, щедро поливая запылившиеся газоны, совсем не сердито бормотал:

— Ну, будет, будет вам! Вот сорву крапиву да через окно крапивой по голому. И скажи, что за баловная нация!

Где бы ни появлялся этот маленький темноглазый мальчуган — на лужайке ли среди беспечных октябрят,

на поляне ли, где дико гонялись казаки и разбойники — отчаянные храбрецы, на волейбольной ли площадке, где азартно играли в мяч взрослые комсомольцы, всюду ему были рады.

И если, бывало, кто-нибудь чужой, незнакомый толкнет его, или отстранит, или не пропустит пробраться на высокое место, откуда все видно, то такого человека всегда останавливали и мягко ему говорили:

— Что ты, одурел? Да ведь это наш Алька

И потом вполголоса прибавляли еще что-то такое, от чего невнимательный, неловкий, но не злой человек смущался и виновато смотрел на этого веселого малыша.

С часу на час Сергей ожидал телеграммы. Но прошел день, прошел другой, а телеграммы все не было, и Сергей стал надеяться, что остаток отпуска они с Алькой проведут спокойно и весело.

Уже вечерело, когда Сергей и Алька лежали на полянке и поджидали Натку. Она сегодня была свободна, потому что совсем выздоровел и вернулся в отряд вожатый Корчаганов.

Однако Натка где-то задерживалась.

Они лежали на теплой, душистой поляне и, прислушиваясь к стрекотанию бесчисленных цикад, оба молчали.

— Папка,— трогая за плечо отца, спросил Алька,— Владик говорит, что у одного летчика пробили пулями аэроплан. Тогда он спрыгнул, летел, летел и все-таки спустился прямо в руки белым. Зачем же он тогда прыгал?

— Должно быть, он не знал, что попадет к белым, Алька.

— А если бы знал?

— Ну, тогда он подумал бы, что, может быть, сумеет убежать или отобьется.

— Не отбился,— с сожалением вздохнул Алька.— Владик говорит, что на том месте, где летчика допытывали и убили, стоит теперь вышка и оттуда ребята с парашютами прыгают. Ты, когда был на войне, много раз прыгал?

— Нет, Алька, я ни одного раза. Да у нас и война не такая была — без парашютов.

— А у нас какая будет?

— А у вас, может быть, уж никакой войны не будет

— А если?

— Ну, тогда вырастешь — сам увидишь. Ты почему про летчика вспомнил, Алька?

— По сказке. Помнишь, когда Мальчиша заковали в цепи, то бледный он стоял, и тоже от него ничего не выпытали.

Алька вскочил с травы и попросил:

— Пойдем, папка. Мы Натку по дороге встретим. А у меня под подушкой две конфеты спрятаны, и я вам тоже дам по половинке, только ты не говори ей, что это из-под подушки, а то у нас за это ругаются.

Они спустились на тропку и вдоль ограды из колючей проволоки, которая отделяла парк от проезжей дороги, пошли к дому.

Они отошли уже довольно далеко, как Сергей спохватился, что забыл на поляне папиросы.

— Принеси, Алька,— попросил он,— я тебя здесь подожду. Беги напрямик, через кусты. Ты малыш и живо пролезешь.

Алька нырнул в чащу.

— Ау! Где вы? — донесся издалека голос Натки.

— Эге-гей! Здесь! — громко откликнулся Сергей.— Сюда, Наташа!

При звуке его голоса из-за кустов со стороны дороги просунулась чья-то голова, и Сергей узнал дягилевского брата. Он опять был сильно пьян, но на ногах держался крепко. Он сделал было попытку подойти, но наткнулся на колючую проволоку и остановился.

— Зачем брата посадил? — глухо проговорил он, уставившись на Сергея мутными, недобрыми глазами.— Хитрый! — протяжно добавил он и погрозил пальцем.

— Иди, проспись,— посоветовал Сергей.— Смотри, ты себе руку о проволоку раскровенил.

— И все-то вы хи-итрые! — так же протяжно повторил пьяный и вдруг, подавшись корпусом, двинулся так сильно, что проволока затрещала и зазвенела.

Он хрипло крикнул:

— Зачем брата посадил? Лучше отпусти, а то хуже будет!

— Брат твой кулак и вор — туда ему и дорога. Ты будешь вором, и ты сядешь. Пойди спи,— резко ответил Сергей, не спуская глаз с этого остервеневшего человека.

— Брат — вор, а я и вовсе бандит! — дико выкрикнул

пьяный, и, схватив с земли тяжелый камень, он что было силы запустил им в Сергея.

— Брось, оставь! — крикнул отклонившийся Сергей.

Но ослепленный злобою, отуманенный водкой человек рванулся к земле, и целый град булыжников полетел в Сергея. Крупный камень ударил ему в плечо, и тут же он услышал, как сзади хрустнули кусты и кто-то негромко вскрикнул.

— Стой!.. Назад... Назад, Алька! — в страхе закричал Сергей, и, вырвав из кармана браунинг, он грохнул по пьяному.

Пьяный выронил камень, погрозил пальцем, крепко выругался и тяжело упал на проволоку.

Сергей обернулся.

Очевидно, что-то случилось, потому что он покачнулся. В одно и то же мгновение он увидел тяжелые плиты тюремных башен, ржавые цепи и смуглое лицо мертвой Марицы. А еще рядом с башнями он увидел сухую колючую траву. И на той траве лицом вниз и с камнем у виска неподвижно лежал всадник «Первого октябрятского отряда мировой революции», такой малыш — Алька.

Сергей рванулся и приподнял Альку. Но Алька не вставал.

— Алька,— почти шепотом попросил Сергей,— ты, пожалуйста, вставай...

Алька молчал.

Тогда Сергей вздрогнул, осторожно положил Альку на руки, не поднимая оброненную фуражку, шатаясь, пошел в гору.

Из-за поворота навстречу выбежала Натка. Была она сегодня такая веселая, черноволосая, без платка, без галстука; подбегая, она раскинула руки и радостно спросила:

— Ну что, заждались? Вот и я. А он уже спит?

— А он, кажется, уже не спит,— как-то по-чужому ответил Сергей и остановился.

И, очевидно, опять что-то случилось, потому что пораженная Натка отступила назад, подошла снова и, заглянув Альке в лицо, вдруг ясно услышала далекую песенку о том, как уплыл голубой кораблик...

На скале, на каменной площадке, высоко над синим морем, вырвали остатками динамита крепкую могилу

И светлым солнечным утром, когда еще вовсю распевали птицы, когда еще не просохла роса на тенистых полянках парка, весь лагерь пришел провожать Альку

Что-то там над могилой говорили, кого-то с ненавистью проклинали, в чем-то крепко клялись, но все это плохо слушала Натка.

Она видела Карасикова, который стоял теперь не шелохнувшись, и вспомнила, что отец у Карасикова — шахтер.

Она видела босого, но сегодня подпоясанного и причесанного Гейку и вспомнила, что этот добрый Гейка был когда-то солдатом в арестантских ротах.

Она увидела Владика, бледного и сдержанного настолько, что, казалось, никому нельзя было даже пальцем дотронуться до него сейчас, и подумала, что если когда-нибудь этот Владик по-настоящему вскинет винтовку, то ни пощады, ни промаха от него не будет.

Потом она увидела Сергея. Он стоял неподвижно, как часовой у знамени. И только сейчас Натка разглядела, что лицо его спокойно, почти сурово, что сапоги вычищены, ремень подтянут, а на чистой гимнастерке привинчен военный орден.

Тут Натку тихонько позвали и сказали, что башкирка Эмине бросилась на траву и очень крепко плачет.

Потом все ушли. Остались только Сергей, Гейка, дежурное звено из первого отряда и четверо рабочих.

Они навалили груду тяжелых камней, пробили отверстие, крепко залили цементом, забросали бугор цветами.

И поставили над могилой большой красный флаг.

В тот же день Сергей получил телеграмму. Он зашел к себе и стал собираться. Он уложил весь свой несложный багаж, но когда подошел к письменному столу, чтобы собрать бумагу, то он не нашел там Алькиной фотографии.

Он потер виски, припоминая, не брал ли он ее с собою. Заглянул даже в полевую сумку, но фотографии и там не было.

Голова работала нечетко, мысли как-то сбивались, разбегались, путались, и он не знал, на кого — на себя, на других ли — сердиться.

Он пошел к Натке. Натка укладывалась тоже.

Алькина кровать с белой подушкой, с голубеньким

одеялом стояла все еще нетронутой, как будто он бегал где-либо неподалеку, но его любимой картинки с красно-звездным всадником уже не было.

— Завтра я уезжаю, Наташа,— сказал Сергей.— Меня вызвали.

— И я тоже. Мы вместе поедем. Ты пить хочешь? Пей из графина. Теперь вода холодная.

— Да, теперь вода холодная,— машинально повторил Сергей.— Ты у меня не была сегодня, Наташа?

— Нет, не была. А что... Сережа?

— Не знаю я, куда-то Алькина карточка со стола пропала. Может быть, сам сгоряча засунул — не помню. Искал, искал — нету. В Москве у меня еще есть,— словно оправдываясь, добавил он.— А здесь больше нету.

В дверь заглянул вожатый Корчаганов, который весь день ловил Натку, чтобы за что-то ее выругать. Но, увидав Сергея, он понял, что сейчас, пожалуй, не время и не место. Он исчез, не сказав ни слова.

Они решили ехать завтра рано утром — машиной до Севастополя и оттуда на поезде в Москву.

В последний раз обходила Натка шумный и отчаянный свой четвертый отряд. Еще не везде смолкли печальные разговоры, еще не у всех остыли заплаканные глаза, а уже исподволь, разбивая тишину, где-то рокотали барабаны. Уже, рассевшись на бревнах, дружно и нестройно, как всегда, запевали свою песню октябрята.

Уже успели Вася Бубякин и Карасиков снова поссориться и снова помириться. И уже перекликались голоса над берегом, аукали в парке и визжали под искристыми холодными душами.

Натка зашла в прохладную палату. Там у окна стоял только один Владик. Она подошла к нему сзади, но он задумался и не слышал. Она заглянула ему через плечо и увидела, что он пристально разглядывает Алькину карточку.

Владик отпрыгнул и крепко спрятал карточку за спину.

— Зачем это? — с укором спросила Натка.— Разве ты вор? Это нехорошо. Отдай назад, Владик.

— Вот скажи, что убьешь, и все равно не отдам,— стиснув зубы, но спокойно, не повышая голоса, ответил Владик.

И Натка поняла: правда, скажи ему, что убьют, и он не отдаст.

— Владик,— ласково заговорила Натка, положив ему руку на плечо,— а ведь Алькиному отцу очень, очень больно. Ты отдай, отнеси. Он на тебя не рассердится...

Тут губы у Владика запрыгали. Исчезла вызывающая, нагловатая усмешка, совсем по-ребячьи раскрылись и замигали его всегда прищуренные глаза, и он уже не крепко и не уверенно держал перед собой Алькину карточку Голос его дрогнул, и непривычные крупные слезы покатились по его щекам.

— Да, Натка,— беспомощным, горячим полушепотом заговорил он,— у отца, наверное, еще есть. Он, наверно, еще достанет. А мне... а я ведь его уже больше никогда...

Минутой позже, все еще собираясь выругать за что-то Натку, забежал вожатый Корчаганов и, разинув рот, остановился. Сидя на койке, прямо на чистом одеяле, крепко обнявшись, Владик Дашевский и Натка Шегалова плакали. Плакали открыто, громко, как маленькие глупые дети.

Он постоял, тихонько, на цыпочках, вышел, и ему что-то захотелось выпить очень холодной воды.

Провожать на дорогу прибежали многие. Уже в самую последнюю минуту, когда Сергей и Натка сели в машину, с огромной охапкой цветов примчался Владик, а за ним Иоська и Эмка.

— Возьми... Это ему и тебе,— отрывисто сказал Владик.— Да бери. Ты не думай. Это я не украл. Мы пошли к Гейке. Мы попросили садовника. Мы сказали — кому, и он дал. Возьми, возьми. Прощай, Натка!

Высоко с горы, взявшись за руки, бежали опоздавшие Вася Бубякин и Карасиков. Увидав, что им все равно не поспеть, они остановились, растерянно посмотрели друг на друга, потом замахали и закричали:

— До свиданья, до свиданья!

Машина рявкнула, и Натка, приподнявшись, крикнула Васе Бубякину и Карасикову и всем этим хорошим ребятам, всему этому шумному, зеленому лагерю:

— До свиданья, до свиданья!

Машина плавно покатила вниз. Огибая лагерь, она помчалась к берегу, потом пошла в гору. Здесь, как будто бы нарочно, шофер сбавил ход. Натка обернулась.

Дул свежий ветер. Он со свистом пролетал мимо ушей, пенил голубые волны и ласково трепал ярко-красное полотнище флага, который стройно высился над лагерем, над крепкой скалой, над гордою Алькиной могилой...

В ту светлую осень крепко пахло грозами, войнами и цементом новостроек.

Поезд мчался через Сиваш, гнилое море, и, глядя на его серые гиблые волны, Натка вспомнила, что где-то вот здесь в двадцатом, был убит и похоронен их сосед, один веселый сапожник, который перед тем как уйти на фронт, выкинул из дома иконы, назвал белобрысую дочку Маньку Всемирой и, добродушно улыбаясь, лихо затопал на вокзал, с тем чтобы никогда домой не вернуться.

И Натка подумала, что домика того давно уже нет, а на всем этом квартале выстроили учебный комбинат и водонапорную башню. А Маньку — Всемиру — никто никогда таким чудным именем не звал и не зовет, а зовут ее просто Мира или Мирка. И она уже теперь металлург-лаборантка, и у нее недавно родился сын, такой же белобрысый, Пашка.

— А все-таки где же Алька видел Марицу? — неожиданно обернувшись к Сергею, спросила Натка.

— Он видел ее полтора года назад, Наташа. Тогда Марица бежала из тюрьмы. Она бросилась в Днестр и поплыла к советской границе. Ее ранили, но она все-таки доплыла до берега. Потом она лежала в больнице, в Молдавии. Была уже ночь, когда мы приехали в Балту. Но Марица не хотела ждать до утра. Нас пропустили к ней ночью. Алька у нее спросил: «Тебя пулей пробило?» Она ответила: «Да, пулей».— «Почему же ты смеешься? Разве тебе не больно?» — «Нет, Алька, от пули всегда больно. Это я тебя люблю». Он насупился, присел поближе и потрогал ее косы. «Ладно, ладно, и мы их пробьем тоже».

— А почему Алька говорил, что это тайна?

— Марицу тогда Румыния в Болгарии искала*. А мы думали — пусть ищет. И никому не говорили.

— А потом?

— А потом она уехала в Чехословакию и оттуда опять пробралась к себе в Румынию. Вот тебе и все, Наташа.

Поезд мчался через степи Таврии. Рыжими громадами

возвышались над равниной хлебные стога. Сторожевыми башнями торчали элеваторы, и к ним со всех сторон бежали машины, тянулись подводы, телеги, арбы, груженные свежим, пахучим зерном.

На каждой большой станции бросались за встречными газетами. Газет не хватало. Пропуская привычные сводки и цифры, отчеты, внимательно вчитывались в те строки, где говорилось о тяжелых военных тучах, о раскатах орудийных взрывов, которые слышались все яснее и яснее у одной из далеких-далеких границ.

Натка отложила газету.

Поезд мчался теперь через могучий Донбасс. Там бушевало пламя, шипели коксовые печи, грохотали подъемники и экскаваторы. И росли, росли озаренные прожекторами вышки шахт, фабричные корпуса — целые города, еще сырые, серые, пахнущие дымом, известью и цементом.

— Сережа,— сказала тогда Натка, присаживаясь рядом и тихонько сжимая его руку,— ведь это же правда, что наша Красная Армия не самая слабая в мире?

Он улыбнулся и ласково погладил ее по голове.

На вокзале их встретил сам Шегалов.

Столкнувшись с Сергеем, он остановился и нахмурился. Удивленный Сергей и сам стоял, глядя Шегалову прямо в лицо и чему-то улыбаясь.

— Постой! Как это? — трогая Сергея за рукав, пробормотал Шегалов.— Сережка Ганин! — воскликнул он вдруг и, хлопая Сергея по плечу, громко рассмеялся.— А я смотрю... Кто? Кто это?.. Ты откуда?.. Куда?..

— Мы вместе приехали. А ты его знаешь? — обрадовалась Натка.— Мы вместе приехали. Я тебе, дядя, потом расскажу. У тебя машина? Мы вместе поедем.

— Поедем, поедем,— согласился Шегалов.— Только мне сейчас прямо в штаб. Я вас развезу, а вечером он обязательно ко мне. Ну, что же ты молчишь?

— Слов нету,— ответил Сергей.— А к вечеру, Шегалов, я все припомню.

— А Балту вспомнишь? Молдавию вспомнишь?

— Дядя,— перебила сразу насторожившаяся Натка,— идем, дядя. Где машина?

Натка сидела посередине. А Шегалов весело расспрашивал Сергея:

— Ну, как ты? Конечно, жена есть, дети?

— Дядя! — дергая его за рукав, перебила Натка.— Ты мне шпорой прямо по ноге двинул.

— Как это? — удивился Шегалов.— Твои ноги вон где, а мои шпоры — вот они.

— Не сейчас,— смутилась Натка,— это еще когда мы в машину садились.

— Так неужели не женат? — продолжал Шегалов и рассмеялся.— А помнишь, как в Бессарабии однажды мы на беженский табор наткнулись, и была там одна такая девчонка темноглазая, чернокосая...

— Дядя! — почти испуганно вскрикнула Натка.— Это была...— Она запнулась.— Это была такая же машина, на которой мы в прошлый раз с тобой ехали?

— И что ты, шальная, не даешь с человеком слова сказать? — возмутился Шегалов.— То ей шпорами, то ей машина. Та же самая машина,— с досадой ответил он.— Ну, вот мы и приехали, слезай. Ты обязательно заходи сегодня или завтра вечером,— обернулся он к Сергею.— А то я на днях и сам в командировку уеду. Дела, брат! — уже тише добавил он.— Серьезные дела! Так и норовят нас слопать, да, гляди, подавятся.

К вечеру позвонил Шегалов и сказал, что он сегодня вернется только поздно ночью. Через полчаса позвонил Сергей и предупредил, что сегодня он быть никак не может и постарается прийти завтра.

Наутро Натка проснулась только в десять, и ей сказали, что дядя уже уехал, но обязательно обещал вернуться пораньше.

Это очень опечалило Натку. До четырех часов Натка ждала звонка, но потом у нее заболела голова, и она вышла на улицу. Незаметно она зашла в Александровский парк. Вечер был светлый, прохладный. В парке было тихо. Под ногами шуршали сухие листья, и пахло сырою рябиной.

У газетных киосков стояли нетерпеливые очереди. Люди поспешно разворачивали газетные листы и жадно читали последние известия о событиях на Дальнем Востоке. События были тревожные.

«Скорей надо за дело,— опуская газету, подумала Натка.— Домой ли, в Таджикистан ли... все равно. Всюду работа, нужная и важная».

И Натка опять вспомнила Алькину Военную Тайну:

«Отчего бились с Красной Армией сорок царей да сорок королей? Бились, бились, да только сами разбились?»

«Это давно бились,— подумала Натка.— А пусть попробуют теперь. Или пусть подождут еще, пока подрастут Владик, Толька, Иоська, Баранкин и еще тысячи и миллионы таких же ребят... Надо работать,— думала Натка.— Надо их беречь. Чтобы они учились еще лучше, чтобы они любили свою страну еще больше. И это будет наша самая верная, самая крепкая Военная Тайна, которую пусть разгадывает, кто хочет».

Когда она вернулась домой, ей сказали, что без нее заходил Сергей.

Она бросилась к столу и нашла записку.

«Наташа,— писал Сергей.— Сегодня я уезжаю на Дальний Восток. Горячее спасибо тебе за Альку, за себя, за все».

Тут же на столе лежала фотография. На ней звонко и приветливо смеялись обнявшиеся Алька и Марица Маргулис.

И тогда ей вдруг очень захотелось еще раз повидать Сергея.

Она подошла к телефону и узнала, что курьерский поезд на Дальний Восток уходит в семь тридцать. У нее оставалось еще полтора часа.

Она представила себе огромный, шумный вокзал, где все суетятся, спешат, провожают, прощаются.

И только Сергей совсем один, без Марицы, без Альки, стоит молчаливый, вероятно, угрюмый, и ждет, когда наконец загудит паровоз, дрогнут вагоны и поезд двинется в этот очень далекий путь.

Она быстро вышла из дому и вскочила в трамвай.

На вокзале, перебегая из зала в зал, она пристально оглядывала всех окружающих, но Сергея не могла найти нигде.

Отчаявшись, она, наконец, в третий раз остановилась в буфете, не зная, где искать и что думать.

Вдруг, совсем нечаянно, за крайним столиком, за которым негромко разговаривали какие-то отъезжающие военные, она увидала Сергея.

Он был в форме командира инженерных войск, его товарищи — тоже.

Но что поразило Натку — это то, что он был не угрюмый, не молчаливый и вовсе не одинокий.

Слегка наклонившись, он внимательно и серьезно слушал то, что вполголоса ему говорили. Вот он, с чем-то не соглашаясь, покачал головой. А вот улыбнулся, вытер лоб и поправил ремень полевой сумки.

— Сережа! — негромко позвала его Натка.

Он обернулся, сразу же встал, быстро сказал что-то своим товарищам и, крепко обрадованный, пошел ей навстречу.

— Ну вот,— сказал он, сжимая ее руку и почему-то виновато улыбаясь.— Ну вот, Наташа, ты видишь теперь, как оно все вышло.

На перроне разговаривали они мало: сбивали гул, шум, гудки, толпа и музыка, провожавшая какую-то делегацию.

Что-то хотелось обоим напоследок вспомнить и сказать, но каждый из них чувствовал, что начинать лучше и не надо.

Но, когда они крепко расцеловались и Сергей уже изнутри вагона подошел к окну, Натке вдруг захотелось напоследок крикнуть ему что-нибудь крепкое и теплое.

Но стекло было толстое, но уже заревел гудок, но слова не подвертывались, и, глядя на него, она только успела совсем по-Алькиному поднять и опустить руку, точно отдавая салют чему-то такому, чего, кроме них двоих, никто не видел.

И он ее понял и наклонил голову.

Натка вышла на площадь и, не дожидаясь трамвая, потихоньку пошла пешком. Вокруг нее звенела и сверкала Москва. Совсем рядом с ней проносились через площадь глазастые автомобили, тяжелые грузовики, гремящие трамваи, пыльные автобусы, но они не задевали и как будто бы берегли Натку, потому что она шла и думала о самом важном.

А она думала о том, что вот и прошло детство и много дорог открыто.

Летчики летят высокими путями.

Капитаны плывут синими морями.

Плотники заколачивают крепкие гвозди, а у Сергея на ремне сбоку повис наган.

Но она теперь не завидовала никому. Она теперь по-иному понимала холодноватый взгляд Владика, горячие поступки Иоськи и смелые нерусские глаза погибшего Альки.

И она знала, что все на своих местах и она на своем месте тоже. От этого сразу же ей стало спокойно и радостно.

Незаметно для себя она свернула в какой-то совсем незнакомый переулок только потому, что туда прошел с песнею возвращающийся из караула дружный красноармейский взвод.

Мельком заглянула Натка в незавешенное окошко низенького домика и увидала, как старая бабка, нацепив радионаушники, внимательно слушает и отчаянно грозит рукой догадливому малышу, который смело лезет на стол к сахарнице.

Тут Натка услышала тяжелый удар и, завернув за угол, увидала покрытую облаками мутной пыли целую гору обломков только что разрушенной дряхлой часовенки.

Когда тяжелое известковое облако разошлось, позади глухого пустыря засверкал перед Наткой совсем еще новый, удивительно светлый дворец.

У подъезда этого дворца стояли три товарища с винтовками и поджидали веселую девчонку, которая уже бежала к ним, на скаку подбрасывая большой кожаный мяч.

Натка спросила у них дорогу.

Крупная капля дождя упала ей на лицо, но она не заметила этого и тихонько, улыбаясь, пошла дальше.

Пробегал мимо нее мальчик, заглянул ей в лицо. Рассмеялся и убежал.

1934 г.



ГОЛУБАЯ ЧАШКА

Мне тогда было тридцать два года. Марусе двадцать девять, а дочери нашей Светлане шесть с половиной. Только в конце лета я получил отпуск, и на последний теплый месяц мы сняли под Москвой дачу.

Мы со Светланой думали ловить рыбу, купаться, собирать в лесу грибы и орехи. А пришлось сразу подметать двор, подправлять ветхие заборы, протягивать веревки, заколачивать костыли и гвозди.

Нам все это очень скоро надоело, а Маруся одно за другим все новые да новые дела и себе и нам придумывает.

Только на третий день к вечеру наконец-то все было

сделано. И как раз, когда собирались мы втроем идти гулять, пришел к Марусе ее товарищ — полярный летчик.

Они долго сидели в саду, под вишнями. А мы со Светланой ушли во двор к сараю и с досады взялись мастерить деревянную вертушку.

Когда стемнело, Маруся крикнула, чтобы Светлана выпила молока и ложилась спать, а сама пошла проводить летчика до вокзала.

Но мне без Маруси стало скучно, да и Светлана одна в пустом доме спать не захотела.

Мы достали в чулане муку. Заварили ее кипятком — получился клейстер.

Оклеили гладкую вертушку цветной бумагой, хорошенько разгладили ее и через пыльный чердак полезли на крышу.

Вот сидим мы верхом на крыше. И видно нам сверху, как в соседнем саду, у крыльца, дымит трубой самовар. А на крыльце сидит хромой старик с балалайкою, и возле него толпятся ребятишки.

Потом выскочила из черных сеней босоногая сгорбленная старуха. Ребятишек турнула, старика обругала и, схватив тряпку, стала хлопать по конфорке самовара, чтобы он закипел быстрее.

Посмеялись мы и думаем: вот подует ветер, закружится, зажужжит наша быстрая вертушка. Ото всех дворов сбегутся к нашему дому ребятишки. Будет и у нас тогда своя компания.

А завтра что-нибудь еще придумаем.

Может быть, выроем глубокую пещеру для той лягушки, что живет в нашем саду, возле сырого погреба.

Может быть, попросим у Маруси суровых ниток и запустим бумажного змея — выше силосной башни, выше желтых сосен и даже выше того коршуна, который целый день сегодня сторожил с неба хозяйских цыплят и крольчат.

А может быть, завтра с раннего утра сядем в лодку — я на весла, Маруся за руль, Светлана пассажиром — и уплывем по реке туда, где стоит, говорят, большой лес, где растут на берегу две дуплистые березы, под которыми нашла вчера соседская девчонка три хороших белых гриба. Жаль только, что все они были червивые.

Вдруг Светлана потянула меня за рукав и говорит:

— Посмотри-ка, папа, а ведь, кажется, это наша мама идет, и как бы нам с тобой сейчас не попало.

И правда, идет по тропинке вдоль забора наша Маруся, а мы-то думали, что вернется она еще не скоро.

— Наклонись,— сказал я Светлане.— Может быть, она и не заметит.

Но Маруся сразу же нас заметила, подняла голову и крикнула:

— Вы зачем это, негодные люди, на крышу залезли? На дворе уже сыро. Светлане давно спать пора. А вы обрадовались, что меня нет дома, и готовы баловать хоть до полуночи.

— Маруся,— ответил я,— мы не балуем, мы вертушку приколачиваем. Ты погоди немного, нам всего три гвоздя доколотить осталось.

— Завтра доколотите! — приказала Маруся.— А сейчас слезайте, или я совсем рассержусь.

Переглянулись мы со Светланой. Видим, плохо наше дело. Взяли и слезли. Но на Марусю обиделись.

И хотя Маруся принесла со станции Светлане большое яблоко, а мне пачку табаку,— все равно обиделись.

Так с обидой и уснули.

А утром — еще новое дело! Только что мы проснулись, подходит Маруся и спрашивает:

— Лучше сознавайтесь, озорной народ, что в чулане мою голубую чашку разбили!

А я чашки не разбивал. И Светлана говорит, что не разбивала тоже. Посмотрели мы с ней друг на друга и подумали оба, что уж это на нас Маруся говорит совсем напрасно.

Но Маруся нам не поверила.

— Чашки,— говорит она,— не живые: ног у них нет. На пол они прыгать не умеют. А кроме вас двоих, в чулан никто вчера не лазил. Разбили и не сознаетесь. Стыдно, товарищи!

После завтрака Маруся вдруг собралась и отправилась в город, а мы сели и задумались.

Вот тебе и на лодке поехали!

И солнце к нам в окна заглядывает. И воробьи по песчаным дорожкам скачут. И цыплята сквозь деревянный плетень со двора на улицу и с улицы на двор шмыгают.

А нам совсем не весело.

— Что ж! — говорю я Светлане.— С крыши нас с тобой вчера согнали. Банку из-под керосина у нас недавно отняли. За какую-то голубую чашку напрасно выругали. Разве же это хорошая жизнь?

— Конечно,— говорит Светлана,— жизнь совсем плохая.

— А давай-ка, Светлана, надень ты свое розовое платье. Возьмем мы из-за печки мою походную сумку, положим туда твое яблоко, мой табак, спички, нож, булку и уйдем из этого дома куда глаза глядят.

Подумала Светлана и спрашивает:

— А куда твои глаза глядят?

— А глядят они, Светлана, через окошко, вот на ту желтую поляну, где пасется хозяйкина корова. А за поляной, я знаю, гусиный пруд есть, а за прудом водяная мельница, а за мельницей на горе березовая роща. А что там за горой,— уж этого я и сам не знаю.

— Ладно,— согласилась Светлана,— возьмем и хлеб, и яблоко, и табак, а только захвати ты с собой еще толстую палку, потому что где-то в той стороне живет ужасная собака Полкан. И говорили мне про нее мальчишки, что она одного чуть-чуть до смерти не заела.

Так мы и сделали. Положили в сумку что надо было, закрыли все пять окон, заперли обе двери, а ключ подсунули под крыльцо.

Прощай, Маруся! А чашки твоей мы все равно не разбивали.

Вышли мы за калитку, а навстречу нам молочница.

— Молока надо?

— Нет, бабка! Нам больше ничего не надо.

— У меня молоко свежее, хорошее, от своей коровы,— обиделась молочница.— Вернетесь, так пожалеете.

Загромыхала она своими холодными бидонами и пошла дальше. А где ей догадаться, что мы далеко уходим и, может, не вернемся?

Да и никто об этом не догадывался. Прокатил на велосипеде загорелый мальчишка. Прошагал, наверное в лес за грибами, толстый дядька в трусах и с трубкой. Прошла белокурая девица с мокрыми после купания волосами. А знакомых мы никого не встретили.

Выбрались мы через огороды на желтую от куриной

слепоты поляну, сняли сандалии и по теплой тропинке пошли босиком через луг прямо на мельницу.

Идем мы, идем и вот видим, что от мельницы во весь дух мчится нам навстречу какой-то человек. Пригнулся он, а из-за ракитовых кустов летят ему в спину комья земли. Странно нам это показалось. Что такое? У Светланы глаза зоркие, остановилась она и говорит:

— А я знаю, кто это бежит. Это мальчишка, Санька Карякин, который живет возле того дома, где чьи-то свиньи в сад на помидорные грядки залезли. Он вчера еще против нашей дачи на чужой козе верхом катался. Помнишь?

Добежал до нас Санька, остановился и слезы ситцевым кульком вытирает. А мы спрашиваем у него:

— Почему это, Санька, ты во весь дух мчался и почему это за тобой из-за кустов комья летели?

Отвернулся Санька и говорит:

— Меня бабка в колхозную лавку за солью послала. А на мельнице сидит пионер Пашка Букамашкин, и он меня драть хочет.

Посмотрела на него Светлана. Вот так дело!

Разве же есть в Советской стране такой закон, чтобы бежал человек в колхозную лавку за солью, никого не трогал, не задирал и вдруг бы его ни с того ни с сего драть стали?

— Идем с нами, Санька,— говорит Светлана.— Не бойся. Нам по дороге, и мы за тебя заступимся.

Пошли мы втроем сквозь густой ракитник.

— Вот он, Пашка Букамашкин,— сказал Санька и попятился.

Видим мы — стоит мельница. Возле мельницы телега. Под телегой лежит кудластая, вся в репейниках, собачонка и, приоткрыв один глаз, смотрит, как шустрые воробьи клюют рассыпанные по песку зерна. А на кучке песка сидит без рубахи Пашка Букамашкин и грызет свежий огурец.

Увидал нас Пашка, но не испугался, а бросил огрызок в собачонку и сказал, ни на кого не глядя:

— Тю!.. Шарик... Тю!.. Вон идет сюда известный фашист, белогвардеец Санька. Погоди, несчастный фашист! Мы с тобою еще разделаемся.

Тут Пашка плюнул далеко в песок. Кудластая собачонка зарычала. Испуганные воробьи с шумом взлетели

на дерево. А мы со Светланой, услышав такие слова, подошли к Пашке поближе.

— Постой, Пашка,— сказал я.— Может быть, ты ошибся? Какой же это фашист, белогвардеец? Ведь это просто-напросто Санька Карякин, который живет возле того дома, где чьи-то свиньи в чужой сад на помидорные грядки залезли.

— Все равно белогвардеец,— упрямо повторил Пашка.— А если не верите, то хотите, я расскажу вам всю его историю?

Тут нам со Светланой очень захотелось узнать всю Санькину историю. Мы сели на бревна, Пашка напротив. Кудластая собачонка у наших ног, на траву. Только Санька не сел, а, уйдя за телегу, закричал оттуда сердито:

— Ты тогда уже все рассказывай! И как мне по затылку попало, тоже рассказывай. Думаешь, по затылку не больно? Возьми-ка себе да стукни.

— Есть в Германии город Дрезден,— спокойно сказал Пашка,— и вот из этого города убежал от фашистов один рабочий, еврей. Убежал и приехал к нам. А с ним девчонка приехала, Берта. Сам он теперь на этой мельнице работает, а Берта с нами играет. Только сейчас она в деревню за молоком побежала. Так вот, играем мы позавчера в чижа: я, Берта, этот человек, Санька, и еще один из поселка. Берта бьет палкой в чижа и попадает нечаянно этому самому Саньке по затылку, что ли...

— Прямо по макушке стукнула,— сказал Санька из-за телеги.— У меня голова загудела, а она еще смеется.

— Ну вот,— продолжал Пашка,— стукнула она этого Саньку чижом по макушке. Он сначала на нее с кулаками, а потом ничего. Приложил лопух к голове — и опять с нами играет. Только стал он после этого невозможно жулить. Возьмет нашагнет лишний шаг, да и метит чижом прямо на кон.

— Врешь, врешь! — выскочил из-за телеги Санька.— Это твоя собака мордой ткнула, вот он, чиж, и подкатился.

— А ты не с собакой играешь, а с нами. Взял бы да и положил чижа на место. Ну вот. Метнул он чижа, а Берта как хватит палкой, так этот чиж прямо на другой

конец поля, в крапиву, перелетел. Нам смешно, а Санька злится. Понятно, бежать ему за чижом в крапиву неохота... Перелез через забор и орет оттуда: «Дура, жидовка! Чтоб ты в свою Германию обратно провалилась!» А Берта дуру по-русски уже хорошо понимает, а жидовку еще не понимает никак. Подходит она ко мне и спрашивает: «Это что такое жидовка?» А мне и сказать совестно. Я кричу: «Замолчи, Санька!» А он нарочно все громче и громче кричит. Я — за ним через забор. Он — в кусты. Так и скрылся. Вернулся я — гляжу: палка валяется на траве, а Берта сидит в углу на бревнах. Я зову: «Берта!» Она не отвечает. Подошел я — вижу: на глазах у нее слезы. Значит, сама догадалась. Поднял я тогда с земли камень, сунул в карман и думаю: «Ну, погоди, проклятый Санька! Это тебе не Германия. С твоим-то фашизмом мы и сами справимся!»

Посмотрели мы на Саньку и подумали: «Ну, брат, плохая у тебя история. Даже слушать противно. А мы-то еще собирались за тебя заступиться».

И только хотел я это сказать, как вдруг дрогнула и зашумела мельница, закрутилось по воде отдохнувшее колесо. Выскочила из мельничного окна обсыпанная мукой, ошалелая от испуга кошка. Спросонок промахнулась и свалилась прямо на спину задремавшему Шарику. Шарик взвизгнул и подпрыгнул. Кошка метнулась на дерево, воробьи с дерева — на крышу. Лошадь вскинула морду и дернула телегу. А из сарая выглянул какой-то лохматый, серый от муки дядька и, не разобравшись, погрозил длинным кнутом отскочившему от телеги Саньке:

— Но, но... смотри, не балуй, а то сейчас живо выдеру!

Засмеялась Светлана, и что-то жалко ей стало этого несчастного Саньку, которого все хотят выдрать.

— Папа,— сказала она мне.— А может быть, он вовсе не такой уж фашист? Может быть, он просто дурак? Ведь правда, Санька, что ты просто дурак? — спросила Светлана и ласково заглянула ему в лицо.

В ответ Санька только сердито фыркнул, замотал головой, засопел и хотел что-то сказать. А что тут скажешь, когда сам кругом виноват и сказать-то, по правде говоря, нечего.

Но тут Пашкина собачонка перестала вдруг тявкать на кошку и, повернувшись к полю, подняла уши.

Где-то за рощей хлопнул выстрел. Другой. И пошло, и пошло!..

— Бой неподалеку! — вскрикнул Пашка.

— Бой неподалеку,— сказал и я.— Это палят из винтовок. А вот слышите? Это застрочил пулемет.

— А кто с кем? — дрогнувшим голосом спросила Светлана.— Разве уже война?

Первым вскочил Пашка. За ним помчалась собачонка. Я подхватил на руки Светлану и тоже побежал к роще.

Не успели мы пробежать полдороги, как услышали позади крик. Мы обернулись и увидели Саньку.

Высоко подняв руки, чтобы мы его скорее заметили, он мчался к нам напрямик через канавы и кочки.

— Ишь ты, как козел скачет! — пробормотал Пашка.— А чем этот дурак над головой размахивает?

— Это не дурак. Это он мои сандалии тащит! — радостно закричала Светлана.— Я их на бревнах позабыла, а он нашел и мне их несет. Ты бы с ним помирился, Пашка!

Пашка насупился и ничего не ответил. Мы подождали Саньку, взяли у него желтые Светланины сандалии. И теперь уже вчетвером, с собакой, прошли через рощу на опушку.

Перед нами раскинулось холмистое, поросшее кустами поле. У ручья, позвякивая жестяным бубенчиком, щипала траву привязанная к колышку коза. А в небе плавно летал одинокий коршун. Вот и все. И больше никого и ничего на этом поле не было.

— Так где же тут война? — нетерпеливо спросила Светлана.

— А сейчас посмотрю,— сказал Пашка и влез на пенек.

Долго стоял он, щурясь от солнца и закрывая глаза ладонью. И кто его знает, что он там видел, но только Светлане ждать надоело, и она, путаясь в траве, пошла сама искать войну.

— Мне трава высокая, а я низкая,— приподнимаясь на цыпочках, пожаловалась Светлана.— И я совсем не вижу.

— Смотри под ноги, не задень провод,— раздался сверху громкий голос.

Мигом слетел с пенька Пашка. Неуклюже отскочил

в сторону Санька. А Светлана бросилась ко мне и крепко схватила меня за руку.

Мы попятились и тут увидели, что прямо над нами, в густых ветвях одинокого дерева, притаился красноармеец.

Винтовка висела возле него на суку. В одной руке он держал телефонную трубку и, не шевелясь, глядел в блестящий черный бинокль куда-то на край пустынного поля.

Еще не успели мы промолвить слова, как издалека, словно гром с перекатами и перегудами, ударил страшный орудийный залп. Вздрогнула под ногами земля. Далеко от нас поднялась над полем целая туча черной пыли и дыма. Как сумасшедшая, подпрыгнула и сорвалась с мочальной веревки коза. А коршун вильнул в небе и, быстро-быстро махая крыльями, умчался прочь.

— Плохо дело фашистам! — громко сказал Пашка и посмотрел на Саньку.— Вот как бьют наши батареи.

— Плохо дело фашистам,— как эхо повторил хриплый голос.

И тут мы увидели, что под кустами стоит седой бородатый старик.

У старика были могучие плечи. В руках он держал тяжелую суковатую дубинку. А у его ног стояла высокая лохматая собака и скалила зубы на поджавшего хвост Пашкиного Шарика.

Старик приподнял широченную соломенную шляпу, важно поклонился сначала Светлане, потом уже всем нам. Потом он положил дубинку на траву, достал кривую трубку, набил ее табаком и стал раскуривать.

Он раскуривал долго, то приминая табак пальцем, то ворочая его гвоздем, как кочергой в печке.

Наконец раскурил и тогда так запыхтел и задымил, что сидевший на дереве красноармеец зачихал и кашлянул.

Тут снова загремела батарея, и мы увидели, что пустое и тихое поле разом ожило, зашумело и зашевелилось. Из-за кустарника, из-за бугров, из-за канав, из-за кочек — отовсюду с винтовками наперевес выскакивали красноармейцы.

Они бежали, прыгали, падали, поднимались снова. Они сдвигались, смыкались, их становилось все больше и больше; наконец с громкими криками всей громадой

они ринулись в штыки на вершину пологого холма, где еще дымилось облако пыли и дыма.

Потом все стихло. С вершины замахал флагами еле нам заметный и точно игрушечный сигналист. Резко заиграла «отбой» военная труба.

Обламывая тяжелыми сапогами сучья, слез красноармеец-наблюдатель с дерева. Быстро погладил Светлану, сунул ей в руку три блестящих желудя и торопливо убежал, сматывая на катушку тонкий телефонный провод.

Военное учение закончилось.

— Ну, видал? — подталкивая Саньку локтем, укоризненно сказал Пашка.— Это тебе не чижом по затылку. Тут вам быстро пособьют макушки.

— Странные я слышу разговоры,— двигаясь вперед, сказал бородатый старик.— Видно, я шестьдесят лет прожил, а ума не нажил. Ничего мне не понятно. Тут, под горой, наш колхоз «Рассвет». Кругом это наши поля: овес, гречиха, просо, пшеница. Это на реке наша новая мельница. А там, в роще, наша большая пасека. И над всем этим я главный сторож. Видал я жуликов, ловил и конокрадов, но чтобы на моем участке появился хоть один фашист — при советской власти этого еще не бывало ни разу. Подойди ко мне, Санька — грозный человек. Дай я на тебя хоть посмотрю. Да постой, постой, ты только слюни подбери и нос вытри. А то мне и так на тебя взглянуть страшно.

Все это неторопливо сказал насмешливый старик и с любопытством заглянул из-под мохнатых бровей... на вытаращившего глаза изумленного Саньку.

— Неправда! — шмыгнув носом, завопил оскорбленный Санька.— Я не фашист, а весь советский. А девчонка Берта давно уже не сердится и вчера откусила от моего яблока больше половины. А этот Пашка всех мальчишек на меня натравливает. Сам ругается, а у меня пружину зажулил. Раз я фашист, значит, и пружина фашистская. А он из нее для своей собаки какую-то качалку сделал. Я ему говорю: «Давай, Пашка, помиримся»,— а он говорит: «Сначала отдеру, а потом помиримся».

— Надо без дранья мириться,— убежденно сказала Светлана.— Надо сцепиться мизинцами, поплювать на землю и сказать: «Ссор, ссор никогда, а мир, мир навсегда». Ну, сцепляйтесь! А ты, главный сторож, крикни

на свою страшную собаку, и пусть она нашего маленького Шарика не пугает.

— Назад, Полкан! — крикнул сторож.— Ляжь на землю и своих не трогай!

— Ах, вот это кто! Вот он, Полкан-великан, лохматый и зубатый.

Постояла Светлана, покрутилась, подошла поближе и погрозила пальцем:

— И я своя, а своих не трогай!

Поглядел Полкан: глаза у Светланы ясные, руки пахнут травой и цветами. Улыбнулся и вильнул хвостом.

Завидно тогда стало Саньке с Пашкой, подвинулись они и тоже просят:

— И мы свои, а своих не трогай!

Подозрительно потянул Полкан носом: не пахнет ли от хитрых мальчишек морковкой из колхозных огородов? Но тут, как нарочно, вздымая пыль, понесся по тропинке шальной жеребенок. Чихнул Полкан, так и не разобравши. Тронуть — не тронул, но хвостом не вильнул и гладить не позволил.

— Нам пора,— спохватился я.— Солнце высоко, скоро полдень. Ух, как жарко!

— До- свидания! — звонко попрощалась со всеми Светлана.— Мы опять уходим далеко.

— До свидания! — дружно ответили уже помирившиеся ребятишки.— Приходите к нам опять издалека.

— До свидания,— улыбнулся глазами сторож.— Я не знаю, куда вы идете и чего ищете, но только знайте: самое плохое для меня далеко — это налево у реки, где стоит наше старое сельское кладбище. А самое хорошее далеко — это направо, через луг, через овраги, где роют камень. Дальше идите перелеском, обогнете болото. Там, над озером, раскинулся большущий сосновый лес. Есть в нем и грибы, и цветы, и малина. Там стоит на берегу дом. В нем живут моя дочь Валентина и ее сын Федор. И если туда попадете, то от меня им поклонитесь.

Тут чудной старик приподнял свою шляпу, свистнул собаку, запыхтел трубкой, оставляя за собой широкую полосу густого дыма, и зашагал к желтому гороховому полю.

Переглянулись мы со Светланой — что нам печальное кладбище! Взялись мы за руки и повернули направо, в самое хорошее далеко.

Перешли мы луга и спустились в овраги.

Видели мы, как из черных глубоких ям тащат люди белый, как сахар, камень. И не один какой-нибудь завалящийся камешек. Навалили уже целую гору. А колеса все крутятся, тачки скрипят. И еще везут. И еще наваливают.

Видно, немало всяких камней под землей запрятано.

Захотелось и Светлане заглянуть под землю. Долго, лежа на животе, смотрела она в черную яму. А когда оттащил я ее за ноги, то рассказала она, что видела сначала только одну темноту. А потом разглядела под землей какое-то черное море, и кто-то там в море шумит и ворочается. Должно быть, рыба акула с двумя хвостами, один хвост спереди, другой — сзади. И еще почудился ей Страшила в триста двадцать пять ног. И с одним золотым глазом. Сидит Страшила и гудит.

Хитро посмотрел я на Светлану и спросил, не видала ли она там заодно пароход с двумя трубами, серую обезьянку на дереве и белого медведя на льдине.

Подумала Светлана, вспомнила. И оказывается, что тоже видала.

Погрозил я ей пальцем: ой, не врет ли? Но она в ответ рассмеялась и со всех ног пустилась бежать.

Шли мы долго, часто останавливались, отдыхали и рвали цветы. Потом, когда тащить надоедало, оставляли букеты на дороге.

Я один букет бросил старой бабке в телегу. Испугалась сначала бабка, не разобравши, что такое, и погрозила нам кулаком. Но потом увидала, улыбнулась и кинула с воза три больших зеленых огурца.

Огурцы мы подняли, вытерли, положили в сумку и весело пошли своей дорогой.

Встретили мы на пути деревеньку, где живут те, что пашут землю, сеют в поле хлеб, садят картошку, капусту, свеклу или в садах и огородах работают.

Встретили мы за деревней и невысокие зеленые могилы, где лежат те, что свое уже отсеяли и отработали.

Попалось нам дерево, разбитое молнией.

Наткнулись мы на табун лошадей, из которых каждая — хоть самому Буденному.

Увидали мы и попа в длинном черном халате. Посмотрели ему вслед и подивились тому, что остались еще на свете чудаки-люди.

Потом забеспокоились мы, когда потемнело небо. Сбежались отовсюду облака. Окружили они, поймали и закрыли солнце. Но оно упрямо вырывалось то в одну, то в другую дыру. Наконец вырвалось и засверкало над огромной землей еще горячей и ярче.

Далеко позади остался наш серый домик с деревянной крышей.

И Маруся, должно быть, давно уже вернулась. Поглядела — нет. Поискала — не нашла. Сидит и ждет, глупая!

— Папа! — сказала наконец уставшая Светлана.— Давай с тобой где-нибудь сядем и что-нибудь поедим.

Стали искать и нашли мы такую полянку, какая не каждому попадется на свете.

С шумом распахнулись перед нами пышные ветки дикого орешника. Встала острием к небу молодая серебристая елка. И тысячами, ярче, чем флаги в Первое мая — синие, красные, голубые, лиловые,— окружали елку душистые цветы и стояли не шелохнувшись.

Даже птицы не пели над той поляной — так было тихо.

Только серая дура-ворона бухнулась с лету на ветку, огляделась, что не туда попала, каркнула от удивления: «Карр... карр...» — и сейчас же улетела прочь к своим поганым мусорным ямам.

— Садись, Светлана, стереги сумку, а я схожу и наберу в фляжку воды. Да не бойся: здесь живет всего только один зверь — длинноухий заяц.

— Даже тысячи зайцев я и то не боюсь,— смело ответила Светлана,— но ты приходи поскорее все-таки.

Вода оказалась не близко, и, возвращаясь, я уже беспокоился о Светлане.

Но она не испугалась и не плакала, а пела.

Я спрятался за кустом и увидел, что рыжеволосая толстая Светлана стояла перед цветами, которые поднимались ей до плеч, и с воодушевлением распевала такую только что сочиненную песню:

Гей!.. Гей!..
Мы не разбивали голубой чашки.
Нет!.. Нет!..
В поле ходит сторож полей.
Но мы не лезли за морковкой в огород.
И я не лазила, и он не лез.

А Санька один раз в огород лез.
Гей!.. Гей!..
В поле ходит Красная Армия.
(Это она пришла из города.)
Красная Армия — самая красная,
А белая армия — самая белая.
Тру-ру-ру! Тра-та-та!
Это барабанщики,
Это летчики,
Это барабанщики летят на самолетах.
И я, барабанщица... здесь стою.

Молча и торжественно выслушали эту песню высокие цветы и тихо закивали Светлане своими пышными головками.

— Ко мне, барабанщица! — крикнул я, раздвигая кусты.— Есть холодная вода, красные яблоки, белый хлеб и желтые пряники. За хорошую песню ничего не жалко.

Чуть-чуть смутилась Светлана. Укоризненно качнула головой и, совсем как Маруся, прищурив глаза, сказала:

— Спрятался и подслушивает. Стыдно, дорогой товарищ!

Вдруг Светлана притихла и задумалась.

А тут еще, пока мы ели, вдруг спустился на ветку серый чиж и что-то такое зачирикал.

Это был смелый чиж. Он сидел прямо напротив нас, подпрыгивал, чирикал и не улетал.

— Это знакомый чиж,— твердо решила Светлана.— Я его видела, когда мы с мамой качались в саду на качелях. Она меня высоко качала. Фють!.. Фють!.. И зачем он к нам прилетел так далеко?

— Нет! Нет! — решительно ответил я.— Это совсем другой чиж. Ты ошиблась, Светлана. У того чижа на хвосте не хватает перьев, которые выдрала ему хозяйкина одноглазая кошка. Тот чиж потолще, и он чирикает совсем не таким голосом.

— Нет, тот самый! — упрямо повторила Светлана.— Я знаю. Это он за нами прилетел так далеко.

— Гей, гей! — печальным басом пропел я.— Но мы не разбивали голубой чашки. И мы решили уйти насовсем далеко.

Сердито чирикнул серый чиж. Ни один цветок из

целого миллиона не качнулся и не кивнул головой. И нахмурившаяся Светлана строго сказала:

— У тебя не такой голос. И люди так не поют. А только медведи.

Молча собрались мы. Вышли из рощи. И вот мне на счастье засверкала под горой прохладная голубая река.

И тогда я поднял Светлану. И когда она увидала песчаный берег, зеленые острова, то позабыла все на свете и, радостно захлопав в ладоши, закричала:

— Купаться! Купаться! Купаться!

Чтобы сократить путь, мы пошли к речке напрямик через сырые луга.

Вскоре мы оказались перед густыми зарослями болотного кустарника. Возвращаться нам не хотелось, и мы решили как-нибудь пробраться. Но чем дальше мы продвигались, тем крепче стягивалось вокруг нас болото.

Мы кружили по болоту, поворачивали направо, налево, перебирались по хлюпким жердочкам, прыгали с кочки на кочку Промокли, измазались, но выбраться не могли никак.

А где-то совсем неподалеку за кустами ворочалось и мычало стадо, щелкал кнутом пастух и сердито лаяла почуявшая нас собачонка. Но мы не видели ничего, кроме ржавой болотной воды, гнилого кустарника и осоки.

Уже тревога выступила на веснушчатом лице притихшей Светланки. Чаще и чаще она оборачивалась, заглядывая мне в лицо с молчаливым упреком: «Что ж это, папка? Ты большой, сильный, а нам совсем плохо!»

— Стой здесь и не сходи с места! — приказал я, поставив Светлану на клочок сухой земли.

Я завернул в чащу, но и в той стороне оказалась только переплетенная жирными болотными цветами зеленая жижа.

Я вернулся и увидел, что Светлана вовсе не стоит, а осторожно, придерживаясь за кусты, пробирается мне навстречу.

— Стой, где поставили! — резко сказал я.

Светлана остановилась. Глаза ее замигали, и губы дернулись.

— Что же ты кричишь? — дрогнувшим голосом тихо спросила она.— Я босая, а там лягушки — и мне страшно.

И очень жалко стало мне тогда попавшую из-за меня в беду Светланку.

— На́, возьми палку,— крикнул я,— и бей их, негодных лягушек, по чему попало! Только стой на месте! Сейчас переберемся.

Я опять свернул в чащу и рассердился. Что это? Разве сравнить это поганое болотце с бескрайними камышами широкого Приднепровья или с угрюмыми плавнями Ахтырки, где громили и душили мы когда-то белый врангельский десант!

С кочки на кочку, от куста к кусту. Раз — и по пояс в воду. Два — и захрустела сухая осина. Вслед за осиной полетело в грязь трухлявое бревно. Тяжело плюхнулся туда же гнилой пень. Вот и опора. Вот еще одна лужа. А вот он и сухой берег.

И, раздвинув тростник, я очутился возле испуганно подскочившей козы.

— Эге-гей! Светлана! — закричал я.— Ты стоишь?

— Эге-гей! — тихо донесся из чащи жалобный тоненький голос.— Я сто-о-ю!

Мы выбрались к реке. Мы счистили всю грязь и тину, которые облепили нас со всех сторон. Мы выполоскали одежду, и, пока она сохла на раскаленном песке, мы купались.

И все рыбы с ужасом умчались прочь в свою глубокую глубину, когда мы с хохотом взбивали сверкающие пенистые водопады.

И черный усатый рак, которого я вытащил из его подводной страны, ворочая своими круглыми глазами, в страхе забился и запрыгал: должно быть, впервые увидал такое нестерпимо яркое солнце и такую нестерпимо рыжую девчонку.

И тогда, изловчившись, он злобно хватил Светлану за палец. С криком отбросила его Светлана в самую середину гусиного стада. Шарахнулись в стороны глупые толстые гусята.

Но подошел сбоку старый серый гусь. Много он видал и пострашней на свете. Скосил он голову, посмотрел одним глазом, клюнул — тут ему, раку, и смерть пришла.

...Но вот мы выкупались, обсохли, оделись и пошли дальше.

И опять нам всякого по пути попадалось немало:

и люди, и кони, и телеги, и машины, и даже серый зверь — еж, которого мы прихватили с собой. Да только он скоро наколол нам руки, и мы его столкнули в студеный ручей.

Фыркнул еж и поплыл на другой берег. «Вот,— думает,— безобразники! Поищи-ка теперь отсюда свою нору».

И вышли мы наконец к озеру.

Здесь-то и кончалось самое далекое поле колхоза «Рассвет», а на том берегу уже расстилались земли «Красной зари».

Тут мы увидели на опушке бревенчатый дом и сразу же догадались, что здесь живет дочь сторожа Валентина и ее сын Федор.

Мы подошли к ограде с той стороны, откуда караулили усадьбу высокие, как солдаты, цветы — подсолнухи.

На крыльце, в саду, стояла сама Валентина. Была она высокая, широкоплечая, как и ее отец, сторож. Ворот голубой кофты был распахнут. В одной руке она держала половую щетку, а в другой — мокрую тряпку.

— Федор! — строго кричала она.— Ты куда, негодник, серую кастрюлю задевал?

— Во-на! — раздался из-под малины важный голос, и белобрысый Федор показал на лужу, где плавала груженная щепками и травой кастрюля.

— А куда, бесстыдник, решето спрятал?

— Во-на! — все так же важно ответил Федор и показал на придавленное камнем решето, под которым что-то ворочалось.

— Вот погоди, атаман!.. Придешь домой, я тебя мокрой тряпкой приглажу,— пригрозила Валентина и, увидав нас, одернула подоткнутую юбку.

— Здравствуйте! — сказал я.— Вам отец шлет поклон.

— Спасибо! — отозвалась Валентина.— Заходите в сад, отдохните.

Мы прошли через калитку и улеглись под спелой яблоней.

Толстый сын Федор был только в одной рубашке, а перепачканные глиной мокрые штаны валялись в траве.

— Я малину ем,— серьезно сообщил нам Федор.— Два куста объел. И еще буду.

— Ешь на здоровье,— пожелал я.— Только смотри, друг, не лопни.

Федор остановился, потыкал себя кулаком в живот, сердито взглянул на меня и, захватив свои штаны, вперевалку пошел к дому.

Долго мы лежали молча. Мне показалось, что Светлана уснула. Я повернулся к ней и увидел, что она вовсе не спит, а, затаив дыхание, смотрит на серебристую бабочку, которая тихонько ползет по рукаву ее розового платья.

И вдруг раздался мощный рокочущий гул, воздух задрожал, и блестящий самолет, как буря, промчался над вершинами тихих яблонь.

Вздрогнула Светлана, вспорхнула бабочка, слетел с забора желтый петух, с криком промелькнула поперек неба испуганная галка — и все стихло.

— Это тот самый летчик пролетел,— с досадой сказала Светлана,— это тот, который приходил к нам вчера.

— Почему же тот? — приподнимая голову, спросил я.— Может быть, это совсем другой.

— Нет, тот самый. Я сама вчера слышала, как он сказал маме, что он улетает завтра далеко и насовсем. Я ела красный помидор, а мама ему ответила: «Ну, прощайте. Счастливый путь»...

— Папка,— усаживаясь мне на живот, попросила Светлана,— расскажи что-нибудь про маму. Ну, например, как все было, когда меня еще не было.

— Как было? Да все так же и было. Сначала день, потом ночь, потом опять день, и еще ночь...

— И еще тысячу дней! — нетерпеливо перебила Светлана.— Ну, вот ты и расскажи, что в эти дни было. Сам знаешь, а притворяешься...

— Ладно, расскажу, только ты слезь с меня на траву, а то мне рассказывать тяжело будет. Ну, слушай!..

Было тогда нашей Марусе семнадцать лет. Напали на их городок белые, схватили они Марусиного отца и посадили его в тюрьму. А матери у ней давно уж не было, и осталась наша Маруся совсем одна...

— Что-то ее жалко становится,— подвигаясь поближе, вставила Светлана.— Ну, рассказывай дальше.

— Накинула Маруся платок и выбежала на улицу А на улице белые солдаты ведут в тюрьму и рабочих и работниц. А буржуи, конечно, белым рады, и всюду

в ихних домах горят огни, играет музыка. И некуда нашей Марусе пойти, и некому рассказать ей про свое горе...

— Что-то уже совсем жалко,— нетерпеливо перебила Светлана.— Ты, папка, до красных скорее рассказывай.

— Вышла тогда Маруся за город. Луна светила. Шумел ветер. И раскинулась перед Марусей широкая степь...

— С волками?

— Нет, без волков. Волки тогда от стрельбы все по лесам попрятались. И подумала Маруся: «Убегу я через степь в город Белгород. Там стоит Красная Армия товарища Ворошилова. Он, говорят, очень храбрый. И если попросить, то, может быть, и поможет».

А того не знала глупая Маруся, что не ждет никогда Красная Армия, чтобы ее просили. А сама она мчится на помощь туда, где напали белые. И уже близко от Маруси продвигаются по степи наши красноармейские отряды. И каждая винтовка заряжена на пять патронов, а каждый пулемет — на двести пятьдесят.

Ехал я тогда по степи с военным дозором. Вдруг мелькнула чья-то тень и сразу — за бугор. «Ага! — думаю.— Стой: белый разведчик. Дальше не уйдешь никуда».

Ударил я коня шпорами. Выскочил за бугор. Гляжу — что за чудо: нет белого разведчика, а стоит под луной какая-то девчонка. Лица не видно, и только волосы по ветру развеваются.

Соскочил я с коня, а наган на всякий случай в руке держу. Подошел и спрашиваю: «Кто ты и зачем в полночь по степи бегаешь?»

А луна вышла бо-ольшая, большущая! Увидала девчонка на моей папахе красноармейскую звезду, обняла меня и заплакала.

Вот тут-то мы с ней, с Марусей, и познакомились.

А под утро из города белых мы выбили. Тюрьмы раскрыли и рабочих выпустили.

Вот лежу я днем в лазарете. Грудь у меня немного прострелена. И плечо болит: когда с коня падал, о камень ударился.

Приходит ко мне мой командир эскадрона и говорит:

«Ну, прощай, уходим мы дальше за белыми. На́ тебе в подарок от товарищей хорошего табаку и бумаги, лежи спокойно и скорее выздоравливай».

Вот и день прошел. Здравствуй, вечер! И грудь болит, и плечо ноет. И на сердце скучно. Скучно, друг Светлана, одному быть без товарищей!

Вдруг раскрылась дверь, и быстро, бесшумно вошла на носках Маруся! И так я тогда обрадовался, что даже вскрикнул.

А Маруся подошла, села рядом и положила руку на мою совсем горячую голову и говорит:

«Я тебя весь день после боя искала. Больно тебе, милый?»

А я говорю:

«Наплевать, что больно, Маруся. Отчего ты такая бледная?»

«Ты спи,— ответила Маруся.— Спи крепко. Я около тебя все дни буду».

Вот тогда-то мы с Марусей во второй раз встретились и с тех пор уж всегда жили вместе.

— Папка,— взволнованно спросила тогда Светлана.— Это ведь мы не по правде ушли из дома? Ведь она нас любит. Мы только походим, походим и опять придем.

— Откуда ты знаешь, что любит? Может быть, тебя еще любит, а меня уже нет.

— Ой, вре-ешь! — покачала головой Светлана.— Я вчера ночью проснулась, смотрю, мама отложила книгу, повернулась к тебе и долго на тебя смотрит.

— Эко дело, что смотрит! Она и в окошко смотрит, на всех людей смотрит! Есть глаза, вот и смотрит.

— Ой, нет! — убежденно возразила Светлана.— Когда в окошко, то смотрит совсем не так, а вот как...

Тут Светлана вздернула тоненькие брови, склонила набок голову, поджала губы и равнодушно взглянула на проходившего мимо петуха.

— А когда любят, смотрят не так.

Как будто бы сияние озарило голубые Светланкины глаза, вздрогнули опустившиеся ресницы, и милый задумчивый Марусин взгляд упал мне на лицо.

— Разбойница! — подхватывая Светлану, крикнул я.— А как ты на меня вчера смотрела, когда разлила чернила?

— Ну, тогда ты меня за дверь выгнал, а выгнатые смотрят всегда сердито.

Мы не разбивали голубой чашки. Это, может быть, сама Маруся как-нибудь разбила. Но мы ее простили. Мало ли кто на кого понапрасну плохое подумает? Однажды и Светлана на меня подумала. Да я и сам на Марусю плохое подумал тоже. И я пошел к хозяйке Валентине, чтобы спросить, нет ли нам к дому дороги поближе.

— Сейчас муж на станцию поедет,— сказала Валентина.— Он вас довезет до самой мельницы, а там уже и недалеко.

Возвращаясь в сад, я встретил у крыльца смущенную Светлану.

— Папа,— таинственным шепотом сообщила она,— этот сын Федор вылез из малины и тянет из твоего мешка пряники.

Мы пошли к яблоне, но хитрый сын Федор, увидав нас, поспешно скрылся в гуще подзаборных лопухов.

— Федор! — позвал я.— Иди сюда, не бойся.

Верхушки лопухов закачались, и было ясно, что Федор решительно удаляется прочь.

— Федор! — повторил я.— Иди сюда. Я тебе все пряники отдам.

Лопухи перестали качаться, и вскоре из чащи донеслось тяжелое сопение.

— Я стою,— раздался наконец сердитый голос,— тут без штанов, везде крапива.

Тогда, как великан над лесом, зашагал я через лопухи, достал сурового Федора и высыпал перед ним все остатки из мешка.

Он неторопливо подобрал всё в подол рубашки и, не сказав даже «спасибо», направился в другой конец сада.

— Ишь какой важный,— неодобрительно заметила Светлана,— снял штаны и ходит как барин!

К дому подкатила запряженная парой телега. На крыльцо вышла Валентина:

— Собирайтесь, кони хорошие — домчат быстро.

Опять показался Федор. Был он теперь в штанах и, быстро шагая, тащил за шиворот хорошенького дымчатого котенка. Должно быть, котенок привык к таким ухват-

кам, потому что он не вырывался, не мяукал, а только нетерпеливо вертел пушистым хвостом.

— На́! — сказал Федор и сунул котенка Светлане.

— Насовсем? — обрадовалась Светлана и нерешительно взглянула на меня.

— Берите, берите, если надо,— предложила Валентина.— У нас этого добра много. Федор! А ты зачем пряники в капустные грядки спрятал? Я через окно всё видела.

— Сейчас пойду еще дальше спрячу,— успокоил ее Федор и ушел вперевалку, как важный косолапый медвежонок.

— Весь в деда,— улыбнулась Валентина.— Этакий здоровила. А всего только четыре года.

Мы ехали широкой ровной дорогой. Наступал вечер. Шли нам навстречу с работы усталые, но веселые люди.

Прогрохотал в гараж колхозный грузовик.

Пропела в поле военная труба.

Звякнул в деревне сигнальный колокол.

Загудел за лесом тяжелый-тяжелый паровоз. Туу! Ту!.. Крутитесь, колеса, торопитесь, вагоны, дорога железная, длинная, далекая!

И, крепко прижимая пушистого котенка, под стук телеги счастливая Светлана распевала такую песню:

Чики-чики!
Ходят мыши.
Ходят с хвостами,
Очень злые.
Лезут всюду.
Лезут на полку.
Трах-тарарах!
И летит чашка.
А кто виноват?
Ну, никто не виноват.
Только мыши
Из черных дыр.
— Здравствуйте, мыши!
Мы вернулись.
И что же такое
С собой несем?..

Оно мяукает,
Оно прыгает
И пьет из блюдечка молоко.
Теперь убирайтесь
В черные дыры,
Или оно вас разорвет
На куски,
На десять кусков,
На двадцать кусков,
На сто миллионов
Лохматых кусков.

Возле мельницы мы спрыгнули с телеги.

Слышно было, как за оградой Пашка Букамашкин, Санька, Берта и еще кто-то играли в чижа.

— Ты не жульничай! — кричал Берте возмущенный Санька.— То на меня говорили, а то сами нашагивают.

— Кто-то там опять нашагивает,— объяснила Светлана,— должно быть, сейчас снова поругаются.— И, вздохнув, она добавила: — Такая уж игра!

С волнением приближались мы к дому. Оставалось только завернуть за угол и подняться наверх.

Вдруг мы растерянно переглянулись и остановились.

Ни дырявого забора, ни высокого крыльца еще не было видно, но уже показалась деревянная крыша нашего серого домика, и над ней с веселым жужжанием крутилась наша роскошная сверкающая вертушка.

— Это мамка сама на крышу лазила! — взвизгнула Светлана и рванула меня вперед.

Мы вышли на горку.

Оранжевые лучи вечернего солнца озарили крыльцо. И на нем, в красном платье, без платка и в сандалиях на босу ногу, стояла и улыбалась наша Маруся.

— Смейся, смейся! — разрешила ей подбежавшая Светлана.— Мы тебя все равно уже простили.

Подошел и я, посмотрел Марусе в лицо.

Глаза Маруси были карие, и смотрели они ласково. Видно было, что ждала она нас долго, наконец-то дождалась и теперь крепко рада.

«Нет,— твердо решил я, отбрасывая носком сапога валявшиеся черепки голубой чашки.— Это всё только серые злые мыши. И мы не разбивали. И Маруся ничего не разбивала тоже».

...А потом был вечер. И луна и звезды.

Долго втроем сидели мы в саду, под спелой вишней, и Маруся нам рассказывала, где была, что делала и что видела.

А уж Светланкин рассказ затянулся бы, вероятно, до полуночи, если бы Маруся не спохватилась и не погнала ее спать.

— Ну что?! — забирая с собой сонного котенка, спросила меня хитрая Светланка.— А разве теперь у нас жизнь плохая?

Поднялись и мы.

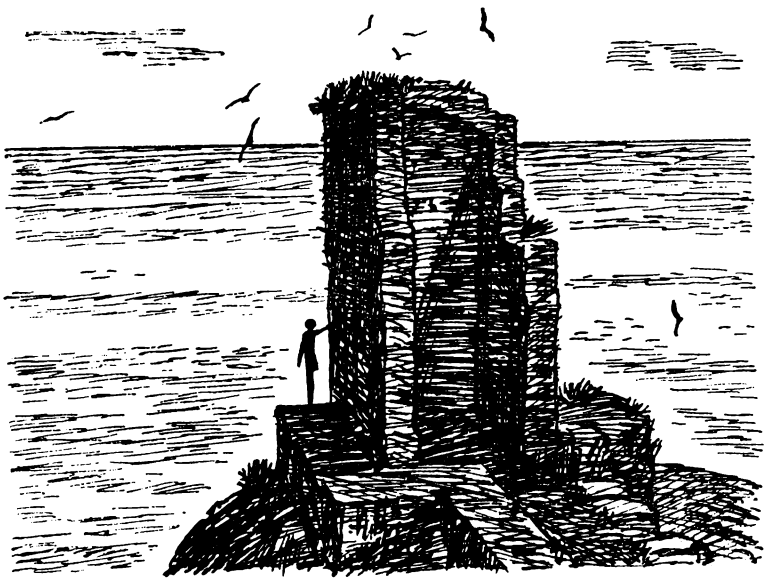
Золотая луна сияла над нашим садом.

Прогремел на север далекий поезд.

Прогудел и скрылся в тучах полуночный летчик.

— А жизнь, товарищи... была совсем хорошая!

1935 г.



ВОЕННАЯ ТАЙНА

Киносценарий

Утро. Вагон-ресторан. Почти пусто. Натка Шегалова смотрит в окно. Промелькнул огромный дымный завод. Подали Натке чай. Дотронулась,— горячо. Смотрит в окно. Промелькнула тихая речка. Рыбак на лодке. Купающиеся ребятишки. Промелькнула опушка. Выстроились в ряд палатки красноармейского лагеря. Кружит самолет — отделилась точка, и раскрылся купол парашюта. Натка нахмурилась и отвернулась от окна.

Из прохода появляется небольшой темноглазый мальчуган. Он возник как-то неожиданно. Чуть-чуть задержал свой взгляд на Натке.

За ним в форме военного инженера вошел отец (Сергей

Ганин). Сели у столика. Мальчуган показал пальцем на большое яблоко в стеклянной вазе. Отец молча кивнул головой. Мальчуган взял яблоко и положил его рядом с тарелкой.

Вошел газетчик.

Мальчуган говорит:

— Папа, купи!

Подошел газетчик. Человек в военной форме выбрал два журнала. Газетчик отошел. Оба раскрыли журналы и перелистывают. Вдруг лицо человека в форме изменилось. И он как бы в страхе глянул на сына. Мальчуган этого не замечает.

Но вот он отодвинул свой журнал, достал папиросу и говорит:

— Алька, я забыл спички.

— Где?

— В купе на столике. А если нет, то в кармане пальто.

— То в кармане пальто,— повторил Алька и быстро соскользнул со стула.

Алька вышел. Отец его быстро читает. Он неспокоен.

КРУПНО. **Быстро сунул руку в карман, достал спички и закурил.**

Удивленно посмотрела на него Натка.

Показался Алька. Отец пьет чай. Алька увидел дымящуюся папиросу.

— Ты уже прикурил? *(Забирается на стул.)* А журнал где?

— Я его, кажется, выронил за окно. Пей чай, Алька.

Высунулась Натка в окно. Поворот. Поезд изгибается дугой. Увидела Натка в соседнем вагоне высунувшуюся из окна всклокоченную голову Эмки и погрозила ей пальцем. Голова скрылась.

Встают Алька и отец. Теперь Натка видит, что журнал, свернутый в трубочку, лежит за цветами.

Натка говорит:

— Вы забыли журнал. Вот он!

Обрадовался и бросился к журналу Алька.

КРУПНО. **Вздрогнули губы, и укоризненно посмотрел человек на Натку.**

Смутилась Натка, но ничего не поняла.

*

Купе. Алькин отец (Ганин), облокотившись на подушку, сидит молча. Алька смотрит в окно. Слушает песню, что передает через репродуктор радио, и искоса поглядывает на отца.

Ты в плену. Окончен бой.
Под тюремною стеной
Ходит мрачный часовой.
Стой! Стой! Стой!..

АЛЬКА. Папа! Почему, когда поют эту песню, ты всегда молчишь и глаза щуришь?

— Как почему? Солнце светит в глаза, вот и щурю.

— А когда луна?

— А когда луна, то от луны. Чудак ты, Алька!

— А когда ни солнце, ни звезды, ни луна? *(Быстро разворачивает журнал и показывает отцу.)* Я знаю сам. Вот почему.

КРУПНО. **Портрет смуглой молодой женщины. Густые, немного растрепанные косы. Нерусские глаза.**

Подпись: Марица Маргулис. Болгарская коммунистка. Присужденная к вечной каторге, она дважды бежала из крепости. Три года тому назад она была снова схвачена и после тяжелой пытки убита.

АЛЬКА. Ты не хотел, чтобы я знал, как маму пытали. *(Пауза.)* Но я прочел все.

ГАНИН. И ты плакал?

АЛЬКА *(взволнованно)*. Нет, я уже давно отплакался. Я думал.

— О чем?

— Обо всем. О разных далеких странах. О Красной Армии. Погоди... Ты меня не трогай. Я же нисколько не плачу.

Быстро открывается дверь, и в купе влетает Эмка. Увидела, что попала не туда, но не очень смутилась и затараторила:

— Натка ушла. Владька хочет меня поколотить. *(Увидела у Ганина на груди орден.)*

Приоткрылась дверь. Просунулось сердитое лицо Владика.

Эмка скачет и торжествующе тычет пальцем в гимнастерку с орденом.

— Ну что! Что! Он храбрый, он заступится.

Голова Владика исчезла.

ГАНИН. За что же он хотел тебя поколотить?

— Я сказала, что он злюк. Он на всех сердитый и не хочет ехать в Крым.

— А куда он хочет?

Эмка со страхом показывает на кобуру с револьвером, что висит на стенке.

— На войну!

АЛЬКА *(резко и даже обиженно)*. Но войны еще нет.

ЭМКА. Есть, в Испании. *(Обернувшись к Ганину.)* Спасибо. *(Увидела портрет.)* На мою маму похожа. *(Показала рукой.)* Глаза такие же. *(Приоткрыла дверь.)* Ушел! *(Кивает головой.)* За косы дергается... Испанец.

*

Вышла в коридор. Встретила Натку и кинулась к ней. О чем-то говорит. Вероятно, жалуется на Владика.

НАТКА. А кто эти люди?

ЭМКА. Это... это летчик либо пулеметчик. *(Владику.)* Видал орден?

ВЛАДИК *(пренебрежительно)*. Один-то! Я вырасту, у меня будет два. *(Чертит пальцем на груди кружочки.)*

ЭМКА. О-ох ты! *(Показывает на дверь купе.)* А у его сына три будет.

*

НАДПИСЬ. **Все хорошо.**

Лагерь. Горы. Море. Гроздья винограда. Отягощенные фруктами деревья.

НАДПИСЬ. **...Но одно плохо.**

Пересохшее русло ручья. Из маленькой лужицы пьет собака. Поникшие цветы. В подставленную под большой кран лейку слабой струйкой бежит вода. Рядом башкирка Эмка.

НАДПИСЬ. **Пропала вода.**

Вот Эмка заметила бабочку. Отошла от лейки. И, затаив дыхание, склоняется к траве. Из-за кустов вылезает Владик. Подкрадывается. Окатывает Эмку водой и убегает.

Эмка взвизгнула. Обернулась. Сдернула с ветки тяже-

лое яблоко и со всего размаху запустила во Владика. Должно быть, попала, потому что улыбнулась.

Раздвинув ветки, укоризненно качая головой, смотрит на Эмку старик.

ЭМКА *(насупившись)*:

— Ты кто?

— Я-то садовник. А вот ты кто? Баловница!

Эмка обиженно кивает в сторону убежавшего Владика и показывает на свою мокрую майку.

— Я не баловница. Это он баловнец. *(Показывает на бассейн.)* Фонтан закрыли. Душ закрыли. Ручей... *(Она запинается.)* Сам закрылся. Где же вода?

Садовник показывает палкой на горы.

— Скоро взорвут скалу, и побежит из озера воды много.

— А кто взорвет? *(Удивленно.)* Ты?

— Мое дело сады сажать, а на это есть свои люди.

— Смелые?

— Смелые. *(Показывает на яблоню.)* А за яблоки... без спросу в другой раз крапивой по ногам буду.

ЭМКА *(недоверчиво и даже презрительно)*:

— Ой ли? Это при Советской-то? *(Что-то увидела. Бросилась бежать, крича.)* Почтальон идет... почтальон!..

Обед на открытой террасе. На столе всего вдоволь. Толстый мальчуган читает письмо.

КРУПНО. **«Милый Котик! Здоров ли ты? Как твой аппетит? Не голодаешь ли?»**

КРУПНО. **Толстая самодовольная мордашка улыбается. Губы в сметане.**

КРУПНО. **Тарелки. Масло. Помидоры. Котлеты. Горка хлеба. Блюдце с кремом. Горка фруктов.**

КРУПНО. **Мальчуган смотрит на оставшуюся котлету, тяжело вздыхает и решает доесть.**

Другой мальчуган.

Письмо.

КРУПНО. **«Хорошо ли ты себя ведешь? Не много ли балуешь?»**

Мальчуган хитро подмигивает.

Под обеденным столом множество босых ног. Одна нога тянется и толкает (напротив) в колено другую.

Над столом встревоженное лицо Эмки.

Опять под столом одна нога толкает другую.

Сверху лицо Эмки еще встревоженнее. Но лицо мальчугана, читавшего письмо, невозмутимо спокойно.

Вдруг Эмка быстро наклоняется и хватает чью-то ногу.

И теперь над столом видно, как испуганный мальчишка покачнулся и заорал.

Эмка хохочет.

Владик. Обед перед ним почти не тронут. На столе лежит телеграмма. Баранкин заглядывает в телеграмму.

ТЕКСТ. **«Отдыхай веселее все будет хорошо мама».**

БАРАНКИН. Раз все хорошо, то отчего же ты хмурый?

ВЛАДИК *(говорит с горечью)*. Значит, не все хорошо. Будет!.. А если не будет?

Барабанит пальцем по тарелке.

Проходящая подавальщица с удивлением останавливается.

— Тебе чего?

ВЛАДИК. Ничего.

Натка смотрит на Владика и говорит своей помощнице:

— Его надо чем-нибудь занять. Он будет у нас звеньевым.

НИНА *(испуганно)*. Ой, Натка, он, кажется, очень большой разбойник. Посмотри, вон тебя наша физкультурница ищет!

Идет Натка к дверям. У дверей — в трусах и майке — стройная девушка.

КРУПНО. **На майке у нее значок парашютистки.**

НАТКА *(показывая на значок, настороженно)*. Ты в Москве прыгнула?

ФИЗКУЛЬТУРНИЦА. Нет, здесь... *(Показывая рукой.)* Аэродром рядом... *(Смотрит в записную книжку.)* Завтра утром я у тебя в отряде...

*

Лагерь спит. Берег, деревья. Под озаренным луной деревом стоит Натка. Вдалеке портовые огни. Видны иллюминаторы и прожектор большого парохода.

Вот скользнул прожектор вдоль берега. И вдруг Натка видит, что на перилах верхом в одних трусах сидит Владик.

НАТКА. Ты зачем вылез? Почему не спишь?

ВЛАДИК. Жарко, душно, клопы кусают.

НАТКА. Сумасшедший! Какие клопы? Ты в своем ли уме?

ВЛАДИК. Ну пусть не клопы. А ты сама чего не спишь, Натка?

НАТКА. Я... я — это другое дело.

ВЛАДИК. Ты другое, и я тоже другое. *(Улыбнулся.)* Давай, Натка, бросимся в море и поплывем вон к тому большому пароходу. Кажется, иностранный.

НАТКА *(смеется)*. Нас пограничники турнут, что и не вынырнешь. *(Строго.)* Иди спать, Владик. Что ты разболтался?

ВЛАДИК. Ладно, иду. *(Обернулся.)* А ты меня не обманывай. Я давно вижу, что тебе и самой что-то невесело.

НАТКА *(вдогонку, резко)*. Врешь, весело!

Стоит Натка одна. Скользнул по ней луч прожектора. Повернулась она и тихо пошла.

*

Лагерь спит. Берег Скала. Под озаренной луною скалой стоит Натка. Вдалеке портовые огни. Видны огни иллюминаторов большого парохода.

Вдруг на тропку вышла большая собака и остановилась. Замерла Натка. Сзади голос:

— Не бойтесь. Она вас сама боится.

Человек свистнул. Собака быстро метнулась прочь.

Натка обернулась. Перед ней человек в форме военного инженера. Человек поздоровался и прошел.

НАТКА *(глядя ему вслед)* Что за чужой народ шатается по лагерю?

Идет Натка в палату. Заглядывает в комнату, где спят ребята. Покой. Луна. Тишина. В переплетах окон видны резкие очертания неподвижных кипарисов.

Проходит к себе в комнату. Не зажигая света, садится на стул и наклоняется, чтобы расстегнуть сандалии.

Вдруг настороженно выпрямляется и прислушивается. Ничего, тихо.

Наклоняется опять. Снова быстро выпрямляется, вскакивает и бросается к выключателю.

Резкий свет.

У противоположной стены стоит кровать. И там спокойно спит смуглый мальчуган. Все тот же и знакомый и незнакомый ей Алька.

Скрипнула дверь. Входит молоденькая помощница Натки Нина.

— Натка, ты не пугайся. Это Алька, сын инженера. Его отец взорвет скалу, и будет вода. Они приехали через Севастополь. Ребята уже спали, и мы поставили кровать к тебе до утра.

Натка молча кивает головой.

НИНА. Натка, ты куда пропала? А тебе два раза от начальника порта звонили.

НАТКА *(удивленно)*. Зачем я нужна начальнику порта?

НИНА. Там тебя какой-то капитан спрашивал.

Нина что-то услышала и быстро вышла.

НАТКА. Что нужно от меня какому-то капитану?

Натка смотрит на Альку. Тумбочка. На ней трусы, майка и картинка, изображающая одинокого всадника, мчащегося под ослепительно лучистой пятиконечной звездой.

Подпись слева:

Вперед, товарищ! Путь далек
Перед тобой во мраке лег.

Натка переводит глаза на Альку.

Подпись справа:

Но светит ярко, как всегда,
Тебе победная звезда.

Натка смотрит на Альку, улыбается и тушит свет.

Солнечное утро. Комната Натки. Алька встал. Одергивает постель. Обернулся. Спрятал журнал под подушку.

НАТКА. Твой папа — инженер?

АЛЬКА *(подчеркивая)*. Военный инженер. Он в отпуску. Ты видела у него на лице шрам?

— Да!

— Это ему однажды осколком ручной гранаты попало. На маньчжурской границе. *(Помолчав немного.)* Тебе так никогда не попадало?

НАТКА *(улыбаясь)*. Нет, еще не попадало.

— Но ты смелая?

НАТКА *(в замешательстве)*. Не знаю...

— Он не любит трусов. Из-за одного, например, труса ему пробило осколком голову. Тогда же убили его коня.

— Кто же был этот трус?

— Я... *(Помолчав немного.)* Мы ехали ночью к себе на заставу. Маньчжуры пробрались через границу. Надо было молчать, а я заплакал.

— Однако... он тебя все же любит?

— Да... Но мне тогда было только три года. *(Помолчав.)* Теперь бы он меня не простил. *(Помолчав.)* А тебя и подавно.

НАТКА *(в замешательстве)*. Ты пойдешь во второе звено к Владику Дашевскому. *(С усмешкой.)* Он, кажется, смелый... Беги. Я буду прибираться.

Алька вышел.

Натка подошла к окну. За окном негромкая песня. Горнист подает сигнал. Через пролет густой листвы задумавшаяся Натка видит парящий самолет и качает головой.

В дверь стук. В полной форме входит здоровенный капитан.

НАТКА. Дядя?! Разве же ты не умер?!

КАПИТАН. Что ты, дорогая! Похож ли я на покойника?

НАТКА *(бросается к нему)*. Но вас же, писали, забило бурей, затерло льдами, разбило, разломало, разбросало?

КАПИТАН. И било, и швыряло, и бросало. Плыли на шлюпках километров пятьсот. Шагали до поселка тысячу. Ехали на собаках полторы. Постой, Натка... Ты мне голову свернешь. Не хочу теперь пропадать на суше.

Вбегает пионер.

— Натка, был сигнал.

НАТКА. Я сейчас... Дядя, откуда ты? Куда?.. Надолго?..

— Мое судно стоит в порту. Сейчас разгрузимся. Быстро погрузимся — и в Испанию.

НАТКА *(жалобно)*. Дядя, дядя, как мне хочется с тобой в Испанию!*

КАПИТАН. Ну, дорогая... Это не тебе одной хочется. Сейчас всем хочется.

Заглядывает пионер.

ПИОНЕР. Натка, отряд построился.

НАТКА. Сейчас.

КАПИТАН. Тебе некогда, да и мне тоже. Приходи завтра в порт. На корабле поговорим.

Натка распахивает дверь и кричит:

— Сейчас! *(Капитану.)* Я приду обязательно. Ты тогда мне все расскажешь. *(Выбегает.)*

Капитан с любопытством оглядывает незнакомую обстановку.

Слышен горн. Видно, как медленно поднимается на мачте лагерный флаг.

НАДПИСЬ. **Отряд готовился к празднику.**

Первая группа с физкультурницей на площадке репетирует пирамиду.

Вторая в кустах на поляне, усевшись на бревне, распевает песню:

Ты в плену. Окончен бой.
Под тюремною стеной
Ходит мрачный часовой.
Стой! Стой! Стой!

Стиснув губы, милый брат,
Ты не выдашь свой отряд.
Кто с тобой плечом к плечу
Шел — не скажешь палачу.

Крикнешь ты, глядя в упор,
Что ни пытка, ни топор,
Ни железо и ни кнут
Нас не сломят, не согнут.

Стиснув губы, милый брат,
У знамен стоит отряд
С клятвой каждого бойца
Смело биться до конца.

Третье звено на террасе клеит, режет и шьет костюмы.

НАДПИСЬ. **А звено Владика...**

Круглый бассейн. Владик и еще несколько ребят закинули в него удочки. Остальные ребята с любопытством заглядывают в воду.

Среди водорослей тихо плавают рыбы.

Эмка сунула руку в воду. Владик погрозил ей кулаком.

Обиженная Эмка отошла и ловит сачком бабочек. Навстречу ей идет мальчуган. Это — Алька. Из кармана у него торчит знакомая нам картинка.

ЭМКА *(показывая на картинку)*. Это что?

Алька вынимает картинку и, хитро улыбнувшись, показывает пальцем на всадника.

— Это белый. Это царь.

Эмка отрицательно качает головой.

— Это красный. Это Буденный.

АЛЬКА *(упрямо)*. Это белый. Вот сабля.

ЭМКА *(еще упрямее)*. Это красный. Вот звезда.

Оба расхохотались.

Алька увидел, чем занимаются ребята, и нахмурился.

— Зачем они безобразничают? Вот глупые рыбаки!

ЭМКА *(шепчет)*. Ты потише. А то Владик тебе даст т у м а к а.

Алька смотрит на нее, нахмуря брови.

— Он не посмеет мне дать т у м а к а.

Владик оборачивается и смотрит грозно. Алька смотрит ему прямо в лицо.

У Владика клюнуло, но сорвалось. Алька подошел к бассейну.

Плавают среди водорослей рыбы. Эмка бросила в воду цветок. У Владика клюет.

Лицо Альки напряженно-любопытное. У Владика клюет сильнее. Все затаили дыхание.

Раз... Сорвалось опять.

АЛЬКА *(взволнованно)*. Как вы ловите... Ее сачком поддеть было надо.

Владик одобрительно кивает ему головой, вскакивает, отбирает у Эмки сачок и вытряхивает из него бабочек.

Ловят сачком. Шум. Брызги. Мечутся рыбы среди водорослей.

Поймали, вытащили, обступили.

ЭМКА. Вожатая идет, Натка.

ВЛАДИК. Чур, не сознаваться!

Все бросаются врассыпную. Входит Натка. Пусто. На земле мокрый сачок и подпрыгивающая рыба.

Натка наклоняется и хочет взять рыбу. Рыба выскальзывает. Натка наклоняется опять. Оборачивается.

Сзади нее стоит инженер. Тот самый, которого она встретила ночью. Смутившаяся Натка стоит перед ним. Инженер удивлен.

НАТКА. Я вас знаю. Вы инженер Ганин... Алькин отец...

— И я вас знаю. Вы вожатая отряда. Где Алька?

Натка, улыбаясь, показывает на рыбу.

— Вот видите. Должно быть, набаловали и убежали.

— У меня просьба. Если вы увидите у Альки журнал, возьмите его потихоньку и передайте мне. Он начитается на ночь чего не нужно и спит плохо.

НАТКА *(нерешительно)*. Но это нехорошо — лазить к ребенку под подушку. *(Бросает рыбу в бассейн.)* Если ему вредно читать такие журналы, то зачем же вы ему купили?

— Я купил случайно и не знал, что там есть.

НАТКА *(подумав)*. Хорошо. *(Помолчав.)* Скоро вы наконец дадите воду?

— На днях все будет готово. *(Поворачивается, чтобы уйти.)*

НАТКА. Постойте!.. У Альки есть мать?

— Нет.

Владик, Эмка и Алька. Горы над морем. Гуща дубового кустарника.

ЭМКА. Далеко забежали. Как бы не хватились.

ВЛАДИК. До обеда еще долго.

Алька раздвинул кусты и вскрикнул:

— Стойте! Тюрьма!

Развалины старой крепости над морем. Повсюду навалены перевитые плющом глыбы. Внутри густая трава, зеленая площадка.

С любопытством осматривают, осторожно идут ребята.

Какой-то боковой низкий вход. Над входом нависли тяжелые камни. Владик трогает их палкой. Ничего, крепко. Входят и шарахаются. Тяжело махая крыльями, вылетела сова. Прошли дальше.

Коридор раздваивается. Справа — маленькая темная комната. Слева — побольше. В стене пробито небольшое окно, через которое бьет солнце. Здесь сухо и прохладно.

ВЛАДИК. Это не тюрьма, а древняя крепость. *(По-*

молчав.) Я бы хотел быть старинным рыцарем, с мечом и со щитом. А ты, Алька?

— Я бы хотел быть не старинным, а теперешним. Со звездой и с маузером.

ЭМКА. Как кто?

АЛЬКА. Как Ворошилов. А ты, Эмка?

ЭМКА *(с опаской оглядывая угрюмые своды)*. Я... Я бы хотела пойти домой.

ВЛАДИК *(настораживаясь)*. Тише...

ЭМКА *(испуганно)*. Чего тебе?

— Кто-то свистит.

Выбираются наружу. Лезут на поросшую кустарником стену.

Внизу по тропке идет человек. Кто, этого не видно, потому что на голове он несет куски фанеры и сверху виден только деревянный квадрат.

Владик бросает на фанеру камешки... один, другой. Фанера остановилась, сползла.

Видно недоуменно-добродушное лицо Баранкина.

*

Во дворе крепости. Баранкин и ребята.

БАРАНКИН. Ходил на работы. Фанеры выпросил. Насилу дали.

ВЛАДИК. Да на что тебе, чудак, фанера?

— К празднику в подарок танк сделаю. Хороший танк. С пушками.

ВЛАДИК *(решительно)*. Мы будем тебе помогать. *(Подумав.)* Мы посадим внутрь Эмку, и она будет бить по врагу из пушек яблоками.

АЛЬКА. Давайте сделаем тайно, так, чтоб никто не знал.

ВЛАДИК. Мы сделаем тайно. А чтобы никто не знал, мы будем работать здесь.

Берет кусок фанеры, чертит углем и устанавливает вывеску над темным входом.

Вывеска:

1-й танковый завод
имени
Мирового Пролетариата.

Все прислушиваются. Слышен далекий сигнал на обед.

ЭМКА. Та-ра-ра-ра! Пора-пора!

ВЛАДИК. Я забегу надеть майку.

Все срываются и убегают.

Владик, уже в майке, бежит в столовую. Поворот. Из-за кустов пара глаз. Сидит собака и смотрит печально на Владика.

ВЛАДИК *(собаке)*. Фьють-фьють.

Собака подходит и машет доверчиво хвостом.

Проходит парнишка с граблями и лейкой.

ВЛАДИК. Это чья собака?

— А кто ее знает. Какая-то приблудная. Ее вчера и палками и камнями гнали. А она, смотри-ка, опять тут.

Наклоняется, чтобы поднять камень.

ВЛАДИК *(грозно)*. Но, но, это моя собака!

Паренек трусливо отходит.

— Вот тебе начальник покажет, твоя. Чужих собак велено гнать из лагеря.

Владик уводит собаку в кусты. Снимает ремешок, делает ошейник, привязывает ее к кусту и грозит ей пальцем.

— Сиди, дура, смирно. Я сейчас вернусь.

Обед. На коленях у Владика лист бумаги.

Рядом с Владиком знакомый уже толстый мальчуган. Мальчуган отвернулся и потянулся за хлебом. Владик быстро цапнул у него котлету и сунул на колени.

Мальчуган смотрит на тарелку. Мальчуган удивлен. Виновато оборачиваясь, он говорит Владику:

— Вкусно! Съешь и не заметишь.

Владик сталкивает кусок хлеба незаметно себе на колени.

Эмка увидела это и открыла было рот.

Владик прикладывает палец к губам.

Эмке все равно не терпится.

ВЛАДИК *(сердито)*. На́. Ешь мороженое.

Эмка хватает мороженое. И пока она его ест, Владик исчезает.

Владик около собаки. Собака с жадностью ест котлету.

ВЛАДИК *(думает)*. Куда же я ее спрячу?

Улыбнулся, догадался.

Вечерняя линейка. Стоят ребята. Не очень-то навытяжку. Кто-то кого-то щелкнул, кто-то фыркнул.

НАТКА. Кто ловил в бассейне рыбу?

Молчание. Владик чуть-чуть дерзковато улыбается. Алька облизывает языком губы. Эмка смотрит в потолок.

НАТКА. Чей это сачок?

Эмка увидела и вскрикнула:

— Мой сачок! *(Спохватилась, но поздно.)* Но я им ловила бабочек.

НАТКА. Бабочки в воде не плавают. А сачок лежал рядом с рыбой и был весь мокрый.

Смех. Эмка смущена.

АЛЬКА. Я, например, ловил не бабочек, а рыбу *(Виновато улыбается.)* Я отчаянный рыболов.

Владик пожал плечами.

Смех.

Вдруг среди тишины раздается жалобный вой. Все настораживаются. Владик закусил губу.

НАТКА *(удивленно)*. Это кто же такой в строю балует?

Вой усиливается. Всеобщее замешательство.

ЭМКА *(с негодованием)*. Это не в строю... Это собака воет. Разве же человек так умеет? *(Показывает, как человек не умеет.)* Ав-ав-ав-ав!

Собака воет еще сильнее.

НАТКА. Разойдитесь. *(Альке.)* Ты мне будешь нужен.

Звено рассыпается. Все бросаются искать собаку.

Владик ныряет под крыльцо, хватает собаку и мчится с нею прочь.

*

Крепость. Сумерки. Владик сажает собаку под башню. Закладывает вход фанерой и заваливает камнем.

Вывеска:

1-й танковый завод
имени
Мирового Пролетариата

Владик осторожно пробирается в палату, где почти все уже легли в постели.

АЛЬКА *(тихонько)*. А мне за всех попадет.

— Зачем вызвался?

— А то бы попало Эмке.

— Пусть держит язык за зубами.

АЛЬКА *(сердито)*. Ей держать и нечего. Она не виновата.

Владик засыпает. Алька достает украдкой журнал и, подвинувшись к лунному свету, что-то рассматривает.

В дверях показывается закутанная в простыню фигура.

Алька услышал шорох и обернулся.

АЛЬКА *(грозным шепотом)*. Это еще что за привидение?

— Это не привидение, а это я. *(Теперь видно лицо Эмки.)* Ты не бойся. Я сейчас подслушала, как Натка говорила Нине, что про рыбу она начальнику лагеря ничего не скажет.

АЛЬКА. Я и так не боюсь. Ну, выругала бы! За дело. Подумаешь, беда!

ЭМКА *(кидает ему яблоко)*. На. *(Убегает.)*

Алька снова смотрит в журнал... опять услышал шорох... быстро сунул журнал под подушку и юркнул под одеяло.

В дверях показалась Натка. Посмотрела подозрительно.

*

У крепости под вывеской танкового завода надпись:

Предъяви пропуск.

Сидит у входа собака. Бежит Алька и тащит деревянную жердочку. Собака грозно встала.

АЛЬКА. Тебе пропуск? Сейчас.

Достает кусок сахару. Собака забрала пропуск и съела.

Идет внутри крепости работа. Там Баранкин, Эмка, Владик и Алька. Но Владику что-то не работается.

Он пошел в коридор. Свернул в узкий проход. Темно. Владик зажигает огарок свечи. Мрачные своды. На стене чернеет надпись:

ТЫСЯЧУ ЛЕТ ТОМУ НАЗАД ЗДЕСЬ Я ТОМИЛСЯ
В ПЛЕНУ У ЗЛОГО КОРОЛЯ ТРУМБАРАКСА.

Нарисована стрела и под ней написано:

О ДОВЕРЧИВЫЙ ПУТНИК! НЕ ХОДИ НАПРАВО!

Лицо Владика. Владик нахмурился и повернул направо. На стене надпись:

О НЕСЧАСТНЫЙ! ТЫ ВСЕ ЖЕ ПОШЕЛ?
БЕРЕГИСЬ И НЕ ХОДИ НАЛЕВО

Лицо Владика нахмурено. Он поворачивает налево. Надпись под стрелой, указующей на уступ стены:

БЕЗУМЕЦ! НЕ ПОДНИМАЙ ЭТОТ ТЯЖЕЛЫЙ КАМЕНЬ!

Владик сталкивает камень. Под ним отверстие. Достает консервную коробку. Внутри записка. Укрепляет свечку на камне. Нетерпеливо разворачивает записку. На записке нарисована страшная рожа с высунутым языком. Под ней стихи:

Дураков, как ты, немало
Эта рожа повидала.
А теперь тебе понятно:
Положи портрет обратно.

Подпись: Узник царя Трумбаракса уч. 5-го класса Иван Башмаков.

Владик плюнул и бросил записку. Остановился. Передумал. Поднял банку. Положил обратно записку и завалил камнем. Усмехнулся.

ВЛАДИК. Что я... Один, что ли?

Идет работа над танком. Алька держит за ошейник собаку.

АЛЬКА. Ты куда пропал? А мы что придумали!.. *(Показывает на собаку.)* Это будет мотор.

ВЛАДИК. Как мотор?

БАРАНКИН. Мы затолкаем собаку внутрь танка, и танк пойдет самоходом.

ВЛАДИК. Так она же опять выть будет.

БАРАНКИН. Не будет. Мы у нее недалеко от носа кусок колбасы привяжем.

*

НАДПИСЬ: **На экскурсию к озеру.**

Горная тропка. Карабкаются среди кустарника ребята. Опять горная тропка. Идут среди высокого соснового леса.

Озеро. Отражены в воде облака, деревья, пышная зелень. В общем, красота неописуемая. Идут ребята Окрик:

— Стой! Кто идет?

Замерли ребята. Выходит человек с винтовкой.

— Обойдите кругом. Здесь нельзя.

Натка сворачивает с притихшими ребятами. Слева меж кустов колючая проволока. Другой человек с винтовкой. Столб.

Надпись:

Не курить, огня не зажигать.
Склад взрывчатых веществ.

Открывается вид на работы. Под скалой что-то рубят, строгают. В скале бурят шурфы для подрывных патронов.

Спиной к Натке стоит инженер Ганин и говорит что-то десятнику.

АЛЬКА. Папа!

Ганин обернулся, улыбнулся. Подошел. С Алькой поздоровался за руку.

Показывает Натке в сторону, где торчит тяжелая скала.

— Все это мы взорвем.

НАТКА. Кто?

ГАНИН. Я.

НАТКА. Откуда?

ГАНИН. Вот отсюда.

Показывает на углубление за скатом горы, где стоит бревенчатый стол с динамо-машиной.

ЭМКА. Страшно ему будет, Натка?

НАТКА. Должно быть, страшно.

АЛЬКА *(гордо и обиженно)*. Он взрывал уже десять тысяч раз. Однажды мы на границе... *(Замолчал и взглянул на отца.)*

Отец добродушно покачал головой.

Натка перехватила их взгляд и спрашивает с улыбкой:

— Тайна?

ГАНИН. Тайна.

НАТКА. Военная?

ЭМКА *(нетерпеливо)*. А у нас тоже есть и тайна и военная.

Баранкин дернул Эмку за рукав. Владик толкнул ее кулаком в бок. Эмка подскочила. Оборачивается Натка. Эмка ревет.

ВЛАДИК. А пусть помалкивает.

Натка пристально смотрит на Владика. Владик отворачивается.

НАТКА. Что с тобой?

ВЛАДИК *(резко)*. Скучно мне.

— Но послушай, если тебе весь день будет скучно, то ты и до вечера драться будешь. (Смех.) Ребята, развеселите, пожалуйста, Владика. А то он вас всех переколотит. (Смех.)

Владик отходит. Ребята окружили инженера. Подошла Натка к Владику.

НАТКА. Если ты не будешь хулиганить, я возьму тебя после обеда в порт. Туда пришел большой пароход, и на нем капитаном мой дядя. Беги!

Подходит Ганин.

— А как Алька?

НАТКА. Ничего. Балует, как и все. *(Помолчав.)* Но дежурная говорила, что ночью спал он неважно. Бормотал что-то.

ГАНИН *(тихо)*. Отберите у него журнал.

Натка молча кивнула головой.

Владик показывает Эмке палец. Эмка показала Владику язык и сквозь слезы засмеялась.

*

Знакомая терраса. Стоит садовник со шлангом. Вода еле-еле бежит. Садовник с досадой бросил шланг возле клумбы и говорит уборщице, которая выколачивает из ковра пыль:

— Пропадаем без воды! Совсем пропадаем! Человек квасу напьется. А цветы квасом не напоишь.

Выбегает Натка. Она в юбке и кофточке. Кричит:

— Владик, идем! А то опоздаем.

Вынырнул Владик. Быстро бегут они вниз по тропке... Опять бегут вниз по тропке. Поворот. Раз! Зацепившись

за колючку, Натка отхватила от кофточки полрукава. Стоит в отчаянии: подниматься наверх ей неохота. Увидела домик, где живут сотрудники... На террасе физкультурница моет голову. Подошла Натка. Показывает на рваный рукав.

— Валя, выручи. Дай на час какую-нибудь кофточку.

ФИЗКУЛЬТУРНИЦА. Я мокрая. Возьми сама в углу на вешалке.

Натка забежала в комнату. Быстро скинула рваную кофточку. Сняла с гвоздя первую попавшуюся... Быстро надела, крикнув:

— Спасибо! — и выбежала догонять Владика.

Вдруг увидела на кофточке парашютный значок. Неловко замявшись, остановилась... Ага, придумала! Сорвала розу, закрыла значок и приколола цветок булавкой.

Порт. Трубы. Мачты. Парусные лодки. У причала большое судно. Подъемный кран. Идет разгрузка. Снизу вверх (глазами Натки и Владика) видна большая опускающаяся кипа. Вот она болтнулась. Голова Натки чуть отклонилась.

Натка. Капитан. Владик. Идут по палубе. Попадается навстречу боцман, передал капитану какую-то бумагу.

КАПИТАН. Сейчас подпишу. *(К Натке.)* Сегодня кончаем выгрузку, завтра начинаем погрузку.

Владик в это время стоит и смотрит на... плакат с развалинами и пулеметчиком.

НАТКА. И потом...

КАПИТАН. ...И потом прямо в Испанию.

ВЛАДИК *(быстро обернулся)*. Куда?

КАПИТАН. В Испанию. В Аликанте. Зайдем ко мне в каюту, Натка, я бумагу подпишу.

НАТКА. Идем, Владик.

ВЛАДИК *(отрывисто)*. Я побуду здесь. Я все посмотрю. *(Капитану.)* Можно? *(Вытирает влажный лоб.)* Там жарко. *(Натке.)* Ты иди. А я тут.

Капитан и Натка уходят.

Пока они идут, Владик стоит, и похоже на то, что он смотрит на разгрузку.

КРУПНО. **Лицо Владика. Теперь видно, что никуда он не смотрит, а глаза его бегают. Вот они скосились, наблюдая, ушли ли капитан и Натка. Ушли.**

Владик повернулся и нырнул вниз по лестнице.

Теперь, в зависимости от величины и устройства парохода, надо показать Владика во многих местах и уголках.

Вот он смотрит вниз, в пролет, откуда поднимают тяжелые грузы.

Вот он стоит в облаке пыли и смотрит в тот же пролет, но уже из среднего трюма вверх, и мимо него ползут мешки, ящики, бочки.

Вот он заглянул сверху в машинное отделение и видит могучие блестящие машины. Пренебрежительно махнул рукой.

Вот он приоткрывает какую-то загадочную дверцу. Но там лежат веревки и цепи.

Вот он столкнулся на узкой лесенке с толстым поваром, который тащит за шею убитого гуся. Повар хватает Владика за рукав.

— Ты кто? Откуда?

ВЛАДИК *(резко)*. Пусти. Я сын капитана.

Повар посторонился. Владик исчез.

ПОВАР *(недоуменно)*. Сын капитана, а глаза бегают, как у жулика.

Появляются Натка и капитан.

НАТКА *(осматриваясь)*. Куда он пропал? *(Кричит.)* Владик, где ты?

Точно в ответ, слышен гудок парохода.

КАПИТАН. Подходит пассажирский. Я пошел наверх, Натка. Провожать придешь?

— Обязательно. Ты только позвони когда.

Владик на верхней шлюпочной палубе. Висят затянутые брезентом шлюпки. Владик отстегивает край брезента.

Заглядывает внутрь. Задумался. Застегнул. Прислушался. Бежит вниз.

НАТКА *(сердито)*. Ты куда пропал? (Г у д о к.) Идем посмотрим, как подходит пассажирский.

Большой белый красавец теплоход тихо подходит к усыпанной встречающими дамбе. В толпе Владик и Натка. Владик отошел и пьет у киоска воду.

Кто-то толкнул Натку. Роза упала, значок открылся. Но Натка этого не замечает.

Прямо перед Наткой в форменке инструктор-парашютист, а с ним веселая девушка.

НАТКА *(удивленно)*. Откуда вы здесь?

ИНСТРУКТОР. Я-то в отпуску... *(Смотрит на Наткин значок.)* А вы что здесь делаете?

Натка с ужасом увидела свой открытый значок. Очень смутилась. Говорит:

— До свиданья. Мне некогда.

ИНСТРУКТОР. Но постойте...

Натка исчезла.

Владик смотрит на нее от киоска. К киоску подходят инструктор и девушка. Пьют воду.

ДЕВУШКА *(инструктору)*. Отчего она так смутилась?

ИНСТРУКТОР. Она отказалась прыгнуть с парашютом, а на груди у нее значок.

Девушка смотрит на Натку с сожалением.

— Бедняжка. *(Помолчав.)* Но она не похожа на труса.

Владик, который все это слышал, подходит к Натке.

Идут дорогой молча. Владик хмуро что-то шепчет и высчитывает на пальцах.

НАТКА *(поворачиваясь)*. Ты что?

ВЛАДИК. Ничего.

Идут дорогой молча. Натка задумчива. Она тихонько засвистела и покачала головой.

ВЛАДИК. Ты что?

НАТКА. Я... ничего... *(Помолчав.)* Я забыла у дяди на столе книгу.

Пустая палата. За окном смех, игры. Влетел в окно большой мяч и покатился. Крадучись, входит в палату Владик. Отшвырнул мяч ногой. Достает из столика бумажник.

КРУПНО. **Считает деньги. Насупился. Оглядывается. Быстро снимает верхнюю наволочку подушки. Под ней нижняя. Сдернул нижнюю и быстро надел верхнюю наволочку на подушку. Влетает за мячом Эмка. Владик сунул наволочку за майку.**

ЭМКА. Ты что с нами не играешь?

— Мне некогда.

ЭМКА *(передразнивает)*. Ох, и некогда! Какой работник! *(С любопытством.)* Что это у тебя живот торчит?

ВЛАДИК. Винограду объелся.

ЭМКА. И много съел?

ВЛАДИК *(сердито)*. Двадцать пять килограммов.

Эмка забирает мяч и от двери грозит Владику пальцем.

— Ой и врешь! Ты что-то хитрый!

*

Мелочный ларек близ лагеря. Подошел человек, купил папирос. Подбежал мальчишка, купил конверт. Владик в кустах подождал, пока ушли. Подошел и просит:

— Дайте мне колбасы.

ПРОДАВЕЦ. Сколько?

Владик показывает на целый кружок.

— Вот всю эту.

ПРОДАВЕЦ *(удивленно)*. Что, тебе разве обеда не хватает?

ВЛАДИК. Нет. Это я для больной бабушки. Дайте хлеба.

— Сколько?

ВЛАДИК *(показывает на целую буханку)*. Вот весь этот.

Владик получил каравай и опустил его в наволочку. Колбаса еще на прилавке. Подбегает Баранкин.

БАРАНКИН. Дайте кнопок на гривенник.

Увидал Владика с колбасой и удивлен. Догадался и улыбнулся.

— Это ты купил колбасу для собаки?

ВЛАДИК *(с запинкой)*. Да, для собаки.

БАРАНКИН. Но для чего же так много? Это она обожрется и с места не сдвинется.

Продавец удивленно оборачивается к Владику.

— Молодой человек! Разве ваша бабушка... собака?

Владик поспешно дергает Баранкина:

— Ты не слушай его! Идем, он выпивши.

Натка Шегалова и Алька в саду.

НАТКА. Твой папа придет к нам на праздник?

АЛЬКА. Да, придет. *(Помолчав.)* Он меня спрашивал про тебя. Какая ты — добрая или злая.

НАТКА *(с любопытством)*. А ты сказал?..

АЛЬКА. А я сказал — когда как.

НАТКА *(разочарованно)*. Это каждый человек — когда как. Ты бы мог сказать про меня что-нибудь получше.

АЛЬКА *(подумав)*. Ему говорить нечего. Он и сам все видит. *(Пауза.)* Ты не видела у него на плече шрам? Это он на маневрах прыгал с парашютом взрывать какой-то мост. А ты бы с парашютом прыгнула?

Натка молчит.

АЛЬКА *(укоризненно)*. Ты прыгни. Я бы обязательно прыгнул. *(Пауза.)*

НАТКА. Ты гордый, Алька?

АЛЬКА. Мы все гордые... и я, и он, и мама... *(Пауза.)* Только ее уже нет.

Владик Дашевский где-то на задворках возле мусорной ямы. Поднял грязную бутылку. Посмотрел на свет и отбросил. Поднял другую. Посмотрел и бацнул ее о камень. Вылетела из-за камня ошалелая кошка.

Сад. Натка говорит своей помощнице Нине:

— Нина, ужин и линейку ты сегодня проведи без меня.

— А ты?

— Я уйду.

— Далеко?

— Нет. Не очень. *(Пауза.)* Только ты никому не говори, что я ушла из лагеря.

— А ты не ходи.

— Нельзя никак, Нина. Если я не пойду, то я теперь совсем пропала.

НИНА. Все секреты! *(Со вздохом.)* Да они меня без тебя, Натка, не слушаются. Вчера на отдыхе кто-то за косу куклу привязал. А в сандалии цветов натолкали.

— Они тебя любят, Нина.

НИНА *(вздохнув)*. Любят-то любят. *(Печально.)* Да ты, говорят, не авторитетная.

НАТКА *(улыбаясь)*. Какая?

НИНА *(сердито)*. Не авторитетная.

— А ты построже.

— Пробовала построже. Все равно хохочут. Вчера в моем столике полный ящик яблоками натолкали.

— Экая беда, яблоки! Кабы лягушку!

НИНА *(жалобно)*. Ой, Натка, и лягушек и кузнечиков уже сажали тоже.

То же место в саду. Пробежал над вершинами кустов фанерный волк, а за ним заяц с ружьем. Это на высоких палках несут макеты ребята.

Потащил ведро с краской и кистью Баранкин.

Пронеслась стайка девчонок в бумажных колпаках и со скакалками.

Тихо выходит Владик. Раздвинул кусты. Низкий домик с открытой верандой. На веранде клетки с кроликами, клетка с лисой.

Вывеска:

ЗООБОТАНИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

На стене приклеена бумага: «План культработы 4-го отряда на вторую шестидневку».

Внизу под текстом подпись: Вожатый отряда Н. Шегалова.

Владик осторожно оторвал последние строчки бумаги, сложил и сунул в карман.

Вошел в дверь. Полки с банками, камни, плакаты, сухие растения. Несколько ребят сидят и наклеивают в папку листья. Ходит дежурный. В углу за спиной сидящих стоят пустые стеклянные бутыли.

ВЛАДИК *(дежурному)*. А скажи, дежурный, отчего это у вас лисица подохла?

ДЕЖУРНЫЙ *(подскакивает)*. Как подохла?

Выбегает на террасу.

Владик за спиной сидящих быстро схватил бутыль и выставил ее за окно.

Возвращается дежурный и грозит Владику.

Владик вышел. Обошел террасу. Схватил бутыль и скрылся в кустах.

Кран. Бежит слабо вода. Владик ополоснул бутылку и налил воды.

— Пейте, бабушка, на здоровье.

Усмехнулся, отпил глоток, закрыл бутыль стеклянной пробкой.

Ворота у входа в лагерь. Выходит осторожно Натка.

Вход в крепость. Выходят осторожно Баранкин, Алька и Эмка.

Кусты раздвинулись. Пропустил ребят и, крадучись, идет к входу Владик. В руках у него наполненная сумка из наволочки.

Темные своды. Горит свеча.

Надпись:

БЕЗУМЕЦ, НЕ ПОДНИМАЙ ЭТОТ ТЯЖЕЛЫЙ КАМЕНЬ.

Владик поднял камень и положил сумку в углубление. Вышел.

...Далекий горизонт в тучах. Скрывается за морем солнце.

Стоит Владик. Глянул на море. Посмотрел себе на грудь. Пусто! Точно примеряя ордена, провел пальцем на левой стороне груди кружочек, подумал и провел другой.

На лужайке вдали играют ребята. Терраса. Натка и ее помощница Нина.

НИНА. Где ты вчера была?

НАТКА. Пока не скажу.

НИНА. У Альки секрет, у тебя секрет. Эмка стянула со склада автомобильный гудок. Я спрашиваю, зачем,— молчит. Владик тоже что-то шныряет, как разбойник.

НАТКА. Оставь их. Они что-то готовят к празднику.

НИНА. А ты что готовишь? *(Лукаво.)* Тебя вчера Алькин отец спрашивал.

НАТКА. Беги, Нина. Посмотри, вот там кто-то за козой гоняется. Как бы на клумбу не загнали.

Нина убежала. Тихо подошел к Натке сзади Владик. Натка услышала и обернулась.

— Ты почему не с ребятами?

— Дай мне, Натка, записку. Я сбегаю в порт на пароход и принесу тебе ту книжку, что ты позабыла.

— Не надо. Мне не к спеху. Потом пойду сама и возьму.

ВЛАДИК *(упрямо)*. Дай записку. Мне все равно надо в город. Может, мне там на почте есть письмо до востребования.

— Что ты городишь? Какие письма до востребования? Ты барышня, что ли!

ВЛАДИК. Все равно надо. Там в санатории живет один знакомый человек, и, может быть, он уже что-нибудь об отце знает.

— В каком санатории?

ВЛАДИК *(замявшись)*. В санатории «Красный... Красный факел», что ли...

НАТКА. Отстань от меня, Владик. Никакого там ни красного, ни синего факела нет. Наверно, какую-нибудь ерунду придумал.

ВЛАДИК. Не дашь?

НАТКА. Не дам.

— Хорошо. Я тогда тебе отплачу тоже..

НАТКА *(усмехнувшись)*. Чем же ты мне отплатишь?

— Я расскажу всем, что ты трус. Я на пристани все слышал. *(Отбегает к двери.)*

НАТКА *(вздрогнула)*. Постой!

Владик скрылся. Натка подошла к окну. Тихо подошел сзади Алька. Тронул Натку за рукав и осторожно спросил, кивнув на дверь, куда выбежал Владик:

— Он тебя обидел?

НАТКА. Да.

АЛЬКА. Ты на него не обращай внимания. Он сегодня злой. Он и мне сейчас что-то обидное крикнул. А я только улыбнулся. Возьми и улыбнись.

— Нет, Алька, я не могу улыбнуться.

— Сама говоришь — не могу, а сама улыбаешься. *(Помолчав.)* Это ты у меня из-под подушки журнал вытащила?

Слышен горн.

НАТКА *(в замешательстве)*. Я.

АЛЬКА. Это вы с папкой сговорились. *(Тихонько смеется.)* Но ты не очень хитрая. Я хитрее. *(Заглянул в окно.)* Идем, это трубят сбор. А хорошая у нас жизнь, Натка. Жаль только, что уже нет мамы.

Идет спешная работа в крепости. Могучий танк почти готов. Эмка гудит в автомобильный гудок. Кругом мусор, щепки, ведро с краской.

АЛЬКА. Неужели докончить сегодня не успеем?

ЭМКА. А мы доделаем завтра.

АЛЬКА. Завтра нельзя. Завтра будет взрыв, и из лагеря никого не выпустят.

ЭМКА. А мы потихонечку, ненадолго.

АЛЬКА. Нет, уж мы лучше как-нибудь у Нины отпросимся. Ее обхитрить легче...

БАРАНКИН *(с негодованием)*. Взялись работать вместе, а Владька пропал! Его-то, положим, не жалко,— колбасу жалко.

ЭМКА. Ничего. Мы какое-нибудь мясо от обеда стянем.

Выходят из крепости. Алька показывает через горы на торчащую скалу.

— Вон там озеро, там папа. То-то завтра грохнет...

Закат. Крепчает ветерок. С большой охапкой разноцветных лент для праздничных костюмов идет Натка.

Ленты трепыхаются, окутывают ее платье и плечи. Поворот. На повороте встреча с Алькиным отцом. Поздоровались.

НАТКА *(показывая на горы)*. У вас все готово?

ГАНИН. Готово. Смотрите, завтра в ту сторону никого из ребят не пускать.

НАТКА. Уже сказано. *(Вынимает из кармана и протягивает ему свернутый в трубку журнал.)* Возьмите.

Идут вместе. Ленты задевают идущего с ней рядом Ганина.

НАТКА *(останавливаясь)*. Мы вас ждем к празднику. Ребята с Алькой что-то готовят.

— Что?

— Не знаю. Говорят, военная тайна.

ГАНИН. Приду.

Разворачивает журнал и с удивлением смотрит на Натку...

Натка не понимает.

КРУПНО. **Журнал, и в нем на месте портрета большая квадратная дыра. Портрет вырезан.**

Сжав кулаки, Владик стоит один у скалы на берегу моря. Неспокойно синее море.

Надпись:

ЗАВТРА ВЗРЫВ. ЗАВТРА ПРАЗДНИК.
ЗАВТРА УХОДИТ В ИСПАНИЮ ПАРОХОД.

Утро. Терраса. Шум, гам, трубят трубачи, бьют барабанщики. Ребята примеряют маскарадные костюмы.

Сидит страшная, носатая рожа бабы-яги. Сняла маску — под ней хорошенькое, улыбающееся личико.

Маленький мальчуган в полной форме генерала с орденами плачет. У него разорван на животе бумажный мундир.

Напротив него стоит, нахохлившись, такой же малыш в форме красного кавалериста с саблей. Это виноват он.

Всплеснув руками, подбежала Нина.

НИНА *(грозно)*. Это что за война?

КАВАЛЕРИСТ *(хмуро)*. А пусть белая банда на нашу территорию не лезет.

НИНА *(хватаясь за саблю)*. Отдай саблю.

КАВАЛЕРИСТ. Красные умирают, но не сдаются.

НИНА. Ну, умирай, пожалуйста.

Кавалерист, не выпуская сабли, падает спиной на пол и в предсмертных судорогах дрыгает ногами.

НИНА *(в ужасе)*. Встань сейчас же, костюм испортишь!

КАВАЛЕРИСТ. Я умер.

Он притих и высунул язык.

Кто-то тронул Нину за плечо. Нина обернулась. «Мертвый» кавалерист подскочил и задал ходу. Перед Ниной Алька. Поодаль Эмка и Баранкин.

НИНА. Что тебе?

АЛЬКА *(хитро и ласково)*. Нина, ведь ты у нас помощница вожатой отряда?

НИНА *(одергиваясь и приободряясь)*. Да, я помощница.

АЛЬКА. Ведь если нам что-нибудь нужно, мы должны у тебя спрашиваться?

НИНА *(гордо)*. Да, конечно, у меня надо спрашиваться. *(С досадой.)* Только у меня никогда никто... *(Спохватилась.)* Да, у меня все всегда спрашиваются.

АЛЬКА. Можно, мы сегодня к празднику чуточку опоздаем? Мы даже не опоздаем, мы придем прямо на площадку.

НИНА. Спросите лучше у Натки.

АЛЬКА. Что же у Натки? Ты ведь и сама начальник.

НИНА *(заколебавшись)*. Я подумаю.

АЛЬКА. Ну, подумай.

НИНА *(подумала)*. Нет, нельзя.

АЛЬКА. Вот и хорошо, что можно. Ах, какой ты замечательный начальник! *(Оборачивается к Баранкину и Эмке.)* Я же говорил, что если попроситься, то пустит А не спросившись, разве уходить можно?

НИНА *(в замешательстве)*. Да, но сегодня из лагеря с шести часов никому отлучаться не велено.

АЛЬКА. Да мы не из лагеря и не с шести. Мы тут .. рядышком... Значит, пустила. *(И, не дождавшись ответа, убегают.)*

Нина одна. Показывает пальцем в сторону убежавших ребят

— Спрашиваются. *(Пауза.)* Значит, авторитет все-таки есть. *(С беспокойством кричит кому-то.)* А где Владик? Куда пропал этот негодный Владик?

Владик. Он неспокоен. Передразнил какого-то маль-

чишку, нырнул в кусты. Подбегает к открытому окну низкого домика. Осторожно заглядывает.

Маленькая канцелярия. Сидит суровая машинистка. Сбоку старый грозный бухгалтер.

Часы показывают без пяти два.

Машинистка говорит нараспев писклявым голосом:

— Уже без пяти два.

Владик осторожно вынимает из окна шпингалет и прячется в кусты.

Часы показывают и бьют два.

Машинистка томно пропела:

— Уж два. Пора обедать.

Тяжело отдуваясь, поднялся бухгалтер. Машинистка закрывает окно. Шпингалета нет. Открывает опять и, перегнувшись, смотрит на землю. Шпингалета нет. Покачала головой. Сердито захлопнула окно.

Бухгалтер и машинистка выходят. Дверь заперли на ключ.

Вылезает Владик. Открыл окно. Влез. Вставил шпингалет. Задернул занавеску. Подошел к машинке. Тронул рычаг. Каретка машинки рванула влево. Вздрогнул Владик. Вставил конверт. Печатает одним пальцем. Вынул конверт и посмотрел.

Капитану Шегалову.

Вставил бумагу. Печатает: *«Дорогой дядя, передай книжку, которую я у тебя позабыла, этому мальчику...»*

Неожиданно звонит телефон. Владик вздрагивает. Телефон звонит снова. Владик, который боится, как бы звонок не услышали снаружи, подходит, снимает трубку и говорит писклявым машинисткиным голосом:

— Я вас слушаю.

Кабинет начальника порта. Трубку держит капитан Шегалов.

— Это кто? Машинистка? Будьте добры, передайте вожатой Шегаловой, что звонил ее дядя. Погрузку кончаем, и пусть она приходит обязательно.

В канцелярии. Владик. Говорит писклявым голосом:

— Хорошо. Я передам.

Вешает трубку. Бросается к машинке и печатает: *«А прийти сегодня, к сожалению, никак не могу. У нас пионерский праздник, и я занята».*

...НАТКА *(говорит Нине)*. Нина, сейчас передали, что взрыв будет не в шесть, а в пять. Предупреди всех. Особенно звено Владика. Ну, что ты на меня глаза вытаращила? Я побегу в штаб лагеря.

Бежит Нина по тропке и кричит:

— Владик!

Остановилась. Попался ей навстречу мальчуган.

НИНА. Ты не видал Владика Дашевского?

МАЛЬЧИШКА. Я с ним не вожусь. Он мне вчера показал фигу.

— Ну, ладно, не водись. Но ты его видел?

— Видел недавно. Вон там.

Нина побежала. Тропка. Кусты. Окно в канцелярию. Нина останавливается и прислушивается. Щелкает машинка. Занавеска задернута.

Нина кричит через окно:

— Марья Петровна, к вам пионер Владик Дашевский не забегал?

Писклявый голос из-за занавески:

— Нет, не забегал. Оставьте меня в покое.

Владик кончает печатать. Прочел. Развернул бумагу, сорванную им со стены возле зоокабинета, подложил копирку и перевел фамилию Натки. Посмотрел. Прищелкнул языком. Положил в конверт. Вылез.

Входят бухгалтер и машинистка. Машинистка идет открыть окно. Увидала, что шпингалет на месте. Лицо ее выражает крайнее недоумение.

Бежит Владик. Выронил письмо. Как коршун, налетела откуда-то сбоку и подхватила письмо Нина.

ВЛАДИК. Отдай сейчас же.

НИНА. Нет. Скажи сначала, где твое звено.

ВЛАДИК *(нетерпеливо)*. Два человека в хоровом кружке. Два в танцевальном.

НИНА. А еще три? Где Алька, Эмка, Баранкин?

ВЛАДИК *(неопределенно крутит рукой)*. Они... они тут!

НИНА *(сердито передразнивая, крутит рукой)*. Тут ничего нет. Сейчас же беги и вызови их на площадку Скоро взрыв. А письмо получишь, только когда с ними вернешься. *(Повернулась и пошла. Самодовольно улыбнулась и сунула письмо в карман.)* Теперь вернется живо!

Злоба и страх перекосили лицо Владика. Вот он что-то придумал и погрозил ей пальцем.

Идет Нина. Навстречу ей попадается малыш. Вплоть до подбородка он нагружен яблоками. Споткнулся. Яблоки рассыпались, раскатились. Подошла Нина. Письмо у нее торчит из кармана. Наклонилась, собирая яблоки. Одно яблоко закатилось под куст, потянулась за ним. Вдруг из-за куста высунулась рука, тихо цапнула у Нины из кармана письмо и исчезла.

Во дворе крепости. Танк движется вперед. Поворачиваются башни с пушками. Алька, Эмка и Баранкин довольны. Вдруг танк остановился и зарычал.

АЛЬКА. Что это? В моторе перебои?

Танк зарычал еще злобнее, подпрыгнул, залаял и бросился к входу. Стоит спиною к стене застигнутый Владик.

ЭМКА *(сердито)*. Ты куда пропал? Где колбаса?

ВЛАДИК. Съел. Уходите отсюда. Зовет Натка.

ЭМКА. А не врешь?

Баранкин привязывает к танку бечевку. Алька поднимает топор. Эмка — молоток... Хотят идти. Оглянулись: Владика нет. Обернулся Алька и видит, что Владик шмыгнул в крепость.

АЛЬКА. Он что-то хитрит! Нам говорит — уходите, а сам прячется.

Баранкин быстро привязывает танк веревкой к кусту у входа. Ребята крадутся за Владиком.

Танк на привязи. Объектив поднимается. Вдалеке видна уже знакомая нам вершина скалы.

Штаб взрыва у озера. Углубление с укрытием для динамо-машины. Горн играет тревогу. Бегут люди. Инженер Ганин подходит к взрывной кнопке.

Владик в башне. Зажег свечу.

Надпись:

БЕЗУМЕЦ, НЕ ПОДНИМАЙ...

Вдруг Владик услышал шум. Задул свечу и, выбежав на свет, в другую комнату, столкнулся с ребятами.

АЛЬКА. Почему же это нам уходить, а сам ты не уходишь?

ВЛАДИК. Не твое дело. Живо отсюда марш! Или я отберу у вас собаку. Она моя.

Подходит к Альке.

АЛЬКА. Врешь! За последние дни ты ее даже не накормил ни разу. Что ты без нас задумал?

Владик сжимает кулаки.

БАРАНКИН *(мрачно Владику)*. Но, но, не лезь! А то я не посмотрю на то, что ты с палкой.

Эмка подскакивает со скрюченными пальцами.

— А я за него царапаться буду.

Владик, отступая, говорит:

— Трое на одного!.. *(Альке.)* Ты трус. А что я задумал, то и сделаю!

Алька презрительно улыбнулся.

Раздается далекий сильный удар. В страхе замерли ребята. Это взрыв.

Дым. Пыль. Рухнула вершина. Упало дерево. На какой-то скале покачнулся и обвалился тяжелый камень. Хлынула вода. Ползет могучий мутный поток.

КРУПНО. **Обернувшись лицом к темному дымному облаку, три девчонки и трое мальчишек звонко трубят в блестящие фанфары победу.**

С треском и блеском разворачивается лагерный праздник...

Песни. Марши. Карнавал. Пляски.

Пришли летчики. Их окружил веселый хоровод. И куда бы смущенные летчики ни двинулись, тесно сомкнувшееся кольцо следует за ними.

В толпе Натка. Натка сегодня приоделась. В волосах у нее цветы.

НАТКА. Но где же Алька?

Идет праздник. На площадке возникают стройные пирамиды.

В уголке две нетерпеливые девчурки-цыганки вот-вот готовы ринуться в пляску.

Спрашивает у них Натка:

— Вы не видали Альку?

ЦЫГАНКИ. Не мешай, не видали.

НАТКА *(мальчугану)*. Беги поищи Альку. Скажи, что вон его отец идет.

МАЛЬЧУГАН *(весело улыбнулся)*. Сейчас найду.

Выскочили в круг и завертелись цыганки.

Кто-то положил на оба плеча тяжелые руки. Пробует Натка обернуться, но не может.

НАТКА *(строго)*. Кто балует?

Шегалов быстро поворачивает ее лицом к себе.

— Я. Приказано утром принять грузу еще пять вагонов. *(Показывает на море.)* Видишь, судно отошло и стоит на рейде.

НАТКА *(поеживишись)*. Дядя, у тебя лапа, как у белого медведя. Ты как сюда догадался прийти?

КАПИТАН ШЕГАЛОВ. Не пришел, а приплыл. Вон уходит мой катер.

НАТКА. Он за тобой вернется?

— Если вызову, то вернется.

— Да... Но как же ты его вызовешь, если твое судно стоит на рейде?

Далеко в море виден корабль.

ШЕГАЛОВ *(с усмешкой)*. Покричать можно. У меня голос *(показывает басом)* ого-го.

Вот показался Сергей Ганин. Бьют и сверкают сильной струей фонтаны. Ганина приветствуют шумными возгласами.

ШЕГАЛОВ *(Натке)*. Это еще что за победитель?

Подошел Ганин к Натке, поздоровался. Взглянул на Шегалова.

Изумленное лицо Ганина, и такое же изумленное у Шегалова. Протянули друг другу руки.

Еще более изумленное лицо Натки.

НАТКА. Но постойте. Где вы уже познакомились?

Одновременно Шегалов показывает на орден Ганина, а Ганин на орден Шегалова.

НАТКА. На фронте? Но чего же вы оба молчите?

ШЕГАЛОВ *(Ганину)*. Киев помнишь?

ГАНИН. Еще бы! *(Шегалову)*. А Одессу помнишь?

ШЕГАЛОВ *(похлопывая себя по загривку)*. Еще бы! А давно ли... *(Задумавшись.)* Нет, давно... *(Недоуменно показывает на танцующих ребят.)*. Новые люди выросли.

ГАНИН. Постой. Я тебе покажу сейчас моего сына. *(Нетерпеливо оборачивается, но Альки нигде не видно.)*

НАТКА *(смущенно)*. Он где-нибудь тут прячется. У них же тайна. Погодите... Я сейчас.

В сторонке мальчуган-генерал под охраной двух конвоиров. Мальчуган-кавалерист обеспокоен.

КАВАЛЕРИСТ. Куда они пропали? Сейчас уже начнется военный парад.

Бежит Натка. По дороге в нее бросили бомбу конфетти. Она сердито отряхнула волосы.

НАТКА. Нина, уже темнеет. Где ребята? Где Алька?

НИНА. Я их ненадолго отпустила. Я послала за ними Владика. Вот и письмо! *(Она сунула руку в пустой карман и разводит руками.)*

— Но куда же ты их отпустила?

— Не знаю! Где же письмо?

На Нину и Натку накидывают ленты серпантина.

Натка сердито рвет ленты и кричит:

— Какое письмо? Как не знаешь? Ты должна знать!

Маленькие танцорки — матрешки и китаянки,— которые, репетируя выступление, плавно покачивались, с недоумением обернулись.

Одна матрешка говорит китаянке:

— А вдруг они убежали смотреть взрывы?

НАТКА *(Нине)*. Отряди человек пять. Найти сейчас же! Что за глупости!

С веселыми лицами нырнули в кусты один гонец, другой, третий.

Идет праздник. Танец матрешек. Танец китаянок. Общий танец.

Сергей и Натка пробираются через толпу. Подбегает гонец. Потом другой.

— Нигде нет.

— Не нашли, Натка.

Натка хмурится. Ударил первый залп ракет

Вдруг шум, крики.

— Это они... это они...

— Нашлись!

Обрадованный Сергей, Натка и Шегалов бросаются к площадке.

Катит, ворочая башнями, танк. Все хохочут.

НАТКА *(Сергею)*. Ну, вот видите, что они придумали.

Вдруг замолкает Натка. Видно, что за танком волочится веревка с обломком ветки.

Танк окружают. Сзади танка большая рваная дыра. Внизу танка красное пятно.

Испуганно говорит китаянка матрешке:

— У танка кровь! Танк ранен!

Подбегает третий гонец.

— Их нигде нет, Натка.

Подбегает горнист.

— Натка, трубить тревогу?

НАТКА. Не надо. Тише. Где начальник лагеря?

С треском взрывается второй залп ракет.

Танцуют в сторонке три девчонки. Рядом малыш-кавалерист и малыш-генерал.

ГЕНЕРАЛ *(в страхе)*. Пропали?

КАВАЛЕРИСТ. Пропали.

Замахивается саблей на танцующих девчонок.

— Стойте, глупые! Чего скачете!

Гаснут в небе ракетные звезды.

Выбегает с фонарем человек. Свернул направо. Выбегает другой. Накинул плащ-дождевик. Свернул налево. Вылетел из ворот один кавалерист, за ним другой. То мелькнет, то спрячется за тучи луна. На море шторм.

Луна озаряет угрюмые развалины крепости и то место, где играли строившие танк ребята. Знакомая ограда. Но низкий вход завален тяжелым камнем. Валяются осколки. Куст, к которому был привязан танк, надломлен. Разбитая надвое вывеска. Остаток надписи: «нковый завод».

Внутри крепости. Перехватив колени руками, сидит и тихо плачет Эмка. Баранкин, топором расширяя узкое окошко бойницы, отбивает по кусочку камешки. Насупившись, стоит Владик и смотрит вверх. Наверху трещина и какая-то дыра. Нависли камни. Посыпалась струйка земли. Все шатко, непрочно и опасно.

АЛЬКА *(подходит к Эмке)*. Ты не бойся. Он пробьет окно, и мы выберемся.

Баранкин с силой бьет по камню, так что отлетают искры. Трах... Топор сломался.

Баранкин с досадой бросил его на землю и пробует просунуться в дыру. Нет, никак. Пробует Владик — застревает.

АЛЬКА. Пустите меня. *(Лезет.)* Если бы еще чуть-чуточку.

Баранкин подымает сломанный топор и неловко бьет по камню.

Старик садовник с фонарем в горах.

Всадник сошел с коня и прислушался.

Сергей и Натка в горах. Рвет волосы ветер.

Бьет по камню Владик. Устал. Бросил. Лезет в дыру Алька. Ура! Пролез.

Обрадованная Эмка кричит в бойницу:

— Беги в лагерь, да поскорее!

Но... Мы видим Альку, стоящего на крохотной площадке над обрывом. По бокам скалы. Внизу море.

Алька попробовал шагнуть по уступу вправо, где скала не так отвесна. С шумом покатились мелкие камушки. Алька отшатнулся к стене и замер.

Опять Алька в крепости.

— Там пропасть. Крутые скалы. Мне не пробраться.

Сидит в уголке и, обхватив колени, тихо плачет Эмка.

Баранкин, тяжело дыша, вытирает совершенно мокрый лоб. Рука его уже перевязана тряпкой. Сыплется сверху земля.

Человек с фонарем встречает капитана Шегалова.

— Что, нет?

— Нет. Не видно и не слышно.

Ночь. Палата. Горит огонек. На цыпочках мечется от окна к окну Нина. Вскакивает спросонья какая-то девчонка. Бормочет:

— Ну, что? Нашли?

Подскочила Нина и поспешно укладывает ее.

— Спи. Спи...

В крепости. Уснули на земле измученные ребятишки. Не спит только Эмка. Она смотрит на Альку. Алька во сне что-то гневно бормочет. Эмка в страхе потянула его за рукав и шепчет:

— Алька, проснись! Ты видишь плохой сон.

Алька приоткрыл глаза и закрыл опять.

Теперь мы видим Алькин сон. Слышна музыка той самой песенки, которую пели когда-то пионеры:

Ты в плену, окончен бой.
Под тюремною стеной
Ходит мрачный часовой.
Стой. Стой. Стой.

Над отверстием бойницы возникает железная решетка:

Стиснув губы, милый брат,
Ты не выдашь свой отряд.

У решетки возникло лицо той самой женщины, портрет которой мы видели в Алькином журнале. Музыка песни идет дальше без слов.

Алькино лицо. По губам видно, что он прошептал «мама».

Опять сон. Песня...

Крикнешь ты врагу в упор,
Что ни пытка, ни топор,
Ни железо и ни кнут
Нас не сломят, не согнут.

Огонь. Взрыв. Решетка исчезла. Из окна открывается вид на светлое, все в солнечных бликах море, на котором стоит удивительный, весь в звездах корабль.

Алька во сне кричит:

— Мама!.. Беги, мама!..

Сон. Голос:

— Беги, Алька, сам... Не бойся...

В страхе дернула Эмка Альку за плечо. Проснулся Алька и быстро спросил:

— Она убежала?

ЭМКА. Кто она?

Опомнился Алька, протер глаза, осмотрелся. Видит он: спят измученные Баранкин и Владик; притихла в уголке Эмка. Постоял Алька и решительно подошел к окну.

ЭМКА. Ты куда?

Горькая улыбка скользнула по Алькиным губам. Он еще раз глянул на своих товарищей и тихонько пробормотал:

Стиснув губы, милый брат,
Ты не выдашь свой отряд.

Обернулся к Эмке.

— Сиди тихо. Не буди их. Я только вылезу и посмотрю...

Алька на крохотной площадке. Теперь лицо его серьезно и сосредоточенно. Осторожно пробирается. Остановился. Перед ним угрюмо темнеют острые скалы.

Надпись:

ВПЕРЕД, ТОВАРИЩ, ПУТЬ ДАЛЕК
ПЕРЕД ТОБОЙ ВО МРАКЕ ЛЕГ.

Теперь в зависимости от рельефа скалы и обстановки в нескольких кадрах мы видим Альку, осторожно пробирающегося по кручам. Часто он останавливается, передыхая, и ждет, когда вынырнет из-за туч луна. Вот он чуть-чуть не сорвался. Удержался за куст.

В крепости. Удар... Упал сверху большой камень, за ним, вздымая пыль, посыпались песок и щебенка.

Вскочили ребята. В страхе жмутся и заглядывают в бойницу. Но темно и ничего не видно.

ЭМКА. Он сорвется! Он погибнет!..

ВЛАДИК. И мы тоже!

Алька поскользнулся и полетел вниз. Но вот он поднялся. Он на берегу. Прихрамывая, пошел он вправо вдоль узкого берега под скалами.

Вот площадка пошире. Здесь навален сухой кустарник. Но встала скала и преградила ему путь. Теперь мы видим, что Алька очутился в ловушке. Он находится как бы в маленькой бухточке с крутыми навесами, и его ниоткуда с берега не видно. Сел и прислонился к стене. Теперь нам видна узкая каменная гряда, которая уходит далеко в море. На конце гряды большой, похожий на островок камень.

Надпись:

СТИСНУВ ГУБЫ, МИЛЫЙ БРАТ,
ТЫ НЕ ВЫДАШЬ СВОЙ ОТРЯД.

Подняв на плечо перевязанную ремешком охапку хвороста, Алька по пояс в воде пробирается от камня к камню. Шатается. Остановился у одного камня и опустил голову.

*

Штаб лагеря. Телефон. Кто-то вызывает.

— Плотина. Ну что? *(Положил трубку и качает головой.)*

Топот. Подскакал к воротам отряд конной милиции.

...Сергей и Натка. Остановились. В глубоком отчаянии опустила Натка голову и села на камень. Ганин отошел. Сидит Натка, опустив голову, и ничего не видит. А между тем далеко внизу вспыхнула маленькая светящаяся точка. Вот она заблестела ярко, ярче... Натка открыла глаза. Вдруг она увидела и вскрикнула:

— Огонь! Кто-то внизу зажег огонь!

Смотрит Ганин в бинокль. Но пока видно только слабо полыхающее пламя костра.

Бросаются вперед. Где-то бегут, где-то карабкаются. Стоп. Под ногами обрыв. Теперь в бинокль хорошо виден костер на камне и возле костра чей-то силуэт.

ГАНИН. Это Алька. Это он зажег костер. Стойте здесь. А я назад за лодкой.

Он исчезает.

Измученный Алька лежит у костра. Дышит тяжело. Костер еле горит. Алька понемногу подкидывает маленькие щепочки. Вот он вынул из бокового кармана и бросил в костер карандаш. Посмотрел, подумал и бросил спичечную коробку. Ярко вспыхнула коробка. Развернул Алька какую-то бумагу. Смотрит. На нем уже знакомый нам вырезанный из журнала портрет темноволосой молодой женщины. Алька бормочет:

— И ей тоже было нелегко.

Бросаются к лодке рыбаки. Среди них Алькин отец. Но мешают спустить лодку волны.

Небо. Огромная туча быстро надвигается на луну.

Лодку опрокинуло.

Тухнет костер. Он горит совсем уже слабо. Натка с тревогой смотрит на исчезающую луну.

КРУПНО: **Ее взволнованное лицо.**

Совсем чуть-чуть мерцает костер.

Натка кричит гневно:

— Я прыгну с самолета хоть тысячу раз!

Подбежала к обрыву и бросилась вниз в воду.

Плывет Натка. Небо. Последний проблеск луны. Навалилась туча. Тьма.

Опять рыбаки пробуют столкнуть в море лодку. Не выходит. Вдруг на уступе над берегом взмахнули и заметались огни.

Стоит капитан Шегалов и подает факелами по семафору сигналы.

В той стороне, куда он смотрит, тьма и лишь чуть видны судовые огни.

Быстро мелькает огненный семафор. Тьма.

Вдруг яркой вспышкой ослепил и начал точками-тире отвечать прожектор.

Шегалов кричит вниз огромной силы голосом:

— Эй, на берегу! Спокойнее! Сейчас придет катер!

Лежит Алька. Вспыхнула в костре последний раз какая-то веточка. Алька лежит с закрытыми глазами. Вылезла на камень и подошла к нему Натка. Алька открыл глаза. Увидал ее. Обессиленный и усталый, но так же, как всегда (это я подчеркиваю), он улыбнулся и спросил:

— Это ты за мной приплыла? *(Пауза.)* Мы все целы, но они там.

Показывает на скалу. Костер тухнет. Тьма.

Мчится по волнам моторная лодка. В лодке фонари. Ганин, матросы. Глядят на берег люди, но кругом темно.

ВСТАВШИЙ ШЕГАЛОВ *(Ганину)*. Где же огонь? Может быть, это были ваши с фонарями?

ГАНИН. Нет, это был костер.

КАПИТАН ШЕГАЛОВ *(рулевому)*. Держи левее, здесь опасно. *(Глядит на небо.)* Проклятая темнота!

Вдруг совсем недалеко ярко вспыхивает огонь.

Камень на море. Натка бросает в костер целые кипы хвороста. Рвет ветер. Натка с Алькой в свете пламени смотрят на подплывающую лодку.

Обратный путь. Ганин держит Альку. Прижалась к нему продрогшая, мокрая Натка. Вышла луна. Проплывают под скалой, с которой бросилась Натка. Сергей Ганин посмотрел на скалу. Перевел взгляд на Натку.

Капитан Шегалов усмехнулся.

— Что и говорить. Прыжок был смелый!

Дымные факелы. С топорами и ломами рабочие разваливают вход в крепость. Среди них Алькин отец.

Ночь. Палата. Мечется от окна к окну Нина. Мелькают вдалеке светлые точки.

Вскакивает девчонка и спросонья бормочет:

— Ну, что? Нашли?

Подбежала Нина. Она и смеется и плачет:

— Да, нашли, нашли! Ну спи же, спи!..

Утро. По коридору целыми ватагами носятся ребята. Все возбуждены. Всех разбирает любопытство. Один другому:

— Их нашли под землею? Они там искали клад?

— Нет, их нашли в башне. И никакого клада они не искали.

— А что?

— А то...

Окружили Баранкина. Баранкин сконфуженно отмахивается. Кто-то из ребят у него спрашивает:

— Нет, ты расскажи, там было интересно?

ЭМКА *(сердито)*. Сядь сам, тогда узнаешь, как интересно.

Слышна команда:

— Становись на линейку!

Рабочие с ломами сидят у входа в крепость и перекуривают.

Линейка. Идет Натка. С нею Алька. Рука у него на перевязи.

Ребятишки кричат «ура» и хлопают в ладоши. Выскочила из строя и заскакала обрадованная Эмка.

Подбежала Нина, сунула Эмку в строй. Эмка скачет и в строю.

Рабочие у крепости поднимаются и берутся за лопаты.

ПЕРВЫЙ. Ну, давайте начинаем.

ВТОРОЙ. Постойте, надо посмотреть, не забыли ли мы чего внутри.

Лезет в дыру.

Линейка. Заканчивает Натка:

— ...Так что вы теперь сами видите, как плохо могло бы окончиться это дело. А пока забудем о нем. Сегодня уходит с подарками испанским детям наш пароход, и начальник лагеря разрешил идти нам его провожать.

Владик крикнул из строя:

— Но разве он не ушел еще вчера?
— Нет, задержалась погрузка.

Терраса. Владик подходит к Натке. В руках у него книга.

ВЛАДИК. Я не пойду в порт.
— Почему?
— После вчерашнего я себя плохо чувствую.
— Но что ты один будешь делать?
— Я лягу и буду читать.

НАТКА *(подумав)*. Ну, читай.

Владик под кустом лежит и читает.

Ребята надевают сандалии. В руках у них панамы и палочки.

МАЛЬЧУГАН *(обращаясь к Нине)*. Нина, можно, я пока сбегаю к фонтану?

НИНА. Нет, нельзя, никуда нельзя.

ДРУГОЙ. Нина, можно, я сбегаю поищу себе палку?

НИНА *(с отчаянием, оглядываясь)*. Ой, где Натка? Нет, нельзя, никуда нельзя.

Подлетает Эмка:
— Нина, можно, я тебя поцелую?

НИНА *(кричит)*. Нет, нельзя, нельзя, нельзя!.. *(Пауза.)* Можно. *(Усмехнувшись.)* Однако придется мне подать рапорт об отставке. Сердце у меня мягкое, неавторитетное...

Читает Владик книгу.

КРУПНО: **Теперь мы видим, что Владик ничего не читает, а глаза его бегают. Вот он сунул книгу и шмыгнул в кусты.**

Пробирается к крепости. Стоп. Пусто. Вход наглухо завален. Владик плюнул.

Отряд строится. В сторонке Сергей и Натка.

НАТКА. Вы с нами идете? Это хорошо, вы мне будете нужны.

ГАНИН. И вы мне тоже. Я вам должен что-то сказать.

НАТКА *(весело командует)*. Напра-во! Шагом!..

Из-за кустов выходит рабочий и идет прямо к Натке. В руках у него сумка.

НАТКА. Это что такое? *(Командует отряду.)* Отставить.

РАБОЧИЙ. Не знаю. Нашли в крепости.

Натка достает колбасу, достает буханку, достает письмо, увидала адрес: «Капитану Шегалову». Удивилась, распечатала. Нахмурилась.

— Глупый! Испанские дети едут оттуда к нам, а он задумал бежать в Испанию. *(Командует.)* Шагом... марш!..

С песней о юном барабанщике отряд дружно зашагал по дороге.

Но вот крик:

— Почтальон идет, почтальон!

Отряд остановился. Берет Натка у почтальона письма.

— Не разбегаться. Письма я раздам на месте.

Заглянула ей Нина через плечо. Обернулась к ребятам и говорит:

— Владику Дашевскому письмо. А он-то с нами и не пошел.

В порту идет митинг. Толпа. Грузятся последние ящики с надписями: «Масло, яйца, колбаса». Опускается огромный крюк на стальном тросе. Снизу кричат:

— Все!.. Конец!..

Подбегает девчурка и вешает на огромный крюк маленькую куколку, которая держит в руках красный флаг. *(Смех.)*

Команда:

— Вира помалу!

Огромный крюк взметнул куклу вверх, повернулся тяжелый кран и опустил куклу на руки капитану.

Гремит музыка. Капитан идет на мостик. Третий гудок.

Вбегает запыхавшийся Владик.

НАТКА. Почему же ты не остался читать книгу?

ВЛАДИК. Раздумал. *(Хочет отойти.)*

НАТКА. Стой здесь.

— Почему здесь?

— Стой здесь, Владик. Мы уже все знаем. Возьми... Тебе от отца письмо.

Музыка. Крики «ура».

Жадно читает Владик письмо. Улыбнулся. Поднял голову. Трап уже убрали. Смотрит на фотографию, вложенную в письмо.

КРУПНО. **Отец Владика в форме солдата республиканской армии.**

Отряд.

НАТКА *(Владику)*. Так твой отец уже не в плену?

ВЛАДИК. Нет. Его отбили, и он уже в польско-итальянском антифашистском батальоне.

НАТКА. Отец твой жив, а корабль ушел, и никуда тебе бежать не надо. Живи с нами.

ЧЕЙ-ТО ГОЛОС. И не задавайся.

ВЛАДИК *(гневно)*. Кто говорит «не задавайся»? У меня отец — герой, а у тебя кто? *(Увидал Альку.)* А ты что нахмурился? Ну, говори?

Алька резко протягивает ему уже знакомую нам фотографию.

Теперь можно уже наконец разобрать как следует лицо этой молодой смуглой женщины с распущенными косами.

Подпись:

Марица Маргулис, болгарская коммунистка. Присужденная к вечной каторге, она дважды бежала из крепости. Три года тому назад она снова была схвачена и после тяжелой пытки убита.

Алька смотрит в лицо Владику и говорит ему:

— Это моя мама.

Владик отвернулся.

НАТКА *(Владику)*. Ты слишком часто думаешь только о себе, Владик. Настоящие герои так ли делают? Посмотри хотя бы на Альку.

ВЛАДИК. Что же на Альку? Ты-то на себя посмотри. А ты смелая?

НАТКА. Да.

ВЛАДИК. Это неправда.

НАТКА. Ты уже опоздал, Владик. Теперь — правда. *(Оборачивается к Нине.)* Нина, я оставляю с собой Владика и Альку. А отряд ты отведешь в лагерь сама.

НИНА *(испуганно)*. Ой, Натка! Но я же хотела подавать в отставку!

Аэродром. В строю парашютисты. Среди них Натка. Сбоку Ганин, Алька и Владик.

ИНСТРУКТОР. Следующий прыгает Попов, потом пойдет Шегалова.

Небо. Самолет. Точка. Купол.

ИНСТРУКТОР. Шегалова, ты не волнуешься?

Гордо качнула головой Натка.

Снизился самолет. Вошла Натка в кабину. Разбежался и улетел самолет.

Ганин, Алька и Владик смотрят.

Кружит самолет. Точка. Купол.

АЛЬКА *(задумчиво)*. Прыгнула. *(Повернулся к отцу.)* Я ее что-то очень люблю, папа.

Бегут ей навстречу. Окружили.

Натка и Ганин. Ганин крепко сжимает ей руку.

НАТКА. Вы, кажется, хотели мне что-то сказать?

ГАНИН *(обернувшись на ребят)*. Потом... Не сейчас...

НАТКА. Это тайна?

ГАНИН. Тайна.

НАТКА *(лукаво улыбнувшись)*. Военная?

ГАНИН. Нет.

Режет волны большой пароход.

КРУПНО: **Раскачивается на ветру, взмахивая флагом, маленькая кукла.**

Скала. На скале, провожая уходящий пароход, стоят и машут руками ребятишки.

Три девчонки, трое мальчишек, высоко подняв блестящие фанфары, трубят победу.

НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ[1]

Больше всего я не хотел бы, чтобы переигрывали. Слащавость может испортить все.

Это особенно относится к Натке и Альке.

АЛЬКА — правдивый, нервный, но сдержанный ребенок. Говорит он несколько медленно, причем всегда смотрит прямо в глаза. Задает ли он вопрос, отвечает ли — он всегда уверен, что так надо.

В нем нет самоуверенности Владика. Но он ребенок гордый, в хорошем, советском понимании этого слова.

ВЛАДИК — этот несколько заносчив, самоуверен, находчив; он привык командовать, что ему, однако, не

[1] В папке, где был найден сценарий, лежала и еще одна страница: советы А. Гайдара режиссеру-постановщику.

всегда удается. Владик говорит с легким польским акцентом, главным образом не всегда на месте делая ударения.

БАРАНКИН — хороший крепыш. Работник. Изобретатель. Он не очень разговорчив, добродушен, любопытен.

ЭМКА — веселая попрыгунья, башкирка. Быстро ссорится и мирится. Когда она привяжется, от нее нелегко отстать. Она плохо говорит по-русски, но это ее нисколько не смущает.

Она твердо уверена в том, что Советская власть создана для того, чтобы всем ребятам, в том числе и ей, можно было побольше играть и повеселее баловаться.

ГАНИН СЕРГЕЙ — человек с орденом. На левом виске шрам. У него большая выдержка. С Алькой он держится, как с равным. Вообще у них с Алькой есть в характере черты сходные. Но улыбка у них разная.

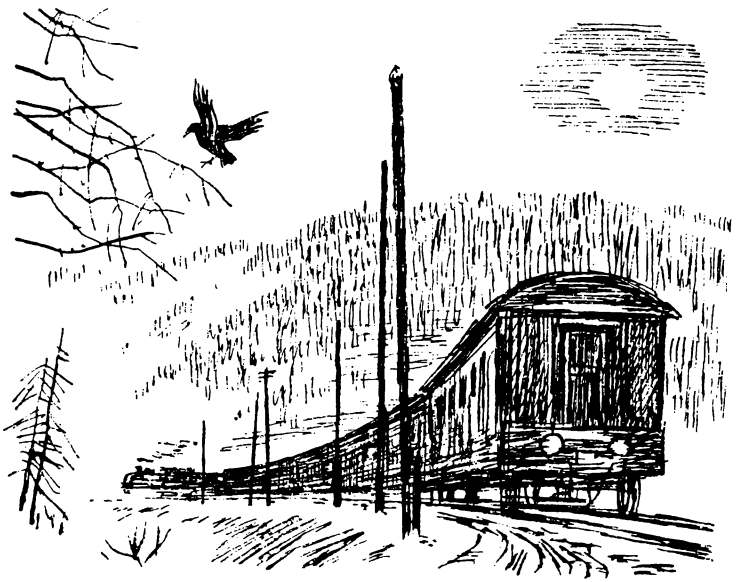
НАТКА ШЕГАЛОВА — только что выросла. Человек она умный. У нее есть чувство легкой иронии, и оно проявляется не только по отношению к другим (что встречается часто), но и к самой себе.

Она культурная советская девушка — такая, каких сейчас еще не так уж много, но зато через три-четыре года будет уйма.

НИНА — угловатый подросток. Она сама еще пионерка. Очень не прочь сама побегать и побаловаться, но, вспомнив о своем «начальственном» положении, принимает важный вид. Ее любят, но слушаются не очень.

Остальные фигуры — эпизодические.

1937—1938



ЧУК И ГЕК

Жил человек в лесу возле Синих гор. Он много работал, а работы не убавлялось, и ему нельзя было уехать домой в отпуск.

Наконец, когда наступила зима, он совсем заскучал, попросил разрешения у начальников и послал своей жене письмо, чтобы она приезжала вместе с ребятишками к нему в гости.

Ребятишек у него было двое — Чук и Гек.

А жили они с матерью в далеком огромном городе, лучше которого и нет на свете.

Днем и ночью сверкали над башнями этого города красные звезды.

И, конечно, этот город назывался Москва.

Как раз в то время, когда почтальон с письмом поднимался по лестнице, у Чука с Геком был бой. Короче говоря, они просто выли и дрались.

Из-за чего началась эта драка, я уже позабыл. Но помнится мне, что или Чук стащил у Гека пустую спичечную коробку, или, наоборот, Гек стянул у Чука жестянку из-под ваксы.

Только что оба эти брата, стукнув по разу друг друга кулаками, собирались стукнуть по второму, как загремел звонок, и они с тревогой переглянулись. Они подумали, что пришла их мама! А у этой мамы был странный характер. Она не ругалась за драку, не кричала, а просто разводила драчунов по разным комнатам и целый час, а то и два не позволяла им играть вместе. А в одном часе — тик да так — целых шестьдесят минут. А в двух часах и того больше.

Вот почему оба брата мигом вытерли слезы и бросились открывать дверь.

Но, оказывается, это была не мать, а почтальон, который принес письмо.

Тогда они закричали:

— Это письмо от папы! Да, да, от папы! И он, наверное, скоро приедет.

Тут, на радостях, они стали скакать, прыгать и кувыркаться по пружинному дивану. Потому что хотя Москва и самый замечательный город, но когда папа вот уже целый год как не был дома, то и в Москве может стать скучно.

И так они развеселились, что не заметили, как вошла их мать.

Она очень удивилась, увидав, что оба ее прекрасных сына, лежа на спинах, орут и колотят каблуками по стене, да так здóрово, что трясутся картины над диваном и гудит пружина стенных часов.

Но когда мать узнала, отчего такая радость, то сыновей не заругала.

Она только турнула их с дивана.

Кое-как сбросила она шубку и схватила письмо, даже не стряхнув с волос снежинок, которые теперь растаяли и сверкали, как искры, над ее темными бровями.

Всем известно, что письма бывают веселые или печальные, и поэтому, пока мать читала, Чук и Гек внимательно следили за ее лицом.

Сначала мать нахмурилась, и они нахмурились тоже. Но потом она заулыбалась, и они решили, что это письмо веселое.

— Отец не приедет,— откладывая письмо, сказала мать.— У него еще много работы, и его в Москву не отпускают.

Обманутые Чук и Гек растерянно глянули друг на друга. Письмо оказалось самым что ни на есть распечальным.

Они разом надулись, засопели и сердито посмотрели на мать, которая неизвестно чему улыбалась.

— Он не приедет,— продолжала мать,— но он зовет нас всех к себе в гости.

Чук и Гек спрыгнули с дивана.

— Он чудак человек,— вздохнула мать.— Хорошо сказать — в гости! Будто бы это сел на трамвай и поехал...

— Да, да,— быстро подхватил Чук,— раз он зовет, так мы сядем и поедем.

— Ты глупый,— сказала мать.— Туда ехать тысячу и еще тысячу километров поездом. А потом в санях лошадьми через тайгу. А в тайге наткнешься на волка или на медведя. И что это за странная затея! Вы только подумайте сами!

— Гей-гей! — Чук и Гек не думали и полсекунды, а в один голос заявили, что они решили ехать не только тысячу, а даже сто тысяч километров. Им ничего не страшно. Они храбрые. И это они вчера прогнали камнями заскочившую во двор чужую собаку.

И так они говорили долго, размахивали руками, притопывали, подпрыгивали, а мать сидела молча, все их слушала, слушала. Наконец рассмеялась, схватила обоих на руки, завертела и свалила на диван.

Знайте, она давно уже ждала такого письма, и это она только нарочно поддразнивала Чука и Гека, потому что веселый у нее был характер.

Прошла целая неделя, прежде чем мать собрала их в дорогу. Чук и Гек времени даром не теряли тоже. Чук смастерил себе кинжал из кухонного ножика, а Гек разыскал себе гладкую палку, забил в нее гвоздь, и получилась пика, до того крепкая, что если бы чем-нибудь проколоть шкуру медведя, а потом ткнуть этой пикой в сердце, то, конечно, медведь сдох бы сразу.

Наконец все дела были закончены. Уже запаковали багаж. Приделали второй замок к двери, чтобы не обокрали квартиру воры. Вытряхнули из шкафа остатки хлеба, муки и крупы, чтобы не развелись мыши. И вот мать уехала на вокзал покупать билеты на вечерний завтрашний поезд.

Но тут без нее у Чука с Геком получилась ссора.

Ах, если бы только знали они, до какой беды доведет их эта ссора, то ни за что бы в этот день они не поссорились!

У запасливого Чука была плоская металлическая коробочка, в которой он хранил серебряные бумажки от чая, конфетные обертки (если там был нарисован танк, самолет или красноармеец), галчиные перья для стрел, конский волос для китайского фокуса и еще всякие очень нужные вещи.

У Гека такой коробочки не было. Да и вообще Гек был разиня, но зато он умел петь песни.

И вот как раз в то время, когда Чук шел доставать из укромного места свою драгоценную коробочку, а Гек в комнате пел песни, вошел почтальон и передал Чуку телеграмму для матери.

Чук спрятал телеграмму в свою коробочку и пошел узнать, почему это Гек уже не поет песни, а кричит:

Р-ра! Р-ра! Ура!
Эй! Бей! Турумбей!

Чук с любопытством приоткрыл дверь и увидел такой «турумбей», что от злости у него затряслись руки.

Посреди комнаты стоял стул, и на спинке его висела вся истыканная пикой, разлохмаченная газета. И это ничего. Но проклятый Гек, вообразив, что перед ним туша медведя, яростно тыкал пикой в желтую картонку из-под маминых ботинок. А в картонке у Чука хранилась сигнальная жестяная дудка, три цветных значка от Октябрьских праздников и деньги — сорок шесть копеек, которые он не истратил, как Гек, на разные глупости, а запасливо приберег в дальнюю дорогу.

И, увидав продырявленную картонку, Чук вырвал у Гека пику, переломил ее о колено и швырнул на пол.

Но, как ястреб, налетел Гек на Чука и выхватил у него из рук металлическую коробку. Одним махом взле-

тел на подоконник и выкинул коробку через открытую форточку.

Громко завопил оскорбленный Чук и с криком: «Телеграмма! Телеграмма!» — в одном пальто, без калош и шапки, выскочил за дверь.

Почуяв неладное, вслед за Чуком понесся Гек.

Но напрасно искали они металлическую коробочку, в которой лежала еще никем не прочитанная телеграмма.

То ли она попала в сугроб и теперь лежала глубоко под снегом, то ли она упала на тропку и ее утянул какой-либо прохожий, но, так или иначе, вместе со всем добром и нераспечатанной телеграммой коробка навеки пропала.

Вернувшись домой, Чук и Гек долго молчали. Они уже помирились, так как знали, что попадет им от матери обоим. Но так как Чук был на целый год старше Гека, то, опасаясь, как бы ему не попало больше, он придумал:

— Знаешь, Гек: а что, если мы маме про телеграмму ничего не скажем? Подумаешь — телеграмма! Нам и без телеграммы весело.

— Врать нельзя,— вздохнул Гек.— Мама за вранье всегда еще хуже сердится.

— А мы не будем врать! — радостно воскликнул Чук.— Если она спросит, где телеграмма,— мы скажем. Если же не спросит, то зачем нам вперед выскакивать? Мы не выскочки.

— Ладно,— согласился Гек.— Если врать не надо, то так и сделаем. Это ты хорошо, Чук, придумал.

И только что они на этом порешили, как вошла мать. Она была довольна, потому что достала хорошие билеты на поезд, но все же она сразу заметила, что у ее дорогих сыновей лица печальны, а глаза заплаканы.

— Отвечайте, граждане,— отряхиваясь от снега, спросила мать,— из-за чего без меня была драка?

— Драки не было,— отказался Чук.

— Не было,— подтвердил Гек.— Мы только хотели подраться, да сразу раздумали.

— Очень я люблю такое раздумье,— сказала мать.

Она разделась, села на диван и показала им твердые зеленые билеты: один билет большой, а два маленьких. Вскоре они поужинали, а потом утих стук, погас свет, и все уснули.

А про телеграмму мать ничего не знала, поэтому, конечно, ничего не спросила.

Назавтра они уехали. Но так как поезд уходил очень поздно, то сквозь черные окна Чук и Гек при отъезде ничего интересного не увидели.

Ночью Гек проснулся, чтобы напиться. Лампочка на потолке была потушена, однако все вокруг Гека было озарено голубым светом: и вздрагивающий стакан на покрытом салфеткой столике, и желтый апельсин, который казался теперь зеленоватым, и лицо мамы, которая, покачиваясь, спала крепко-крепко. Через снежное узорное окно вагона Гек увидел луну, да такую огромную, какой в Москве и не бывает. И тогда он решил, что поезд уже мчится по высоким горам, откуда до луны ближе.

Он растолкал маму и попросил напиться. Но пить ему она по одной причине не дала, а велела отломить и съесть дольку апельсина.

Гек обиделся, дольку отломил, но спать ему уже не захотелось. Он потолкал Чука — не проснется ли. Чук сердито фыркнул и не просыпался.

Тогда Гек надел валенки, приоткрыл дверь и вышел в коридор.

Коридор вагона был узкий и длинный. Возле наружной стены его были приделаны складные скамейки, которые сами с треском захлопывались, если с них слезешь. Сюда же, в коридор, выходило еще десять дверей. И все двери были блестящие, красные, с желтыми золочеными ручками.

Гек посидел на одной скамейке, потом на другой, на третьей и так добрался почти до конца вагона. Но тут прошел проводник с фонарем и пристыдил Гека, что люди спят, а он скамейками хлопает.

Проводник ушел, а Гек поспешно направился к себе в купе. Он с трудом приоткрыл дверь. Осторожно, чтобы не разбудить маму, закрыл и кинулся на мягкую постель.

А так как толстый Чук развалился во всю ширь, то Гек бесцеремонно ткнул его кулаком, чтобы тот подвинулся.

Но тут случилось нечто страшное: вместо белобрысого, круглоголового Чука на Гека глянуло сердитое усатое лицо какого-то дядьки, который строго спросил:

— Это кто же здесь толкается?

Тогда Гек завопил что было мочи. Перепуганные пассажиры повскакали со всех полок, вспыхнул свет, и, увидав, что он попал не в свое купе, а в чужое, Гек заорал еще громче.

Но все люди быстро поняли, в чем дело, и стали смеяться. Усатый дядька надел брюки, военную гимнастерку и отвел Гека на место.

Гек проскользнул под свое одеяло и притих. Вагон покачивало, шумел ветер.

Невиданная огромная луна опять озаряла голубым светом вздрагивающий стакан, оранжевый апельсин на белой салфетке и лицо матери, которая во сне чему-то улыбалась и совсем не знала, какая беда приключилась с ее сыном.

Наконец заснул и Гек.

...И снился Геку странный сон:
Как будто ожил весь вагон,
Как будто слышны голоса
От колеса до колеса.
Бегут вагоны — длинный ряд —
И с паровозом говорят.

Первый. Вперед, товарищ! Путь далек
Перед тобой во мраке лег.

Второй. Светите ярче, фонари,
До самой утренней зари!

Третий. Гори, огонь! Труби, гудок!
Крутись, колеса, на Восток!

Четвертый. Тогда закончим разговор,
Когда домчим до Синих гор.

Когда Гек проснулся, колеса, уже без всяких разговоров, мерно постукивали под полом вагона. Сквозь морозные окна светило солнце. Постели были заправлены. Умытый Чук грыз яблоко. А мама и усатый военный против распахнутых дверей хохотали над ночными похождениями Гека. Чук сразу же показал Геку карандаш с наконечником из желтого патрона, который он получил в подарок от военного.

Но Гек до вещей был не завистлив и не жаден. Он, конечно, был растеря и разиня. Мало того, что он ночью забрался в чужое купе,— вот и сейчас он не мог вспом-

нить, куда засунул свои брюки. Но зато Гек умел петь песни.

Умывшись и поздоровавшись с мамой, он прижался лбом к холодному стеклу и стал смотреть, что это за край, как здесь живут и что делают люди.

И пока Чук ходил от дверей к дверям и знакомился с пассажирами, которые охотно дарили ему всякую ерунду — кто резиновую пробку, кто гвоздь, кто кусок крученой бечевки,— Гек за это время увидел через окно немало.

Вот лесной домик. В огромных валенках, в одной рубашке и с кошкой в руках выскочил на крыльцо мальчишка. Трах! — кошка кувырком полетела в пушистый сугроб и, неловко карабкаясь, запрыгала по рыхлому снегу. Интересно, за что это он ее бросил? Вероятно, что-нибудь со стола стянула.

Но уже нет ни домика, ни мальчишки, ни кошки — стоит в поле завод. Поле белое, трубы красные. Дым черный, а свет желтый. Интересно, что на этом заводе делают? Вот будка, и, укутанный в тулуп, стоит часовой. Часовой в тулупе огромный, широкий, и винтовка его кажется тоненькой, как соломинка. Однако попробуй-ка, сунься!

Потом пошел танцевать лес. Деревья, что были поближе, прыгали быстро, а дальние двигались медленно, как будто их тихо кружила славная снежная река.

Гек окликнул Чука, который возвращался в купе с богатой добычей, и они стали смотреть вместе.

Встречались на пути станции большие, светлые, на которых шипело и пыхтело сразу штук по сто паровозов; встречались станции и совсем крохотные — ну, право, не больше того продуктового ларька, что торговал разной мелочью на углу возле их московского дома.

Проносились навстречу поезда, груженные рудой, углем и громадными, толщиной в полвагона, бревнами.

Нагнали они эшелон с быками и коровами. Паровозишко у этого эшелона был невзрачный, и гудок у него тонкий, писклявый, а тут как один бык рявкнул: му-у!.. Даже машинист обернулся и, наверное, подумал, что это его большой паровоз нагоняет.

А на одном разъезде бок о бок остановились они рядом с могучим железным бронепоездом. Грозно торчали из башен укутанные брезентом орудия. Красноармейцы весело топали, смеялись и, хлопая варежками, отогревали руки.

Но один человек в кожанке стоял возле бронепоезда молчалив и задумчив. И Чук с Геком решили, что это, конечно, командир, который стоит и ожидает, не придет ли приказ от Ворошилова открыть против врагов бой.

Да, немало всякого они за дорогу повидали. Жаль только, что на дворе бушевали метели и окна вагона часто бывали наглухо залеплены снегом.

И вот наконец утром поезд подкатил к маленькой станции.

Только-только мать успела ссадить Чука с Геком и принять от военного вещи, как поезд умчался.

Чемоданы были свалены на снег. Деревянная платформа вскоре опустела, а отец встречать так и не вышел.

Тогда мать на отца рассердилась и, оставив детей караулить вещи, пошла к ямщикам узнавать, какие за ними отец прислал сани, потому что до того места, где он жил, оставалось ехать еще километров сто тайгою.

Мать ходила очень долго, а тут еще неподалеку появился страшенный козел. Сначала он глодал кору с замороженного бревна, но потом противно мемекнул и что-то очень пристально стал на Чука с Геком поглядывать.

Тогда Чук и Гек поспешно укрылись за чемоданами, потому что кто его знает, что в этих краях козлам надо.

Но вот вернулась мать. Она была совсем опечалена и объяснила, что, вероятно, отец телеграмму о их выезде не получил и поэтому лошадей на станцию он за ними не прислал.

Тогда они позвали ямщика. Ямщик длинным кнутом огрел козла по спине, забрал вещи и понес их в буфет вокзала.

Буфет был маленький. За стойкой пыхтел толстый, ростом с Чука, самовар. Он дрожал, гудел, и густой пар его, как облако, поднимался к бревенчатому потолку, под которым чирикали залетевшие погреться воробьи.

Пока Чук с Геком пили чай, мать торговалась с ямщиком: сколько он возьмет, чтобы довезти их в лес до места. Ямщик просил очень много — целых сто рублей. Да и то сказать: дорога и на самом деле была не ближняя. Наконец они договорились, и ямщик побежал домой за хлебом, за сеном и за теплыми тулупами.

— Отец и не знает, что мы уже приехали,— сказала мать.— То-то он удивится и обрадуется!

— Да, он обрадуется,— прихлебывая чай, важно подтвердил Чук.— И я удивлюсь и обрадуюсь тоже.

— И я тоже,— согласился Гек.— Мы подъедем тихонько, и если папа куда-нибудь вышел из дома, то мы чемоданы спрячем, а сами залезем под кровать. Вот он приходит. Сел. Задумался. А мы молчим, молчим, да вдруг как завоем!

— Я под кровать не полезу,— отказалась мать,— и выть не буду тоже. Лезьте и войте сами... Зачем ты, Чук, сахар в карман прячешь? И так у тебя карманы полны, как мусорный ящик.

— Я лошадей кормить буду,— спокойно объяснил Чук.— Забирай, Гек, и ты кусок ватрушки. А то у тебя никогда ничего нет. Только и знаешь у меня выпрашивать!

Вскоре пришел ямщик. Уложили в широкие сани багаж, взбили сено, укутались одеялами, тулупами.

Прощайте, большие города, заводы, станции, деревни, поселки! Теперь впереди только лес, горы и опять густой, темный лес.

...Почти до сумерек, охая, ахая и дивясь на дремучую тайгу, они проехали незаметно. Но вот Чуку, которому из-за спины ямщика плохо была видна дорога, стало скучно. Он попросил у матери пирожка или булки. Но ни пирожка, ни булки мать ему, конечно, не дала. Тогда он насупился и от нечего делать стал толкать Гека и отжимать его к краю.

Сначала Гек терпеливо отпихивался. Потом вспылил и плюнул на Чука. Чук обозлился и кинулся в драку. Но так как руки их были стянуты тяжелыми меховыми тулупами, то они ничего не могли поделать, кроме как стукать друг друга укутанными в башлыки лбами.

Посмотрела на них мать и рассмеялась. А тут ямщик ударил кнутом по коням — и рванули кони. Выскочили на дорогу и затанцевали два белых пушистых зайца. Ямщик закричал:

— Эй, эй! Ого-го!.. Берегись: задавим!

Весело умчались в лес озорные зайцы. Дул в лицо свежий ветер. И, поневоле прижавшись друг к другу, Чук и Гек помчались в санях под гору навстречу тайге и навстречу луне, которая медленно выползала из-за уже недалеких Синих гор.

Но вот безо всякой команды кони стали возле маленькой, занесенной снегом избушки.

— Здесь ночуем, — сказал ямщик, соскакивая в снег.— Это наша станция.

Избушка была маленькая, но крепкая. Людей в ней не было.

Быстро вскипятил ямщик чайник; принесли из саней сумку с продуктами.

Колбаса до того замерзла и затвердела, что ею можно было забивать гвозди. Колбасу ошпарили кипятком, а куски хлеба положили на горячую плиту.

За печкой Чук нашел какую-то кривую пружину, и ямщик сказал ему, что это пружина от капкана, которым ловят всякого зверя. Пружина была ржавая и валялась без дела. Это Чук сообразил сразу.

Попили чаю, поели и легли спать. У стены стояла широкая деревянная кровать. Вместо матраца на ней были навалены сухие листья.

Гек не любил спать ни у стены, ни посредине. Он любил спать с краю. И хотя еще с раннего детства он слыхал песню «Баю-баюшки-баю, не ложися на краю», Гек все равно всегда спал с краю.

Если же его клали в середку, то во сне он сбрасывал со всех одеяла, отбивался локтями и толкал Чука в живот коленом.

Не раздеваясь и укрывшись тулупами, они улеглись: Чук у стенки, мать посредине, а Гек с краю.

Ямщик потушил свечку и полез на печь. Разом все уснули. Но, конечно, как и всегда, ночью Геку захотелось пить, и он проснулся.

В полудреме он надел валенки, добрался до стола, глотнул воды из чайника и сел перед окном на табуретку.

Луна была за тучками, и сквозь маленькое окошко сугробы снега казались черно-синими.

«Вот как далеко занесло нашего папу!» — удивился Гек. И он подумал, что, наверное, дальше, чем это место, уже и не много осталось мест на свете.

Но вот Гек прислушался. За окном ему почудился стук. Это был даже не стук, а скрип снега под чьими-то тяжелыми шагами. Так и есть! Вот во тьме что-то тяжело вздохнуло, зашевелилось, заворочалось, и Гек понял, что это мимо окна прошел медведь.

— Злобный медведь, что тебе надо? Мы так долго

едем к папе, а ты хочешь нас сожрать, чтобы мы его никогда не увидели?.. Нет, уходи прочь, пока люди не убили тебя метким ружьем или острой саблей!

Так думал и бормотал Гек, а сам со страхом и любопытством крепче и крепче прижимался лбом к обледенелому стеклу узкого окошка.

Но вот из-за быстрых туч стремительно выкатилась луна. Черно-синие сугробы засверкали мягким матовым блеском, и Гек увидел, что медведь этот вовсе не медведь, а просто это отвязавшаяся лошадь ходит вокруг саней и ест сено.

Было досадно. Гек залез на кровать под тулуп, а так как только что он думал о нехорошем, то и сон к нему пришел угрюмый.

Приснился Геку странный сон:
Как будто страшный Турворон
Плюет слюной, как кипятком,
Грозит железным кулаком.
Кругом пожар! В снегу следы!
Идут солдатские ряды.
И волокут из дальних мест
Кривой фашистский флаг и крест.

— Постойте! — закричал им Гек.— Вы не туда идете! Здесь нельзя!

Но никто не постоял, и его, Гека, не слушали.

В гневе тогда выхватил Гек жестяную сигнальную дуду, ту, что лежала у Чука в картонке из-под ботинок, и загудел так громко, что быстро поднял голову задумчивый командир железного бронепоезда, властно махнул рукой — и разом ударили залпом его тяжелые и грозные орудия.

— Хорошо! — похвалил Гек.— Только стрельните еще, а то одного раза им, наверное, мало...

Мать проснулась оттого, что оба ее дорогих сына с двух сторон нестерпимо толкались и ворочались.

Она повернулась к Чуку и почувствовала, как в бок ей ткнуло что-то твердое и острое. Она пошарила и достала из-под одеяла пружину от капкана, которую запасливый Чук тайно притащил с собой в постель.

Мать швырнула пружину за кровать. При свете луны

она заглянула в лицо Геку и поняла, что ему снится тревожный сон.

Сон, конечно, не пружина, и его нельзя выкинуть. Но его можно потушить. Мать повернула Гека со спины на бок и, покачивая, тихонько подула на его теплый лоб.

Вскоре Гек засопел, улыбнулся, и это означало, что плохой сон погас.

Тогда мать встала и в чулках, без валенок, подошла к окошку.

Еще не светало, и небо было все в звездах. Иные звезды горели высоко, а иные склонялись над черной тайгой совсем низко.

И — удивительное дело! — тут же и так же, как маленький Гек, она подумала, что дальше, чем это место, куда занесло ее беспокойного мужа, наверное, и не много осталось мест на свете.

Весь следующий день дорога шла лесом и горами. На подъемах ямщик соскакивал с саней и шел по снегу рядом. Но зато на крутых спусках сани мчались с такой быстротой, что Чуку с Геком казалось, будто бы они вместе с лошадьми и санями проваливаются на землю прямо с неба.

Наконец под вечер, когда и люди и кони уже порядком устали, ямщик сказал:

— Ну, вот и приехали! За этим мыском поворот. Тут, на поляне, и стоит ихняя база... Эй, но-о!.. Наваливай!

Весело взвизгнув, Чук и Гек вскочили, но сани дернули, и они дружно плюхнулись в сено.

Улыбающаяся мать скинула шерстяной платок и осталась только в пушистой шапке.

Вот и поворот. Сани лихо развернулись и подкатили к трем домишкам, которые торчали на небольшой, укрытой от ветров опушке.

Очень странно! Не лаяли собаки, не было видно людей. Не валил дым из печных труб. Все дорожки были занесены глубоким снегом, а кругом стояла тишина, как зимой на кладбище. И только белобокие сороки бестолково скакали с дерева на дерево.

— Ты куда же нас привез? — в страхе спросила у ямщика мать.— Разве нам сюда надо?

— Куда рядились, туда и привез,— ответил ямщик.—

Вот эти дома называются «Разведывательно-геологическая база номер три». Да вот и вывеска на столбе.. Читайте. Может быть, вам нужна база под названием номер четыре? Так то километров двести совсем в иную сторону

— Нет, нет! — взглянув на вывеску, ответила мать.— Нам нужна эта самая. Но ты посмотри: двери на замках, крыльцо в снегу, а куда же девались люди?

— Я не знаю, куда б им деваться,— удивился и сам ямщик.— На прошлой неделе мы сюда продукт возили: муку, лук, картошку. Все люди тут были: восемь человек, начальник девятый, со сторожем десять... Вот еще забота! Не волки же их всех поели... Да вы постойте, я пойду посмотрю в сторожку.

И, сбросив тулуп, ямщик зашагал через сугробы к крайней избушке.

Вскоре он вернулся:

— Изба пуста, а печка теплая. Значит, здесь сторож, да, видать, ушел на охоту. Ну, к ночи вернется и все вам расскажет.

— Да что он мне расскажет! — ахнула мать.— Я и сама вижу, что людей здесь уже давно нету.

— Это я уж не знаю, что́ он расскажет,— ответил ямщик.— А что-нибудь рассказать должен, на то он и сторож.

С трудом подъехали они к крыльцу сторожки, от которого к лесу вела узенькая тропка.

Они вошли в сени и мимо лопат, метел, топоров, палок, мимо промерзлой медвежьей шкуры, что висела на железном крюку, прошли в избушку. Вслед за ними ямщик тащил вещи.

В избушке было тепло. Ямщик пошел задавать лошадям корм, а мать молча раздевала перепуганных ребятишек.

— Ехали к отцу, ехали — вот тебе и приехали!

Мать села на лавку и задумалась. Что случилось, почему на базе пусто и что теперь делать? Ехать назад? Но у нее денег оставалось только-только заплатить ямщику за дорогу. Значит, надо было ожидать, когда вернется сторож. Но ямщик через три часа уедет обратно, а вдруг сторож возьмет да не скоро вернется? Тогда как? А ведь отсюда до ближайшей станции и телеграфа почти сто километров!

Вошел ямщик. Оглядев избу, он потянул носом воздух, подошел к печке и открыл заслонку.

— Сторож к ночи вернется,— успокоил он.— Вот в печи горшок со щами. Кабы он ушел надолго, он бы щи на холод вынес... А то как хотите,— предложил ямщик.— Раз уж такое дело, то я не чурбак. Я вас назад до станции бесплатно доставлю.

— Нет,— отказалась мать.— На станции нам делать нечего.

Опять поставили чайник, подогрели колбасу, поели, попили, и, пока мать разбирала вещи, Чук с Геком забрались на теплую печку. Здесь пахло березовыми вениками, горячей овчиной и сосновыми щепками. А так как расстроенная мать была молчалива, то Чук с Геком молчали тоже. Но долго молчать не намолчишься, и поэтому, не найдя себе никакого дела, Чук и Гек быстро и крепко уснули.

Они не слышали, как уехал ямщик и как мать, забравшись на печку, улеглась с ними рядом. Они проснулись уже тогда, когда в избе было совсем темно. Проснулись все разом, потому что на крыльце послышался топот, потом что-то в сенях загрохотало — должно быть, упала лопата. Распахнулась дверь, и с фонарем в руках в избу вошел сторож, а с ним большая лохматая собака. Он скинул с плеча ружье, бросил на лавку убитого зайца и, поднимая фонарь к печке, спросил:

— Это что же за гости сюда приехали?

— Я жена начальника геологической партии Серегина,— сказала мать, соскакивая с печки,— а это его дети. Если нужно, то вот документы.

— Вон они, документы: сидят на печке,— буркнул сторож и посветил фонарем на встревоженные лица Чука и Гека.— Как есть в отца — копия! Особо вот этот толстый.— И он ткнул на Чука пальцем.

Чук и Гек обиделись: Чук — потому, что его назвали толстым, а Гек — потому, что он всегда считал себя похожим на отца больше, чем Чук.

— Вы зачем, скажите, приехали? — глянув на мать, спросил сторож.— Вам же приезжать было не велено.

— Как не велено? Кем это приезжать не велено?

— А так и не велено. Я сам на станцию возил от Серегина телеграмму, а в телеграмме ясно написано: «Задержись выезжать на две недели. Наша партия срочно

выходит в тайгу». Раз Серегин пишет «задержись» — значит, и надо было держаться, а вы самовольничаете.

— Какую телеграмму? — переспросила мать.— Мы никакой телеграммы не получали.— И, как бы ища поддержки, она растерянно глянула на Чука и Гека.

Но под ее взглядом Чук и Гек, испуганно тараща друг на друга глаза, поспешно попятились глубже на печку.

— Дети,— подозрительно глянув на сыновей, спросила мать,— вы без меня никакой телеграммы не получали?

На печке захрустели сухие щепки, веники, но ответа на вопрос не последовало.

— Отвечайте, мучители! — сказала тогда мать.— Вы, наверное, без меня получили телеграмму и мне ее не отдали?

Прошло еще несколько секунд, потом с печки раздался ровный и дружный рев. Чук затянул басовито и однотонно, а Гек выводил потоньше и с переливами.

— Вот где моя погибель! — воскликнула мать.— Вот кто, конечно, сведет меня в могилу! Да перестаньте вы гудеть и расскажите толком, как было дело.

Однако, услыхав, что мать собирается идти в могилу, Чук с Геком взвыли еще громче, и прошло немало времени, пока, перебивая и бесстыдно сваливая вину друг на друга, они затянули свой печальный рассказ.

Ну что с таким народом будешь делать? Поколотить их палкой? Посадить в тюрьму? Заковать в кандалы и отправить на каторгу? Нет, ничего этого мать не сделала. Она вздохнула, приказала сыновьям слезть с печки, вытереть носы и умыться, а сама стала спрашивать сторожа, как же ей теперь быть и что делать.

Сторож сказал, что разведывательная партия по срочному приказу ушла к ущелью Алкараш и вернется никак не раньше чем дней через десять.

— Но как же мы эти десять дней жить будем? — спросила мать.— Ведь у нас с собой нет никакого запаса.

— А так вот и живите,— ответил сторож.— Хлеба я вам дам, вон подарю зайца — обдерете и сварите. А я завтра на двое суток в тайгу уйду, мне капканы проверять надо.

— Нехорошо,— сказала мать.— Как же мы останемся одни? Мы тут ничего не знаем. А здесь лес, звери...

— Я второе ружье оставлю,— сказал сторож.— Дрова под навесом, вода в роднике за пригорком. Вон крупа в мешке, соль в банке. А мне — я вам прямо скажу — нянчиться с вами тоже некогда...

— Эдакий злой дядька! — прошептал Гек.— Давай, Чук, мы с тобой ему что-нибудь скажем.

— Вот еще! — отказался Чук.— Он тогда возьмет и вовсе нас из дому выгонит. Ты погоди, приедет папа, мы ему все и расскажем.

— Что ж папа! Папа еще долго...

Гек подошел к матери, сел к ней на колени и, сдвинув брови, строго посмотрел в лицо грубому сторожу.

Сторож снял меховой кожух и подвинулся к столу, к свету. И только тут Гек разглядел, что от плеча к спине кожуха вырван огромный, почти до пояса, меховой клок.

— Достань из печки щи,— сказал матери сторож.— Вон на полке ложки, миски, садитесь и ешьте. А я шубу чинить буду.

— Ты хозяин,— сказала мать.— Ты достань, ты и угощай. А полушубок дай: я лучше твоего заплатаю.

Сторож поднял на нее глаза и встретил суровый взгляд Гека.

— Эге! Да вы, я вижу, упрямые,— пробурчал он, протянул матери полушубок и полез за посудой на полку.

— Это где так разорвалось? — спросил Чук, указывая на дыру кожуха.

— С медведем не поладили. Вот он меня и царапнул,— нехотя ответил сторож и бухнул на стол тяжелый горшок со щами.

— Слышишь, Гек? — сказал Чук, когда сторож вышел в сени.— Он подрался с медведем и, наверное, от этого сегодня такой сердитый.

Гек слышал все сам. Но он не любил, чтобы кто-либо обижал его мать, хотя бы это и был человек, который мог поссориться и подраться с самим медведем.

Утром, еще на заре, сторож захватил с собой мешок, ружье, собаку, стал на лыжи и ушел в лес. Теперь хозяйничать надо было самим. Втроем ходили они за водой. За пригорком из отвесной скалы среди снега бил ключ. От воды, как из чайника, шел густой пар, но когда

Чук подставил под струю палец, то оказалось, что вода холодней самого мороза.

Потом они таскали дрова. Русскую печь мать топить не умела, и поэтому дрова долго не разгорались. Но зато когда разгорелись, то пламя запылало так жарко, что толстый лед на окне у противоположной стенки быстро растаял. И теперь через стекло видна была и вся опушка с деревьями, по которым скакали сороки, и скалистые вершины Синих гор.

Кур мать потрошить умела, но обдирать зайца ей еще не приходилось, и она с ним провозилась столько, что за это время можно было ободрать и разделать быка или корову.

Геку это обдирание ничуть не понравилось, но Чук помогал охотно, и за это ему достался зайчиный хвост, такой легкий и пушистый, что если его бросать с печки, то он падал на пол плавно, как парашют.

После обеда они все втроем вышли гулять.

Чук уговаривал мать, чтобы она взяла с собой ружье или хотя бы ружейные патроны. Но мать ружья не взяла.

Наоборот, она нарочно повесила ружье на высокий крюк, потом встала на табуретку, засунула патроны на верхнюю полку и предупредила Чука, что если он попробует стянуть хоть один патрон с полки, то на хорошую жизнь пусть больше и не надеется.

Чук покраснел и поспешно удалился, потому что один патрон уже лежал у него в кармане.

Удивительная это была прогулка! Они шли гуськом к роднику по узенькой тропке. Над ними сияло холодное голубое небо; как сказочные зáмки и башни, поднимались к небу остроконечные утесы Синих гор. В морозной тишине резко стрекотали любопытные сороки. Меж густых кедровых ветвей бойко прыгали серые юркие белки. Под деревьями, на мягком белом снегу отпечатались причудливые следы незнакомых зверей и птиц.

Вот в тайге что-то застонало, загудело, треснуло. Должно быть, ломая сучья, обвалилась с вершины дерева гора обледенелого снега.

Раньше, когда Гек жил в Москве, ему представлялось, что вся земля состоит из Москвы, то есть из улиц, домов, трамваев и автобусов.

Теперь же ему казалось, что вся земля состоит из высокого дремучего леса.

Да и вообще, если над Геком светило солнце, то он был уверен, что и над всей землей ни дождя, ни туч нету.

И если ему было весело, то он думал, что и всем на свете людям хорошо и весело тоже.

Прошло два дня, наступил третий, а сторож из леса не возвращался, и тревога нависла над маленьким, занесенным снегом домиком.

Особенно страшно было по вечерам и ночами. Они крепко запирали сени, двери и, чтобы не привлечь зверей светом, наглухо занавешивали половиком окна, хотя надо было делать совсем наоборот, потому что зверь — не человек и он огня боится. Над печной трубой, как и полагается, гудел ветер, а когда вьюга хлестала острыми снежными льдинками по стене и окнам, то всем казалось, что снаружи кто-то толкается и царапается.

Они забрались спать на печку, и там мать долго рассказывала им разные истории и сказки. Наконец она задремала.

— Чук,— спросил Гек,— почему волшебники бывают в разных историях и сказках? А что, если бы они были и на самом деле?

— И ведьмы и черти чтобы были тоже? — спросил Чук.

— Да нет! — с досадой отмахнулся Гек.— Чертей не надо. Что с них толку? А мы бы попросили волшебника, он слетал бы к папе и сказал бы ему, что мы уже давно приехали.

— А на чем бы он полетел, Гек?

— Ну, на чем... Замахал бы руками или там еще как. Он уж сам знает.

— Сейчас руками махать холодно,— сказал Чук.— У меня вон какие перчатки да варежки, да и то, когда я тащил полено, у меня пальцы совсем замерзли.

— Нет, ты скажи, Чук, а все-таки хорошо бы?

— Я не знаю,— заколебался Чук.— Помнишь, во дворе, в подвале, где живет Мишка Крюков, жил какой-то хромой. То он торговал баранками, то к нему приходили всякие бабы, старухи, и он им гадал, кому будет жизнь счастливая и кому несчастная.

— И хорошо он нагадывал?

— Я не знаю. Я знаю только, что потом пришла

милиция, его забрали, а из его квартиры много чужого добра вытащили.

— Так он, наверное, был не волшебник, а жулик. Ты как думаешь?

— Конечно, жулик,— согласился Чук.— Да, я так думаю, и все волшебники должны быть жуликами. Ну, скажи, зачем ему работать, раз он и так во всякую дыру пролезть может? Знай только хватай, что надо... Ты бы лучше спал, Гек, все равно я с тобой больше разговаривать не буду.

— Почему?

— Потому что ты городишь всякую ерунду, а ночью она тебе приснится, ты и начнешь локтями да коленями дрыгать. Думаешь, хорошо, как ты мне вчера кулаком в живот бухнул? Дай-ка я тебе бухну тоже...

На утро четвертого дня матери самой пришлось колоть дрова. Заяц был давно съеден, и кости его расхватаны сороками. На обед они варили только кашу с постным маслом и луком. Хлеб был на исходе, но мать нашла муку и испекла лепешек.

После такого обеда Гек был грустен, и матери показалось, что у него повышена температура.

Она приказала ему сидеть дома, одела Чука, взяла ведра, салазки, и они вышли, чтобы привезти воды и заодно набрать на опушке сучьев и веток,— тогда утром легче будет растапливать печку.

Гек остался один. Он ждал долго. Ему стало скучно, и он начал что-то придумывать.

...А мать и Чук задержались. На обратном пути к дому санки перевернулись, ведра опрокинулись, и пришлось ехать к роднику снова. Потом выяснилось, что Чук на опушке позабыл теплую варежку, и с полпути пришлось возвращаться. Пока искали, пока то да сё, наступили сумерки.

Когда они вернулись домой, Гека в избе не было. Сначала они подумали, что Гек спрятался на печке за овчинами. Нет, там его не было.

Тогда Чук хитро улыбнулся и шепнул матери, что Гек, конечно, залез под печку.

Мать рассердилась и приказала Геку вылезать. Гек не откликался.

Тогда Чук взял длинный ухват и стал им под печкой ворочать. Но и под печкой Гека не было.

Мать встревожилась, взглянула на гвоздь у двери. Ни полушубок Гека, ни шапка на гвозде не висели.

Мать вышла во двор, обошла кругом избушку. Зашла в сени, зажгла фонарь. Заглянула в темный чулан, под навес с дровами...

Она звала Гека, ругала, упрашивала, но никто не отзывался. А темнота быстро ложилась на сугробы.

Тогда мать заскочила в избу, сдернула со стены ружье, достала патроны, схватила фонарь и, крикнув Чуку, чтобы он не смел двигаться с места, выбежала во двор.

Следов за четыре дня было натоптано немало.

Где искать Гека, мать не знала, но она побежала к дороге, так как не верила, чтобы Гек один мог осмелиться зайти в лес.

На дороге было пусто.

Она зарядила ружье и выстрелила. Прислушалась, выстрелила еще и еще раз.

Вдруг совсем неподалеку ударил ответный выстрел. Кто-то спешил к ней на помощь.

Она хотела бежать навстречу, но ее валенки увязли в сугробе. Фонарь попал в снег, стекло лопнуло, и свет погас.

С крыльца сторожки раздался пронзительный крик Чука.

Это, услыхав выстрелы, Чук решил, что волки, которые сожрали Гека, напали на его мать.

Мать отбросила фонарь и, задыхаясь, побежала к дому. Она втолкнула раздетого Чука в избу, швырнула ружье в угол и, зачерпнув ковшом, глотнула ледяной воды.

У крыльца раздался гром и стук. Распахнулась дверь. В избу влетела собака, а за нею вошел окутанный паром сторож.

— Что за беда? Что за стрельба? — спросил он, не здороваясь и не раздеваясь.

— Пропал мальчик,— сказала мать. Слезы ливнем хлынули из ее глаз, и она больше не могла сказать ни слова.

— Стой, не плачь! — гаркнул сторож.— Когда пропал? Давно? Недавно?.. Назад, Смелый! — крикнул он собаке.— Да говорите же, или я уйду обратно!

— Час тому назад,— ответила мать.— Мы ходили за водой. Мы пришли, а его нет. Он оделся и куда-то ушел.

— Ну, за час он далеко не уйдет, а в одёже и в валенках сразу не замерзнет... Ко мне, Смелый! На, нюхай!

Сторож сдернул с гвоздя башлык и подвинул под нос собаки калоши Гека.

Собака внимательно обнюхала вещи и умными глазами посмотрела на хозяина.

— За мной! — распахивая дверь, сказал сторож.— Иди ищи, Смелый!

Собака вильнула хвостом и осталась стоять на месте.

— Вперед! — строго повторил сторож.— Ищи, Смелый, ищи!

Собака беспокойно крутила носом, переступала с ноги на ногу и не двигалась.

— Это еще что за танцы? — рассердился сторож. И, опять сунув собаке под нос башлык и калоши Гека, он дернул ее за ошейник.

Однако Смелый за сторожем не пошел; он покрутился, повернулся и пошел в противоположный от двери угол избы.

Здесь он остановился около большого деревянного сундука, царапнул по крышке мохнатой лапой и, обернувшись к хозяину, три раза громко и лениво гавкнул.

Тогда сторож сунул ружье в руки оторопелой матери, подошел и открыл крышку сундука.

В сундуке, на куче всякого тряпья, овчин, мешков, укрывшись своей шубёнкой и подложив под голову шапку, крепко и спокойно спал Гек.

Когда его вытащили и разбудили, то, хлопая сонными глазами, он никак не мог понять, отчего это вокруг него такой шум и такое буйное веселье. Мать целовала его и плакала. Чук дергал его за руки, за ноги, подпрыгивал и кричал:

— Эй-ля! Эй-ли-ля!..

Лохматый пес Смелый, которого Чук поцеловал в морду, сконфуженно обернулся и, тоже ничего не понимая, тихонько вилял серым хвостом, умильно поглядывая на лежавшую на столе краюху хлеба.

Оказывается, когда мать и Чук ходили за водой, то соскучившийся Гек решил пошутить. Он забрал полу-

шубок, шапку и залез в сундук. Он решил, что когда они вернутся и станут его искать, то он из сундука страшно завоет.

Но так как мать и Чук ходили очень долго, то он лежал, лежал и незаметно заснул.

Вдруг сторож встал, подошел и брякнул на стол тяжелый ключ и измятый голубой конверт.

— Вот,— сказал он,— получайте. Это вам ключ от комнаты и от кладовой и письмо от начальника Серегина. Он с людьми здесь будет через четверо суток, как раз к Новому году.

Так вот он где пропадал, этот неприветливый, хмурый старик! Сказал, что идет на охоту, а сам бегал на лыжах к далекому ущелью Алкараш.

Не распечатывая письма, мать встала и с благодарностью положила старику на плечо руку.

Он ничего не ответил и стал ворчать на Гека за то, что тот рассыпал в сундуке коробку с пыжами, а заодно и на мать — за то, что она разбила стекло у фонаря. Он ворчал долго и упорно, но никто теперь этого доброго чудака не боялся. Весь этот вечер мать не отходила от Гека и, чуть что, хватала его за руку, как будто боялась, что вот-вот он опять куда-нибудь исчезнет. И так много она о нем заботилась, что наконец Чук обиделся и про себя уже несколько раз пожалел, что и он не полез в сундук тоже.

Теперь стало весело. На следующее утро сторож открыл комнату, где жил их отец. Он жарко натопил печь и перенес сюда все их вещи. Комната была большая, светлая, но все в ней было расставлено и навалено без толку.

Мать сразу же взялась за уборку. Целый день она все переставляла, скоблила, мыла, чистила.

И когда к вечеру сторож принес вязанку дров, то, удивленный переменой и невиданной чистотой, он остановился и не пошел дальше порога.

А собака Смелый пошла.

Она пошла прямо по свежевымытому полу, подошла к Геку и ткнула его холодным носом. Вот, мол, дурак, это я тебя нашла, и за это ты должен дать мне что-нибудь покушать.

Мать раздобрилась и кинула Смелому кусок колбасы.

Тогда сторож заворчал и сказал, что если в тайге собак кормить колбасой, так это сорокам на смех.

Мать отрезала и ему полкруга. Он сказал «спасибо» и ушел, все чему-то удивляясь и покачивая головой.

На следующий день было решено готовить к Новому году елку.

Из чего-чего только не выдумывали они мастерить игрушки!

Они ободрали все цветные картинки из старых журналов. Из лоскутьев и ваты понашили зверьков, кукол. Вытянули у отца из ящика всю папиросную бумагу и навертели пышных цветов.

Уж на что хмур и нелюдим был сторож, а и тот, когда приносил дрова, подолгу останавливался у двери и дивился на их всё новые и новые затеи. Наконец он не вытерпел. Он принес им серебряную бумагу от завертки чая и большой кусок воска, который у него остался от сапожного дела.

Это было замечательно! И игрушечная фабрика сразу превратилась в свечной завод. Свечи были неуклюжие, неровные. Но горели они так же ярко, как и самые нарядные покупные.

Теперь дело было за елкой. Мать попросила у сторожа топор, но он ничего на это ей даже не ответил, а стал на лыжи и ушел в лес.

Через полчаса он вернулся.

Ладно. Пусть игрушки были и не ахти какие нарядные, пусть зайцы, сшитые из тряпок, были похожи на кошек, пусть все куклы были на одно лицо — прямоносые и лупоглазые, и пусть, наконец, еловые шишки, обернутые серебряной бумагой, не так сверкали, как хрупкие и тонкие стеклянные игрушки, но зато такой елки в Москве, конечно, ни у кого не было. Это была настоящая таежная красавица — высокая, густая, прямая и с ветвями, которые расходились на концах, как звездочки.

Четыре дня за делом пролетели незаметно. И вот наступил канун Нового года. Уже с утра Чука и Гека нельзя было загнать домой. С посинелыми носами они торчали на морозе, ожидая, что вот-вот из леса выйдет отец и все его люди.

Но сторож, который топил баню, сказал им, чтобы они

не мерзли понапрасну, потому что вся партия вернется только к обеду.

И в самом деле. Только что они сели за стол, как сторож постучал в окошко. Кое-как одевшись, все втроем они вышли на крыльцо.

— Теперь смотрите,— сказал им сторож.— Вот они сейчас покажутся на скате той горы, что правей большой вершины, потом опять пропадут в тайге, и тогда через полчаса все будут дома.

Так оно и вышло. Сначала из-за перевала вылетела собачья упряжка с груженными санями, а за нею следом пронеслись быстроходные лыжники. По сравнению с громадой гор они казались до смешного маленькими, хотя отсюда были отчетливо видны их руки, ноги и головы.

Они промелькнули по голому скату и исчезли в лесу.

Ровно через полчаса послышался лай собак, шум, скрип, крики.

Почуявшие дом голодные собаки лихо вынеслись из леса. А за ними, не отставая, выкатили на опушку девять лыжников. И, увидав на крыльце мать, Чука и Гека, они на бегу подняли лыжные палки и громко закричали: «Ура!»

Тогда Гек не вытерпел, спрыгнул с крыльца и, зачерпывая снег валенками, помчался навстречу высокому, заросшему бородой человеку, который бежал впереди и кричал «ура» громче всех.

Днем чистились, брились и мылись.

А вечером была для всех елка, и все дружно встречали Новый год.

Когда был накрыт стол, потушили лампу и зажгли свечи. Но так как, кроме Чука с Геком, остальные все были взрослые, то они, конечно, не знали, что теперь нужно делать.

Хорошо, что у одного человека был баян и он заиграл веселый танец. Тогда все повскакали, и всем захотелось танцевать. И все танцевали очень прекрасно, особенно когда приглашали на танец маму.

А отец танцевать не умел. Он был очень сильный, добродушный, и когда он без всяких танцев просто шагал по полу, то и то в шкафу звенела вся посуда.

Он посадил себе Чука с Геком на колени, и они громко хлопали всем в ладоши.

Потом танец окончился, и люди попросили, чтобы Гек спел песню. Гек не стал ломаться. Он и сам знал, что умеет петь песни, и гордился этим.

Баянист подыгрывал, а он им спел песню. Какую — я уже сейчас не помню. Помню, что это была очень хорошая песня, потому что все люди, слушая ее, замолкли и притихли. И когда Гек останавливался, чтобы перевести дух, то было слышно, как потрескивали свечи и гудел за окном ветер.

А когда Гек окончил петь, то все зашумели, закричали, подхватили Гека на руки и стали его подкидывать. Но мать тотчас же отняла у них Гека, потому что она испугалась, как бы сгоряча его не стукнули о деревянный потолок.

— Теперь садитесь,— взглянув на часы, сказал отец.— Сейчас начнется самое главное.

Он пошел и включил радиоприемник. Все сели и замолчали. Сначала было тихо. Но вот раздался шум, гул, гудки. Потом что-то стукнуло, зашипело, и откуда-то издалека донесся мелодичный звон.

Большие и маленькие колокола звонили так:

Тир-лиль-лили-дон!
Тир-лиль-лили-дон!

Чук с Геком переглянулись. Они угадали, что́ это. Это в далекой-далекой Москве, под красной звездой, на Спасской башне звонили золотые кремлевские часы.

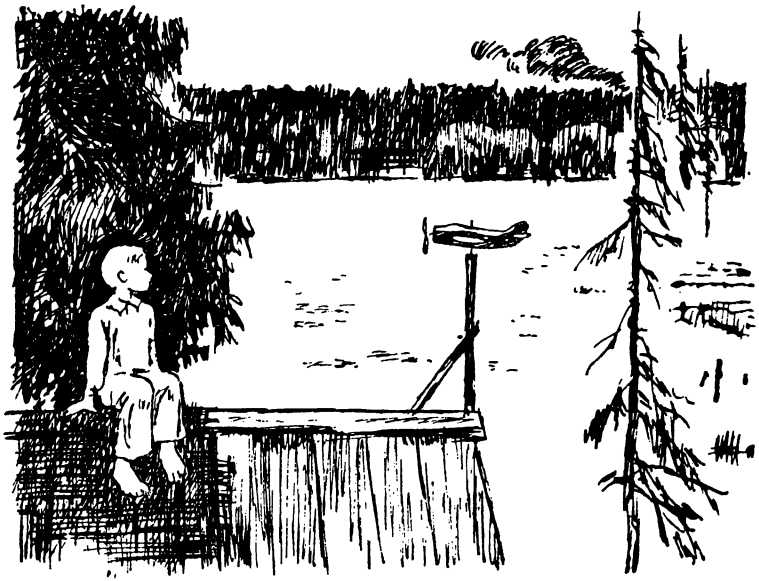
И этот звон — перед Новым годом — сейчас слушали люди и в городах, и в горах, в степях, в тайге, на синем море.

И, конечно, задумчивый командир бронепоезда, тот, что неутомимо ждал приказа от Ворошилова, чтобы открыть против врагов бой, слышал этот звон тоже.

И тогда все люди встали, поздравили друг друга с Новым годом и пожелали всем счастья.

Что такое счастье — это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную счастливую землю, которая зовется Советской страной.

1939 г.



ДЫМ В ЛЕСУ

Моя мать училась и работала на большом новом заводе, вокруг которого раскинулись дремучие леса.

На нашем дворе, в шестнадцатой квартире, жила девочка, звали ее Феня.

Раньше ее отец был кочегаром, но потом тут же на курсах при заводе он выучился и стал летчиком.

Однажды, когда Феня стояла во дворе и, задрав голову, смотрела в небо, на нее напал незнакомый вор-мальчишка и вырвал из ее рук конфету.

Я в это время сидел на крыше дровяного сарая и смотрел на запад, где за рекой Кальвой, как говорят, на сухих торфяных болотах, горел вспыхнувший позавчера лес.

То ли солнечный свет был слишком ярок, то ли пожар уже стих, но огня я не увидел, а разглядел только слабое облачко белесоватого дыма, едкий запах которого доносился к нам в поселок и мешал сегодня ночью людям спать.

Услыхав жалобный Фенин крик, я, как ворон, слетел с крыши и вцепился сзади в спину мальчишки.

Он взвыл от страха. Выплюнул уже засунутую в рот конфету и, ударив меня в грудь локтем, умчался прочь.

Я сказал Фене, чтобы она не орала, и строго-настрого запретил ей поднимать с земли конфету. Потому что если все люди будут подъедать уже обсосанные кем-то конфеты, то толку из этого получится мало.

Но чтобы даром добро не пропадало, мы подманили серого кутенка Брутика и запихали ему конфету в пасть. Он сначала пищал и вырывался: должно быть, думал, что суют чурку или камень. Но когда раскусил, то весь затрясся, задергался и стал нас хватать за ноги, чтобы дали ему еще.

— Я бы попросила у мамы другую,— задумчиво сказала Феня,— только мама сегодня сердитая, и она, пожалуй, не даст.

— Должна дать,— решил я.— Пойдем к ней вместе. Я расскажу, как было дело, и она над тобой, наверное, сжалится.

Тут мы взялись за руки и пошли к тому корпусу, где была шестнадцатая квартира. А когда мы переходили по доске канаву, ту, что разрыли водопроводчики, то я крепко держал Феню за воротник, потому что было ей тогда года четыре, ну может быть, пять, а мне уже давно пошел двенадцатый.

Мы поднялись на самый верх и тут увидели, что следом за нами по лестнице пыхтит и карабкается хитрый Брутик.

*

Дверь в квартиру была не заперта, и едва мы вошли, как Фенина мать бросилась к дочке навстречу. Лицо ее было заплакано. В руке она держала голубой шарф и кожаную сумочку.

— Горе ты мое горькое! — воскликнула она, подхватывая Феню на руки.— И где ты так измызгалась, изва-

зякалась? Да сиди же ты и не вертись, несчастливое создание! Ой, у меня и без тебя беды немало!

Все это она говорила быстро-быстро. А сама то хватала конец мокрого полотенца, то расстегивала грязный Фенин фартук, тут же смахивала со своих щек слезы. И видать, что куда-то очень торопилась.

— Мальчик,— попросила она,— ты человек хороший. Ты мою дочку любишь. Я через окно все видела. Останься с Феней на час в квартире. Мне очень некогда. А я тебе тоже когда-нибудь добро сделаю.

Она положила мне руку на плечо, но ее заплаканные глаза глядели на меня холодно и настойчиво.

Я был занят, мне пора было идти к сапожнику за маминими ботинками, но я не смог отказаться и согласился, потому что, когда о таком пустяке человек просит такими настойчивыми тревожными словами, то, значит, пустяк этот — совсем не пустяк. И, значит, беда ходит где-то совсем рядом.

— Хорошо, мама! — вытирая мокрое лицо ладонью, обиженным голосом сказала Феня.— Но ты дай нам за это что-нибудь вкусное, а то нам будет скучно.

— Возьмите сами,— ответила мать, бросила на стол связку ключей, торопливо обняла Феню и вышла.

— Ой, да она от комода все ключи оставила. Вот чудо! — подтаскивая со стола связку, воскликнула Феня.

— Что же тут чудесного? — удивился я.— Мы ведь свои люди, а не воры и не разбойники.

— Мы не разбойники,— согласилась Феня.— Но когда я в тот комод лазаю, то всегда что-нибудь нечаянно разбиваю. Или вот, например, недавно разлилось варенье и потекло на пол.

Мы достали по конфете да по прянику. А кутенку Брутику кинули сухую баранку и намазали нос медом.

*

Мы подошли к распахнутому окошку.

Гей! Не дом, а гора. Как с крутого утеса, отсюда видны были и зеленые поляны, и длинный пруд, и кривой овраг, за которым один рабочий убил зимой волка. А кругом — леса, леса.

— Стой, не лезь вперед, Фенька! — вскрикнул я, ста-

скивая ее с подоконника. И, закрывшись ладонью от солнца, я глянул в окно.

Что такое? Это окно выходило совсем не туда, где речка Кальва и далекие в дыму торфяные болота. Однако не больше как в трех километрах из чащи поднималась густая туча крутого темно-серого дыма.

Как и когда успел туда пожар перекинуться, это было мне совсем не понятно.

Я обернулся. Лежа на полу, Брутик жадно грыз брошенный Феней пряник. А сама Феня стояла в углу и смотрела на меня злыми глазами.

— Ты дурак,— сказала она.— Тебя мама оставила со мной играть, а ты зовешь меня Фенькой и от окна толкаешься. Возьми тогда и уходи совсем из нашего дома.

— Фенечка,— позвал я,— беги сюда, смотри, что внизу делается.

*

Внизу же делалось вот что.

Промчались галопом по улице два всадника.

С лопатами за плечами мимо памятника Кирову, по круглой Первомайской площади, торопливо прошагал отряд человек в сорок.

Распахнулись главные ворота завода, и оттуда выкатились пять грузовиков, набитых людьми до отказа, и, с воем обгоняя пеший отряд, грузовики исчезли за поворотом у школы.

Внизу, по улицам, стайками шныряли мальчишки. Они, конечно, все уже разнюхали, разузнали. Я же должен был сидеть и караулить девчонку. Обидно!

Но когда, наконец, завыла пожарная сирена, я не вытерпел.

— Фенечка,— попросил я,— ты посиди здесь одна, а я ненадолго во двор сбегаю.

— Нет,— отказалась Феня,— теперь я боюсь. Ты слышишь, как оно воет?

— Экое дело, воет! Так ведь это труба, а не волк воет! Съест она тебя, что ли? Ну, хорошо, ты не хнычь. Давай с тобой вместе во двор спустимся. Мы там постоим минутку и назад.

— А дверь? — хитро спросила Феня.— Мама от двери ключа не оставила. Мы хлопнем, замок захлопнется, и

тогда как? Нет, Володька, ты уж лучше сядь тут и сиди.

Но мне не сиделось. Поминутно бросался я к окну и громко досадовал на Феню.

— Ну, почему я должен тебя караулить? Что ты, корова или лошадь? Или ты не можешь маму одна дождаться? Вон другие девчонки всегда сидят и дожидаются. Возьмут какую-нибудь тряпку, лоскутик... куклу сделают: «Ай, ай! Бай, бай!» Ну, не хочешь тряпку,— сидела бы слона рисовала, с хвостом, с рогами.

— Не могу,— упрямо ответила Феня.— Если я одна останусь, то могу открыть кран, а закрыть позабуду. Или могу разлить на стол всю чернильницу. Вот один раз упала с плиты кастрюля. А другой раз застрял в замке гвоздик. Мама пришла, ключ толкала, толкала, а дверь не отпирается. Потом позвали дядьку, и он замок выломал. Нет,— вздохнула Феня,— одной оставаться очень трудно.

— Несчастная! — завопил я.— Но кто же это тебя заставляет открывать кран, опрокидывать чернила, спихивать кастрюли и заталкивать в замок гвозди? Я бы на месте твоей мамы взял веревку да вздул тебя хорошенько.

— Дуть нельзя! — убежденно ответила Феня и с веселым криком бросилась в переднюю, потому что вошла ее мать.

*

Быстро и внимательно посмотрела она на свою дочку. Оглядела кухню, комнату и, усталая, опустилась на диван.

— Пойди вымой лицо и руки,— приказала она Фене.— Сейчас за нами придет машина, и мы поедем на аэродром к папе.

Феня взвизгнула. Наступила на лапу Брутику, сдернула с крючка полотенце и, волоча его по полу, убежала на кухню.

Меня бросило в жар. Я еще ни разу не был на аэродроме, который находился километрах в пятнадцати от нашего завода.

Даже в День авиации, когда всех школьников повезли туда на грузовиках, я не поехал, потому что перед этим я выпил четыре кружки холодного квасу, простудился,

чуть не оглох и, обложенный грелками, целых три дня лежал в постели.

Я проглотил слюну и осторожно спросил у Фениной матери:

— И долго вы там с Феней на аэродроме будете?

— Нет! Мы только туда и сейчас же обратно.

Пот выступил на моем лбу и, вспомнив обещание сделать для меня добро, набравшись смелости, я попросил:

— Знаете что! Возьмите и меня с собой.

Фенина мама ничего не ответила, и казалось, что вопроса моего не слыхала. Она подвинула к себе зеркальце, провела напудренной ватой по своему бледному лицу, что-то прошептала, потом поглядела на меня.

Должно быть, вид мой был очень смешон и печален, потому что, слабо улыбнувшись, она одернула съехавший мне на живот пояс и сказала:

— Хорошо. Я знаю, что ты любишь мою дочку. И если тебя дома отпустят, то тогда поезжай.

— Он меня вовсе не любит,— вытирая лицо, сурово ответила из-под полотенца Феня.— Он обозвал меня коровой и сказал, чтобы меня дули.

— Но ты же меня, Фенечка, первая обругала,— испугался я.— И потом — это я просто пошутил. Я же за тебя всегда заступаюсь.

— Это верно,— с азартом растирая полотенцем щеки, подтвердила Феня.— Он за меня всегда заступается. А Витька Крюков только один раз. А есть такие, сами хулиганы, что ни одного раза.

*

Я помчался домой, но во дворе наткнулся на Витьку Крюкова. И тот, не переводя духа, выпалил мне разом, что через границу к нам пробрались три белогвардейца. И это они подожгли лес, чтобы сгорел наш большой завод.

Тревога! Я ворвался в квартиру, но тут было все тихо и спокойно.

За столом, склонившись над листом бумаги, сидела моя мама и маленьким кронциркулем наносила на чертеж какие-то кружки.

— Мама! — взволнованно окликнул я.— Ты дома?

— Осторожней,— ответила мать,— не тряси стол.

— Мама, что же ты сидишь? Ты уже про белогвардейцев слышала?

Мать взяла линейку и провела по бумаге длинную тонкую черточку.

— Мне, Володька, некогда. Их и без меня поймают. Ты бы сходил к сапожнику за моими ботинками.

— Мама,— взмолился я,— до того ли теперь дело? Можно, я поеду с Феней и ее матерью на аэродром? Мы только туда и сейчас же обратно.

— Нет,— ответила мать.— Это ни к чему.

— Мама,— настойчиво продолжал я,— помнишь, как вы с папой хотели взять меня на машине в Иркутск? Я уже собрался, но пришел еще какой-то ваш товарищ. Места не хватило, и ты тихонько попросила (тут мать оторвалась от чертежа и на меня посмотрела), ты меня попросила, чтобы я не сердился и остался. И я тогда не сердился, замолчал и остался. Ты это помнишь?

— Да, теперь помню.

— Можно, я с Феней поеду на машине?

— Можно,— ответила мать и огорченно добавила: — Варвар ты, а не человек, Володька! У меня и так времени в обрез до зачета, а теперь я сама должна идти за ботинками.

— Мама,— счастливо бормотал я.— А ты не жалей... Ты надень свои новые туфли и красное платье. Погоди, я вырасту — подарю тебе шелковую шаль, и совсем ты у нас будешь как грузинка.

— Ладно, ладно, проваливай,— улыбнулась мать.— Заверни себе на кухне две котлеты и булку. Ключ захвати, а то вернешься — меня дома не будет.

Быстро собрался я. В левый карман затолкал сверток, а в правый сунул оловянный, но похожий на настоящий, браунинг и выскочил во двор, куда как раз уже въезжала легковая машина.

Скоро прибежала Феня, а за ней Брутик.

Мы важно сидели на мягких кожаных подушках, а маленькие ребятишки толпились вокруг машины и нам завидовали.

— Знаешь что,— покосившись на шофера, прошептала Феня,— давай возьмем с собой Брутика. Посмотри, как он прыгает и вихляется.

— А твоя мама?

— Ничего. Она сначала не заметит, а потом мы скажем, что сами не заметили. Иди сюда, Брутик. Да иди ты, дурачок лохматый!

Схватив кутенка за шиворот, она втащила его в кабину, затолкала в угол, закрыла платком. И такая хитрющая девчонка: заметив подходившую мать, стала пристально разглядывать электрический фонарик на потолке кабинки.

Машина выкатилась за ворота, повернула и помчалась по шумной и встревоженной улице. Дул сильный ветер, и запах дыма уже заметно щипал ноздри.

На ухабистой дороге машину подбрасывало. Кутенок Брутик, высунув голову из-под платка, недоуменно прислушивался к тарахтению мотора.

По небу метались встревоженные галки. Пастухи громким щелканьем бичей сердито сгоняли обеспокоенное и мычащее стадо.

Возле одной сосны стояла лошадь со спутанными ногами и, насторожив уши, нюхала воздух.

Промчался мимо нас мотоциклист. И так быстро летела его машина, что только успели мы обернуться к заднему окошечку, как он уже показался нам маленьким-маленьким, как шмель или даже как простая муха.

Мы подъехали к опушке высокого леса, и тут красноармеец с винтовкой загородил нам дорогу.

— Дальше нельзя,— предупредил он,— поворачивайте обратно.

— Можно,— ответил шофер,— это жена летчика Федосеева.

— Хорошо! — сказал тогда красноармеец.— Вы подождите.

Он вынул свисток и, вызывая начальника, дважды свистнул.

Пока мы ожидали, к красноармейцу подошли еще двое.

Они держали на привязи огромных собак.

Это были ищейки из отряда охраны — овчарки Ветер и Лютта.

Я поднял Брутика и сунул его в окошко. Увидав таких страшил, он робко вильнул хвостиком. Но Ветер и Лютта не обратили на него никакого внимания. Подошел человек без винтовки, с наганом. Узнав, что это едет жена лет-

чика Федосеева, он приложил руку к козырьку и, пропуская нас, махнул рукой часовому.

— Мама,— спросила Феня,— отчего если едешь просто, то тогда нельзя. А если скажешь: жена летчика Федосеева, то тогда можно? Хорошо быть женой Федосеева, правда?

— Молчи, глупая,— ответила мать.— Что ты городишь, и сама не знаешь.

*

Запахло сыростью.

Через просвет деревьев мелькнула вода. А вот оно раскинулось справа — длинное и широкое озеро Куйчук.

И странная картина открылась перед нашими глазами: дул ветер, белыми барашками пенились волны дикого озера, а на далеком противоположном берегу ярким пламенем горел лес.

Даже сюда, за километр, через озеро, вместе с горячим воздухом доносился гул и треск.

Охватывая хвою смолистых сосен, пламя мгновенно взвивалось к небу и тотчас же падало к земле. Оно крутилось волчком понизу и длинными жаркими языками лизало воду озера. Иногда валилось дерево, и тогда от его удара поднимался столб черного дыма, на который налетал ветер и рвал в клочья.

— Там подожгли ночью,— хмуро объявил шофер.— Их бы давно изловили собаками, но огонь замел следы, и Лютте работать трудно.

— Кто зажег? — шепотом спросила Феня.— Разве это зажгли нарочно?

— Злые люди,— тихо ответил я.— Они хотели бы сжечь всю землю.

— И они сожгут?

— Еще что! А ты видела наших с винтовками? Наши их переловят быстро.

— Их переловят,— поддакнула Феня.— Только скорей бы. А то жить страшно. Правда, Володя?

— Это тебе страшно, а мне нисколько. У меня папа на войне был и то не боялся.

— Так ведь то — папа... И у меня тоже папа...

Машина вырвалась из лесу, и мы очутились на большой поляне, где раскинулся аэродром.

Фенина мать приказала нам вылезать и не отходить далеко, а сама пошла к дверям бревенчатого здания.

И когда она проходила, то все летчики, механики и все люди, что стояли у крыльца, разом притихли и молча с ней поздоровались.

Пока Феня бегала с Брутиком вокруг машины, я притерся к кучке людей и из их разговора понял вот что. Фенин отец, летчик Федосеев, на легкой машине вылетел вчера вечером обследовать район лесного пожара. Но вот прошли уже почти сутки, а он еще не возвращался.

Значит, с машиной случилась авария или у нее была вынужденная посадка. Но где? И счастье, если не в том краю, где горел лес, потому что за сутки огонь разметало почти на двадцать квадратных километров.

Тревога! Нашу границу перешли три вооруженных бандита! Их видел конюх совхоза «Искра». Но выстрелами вдогонку они убили его лошадь, ранили самого в ногу, и поэтому конюх добрался до окраины нашего поселка так поздно.

Разгневанный и взволнованный, размахивая своим оловянным браунингом, я шагал по полю и вдруг стукнулся лбом об орден на груди высокого человека, который шел к машине вместе с Фениной матерью.

Сильной рукой человек этот остановил меня. Посмотрел на меня пристально и вынул из моей руки оловянный браунинг.

Я смутился и покраснел.

Но человек не сказал ни одного насмешливого слова. Он взвесил на своей ладони мое оружие. Вытер его о рукав кожаного пальто и вежливо протянул мне обратно.

Позже я узнал, что это был комиссар эскадрильи. Он проводил нас до машины и еще раз повторил, что летчика Федосеева беспрестанно ищут с земли и с воздуха.

*

Мы покатили домой.

Уже вечерело. Почуяв, что дело неладно, опечаленная Феня тихонько сидела в уголке, с Брутиком больше не играла. И наконец, уткнувшись к матери в колени, она нечаянно задремала.

Теперь все чаще и чаще нам приходилось замедлять

ход и пропускать встречных. Проносились грузовики, военные повозки. Прошла саперная рота. Промчался легковой красный автомобиль. Не наш, а чей-то чужой, должно быть, какого-нибудь приезжего начальника.

И только что дорога стала посвободней, только что наш шофер дал ходу, как вдруг что-то хлопнуло и машина остановилась.

Шофер слез, обошел машину, выругался, поднял с земли оброненный кем-то железный зуб от граблей и, вздохнув, заявил, что лопнула камера и ему придется менять колесо.

Чтобы шоферу легче было поднимать машину домкратом, Фенина мать, я, а за мной и Брутик вышли.

Пока шофер готовился к починке и доставал из-под сиденья разные инструменты, Фенина мать ходила по опушке, а мы с Брутиком забежали в лес и здесь, в чаще, стали бегать и прятаться. Причем, когда он меня долго не находил, то от страха начинал выть ужасно.

Мы заигрались. Я запыхался, сел на пенек и забылся, как вдруг услышал далекий гудок. Я подскочил и, кликнув Брутика, помчался.

Однако через две-три минуты я остановился, сообразив, что это гудела никак не наша машина. У нашей звук был многоголосый, певучий, а эта рявкала грубо, как грузовик.

Тогда я повернул вправо и, как мне показалось, направился прямо к дороге. Издалека донесся сигнал. Это теперь гудела наша машина. Но откуда, я не понял.

Круто повернув еще правей, я побежал изо всех сил.

Путаясь в траве, маленький Брутик скакал за мной.

Если бы я не растерялся, я должен был бы стоять на месте или продвигаться потихоньку, выжидая новых и новых сигналов. Но меня охватил страх. С разбегу я врезался в болотце, кое-как выбрался на сухое место. Чу! Опять сигнал! Мне нужно было повернуть обратно. Но, опасаясь топкого болотца, я решил обойти его, завертелся, закрутился и, наконец, напрямик, через чащу, в ужасе понесся, куда глядели глаза.

*

Уже давно скрылось солнце. Огромная луна сверкала меж облаков. А дикий путь мой был опасен и труден.

Теперь я шел не туда, куда мне было надо, а шагал там, где дорога была полегче.

Молча и терпеливо бежал за мной Брутик. Слезы давно были выплаканы, от криков и ауканья я охрип, лоб был мокр, фуражка пропала, а поперек щеки моей тянулась кровавая царапина.

Наконец, измученный, я остановился и опустился на сухую траву, что раскинулась по вершине отлогого песчаного бугра. Так лежал я неподвижно до тех пор, пока не почувствовал, что передохнувший Брутик с ожесточенным упорством тычется носом в мой живот и нетерпеливо царапает меня лапой. Это он учуял в моем кармане сверток и требовал еды. Я отломил ему кусок булки, дал полкотлеты. Нехотя остальное сжевал сам, потом разгреб в теплом песке ямку, нарвал немножко сухой травы, вынул свой оловянный браунинг, прижал к себе кутенка и лег, решив ждать рассвета, не засыпая.

В черных провалах меж деревьями, под неровным, неверным светом луны, все мне чудились то зеленые глаза волка, то мохнатая морда медведя. И казалось мне, что, прильнув к толстым стволам сосен, повсюду затаились чужие и злобные люди. Проходила минута, другая — исчезали и таяли одни страхи, но неожиданно возникали другие.

И столько было этих страхов, что, отвертев себе шею, вконец ими утомленный, я лег на спину и стал смотреть только в небо. Хлопая посоловелыми глазами, чтобы не заснуть, я принялся считать звезды. Насчитал шестьдесят три, сбился, плюнул и стал следить за тем, как черная, похожая на бревно туча нагоняет другую и хочет ударить в ее широко открытую зубастую пасть. Но тут вмешалось третье, худое, длинное облако, и своей кривой лапой оно взяло да и закрыло луну.

Стало темно, а когда просветлело, то ни тучи-бревна, ни зубастой тучи уже не было, а по звездному небу плавно летел большой самолет.

Широко распахнутые окна его были ярко освещены за столом, отодвинув вазу с цветами, сидела над своими чертежами моя мама и изредка поглядывала на часы, удивляясь тому, что меня нет так долго.

И тогда, испугавшись, как бы она не пролетела мимо моей лесной поляны, я выхватил свой оловянный браунинг и выстрелил. Дым окутал поляну, залез мне в нос

и в рот. И эхо от выстрела, долетев до широких крыльев самолета, дважды звякнуло, как железная крыша под ударом тяжелого камня.

Я вскочил на ноги.

Уже светало.

Оловянный браунинг мой валялся на песке. Рядом с ним сидел Брутик и недовольно крутил носом, потому что переменившийся за ночь ветер пригнал струю угарного дыма. Я прислушался. Впереди, вправо, брякало железо. Значит, сон мой был не совсем сон. Значит, впереди были люди, а следовательно, бояться мне было нечего.

В овраге, по дну которого бежал ручей, я напился. Вода была совсем теплая, почти горячая, пахла смолой и сажей. Очевидно, истоки ручья находились где-то в полосе огня.

За оврагом тотчас же начинался невысокий лиственный лес, из которого все живое при первом же запахе дыма убралось прочь. И только одни муравьи, как и всегда, тихо копошились возле своих рыхлых построек, да серые лягушки, которым все равно посуху не ускакать далеко, скрипуче квакали у зеленого болотца.

Обогнув болото, я попал в чащу. И вдруг совсем неподалеку я услышал три резких удара железом о железо, как будто бы кто-то бил молотком по жестяному днищу ведерка.

Осторожно двинулся я вперед, и мимо деревьев со срезанными верхушками, мимо свежих ветвей, листвы и сучьев, которыми густо была усыпана земля, я вышел к крохотной полянке.

И здесь, как-то боком, задрав нос и закинув крыло на ствол погнувшейся осины, торчал самолет. Внизу, под самолетом, сидел человек. Гаечным ключом он равномерно колотил по металлическому кожуху мотора.

И этот человек был Фенин отец — летчик Федосеев.

*

Ломая ветви, я продрался к нему поближе и окликнул его. Он отбросил гаечный ключ. Повернулся в мою сторону всем туловищем (встать он, очевидно, не мог) и, внимательно оглядев меня, удивленно сказал:

— Гей, чу́дное виденье, с каких небес по мою душу?

— Это вы? — не зная, как начать, сказал я.

— Да, это я. А это...— он ткнул пальцем на опрокинутый самолет.— Это лошадь моя. Дай спички. Народ близко?

— Спичек у меня нет, Василий Семенович, а народу тоже нет никакого.

— Как нет?! — И лицо его болезненно перекосилось, потому что он тронул с места укутанную тряпкой ногу.— А где же народ, люди?

— Людей нет, Василий Семенович. Я один, да вот... моя собака.

— Один? Гм... Собака?.. Ну, у тебя и собака!.. Так что же, скажи на милость, ты здесь один делаешь? Грибы жареные собираешь, золу, уголья?

— Я ничего не делаю, Василий Семенович. Я встал, слышу: брякает. Я и сам думал, что тут люди.

— Та-ак, люди. А я, значит, уже не «люди»? Отчего это у тебя вся щека в крови? Возьми банку, смажь йодом да кати-ка ты, милый, во весь дух к аэродрому. Скажи там поласковей, чтобы скорей за мной послали. Они меня ищут бог знает где, а я-то совсем рядом. Чу, слышишь? — И он потянул ноздрями, принюхиваясь к сладковато-угарному порыву ветра.

— Это я слышу, Василий Семенович, только я никуда дороги не знаю. Я, видите, и сам заблудился.

— Фью, фью,— присвистнул летчик Федосеев.— Ну тогда, как я вижу, дела у нас с тобой плохи, товарищ. Ты в бога веруешь?

— Что вы, что вы! — удивился я.— Да вы меня, Василий Семенович, наверное, не узнали? Я же в вашем дворе живу, в сто двадцать четвертой квартире.

— Ну, вот! Ты нет, и я нет. Значит, на чудеса нам надеяться нечего. Залезь-ка ты на дерево, и что оттуда увидишь, про то мне расскажешь.

Через пять минут я уже был на самой вершине. Но с трех сторон я видел только лес, а с четвертой, километрах в пяти от нас, из лесу поднималось облако дыма и медленно продвигалось в нашу сторону.

Ветер был неустойчивый, неровный, и каждую минуту он мог рвануть во всю силу.

Я слез и рассказал обо всем этом летчику Федосееву.

Он взглянул на небо, небо было неспокойное. Летчик Федосеев задумался.

— Послушай,— спросил он,— ты карту знаешь?

— Знаю,— ответил я.— Москва, Ленинград, Минск, Киев, Тифлис...

— Эх ты, хватил в каком масштабе. Ты бы еще начал: Европа, Америка, Африка, Азия. Я тебя спрашиваю... если я тебе по карте начерчу дорогу, то ты разберешься?

Я замялся:

— Не знаю, Василий Семенович. У нас это по географии проходили... Да я что-то плохо...

— Эх, голова! То-то «плохо». Ну ладно, раз плохо, тогда лучше и не надо.— И он вытянул руку: — Вот, смотри. Отойди на поляну... дальше. Повернись лицом к солнцу. Теперь повернись так, чтобы солнце светило тебе как раз на край левого глаза. Это и будет твое направление. Подойди и сядь.

Я подошел и сел.

— Ну, говори, что понял?

— Чтобы солнце сверкало в край левого глаза,— неуверенно начал я.

— Не сверкало, а светило. От сверканья глаза ослепнуть могут. И запомни: что бы тебе в голову ни втемяшилось, не вздумай свернуть с этого направления в сторону, а кати все прямо да прямо до тех пор, пока километров через семь-восемь ты не упрешься в берег реки Кальвы. Она тут, и деваться ей некуда. Ну, а на Кальве, у четвертого яра, всегда народ: там рыбаки, плотовщики, косари, охотники. Кого первого встретишь, к тому и кидайся. А что сказать...

Тут Федосеев посмотрел на разбитый самолет, на свою неподвижную, укутанную тряпками ногу, понюхал угарный воздух и покачал головой:

— А что сказать им... ты и сам, я думаю, знаешь.

Я вскочил.

— Постой,— сказал Федосеев.

Он вынул из бокового кармана бумажник, вложил туда какую-то записку и протянул все это мне.

— Возьмешь с собой.

— Зачем? — не понял я.

— Возьми,— повторил он.— Я могу заболеть, потеряю. Потом отдашь мне, когда встретимся. А не мне, так моей жене или нашему комиссару.

Это мне что-то совсем не понравилось, и я почув-

ствовал, что к глазам моим подкатываются слезы, а губы у меня вздрагивают.

Но летчик Федосеев смотрел на меня строго, и поэтому я не посмел его ослушаться. Я положил бумажник за пазуху, затянул покрепче ремень и свистнул Брутика.

— Постой,— опять задержал меня Федосеев.— Если ты раньше моего увидишь кого-либо из НКВД или нашего комиссара, то скажи, что в районе пожара, на двадцать четвертом участке, позавчера в девятнадцать тридцать я видел троих человек, думал — охотники; когда я снизился, то с земли они ударили по самолету из винтовок и одна пуля пробила мне бензиновый бак. Остальное им все будет понятно. А теперь, герой, вперед двигай!

*

Тяжелое дело, спасая человека, бежать через чужой, угрюмый лес, к далекой реке Кальве, без дорог, без тропинок, выбирая путь только по солнцу, которое неуклонно должно светить в левый край твоего глаза.

По пути приходилось обходить непролазную гущу, крутые овражки, сырые болота. И если бы не строгое предупреждение Федосеева, я десять раз успел бы сбиться и заблудиться, потому что частенько казалось мне, что солнце солнцем, а я бегу назад, прямо к месту моей вчерашней ночевки.

Итак, упорно продвигался я вперед и вперед, изредка останавливаясь, вытирая мокрый лоб. И гладил глупого Брутика, который, вероятно, от страха катил за мной, не отставая и высунув длинный язык, печально глядел на меня ничего не понимающими глазами.

Через час подул резкий ветер, серая мгла наглухо затянула небо. Некоторое время солнце еще слабо обозначалось туманным и расплывчатым пятном, потом и это пятно растаяло.

Я продвигался быстро и осторожно. Но через короткое время почувствовал, что я начинаю плутать.

Небо надо мной сомкнулось хмурое, ровное. И не то что в левый, а даже в оба глаза я не мог различить на нем ни малейшего просвета.

Прошло еще часа два. Солнца не было, Кальвы не было, сил не было, и даже страха не было, а была только

сильная жажда, усталость, и я наконец повалился в тень, под кустом ольхи.

«И вот она жизнь,— закрыв глаза, думал я.— Живешь, ждешь, вот, мол, придет какой-нибудь случай, приключение, тогда я... я... А что я? Там разбит самолет. Туда ползет огонь. Там раненый летчик ждет помощи. А я, как колода, лежу на траве и ничем помочь ему не в силах».

Звонкий свист пичужки раздался где-то совсем близко. Я вздрогнул. Тук-тук! Тук-тук! — послышалось сверху. Я открыл глаза и почти над головой у себя, на стволе толстого ясеня, увидел дятла.

И тут я увидел, что лес этот уже не глухой и не мертвый. Кружились над поляной ромашек желтые и синие бабочки, блистали стрекозы, неумолчно трещали кузнечики.

И не успел я приподняться, как мокрый, словно мочалка, Брутик кинулся мне прямо на живот, подпрыгнул и затрясся, широко разбрасывая холодные мелкие брызги. Он где-то успел выкупаться.

Я вскочил, бросился в кусты и радостно вскрикнул, потому что и всего-то шагах в сорока от меня в блеске сумрачного дня катила свои серые воды широкая река Кальва.

*

Я подошел к берегу и огляделся. Но ни справа, ни слева, ни на воде, ни на берегу никого не было. Не было ни жилья, ни людей, не было ни рыбаков, ни сплавщиков, ни косарей, ни охотников. Вероятно, я забрал очень круто в сторону от того четвертого яра, на который должен был выйти по указу летчика Федосеева.

Но на противоположном берегу, на опушке леса, не меньше чем за километр отсюда, клубился дымок, и там, возле маленького шалаша, стояла запряженная в телегу лошадь.

Острый холодок пробежал по моему телу. Руки и шея покрылись мурашками, плечи подернулись, как в лихорадке, когда я понял, что мне нужно будет переплывать Кальву.

Я же плавал плохо. Правда, я мог переплыть пруд, тот, что лежал возле завода, позади кирпичных сараев.

Больше того, я мог переплыть его туда и обратно. Но это только потому, что даже в самом глубоком его месте вода не достигала мне выше подбородка.

Я стоял и молчал. По воде плыли щепки, ветки, куски сырой травы и клочья жирной пены.

И я знал, что раз нужно, то я переплыву Кальву. Она не так широка, чтобы я выбился из сил и задохнулся. Но я знал и то, что стоит мне на мгновение растеряться, испугаться глубины, хлебнуть глоток воды — и я пойду ко дну, как это со мной было однажды, год тому назад, на совсем неширокой речонке Лугарке.

Я подошел к берегу, вынул из кармана тяжелый оловянный браунинг, повертел его и швырнул в воду.

Браунинг — это игрушка, а теперь мне не до игры.

Еще раз посмотрел я на противоположный берег, зачерпнул пригоршню холодной воды. Глотнул, чтобы успокоилось сердце. Несколько раз глубоко вздохнул, шагнул в воду. И, чтобы не тратить даром силы, по отлогому песчаному скату шел я до тех пор, пока вода не достигла мне до шеи.

Дикий вой раздался за моей спиной. Это, как сумасшедший, скакал по берегу Брутик.

Я поманил его пальцем, откашлялся, сплюнул и, оттолкнувшись ногами, стараясь не брызгать, поплыл.

*

Теперь, когда голова моя была над водой низко, противоположный берег показался мне очень далеким. И чтобы этого не пугаться, я опустил глаза на воду.

Так, полегоньку, уговаривая себя не бояться, а главное не торопиться, взмах за взмахом продвигался я вперед.

Вот уже и вода похолодела, прибрежные кусты побежали вправо — это потащило меня течение. Но я это предвидел и поэтому не испугался. Пусть тащит. Мое дело — спокойней, раз, раз... вперед и вперед... Берег понемногу приближался, уже видны были серебристые, покрытые пухом листья осинника. Вода стремительно несла меня к песчаному повороту.

Вдруг позади себя я услышал голоса. Я хотел повернуться, но не решился.

Потом за моей спиной раздался плеск, и вскоре я

увидел, что, высоко подняв морду и отчаянно шлепая лапами, выбиваясь из последних сил, сбоку ко мне подплывает Брутик.

«Ты смотри, брат! — с тревогой подумал я.— Ты ко мне не лезь. А то потонем оба».

Я рванулся в сторону, но течение толкнуло меня назад, и, воспользовавшись этим, проклятый Брутик, больно царапая когтями спину, полез ко мне прямо на шею.

«Теперь пропал! — окунувшись с головой в воду, подумал я.— Теперь дело кончено».

Фыркая и отплевываясь, я вынырнул на поверхность, взмахнул руками и тотчас же почувствовал, как Брутик с отчаянным визгом лезет мне на голову.

Тогда, собравши последние силы, я отшвырнул Брутика, но тут в рот и в нос мне ударила волна. Я захлебнулся, бестолково замахал руками и опять услышал голоса, шум и лай.

Тут налетела опять волна, опрокинула меня с живота на спину, и что я последнее помню,— это тонкий луч солнца сквозь тучи и чью-то страшную морду, которая, широко открыв зубастую пасть, кинулась мне на грудь.

*

Как узнал я позже, два часа спустя после того, как я ушел от летчика Федосеева, по моим следам от проезжей дороги собака Лютта привела людей к летчику. И прежде чем попросить что-либо для себя, летчик Федосеев показал им на покрытое тучами небо и приказал догнать меня. В тот же вечер другая собака, по прозванию Ветер, настигла в лесу троих вооруженных людей. Тех, что перешли границу, чтобы поджечь лес вокруг нашего завода, и что пробили пулей бензиновый бак у мотора.

Одного из них убили в перестрелке, двоих схватили. Но и им — мы знали — пощады не будет.

*

Я лежал дома в постели.

Под одеялом было тепло и мягко. Привычно стучал будильник. Из-под крана на кухне брызгала вода. Это умывалась мама. Вот она вошла и сдернула с меня одеяло.

— Вставай, хвастунишка! — сказала она, нетерпеливо расчесывая гребешком свои густые черные волосы.— Я вчера зашла к вам на собрание и от дверей слышала, как это ты разошелся: «я вскочил», «я кинулся», «я ринулся». А ребятишки, дураки, сидят, уши развесили. Думают — и правда!

Но я хладнокровен.

— Да,— с гордостью отвечаю я,— а ты попробуй-ка переплыви в одежде Кальву.

— Хорошо — «переплыви», когда тебя из воды собака Лютта за рубашку вытащила. Уж ты бы лучше, герой, помалкивал. Я у Федосеева спрашивала. Прибежал, говорит, ваш Володька ко мне бледный, трясется. У меня, говорит, по географии плохо, насилу-насилу уговорил я его добежать до реки Кальвы.

— Ложь! — Лицо мое вспыхивает, я вскакиваю и гневно гляжу в глаза матери.

Но тут я вижу, что это она просто смеется, что под глазами у нее еще не растаяла синеватая бледность,— значит, совсем недавно крепко она обо мне плакала и только не хочет в этом сознаться. Такой уж у нее, в меня, характер.

Она ерошит мне волосы и говорит:

— Вставай, Володька! За ботинками сбегай. Я до сих пор так и не успела.

Она берет свои чертежи, готовальню, линейки и, показав мне кончик языка, идет готовиться к зачету.

*

Я бегу за ботинками, но во дворе, увидев меня с балкона, отчаянно визжит Феня.

— Иди,— кричит она,— да иди же скорей, тебя зовет папа!

«Ладно,— думаю я,— за ботинками успею»,— и поднимаюсь наверх.

Наверху Феня с разбегу хватает меня за ноги и тянет к отцу в комнату. У него вывих ноги, и он в постели, забинтованный. Рядом с лекарствами возле него на столике лежат острый ножичек и стальное шило. Он над чем-то работал. Он здоровается со мной, он расспрашивает меня о том, как я бежал, как заблудился и как снова нашел реку Кальву.

Потом он сует руку под подушку и протягивает мне похожий на часы блестящий никелированный компас с крышкой, с запором и с вертящейся фосфорной картушкой.

— Возьми,— говорит,— учись разбирать карту. Это тебе от меня на память.

Я беру. На крышке аккуратно обозначены год, месяц и число — то самое, когда я встретил Федосеева в лесу у самолета. Внизу надпись: «Владимиру Курнакову от летчика Федосеева». Я стою молча. Погибли! Погибли теперь без возврата все мальчишки нашего двора. И нет им от меня сожаления, нет пощады!

*

Я жму летчику руку и выхожу к Фене. Мы стоим с ней у окна, и она что-то бормочет, бормочет, а я не слышу и не слышу.

Наконец, она дергает меня за рукав и говорит:

— Все хорошо, жаль только, что утонул бедняга Брутик.

Да, Брутика жаль и мне. Но что поделаешь: раз война, так война.

Через окно нам видны леса. Огонь потушен, и только кое-где подымается дымок. Но и там заканчивают свое дело последние бригады.

Через окно виден огромный завод, тот самый, на котором работает почти весь наш новый поселок. И это его хотели поджечь те люди, которым пощады теперь не будет.

Около завода в два ряда протянута колючая проволока. А по углам, под деревянными щитами, день и ночь стоят часовые.

Даже отсюда нам с Феней слышны бряцание цепей, лязг железа, гул моторов и тяжелые удары парового молота.

Что на этом заводе делают, этого мы не знаем. А если бы и знали, так не сказали бы никому, кроме одного товарища Ворошилова.

1939 г.



СУДЬБА БАРАБАНЩИКА

Когда-то мой отец воевал с белыми, был ранен, бежал из плена, потом по должности командира саперной роты ушел в запас. Мать моя утонула, купаясь на реке Волге, когда мне было восемь лет. От большого горя мы переехали в Москву. И здесь через два года отец женился на красивой девушке Валентине Долгунцовой. Люди говорят, что сначала жили мы скромно и тихо. Небогатую квартиру нашу держала Валентина в чистоте. Одевалась просто. Об отце заботилась и меня не обижала.

Но тут окончились распределители, разные талоны, хлебные карточки. Стал народ жить получше, побогаче. Стала чаще и чаще ходить Валентина в кино, то одна,

то с провожатыми. Домой возвращалась тогда рассеянная, задумчивая и, что там в кино видела, никогда ни отцу, ни мне не рассказывала.

И как-то вскоре — совсем для нас неожиданно — отца моего назначили директором большого текстильного магазина.

Был на радостях пир. Пришли гости. Пришел старый отцовский товарищ Платон Половцев, а с ним и его дочка Нина, с которой, как только увиделись мы — рассмеялись, обнялись, и больше нам за весь вечер ни до кого не было дела.

Стали теперь кое-когда присылать за отцом машину. Чаще и чаще стал он ходить на разные заседания и совещания. Брал с собой раза два он и Валентину на какие-то банкеты. И стала вдруг Валентина злой, раздражительной. Начальников отцовских хвалила, жен их ругала, а крепкого и высокого отца моего называла рохлей и тряпкой.

Много у отца в магазине было сукна, полотна, шелку и разных цветных материй.

Долго в предчувствии грозной беды отец ходил осунувшийся, побледневший. И даже, как узнал я потом, подавал тайком заявление, чтобы его перевели заведовать жестяно-скобяной лавкой.

Как оно там случилось, не знаю, но только вскоре зажили мы хорошо и весело.

Пришли к нам плотники, маляры; сняли со стены порыжелый отцовский портрет с кривыми трещинами поперек плеча и шашки, ободрали старые васильковые обои и все перестроили, перекрасили по-новому.

Рухлядь мы распродали старьевщикам или отдали дворнику, и стало у нас светло, просторно и даже как-то по-необычному пусто.

Но тревога — неясная, непонятная — прочно поселилась с той поры в нашей квартире. То она возникала вместе с неожиданным телефонным звонком, то стучалась в дверь по ночам под видом почтальона или случайно запоздавшего гостя, то пряталась в уголках глаз вернувшегося с работы отца.

И я эту тревогу видел и чувствовал, но мне говорили, что ничего нет, что просто отец устал. А вот придет весна, и мы все втроем поедем на Кавказ — на курорт.

Пришла наконец весна, и отца моего отдали под суд.

Это случилось как раз в тот день, когда возвращался я из школы очень веселый, потому что наконец-то поставили меня старшим барабанщиком нашего четвертого отряда.

И, вбегая к себе во двор, где шумели под теплым солнцем соседские ребятишки, громко отбивал я линейкой по ранцу торжественный марш-поход, когда всей оравой кинулись они мне навстречу, наперебой выкрикивая, что у нас дома был обыск и отца моего забрала милиция и увезла в тюрьму.

Не скрою, что я долго плакал. Валентина ласково утешала меня и терпеливо учила, что́ я должен буду отвечать, если меня спросит судья или следователь.

Однако никто и ни о чем меня не спрашивал. Всё там быстро разобрали сами и отца приговорили к пяти годам, за растрату.

Я узнал об этом уже перед сном, лежа в постели. Я забрался с головой под одеяло. Через потертую ткань слабо, как звездочки, мерцали желтые искры света.

За дверью ванной плескалась вода. Набухшие от слез глаза смыкались, и мне казалось, что я уплываю куда-то очень далеко.

«Прощай! — думал я об отце.— Сейчас мне двенадцать, через пять — будет семнадцать, детство пройдет, и в мальчишеские годы мы с тобой больше не встретимся.

Помнишь, как в глухом лесу звонко и печально куковала кукушка и ты научил меня находить в небе голубую Полярную звезду? А потом мы шагали на огонек в поле и дружно распевали твои простые солдатские песни.

Помнишь, как из окна вагона ты показал мне однажды пустую поляну в желтых одуванчиках, стог сена, шалаш, бугор, березу? А на этой березе,— сказал ты,— сидела тогда птица ворон и каркала отрывисто: карр... карр! И вашего народу много полегло на той поляне. И ты лежал вон там, чуть правей бугра,— серой полыни, где бродит сейчас пятнистый бычок-теленок и мычит: муу-муу! Должно быть, заблудился, толстый дурак, и теперь боится, что выйдут из лесу и сожрут его волки.

Прощай! — засыпал я.— Бьют барабаны марш-поход. Каждому отряду своя дорога, свой позор и своя слава. Вот мы и разошлись. Топот смолк, и в поле пусто».

Так в полудреме прощался я с отцом горько и крепко,

потому что все же я его очень любил, потому что — зачем врать? — был он мне старшим другом, частенько выручал из беды и пел хорошие песни, от которых земля казалась до грусти широкой, а на этой земле мы были людьми самыми дружными и счастливыми.

Утром я проснулся и пошел в школу. И, когда теперь меня спрашивали, что с отцом, я отвечал, что сидит за обман и за воровство. Отвечал сухо, прямо, без слез. Потому что два раза подряд искренне с человеком прощаться нельзя.

Отец работал сначала где-то в лагере под Вологдой, на лесозаготовках. Писал часто Валентине письма и, видать, по ней крепко скучал. Потом вдруг он надолго замолк. И только чуть ли не через три месяца прислал — но не ей уже, а мне — открытку; откуда-то с дальнего Севера, из города Сороки. В ней он писал, что его как сапера перевели на канал. И там их бригада взрывает землю, камни и скалы.

Два года пронеслись быстро и бестолково.

Весной, на третий год, Валентина вышла замуж за инструктора Осоавиахима, кажется, по фамилии Лобачов. А так как квартиры у него не было, то вместе со своей полевой сумкой и небольшим чемоданом он переехал к нам.

В июне Валентина оставила мне на месяц сто пятьдесят рублей и укатила с мужем на Кавказ.

Вернувшись с вокзала, я долго слонялся из угла в угол. И когда от ветра хлопнула оконная форточка и я услышал, как на кухне котенок наш осторожно лакает оставленное среди неприбранной посуды молоко, то понял, что теперь в квартире я остался совсем один.

Я стоял задумавшись, когда через окно меня окликнул наш дворник, дядя Николай. Он сказал, что всего час тому назад заходил вожатый нашего отряда Павел Барышев. Он очень досадовал, что Валентина так поспешно уехала, и сказал, что завтра зайдет снова.

Ночь я спал плохо. Снились мне телеграфные столбы, галки, вороны. Все это шумело, галдело, кричало. Наконец ударил барабан, и вся эта прорва с воем и свистом взметнулась к небу и улетела. Стало тихо. Я проснулся.

Наступило солнечное утро. То самое, с которого жизнь

моя круто повернула в сторону. И увела бы, вероятно, кто знает куда, если бы... если бы отец не показывал мне желтые поляны в одуванчиках да если бы не пел мне хорошие солдатские песни, те, что и до сих пор жгут мне сердце. И весело мне от них и хорошо. А иной раз и рад бы немножко заплакать, да как-то стыдно, если не с чего.

Первым делом я поставил на примус чайник, потом позвонил в соседний корпус к Юрке Ковякину, которому целый месяц я был должен рубль двадцать копеек. И мне передавали мальчишки, что он уже собирается бить меня смертным боем.

Юрка был на два года старше меня, он носил значок ворошиловского стрелка, но был прохвост и выжига. Он бросил школу, а всем врал, что заочно готовится на курсы летчиков.

Он вошел вразвалочку, быстро оглядывая стены. Просунув голову на кухню, чего-то понюхал, подошел к столу, сбросил со стула котенка и сел.

— Уехала Валентина? — спросил Юрка.— Та-ак! Значит, ясно: оставила она тебе денег, и ты хочешь со мной расплатиться. Честность люблю. За тобой рубль двадцать — брал на кино — и семь гривен за эскимо — мороженое; итого рубль девяносто, для ровного счета — два.

— Юрка,— возразил я,— никакого эскимо я не ел. Это вы ели, а я прямо пошел в темноте и сел на место.

— Ну вот! — поморщился Юрка.— Я купил на всех шесть штук. Я сидел с краю. Одно взял себе, остальные пять вам передал. Очень хорошо помню: как раз Чарли Чаплин летит в воду, все орут, гогочут, а я сую вам мороженое. Да ты, поди, может, увлекся — не заметил, как и проскочило?

— Нет, Юрка, я не увлекся, и ничего никуда не проскакивало. Я тебе семь гривен отдам. Но, наверное, или ты врешь, или его в темноте кто-нибудь от меня зажулил!

— Конечно, отдай! — похвалил Юрка.— Вы ели, а я за вас страдать должен?! Да ты помнишь, как Чарли Чаплин летит в воду?

— Помню.

— А помнишь, как только он вылез, веревка дернула — и он опять в воду?

— И это помню.

— Ну, вот видишь! Сам все помнишь, а говоришь: не ел. Нехорошо, брат! Денег тебе Валентина много ли оставила? Небось, пожадничала?

— Зачем «пожадничала»! Полтораста рублей оставила,— ответил я и, тотчас же спохватившись, объяснил: — Это на целый месяц оставила. Ты думал — на неделю? А тут еще на керосин, за белье прачке.

— Ну и дурак! — добродушно сказал Юрка.— Этакие деньги да чтобы проесть начисто!

Он удивленно посмотрел на меня и рассмеялся.

— А сколько же надо? — недоверчиво, но с любопытством спросил я, потому что меня и самого уже занимала мысль: «Нельзя ли из оставленных денег сколько-нибудь выгадать?»

— А сколько?.. Подай-ка мне счеты. Я тебе сейчас, как бухгалтер... точно! Полкило хлеба на день — раз — это, значит, тридцать раз. Чай есть. Кило сахару на месяц — обопьешься. Вот крупа, картошка — пустяки дело! Ну, тут масло, мясо. Молоко на два дня кружку. Итого пятьдесят семь рублей, копейки сбросим. Ну ладно, ладно! Не хмурься. Кладу тебе конфет, печенья. Значит, шестьдесят три, керосин — два... Прачке сколько? Десять? Вот они куда идут, денежки! Итого... Итого — живи, как банкир,— семьдесят пять целковых!.. А остальные? Ты, друг, купил бы фотоаппарат у Витьки Чеснокова. Шесть на девять, а светосила!.. Под кровать залезь, и то снимать можно. Он и возьмет недорого. Хочешь, пойдем сейчас и посмотрим?

— Нет, Юрка! — испугался я.— Я лучше не сейчас, а потом... Я еще подумаю.

— Ну подумай! — согласился Юрка.— На то и голова, чтобы думать. Два-то рубля давай... Эх, брат, у тебя все пятерками, а у меня нет сдачи... Ну, потерплю, ладно! А после обеда я забегу снова. Разменяешь и отдашь.

Мне вовсе не хотелось, чтобы Юрка забегал ко мне снова, и я предложил ему спуститься вниз, до магазина вместе. Но Юрка ловко надел свою похожую на блин кепку и нетерпеливо замотал головой:

— И не проси. Некогда! Сижу долблю. Элероны, лонжероны, вибрация, деривация*... Самолет — не трамвай. Чуть не дотянул — и пошел в штопор, чуть перетянул — еще что-нибудь похуже. То ли ваше дело — пехота!

Он презрительно скривил губы, небрежно приложил

руку к козырьку и ушел. Через минуту в окно я видел, как толстый и седой дворник наш, дядя Николай, со всех ног мчится за Юркой, безуспешно пытаясь огреть его длинной метлой по шее.

...Напившись чаю, я принялся составлять план дальнейшей своей жизни. Я решил записаться в библиотеку и брать книги. Кроме того, у меня были хвосты по географии и по математике.

Прибирая комнаты, я неожиданно обнаружил, что правый верхний ящик письменного стола заперт. Это меня удивило, так как я думал, что ключи от этого стола были давным-давно потеряны. Да и запирать-то там было нечего. Лежали там цветные лоскутья, пара телефонных наушников, наконечник от велосипедного насоса, костяной вязальный крючок, неполная колода карт и клубок шерстяных ниток.

Я потрогал ящик: не зацепился ли изнутри? Нет, не зацепился.

Я выдвинул соседний ящик и удивился еще более. Здесь лежали залоговая квитанция и облигации займа, десяток лотерейных билетов Осоавиахима, полфлакона духов, сломанная брошка и хрупкая шкатулочка из кости, где у Валентины хранились разные забавные безделушки.

И все это заперто от меня не было.

От чрезмерного любопытства и бесплодных догадок у меня испортилось настроение.

Я вышел во двор. Но большинство знакомых ребят уже разъехалось по дачам. Вздымая белую пыль, каменщики проламывали подвальную стену. Все кругом было изрыто ямами, завалено кирпичом, досками и бревнами. К тому же с окон и балконов жильцы вывесили зимнюю одежду, и повсюду тошнотворно пахло нафталином.

Обед готовить мне было лень. Я купил в магазине булку с изюмом, бутылку ситро, кусок колбасы, кружку молока, селедку и сто граммов мороженого.

Пришел, съел и затосковал еще больше. И стало мне обидно, что не взяла меня с собой на Кавказ Валентина. Был бы отец — он взял бы!

Помню, как посадит он меня, бывало, за весла, и плывем мы с ним вечером по реке.

— Папа! — попросил как-то я.— Спой еще какую-нибудь солдатскую песню.

— Хорошо,— сказал он.— Положи весла.

Он зачерпнул пригоршней воды, выпил, вытер руки о колени и запел:

Горные вершины
Спят во тьме ночной,
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы...
Подожди немного,
Отдохнешь и ты.

— Папа! — сказал я, когда последний отзвук его голоса тихо замер над прекрасной рекой Истрой.— Это хорошая песня, но ведь это же не солдатская.

Он нахмурился:

— Как не солдатская? Ну, вот: это горы. Сумерки. Идет отряд. Он устал, идти трудно. За плечами выкладка шестьдесят фунтов... винтовка, патроны. А на перевале белые. «Погодите,— говорит командир,— еще немного, дойдем, собьем... тогда и отдохнем... Кто до утра, а кто и навеки...» Как не солдатская? Очень даже солдатская!

«Отец был хороший,— подумал я.— Он носил высокие сапоги, серую рубашку, он сам колол дрова, ел за обедом гречневую кашу и даже зимой распахивал окно, когда мимо нашего дома с песнями проходила Красная Армия».

Но как же, однако, все случилось? Вот соседи говорят, что «довела любовь», а хмельной водопроводчик Микешкин — тот, что всегда дарит ребятишкам подсолнухи и ириски,— однажды остановился у нашего окошка, возле которого сидела Валентина, растянул гармошку и на весь двор заорал песню о том, как одни черные очи «изгубили» одного хорошего молодца.

Быстро вскочила тогда Валентина. Гневно плюнула, отошла от окна, меня отдернула прочь и, скривя губы, пробормотала:

— Тоже... певец! Пьянчужка. Я вот пожалуюсь на него управдому.

Однако жаловаться управдому на Микешкина было бесполезно. Во-первых, жаловались на него уже сто раз. Во-вторых, пьяный он никого не задевал, а только вопил

песни. А в-третьих, в нашем доме жильцы часто без разбора валили и в раковины и в уборные всякий мусор, из-за чего было много скандалов. А Микешкин всегда безропотно ходил, чинил и чистил, в то время как всякий другой водопроводчик давно бы на его месте плюнул.

«Любовь! — думал я.— Но ведь любви и кругом нашего дома немало. Вот напротив, возле шахты метро, стоят часовые, и у них, может быть, тоже есть какая-нибудь красивая. А вон в общежитии живут летчики, и у них, наверное, есть тоже. Однако же от любви ихней винтовки не ржавеют, самолеты с неба не падают, а все идет своим чередом, как надо».

Оттого ли, что я долго лежал и думал, оттого ли, что я объелся колбасы и селедки, у меня заболела голова и пересохли губы. И на этот раз я уже сам обрадовался, когда звякнул звонок и ко мне ввалился Юрка.

В одну минуту мы вылетели на улицу. Дальше все пошло колесом. В этот же день я купил у монтера Витьки Чеснокова за семьдесят пять рублей фотоаппарат. И в этот же день к вечеру на Пушкинской площади Юрка подвел меня к трем задумчивым молодцам, которые терпеливо рассматривали рекламную витрину кино.

— Знакомься,— сказал Юрка, подталкивая меня к мальчишкам.— Это Женя, Петя и Володя, из восемнадцатой школы. Огонь-ребята и все, как на подбор, отличники.

«Огонь-ребята» и «отличники» — Женя, Петя и Володя,— как по команде, повернулись в мою сторону, внимательно оглядели меня, и, кажется, я им чем-то не понравился.

— Он парень хороший,— отрекомендовал меня Юрка.— Мы с ним заодно, как братья. Отец в тюрьме, а мачеха на Кавказе.

«Огонь-ребята» молча поклонились мне, а я чуть покраснел: «Мог бы, дурак про отца помолчать,— хорош гусь, скажут товарищи».

Однако новые товарищи ничего не сказали, и, посовещавшись, мы все впятером пошли в кино.

Вернувшись домой, я узнал от дворника, дяди Николая, что опять заходил вожатый Павел Барышев и крепко-накрепко наказывал, чтобы я завтра же зашел к нему на квартиру, так как у него ко мне есть дело.

Однако на следующий день к Барышеву я не зашел.

Утром меня поджидал первый удар.

Наскоро позавтракав, я помчался с фотоаппаратом покупать в магазин пластинки. И там мне сказали, что хотя аппарат и исправный, но это не шесть на девять, марка старая, и пластинок такого размера в продаже нет и не бывает.

Взбешенный, я помчался разыскивать Юрку. Но его ни у себя дома, ни во дворе не было, а попался он мне на глаза только к вечеру, когда, усталый и обессиленный от поисков и расспросов, я уже с трудом ворочал языком.

— Экая беда! — пожалел меня Юрка.— Так-таки говорят, что нет и не бывает?

— Так-таки нет и не бывает! — с отчаянием повторил я.— Да что ты притворяешься, Юрка! Ты все и сам знал раньше.

— Ну вот, знал! Что я, фотограф, что ли? Кабы ты меня про аэроплан спросил — это другое дело: фюзеляж, пропеллер, хвостовое управление... Дернул ручку на себя — он вверх пошел, двинул вперед — он книзу. А фотографы — это для меня не люди... а тьфу! То ли дело летчики!..

— Юрка,— попросил я,— давай пойдем к Витьке Чеснокову, пусть он тогда забирает аппарат, а деньги отдаст обратно!

— Что ты! Что ты! — удивился Юрка.— Да у него и денег-то давно уж нет! За тридцатку он вчера купил балалайку, сколько-то отдал жене, сколько-то теще. Ну, может быть, какая-нибудь пятерка осталась. Нет, брат, ты уж лучше терпи.

Горе мое было так велико, что я едва удерживался от того, чтобы не брякнуть фотоаппарат о камни. Юрка заметил это и надо мной сжалился.

— Друг я тебе или нет? — воскликнул он, ударяя себя кепкой о колено.

— Конечно, нет... то есть, конечно, друг... И тогда... что мы делать будем?

— А коли друг, так пойдем со мной! Я тебя из беды выручу.

Мы прошли с ним через два квартала в мастерскую, в которой Юрка, надо думать, бывал не раз, и здесь, едва глянув на мой (очевидно, уже им знакомый) фотоаппарат, мне сказали, что можно переделать на шесть и девять. Цена — сорок рублей, задаток — десять.

— Выкладывай,— торжествующе сказал Юрка.— То-то вас, дураков, учи да учи, а спасиба и не дождешься!

— Юрка,— спросил я,— а где же я потом возьму остальную тридцатку?

— Наберешь! Наскребешь понемножку, а нет, так я за тебя аппарат выкуплю. Себе возьму, а ты накопишь денег, мне отдашь,— он тогда, аппарат, опять твой будет!

С тяжелым сердцем заплатил я десять рублей и понуро побрел к дому.

— Не скучай,— посоветовал мне на прощание Юрка.— Ты по вечерам садись на шестой или на метро и кати чуть что в Сокольники — там мы гуляем весело.

Дома в ящике для почты я нашел от Барышева записку. В ней он ругал меня за то, что я не зашел, и наказывал, чтобы я немедленно сообщил адрес Валентины начальнику подмосковного пионерского лагеря, куда они хотят позвать меня, чтобы я там побыл до Валентининого приезда.

Я, конечно, обрадовался, но... то не было чернил, то конверта, и адрес я послал только дня через четыре.

А тут беда пришла новая.

Как там на счетах прикидывал Юрка: кило да полкило — это его дело, но деньги, которых и так осталось мало, таяли с быстротой совсем непонятной.

С утра начинал я экономить. Пил жидкий чай, съедал только одну булочку и жадничал на каждом куске сахару. Но зато к обеду, подгоняемый голодом, накупал я наспех совсем не то, что было надо. Спешил, торопился, проливал, портил. Потом от страха, что много истратил, ел без аппетита, и наконец, злой, полуголодный, махнув на все рукой, мчался покупать мороженое. А потом в тоске слонялся без дела, ожидая наступления вечера, чтобы умчаться на метро в Сокольники.

Странная образовалась вокруг меня компания. Как мы веселились? Мы не играли, не бегали, не танцевали. Мы переходили от толпы к толпе, чуть задевая прохожих, чуть толкая, чуть подсмеиваясь. И всегда у меня было ощущение: то ли мы за кем-то следим, то ли мы что-то непонятное ищем.

Вот «огонь-ребята» улыбнулись, переглянулись. Молчок, кивок, разошлись, а вот и опять сошлись. Был во всех их поступках и движениях непонятный ритм и смысл,

до которого я тогда не доискивался. А доискаться, как теперь я вижу, было совсем и не трудно.

Иногда к нам подходили взрослые. Одного, высокого, с крючковатым облупленным носом, я запомнил. Отойдя в сторонку, Юрка отвечал ему что-то коротко, быстро и мял руками свою клетчатую кепку. Возвращаясь к нашей компании, он вытер платком взмокший лоб, из чего я заключил, что этого носатого даже сам Юрка побаивался.

Я спросил у Юрки:

— Кто это?

— Это артист,— объяснил мне Юрка.— Он двоюродный брат Шаляпина и женат на дочери начальника милиции, которая мне приходится теткой. Во время пожара он потерял голос, но ему выхлопотали пенсию, чтобы он приходил сюда пить нарзан и успокаивать свои нервы.

Я посмотрел на Юрку: не смеется ли? Но он смотрел мне в глаза прямо, почти строго и совсем не смеялся.

В тот же вечер, попозже, меня угостили пивом. Стало весело. Я смеялся, и все кругом смеялись тоже. Подсел носатый человек и стал со мной разговаривать. Он расспрашивал меня про мою жизнь, про отца, про Валентину. Что молол я ему — не помню. И как я попал домой — не помню тоже

Очнулся я уже у себя в кровати. Была ночь. Свет от огромного фонаря, что стоял у нас во дворе, против метростроевской шахты, бил мне прямо в глаза. Пошатываясь, я встал, подошел к крану, напился, задернул штору, лег, посадил к себе под одеяло котенка и закрыл глаза.

И опять, как когда-то раньше, непонятная тревога впорхнула в комнату, легко зашуршала крыльями, осторожно присела у моего изголовья и, в тон маятнику от часов, стала меня баюкать:

Ай-ай!
Ти-ше!
Слы-шишь?
Ти-ше!

А котенок урчал на моей груди: мур... мур... иногда замолкая и, должно быть, прислушиваясь к тому, как что-то скребется у меня на сердце.

...Денег у меня оставалось всего двадцать рублей. Я проклинал себя за свою лень — за то, что я не вовремя отправил в лагерь кавказский адрес Валентины, и теперь, конечно, ее ответ придет еще не скоро. Как я буду жить — этого я не знал. Но с сегодняшнего же дня я решил жить по-иному.

С утра взялся я за уборку квартиры. Мыл посуду, выносил мусор, вычистил и вздумал было прогладить свою рубаху, но сжег воротник, начадил и, откашливаясь и чертыхаясь, сунул утюг в печку.

Днем за работой я крепился. Но вечером меня снова потянуло в Сокольники. Я ходил по пустым комнатам и пел песни. Ложился, вставал, пробовал играть с котенком и в страхе чувствовал, что дома мне сегодня все равно не усидеть. Наконец я сдался. «Ладно,— подумал я,— но это будет уже в последний раз».

Точно кто-то за мной гнался, выскочил я из дому и добежал до метро. Поезда только что прошли в обе стороны, и на платформах никого не было.

Из темных тоннелей дул прохладный ветерок. Далеко под землей тихо что-то гудело и постукивало. Красный глаз светофора глядел на меня не мигая, тревожно.

И опять я заколебался.

Ай-ай!
Ти-ше!
Слы-шишь?
Ти-ше!

Вдруг пустынные платформы ожили, зашумели. Внезапно возникли люди. Они шли, торопились. Их было много, но становилось все больше — целые толпы, сотни... Отражаясь на блестящих мраморных стенах, замелькали их быстрые тени, а под высокими светлыми куполами зашумело, загремело разноголосое эхо.

И тут я понял, что этот народ едет веселиться в Парк культуры, где сегодня открывается блестящий карнавал. Тогда я обернулся, перебежал на другую платформу и вскочил в поезд, который шел в противоположную от Сокольников сторону.

Я подошел к кассе. Оказывается, без масок в парк никого не впускали. Сзади напирала очередь, и раздумывать было некогда. Я заплатил два рубля за маску, два

за вход и, пройдя через контроль, смешался с веселой толпой.

Бродил я долго, но счастья мне не было. Музыка играла все громче и громче. Было еще светло, и с берега пускали разноцветные дымовые ракеты. Пахло водой, смолой, порохом и цветами. Какие-то монахи, рыцари, орлы, стрекозы, бабочки со смехом проносились мимо, не задевая меня и со мной не заговаривая.

В своей дешевенькой полумаске из пахнувшего клеем картона я стоял под деревом, одинокий, угрюмый, и уже сожалел о том, что затесался в это веселое, шумливое сборище.

Вдруг — вся в черном и в золотых звездах — вылетела из-за сиреневого куста девчонка. Не заметив меня, она быстро наклонилась, поправляя резинку высокого чулка; полумаска соскользнула ей на губы. И сердце мое сжалось, потому что это была Нина Половцева.

Она обрадовалась, схватила меня за руки и заговорила:

— Ах, какое, Сереженька, горе! Ты знаешь, я потерялась. Где-то тут сестра Зинаида, подруги, мальчишки... Я подошла к киоску выпить воды. Вдруг — трах! бабах! — труба... пальба... Бегут какие-то солдаты — все в стороны, все смешалось; я туда, я сюда, а наших нет и нет... Ты почему один? Ты тоже потерялся?

— Нет, я не потерялся,— мне никого не надо. Но ты не бойся, мы обыщем весь парк, и мы их найдем. Постой,— помолчав немного, попросил я,— не надевай маску. Дай-ка я на тебя посмотрю, ведь мы с тобой давно уже не виделись.

Было, очевидно, в моем лице что-то такое, от чего Нина разом притихла и смутилась. Прекрасны были ее виноватые глаза, которые глядели на меня прямо и открыто.

Я крепко пожал ее руку, рассмеялся и потащил ее за собой.

...Мы обшарили почти весь сад. Мы взбирались на цветущие холмы, спускались в зеленые овраги, бродили меж густых деревьев и натыкались на старинные замки. Не раз встречались на нашем пути веселые пастухи, отважные охотники и мрачные разбойники. Не раз попадались нам навстречу добрые звери и злобные страшилы и чудовища.

Маленький черный дракон, широко оскалив зубастую пасть, со свистом запустил мне еловой шишкой в спину. Но, погрозив кулаком, я громко пообещал набить ему морду, и с противным шипением он скрылся в кустах, должно быть выжидать появления другой, более трусливой жертвы.

Но мы не нашли тех, кого искали, вероятно потому, что волшебный дух, который вселился в меня в этот вечер, нарочно водил нас как раз не туда, куда было надо. И я об этом догадывался и тихонько над этим смеялся.

Наконец мы устали, присели отдохнуть, и тут опечаленная Нина созналась, что она хочет есть, пить, а все деньги остались у старшей сестры Зинаиды. Я счастливо улыбнулся и, позабыв все на свете, выхватил из кармана бумажник.

— Деньги! А это что — не деньги?

Мы ужинали, я покупал кофе, конфеты, печенье, мороженое.

За маленьким столиком под кустом акации мы шутили, смеялись и даже осторожно вспоминали старину: когда мы были так крепко дружны, писали друг другу письма и бегали однажды тайком в кино.

— Сережа,— с тревогой заметила Нина,— ты, я вижу, что-то очень много тратишь.

— Пустое, Нина! Я рад. Постой-ка, я куплю вот это...

Отражая бесчисленные огни, сверкая и вздрагивая, подплыла к нашему столику огромная связка разноцветных шаров. Я выбрал Нине голубой, себе — красный, и мы вышли на площадку. Да и все повскакали, ожидая пуска фейерверка.

Крепко держась за руки, мы шли по аллее. Легкие упругие шары болтались и хлопали над головами.

Вдруг свет погас, померкли луна и звезды, потому что ударил залп и тысяча стремительных ракет умчалась и затанцевала в небе.

— Когда я буду большая,— задумчиво сказала Нина,— я тоже что-нибудь такое сделаю.

— Какое?

— Не знаю! Может быть, куда-нибудь полечу. Или, может быть, будет война. Смотри, Сережа, огонь! Ты будешь командиром батареи. Ого! Тогда берегитесь... Смотри, Сережа! Огонь... огонь... и еще огонь!

— Что ты бормочешь, глупая! — засмеялся я.— Ну

хорошо, я буду командиром батареи, а потом я буду тяжело ранен...

— Но ты же выздоровеешь,— уверенно подсказала Нина.

— Ну хорошо, а потом?

— А потом? — Нина улыбнулась.— А потом... потом... Посмотри, Сережа, наши шары над головой запутались.

Я вынул нож, обрезал концы бечевок и взял оба шара в руки.

— Гляди, Нина: голубой шар — это ты, красный — это я. Раз, два... полетели!..

Шары вздрогнули и рванулись к огненному небу.

— Не жалей,— сказал я,— им там хорошо будет. Смотри, Нина, ты летишь, а я тебя догоняю. Вот догнал!

— Но ты сейчас зацепишься за антенну! Правей лети, глупый, правее! Сережа! Почему это я лечу прямо, а ты все крутишься да крутишься?

— Ничего не кручусь. Это ты сама вертишься и все куда-то от меня вбок да вбок. Вот погоди, нарвешься на ракету и сгоришь. Ага, испугалась?!

Небо еще раз ослепительно вспыхнуло, и нам хорошо было видно, как два наших шарика дружно мчались в заоблачную высь...

Ракеты погасли. Стало темно. Потом зажглись огни фонарей, и при их свете мы увидали совсем неподалеку от нас сестру Нины Зинаиду и всю их компанию.

Пора было расставаться.

— Нина,— спросил я медленно и обдумывая каждое слово,— можно, я изредка буду тебе звонить?

— Звони! — сказала она.— Дай карандаш, я запишу тебе наш телефон. У нас теперь новый.

Я дал.

— Нина,— спросил я,— а если подойдет к телефону твой отец и спросит, кто звонит? То сказать как?

— Так и скажи, что ты звонишь.

Она подумала и уже твердо добавила:

— Да, да, так и скажи! Отец Валентину не любит, но о тебе он всегда спрашивает.

Вот она попрощалась, побежала к сестре, и, по-видимому, между ними сейчас же вспыхнул спор: кто от кого потерялся. Потом, обнявшись, они пошли по аллее к выходу. Сверкнули еще раз золотые звездочки на ее черном платье, и она исчезла.

...Ей тогда было тринадцать — четырнадцатый, и она училась в шестом классе двадцать четвертой школы.

Ее отец, Платон Половцев, инженер, был старым другом моего отца.

Когда отца арестовали, он сначала не хотел этому верить. Звонил нам по телефону и обнадеживал, что все это, наверное, ошибка.

Когда же выяснилось, что никакой ошибки нет, он помрачнел, снял, говорят, со своего стола фотографию, где, опираясь на эфесы сабель, стояли они с отцом возле развалин какого-то польского замка, и что-то перестал к нам звонить и ходить с Ниной в гости. Да, он не любил Валентину. И он осуждал отца. Я не сержусь на него. Он прямой, высокий, с потертым орденом на полувоенном френче.

Слава его скромна и высока.

Он дорожил своим честным именем, которое пронес через нужду, войны, революцию...

И на что ему была нужна дружба с ворами!

Во дворе мне сказали, что прачка приходила два раза. Белье оставила у дворника, дяди Николая, а за деньгами (пятнадцать рублей) придет завтра после обеда.

Я хотел поставить чайник — керосину не было. Хлеба тоже, денег тоже. Но мне на все наплевать было в этот вечер. Я бухнулся в постель и, не раздеваясь, заснул крепко.

Утром как будто кто-то подошел и сильно тряхнул мою кровать. Я вскочил — никого не было. Это будила меня моя беда. Нужно было где-то доставать денег. Но где? Что я, рабочий, служащий или хотя бы дворник, как дядя Николай, который, глядишь, тому дров наколол, тому ведро вынес, тому ковер вытряхнул?..

Однако, зажмурив глаза, я упорно твердил только одно: «Достать, достать... все равно достать!»

Надо было выкупить фотоаппарат, продать его тут же рядом в скупочный магазин, отдать деньги прачке, а на остаток начинать жить по-новому.

Но где взять тридцать рублей на выкуп?

И сразу же: «А что же такое, если не деньги, лежит в запертом ящике письменного стола?»

Конечно, догадливая Валентина не все взяла с собой на Кавказ, а, наверное, часть оставила дома, для того чтобы осталось на первые расходы по возвращении. Тогда

будет все хорошо. Тогда я подберу ключ, возьму тридцатку, выкуплю аппарат, продам его, отдам деньги прачке, тридцатку положу обратно в ящик, а на остаток буду жить скромно и тихо, дожидаясь того времени, когда меня заберут в лагерь.

Ну, до чего же все просто и замечательно!

Но так как, конечно, ничего замечательного в том, чтобы лезть за деньгами в чужой ящик, не было, то остатки совести, которые слабо барахтались где-то в моем сердце, подняли тихий шум и вой. Я же грозно прикрикнул на них и опрометью бросился к дворнику, дяде Николаю, доставать напильник.

— Зачем тебе напильник? — недоверчиво спросил дворник.— Все хулиганство! Вечор тоже мальчишка из шестнадцатой квартиры попросил отвертку, а сам, чертяка, чужой ящик для писем развинтил, котенка туда сунул, да и заделал обратно. Жиличка пошла газеты вынимать, а котенок орет, мяучит. Газету исцарапал да полителеграммы изодрал от страха. Насилу разобрали. Не то в телеграмме «приезжай», не то «не приезжай», не то «подожди езжать, сам приеду».

— Мне, дядя Николай, такими глупостями заниматься некогда,— сказал я.— У меня радиоприемник сломался. Ну вот... там подточить надо.

— То-то, глупостями не заниматься! Что это к нам во двор этот прощелыга Юрка зачастил? Ты, парень, смотри! Тут хорошего дела не будет. Возьми напильник в ящике. Да белье захвати. Вон за шкапом узел. Прачка в обед за деньгами прийти обещалась. Отец-то ничего не пишет?

— Пишет! — схватив напильник и взваливая на плечи узел, ответил я.— Он, дядя Николай, все что-то там взрывает... грохает... Я, дядя Николай, расскажу потом, а сейчас некогда.

Отовсюду, где только мог, я собрал старые ключи и, отложив два, взялся за дело.

Работал я долго и упрямо. Испортил один ключ, принялся за второй. Изредка только отрывался, чтобы напиться из-под крана. Пот выступал на лбу, пальцы были исцарапаны, измазаны опилками и ржавчиной. Я прикладывал глаз к замочной скважине, ползал на коленях, освещал ее огнем спички, смазывал замок из масленки от швейной машины, но он упирался, как за-

колдованный. И вдруг — крак! И я почувствовал, как ключ туго, со скрежетом, но все же поворачивается.

Я остановился перевести дух. Отодвинул табуретку, собрал и выбросил в ведро мусор, опилки, сполоснул грязные, замасленные руки и только тогда вернулся к ящику.

Дзинь! Готово! Выдернул ящик, приподнял газетную бумагу и увидел черный, тускло поблескивающий от смазки боевой браунинг.

Я вынул его — он был холодный, будто только что с ледника. На левой половине его рубчатой рукоятки небольшой кусочек был выщерблен. Я вынул обойму; в ней было шесть патронов, седьмого недоставало.

Я положил браунинг на полотенце и стал перерывать ящик. Никаких денег там не было.

Злоба и отчаяние охватили меня разом. Полдня я старался, бился, потратил столько драгоценного времени — и нашел совсем не то, что мне было надо.

Я сунул браунинг на прежнее место, закрыл газетой и задвинул ящик.

Новое дело! В обратную сторону ключ не поворачивался, и замок не закрывался. Мало того! Вынуть ключ из скважины было теперь невозможно, и он торчал, бросаясь в глаза сразу же от дверей. Я вставил в ушко ключа напильник и стал, как рычагом, надавливать. Кажется, поддается! Крак — и ушко сломалось; теперь еще хуже! Из замочной скважины торчал острый безобразный обломок.

В бешенстве ударил я каблуком по ящику, лег на кровать и заплакал.

Вдруг знакомый протяжный вой донесся из глубины двора через форточку. Это уныло кричал старьевщик.

Я вскочил и распахнул окно. Во дворе, кроме маленьких ребятишек, никого не было. Молча поманил я рукой старьевщика, и, пока он отыскивал вход, пока поднимался, я озирался по сторонам, прикидывал, что бы это такое ему продать.

Вон старые брюки. Вон куртка — локоть порван. А если прибавить коньки? До зимы долго. Вон рубашка — все равно рукава мне коротки. Футбольный мяч! Наплевать... теперь не до игры. Я свалил все в одну кучу, вытер слезы и кинулся на звонок.

Вошел старьевщик. Цепкими руками он ловко пере-

рыл всю кучу, равнодушно откинул коньки. Крючковатым пальцем для чего-то еще больше надорвал дыру на локте куртки, высморкался и сказал:

— Шесть рублей.

Как шесть рублей? За такую кучу всего шесть рублей, когда мне надо тридцать?

Я попробовал было торговаться. Но он стоял молча и только изредка лениво повторял:

— Шесть рублей. Цена хорошая.

Тогда я притащил старые валенки, кухонные полотенца, мешок из-под картошки, отцовские сандалии, наушники от радиоприемника и облезлую заячью шапку. Опять так же быстро перебрал он вещи, проткнул пальцем в валенках дыру, отодвинул наушники и сказал:

— Пять рублей!

Как пять рублей? За такую кучу, которая теперь заняла весь угол,— шесть да пять, всего одиннадцать?

— Одиннадцать рублей! — вскидывая сумку, сказал старьевщик.— Хочешь — отдавай, нет — пойду дальше.

— Постой! — с испугом, который не укрылся от его маленьких жестких глаз, сказал я.— Ты погоди, я сейчас еще...

Я пошел в соседнюю комнату. Старье больше не подвертывалось, и я раскрыл платяной шкап.

Сразу же на глаза мне попалась серо-коричневая меховая горжетка Валентины. Что это был за мех, я не знал. Но я уже несколько раз слышал, что она чем-то Валентине не нравится.

Я сдернул ее с крючка. Она была пушистая, легкая и под лучами солнца чуть серебрилась. Стараясь, насколько возможно, быть спокойным, я вынес горжетку и небрежно бросил ее перед старьевщиком на стол.

Стоп! Теперь уже я подметил, как блеснули его рысьи глазки и как жадно схватил он мех в руки!

Теперь цену он сказал не сразу. Он помял эту вещичку в руках, чуть растянул ее, поднес близко к глазам и понюхал.

— Семьдесят рублей,— тихо сказал он.— Больше не дам ни копейки.

«Ого! Семьдесят!» — испугался я, но так как отступать было уже поздно, то, собравшись с духом, я сказал:

— Как хочешь! Меньше чем за девяносто я не отдам.

— Молодой иунуш,— громко сказал тогда старьев-

щик,— я не спорю! Может быть, эта вещь и стоит девяносто рублей. Надо даже думать, что стоит. Но вещь эта не твоя, молодой иунуш, и как бы нам с тобой за нее не попало. Семьдесят рублей да одиннадцать — восемьдесят один. Получай деньги — и все дело.

— Как ты смеешь! — забормотал я.— Это мое. Это не твое дело. Это мне подарили.

— Я не спорю,— усмехнулся старьевщик.— Я не спорю. Может быть, и есть такой порядок, чтобы молодая девушка носила сапоги и шинель солдатский, но такой порядок, чтобы молодой иунуш носил дамские туфли и меховой горжетка,— такой порядок нет и никогда не было. Бери скорей, иунуш, деньги — и конец делу.

Я взял деньги. Но конец делу не пришел. Дела мои печальные только еще начинались.

На другой день я записался в библиотеку и взял две книги. Одна из них была о мальчике-барабанщике. Он убежал от своей злой бабки и пристал к революционным солдатам французской армии, которая сражалась одна против всего мира.

Мальчика этого заподозрили в измене. С тяжелым сердцем он скрылся из отряда. Тогда командир и солдаты окончательно уверились в том, что он — вражеский лазутчик.

Но странные дела начали твориться вокруг отряда.

То однажды, под покровом ночи, когда часовые не видали даже конца штыка на своих винтовках, вдруг затрубил военный сигнал тревогу, и оказывается, что враг подползал уже совсем близко.

Толстый же и трусливый музыкант Мишо, тот самый, который оклеветал мальчика, выполз после боя из канавы и сказал, что это сигналил он. Его представили к награде.

Но это была ложь.

То в другой раз, когда отряду приходилось плохо, на оставленных развалинах угрюмой башни, к которой не мог подобраться ни один смельчак доброволец, вдруг взвился французский флаг, и на остатках зубчатой кровли вспыхнул огонь сигнального фонаря. Фонарь раскачивался, метался справа налево и, как было условлено, сигналил соседнему отряду, взывая о помощи. Помощь пришла.

А проклятый музыкант Мишо, который еще с утра

случайно остался в замке и все время валялся пьяный в подвале возле бочек с вином, опять сказал, что это сделал он, и его снова наградили и произвели в сержанты.

Ярость и негодование охватили меня при чтении этих строк, и слезы затуманили мне глаза.

«Это я... то есть это он, смелый, хороший мальчик, который крепко любил свою родину, опозоренный, одинокий, всеми покинутый, с опасностью для жизни подавал тревожные сигналы».

Мне нужно было с кем-нибудь поделиться своим настроением. Но никого возле меня не было, и только, зажмурившись, лежал и мурлыкал на подушке котенок.

— Это я — солдат-барабанщик! Я тоже и одинокий и заброшенный... Эй ты, ленивый дурак! Слышишь? — сказал я и толкнул котенка кулаком в теплый пушистый живот.

Оскорбленный котенок вскочил, изогнулся и, как мне показалось, злобно посмотрел на меня своими круглыми зелеными глазами.

— Мяу! — ответил он.— Ты врешь, ты не солдат-барабанщик. Барабанщики не лазят по чужим ящикам и не продают старьевщикам Валентининых горжеток. Барабанщики бьют в круглый барабан, сначала — трим-тарарам! потом — трум-тара-рам! Барабанщики — смелые и добрые. Они до краев наливают блюдечко теплым молоком и кидают в него шкурки от колбасы и куски мягкой булки. Ты же забываешь налить даже холодной воды и швыряешь на пол только сухие корки.

Он спрыгнул и, опасаясь мести, поспешил убраться под диван. И, вероятно, сидел там долго, насторожившись и прислушиваясь: не полез ли я за кочергой или за щеткой?

Но я давно уже крепко спал.

Утром, выбегая за хлебом, я увидел, что дверь с лестницы к нам в квартиру была приоткрыта. И я вспомнил, что, зачитавшись на ночь, это я сам забыл ее закрыть.

А так как голова моя все время была занята мыслью о предстоящем возвращении Валентины и о расплате за взломанный ящик, за продажу вещей, то этот пустяковый случай натолкнул меня на такой выход:

«А что, если (не по ночам, это страшно) днем уходить, оставив дверь незапертой? Тогда, вероятно, придут на-

стоящие воры, кое-что украдут, и заодно на них можно будет свалить и все остальные беды».

За чаем я решил, что замысел мой совсем не плох. Но так как мне жалко было, чтобы воры забрали что-нибудь ценное, то я вытер досуха ванну, свалил туда все белье, одежду, обувь, скатерть, занавески, так что в квартире стало пусто, как во время уборки перед Первым мая. Утрамбовав все это крепко-накрепко, я покрыл ванну газетами, завалил старыми рогожами, оставшимися из-под мешков с известкой, набросал сверху всякого хлама: сломанные санки, палки от лыж, колесо от велосипеда. И так как ванная у нас была без окон, то я поставил стул на стол и отвинтил с потолка электрическую лампочку.

«Теперь,— злорадно подумал я,— пусть приходят!»

В течение трех дней я ни разу не запер квартиры на ключ. Но — странное дело! — воры не приходили. И это было тем более непонятно, что у нас в доме с утра до вечера только и было слышно: щелк... щелк! Замок, звонок, опять замок.

Запирали дверь, отлучаясь даже на минуту к парадному, к газетным ящикам... В страхе, запыхавшись, возвращались с полпути, чтобы проверить, хорошо ли закрыто.

Кроме дверных, навешивали замки наружные. Крючки, цепочки...

А тут три дня стоит квартира незапертой и даже дверь чуть приоткрыта, а ни один вор не сует туда своего носа!

Нет! Неудачи валились на меня со всех сторон.

Я получил от Валентины открытку с требованием ответить, все ли дома в порядке и принесла ли белье прачка.

И даю слово, что если бы Валентина спросила меня, нет ли у меня какой-нибудь беды, не скучаю ли, или хотя бы прислала простую желтую открытку, а не такую, где скалы, орлы, море дразнили и напоминали мне о красивой и совсем не похожей на мою жизнь, и если бы даже, наконец, на протяжении коротенького письма ровно трижды она не упомянула мне о прачке, как будто это было самое важное,— то я честно написал бы ей всю правду. Потому что хотя приходилась она мне не

матерью и даже теперь не мачехой, но была она все же человек не злой, когда-то баловала меня и даже иногда покрывала мои озорные проделки, особенно когда я помалкивал и не говорил отцу, кто ей без него звонил по телефону.

И я ответил ей коротко, что жив, здоров, белье прачка принесла и беспокоиться ей нечего. Я отнес письмо и, насвистывая, притопывая (то есть семь, мол, бед — один ответ), поднимался к себе по лестнице.

Котенок, точно поджидая меня, сидел на лестничной площадке. Дверь, по обыкновению, была чуть приоткрыта. Но стоп! Легкий шум — как будто бы кто-то звякнул стаканом о блюдце, потом подвинул стул — донесся до моего слуха. Я быстро взлетел на пол-этажа выше.

Вор был в нашей квартире!...

Затаив дыхание, я насторожился. Прошла минута, другая, три, пять... Вор что-то не торопился. Я слышал его шаги, когда несколько раз он проходил по коридору близ двери. Слышал даже, как он высморкался и кашлянул.

— Тим-там! Тра-ля-ля! Трум! Трум! — долетело до меня из-за двери.

Было очень странно: вор напевал песню. Очевидно, это был бандит смелый, опасный. И я уже заколебался, не лучше ли будет спуститься и крикнуть дяде Николаю, который поливал сейчас из шланга двор. Но вот за дверьми, должно быть с кухни, раздался какой-то глухой шум. Долго силился я понять, что это такое. Наконец понял: это шумел примус. Это уже не лезло ни в какие ворота! Вор, очевидно, кипятил чайник и собирался у нас завтракать.

Я спустился на площадку. Вдруг дверь широко распахнулась, и передо мной оказался низкорослый толстый человек в сером костюме и желтых ботинках.

— Друг мой,— спросил он,— ты из этой, пятнадцатой квартиры?

— Да,— пробормотал я,— из этой.

— Так заходи, сделай милость. Я тебя через окошко еще полчаса тому назад видел, а ты полез наверх и чего-то прячешься.

— Но я не думал, я не знал, зачем вы тут... поете?

— Понимаю!— воскликнул толстяк.— Ты, вероятно, думал, что я жулик, и терпеливо выжидал, как развернет-

ся ход событий. Так знай же, что я не вор и не разбойник, а родной брат Валентины, следовательно — твой дядя. А так как, насколько мне известно, Валентина вышла замуж и твоего отца бросила, то, следовательно, я твой бывший дядя. Это будет совершенно точно.

— Она уехала с мужем на Кавказ,— ответил я,— и вернется не скоро.

— Боги великие! — огорчился дядя.— Дорогая сестра уехала, так и не дождавшись родного брата! Но она, я надеюсь, предупредила тебя о том, что я приеду?

— Нет, она не предупредила,— ответил я, виновато оглядывая ободранную мной и неприглядную нашу квартиру.— Когда она уезжала, она, должно быть, растерялась, потому что разбила блюдце и в кастрюльку с кофе насыпала соли.

— Узнаю, узнаю беспечное созданье! — укоризненно качнул головой толстяк.— Помню еще, как в далеком детстве она полила однажды кашу вместо масла керосином. Съела и страдала, крошка, ужасно. Но скажи, друг мой, почему это у вас в квартире как-то не того?.. Сарай — не сарай, а как бы апартаменты уездного мелитопольского комиссара после веселого налета махновцев?

— Это не после налета! — растерянно оправдывался я.— Это я сам все посодрал и попрятал в ванную, чтобы не пришли и не обокрали воры.

— Похвально! — одобрил дядя.— Но почему же, в таком случае, парадную дверь ты оставляешь открытой?

На мое счастье, в кухне закипел чайник, и неприятный этот разговор оборвался.

Бывший мой дядя оказался человеком веселым, энергичным. За чаем он приказал мне разобрать мой склад в ванной, а также сходить к дворничихе, чтобы она перечистила посуду, вымыла пол и привела квартиру в порядок.

— Неприлично,— объяснил он.— Ко мне могут прийти люди, товарищи в боях, друзья детства,— и вдруг такое безобразие!

После этого он спросил, есть ли у меня деньги. Похвалил за бережливость, дал на расходы тридцатку и ушел до вечера побродить по Москве, которую, как он говорил, не видел уже лет десять.

Я побежал к дворничихе и сказал ей насчет уборки.

— Дядечка приехал! — похвалился я.— Добрый! Теперь мне будет весело.

— И то лучше,— сказала дворничиха.— Виданное ли дело — оставлять квартиру на несмышленого ребенка! Дитё — оно дитё и есть. Сейчас умное, а отвернулся — смотришь, а оно еще совсем дурак.

— Это которые маленькие — дураки,— обиделся я.— А я уже не маленький.

— Э, милый! Бывает дурак маленький, бывает и большой. Моему Ваське шестнадцатый. Раньше в таку пору женили, а он достал железу, набил серой, хлопнул — да вот три недели в больнице отлежал. Хорошо еще, только лицо ковырнуло, а глаза не вышибло. Да что я тебе говорю: ты, чай, про это дело лучше моего знаешь!

Я что-то промычал и быстро исчез, потому что в Васькином деле была и моей вины доля.

Ловко и охотно помогал я дворничихе убирать квартиру. К вечеру стало у нас чисто, прохладно, уютно. Я постлал на стол новую скатерть с бахромой, сбегал на угол, купил за рубль букет полевых цветов и поставил их в синюю вазу.

Потом умылся, надел чистую рубаху и, чтобы скоротать до прихода дяди время, сел писать новое письмо Валентине.

«Дорогая Валя! — писал я.— К нам приехал твой брат. Он очень веселый, хороший и мне сразу понравился. Он рассказал мне, как ты в детстве нечаянно полила кашу керосином. Я не удивляюсь, что ты ошиблась, но непонятно, как это ты ее съела? Или у тебя был насморк?..»

Письмо осталось неоконченным, потому что позвонили и я кинулся в прихожую. Вошел дядя и с ним еще кто-то.

— Зажги свет! Где выключатель? — командовал дядя.— Сюда, старик, сюда! Не оступись... Здесь ящик... Дай-ка шляпу, я сам повешу... Сам, сам, для друга все сам. Прошу пожаловать! Повернись-ка к свету. Ах, годы!.. Ах, невозвратные годы!.. Но ты еще крепок. Да, да! Ты не качай головой... Ты еще пошумишь, дуб... Пошумишь! Знакомься, Сергей! Это друг моей молодости! Ученый. Старый партизан-чапаевец. Политкаторжанин. Много в жизни пострадал. Но, как видишь, орел!.. Коршун!.. Экие глаза! Экие острые, проницательные глаза! Огонь! Фонари! Прожекторы!..

Только теперь, на свету, я как следует разглядел дядиного знаменитого товарища. Если по правде сказать, то могучий дуб он мне не напоминал. Орла тоже. Это дядя в порыве добрых чувств перехватил, пожалуй, лишку.

У него была квадратная плешивая голова, на макушке лежал толстый, вероятно полученный в боях шрам. Лицо его было покорябано оспой, а опущенные кончики толстых губ делали лицо его унылым и даже плаксивым.

Он был одет в зеленую диагоналевую гимнастерку, на которой поблескивал орден Трудового Красного Знамени.

Дядя оглядел прибранную квартиру, похвалил за расторопность, и тут взор его упал на мое неоконченное письмо к Валентине.

Он пододвинул письмо к себе и стал читать...

Даже издали видно мне было, как неподдельное возмущение отразилось на его покрасневшем лице. Сначала он что-то промычал, потом топнул ногой, скомкал письмо и бросил его в пепельницу.

— Позор! — тяжело дыша, сказал он, оборачиваясь к своему заслуженному другу.— Смотри на него, старик Яков!

И дядя резко ткнул пальцем в мою сторону, а я обмер.

— Смотри, Яков, на этого человека — беспечного, нерадивого и легкомысленного. Он пишет письмо к мачехе. Ну, пусть, наконец (от этого дело не меняется), он пишет письмо к своей бывшей мачехе. Он сообщает ей радостную весть о приезде ее родного брата. И как же он ей об этом сообщает? Он пишет слово «рассказ» через одно «с» и перед словом «что» запятых не ставит. И это наша молодежь! Наше светлое будущее! За это ли (не говорю о себе, а спрашиваю тебя, старик Яков!) боролся ты и страдал? Звенел кандалами и взвивал чапаевскую саблю! А когда было нужно, то шел, не содрогаясь, на эшафот... Отвечай же! Скажи ему в глаза и прямо.

Взволнованный, дядя устало опустился на стул, а старик Яков сурово покачал плешивой головой.

Нет! Не за это он звенел кандалами, взвивал саблю и шел на эшафот. Нет, не за это!

— Брось в печку! — с отвращением сказал дядя, показывая мне на скомканную бумагу.— Или нет, дай я сожгу сам.

Он чиркнул спичкой, бумага вспыхнула и оставила

на пепельнице щепотку золы, которую дядя тотчас же выкинул на ветер, за форточку.

Подавленный и пристыженный, я возился на кухне у примуса, утешая себя тем, что круто же, вероятно, приходится дядиным сыновьям и дочерям, если даже из-за одной какой-то несчастной ошибки он способен поднять такую бурю.

«Не вздумал бы он проэкзаменовать меня по географии,— опасливо подумал я.— Что-то тогда со мной будет!»

Однако дядя мой, очевидно, был вспыльчив, но отходчив. За чаем он со мной шутил, расспрашивал об отце и Валентине и наконец послал спать.

Я уже засыпал, когда кто-то тихонько вошел в мою комнату и начал шарить по стене, отыскивая выключатель.

— Кто это? — сквозь сон спросил я.— Это вы, дядя?

— Я. Послушай, дружок, у вас нет ли немного нашатырного спирту?

— Посмотрите в той комнате, у Валентины на полочке. Там йод, касторка и всякие лекарства. А что? Разве кому-нибудь плохо?

— Да старику не по себе. Пострадал старик, помучился. Ну, спи крепко.

Дядя плотно закрыл за собой дверь.

Через толстую стену голосов их слышно не было. Но вскоре через щель под дверью ко мне дополз какой-то въедливый, приторный запах. Пахло не то бензином, не то эфиром, не то еще какой-то дрянью, из чего я заключил, что дядя какое-нибудь лекарство нечаянно пролил.

Прошла неделя. Днем дяди дома не было. К вечеру он возвращался вместе со стариком Яковом, и по большей части тот оставался у нас ночевать.

Однажды утром я сидел в ванной комнате и терпеливо заряжал кассеты для только что выкупленного фотоаппарата.

Тут кто-то позвонил дяде по телефону, и, чем-то встревоженный, он заторопил старика Якова. Я закричал через дверь, чтобы они погодили уходить еще минуточку, потому что дядя еще не видал моего фотоаппарата и мне хотелось сейчас же снять обоих друзей, поразив их своим

в этом деле искусством. Однако дяде было, как видно, не до меня. Хлопнула дверь. Они вышли.

Минуту спустя я выскочил из ванной и, раздосадованный, щурясь на солнце, заглянул в окно.

Дядя и старик Яков только что вышли за ворота и свернули направо.

Тогда я схватил фотоаппарат и помчался вслед за ними.

«Хорошо, теперь будет еще интересней! Где-либо на перекрестке я забегу сбоку или дождусь, пока они остановятся покупать папиросы. Тогда — хлоп! — и готово. Когда же они вернутся к вечеру, то на столе уже будет стоять их готовая фотография. Под стеклом, в рамке и с надписью: «Дорогому дядечке от такого-то...» Удивление, думал я, и радость будут безмерны.

Долго ловчился я поймать дядю в фокус. Но то его заслоняли, то меня толкали прохожие или пугали трамваи и автобусы.

Наконец-то, на мое счастье, дядя и старик Яков свернули к маленькому скверу возле какой-то церквушки. Сели на скамью и закурили.

Быстро примостился я меж двумя фанерными киосками на пустых ящиках. Поставил выдержку в одну двадцать пятую. Щелк! Готово! Было самое время, потому что секундой позже чья-то широкая спина заслонила от меня дядю и Якова.

На всякий случай я переменил кассету, снова нацелился. Вот дядя и старик Яков встали. Приготовиться! Щелк!

Но рука дрогнула, и второй снимок, вероятно, был испорчен, потому что сутулый, широкоплечий человек повернулся, и я удивился, узнав в нем того самого артиста и брата Шаляпина, с которым познакомил меня Юрка и который угощал меня в Сокольниках пивом.

В другое время я бы, вероятно, над таким странным совпадением задумался, но сейчас мне было некогда. И, вскочив на трамвай, я покатил домой, чтобы успеть приготовить к вечеру неожиданный подарок.

В ванной я нечаянно разбил красную лампочку. Тогда, чтобы не перепутать, я сунул обе кассеты со снимками в ящик Валентины и побежал за новой лампой в магазин. Но когда я вернулся, то дядя был уже дома.

Он строго подозвал меня к себе.

В одной руке он держал сломанное кольцо от ключа, другой он показывал мне на торчавший из ящика железный обломок.

— Послушай, друг мой,— спросил он в упор.— Я нашел эту штучку на подоконнике, а так как я уже разорвал себе брюки об этот торчок из ящика, то я задумался. Приложил это кольцо сюда. И что же выходит?..

Все рухнуло! Я начал было что-то объяснять, бормотать, оправдываться — сбился, спутался и наконец, заливаясь слезами, рассказал дяде всю правду.

Дядя был мрачен. Он долго ходил по комнате, насвистывая песню: «Из-за леса, из-за гор ехал дедушка Егор».

Наконец он высморкался, откашлялся и сел на подоконник.

— Время! — грустно сказал дядя.— Тяжкие разочарования! Прыжки и гримасы! Другой бы на моем месте тотчас же сообщил об этом в милицию. Тебя бы, мошенника, забрали, арестовали и отослали в колонию. И сестра Валентина, которая теперь тебе даже не мачеха, с ужасом, конечно, отвернулась бы от такого пройдохи. Но я добр! Я вижу, что ты раскаиваешься, что ты глуп, и я тебя не выдам. Жаль, что нет бога и тебе, дубина, некого благодарить, за то, что у тебя, на счастье, такой добрый дядя.

Несмотря на то, что дядя ругал меня и мошенником и дубиной, я сквозь слезы горячо поблагодарил дорогого дядечку и поклялся, что буду слушаться его и любить до самой смерти. Я хотел обнять его, но он оттолкнул меня и выволок из соседней комнаты старика Якова, который там брился.

— Нет, ты послушай, старик Яков! — гремел дядя, сверкая своими круглыми, как у кота, глазами.— Какова пошла наша молодежь! — Тут он дернул меня за рукав.— Погляди, мошенник, на зеленую диагоналевую куртку этого, не скажу — старого, но уже постаревшего в боях человека! И что же ты на ней видишь?.. Ага, ты замигал глазами! Ты содрогаешься! Потому что на этой диагоналевой гимнастерке сверкает орден Трудового Знамени. Скажи ему, Яков, в глаза, прямо: думал ли ты во мраке тюремных подвалов или под грохот канонад, а также на холмах и равнинах мировой битвы, что ты сражаешься

за то, чтобы такие молодцы лазили по запертым ящикам и продавали старьевщикам чужие горжетки?

Старик Яков стоял с намыленной, недобритой щекой и сурово качал головой. Нет, нет! Ни в тюрьмах, ни на холмах, ни на равнинах он об этом совсем не думал.

Раздался звонок, просунулся в дверь дворник Николай и протянул дяде листки для прописки.

— Иди и помни! — отпустил меня дядя.— Рука твоя, я вижу, дрожит, старик Яков, и ты можешь порезать себе щеку. Я знаю, что тебе тяжело, что ты идеалист и романтик. Идем в ту комнату, и я тебя сам добрею.

Долго они о чем-то там совещались. Наконец дядя вышел и сказал мне, что сегодня вечером они со стариком Яковом уезжают, потому что до конца отпуска хотят пошататься по свету и посмотреть, как теперь живет и чем дышит родной край.

Тут дядя остановился, сурово посмотрел на меня и добавил, что сердце его неспокойно после всего, что случилось.

— За тобою нужен острый глаз,— сказал дядя.— И тебя сдержать может только рука властная и крепкая. Ты поедешь со мною, будешь делать все, что тебе прикажут. Но смотри, если ты хоть раз попробуешь идти мне наперекор, я вышвырну тебя на первой же остановке, и пусть дикие птицы кружат над твоей беспутной головой!

Ноги мои задрожали, язык онемел, и я дико взвыл от безмерного и неожиданного счастья.

«Какие птицы? Кто вышвырнет? — думал я.— Это добрый-то дядечка вышвырнет! А слушаться я его буду так... что прикажи он мне сейчас вылезть через печную трубу на крышу, и я, не задумавшись, полез бы с радостью».

Дядя велел мне быть к вечеру готовым и сейчас же вместе с Яковом ушел.

Я стал собираться. Достал белье, полотенце, мыло и осмотрел свою верхнюю одежду.

Брюки у меня были потертые, в масляных пятнах, и я долго возился на кухне, отчищая их бензином. Рубашку я взял серую. Она была мне мала, но зато в пути не пачкалась. Каблук у одного ботинка был стоптан, и, чтобы подровнять, я сдернул клещами каблук у другого, потом гвозди забил молотком и почистил ботинки ваксой.

Беда моя — это была кепка. Кепку, как известно, у мальчишек редко найдешь новую. Кепку закидывают на заборы, на крыши, бьют ею в спорах оземь. Кроме того, она часто заменяет футбольный мяч. В моей же кепке была дыра, которую я прожег у костра на ученической маевке. Если бы еще оставалась подкладка, то ее можно было бы замазать чернилами. Но подкладки не было, а мазать чернилами свой затылок мне, конечно, не хотелось.

Тогда я решил, что днем буду кепку держать в руках, будто бы мне все время жарко, а вечером сойдет и с дырой.

И только что я закончил свои приготовления, как вернулись дядя и Яков. Они принесли новенький чемодан, какие-то свертки и черный кожаный портфель, который дядя тотчас же бросил на пол и стал легонько топтать ногами.

От меня пахло скипидаром, ваксой, бензином. Я стоял, разинув рот, и мне начинало казаться, что дядя мой немного спятил.. Но вот он поднял портфель, улыбнулся, потянул носом, глянул и сразу же оценил мои старания.

— Хвалю,— сказал он.— Люблю аккуратность, хотя от тебя и несет, как от керосиновой лавки. Теперь же сними все эти балахоны, ибо в них ты мне напоминаешь церковного певчего, и надень вот это.

И он протянул мне сверток. В нем были короткие, до колен, защитного цвета штаны, такая же щеголеватая курточка с множеством карманов и карманчиков, желтые сандалии, пионерский галстук с блестящей пряжкой*, косая, как у летчика, пилотка и небольшой кожаный рюкзак.

Дрожащими руками я схватил все это добро в охапку и умчался переодеваться. И когда я вышел, то дядя всплеснул руками.

— Чкалов! — воскликнул он.— Молоков! Владимир Коккинаки!..* Орденов только не хватает — одного, двух, дюжины! Ты посмотри, старик Яков, какова растет наша молодежь! Эх, эх, далеко полетят орлята! Ты не грусти, старик Яков! Видно, капля и твоей крови пролилась недаром.

Вскоре мы собрались. Ключ от квартиры я отнес управдому, котенка отдал дворничихе.

Попрощался с дворником, дядей Николаем, и водо-

проводчиком Микешкиным, который, хлопая добрыми осовелыми глазами, сунул мне в руку горсть подсолнухов.

У ворот я остановился. Вот он, наш двор. Вот уже зажгли знакомый фонарь возле шахты Метростроя, тот, что озаряет по ночам наши комнаты. А вон высоко, рядом с трубой, три окошка нашей квартиры, и на пыльных стеклах прежней отцовской комнаты, где подолгу когда-то играли мы с Ниной, отражается луч заходящего солнца. Прощайте! Все равно там теперь пусто и никого нет.

Второпях я забыл у Валентины в ящике две израсходованные мною кассеты, но это меня огорчило сейчас мало.

Мы вышли на площадь. Здесь дядя пошел к стоянке такси и о чем-то долго там торговался с шофером.

Наконец он подозвал нас. Мы сели и поехали.

Я был уверен, что едем мы только до какого-либо вокзала. Но вот давно уже выехали мы на окраину, промчались под мостом Окружной железной дороги. Один за другим замелькали дачные поселки, потом и они остались позади. А машина все мчалась и мчалась и везла нас куда-то очень далеко.

Через девяносто километров, в город Серпухов, что лежит по Курской дороге, мы приехали уже ночью.

В потемках добрались мы до небольшого, окруженного садами домика, на крыше которого шныряли и мяукали кошки.

Я не заметил, чтобы приезду нашему были рады, хотя дядя говорил, что здесь живет его задушевный товарищ.

Впрочем, ничего удивительного в том не было.

Уехал так же года четыре тому назад с нашего двора мой приятель Васька Быков. А встретились мы с ним недавно... То да се — вот и все! Похвалились один перед другим перочинными ножами. У меня — кривой, с шилом, у него — прямой, со штопором. Съели по ириске да и разошлись восвояси.

Не всякая, видно, и дружба навеки!

В Серпухове мы прожили двое суток, и я удивлялся, что дядя, который так хотел посмотреть родной край, из садика, что возле дома, никуда не выходил.

Несколько раз я бегал за газетами, остальное время

валялся на траве и читал старую «Ниву»*. Мелькали передо мной портреты царей, императоров, русских и не русских генералов. Какие-то проворные палачи кривыми короткими саблями рубили головы пленным китайцам. А те, как будто бы так и нужно было, притихли, стоя на коленях. И не видать, чтобы кто-нибудь из них рванулся, что-нибудь палачам крикнул или хотя бы плюнул.

Я пошел поговорить об этом с дядей. Дядя читал только что полученную от почтальона телеграмму и был доволен. Он отобрал у меня затрепанную «Ниву» и сказал мне, что я еще молод и должен думать о жизни, а не о смерти. Кроме того, от таких картинок ночью может привязаться плохой сон.

Я рассмеялся и спросил, скоро ли мы куда-нибудь дальше поедем.

— Скоро,— ответил дядя.— Через час поедем на вокзал.

Он протянул руку за гитарой, лукаво глянул на меня и, ударив по струнам, спел такую песню:

Скоро спустится ночь благодатная,
Над землей загорится луна.
И под нею заснет необъятная
Превосходная наша страна.
Спят все люди с улыбкой умильною,
Одеялом покрывшись своим.
Только мы лишь, дорогою пыльною
До рассвета шагая, не спим.

— Трам-там-там! — Он закрыл ладонью струны и, довольный, рассмеялся.— Что, хороша песня? То-то! А кто сочинил? Пушкин? Шекспир? Анна Каренина? Дудки! Это я сам сочинил. А ты, брат, думал, что у тебя дядя всю жизнь только саблей махал да звенел шпорами. Нет, ты попробуй-ка сочини! Это тебе не то что к мачехе в ящик за деньгами лазить. Что же ты отвернулся? Я тебе любя говорю. Если бы я тебя не любил, то ты давно бы уже сидел в исправдоме*. А ты сидишь вот где: кругом аромат, природа. Вон старик Яков из окна высунулся, в голубую даль смотрит. В руке у него, кажется, цветок. Роза! Ах, мечтатель! Вечно юный старик-мечтатель!

— Он не в голубую даль,— хмуро ответил я.— У него

намылены щеки, в руках помазок, и он, кажется, уронил за окно стакан со своими вставными зубами.

— Бог мой, какое несчастье! — воскликнул дядя.— Так беги же скорей, бессердечный осел, к нему на помощь, да скажи ему заодно, чтобы он поторапливался.

Через час мы уже были на вокзале. Дядя был весел и заботлив. Он осторожно поддерживал своего друга, когда тот поднимался по каменным ступенькам, и громко советовал:

— Не торопись, старик Яков! Сердце у тебя чудесное, но сердце у тебя больное. Да, да! Что там ни говори — старые раны сказываются, а жизнь беспощадна. Вон столик. Все занято. Погоди немного, старина, дай осмотреться — вероятно, кто-нибудь захочет уступить место старому ветерану.

Чернокосая девушка взяла сверток и встала. Молодой лейтенант зашуршал газетой и подвинулся. Проворный официант подставил дяде второй стул, а я сел на вещи. Вскоре подошел носильщик и сказал, что мягких нет ни одного места. Дядю это нисколько не огорчило, и он велел брать жесткие.

Задрожали стекла, подкатил поезд. Мы вышли на платформу. И здесь, в сутолоке, передо мной вдруг мелькнуло знакомое лицо артиста из Сокольников. Человек этот был теперь в пенсне, в мягкой шляпе, на плечи его был накинут серый плащ; он что-то спросил у дяди, по-видимому, где буфет, и, поблагодарив, скрылся в толпе. Только что мы уселись, как звонок, гудок — и поезд тронулся.

Пока я торчал у окошка, раздумывая о странных совпадениях в человеческой жизни, дядя успел побывать в вагоне-ресторане. Вернувшись, он принес оттуда большой апельсин и подал его старику Якову, который сидел, уронив на столик голову.

— Съешь, Яков! — предложил дядя.— Но что с тобой? Ты, я вижу, бледен. Тебе нездоровится?

— Пройдет!— сморщив лицо, простонал Яков.— Конечно, трясет, толкает, но я потерплю!

— Он потерпит! — возмущенно вскричал дядя.— Он, который всю жизнь терпел такое, что иному не перетерпеть и за три жизни! Нет, нет! Этого не будет.

Я позову сейчас начальника поезда, и если он человек с сердцем, то мягкое место он тебе устроит.

— Сели бы к окошку да на голову что-нибудь мокрое положили. Вот салфетка, вода холодная,— предложила сидевшая напротив старушка.— А вы бы, молодой человек, потише курили,— обратилась она к лежавшему на верхней полке парню.— От вашего табачища и здорового легко вытошнить может.

Круглолицый парень нахмурился, заглянул вниз, но, увидав пожилого человека с орденом, смутился и папироску выбросил.

— Благодарю вас, благородная старушка,— сказал дядя.— Не знаю, сидели ли ваши мужья и братья по тюрьмам и каторгам, но сердце у вас отзывчивое. Эй, товарищ проводник! Попросите ко мне начальника поезда да откройте сначала это окно, которое, как мне кажется, приколочено к стенке семидюймовыми гвоздями.

— Ты мети, голова, потише! — укорил проводника бородатый дядька.— Видишь, у человека душа пыли не принимает.

Вскоре все наши соседи прониклись сочувствием к старику Якову и, выйдя в коридор, негромко разговаривали о том, что вот-де человек в свое время пострадал за народ, а теперь болеет и мучится. Я же, по правде сказать, испугался, как бы старик Яков не умер, потому что я не знал, что же мы тогда будем делать.

Я вышел в коридор и сказал об этом дяде.

— Упаси бог! — пробормотала старушка.— Или уж правда плох очень?

— Что там такое? — спросила проходившая по коридору тетка.

— Да вон в том купе человек, слышь, помирает,— охотно объяснил ей бородатый.— Вот так, живешь-живешь, а где помрешь — неизвестно.

— Высадить бы надо,— осторожно посоветовали из-за соседней двери.— Дать на станцию телеграмму, пусть подождут санитары с носилками. Хорошее ли дело: в вагоне покойник! У нас тут женщины, дети.

— Где покойник? У кого покойник?

Разговор принял неожиданный и неприятный оборот. Дядя ткнул меня кулаком в спину и, громко рассмеявшись, подошел к лежавшему на лавке старику Якову.

— Ха-ха! Он помрет! Слышь ли, старик Яков? —

дергая его за пятку, спросил дядя.— Они говорят, что ты помираешь. Нет, нет! Дуб еще крепок. Его не сломали ни тюрьма, ни казематы*. Не сломит и легкий сердечный припадок, результат тряски и плохой вентиляции. Эге! Вон он и поднимается. Вон он и улыбнулся. Ну, смотрите. Разве же это судорожная усмешка умирающего? Нет! Это улыбка бодрой и еще полнокровной жизни. Ага, вот идет начальник поезда! Конечно, говорю я, он еще улыбается. Но при его измученном борьбой организме подобные улыбки в тряском вагоне вряд ли естественны и уместны.

Начальник поезда, узнав, в чем дело, ответил:

— Я вижу, что старику партизану-орденоносцу действительно неудобно. Но, на ваше счастье, сейчас в Серпухове из пятого купе мягкого вагона не то раньше времени сошел, не то отстал пассажир. Дайте проводнику денег на доплату, и я скажу, чтобы он купил на стоянке билет вне очереди.

Начальник поезда откланялся и ушел.

Все остались им очень довольны. Все хвалили вежливого и внимательного начальника. Говорили, что вот-де какой еще молодой, а как себя хорошо держит. А давно ли попадались такие, что он с тобой и разговаривать не хочет, а не то чтобы человеку помочь или хотя бы войти в положение.

Хорошо, когда все хорошо. Люди становятся добрыми, общительными. Они одалживают друг другу чайник, ножик, соли. Берут прочесть чужие журналы, газеты и расспрашивают, кто куда и откуда едет, что и почем там стоит. А также рассказывают разные случаи из своей и из чужой жизни.

Старик Яков совсем оправился. Он выпил чаю, съел колбасы и две булки.

Тогда соседи попросили его, чтобы и он рассказал им что-нибудь из своей, очевидно, богатой приключениями жизни...

Отказать в такой просьбе людям, которые столь участливо отнеслись к нему, было неудобно, и старик Яков вопросительно посмотрел на дядю.

— Нет, нет, он не расскажет,— громко объяснил дядя.— Он слишком скромен. Да, да! Ты скромен, друг Яков. И ты не сердись, если я тебе напомню, как только

из-за этой проклятой скромности ты отказался занять пост замнаркома одной небольшой автономной республики. Сам нарком, товарищ Гули-Поджидаев, как всем известно, недавно умер. И, конечно, ты, а не кто-либо иной, управлял бы сейчас делами этого небольшого, но симпатичного народа!

— Послушайте! Вы ведь шутите? — смущаясь, спросил с верхней полки круглолицый паренек.— Так же не бывает.

— Бывает всяко,— задорно ответил дядя и продолжал свой рассказ:— Но скромность, увы, не всегда добродетель. Наши дела, наши поступки принадлежат часто истории и должны, так сказать, вдохновлять нашу счастливую, но, увы, беспечную молодежь. И если не расскажет он, то за него расскажу я.

Тут дядя обвел взглядом всех присутствующих и спросил, не сидел ли кто-нибудь в прежние или хотя бы в теперешние времена в центральной харьковской тюрьме.

Нет, нет! Оказалось, что ни в прежние, ни в теперешние не сидел никто.

— Ну, тогда вы не знаете, что такое харьковская тюрьма,— начал свой рассказ дядя.

Мрачной серой громадой стояла она на высоком холме так называемой Прохладной, или, виноват, Холодной горы, вокруг которой раскинулись придавленные пятой самодержавия низенькие домики робких обывателей. Тоскливо было сидеть узнику в угрюмой общей камере номер двадцать семь. Из окна была видна дорога, по которой катили грузовики, шли на работу служащие. И торговки-спекулянтки с веселым гоготом тащили на рынок корзины с фруктами и лотки жареных пирожков с мясом, с рисом и с капустой. Узник же получал, как вы сами понимаете, всего шестьсот граммов, то есть полтора фунта. Кроме того, он жаждал свободы.

«Даешь свободу! — громко тогда воскликнул про себя узник.— Довольно мне греметь кандалами и чахнуть в неволе, дожидаясь маловероятной амнистии по поводу какой-либо годовщины, точнее сказать — императорской свадьбы, рождения или коронации!» И в тот же вечер по пути с дровозаготовок узник оттолкнул конвоира и, как пантера, ринулся в лес, преследуемый зловещим свистом пуль.

Но судьба наконец улыбнулась страдальцу. Ночь он

провел под стогом сена. А наутро услышал шум трактора и увидел работающих в поле крестьян. А так как узник ходил еще в своем и был одет весьма прилично, то он выдал себя за ответственного работника, приехавшего на посевную.

Он спросил, как дела. Дал кое-какие указания. Выпил молока, потребовал лошадей до станции и скрылся, как вы уже догадываетесь, продолжать свое опасное дело на благо народа, страждущего под мрачным игом проклятого царизма...

Слушатели расхохотались и, гремя посудой, кинулись к выходу, потому что поезд затормозил перед станцией, богатой дешевым молоком и курами.

— Но послушайте, вы всё шутите,— обиженно заметил сверху круглолицый паренек.— Ведь ничего этого вовсе так не бывает.

— Да, я шучу, молодой человек,— вытирая платком лоб, хладнокровно ответил дядя.— Шутка украшает жизнь. А иначе жизнь легка только тупицам да лежебокам. Ге! Так ли я говорю, юноша? — хлопнул он меня по плечу.— А вон, насколько я вижу, идет и проводник с билетом.

Дядя остался караулить вещи, а я взял нетяжелый чемодан и пошел провожать в мягкий вагон старика Якова, который нес с собой завернутый в наволочку портфель, полотенце, апельсин и газету.

В купе было всего два места. Внизу, у окна справа, сидел пожилой человек, на столике перед ним лежала книга, за спиной его стояла полевая кожаная сумка, а рядом на диване валялась подушка.

Он искоса взглянул на нас, когда мы скрипнули дверью. Но, увидев, что в купе входит не какой-нибудь шалопай, а почтенный старик с орденом, он учтиво ответил на поклон и подушку отодвинул. Верхнее место, то самое, на которое опоздал какой-то пассажир, было свободно. Но сразу лезть спать старик Яков не захотел, а надел очки и взялся за газету.

Однако я хорошо видел, что он не читает, а исподлобья, но зорко смотрит в сторону пассажира.

Я помялся и пожелал старику Якову спокойной ночи.

Тогда он легонько охнул и тихим злым голосом попросил меня передать дяде, чтобы тот вместо негодной,

черной, прислал обыкновенную походную грелку, наполненную водой до половины. Я удивился и хотел переспросить, но вместо ответа старик Яков молча показал мне кулак. Обиженный и слегка напуганный, я вернулся и передал дяде эту просьбу.

Дядя насупился, негромко кого-то выругал, полез к себе в сумку, достал небольшой сверток и тотчас же вышел, должно быть к проводнику за водой. Вскоре он вызвал меня на площадку. Взгляд его был строг, а круглые глаза прищурены.

— Возьми,— сказал он, протягивая мне серую холщовую сумочку, затянутую сверху резиновым шнуром.— Возьми эту грелку и отнеси. Понял? — Он сжал мне руку.— Понял? — повторил дядя.— Иди и помни, о чем мы с тобой перед отъездом говорили.

Голос у дяди был тих и строг, говорил он теперь коротко, без всяких смешков и прибауток. Рука моя дрожала. Дядя заметил это, потрепал меня за подбородок и легонько подтолкнул.

— Иди,— сказал он,— делай, как тебе приказано, и тогда все будет хорошо.

Я пошел. По пути я прощупал сумочку: внутри нее что-то скрипнуло и зашуршало; грелка была холодная, по-видимому, кожаная, и вместо воды набита бумагой.

Я постучался и вошел в купе. Незнакомый пассажир сидел у столика, низко склонившись над книгой. Старик Яков читал, откинувшись почти к самой стенке.

Он схватил грелку, легонько застонал, положил ее себе на живот и закрыл полами пиджака.

Я вышел и в тамбуре остановился. Окно было распахнуто. Ни луны, ни звезд не было. Ветер бил мне в горячее лицо. Вагон дрожал, и резко, как выстрелы, стучала снаружи какая-то железка. «Куда это мы мчимся?— глотая воздух, подумал я.— Рита-та-та! Трата-та! Поехали! Эх, поехали! Эх, кажется, далеко поехали!»

— Ну? — спросил, встречая меня, дядя.

— Все сделано,— тихо ответил я.

— Хорошо. Садись, отдохни. Хочешь есть — вон на столе колбаса, булка, яблоки.

От колбасы я отказался, яблоко взял и съел сразу.

— Вы бы мальчика спать уложили,— посоветовала старушка.— Мальчонка за день намотался. Глаза, я смотрю, красные.

— Ну, что за красные! — ответил ей дядя.— Это просто так: пыль, тени. Вот скоро будет станция, и он перейдет ночевать к старику Якову. Старик без присмотра — дитя: то ему воды, то грелку. А с начальником поезда я уже договорился.

— С умным человеком отчего не договориться,— вздохнула старушка.— А у меня сын Володька, бывало, говорит, говорит. Эх, говорит, мама, никак мы с тобой не договоримся!.. Так самовольно на Камчатку и уехал. Теперь там, шалопай, капитаном, что ли.

Старушка улыбнулась и стала раскладывать постель, а я подозрительно посмотрел на дядю: что это еще затевается? В какой вагон? Какие грелки?

Мимо нашего купе то и дело проходили в ресторан люди. Вагон покачивало, все пошатывались и хватались за стены.

Я сел в уголок, пригрелся и задумался. Как странно! Давно ли все было не так! Били часы. Кричал радиоприемник. Наступало утро. Шумела школа, гудела улица, и гремел барабан. Четвертый наш отряд выбегал на площадку строиться. И уж непременно кто-то там кричит и дразнит:

Сергей-барабанщик,
Солдатский обманщик,
Что ты бьешь в барабан?
Еще спит капитан.

«Но! Но! — говорю я.— Не подходи ближе, а то пробью по спине зорю палками».

Ту-у! — взревел вдруг паровоз. Вагон рвануло так, что я едва не свалился с лавки; жестяной чайник слетел на пол, заскрежетали тормоза, и пассажиры в страхе бросились к окнам.

Вскочил в купе встревоженный дядя. С фонарями в руках проводники кинулись к площадкам.

Паровоз беспрерывно гудел. Стоп! Стали. Сквозь окна не видно было ни огонька, ни звездочки. И было непонятно, стоим ли мы в лесу или в поле.

Все толпились и спрашивали друг друга: что случилось? Не задавило ли кого? Не выбросился ли кто из поезда? Не мчится ли на нас встречный? Но вот паровоз опять загудел, что-то защелкало, зашипело, и мы тихо тронулись.

— Успокойтесь, граждане! — унылым голосом закричал проводник.— Это какой-нибудь пьяный шел из ресторана, да и рванул тормоз. Эх, люди, люди!

— Напьются и безобразят! — вздохнул дядя.— Сходи, Сергей, к старику Якову. Старик больной, нервный. Да узнай заодно, не переменить ли ему воду в грелке.

Я сурово взглянул на него: не ври, дядя! И молча пошел.

И вдруг по пути я вспомнил то знакомое лицо артиста, что мелькнуло передо мной на платформе в Серпухове. Отчего-то мне стало не по себе.

Я постучался в дверь пятого купе. Откинувшись спиной почти совсем к стенке, старик Яков лежал, полузакрыв глаза. На полу валялись спички, окурки, и повсюду пахло валерьянкой. Очевидно, и мягкий вагон тряхнуло здорово.

Я спросил у старика Якова, как он себя чувствует и не пора ли переменить грелку.

— Пора! Давно пора! — сердито сказал он, раскрыл полы пиджака и передал мне холщовый мешочек.

— Мальчик! — не отрывая глаз от книги, попросил меня пассажир.— Будешь проходить, скажи проводнику, чтобы он пришел прибраться.

— Да, да! — болезненным голосом подтвердил Яков.— Попроси, милый!

«Милый»? Хорош «милый»! Он так вцепился в мою руку и так угрожающе замотал плешивой головой, что можно было подумать, будто с ним вот-вот случится припадок. Я выскочил в коридор и остановился. Что это все такое? Что означают эти выпученные глаза и перекошенные губы? А я вот возьму крикну проводника да еще передам ему и эту сумку!

Проводник как раз шел в вагон и остановился, вытирая тряпкой стекла.

Сказать или не сказать?

— Молодой человек,— спросил вдруг проводник,— что вы здесь все время ходите? У вас билет в жестком, а здесь мягкий.

— Да,— пробормотал я,— но мне же нужно... и они меня посылают.

— Я не знаю, что вам нужно,— перебил меня проводник,— а мне нужно, чтобы в мои купе посторонние пассажиры не ходили. Что это вы взад-вперед носите?

«Поздно! — испугался я.— Теперь уже говорить поздно!.. Смотри, берегись, осторожней!..»

— Да,— вздрагивающим голосом ответил я,— но в пятом купе у меня больной дядя, и ему нужно менять воду в грелке.

— Так давайте мне сюда эту грелку,— протянул руку проводник,— для больного старика я и сам это сделаю.

— Но ему уже больше не нужно,— пряча холщовую сумку за спину, в страхе ответил я.— У него уже совсем прошло!

— Ну, не нужно, так и не нужно! — опять принимаясь вытирать стекла, проворчал проводник.— А ходить вы сюда больше не ходите. Мне бы не жалко, но за это и нас контролеры греют.

Потный и красный, проскочил я на площадку своего вагона. Дядя вырвал у меня сумку, сунул в нее руку и, даже не глядя, понял, что все было так, как ему надо.

— Молодец! — тихо похвалил меня он.— Талант! Капабланка!*

И странно! То ли давно уж меня никто не хвалил, но я вдруг обрадовался этой похвале. В одно мгновение решил я, что все пустяки: и мои недавние размышления и подозрения, и что я на самом деле молодец, отважный, находчивый, ловкий.

Я торопливо рассказал дяде, как было дело, что сказал мне пассажир, как мигнул мне старик Яков и как увернулся я от подозрительного проводника.

— Герой! — с восхищением сказал дядя.— Геркулес!* Гений! — Он посмотрел на часы.— Идем, через пять минут станция.

— И тогда что?

— И тогда все! Иди забирай вещи.

Поезд уже гудел; застучали стрелочные крестовины. Проводник с фонарем пошел налево, к выходу. Мы взяли сумки. Изо всего купе не спала только одна старушка. Дядя пожелал ей счастливого пути. Мы вышли в коридор и прошли к площадке. Здесь дядя вынул из кармана ключ, открыл дверь, мы соскочили на противоположную от вокзала сторону и, смешавшись с людьми, пошли вдоль состава.

У кого-то дядя спросил, где уборная. Нам показали

на самом конце перрона маленькую грязноватую каменушку. Мы подошли к ней и остановились.

Через минуту туда же, без шляпы и без чемодана, подбежал совершенно здоровехонький старик Яков.

Здесь друзья обнялись, как будто не видались полгода. Поезд свистнул и умчался. А мы заторопились прочь с вокзала, потому что с первой же остановки могла прийти розыскная телеграмма. А мой дядя и его знаменитый друг, как я тогда подумал, были, вероятно, отъявленные мошенники.

Много ли добра было в желтой сумке, которую старик Яков подменил у пассажира во время переполоха с внезапной остановкой поезда (тормоз рванул, конечно, дядя),— этого мне они не сказали. Но помню я, что на следующее утро лица их были совсем не веселы. Помню я, как на зеленом пустыре за какой-то станцией был между дядей и стариком Яковом крупный спор. О чем? Не знаю.

Потом хмуро и молча сидели они, что-то обдумывая, в маленькой чайной. Потом понял я, что старые друзья эти снова помирились. Долго и оживленно разговаривали и все поглядывали в мою сторону, из чего я понял, что разговор у них идет обо мне.

Наконец они подозвали меня. Стал меня дядя вдруг хвалить и сказал мне, что я должен быть спокоен и тверд, потому что счастье мое лежит уже не за горами.

Слушать все это было очень радостно, если бы не смутное подозрение, что дела наши странные еще не окончены.

Но вдруг, где-то на станции Липецк, к огромной моей радости, распрощался и отстал от нас старик Яков.

И тут я вздохнул свободно, уснул крепко, а проснулся в купе вагона уже тогда, когда ярким теплым утром мы подъезжали к какому-то невиданно прекрасному городу.

С грохотом мчались мы по высокому железному мосту. Широкая лазурная река, по которой плыли большие белые и голубые пароходы, протекала под нами. Пахло смолой, рыбой и водорослями. Кричали белогрудые серые чайки — птицы, которых я видел первый раз в жизни.

Высокий цветущий берег крутым обрывом спускался к реке. И он шумел листвой, до того зеленой и сочной, что, казалось, прыгни на нее сверху — без всякого парашюта, а просто́ так, широко раскинув руки,— и ты не пропадешь, не разобьешься, а нырнешь в этот шумливый густой поток и, раскидывая, как брызги, изумрудную пену листьев, вынырнешь опять наверх, под лучи ласкового солнца.

А на горе, над обрывом, громоздились белые здания, казалось — дворцы, башни, светлые, величавые. И, пока мы подъезжали, они неторопливо разворачивались, становились вполоборота, проглядывая одно за другим через могучие каменные плечи, и сверкали голубым стеклом, серебром и золотом.

Дядя дернул меня за плечо:

— Друг мой! Что с тобой: столбняк, отупение? Я кричу, я дергаю... Давай собирай вещи.

— Это что? — как в полусне, спросил я, указывая рукой за окошко.

— А, это? Это все называется город Киев.

Светел и прекрасен был этот веселый и зеленый город. Росли на широких улицах высокие тополи и тенистые каштаны. Раскинулись на площадях яркие цветники. Били сверкающие под солнцем фонтаны. Да как еще били! Рвались до вторых, до третьих этажей, переливали радугой, пенились, шумели и мелкой водяной пылью падали на веселые лица, на открытые и загорелые плечи прохожих.

И то ли это слепило людей южное солнце, то ли не так, как на севере, все были одеты — ярче, проще, легче,— только мне показалось, что весь этот город шумит и улыбается.

— Киевляне! — вытирая платком лоб, усмехнулся дядя.— Это такой народ! Его колоти, а он все танцева́ть будет! Сойдем, Сергей, с трамвая, отсюда и пешком недалеко.

Мы свернули от центра. То дома высились у нас над головой, то лежали под ногами. Наконец мы вошли в ворота, прошли через двор в проулок — и опять ворота. Сад густой, запущенный. Акация, слива, вишня, у забора лопух.

В глубине сада стоял небольшой двухэтажный дом. За домом — зеленый откос, и на нем полинялая часовенка.

Верхний этаж дома был пуст, окна распахнуты, и на подоконниках скакали воробьи.

— Стой здесь,— сбрасывая сумку, приказал дядя,— а я сейчас все узнаю.

Я остался один. Кувыркаясь и подпрыгивая, выскочили мне под ноги два здоровых дымчатых котенка и, фыркнув, метнулись в дыру забора.

Слева, в саду, возвышался поросший крапивой бугор, на котором торчали остатки развалившейся каменной беседки. Позади, за беседкой, доска в заборе была выломана, и отсюда по откосу, мимо часовенки, поднималась тропинка. Справа на площадке лежали сваленные в кучу маленькие скамейки, столы, стулья. И теперь я угадал, что в доме этом зимой бывает детский сад. А сейчас, на лето, они уехали, конечно, куда-либо за город. Оттого наверху и пусто.

— Иди! — крикнул мне показавшийся из-за кустов дядя.— Все хорошо! Отдохнем мы здесь с тобой лучше, чем на даче. Книг наберем. Молоко пить будем. Аромат кругом... Красота! Не сад, а джунгли.

Возле заглохшего цветника нас встретили.

Высокая седая старуха с вздрагивающей головой и с глубоко впавшими глазами, опираясь на черную лакированную палочку, стояла возле морщинистого бородатого человека, который держал в руках длинную метлу.

Сначала я подумал, что это старухин муж, но, оказывается, это был ее сын.

— Дорогих гостей прошу пожаловать! — сказала старуха надтреснутым, но звучным голосом. Она сухо поздоровалась со мной и, откинув голову, приветливо улыбнулась дяде.— Спаситель! Ах, спаситель! — сказала она, постучав костлявым пальцем по плечу дяди.— Полысел, потолстел, но все, как я вижу, по-прежнему добр и весел. Все такой же молодец, герой, благородный, великодушный, а время летит... время!..

В продолжение этой совсем непонятной мне речи бородатый сын старухи не сказал ни слова.

Но он наклонял голову, выкидывал вперед руку и неуклюже шаркал ногой, как бы давая понять, что и он всецело разделяет суждения матери о дядиных благородных качествах.

Нас проводили наверх. Живо раскинули мы две

железные кровати в той из трех пустых комнат, что была поменьше, положили соломенные матрацы, втащили столик. Старуха принесла простыни, подушки, скатерть. Под открытым окном шумели листья орешника, чирикали птахи.

И стало у меня вдруг на душе хорошо и спокойно.

И еще хорошо мне было оттого, что старуха назвала дядю и добрым и благородным. Значит, думал я, не всегда же дядя был пройдохой. А может быть, я и сейчас чего-то не понимаю. А может быть, все, что случилось в вагоне, это задумано злобным и хитрым стариком Яковом. А теперь, когда Якова нет, то, может быть, все оно и пойдет у нас по-хорошему.

Дядя дернул меня за нос и спросил, о чем я задумался. Он был добр. И, набравшись смелости, я сказал ему, что лучше, чем воровать чужие сумки, жить бы нам спокойно вот в такой хорошей комнате, где под окном орешник, черемуха. Дядя работал бы, я бы учился. А злобного старика Якова пусть заперли бы санитары в инвалидный дом. И пусть он сидел бы там, отдыхал, писал воспоминания о прежней своей боевой жизни, а в теперешние наши дела не вмешивался.

Дядя упал на кровать и расхохотался:

— Ха-ха! Хо-хо! Старика Якова запереть в инвалидный дом! Юморист! Гоголь! Смирнов-Сокольский!* В цирк его, в борцы! Гладиатором на арену!* Музыка, туш! Рычат львы! Быки воют! А ты его в инвалидный!

Тут дядя перестал смеяться. Он подошел к окну, сломал веточку черемухи и, постукивая ею по своим коротким ногам, начал мне что-то объяснять.

Он объяснил мне, что вор не всегда есть вор, что я еще молод, многого в жизни не понимаю и судить старших не должен. Он спрашивал меня, читал ли я Чарлза Дарвина, Шекспира, Лермонтова и Демьяна Бедного. И когда у меня от всех его вопросов голова пошла кругом, и уж не помню, с чем-то я соглашался, чему-то поддакивал, то он оборвал разговор и спустился в сад.

Я же, хотя толком ничего и не понял, остался при том убеждении, что если даже дядя мой и жулик, то жулик он совсем необыкновенный. Обыкновенные жулики воруют без раздумья о Чарлзе Дарвине, о Шекспире и о музыке Бетховена. Они тянут все, что попадет под руку, и чем больше, тем лучше. Потом, как я видел в кино, они

делят деньги, устраивают пирушку, пьют водку и танцуют с девчонками танец «Елки-палки, лес густой», как в «Путевке в жизнь», или «Танго смерти», как в картине «Шумит ночной Марсель».

Дядя же мой не пьянствовал, не танцевал. Пил молоко и любил простоквашу.

Дядя ушёл в город. В раздумье бродил я по комнатам. На стене в коридоре висел пыльный телефон. Очевидно, с тех пор как уехал детский сад, звонили по нему не часто. Заглянул я в чулан — там стояло изъеденное молью, облезлое чучело рыжего медвежонка. Слазил по крутой лесенке на чердак, но там была такая духота и пылища, что я поспешно спустился вниз.

Вечерело. Я вышел в сад. В глухом уголку, за развалённой беседкой, лежал в крапиве мраморный столб. Я разглядел на его мутной поверхности такую надпись:

ЗДЕСЬ ПОГРЕБЕН
Действительный статский
советник и кавалер
ИОГАНН ГЕНРИХОВИЧ ШТОКК.

Тут же в крапиве валялся разбитый ящик и рассохшаяся бочка.

Было тепло, тихо, крепко пахло резедой и настурциями. Где-то далеко на Днепре загудел пароход.

Когда гудит пароход, я теряюсь. Как за поручни, хочется схватиться мне за что попало: за ствол дерева, за спинку скамейки, за подоконник. Гулкое, многоголосое эхо его всегда торжественно и печально.

И где бы, в каком бы далеком и прекрасном краю человек ни был, всегда ему хочется плыть куда-то еще дальше, встречать новые берега, города и людей. Конечно, если только человек этот не такой тип, как злобный Яков, вся жизнь которого, вероятно, только в том и заключается, чтобы охать, ахать, представляться больным и тянуть у доверчивых пассажиров их вещи.

Но вот я насторожился. В саду, за вишнями, кто-то пел. Да и не один, а двое. Мужской голос — ровный, приглушенный и женский — резковатый, как бы надтреснутый, но очень приятный.

Тихонько продвинулся я вдоль аллеи. Это были старуха и ее бородатый сын. Они сидели на скамейке рядом,

прямые, неподвижные, и, глядя на закат, тихо пели: «Цветы бездумные, цветы осенние, о чем вы шепчетесь в пустом саду?..»

Я был удивлен. Я еще никогда не слыхал, чтобы такие древние старухи пели. Правда, жила у нас во дворе дворникова бабка, так и она, когда качала их горластого Гошку, тоже пела: «Ай, люли, ай, люли! Волки телку увели»,— но разве же это песня?

— Дитя! — позвала вдруг кого-то старуха.

Я обернулся, но никого не увидел.

— Дитя, подойди сюда! — опять позвала старуха.

Я снова оглянулся — нет никого.

— Тут никого нет,— смущенно сказал я, высовываясь из-за куста.— Оно, должно быть, куда-нибудь убежало.

— Кто оно? Глупый мальчик! Это я тебя зову.

Я подошел.

— Пойди и посмотри, не коптит ли на кухне керосинка.

— Хорошо,— согласился я,— только я не знаю, где у вас кухня.

— Как ты не знаешь, где у нас кухня? — строго спросила старуха.— Да я тебя, мерзавца, из дому выгоню... на мороз, в степь... в поле!

Я ахнул и в страхе попятился, потому что старуха уже потянулась к своей лакированной палке, по-видимому, собираясь меня ударить.

— Мама, успокойтесь,— раздраженно сказал ее сын.— Это же не Степан, не Акимка. Это младший сын покойного генерала Рутенберга, и он пришел поздравить вас со днем ангела.

Трудно сказать, когда я больше испугался: тогда ли, когда меня хотели ударить, или когда я вдруг оказался сыном покойного генерала.

Вскрикнув, шарахнулся я прочь и помчался к дому. Взбежав по шаткой лесенке, я захлопнул на крючок дверь и дрожащими руками стал зажигать лампу. И только что я снял стекло, как услышал шаги. По лестнице за мной кто-то шел...

Крючок был изогнутый, слабенький, и его легко можно было открыть снаружи, просунув карандаш или даже палец. Я метнулся на терраску и перекинул ногу через перила.

В дверь постучались.

— Эй, там, Сергей! — услышал я знакомый голос.— Ты спишь, что ли?

Это был дядя.

Торопливо рассказал я дяде про свои страхи.

Дядя удивился.

— Кроткая старуха,— сказал он,— осенняя астра! Цветок бездумный. Она, конечно, немного не в себе. Преклонные годы, тяжелая биография... Но ты ее испугался напрасно.

— Да, дядя, но она хотела меня треснуть палкой.

— Фантазия! — усмехнулся дядя.— Игра молодого воображения. Впрочем... всё потемки! Возможно, что и треснула бы. Вот колбаса, сыр, булки. Ты есть хочешь?

За ужином дядя объяснил мне, что когда-то весь этот дом принадлежал старухе, а теперь ее сын работает здесь, при детском доме, сторожем, а иногда играет на трубе в каком-то оркестре.

Мы легли спать рано. Окно было распахнуто, и сквозь листву орешника, как крупные звезды, проглядывали огни города. Мы лежали долго молча. Но вот дядя загремел в темноте спичками и закурил.

— Дядя,— спросил я,— отчего эта старуха называла вас днем и добрым и благородным? Это она тоже с дури? Или что-нибудь тут на самом деле?

— Когда-то, в восемнадцатом, буйные солдаты хотели спустить ее вниз головой с моста,— ответил дядя.— А я был молод, великодушен и вступился.

— Да, дядя. Но если она была кроткая или, как вы говорите, цветок бездумный, то за что же?

— Там, на войне, не разбирают. Кроме того, она тогда была не кроткая и не бездумная. Спи, друг мой.

— Дядя,— задумчиво спросил я,— а отчего же, когда вы вступились, то солдаты послушались, а не спустили и вас вниз головой с моста?

— Я бы им, подлецам, спустил! За мной было шесть всадников, да в руках у меня граната! Лежи спокойно, ты мне уже надоел.

— Дядя,— помолчав немного, не вытерпел я,— а какие это были солдаты? Белые?

— Лежи, болтун! — оборвал меня дядя.— Военные были солдаты: две руки, две ноги, одна голова и винтовка-трехлинейка с пятью патронами. А если ты еще

будешь ко мне приставать, то я тебя выставлю в соседнюю комнату.

...Мои пытливые расспросы, очевидно, встревожили дядю. Через день, когда мы гуляли над Днепром, он спросил меня, хочу ли я вообще возвращаться домой.

Я задумался. Нет, этого я не хотел. После всего что случилось, Валентинин муж, вероятно, уговорит ее, чтобы меня отдали в какую-нибудь исправительную колонию. Но и оставаться с дядей, который все время от меня что-то скрывал и прятал, мне было не по себе.

И дядя, очевидно, меня понял. Он сказал мне, что так как я ему с первого же раза понравился, то, если я не хочу возвращаться домой, он отвезет меня в Одессу и отдаст в мичманскую школу.

Я никогда не слыхал о такой школе. Тогда он объяснил мне, что есть такая школа, куда принимают мальчиков лет четырнадцати-пятнадцати. Там же, при школе, они живут, учатся, потом плавают на кораблях сначала простыми матросами, а потом, кто умен, может дослужиться и до моряка-капитана.

Я вспомнил вчерашний пароходный гудок, и сердце мое болезненно и радостно сжалось. «За что? — думал я.— И для чего же вот этот непонятный и даже какой-то подозрительный человек заботится обо мне и хочет сделать для меня такое хорошее дело?»

— А вы? — тихо спросил я.— Вы тоже будете жить в Одессе?

— Нет,— ответил дядя.— Разве я тебе не говорил, что я живу в городе Вятке, заведую отделом народного образования и занимаюсь научной работой?

«Не беда! — подумал я.— Ну, и пускай в Вятке. Так, может быть, даже лучше. А то вдруг приехал бы в Одессу ненавистный старик Яков,— вот тебе, глядишь, и пропала опять вся научная работа!»

Щеки мои горели, и я был взволнован. «Проживу один,— думал я.— Начну все заново. Буду учиться. Буду стараться. Буду лазить по мачтам. Смотреть в бинокль. Вырасту скоро. Надену черную форменку... Вот я стою на капитанском мостике. Дзинь, дзинь! Тихий ход вперед! Вот она, стоит на берегу и машет мне платком... Нина! Прощай, Нина, прощай! Уплываем в Индию. Смело поведу я корабль через бури, через туманы, мимо жарких тропиков. Все увижу, все — приеду,

тебе расскажу и с чужих берегов привезу подарок».

И так замечтался я, что не заметил, как встал со скамьи, куда-то сходил и опять вернулся мой дядя.

— Но пока тебе будет скучно,— сказал дядя.— Несколько дней я буду занят. И, чтобы ты мне не мешал, давай познакомимся с кем-нибудь из ребят. Будешь тогда всюду бегать, играть. Посмотри, экое кругом веселье!

Ребят на площадке было много. Они лазили по лестницам и шестам, кувыркались и прыгали на пружинных сетках, толпились около стрелкового тира, бегали, баловались и, конечно, задирали девчонок, которые здесь, впрочем, спуску и сами не давали.

— С кем же мне, дядя, познакомиться? — растерянно оглядываясь, спросил я.— Народу кругом такая уйма.

— А мы поищем — и найдем! — ответил дядя и потащил меня за собой.

Он вывел меня к краю площадки. Здесь было тихо, под липами стояли рабочие столики и торчала будочка с материалом и инструментами.

Тут дядя показал мне на хрупкого белокурого мальчика, который, поглядывая на какой-то чертеж, выстругивал ножом тонкие белые планочки.

— Ну вот, хотя бы с этим,— подтолкнул меня дядя.— Мальчик, сразу видно, неглупый, симпатичный.

— Дохловатый какой-то,— поморщился я.— Лучше бы, дядя, с кем-нибудь из тех, что у сетки скачут.

— Экое дело, скачут! Козел тоже скачет, да что толку? А то мальчик машину какую-то строит. Из такого скакуна клоун выйдет. А из этого, глядишь, Эдисон какой-нибудь... изобретатель. Да ты про Эдисона слыхал ли?*

— Слыхал,— буркнул я.— Это который телефон выдумал.

— Ну, вот и пойди, пойди, познакомься, а я тут в тени газету почитаю.

Белокурый мальчик с большими серыми глазами оставил на столике свои чертежи, планки и пошел к будке. Пока он что-то там спрашивал, я сел к столику. Он вернулся, держа в руках карандаш и циркуль. Он не рассердился, увидев, что я рассматриваю и трогаю его работу, и только тихо сказал:

— Ты, пожалуйста, не сломай планку, она очень тонкая.

— Нет,— усмехнулся я,— не сломаю. Это ты что мастеришь? Трактор?

— О, что ты! — удивленно ответил мальчик.— Разве ты не видишь, что это модель ветряного двигателя? Это работа тонкая.

— «Тонкая»! «Тонкая»! — позабывая дядины наставления, передразнил я.— Ты бы лучше шел на сетку кверх ногами прыгать, а то все равно потом выкрасить да выбросить.

Мальчик поднял на меня задумчивые серые глаза. Грубость моя его, очевидно, удивила, и он подыскивал слова, как мне ответить.

— Послушай,— тихо сказал он.— Я тебя к себе не звал. Не правда ли? Если тебе нравится прыгать на сетке, пойди и прыгай.— Он замолчал, сел, взял циркуль и, взглянув на мое покрасневшее лицо, добавил:— Я тоже люблю лазить и прыгать, но с тех пор, как я в прошлом году выбросился с парашютом из горящего самолета, прыгать мне уже нельзя.

Он вздохнул и улыбнулся.

Краска все гуще и гуще заливала мне щеки, как будто я лицом попал в крапиву.

— Извини,— сказал я.— Это я дурак... Может быть, тебе помочь? Мне все равно делать нечего.

Теперь смутился сероглазый мальчик.

— Почему же дурак? — запинаясь, возразил он.— Зачем это? Ну, если хочешь, возьми этот квадрат, попроси в будке дрель и просверли, где отмечены дырочки. Постой, они тебе так не дадут! У тебя ученический билет не с собой? Ну, тогда возьми мой.— И он протянул мне затрепанную красную книжечку.

Я заглянул в билет. Его звали Славой, фамилия — Грачковский. Он был мне ровесник.

Мы дружно мастерили двигатель, когда к нам подошел дядя и протянул две плитки мороженого.

— Мы познакомились,— объяснил я.— Его зовут Славой. И он прыгнул из горящего самолета на парашюте.

— Чаще меня зовут Славка,— поправил мальчик.— А с парашютом это я не сам прыгнул — меня отец выкинул. Я же только дернул за кольцо, попал на крышу водопроводной башни и, уже свалившись оттуда, сломал себе ногу.

— Но она ходит?

— Ходить-то ходит, да нельзя пока быстро бегать.— Он посмотрел на дядю, улыбнулся и спросил:— Это вы вчера стреляли в тире и поправили меня, чтобы я не сваливал набок мушку? Ой, вы хорошо стреляете!

— Старый стрелок-пехотинец,— скромно ответил дядя.— Стрелял в германскую, стрелял и в гражданскую.

«Эге, стрелок-пехотинец!— покосился я на дядю.— Так ты уже давно Славку приметил! А я-то думал, что мы его в товарищи выбрали случайно!»

Вскоре мы со Славкой расстались и уговорились назавтра встретиться здесь же.

— Вот человек! — похвалил дядя Славку.— Это тебе не то что какой-нибудь молодец, который только и умеет к мачехе... в ящик... Ну, да ладно, ладно! Ты с самолета попробуй прыгни, тогда и хорохорься. А то не скажи ему ни слова. Динамит! Порох!.. Вспышка голубого магния! Ты давай-ка с ним покрепче познакомься... Домой к нему зайди... Посмотришь, как он живет, чем в жизни занят, кто таковы его родители... Эх,— вздохнул дядя,— кабы нам да такую молодость! А то что?.. Пролетела, просвистела! Тяжкий труд, черствый хлеб, свист ремня, вздохи, мечты и слезы... Нет, нет! Ты с ним обязательно познакомься; он скромен, благороден, и я с удовольствием пожал его молодую руку.

Дядя проводил меня только до церковной ограды.

— Вот,— сказал он,— спустишься по тропе на откос, а там через дыру забора — и ты в саду, дома. Днем да без вещей здесь куда ближе. А я приду попозже.

Посвистывая, осторожно спускался я по крутому склону. Добравшись уже до разваленной беседки, я услышал шум и увидел, как во дворике промелькнуло лицо старухи. Волосы ее были растрепаны, и она что-то кричала.

Тотчас же вслед за ней из кухни с топором в руке выбежал ее престарелый сын; лицо у него было мокрое и красное.

— Послушай! — запыхавшись и протягивая мне топор, крикнул он.— Не можешь ли ты отрубить ей голову?

— Нет, нет, не могу! — завопил я, отскакивая на сажень в сторону.— Я... я кричать буду!

— Но она же, дурак, курица!— гневно гаркнул на меня бородатый.— Мы насилу ее поймали, и у меня дрожат руки.

— Нет, нет! — еще не оправившись от испуга, бормотал я.— И курице не могу... Никому не могу... Вы погодите... Вот придет дядя, он все может.

Я пробрался к себе и лег на кровать. Было теперь неловко, и я чувствовал себя глупым. Чтобы отвлечься, я развернул и стал читать газету.

Прочел передовицу. В Испании воевали, в Китае воевали. Тонули корабли, гибли под бомбами города. А кто топил и кто бросал бомбы, от этого все отказывались.

Потом стал читать происшествия. Здесь все было куда как понятней.

Вот автобус налетел на трамвай — стекла выбиты, жертв нет. «Не зевай, шофер, счастливо еще отделался!»

Вот шестилетний мальчишка свалился с моста в воду, и сразу же за ним бросились трое: его мать, милиционер и старик, торговавший с лотка папиросами. Подлетела лодка и подобрала всех четверых. «Молодцы люди! А мальчишке дома надо бы задать дёру».

А вот объявление: какой-то дяденька продает велосипед, он же купит заграничную шляпу. «Глупо! Я бы никогда не продал. Черта ли толку в шляпе да без велосипеда?» А вот, стоп!.. Я сжал и подвинул к глазам газету. А вот... ищут меня... «Разыскивается мальчик четырнадцати лет, Сергей Щербачов. Брюнет. На виске возле левого глаза родинка. Сообщить: Москва, телефон Г 0-48-64».

«Так, так! Значит, вернулась Валентина. Телефон не наш, не домашний, значит, ищет милиция».

Трясущейся рукой я подвинул дорожное дядино зеркальце.

Долго и тупо глядел. «Да, да, вон он и я. Вот брюнет. Вот родинка».

«Разыскивается...» Слово это звучало тихо и приглушенно. Но смысл его был грозен и опасен.

Вот они скользят по проводам, телеграммы: «Ищите! Ищите!.. Задержите!» Вот они стоят перед начальником, спокойные, сдержанные агенты милиции. «Да,— говорят они,— товарищ начальник! Мы найдем гражданина Сергея Щербачова, четырнадцати лет, брюнета с родинкой,— того, что выламывает ящики и продает старьевщикам чужие вещи. Он, вероятно, живет в каком-нибудь городе со своим подозрительным дядей, например в Киеве, и

мечтает безнаказанно поступить в мичманскую школу, чтобы плавать на советских кораблях в разные страны. Этот лживый барабанщик, которого давно уже вычеркнули из списков четвертого отряда, вероятно, будет плакать и оправдываться, что все вышло как-то нечаянно. Но вы ему не верьте, потому что не только он сам такой, но его отец осужден тоже».

Я швырнул зеркало и газету. Да! Все именно так, и оправдываться было нечем.

Ни возвращаться домой, ни попадать в исправительный дом я не хотел. Я упрямо хотел теперь в мичманскую школу. И я решил бороться за свое счастье.

Насухо вытер я глаза и вышел на улицу.

Постовые милиционеры, дворники с бляхами, прохожие с газетой — все мне теперь казались подозрительными и опасными.

Я зашел в аптеку и, не зная точно, что мне нужно, долго толкался у прилавка, до тех пор, пока покупатели не стали опасливо поглядывать на меня, придерживая рукой карманы, и продавец грубо не спросил, что мне надо.

Я попросил тюбик хлородонта и поспешно вышел.

Потом я очутился возле парикмахерской. Зашел.

— Подкоротить? Под машинку? Под бокс? Под бобрик? — равнодушно спросил парикмахер.

— Нет,— сказал я.— Бритвой снимайте наголо.

Пряди темных волос тихо падали на белую простыню. Вот он показался на голове, узкий шрам. Это когда-то я разбился на динамовском катке. Играла музыка. Катались с Ниной. Было шумно, морозно, весело...

Уши теперь торчали, и голова стала круглой. На лице резче выступил загар.

Вышел, выдавил из тюбика немного зубной пасты, смазал на виске родинку. Брови на солнце выцвели: попробуй-ка разбери теперь, брюнет или рыжий.

Сверкали на улице фонари. Пахло теплым асфальтом, табаком, цветами и водой.

«Никто теперь меня не узнает и не поймает,— думал я.— Отдаст меня дядя в мичманскую школу, а сам уедет в Вятку... Ну и пусть! Буду жить один, буду стараться. А на все прошлое плюну и забуду, как будто бы его и не было».

Влажный ветерок холодил мою бритую голову. Шли

мне навстречу люди. Но никто из них не знал, что в этот вечер твердо решил я жизнь начинать заново и быть теперь человеком прямым, смелым и честным.

Было уже поздно, и, спохватившись, я решил пройти домой ближним путем.

Темно и глухо было на пустыре за церковной оградой. Оступаясь и поскальзываясь, добрался я до забора, пролез в дыру и очутился в саду. Окна нашей комнаты были темны — значит, дядя еще не возвращался.

Это обрадовало меня, потому что долгое отсутствие мое останется незамеченным. Тихо, чтобы не разбудить внизу хозяев, подошел я к крылечку и потянул дверь. Вот тебе и раз! Дверь была заперта. Очевидно, они ожидали, что дядя по возвращении постучится.

Но то дядя, а то я! Мне же, особенно после того, как я сегодня обидел хозяина, стучаться было совсем неудобно.

Я разыскал скамейку и сел в надежде, что дядя вернется скоро.

Так я просидел с полчаса или больше. На траву, на листья пала роса. Мне становилось холодно, и я уже сердился на себя за то, что не отрубил курице голову. Экое дело — курица! А вдруг вот дядя где-нибудь заночует,— что тогда делать?

Тут я вспомнил, что сбоку лестницы, рядом с уборной, есть окошко и оно, кажется, не запирается.

Я снял сандалии, сунул их за пазуху и, придерживаясь за трухлявый наличник, встал босыми ногами на уступ. Окно было приоткрыто. Я вымазался в пыли, оцарапал ногу, но благополучно спустился в сени.

Я лез не воровать, не грабить, а просто потихоньку, чтобы никого не потревожить, пробирался домой. И вдруг сердце мое заколотилось так сильно, что я схватился рукой за грудную клетку. Что такое?.. Спокойней!

Однако дыхание у меня перехватило, и я в страхе уцепился за перила лестницы.

Кто его знает почему, но мне вдруг показалось, что старик Яков совсем не исчез — там, далеко, в Липецке,— а где-то притаился здесь, совсем рядом.

Несколько мгновений эта нелепая, упрямая мысль крепко держала мою голову, и я мучительно силился понять, в чем дело.

Тихонько поднялся я наверх — и опять стоп!

Не из той комнаты, где мы жили, а из пустой, которая выходила окном к курятнику, пробивался через дверные щели слабый свет. Значит, дядя уже давно был дома.

Прислушался. Разговаривали двое: дядя и кто-то незнакомый. Никакого старика Якова, конечно, не было.

— Вот,— говорил дядя,— сейчас будет и готово. Этот пакет туда, а этот сюда. Понятно?

— Понятно!

Куда «туда» и куда «сюда»,— мне это было совсем непонятно.

— Теперь все убрать. И куда это мой мальчишка запропал? (Это обо мне.)

— Вернется! Или немного заблудился. А то еще в кино пошел. Нынче дети какие! А мать у него кто?

— Мачеха! — ответил дядя.— Кто ее знает, какая-то московская. Мы на эту квартиру случайно, через своего человека напали. Мачеха на Кавказе. Мальчишка один. Квартира пустая. Лучше всякой гостиницы. Он мне сейчас в одном деле помогать будет.

«Как кто ее знает? — ахнул я.— Ведь ты же мой дядя!»

— Ну, и последнее готово! Все наука и техника. Осторожней, не разбейте склянку. Но куда же все-таки запропал мальчишка?

Я тихонько попятился, спустился по лесенке, вылез обратно в сад через окошко, обул сандалии и громко постучался в запертую дверь. Отворили мне не сразу.

— Это ты, бродяга? Наконец-то! — раздался сверху дядин голос.

— Да, я.

— Тогда погоди, штаны да туфли надену, а то я прямо с постели.

Прошло еще минуты три, пока дядя спустился по лестнице.

— Ты что же полуночничаешь? Где шатался?

— Я вышел погулять... Потом сел не на тот трамвай. Потом у меня не было гривенника, я шел, да и немного заблудился.

— Ой, ты без гривенника на трамваях никогда не ездил? — проворчал дядя.

Но я уже понял, что ругать он меня не будет и, по-

жалуй, даже доволен, что сегодня вечером дома меня не было.

В коридоре и во всех комнатах было темно. Не зажигая огня, я разделся и скользнул под одеяло. Дверь внизу тихонько скрипнула. Кто-то через нижнюю дверь вышел.

И только сейчас, лежа в постели, я наконец понял, почему мне недавно померещилось близкое присутствие старика Якова. Как и в тот раз, когда он впервые очутился в нашей квартире, мне почудился такой же сладковато-приторный запах — не то эфира, не то еще какой-то дряни. «Очевидно,— подумал я,— дядя опять какое-то лекарство пролил... Но что же он за человек? Он меня поит, кормит, одевает и обещает отдать в мичманскую школу, и, оказывается, он даже не знает Валентины и вовсе мне не дядя!»

Тогда, осененный новой догадкой, я стал припоминать все прочитанные мною книги из жизни знаменитых и неудачливых изобретателей и ученых.

«А может быть,— думал я,— дядя мой совсем и не жулик. Может быть, он и правда какой-нибудь ученый или химик. Никто не признает его изобретения, или что-нибудь в этом роде. Он втайне ищет какой-либо утерянный или украденный рецепт. Он одинок, и никто не согреет его сердце. Он увидел хорошего мальчика (это меня), который тоже одинок, и взял меня с собою, чтобы поставить на хорошую жизнь. Конечно, хорошая жизнь так, как у нас началась в вагоне, не начинается. Но... я ничего не знаю. Мне бы только вырваться на волю, в мичманскую школу. Да поскорее, потому что я ведь решил уже жить правдиво и честно... Верно, что я уже и сегодня успел соврать и про трамвай и про то, что заблудился. Но ведь он же мне и сам соврал первый. «Ты,— говорит,— погоди... Я только что с постели». Нет, брат! Тут ты меня не обманешь. Тут я и сам химик!»

Несколько дней мы прожили совсем спокойно. Каждое утро бегал я теперь в парк, и там мы встречались со Славкой.

Однажды в парк зашел Славкин отец, тоже худой, белокурый человек с тремя шпалами в петлицах.

Прищурившись, глянул он на Славкину модель ветродвигателя, сильными пальцами грубовато и быстро вы-

ломал распорку, которую только что с таким трудом мы вставили на место, и уверенно заявил, что здесь должна быть не распорка, а стягивающая скрепка, иначе при работе разболтается гнездо мотора.

С обидой и азартом кинулись мы к чертежу, но, оказывается, Славкин отец был совершенно прав.

Он улыбнулся, показал нам кончик языка. Поцеловал Славку в лоб, что меня удивило, потому что Славка был совсем не маленький, и, тихонько насвистывая, быстро пошел через площадку, старательно обходя копавшихся в песке маленьких ребятишек.

— Догадливый! — сказал я.— Только подошел, глянул — крак! — и выломал.

— Еще бы не догадливый! — спокойно ответил Славка.— Такая уж у него работа.

— Он военный инженер? Он что строит?

— Разное,— уклончиво ответил Славка и с гордостью добавил: — Он очень хороший инженер! Это он только такой с виду.

— Какой?

— Да вот какой! — смеется и язык высунул... Ты думаешь, он молодой? Нет, ему уже сорок два года. А твоему отцу сколько? Он кто?

— У меня дядя...— запнулся я.— Он, кажется, ученый... химик...

— А отец?

— А отец... отец... Эх, Славка, Славка! Что же ты, искал, искал контргайку, а сам ее каблуком в песок затоптал — и не видишь.

Наклонившись, долго выковыривал я гайку пальцем и, сидя на корточках, счищал и сдувал с нее песчинки.

Я кусал губы от обиды. Сколько ни говорил я себе, что теперь я должен быть честным и правдивым,— язык так и не поворачивался сказать Славке, что отец у меня осужден за растрату.

Но я и не соврал ему. Я не сказал ничего, замял разговор, засмеялся, спросил у него, сколько сейчас времени, и сказал, что пора кончать работу.

На другой день дядя вызвался проводить меня в гости к Славке. Славка жил далеко. Домик они занимали красивый, небольшой — в одну квартиру.

Встретили нас Славка и его бабка — старуха хлопот-

ливая, говорливая и добродушная. Дядя попросил подать ему через окно воды, но бабка пригласила его в комнаты и предложила квасу.

Дядя неторопливо пил стакан за стаканом и, прохаживаясь по комнатам, похваливал то квас, то Славку, то Славкину светлую, уютную квартиру. Он был огорчен тем, что не застал Славкиного отца дома, и через полчаса ушел, пообещавшись зайти в другой раз.

Едва только он ушел, бабка сразу же заставила меня насильно выпить стакан молока, съесть блин и творожную ватрушку, причем Славка — нет, чтобы за меня заступиться,— сидел на скамье напротив, болтал ногами, хохотал и подмигивал.

Потом он мне показал свой альбом открыток. Это были не теперешние открытки, а старинные, военные. Напечатанные на шершавой, грубой бумаге, теперь уже полинявшие, потертые, они рассказывали о далеких днях гражданской войны.

Вот стоит в синей кожанке человек. В руках блестит светло-синяя сабля. Небо синее, земля, деревья и трава — черно-синие. Возле человека осталось всего четыре товарища, и на их папахи, на мужественные лица кровавыми полосами падают лучи огромной пятиконечной звезды.

Внизу, под открыткой, подпись: «Смерть шахтер-комиссара Андрея Бутова с товарищами в бою под Кременчугом». И еще помельче: «Напечатано походной типографией 12-й армии, 1919 г.».

— Это очень редкая открытка,— бережно разглаживая ее, объяснил мне Славка.— Их всего-то, может, и было напечатано штук двести — триста. Ну и вот эта тоже попадается не часто. Тут, смотри, со стихами: «Гей, гей! Не робей!» Видишь, это красные гонят Юденича*. А вот без стихов... Тоже гонят. А это всадник в бой мчится. Отстал, должно быть. А на небе тучи... тучи... А это просто так... девчонка с наганом. Комсомолка, наверное. Видишь, губы сжала, а глаза веселые. Они теперь повырастали. У мамы подруга есть, Комкова Клавдюшка, тоже там была... Так ей теперь уже тридцать шесть, что ли... Э-э, брат! Погоди, погоди! — рассмеялся вдруг Славка. Закрыв ладонью альбом, он посмотрел на меня, потом опять в альбом, потом схватил со столика зеркало.— А это кто?

Передо мной лежала открытка, изображавшая совсем

молоденького паренька в такой же, как у меня, пилотке. У пояса его висела кобура, в руке он держал трубу.

— Как кто? Сигналист! Тут так и написано.

— Это ты! — подвигая мне зеркало, обрадовался Славка.— Ну, посмотри, до чего похоже! Я еще когда тебя в первый раз увидел — на кого, думаю, он так похож? Ну, конечно, ты! Вот нос... вот и уши немного оттопырены. Возьми! — сказал он, доставая из гнезда открытку.— У меня таких две, на твое счастье. Бери, бери да радуйся!

Молча взял я Славкин подарок. Бережно завернул его и положил к себе в бумажник.

Мы вышли на задний дворик. Огромные, почти в рост человека, торчали там лопухи, и под их широкой тенью суетливо бегали маленькие желтые цыплята.

— Славка,— осторожно спросил я,— а как у тебя нога? Тебе ее потом совсем вылечат?

— Вылечат! — щурясь и отворачиваясь от солнца, ответил Славка.— Ну, куда, дурак? Чего кричишь? — Он схватил заблудившегося цыпленка и бережно сунул его в лопухи.— Туда иди. Вон твоя компания.— Он отряхнул руки, прищелкнул языком и добавил: — Нога — это плохо. Ну ничего, не пропаду. Не такие мы люди!

— Кто мы?

— Ну, мы... все...

— Кто все? Ты, папа, мама?

— Мы, люди,— упрямо повторил Славка и недоуменно посмотрел мне в глаза.— Ну, люди!.. Советские люди! А ты кто? Банкир, что ли?

Я отвернулся. Я вынул из кармана складной нож. Это был хороший кривой нож, крепкой стали, с дубовой полированной рукояткой и с блестящим карабинчиком. Я знал, что Славке он очень нравится.

— Возьми,— сказал я.— Дарю на память. Да бери, бери! Ты мне сигналиста подарил, и я взял!

— Но то — пустяк,— возразил Славка.— У меня есть еще, а у тебя другого ножа нет!

— Все равно бери! — твердо сказал я.— Раз я подарил, то теперь обижусь, выкину, но не возьму обратно.

— Хорошо, я возьму,— согласился Славка.— Спасибо. Только сигналист пусть в счет не идет. Но у меня есть карманный фонарь с тремя огнями — белый, красный и зеленый. И ты его возьмешь тоже...— Он подумал.—

Только вот что: он у меня не здесь, он у мамы. Через три дня отец отвезет меня к ней в деревню, а сам в тот же день вернется обратно. Я его передам отцу, отец отдаст бабке, а она — тебе. Дай честное слово, что ты зайдешь и возьмешь!

Я дал.

— Так ты уезжаешь? — пожалел я.— Далеко? Надолго?

— Надолго, до конца лета, к маме. Но это не очень далеко. Отсюда пароходом вверх по Десне километров семьдесят, а там от пристани километров десять лесом. Ну, пойдем к бабке на кухню.

— Бабушка,— сказал Славка, тыча ей под нос блестящий кривой нож.— Вот, мне подарили. Хорош ножик? Острый!

— Выкинь, Славушка! — посоветовала старуха.— Куда тебе такой страшенный? Еще зарежешься.

— Ты уж старая,— обиделся Славка,— и ничего в ножах не понимаешь. Дай-ка я что-нибудь стругану. Дай хоть вот эту каталку. Ага, не даешь! Значит, сама видишь, что нож хороший! Бабушка, я с папой пришлю фонарь. Ну, помнишь, я еще тебя около курятника напугал? И ты его отдашь вот этому мальчику. Погляди на него, запомнишь?

— Да запомню, запомню,— ухватив Славку белыми от муки руками, потрясла его старуха.— Вы тут стойте, не уходите, я сейчас вас кормить буду.

— Только не меня! — испугался я.— Это его... я уже кормленый...

— Ладно, ладно! — отскакивая к двери, согласился Славка, и уже у самого порога он громко закричал: — Только я гречневой каши есть не буду-у-у!

— Врешь, врешь! Все будешь,— ахнула бабка и, вытирая мокрое лицо фартуком, жалобно добавила: — Кабы тебя, милый мой, с ероплана не спихнули, я бы взяла хворостину и показала, какое оно бывает «не буду»!

Славка проводил меня до калитки, и тут мы с ним попрощались, потому что в следующие два дня он должен был принимать в клинике какие-то ванны и на площадку прийти не обещался.

Теперь, когда я узнал, что Славка уезжает, мне еще крепче захотелось в Одессу.

Дяди дома не было. Я сел за стол у распахнутого окошка, отвинтил крышку дядиной походной чернильницы, подвинул к себе листок бумаги и от нечего делать взялся сочинять стихи.

Это оказалось вовсе не таким трудным, как говорил мне дядя.

Например, через полчаса уже получилось:

Из Одессы капитан
Уплывает в океан.
На борту стоят матросы,
Лихо курят папиросы.
На берегу стоят девицы,
Опечалены их лица.
Потому что, налетая,
Всем покоя не давая,
Ветер гнал за валом вал
И сурово завывал.

Выходило совсем неплохо. Я уже хотел было продолжать описание дальнейшей судьбы отважного корабля и опечаленных разлукой девиц, как меня позвала старуха.

С досадой высунулся я через окно, раздвинул ветви орешника и вежливо спросил, что ей надо.

Она приказала мне слазить в погреб и поставить для дяди на холод кринку простокваши.

Я покривился, однако тотчас же вышел и полез.

Вернувшись, я попробовал было продолжать свои стихи, но, увы,— вероятно, оттого, что в сыром, темном погребе я стукнулся лбом о подпорку,— вдохновение исчезло, и ничего у меня дальше не получалось.

Я решил переписать начисто то, что сделано, и положить стихи на дядин столик, чтобы он подивился новому моему таланту.

Однако хорошей бумаги на столе больше не было. Тогда я вспомнил, что в головах у дяди, под матрацем, завернутая в газету, лежит целая пачка.

Пачку эту я развернул, достал несколько листиков и стал переписывать. Только что успел я дойти до половины, как опять меня позвала старуха. Я высунулся через окошко и теперь уже довольно грубо спросил, что ей от меня надо. Она приказала мне лезть в погреб и до-

стать пяток яиц, потому что ей надо ставить тесто для блинчиков, которых, конечно, дядя захочет поесть вместе с простоквашей.

Я плюнул. Выскочил. Полез. Долго возился, отыскивая впотьмах корзинку, и, вернувшись, твердо решил больше на старухин зов не откликаться. Сел за стол. Что такое? Листка с моими стихами на столе не было. Удивленный и даже рассерженный, заглянул под стол, под кровать... Распахнул дверь коридора. Нету!

И я решил, что, должно быть, в мое отсутствие в комнату заскочили два наших сумасшедших котенка и, прыгая, кувыркаясь, как-нибудь уволокли листок за окно, в сад. Вздохнув, я взялся переписывать наново. Дописал до половины, загляделся на скачущего по подоконнику воробья и задумался.

«Вот,— думал я,— клюнет, подпрыгнет, посмотрит, опять клюнет, опять посмотрит... Ну, что, дурак, смотришь? Что ты в нашей человеческой жизни понимаешь? Ну хочешь? Слушай!»

Я потянулся к листку со стихами и, просто говоря, обалдел. Первых четырех только что написанных мною строк на бумаге уже не было. А пятая, та, где говорилось о стоящих на берегу девицах, быстро таяла на моих глазах, как сухой белый лед, не оставляя на этой колдовской бумаге ни следа, ни пятнышка.

Крепкая рука опустилась мне на плечо, и, едва не слетев со стула, я увидел незаметно подкравшегося ко мне дядю.

— Ты что же это, негодяй, делаешь? — тихо и злобно спросил он.— Это что у тебя такое?

Я вскочил, растерянный и обозленный, потому что никак не мог понять, почему это мои стихи могли привести дядю в такую ярость.

— Ты где взял бумагу?

— Там,— и я ткнул пальцем на кровать.

— «Там, там»! А кто тебе, дряни такой, туда позволил лазить?

Тут он схватил листки, в том числе и те, где были начаты стихи об отважном капитане, осторожно разгладил их и положил обратно под матрац, в папку.

Но тогда, взбешенный его непонятной руганью и необъяснимой жадностью, я плюнул на пол и отскочил к порогу.

— Что вам от меня надо? — крикнул я.— Что вы меня мучаете? Я и так с вами живу, а зачем — ничего не знаю! Вам жалко трех листочков бумаги, а когда в вагонах... так чужого вам не жалко! Что я вас, ограбил, обокрал? Ну, за что вы на меня сейчас набросились?

Я выскочил в сад, забежал на глухую полянку и уткнулся головой в траву...

Очевидно, дяде и самому вскоре стало неловко.

— Послушай, друг мой,— услышал я над собой его голос.— Конечно, я погорячился, и бумаги мне не жалко. Но скажи, пожалуйста...— тут голос его опять стал раздраженным,— что означают все эти твои фокусы?

Я недоуменно обернулся и увидел, что дядя тычет себе пальцем куда-то в живот.

— Но, дядя,— пробормотал я,— честное слово... я больше ничего...

— Хорошо «ничего»! Я пошел утром переменить брюки, смотрю — и на подтяжках, да и внизу,— ни одной пуговицы! Что это все значит?

— Но, дядя,— пожал я плечами,— для чего мне ваши брючные пуговицы? Ведь это же не деньги, не бумага и даже не конфеты. А так... дрянь! Мне и слушать-то вас прямо-таки непонятно.

— Гм, непонятно?! А мне, думаешь, понятно? Что же, по-твоему, они сами отсохли? Да кабы одна, две, а то все начисто!

— Это старуха срезала,— подумав немного, сказал я.— Это ее рук дело. Она, дядя, всегда придет к вам в комнату, меня выгонит, а сама все что-то роется, роется... Недавно я сам видел, как она какую-то вашу коробочку себе в карман сунула. Я даже хотел было сказать вам, да забыл.

— Какую еще коробочку? — встревожился дядя.— У меня, кажется, никакой коробочки... Ах, цветок бездумный и безмозглый! — спохватился дядя.— Это она у меня мыльный порошок для бритья вытянула. А я-то искал, искал, перерыл всю комнату! Глупа, глупа! Я, конечно, понимаю: повороты судьбы, преклонные годы... Но ты когда увидишь ее у нас в комнате, то гони в шею.

— Нет, дядя,— отказался я.— Я ее не буду гнать в шею. Я ее и сам-то боюсь. То она меня зовет Антипкой, то Степкой, а чуть что — замахивается палкой. Вы лучше

ей сами скажите. Да вон она возле клумбы цветы нюхает! Хотите, я вам ее сейчас кликну?

— Постой! Постой! — остановил меня дядя.— Я лучше потом... Надоело! Ты теперь расскажи, что ты у Славки делал.

Я рассказал дяде, как провел время у Славки, как он подарил мне сигналиста, и пожалел, что через три дня Славку отец увезет к матери.

Дядя вдруг разволновался. Он встал, обнял меня и погладил по голове.

— Ты хороший мальчик,— похвалил меня дядя.— С первой же минуты, как только я тебя увидел, я сразу понял: «Вот хороший, умный мальчик. И я постараюсь сделать из него настоящего человека». Ге! Теперь я вижу, что я в тебе не ошибся. Да, не ошибся. Скоро уже мы поедем в Одессу. Начальник мичманской школы — мой друг. Помощник по учебной части — тоже. Там тебе будет хорошо. Да, хорошо. Конечно, многое... то есть, гм... кое-что тебе кажется сейчас не совсем понятным, но все, что я делаю, это только во имя... и вообще для блага... Помнишь, как у Некрасова: «Вырастешь, Саша, узнаешь...»*

— Дядя,— задумчиво спросил я,— а вы не изобретатель?

— Тсс...— приложив палец к губам и хитро подмигнув мне, тихо ответил дядя.— Об этом пока не будем... ни слова!

Дядя стал ласков и добр. Он дал мне пятнадцать рублей, чтобы я их, на что хочу, истратил. Похлопал по правому плечу, потом по левому, легонько ткнул кулаком в бок и, сославшись на неотложные дела, тотчас же ушел.

Прошло три дня. Со Славкой повидаться мне так и не удалось — в парк он больше не приходил.

Бегая днем по городу, я остановился у витрины писчебумажного магазина и долго стоял перед большой географической картой.

Вот она и Одесса! Рядом города — Херсон, Николаев, Тирасполь, слева — захваченная румынами страна Бессарабия*, справа — цветущий и знойный Крым, а внизу, далеко — до Кавказа, до Турции, до Болгарии — раскинулось Черное море...

...И волны бушуют вдали...
Товарищ, мы едем далеко,
Далеко от здешней земли.

Нетерпение жгло меня и мучило.

Я заскочил в лавку и купил компас.

Кто его знает, когда еще он должен был мне пригодиться. Но когда в руках компас — тогда все моря, океаны, бухты, проливы, заливы, гавани получают свою форму-очертания.

Вышел и остановился у витрины опять.

А вот он и север! Кольский полуостров. Белое море. Угрюмое море, холодное, ледяное. Где-то тут, на канале, работает мой отец. Последний раз он писал откуда-то из Сороки.

Сорока... Сорока! Вот она и Сорока. Вообще-то отец писал помалу и редко. Но последний раз он прислал длинное письмо, из которого я, по правде сказать, мало что понял. И если бы я не знал, что отец мой работает в лагерях, где вином не торгуют, то я бы подумал, что писал он письмо немного выпивши.

Во-первых, письмо это было не грустное, не виноватое, как прежде, а с первых же строк он выругал меня за «хвосты» по математике.

Во-вторых, он писал, что каким-то взрывом ему оторвало полпальца и ушибло голову, причем писал он об этом таким тоном, как будто бы там был бой и есть после этого чем похвалиться.

В-третьих, совсем неожиданно он как бы убеждал меня, что жизнь еще не прошла и что я не должен считать его ни за дурака, ни за человека совсем пропащего.

И это меня тогда удивило, потому что я был не слепой и никогда не думал, что жизнь уже прошла. А если уж и думал, то скорей так: что жизнь еще только начинается. Кроме того, никогда не считал я отца за дурака и за пропащего. Наоборот я считал его и умным и хорошим, но только если бы он не растрачивал для Валентины казенных денег, то было бы, конечно, куда как лучше!

И я решил, что, как только поступлю в мичманскую школу, тотчас же напишу отцу. А что это будет так — я верил сейчас крепко.

Задумавшись и улыбаясь, стоял я у блестящей витрины и вдруг услышал, что кто-то меня зовет:

— Мальчик, пойди-ка сюда!

Я обернулся. Почти рядом, на углу, возле рычага, который управляет огнями светофора, стоял милиционер и рукой в белой перчатке подзывал меня к себе.

«Г 0-48-64!» — вздрогнул я. И вздрогнул болезненно резко, как будто кто-то из прохожих приложил горячий окурок к моей открытой шее.

Первым движением моим была попытка бежать. Но подошвы как бы влипли в горячий асфальт, и, зашатавшись, я ухватился за блестящие поручни перед витриной магазина.

«Нет,— с ужасом подумал я,— бежать поздно! Вот она и расплата!»

— Мальчик! — повторил милиционер.— Что же ты стал? Подходи быстрее.

Тогда медленно и прямо, глядя ему в глаза, я подошел.

— Да,— сказал я голосом, в котором звучало глубокое человеческое горе.— Да! Я вас слушаю!..

— Мальчик,— сказал милиционер, мгновенно перекидывая рычаг с желтого огня на зеленый,— будь добр, перейди улицу и нажми у ворот кнопку звонка к дворнику. Мне надо на минутку отлучиться, а я не могу.

Он повторил это еще раз, и только тогда я его понял.

Я не помню, как перешел улицу, надавил кнопку и тихо пошел было своей дорогой, но почувствовал, что идти не могу, и круто свернул в первую попавшуюся подворотню.

Крупные слезы катились по моим горячим щекам, горло вздрагивало, и я крепко держался за водосточную трубу.

— Так будь же все проклято! — гневно вскричал я и ударил носком по серой каменной стене.— Будь ты проклята,— бормотал я,— такая жизнь, когда человек должен всего бояться, как кролик, как заяц, как серая трусливая мышь! Я не хочу так! Я хочу жить, как живут все. Как живет Славка, который может спокойно надавливать на все кнопки, отвечать на все вопросы и глядеть людям в глаза прямо и открыто, а не шарахаться и чуть не падать на землю от каждого их неожиданного слова или движения.

Так стоял я, вздрагивая; слезы катились, падали на осыпанные известкой сандалии, и мне становилось легче.

Кто-то тронул меня за руку.

— Мальчик,— участливо спросила меня молодая незнакомая женщина,— ты о чем плачешь? Тебя обидели?

— Нет,— вытирая слезы, ответил я,— я сам себя обидел.

Она улыбнулась и взяла меня за руку:

— Но разве может человек сам себя обидеть? Ты, может быть, ушибся, разбился?

Я замотал головой, сквозь слезы улыбнулся, пожал ей руку и выскочил на улицу.

Кто его знает почему, мне казалось, что счастье мое было уже недалеко...

И в этот день я был крепок. Меня не разбило громом, и я не упал, не закричал и не заплакал от горя, когда, спустившись по откосу, я пролез через дыру забора и увидал у нас в саду проклятого старика Якова.

Он сидел спиной ко мне, и они о чем-то оживленно разговаривали с дядей. Надо было собраться с мыслями.

Я скользнул за кусты и боком, боком, вокруг холма с развалинами беседки, вышел к крылечку и прокрался наверх.

Вот я и у себя в комнате. Схватил графин, глотнул из горлышка. Поперхнулся. Зажав полотенцем рот, тихонько откашлялся. Осмотрелся. Очевидно, старик Яков появился здесь совсем еще недавно. Полотенце было сырое — не просохло. На подоконнике валялся только один окурок, а старик Яков, когда не притворялся больным, курил без перерыва. На кровати валялась дядина кепка и мятая газета. Вот и все! Нет, не все. Из-под подушки торчал кончик портфеля. Я глянул в окно. Через листву черемухи я видел, что оба друга все еще разговаривают. Я открыл портфель.

Салфетка, рубашка, два галстука, помазок, бритва, красные мужские подвязки. Картонная коробочка из-под кофе. Внутри что-то брякает. Раскрыл: орден Трудового Знамени, орден Красной Звезды, значок МОПР, значок члена Крым-ЦИК, иголка, катушка ниток, пузырек с валерьяновыми каплями. Еще носки, носки... А это?

И я осторожно вытащил из уголка портфеля черный браунинг.

Тихий вопль вырвался у меня из груди. Это был как раз тот самый браунинг, который принадлежал мужу

Валентины и лежал во взломанном мною ящике. Ну да!.. Вот она, выщербленная рукоятка. Выдвинул обойму. Так и есть: шесть патронов и одного нет.

Я положил браунинг в портфель, закрыл, застегнул и сунул под подушку.

«Что же делать? А что делается сейчас дома? Плевать там, конечно, на сломанный замок, на проданную горжетку! Горько и плохо, должно быть, пришлось молодому Валентининому мужу. Могут выругать и простить человека за потерянный документ. Без лишних слов вычтут потерянные деньги. Но никогда не простят и не забудут человеку, что он не смог сберечь боевое оружие! Оно не продается и не покупается. Его нельзя сработать поддельным, как документ, или даже фальшивым, как деньги. Оно всегда суровое, грозное и настоящее».

Кошкой отпрыгнул я к террасе и бесшумно повернул ключ, потому что по лестнице кто-то поднимался. Но это был не Яков и не дядя — они всё еще сидели в саду.

Я присел на корточки и приложил глаз к замочной скважине.

Вошла старуха.

Лицо ее показалось мне что-то чересчур веселым и румяным. В одной руке она держала букет цветов, в другой — свою лакированную палку. Цветы она поставила в стакан с водой. Потом взяла с тумбочки дядино зеркало. Посмотрела в него, улыбнулась. Потом, очевидно, что-то ей в зеркале не понравилось. Она высунула язык, плюнула. Подумала. Сняла со стены полотенце и плевок с пола вытерла. «Ах ты, старая карга! — рассердился я.— А я-то этим полотенцем лицо вытираю!»

Потом старуха примерила белую кепку. Пошарила у дяди в карманах. Достала целую пригоршню мелочи. Отобрала одну монетку — я не разглядел, не то гривенник, не то две копейки,— спрятала себе в карман. Прислушалась. Взяла портфель. Порылась, вытянула одну красную мужскую подвязку старика Якова. Подержала ее, подумала и сунула в карман тоже. Затем она положила портфель на место и легкой, пританцовывающей походкой вышла из комнаты.

Мгновенно вслед за ней очутился я в комнате. Вытянул портфель, выдернул браунинг и спрятал в карман. Сунул за пазуху и оставшуюся красную подвязку. Бросил

на кровать дядины штаны с отрезанными пуговицами. Подвинул на край стола стакан с цветами, снял подушку, пролил одеколон на салфетку и соскользнул через окно в сад.

Очутившись позади холма, я взобрался к развалинам беседки. Сорвал лист лопуха, завернул браунинг и задвинул его в расщелину. Спустился. Вылез через дыру. Прошмыгнул кругом вдоль забора и остановился перед калиткой.

Тут я перевел дух, вытер лицо, достал из кармана компас и, громко напевая: «По военной дороге шел в борьбе и тревоге...»*,— распахнул калитку.

Дядя и старик Яков сразу же обернулись.

Как бы удивленный тем, что увидел старика Якова, я на секунду оборвал песню, но тотчас же, только потише, запел снова.

Подошел, поздоровался и показал компас.

— Дядя,— сказал я,— посмотрите на компас. В какой стороне отсюда Одесса?

— Моряк! Лаперузо!* Дитя капитана Гранта! — похвалил меня дядя, очевидно довольный тем, что я не нахмурился и не удивился, увидев здесь старика Якова, который был теперь наголо брит — без усов, без диагоналевой гимнастерки с орденом, а в просторном парусиновом костюме и в соломенной шляпе.— Вон в той стороне Одесса. Сегодня мы проводим старика Якова на пристань к пароходу: он едет в Чернигов к своей больной бабушке, а тем временем я отвезу тебя в Одессу.

Это было что-то новое. Но я не показал виду и молча кивнул головой.

— Ты должен быть терпелив,— сказал дядя.— Терпение — свойство моряка. Помню, как-то плыли мы однажды в тумане... Впрочем, расскажу потом. Ты где бегал? Почему лоб мокрый?

— Домой торопился,— объяснил я.— Думал, как бы не опоздать к обеду.

— Нас сегодня старик Яков угощает,— сообщил дядя.— Не правда ли, добряк, ты сегодня тряхнешь бумажником? Ты подожди, Сергей, минутку, а мы зайдем в комнату. Там он с дороги отряхнется, почистится, и тогда двинем к ресторану.

Я проводил их взглядом, сел на скамью и, поглядывая на компас, принялся чертить на песке страны света.

...Не прошло и трех минут, как по лестнице раздался топот, и на дорожку вылетел дядя, а за ним, без пиджака, в сандалиях на босу ногу, старик Яков.

— Сергей! — закричал он.— Не видел ли ты здесь старуху?

— А она, дядечка, на заднем дворике голубей кормит. Вот, слышите, как она их зовет? «Гули, гули»!

— «Гули, гули»! — хрипло зарычал старик Яков.— Я вот ей покажу «гули, гули»!

— Только ласково! Только ласково! — предупредил на ходу дядя.— Тогда мы сейчас же... Мы это разом...

Голуби с шумом взметнулись на крышу, а старуха с беспокойством глянула на подскочивших к ней мужчин.

— Только тише! Только ласково! — оборвал дядя старика Якова, который начал чертыхаться еще от самой калитки.

— Добрый день, хорошая погода! — торопливо заговорил дядя.— Птица-голубь — дар божий. Послушайте, мамаша, это вы нам сейчас принесли в комнату разные... цветочки, василечки, лютики?

— Для своих друзей,— начала было старуха,— для хороших людей... Ай-ай!.. Что он на меня так смотрит?

— Отдай добром, дура! — заорал вдруг старик Яков.— Не то тебе хуже будет!

— Только ласково! Только ласково! — загремел на Якова дядя.— Послушайте, дорогая: отдайте то, что вы у нас взяли. Ну, на что вам оно? Вы женщина благоразумная (молчи, Яков!), лета ваши преклонные... Ну, что вы, солдат, что ли? Вот видите, я вас прошу... Ну, смотрите, я стал перед вами на одно колено... Да затвори, Яков, калитку! Кого еще там черт несет?!

Но затворять было уже поздно: в проходе стоял бородатый старухин сын и с изумлением смотрел на выпучившую глаза старуху и коленопреклоненного дядю. Дядя подпрыгнул, как мячик, и стал объяснять, в чем дело.

— Мама, отдайте! — строго сказал ее сын.— Зачем вы это сделали?

— Но на память! — жалобно завопила старуха.— Я только хотела на добрую, дорогую память!

— На память! — взбесился тогда не вытерпевший дядя.— Хватайте ее! Берите!.. Вон он лежит у нее в кармане!

— Нате! Подавитесь! — вдруг совершенно спокойным

и злым голосом сказала старуха и бросила на траву красную резиновую подвязку.

— Это моя подвязка! — торжественно сказал старик Яков.— Сам на днях покупал в Гомеле. Давай выкладывай дальше!

Старуха швырнула ему под ноги две копейки и вывернула карман. Больше в карманах у нее ничего не было.

Два часа бились трое мужчин со старухой, угрожали, уговаривали, просили, кланялись... Но она только плевалась, ругалась и даже изловчилась ударить старика Якова по затылку палкой.

До отплытия черниговского парохода времени оставалось уже немного. И тогда, охрипшие, обозленные, дядя и Яков пошли одеваться.

Старик Яков переменил взмокшую рубаху. С удивлением глядел я на его могучие плечи; у него было волосатое загорелое туловище, и, как железные шары, перекатывались и играли под кожей мускулы.

«Да, этот кривоногий дуб еще пошумит,— подумал я.— А ведь когда он оденется,согнется, закашляет и схватится за сердце, ну как не подумать, что это и правда только болезненный беззубый старикашка!»

Перед тем как нам уже уходить на пристань, подошел старухин сын и сообщил, что в уборной в яме плавает вторая красная подвязка.

Тут все вздохнули и решили, что полоумная старуха там же, по злобе, утопила и браунинг...

Но делать было нечего! Самим в яму лезть, конечно, никому не вздумалось, а привлекать к этому темному делу посторонних никто не захотел.

Я смотрел на холм с развалинами каменной беседки, думал о своем и, конечно, молчал.

На речной вокзал мы пришли рано. Только еще объявили посадку, и до отхода оставался час. Старик Яков быстро прошел в каюту и больше не выходил оттуда ни разу.

Мы с дядей бродили по палубе, и я чувствовал, что дядя чем-то встревожен. Он то и дело оставлял меня одного, под видом того, что ему нужно то в умывальник, то в буфет, то в киоск, то к старику Якову.

Наконец он вернулся чем-то обрадованный и протянул мне пригоршню белых черешен.

— Ба! — удивленно воскликнул он.— Посмотри-ка! А вот идет твой друг Славка!

— Разве тебе ехать в эту сторону? — бросаясь к Славке, спросил я.

— Я же тебе говорил, что вверх,— ответил Славка.— Ну-ка, посмотри, вода течет откуда?.. А ты куда? До Чернигова?

— Нет, Славка! Мы только провожаем одного знакомого.

— Жаль! А то вдвоем прокатились бы весело. У отца в каюте бинокль сильный... восьмикратный.

— Глядите,— остановил нас дядя.— Вон на воде какая комедия!

Крохотный, сердитый пароходишко, черный от дыма, отчаянно колотил по воде колесами и тянул за собой огромную, груженную лесом баржу.

Тут я заметил, что мы остановились как раз перед окошком той каюты, что занимал старик Яков, и сейчас оттуда, сквозь щель меж занавесок, выглядывали его противные выпученные глаза.

«Сидишь, сыч, а свету боишься»,— подумал я и потащил Славку на другое место.

Пароход дал второй гудок.

Дядя пошел к Якову, а мы попрощались со Славкой.

— Так не забудь зайти за фонарем,— напомнил он.— Отец вернется завтра обязательно.

— Ладно, зайду! Прощай, Славка! Будь счастлив!

— И ты тоже! Гей, папа! Я здесь! — крикнул он и бросился к отцу, который с биноклем в руках вышел на палубу.

Раньше, до ареста, у моего отца был наган, и я уже знал, что каждое оружие имеет свой единственный номер и, где бы оно ни оказалось, по этому номеру всегда разыщут его владельца.

Утром я вытряхнул печенье из фанерной коробки, натолкал газетной бумаги, положил туда браунинг, завернул коробку, туго перевязал бечевкой и украдкой от дяди вышел на улицу.

Тут я спросил у прохожего, где здесь в Киеве «стол находок».

В Москве из такого «стола» Валентина получила однажды позабытый в трамвае сверток с кружевами.

«Киев,— думал я,— город тоже большой, следовательно, и тут люди теряют всякого добра немало».

Мне объяснили дорогу.

Я рассчитывал, что, зайдя в этот «стол находок», я суну в окошечко сверток. «Вот,— скажу,— посмотрите, что-то там нашел, а мне некогда». И сейчас же удалюсь прочь. Пусть они как там хотят, так и разбираются.

Но первое, что мне не понравилось,— это то, что «стол» оказался при управлении милиции.

Поколебавшись, я все же вошел. Дежурный указал мне номер комнаты. Никакого окошечка там не было.

Позади широкого барьера сидел человек в милицейской форме, а на столе перед ним лежали разные бумаги и тут же блестящая калоша огромных размеров.

В очереди передо мной стояли двое.

— Итак,— спрашивал милиционер востроносого и рыжеусого человека,— ваше имя — Павло Федоров Павлюченко. Адрес: Большая Красноармейская, сорок. Означенная калоша, номер четырнадцать, на левую ногу, обнаружена вами у ворот, проходя в пивную лавку номер сорок шесть. Так ли я записал?

— Так точно,— ответил рыжеусый.— Я как был вчера выпивши, то, значит, зашел сегодня, чтобы опять... этого самого...

— Это к факту не относится,— перебил его милиционер.— Получайте квиток и расписывайтесь.

— Это я распишусь — отчего же! Гляжу я... Мать честная! Лежит она, самая калоша... сияет. Я искал, искал — другой нету. Я человек честный, мне чужого не надо. Кабы еще пара, а то одна. Дай, думаю, отнесу! Может, и потерял ее свой же брат, труженик.

— Одна! — сурово заметил милиционер.— Кабы и пара, все равно снесть надо. Этакое глупое у вас разумение... Значит, сюда только и тащи, что самому не надо? Подходи следующий.

— Я человек честный,— пряча квитанцию, бормотал рыжеусый.— Мне не то что две... три нашел, и то снес бы. Да кака така нога номер четырнадцатый? Вон у меня нога... в самый раз... аккуратная. А это что же? На столбы обувка?..

Пошатываясь, он пошел к выходу, а вслед за ним проскользнул и я.

«Нет,— думал я,— если из-за одной калоши тут столь-

ко расспросов, то с моей находкой скоро мне не отвертеться».

Опечаленный вернулся я домой и засунул браунинг на прежнее место. Надо было придумать что-то другое.

К вечеру я побежал на окраину, к Славкиной бабке.

— Не приезжал отец! — сказала она.— И то три раза из управления звонили да два раза с завода... Ну вот, слышите? Опять звонят.— И, отодвинув шипящую сковородку, она вперевалку пошла к телефону.

— Чистая напасть! — вздохнула она вернувшись.— Ну, задержался, ну, не угадал к пароходу... Так не дадут дня человеку побыть с женой да с матерью! Завтра приходи, милый! Да куда ж ты?.. Скушай пирожка, котлетку! Я и то наготовила, а есть некому.

Я поблагодарил добрую старуху, но от еды отказался.

По пути на площади мне попался киоск справочного бюро. Из любопытства подошел поближе и прочел, что в числе прочих здесь выдаются справки об условиях приема во все учебные заведения. И цена всему этому делу полтинник.

Тогда я заполнил бланк на мичманскую школу города Одессы. За ответом велели приходить через полчаса.

В ожидании я пошел шататься по соседним уличкам, заглядывая в лавки, магазины, а то и просто в чужие окна.

Наконец-то полчаса прошли! Помчался к киоску. Схватил протянутую мне бумажку.

...Никакой мичманской школы в Одессе нет и не было.

Я зашатался. Горе мое было так велико, что я не мог даже плакать и, вероятно, целый час просидел на каменной ступеньке какой-то сырой подворотни. И мне тогда хотелось, чтобы дядю этого убило громом или пусть бы он оступился и полетел вниз головой с обрыва в Днепр. На душе было пусто и холодно. Ничего теперь впереди не светило, не обнадеживало и не согревало.

Домой возвращаться не хотелось, но идти больше было мне некуда. И тогда я решил, что завтра же обворую дядю, украду рублей сто или двести и уйду куда глаза глядят. Может быть, проберусь к морю и наймусь на пароход. А может быть, спрячусь тайком в трюме,— в открытом море матросы ведь не выбросят... Впрочем,

чего жалеть? Может быть, и выбросят... Вздор! Мысли путались.

Пришел домой и сразу лег спать. Когда вернулся дядя, я не слышал. Ночью дядя дернул меня за руку:

— Ты чего кричишь? Ляжь, как надо, а то ишь разбросался! И надо тебе целый день по солнцу шататься!

Я повернулся и точно опять куда-то провалился.

Проснулся. Солнце. Зелень. Голова горячая. Дяди уже не было. Попробовал было выпить молока и съесть булки — невкусно.

Тогда, вспомнив вчерашнее решение, лениво и неосторожно стал обшаривать чемоданы. Денег не нашел. Очевидно, дядя носил их с собой.

Вышел и задумчиво побрел куда-то. Щеки горели, и во рту было сухо. Несколько раз останавливался я у киосков и жадно пил ледяную воду.

Устал наконец и сел на скамейку под густым каштаном. Глубокое безразличие овладело мной, и я уже не думал ни о дяде, ни о старике Якове. Мелькали обрывки мыслей, какие-то цветные картинки. Поле, луг, речка. Тиль-тиль, тир-люли! И я опять вспоминаю: отец и я. Он поет:

Между небом и землей
Жаворонок вьется...*

«Папа,— говорю ему я,— это замечательная песня. Но это же, право, не солдатская!» — «Как не солдатская? — и он хмурится.— Ну, вот весна, пахнет разогретой землей. Наконец-то сверху не сыплет снег, не каплет дождь, а греет через шинель теплое солнышко. Вот залегла цепь... Боя еще нет. А он сверху: тиль-тиль, тирлюли, тирлюли!.. Спокойно кругом, тихо... И вот тебе кажется: я лежу с винтовкой... А ведь кто-нибудь вспомнит и про меня и вздохнет украдкой. Как же не солдатская? Ну что? Теперь понял?» — «Да, да! Понял!»

Кто-то быстро тронул меня за плечо. Лениво открыл я глаза и в страхе зажмурился снова.

Передо мной стоял тот самый пожилой человек, которого мы ограбили в вагоне. Я был брит, без пилотки, лицо мое загорело, лоб влажен; он же был чем-то расстроен и не узнал меня.

— Мальчик,— спросил он, показывая на калитку,— ты не видел, хозяйка давно ушла из этого дома?

Молча качнул я головой.

— Э! Да ты, я вижу, братец, совсем спишь! — с досадой сказал он и, крикнув что-то шоферу, вскочил в машину и уехал.

Я огляделся и только теперь понял, что давно уже сижу на скамейке возле Славкиного дома и что человек этот только что стучался в их запертую калитку.

Быстро глянул я на табличку с названием улицы и номером дома. Потом, скоро, издалека напишу я Славке письмо.

Что-то вокруг странно все, дико и непонятно.

Выхватил карандаш и торопливо стал отыскивать клочок чистой бумаги, чтобы записать адрес.

Нашел! Стоп! Карандаш задрожал и упал на камни, а я, придерживаясь за ограду, снова опустился на скамью.

Это был клочок, который дала мне в парке при прощании Нина. На нем был записан телефон. И это был как раз тот самый номер, которого я боялся больше смерти:

«Г 0-48-64»

Так, значит, это искала меня не милиция! Но кто же? Зачем? Но, может быть, я ошибся, и в газете телефон записан совсем не этот? Надо было проверить. Скорей! Сейчас же!

Ни усталости, ни головной боли я больше не чувствовал. Добежал до угла и на повороте столкнулся со Славкиной бабкой. Ее вела под руку незнакомая мне женщина.

Я остановился и сказал ей, что за ней только что приезжала машина.

— Машина? — тихо переспросила она, и губы ее задергались.— Ах, что мне машина! Я и сама уже все знаю.

Я взглянул на нее и ужаснулся: глаза ее впали, лицо было чужое, серое. И дрожащим голосом она рассказала мне, что в лесу на обратном пути кто-то ударил Славкиного отца ножом в спину и сейчас он в больнице лежит при смерти.

Грозные и гневные подозрения сдавили мне сердце.

Лоб мой горел. И, как шальной конь, широко разметавший гриву, я помчался домой узнавать всю правду.

Дома на столе я нашел записку. Дядя строго приказывал мне никуда не отлучаться, потому что сегодня мы поедем в Одессу.

По столу были разбросаны окурки, на кровати лежала знакомая соломенная шляпа. Из Чернигова от «больной бабушки» старик Яков вернулся что-то очень скоро.

— Убийцы! — прошептал я помертвевшими губами.— Вы сбросите меня под колеса поезда, и плыви тогда капитан в далекую Индию... Так вот зачем я был вам нужен!

«Пойди познакомься,— вспомнил я разговор в парке,— он мальчик, кажется, хороший». Бандиты,— с ужасом понял я,— а может быть, и шпионы!

Тут колени мои вздрогнули, и я почувствовал, что, против своей воли, сажусь на пол.

Кое-как бухнулся в кровать. Дотянулся до графина. Жадно пил.

«Г 0-48-64»

Вынул газету. Да, номер тот же самый! Лег. Лежал. Сон — не сон. Полудрема.

«Эх, дурак я, дурак! Так вот и такие бывают шпионы, добрые!.. «Скушай колбасы, булку»... «Кругом аромат, цветы, природа». А праздник — веселое Первое мая? А гром и грохот Красной Армии?.. Не для вас же, чтобы вы сдохли, плакал я, когда видел в кино, как гибнет в волнах Чапаев!..»

Я вскочил, рванулся к пыльному телефону и позвонил.

— Дайте мне: Арбат ноль сорок восемь шестьдесят четыре.

— Но то в Москве, а это Киев,— ответил мне удивленный голос.— Даю вам междугородную.

Опять голос:

— Слушает междугородная!

— Дайте мне: Арбат ноль сорок восемь шестьдесят четыре,— все тем же усталым и настойчивым голосом попросил я.

— Москва занята,— певуче ответил телефон.— Наш лимит еще тридцать минут. На очереди три разговора. Если останется время, я вас вызову. Повторите номер.

Ничего я не понял. Повторил и уткнулся головой в подушку.

Сон навалился сразу. Капитан стоял на мостике и хотел пить. Но вода была сухая и шуршала, как газетная бумага.

Опять звонок. Длинный-длинный. Опомнился и сразу к телефону.

Голос. Через три минуты с вами будет говорить Москва. Разговор не задерживайте: в вашем распоряжении остается пять минут.

Стало легче.

И вдруг — на лестнице шаги. Шли двое. Все рухнуло! Но откуда взялась ловкость и сила? Я перемахнул через подоконник и, упираясь на выступ карниза, прижался к стене.

Голос дяди. А мальчишки все нет. Вот проклятый мальчишка!

Яков. Черт с ним! Надо бы торопиться.

Дядя (ругательство). Нет, подождем немного. Без мальчишки нельзя. Его сразу схватят, и он нас выдаст.

Яков (ругательство). Вот еще бестолковый дьявол! (Ругательство, еще и еще ругательство.)

Звонок по телефону. Я замер.

Яков. Не подходи!

Дядя. Нет, почему же? (В трубку.) Да! (Удивленно.) Какая Москва? Вы, дорогая, ошиблись, мы Москву не вызывали. (Трубка повешена.) Черт его знает что: «Сейчас с вами будет говорить Москва»!

Опять звонок.

Дядя. Да нет же, не вызывали! Как вы не ошибаетесь? С кем это вы только что говорили? А я вам говорю, что весь день сижу в комнате и никто не подходил к телефону. Как вы смеете говорить, что я хулиганю?.. (Трубка брошена. Торопливо.) Это что-то не то! Это, это... Давай собирайся, Яков!

«Они сейчас уйдут! — понял я.— Сейчас они выйдут и меня увидят».

Я соскользнул на траву, обжигаясь крапивой, забрался на холмик и лег среди развалин каменной беседки.

«Теперь хорошо! Пусть уйдут эти страшные люди. Мне их не надо... Уходите далеко прочь! Я один! Я сам!»

«Как уйдут? — строго спросил меня кто-то изнутри.— А разве можно, чтобы бандиты и шпионы на твоих глазах уходили, куда им угодно?»

Я растерянно огляделся и увидел между камнями пожелтевший лопух, в который был завернут браунинг.

«Выпрямляйся, барабанщик! — повторил мне тот же голос.— Выпрямляйся, пока не поздно».

— Хорошо! Я сейчас, я сию минуточку,— виновато прошептал я.

Но выпрямляться мне не хотелось. Мне здесь было хорошо — за сырыми, холодными камнями.

Вот они вышли. Чемоданы брошены, за плечами только сумки. Что-то орут старухе... Она из окошка показывает им язык. Остановились... Пошли.

Они не хотят идти почему-то через калитку — через улицу, и направляются в мою сторону, чтобы мимо беседки, через дыру забора, выйти на глухую тропку.

Я зажмурил глаза. Удивительно ярко представился мне горящий самолет, и, как брошенный камень, оттуда летит хрупкий белокурый товарищ мой — Славка.

Я открыл глаза и потянулся к браунингу.

И только что я до него дотронулся, как стало тихо-тихо. Воздух замер. И раздался звук, ясный, ровный, как будто бы кто-то задел большую певучую струну и она, обрадованная, давно никем не тронутая, задрожала, зазвенела, поражая весь мир удивительной чистотой своего тона.

Звук все нарастал и креп, а вместе с ним вырастал и креп я.

«Выпрямляйся, барабанщик! — уже тепло и ласково подсказал мне все тот же голос.— Встань и не гнись! Пришла пора!»

И я сжал браунинг. Встал и выпрямился.

Как будто бы легла поперек песчаной дороги глубокая пропасть — разом остановились оба изумленных друга.

Но это длилось только секунду. И окрик их, злобный и властный, показал, что ни меня, ни моего оружия они совсем не боятся.

Так и есть!

С перекошенными ненавистью и презрением лицами они шли на меня прямо.

Тогда я выстрелил раз, другой, третий... Старик Яков вдруг остановился и неловко попятился.

Но где мне было состязаться с другим матерым волком, опасным и беспощадным снайпером! И в следующее же мгновение пуля, выпущенная тем, кого я еще так недавно звал дядей, крепко заткнула мне горло.

Но, даже падая, я не переставал слышать все тот же звук, чистый и ясный, который не смогли заглушить ни внезапно загремевшие по саду выстрелы, ни тяжелый удар разорвавшейся неподалеку бомбы.

Гром пошел по небу, а тучи, как птицы, с криком неслись против ветра.

И в сорок рядов встали солдаты, защищая штыками тело барабанщика, который пошатнулся и упал на землю.

Гром пошел по небу, и тучи, как птицы, с криком неслись против ветра. А могучий ветер, тот, что всегда гнул деревья и гнал волны, не мог прорваться через окно и освежить голову и горло метавшегося в бреду человека. И тогда, как из тумана, кто-то властно командовал: «Принесите льду! (Много-много, целую большую плавучую льдину!) Распахните окна! (Широко-широко, так чтобы совсем не осталось ни стен, ни душной крыши!) И быстро приготовьте шприц! Теперь спокойней!..»

Гром стих. Тучи стали. И ветер прорвался наконец к задыхавшемуся горлу...

Сколько времени все это продолжалось, я, конечно, тогда не знал.

Когда я очнулся, то видел сначала над собой только белый потолок, и я думал: «Вот потолок — белый».

Потом, не поворачивая головы, искоса через пролет окна видел краешек голубого неба и думал: «Вот небо — голубое».

Потом надо мной стоял человек в халате, из-под которого виднелись военные петлицы, и я думал: «Вот военный человек в халате».

И обо всем я думал только так, а больше никак не думал.

Но, должно быть, продолжалось это немало времени, потому что, проснувшись однажды утром, я увидел на солнечном подоконнике, возле букета синих васильков, полное блюдце ярко-красной спелой малины.

И я удивился, смутно припоминая, что еще недавно в каком-то саду (в каком?) малина была крошечная и совсем зеленая.

Я облизал губы и тихонько высвободил плечо из-под легкого покрывала.

И это первое, вероятно, осмысленное мое движение не прошло незамеченным. Тотчас же передо мной стала девушка в халате и спросила:

— Ну что? Хочешь малины?

Я кивнул головой. Она взяла блюдечко, села на край постели и осторожно стала опускать мне в рот по одной ягодке.

— Я где? — спросил я.— Это какой город?

— Это не город. Это Ирпень! — И так как я не понял, она быстро повторила: — Это Ирпень — дачное такое место недалеко от Киева.

— Ах, от Киева?

И я все вспомнил.

Прошла еще неделя. Вынесли в сад кресло-качалку, и теперь целыми днями сидел я в тени под липами.

Пробитое пулей горло заживало. Но разговаривать мог я еще только вполголоса.

Два раза приходил ко мне человек в военной форме. И тут же, в саду, вели мы с ним неторопливый разговор.

Все рассказал я ему про свою жизнь, по порядку, ничего не утаивая. Иногда он просто слушал, иногда что-то записывал.

Однажды я спросил у него, кто такой был Юрка.

— Юрка?.. Это был мелкий мошенник.

— А тот... артист?.. Ну, что сошел с поезда в Серпухове?

— Это был крупный наводчик-вор.

— А старик Яков?

— Он был не старик, а просто старый бандит.

— А он... Ну, который дядя?

— Шпион,— коротко ответил военный.

— Чей?

Человек усмехнулся. Он не ответил ничего, затянулся дымом из своей кривой трубки, сплюнул на траву и неторопливо показал рукой в ту сторону, куда плавно опускалось сейчас багровое вечернее солнце.

— Ну, вот видишь? Так со ступеньки на ступеньку,

и вот наконец до кого ты добрался. Теперь тебе все ясно?

Это меня задело.

— Добрался! Так кто же такой, по-вашему, я?

— Когда: теперь или раньше? Сейчас ты поумнел. Еще бы!.. А раньше был ты перед ними круглый дурак. Но не сердись, не хмурься. Ты еще мальчуган, а эти волки и не таких, как ты, бывало, обрабатывали.

Он вытащил из папки фотоснимок:

— Не узнаешь?

Еще бы! Вот она, церковь, скамья. Вот он,— ишь ты как улыбается,— дядя. А вот он выпучил глаза — старик Яков.

— Так вы еще в Москве догадались достать кассеты у Валентины из ящика и проявить их?

— Да, мы давно обо всем догадались. Но вас разыскать нелегко было.

Теперь он вытянул листок бумаги и, хитро глянув на меня, продекламировал:

На берегу стоят девицы,
Опечалены их лица.

— Это ты сочинил?

— Да,— сознался я.— Но скажите, что это за листы? И еще скажите: что это были за склянки... и почему так часто пахло лекарством?

— Мальчик,— ответил он,— ты не должен у меня ничего спрашивать! Отвечать я тебе не могу и не стану.

— Хорошо,— согласился я.— Но я уже и сам догадываюсь: это, наверно, был какой-нибудь секретный состав для бумаги!

— А это догадывайся сам, сколько тебе угодно.

— Ладно,— сказал я.— Я ничего не буду спрашивать. Только одно: Славкин отец умер?

— Жив, жив! — охотно ответил он.— Я и позабыл, что он тебе велел кланяться.

— За что? — удивился я.

— За что? Гм... гм...— Он посмотрел на часы.— Ну, прощай, поправляйся! Больше я не приду. Да,— он остановился и улыбнулся.— Нет,— и он опять улыбнулся.— Нет, нет! Скоро все сам узнаешь.

...У ног моих лежал маленький, поросший лилиями пруд. Тени птиц, пролетавших над садом, бесшумно скользили по его темной поверхности. Как кораблик, гонимый ветром, бежал неведомо куда сточенный червем или склюнутый птахой и рано сорвавшийся с дерева листок. Слабо просвечивали со дна зеленовато-прозрачные водоросли.

Тут я мог сидеть часами и был спокоен. Но стоило мне поднять голову — и когда передо мной раскидывались широкие желтеющие поля, когда за полями, на горизонте, голубели деревеньки, леса, рощи, когда я видел, что мир широк, огромен и мне еще непонятен, тогда казалось, что в этом маленьком саду мне не хватит воздуху. Я открывал рот и старался дышать чаще и глубже, и тогда охватывала меня необъяснимая тоска.

Вдруг примчался ко мне Славка. Я его узнал, еще когда он сходил с легковой машины.

В замешательстве, как бы ища опоры, я оглянулся.

Но с первых же слов он меня перебил, замахал руками и засмеялся:

— Я все знаю! Я больше тебя знаю! Ты лежишь, а я на воле. Папа тебе шлет привет! Это он мне дал свою машину. Но ты уж совсем не такой худой и бледный, как говорил Герчаков.

— Кто?

— Герчаков! Ну, майор из НКВД, который с тобой разговаривал! Он заходил к нам часто. Ты знаешь, у него несчастье: пошел он на Днепр купаться — бултых в воду! А часы-секундомер с руки не снял. У него часы хорошие — еще в двадцать четвертом ему на работе подарили. Они и стали. Отнес — починили. Опять стали. Так он чуть не плачет. Это, говорит, я все распутывал ваши дела, заработался... Вот тебе и прыгнул!.. Послушай! Вот я тебе привезу фонарик. Мое слово твердо.

— Славка,— настойчиво спросил я,— зачем они твоего отца убить хотели?

Славка задумался.

— Видишь ли, когда вы...— тут Славка покраснел и быстро поправился,— то есть когда они обокрали в вагоне папиного помощника, то ничего нужного в сумке они, конечно, не нашли... Ну, они рассердились...

— Славка,— еще упрямей повторил я,— ну, не нашли, но зачем же все-таки они хотели убить твоего отца?

— Видишь ли, он, кажется, работает над какой-то важной военной машиной... Ну, а им этого не хочется. Нет, нет! Дальше ты меня лучше не спрашивай! Я тоже однажды спросил у отца: что за машина? Вот он посадил меня с собой рядом, взял карандаш и говорил, говорил, объяснял, объяснял... Вот тут винт, тут ручка, тут шарниры, здесь шарикоподшипники. При вращении развивается огромная центробежная сила. А здесь такой металлический сосуд... Я все слушал, слушал — да вдруг как закричу: «Папка! Что ты все врешь? Это же ты мне объясняешь, как устроен молочный сепаратор, что стоит в деревне у бабки!» Тогда он хохотал, хохотал, а потом и я захохотал. Так вот, с той поры я уж его и сам ни о чем не спрашиваю. Нельзя! — вздохнул Славка.— Не наше пока это дело.

— Их посадили? — угрюмо спросил я.

— Кого «их»?

— Ну, этих, который дядя — и Яков.

— Но ты же... ты же убил Якова,— пробормотал Славка и, по-видимому, сам испугался, не сказал ли он мне лишнего.

— Разве?

— Ну да! — быстро затараторил Славка, увидев, что я даже не вздрогнул, а не то чтобы упасть в обморок.— Ты встал, и ты выстрелил. Но дом-то ведь был уже окружен и от калитки и от забора — их уже выследили. Тебе бы еще подождать две-три минуты, так их все равно бы захватили!

— Вон что! Значит, выходит, что и стрелял-то я напрасно!

— Ничего не выходит! — вступился Славка.— Ты-то ведь этого не знал. Нет, нет! Все выходит, что очень даже не напрасно. Да! — И Славка, смущенно пожав плечами, протянул мне завернутый в салфетку узелок, от которого еще за пять шагов пахло теплыми плюшками да ватрушками.— Это тебе бабка прислала. Я не брал. Я отказывался: «На что ему? Там и так кормят». Так разве она слушает! «Да ты бери, бери! Так с салфеткой и бери». Подумаешь, салфетка! Знамя, что ли?

Мы распрощались. Все еще чуть прихрамывая, он быстро добежал до машины и махнул мне рукой.

...Славка уехал. Долго сидел я. И улыбался, перебирая в памяти весь наш разговор. Но глаза поднять от земли к широкому горизонту боялся. Знал, что все равно налетит сразу, навалится и задавит тоска.

Как-то я сидел на террасе и задумчиво глядел, как крупный мохнатый шмель, срываясь и неуклюже падая, упрямо пытается пролететь сквозь светлое оконное стекло. И было необъяснимо, непонятно, зачем столько бешеных усилий затрачивает он на эту совершенно бесплодную затею, в то время, когда совсем рядом вторая половина окна широко распахнута настежь.

Мимо меня, как-то чудно́ глянув и торопливей, чем обычно, пробежала через террасу из сада нянька.

Вскоре из дежурки прошел в сад доктор. Высунулась опять нянька; она была взволнована.

— Ну, вот и хорошо! Ну, вот и хорошо! — шепнула она, не вытерпев.— Вот и за тобой, милый, из дому приехали.

Как из дому?.. Валентина? Вот это новость!

Я запахнул халат и вышел на крыльцо.

Резкий крик вырвался у меня из еще не окрепшего горла. Я кинулся вперед и тут же зашатался, поперхнулся, ухватился за перила. Кашель душил меня, в горле резало. Я затопал ногами, замотал головой и опустился на ступеньки.

По песчаной дорожке шел доктор, а рядом с ним — мой отец. Мне сунули ко рту чашку воды со льдом, с валерьянкой, с мятой; тогда наконец кашель стих.

— Ну можно ли так кричать? — укорил меня доктор.— Ты бы вскрикнул шепотом, потихоньку... Горло-то у тебя еще слабое.

Вот мы и рядом. Я лежу. Лоб мой влажен. Я еще не знаю, счастлив я или нет. Пытливо смотрю я на отца, хмурюсь, улыбаюсь. Но я очень осторожен, я еще ничему не верю.

И я ему говорю:

— Это ты?

— Да, я!

Голос его. Его лицо. На висках, как паутина, легкая седина. Черная гимнастерка, галифе, сапоги. Да, это он!

И я осторожно спрашиваю:

— Но ведь тебя...

Он сразу понимает, потому что, улыбнувшись — вот так, по-своему, как никто, а только он — правым уголком рта,— отвечает:

— Да! Я был виноват! Я оступился. Но я взрывал землю, я много думал и крепко работал. И вот меня выпустили...

— И теперь ты...

— И теперь я совсем свободен.

— И тебя выпустили так задолго раньше срока? — бормочу я.

— Я взрывал землю,— настойчиво повторяет отец.— Верно! Я старый командир, сапер. Я был на германской с четырнадцатого и на гражданской с восемнадцатого. Верно! Ну, так за эти два года я забурил, заложил и взорвал земли больше, чем за все те восемь. (Вот, я вижу, он опять улыбается, шире, шире. Сейчас, конечно, дотронется рукой до подбородка. Есть!) — И доканчивает: — Но и она мне, земля, кое-что вдолбила в голову крепко!

Я смотрю на его левую руку: большого пальца до половины нет. Смотрю на голову: слева, повыше виска, шрам. Раньше его не было. Я спрашиваю:

— Это что?

Он треплет меня по плечу:

— Это вода шла на нас в атаку, а мы динамитом заставили ее свернуть в сторону.

— И ты был...

— А я был бригадиром подрывной бригады.

...Вот и все! Нет, не все. Теперь мой черед. Теперь должен говорить я. Все вспоминать и объяснять, издалека, с самого начала.

Но отец сразу же меня перебивает:

— Ты уж молчи! Я все сам знаю.

Счастье! Вот оно, большое человеческое счастье, когда ничего не нужно объяснять, говорить, оправдываться и когда люди уже сами все знают и все понимают.

Я с благодарностью сжимаю его руку, и мне хочется ее поцеловать. Но он тихонько ее выдергивает и крепко жмет мою.

Больше об этих делах друг у друга мы не спрашиваем. Кончено. Пройдено. Прожито. Крест.

В висках постукивает. И вдруг налетает догадка, и я почти кричу:

— Папа! А где ты теперь живешь?..

— У Платона Половцева. Он пока уступил мне одну комнату. А дальше будет видно. Теперь мы не пропадем.

— Г 0-48-64! Так это ты меня искал? Так вот он откуда загадочный московский телефон!

— Да. Я приехал как раз после твоего отъезда через неделю.

Я отталкиваю его руку и поднимаю с подушки голову:

— Ты пусти, папа. Я встану. Мне хорошо!

Мы на самолете в пути к Москве. Там нас должна по телеграмме встретить Нина. Вероятно, она будет с отцом.

Широки поля. Мир огромен. Жизнь еще только начинается. И что пока непонятно, все потом будет понято. Мотор гремит, а мне весело. Я толкаю отца локтем и, чтобы он меня расслышал, громко кричу:

— Папа, а все-таки «Жаворонок» — это не солдатская песня!

Он, конечно, сейчас же хмурится:

— А какая же?

— Да так! Просто человеческая.

— Ну и что же, человеческая! А солдат не человек, что ли?

Он упрям. Я знаю, что нет для него ничего святей знамен Красной Армии, и поэтому все, что ни есть на свете хорошего, это у него — солдатское.

А может быть, он и прав!

Пройдут годы. Не будет у нас уже ни рабочих, ни крестьян. Все и во всем будут равны. Но Красная Армия останется еще надолго. И только когда сметут волны революции все границы, а вместе с ними погибнет последний провокатор, последний шпион и враг счастливого народа, тогда и все песни будут ничьи, а просто и звонко — человеческие.

Мы подлетаем к Москве в сумерки. С волнением вглядываюсь я в смутные очертания этого могучего города. Уже целыми пачками вспыхивают огни.

И вдруг мне захотелось отсюда, сверху, найти тот огонек от фонаря шахты, что светил ночами в окна нашей несчастливой квартиры, где живет сейчас Валентина и откуда родилось и пошло за нами наше горе.

Я говорю об этом отцу. Он склоняется к окошку

Но что ни мгновение, огней зажигается все больше и больше. Они вспыхивают от края до края прямыми аллеями, кривыми линиями, широкими кольцами. И вот уже они забушевали внизу, точно пламя. Их много, целые миллионы! А навстречу тьме они рвались новыми и новыми тысячами.

И отыскать среди них какой-то один маленький фонарик было невозможно... да и не нужно!

Самолет опустился на землю. Взявшись за руки, они вышли и остановились, щурясь на свету прожектора.

И те люди, что их встречали, увидели и поняли, что два человека эти — отец и сын — крепко и нерушимо дружны теперь навеки. На усталые лица их легла печать спокойного мужества. И, конечно, если бы не яркий свет прожектора, то всем в глаза глядели бы теперь они прямо, честно и открыто.

И тогда те люди, что их встречали, дружески улыбнулись им и тепло сказали:

— Здравствуйте!

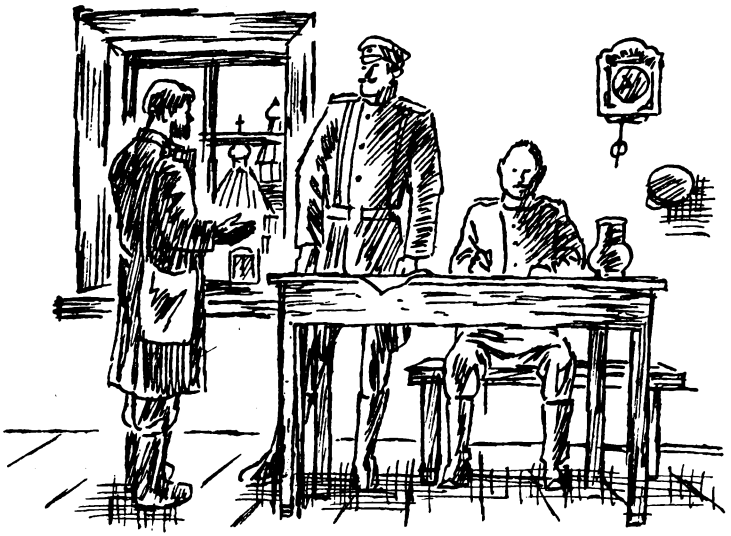
1938 г.

ПРОХОЖИЙ

Пьеса в двух картинах

Действующие лица:

Старуха.
Офицер.
Прохожий.
Мужик.
Писарь.
Ординарец.
Дубов.
Партизаны.



Сцена первая

Внутренность избы. На сцене о ф и ц е р.

О ф и ц е р *(говорит по полевому телефону)*. Доношу: я с эскадроном в шестьдесят клинков занял без боя деревню Тумашово. Партизанский отряд красных под командой шахтера Дубова пока не обнаружен.

Под окном голоса, шум.

Ищу оружие. Веду обыск, допрос, разведку. Всё!

Входит о р д и н а р е ц.

О ф и ц е р. Почему шум? Что там? Базар? Свадьба?

О р д и н а р е ц. Народ для допроса пригнали, ваше

благородие. Люди, я прямо скажу, вредные. Мне одна старуха нахально в личность плюнула. Прикажете вводить, ваше благородие?

Офицер. Давай по очереди. Стой! Почему у тебя сапоги известкой заляпаны?

Ординарец. Сметана, ваше благородие! Как, значит, бывши на поисках оружия, раздавил я впотьмах крынку. Она же, старая ведьма, подняла тревогу и плюет на меня, как из пулемета. Вы с ней поаккуратней, ваше благородие. Она и на вас плевнуть может.

Офицер *(спокойно)*. Застрелю на месте. Давай пропускай по очереди.

Ординарец уходит. Офицер садится за стол, подвигает бумагу, пишет. Отворяется дверь. Втолкнули мужика, и он летит прямо к столу.

Офицер *(отшатываясь и вынимая наган)*. Стой! Куда прешь? Отойди к порогу!

Мужик. Солдат пинком тыркнул, ваше благородие... А то нешто я сам, как войти, не знаю!

Офицер. Ну и что ж, что тыркнул? А ты входи прямо, спокойно. Здесь тебе не цирк и не танцы. *(Пауза.)* Нам донесли, что в вашей деревне есть оружие, которое вы прячете, чтобы передать партизанскому отряду Дубова! Отвечай: где спрятаны винтовки, пулеметы, бомбы? Да смотри! Мы всю землю перероем, а все равно разыщем.

Мужик. Ваше благородие! Да зачем зря силу тратить? И мы и деды наши вокруг этого места, почитай, двести лет землю роем. А про такое и не слыхали. Плиту чугунную на пашне однажды выворотили. Это было. Яму под оврагом нашли. Там горшки, черепки, камень и скелет старинного вида. А чтобы пушка, аэроплан или хотя бы ружье попалось — этого в нашей почве нету.

Офицер *(ударил мужика нагайкой)*. Я с тобой поговорю! Я тебе прикажу всыпать шомполами, так ты у меня и сам превратишься в скелет старинного вида. *(Кричит.)* Вахромеев!

Входит ординарец.

Ординарец. Есть, ваше благородие!

Офицер. Отведи этого мужика и прикажи запереть

(смотрит в окно) вот сюда, в церковь. Там и двери тяжелые и решетки железные. С ним допрос будет особый!

Ординарец уводит мужика. Вытолкнули из-за двери старушку с клюкой.

Офицер. Это ты, убогая, на моего солдата плюнула? Да, тебя дожидаючись, на том свете черти семь крюков наточили. А ты все еще безобразничаешь!

Старуха. Я, батюшка! Я! Такой солдат окаянный! Лезет в погреб. Како-то ружо спрашивает, а сам сапожищем как в крынку сметаны двинет! Ну я и согрешила, батюшка. Прямо так в морду ему и плюнула.

Офицер. Поп тебе батюшка, а я офицер. Наши солдаты ищут оружие — говори: где спрятаны винтовки, патроны, бомбы?

Старуха. Бомб у меня нет, батюшка. В той-то кадушке, что под лесенкой,— огурцы малосольные. А в другой — капуста. Ты б его наказал, батюшка. Такой солдат непутевый! Давай в огурцы саблей тыкать! Мать моя! Гляди, чуть кадку не продырявил. Ты уж, если такой приказ вышел, ищи аккуратно. Ты спроси у меня ложку, половник, сядь и перебирай в мисочку. А он же, ваше благородие, схватил железу и давай тыкать.

Офицер медленно поднимает наган на старуху.

Да ты что, золотой, как на меня уставился? Я не икона.

Офицер. Дура, это наган... *(показывает)* оружие. Я вот сейчас тут надавлю пальцем *(показывает)*, отсюда огонь ударит. Пуля выскочит, и ты... будешь мертвая.

Старуха. И, батюшка! Скажешь тоже, не подумавши. Да за что же она, пуля, в меня скакать будет? Твой солдат мне в погребе убыток наделал, да я ж еще виновата!

Во время этих слов входит ординарец и делает офицеру загадочные знаки.

Офицер. Тебе что?

Ординарец *(тихо)*. Прохожий, ваше благородие, имеет стремление к неотложному сообщению.

Офицер. Веди.

Ординарец. А эту? *(Показывает на старуху.)*

Офицер. Гони со двора нагайкой. Или нет, запри

ее тоже в церковь. Пусть лучше убогая грехи замаливает, а то сейчас пойдет звонить по деревне.

Ординарец *(старухе)*. Идем! *(Опасливо заслоняет лицо ладонью.)* Ишь ты! Так и глядит, так и глядит мне в личность. Это она, ваше благородие, еще плевнуть на меня хочет!

Вышли.

Осторожно входит прохожий с сумкой. Огляделся и крестится на иконы.

Офицер *(нетерпеливо)*. Ладно, ладно! Здесь тебе не обедня. Что за человек? И чего тебе надо?

Прохожий. Сирота, ваше благородие. Житель деревни Костриковой. Будучи изгнан с родного пепелища декретом красных, бежал искать пристанища и защиты.

Офицер. Гм... А велико ли было твое пепелище?

Прохожий. Две лавки да один трактир, ваше благородие. Лишен всего во мгновение ока.

Офицер. И что же ты, сирота, от меня хочешь? Уж не думаешь ли ты, что так и кинемся мы отбивать твой трактир и лавки? У нас дела поважнее. Нам Москву занимать надо.

Прохожий. В добрый час, ваше благородие! Однако же Москва от вас пока далеко, а вот дубовские партизаны близко.

Офицер. Где близко? Говори коротко! Ясно! Понятно!

Прохожий. Дитя малое — и то поймет. Иду я по Синявской дороге *(офицер показывает направление, прохожий повторяет жест)* — дай, думаю, искупаюсь, и повернул к мосту *(офицер показывает направление, прохожий повторяет)*, а тут такой ракитничек, кусточки, кусточки. Вдруг: «Стой!» Выходят три молодца при полном оружии, и стали они меня спрашивать: «Много ли на Тумашовой деревне вооружения? И какое там стоит войско?» Я им и говорю: «Войско стоит небольшое — человек двадцать! Вооружение обыкновенное. Пулемета не видел».

Офицер *(подозрительно)*. А зачем сказал мало? Почему не соврал — триста... четыреста?

Прохожий. Ваше благородие, на четыреста Дубову

не подняться, когда у него человек с полсотни, не больше. А так, проведавши про малую вашу силу, как хищные звери, наскочат они к рассвету. Тут вы их всех и положите.

Офицер. Почему к рассвету? Разве они тебе это сказали?

Прохожий. Не сказали, но таков их закон природы, ваше благородие. Коршун бьет птицу из-под солнца! Волк ползет к загону под месяцем. А партизан вашего брата на заре губит. Иной солдат за ночь не спал, иной как раз загрустил с похмелья. А иному шибанет в голову какая-нибудь греза... сновидение. Вот тут-то они и а-та-та-та! — голубчики.

Офицер. Гм... Так ты хочешь, чтобы мы устроили им засаду? Хитер ты, я вижу, сирота, да не знаю, как тебе верить.

Прохожий. Ваше благородие! А вы возьмите к себе в залог мою душу и тело. Моя правда — мне почет. А нет — так делайте со мною что хотите.

Офицер. Ну смотри! Душа мне твоя не нужна. А уж с телом... в случае чего, мы разберемся. Я тебя запру. Там сидят уже двое. А ты около них вертись да потихоньку слушай, слушай... *(Пауза.)* Прячут здесь где-то оружие для Дубова... Крепко запрятали! *(Пауза.)* Эй, Вахромеев!

Входит ординарец.

Ординарец. Есть, ваше благородие!

Офицер. Отведи этого человека и запри в церковь.

Ординарец. Слушаюсь, ваше благородие!

Прохожий *(ординарцу)*. Ты, солдат, когда будешь вести меня мимо народа, дай мне раза два в шею, чтобы, значит, не было у людей на меня подозрения.

Ординарец *(офицеру вопросительно)*. Ваше благородие?

Офицер. Ну дай, если человек просит!

Прохожий. Да ты смотри, голова, бей только для виду. Ты кулаком бей. А то еще долбанешь прикладом, так потом и не встанешь.

Уходят.

Вошел писарь с мешком. Вываливает все содержимое на пол. На полу сломанное ружье, ржавая, без ножен, сабля, пустой стакан от снаряда, пустые обоймы.

Офицер. И это все?

Писарь. Все, ваше благородие. Оружие... конечно... боевого смысла не имеет. Разве вот... сабля...

Офицер. Выкинь, дурак, на помойку и позови ко мне остальных командиров! *(Помолчал. Вдруг стукнул кулаком по столу.)* Ничего! Дело будет!

Занавес

Сцена вторая

Угол возле двери внутри церкви. Решетчатое окно. На стене намалеваны бесы, которые волокут в пекло упирающегося грешника. Мужик спит. Старуха зажигает свечные огарки. Прохожий нетерпеливо ходит взад-вперед. То он заглядывает в окно, то голову задирает кверху. Наконец он берет аналой, подтаскивает его к окошку и примеряет то одним, то другим боком.

Старуха. И что ты, неспокойный человек, ходишь, толчешься? Ну зачем ты аналой с места на место воротишь?

Прохожий. К свечам поближе, бабуся. Я сейчас двенадцать апостолов читать буду.

Старуха. И то — читай! Глядишь, ночь пройдет быстро.

Прохожий *(смотрит в окно)*. Уже проходит. Заря близко. *(Подошел и осматривает наружную дверь. Подумал и осторожно задвинул засов.)*

Старуха *(с тревогой)*. Ты почто, человек, засовом торкаешь? Солдат услышит — рассердится.

Прохожий. Молиться буду, бабуся. Не люблю, чтобы во время святыя молитвы лишний народ толкался. *(Прислушался и громко вопит.)* Помилуй мя, господи, и во благости своей прости мне прегрешения!

Удар приклада в дверь и снаружи голос.

Голос. Эй, там! Я вот во благости своей пущу пулю, тогда замолкнешь.

Старуха *(сердито)*. Ты, прохожий, молись тихо. Ты скромно молись. А то, как бык, рявкаешь. Пустой ты, я на тебя посмотрю, человек. Так... все зря суетишься. *(Смотрит на то, как прохожий вынул из сумки длинную веревку и старательно завязывает петлю.)* Ну почто ты, скажи, из мешка веревку вытягнул? Здесь не лабаз*, не

чердак, а церьква. Место тихое. Ой, смотри, если ты что плохое задумал! На том свете взыщется. *(Показывает на стену.)* Глянь-ка, как они, черти, грешника в пекло тягнут. Иной черт за руки тягнет, иной за волосья. А он, видишь, не идет... упирается.

Прохожий. Бабуся!

Старуха. Ну!

Прохожий. Сделай божескую милость! Да помолчи хоть немного! Здесь не базар, а церьква. Место тихое. А ты тарахтишь, как сорока *(показывает на мужика)*, вон человеку спать мешаешь. *(Взял веревку и ушел куда-то в глубь церкви.)*

Старуха *(дергает сонного мужика)*. Василий, а Василий!

Мужик *(сквозь сон)*. Ну!

Старуха. Пойди, Василий, глянь на прохожего.

Мужик. А что на него глядеть? Не картина.

Старуха. А он, Василий, не в себе, что ли? Все ходит, ходит, а сам этак руками... руками. Вот теперь веревку из мешка вытягнул, петлю завязал и ушел. Как бы, думаю, греха не было: еще возьмет да в храме и удавится.

Мужик *(равнодушно)*. Пусть давится. Все равно хорошего житья нету. *(Трогает себя за плечо.)* Эк офицер меня нагайкой срезал! *(Опускает голову.)* Спи, баба! Заря близко. *(Лег.)*

Старуха *(встала и подошла к окошку)*. И то светает! *(Смотрит.)* Батюшки, а солдаты-то, солдаты! Коней ведут... седлают... запрягают!.. Унеси ты, господи, эту нечистую силу! *(Отошла. Стала на колени и молится.)*

Издалека слышно ржание коней, негромкие голоса. Молится старуха, наклоняя лоб до пола, а в это время сверху на веревке тихо опускается к полу пулемет. Стукнул пулемет об пол — глянула бабка, ахнула, кинулась к мужику и будит его. Быстро с наганом в левой руке и с двумя коробками лент в правой входит прохожий.

Прохожий. Отползите в угол! Ну, дальше...— дальше... Сидеть смирно! *(Отцепил пулемет, поднимает его и ставит на аналой* к подоконнику. Навел, прицелился.)*

Старуха *(тихо)*. Василий! Да что же это такое?

Мужик. Сошествие пресвятого пулемета с небес на землю. Терпи, баба, сейчас стрельба будет.

Резкий стук приклада в дверь. Прохожий кидается к двери.

Голос. Отворите, проклятые! Зачем заперлись?

Прохожий. Сейчас, господин солдат! Засов заело. *(Хватает конец веревки и засов наглухо заматывает.)*

Голос. Отвори, говорю! Ну, держись!

За дверью внезапный выстрел. Прохожий падает. Он лежит на полу, в руках его наган. Он пробует встать и не может. В дверь стучатся.

Прохожий *(мужику)*. Встань и подойди к окну!

Мужик. Не пойду!

Прохожий направляет на мужика наган.

(Нехотя.) Ну, подошел!

Прохожий. Что видно?

Мужик. Стоят в строю возле ограды солдаты... Вот офицер вышел.

Прохожий. Пора! *(Рванулся к пулемету. Не может. Упал.)*

Мужик. Вот офицеру коня подводят. Сейчас и все, видать, на коней вскочат!

Прохожий *(мужику)*. Послушай! Возьми... подведи, подтащи меня к пулемету.

Мужик. Не буду! Да и что с тебя толку! *(Упрямо.)* Не буду!

Из-за окна команда: «По ко́ням!..»

Прохожий. Так... бей же! Бей тогда сам, коли не будешь!..

Мужик *(резко пригнувшись к пулемету)*. А вот бить их я всегда буду! *(Обернулся.)* Стой, баба, на подаче, вторым номером!* *(Прицелился.)* Ну... теперь все, как на ладони.

Треск пулемета. Занавес закрывается и через недолгое время опять открывается. Мужик у пулемета. Старуха в одной руке держит коробку с пулеметной лентой, другой крестится. За окном шум, одиночные выстрелы.

Мужик. Все, баба! Вот они и ворвались, партизаны. Теперь и закурить можно.

Старуха *(яростно сует ему коробку с лентой)*. Вот еще храм табачищем поганить! Да ты стреляй! Нашел тоже курить место!

Мужик. Не в кого, баба! Чисто, как после сенокоса. А где какой клок остался, так партизаны саблями подровняют.

Стук в дверь.

Кого надо? Служба кончилась.

Голоса. Отворяй! Свои! Партизаны Дубова!

Мужик отодвигает засов. Входит сам Дубов, с ним еще несколько человек. Дубов бросается к прохожему.

Дубов. Семен! Убит!

Прохожий *(поднимая голову)*. Ранен...

Дубов. Голова цела! Сердце на месте! Эй, там! Кричи фельдшера!

Входит фельдшер, наклоняется над раненым.

Мужик *(одному из партизан, показывая на прохожего)*. А это кто же за человек будет?

Партизан. Семен Васильев — первый у Дубова помощник.

Входят партизаны, вводят связанного офицера. Офицер злобно смотрит на окружающих и вдруг заметил бабку, которая все еще держит в руках коробку из-под пулеметной ленты.

Офицер. А это у тебя что же, старая ведьма? Тоже огурцы в корзинке? Вот погоди. Поволокут тебя за такие дела черти в пекло.

Старуха. И, батюшка! И ваш брат нам и на этом свете хуже всякого черта!

В это время раненого Семена бережно укладывают на носилки. А за окном послышалась партизанская песня. Из глубины церкви партизаны вытаскивают ящики с оружием. Санитары поднимают носилки.

Прохожий. Патроны не позабудьте! Под иконой Серафима Саровского. Две коробки там запрятаны.

Санитары трогаются.

Стойте! *(Кричит в глубину церкви.)* Бомбы — пятнадцать штук в головах у архангела Гавриила! Все тащите!

Партизан. Неужели оставим!

Санитары снова тронулись. Раненый невольно стонет. За окном вдруг громче грянула песня. Слышна и гармоника. Присутствующие на сцене подпевают.

Дубов *(в смятении)*. Отставить! Не надо! Что разорались!

Прохожий *(приподняв голову)*. Пусть поют! От хорошей песни крепче жить хочется!

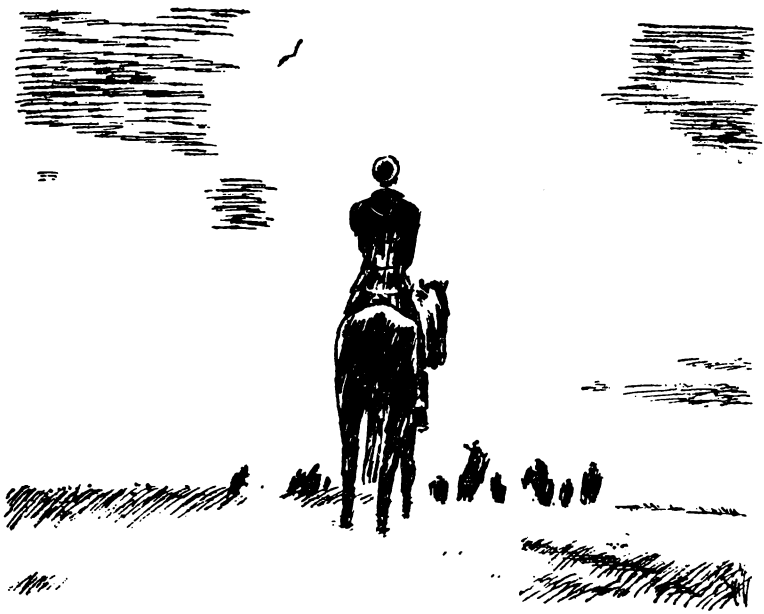
ПАРТИЗАНСКАЯ ПЕСНЯ

В дыму, в боях прошли мы,
Товарищи, друзья,
Кубанские долины,
Кавказские края.
Нам громы грохотали
И ветер завывал,
Когда мы занимали
Грачевский перевал.

Припев:

Дороженька очень крутая,
Свет месяца голубой.
Прощай же, страна родная!
Мы в новый торопимся бой.

Занавес



ВАСИЛИЙ КРЮКОВ

У красноармейца Василия Крюкова была ранена лошадь, и его нагоняли белые казаки. Он, конечно, мог бы застрелиться, но ему этого не захотелось. Он отшвырнул пустую винтовку, отстегнул саблю, сунул наган за пазуху и, повернув ослабелого коня, поехал казакам навстречу.

Казаки удивились такому делу, ибо не в обычае той войны было, чтобы красные бросали оружие наземь... Поэтому они не зарубили Крюкова с ходу, а окружили и захотели узнать, что этому человеку надобно и на что он надеется. Крюков снял серую папаху с красной звездой и сказал:

— Кто здесь начальник, тот пусть скорее берет эту папаху.

Тогда казаки решили, что в этой папахе зашит военный пакет, и они крикнули своего начальника.

Но, когда тот подъехал и протянул руку, Крюков вырвал наган из-за пазухи и выстрелил офицеру в лоб. Крюкова казаки зарубили и поскакали дальше своим путем.

Одни казаки ругали Крюкова, другие — своего офицера. Но были и такие, что ехали теперь молча и угрюмо думали о том, какая крепкая у красных сила.

1939 г.



МАРУСЯ

Шпион перебрался через болото, надел красноармейскую форму и вышел на дорогу.

Девочка собирала во ржи васильки. Она подошла и попросила ножик, чтобы обровнять стебли букета.

Он дал ей нож, спросил, как ее зовут, и, наслышавшись, что на советской стороне людям жить весело, стал смеяться и напевать веселые песни.

— Разве ты меня не узнаешь? — удивленно спросила девочка.— Я Маруся, дочь лейтенанта Егорова. Этот букет я отнесу папе.

Она бережно расправила цветы, и в глазах ее блеснули слезы.

Шпион сунул нож в карман и, не сказав ни слова, пошел дальше.

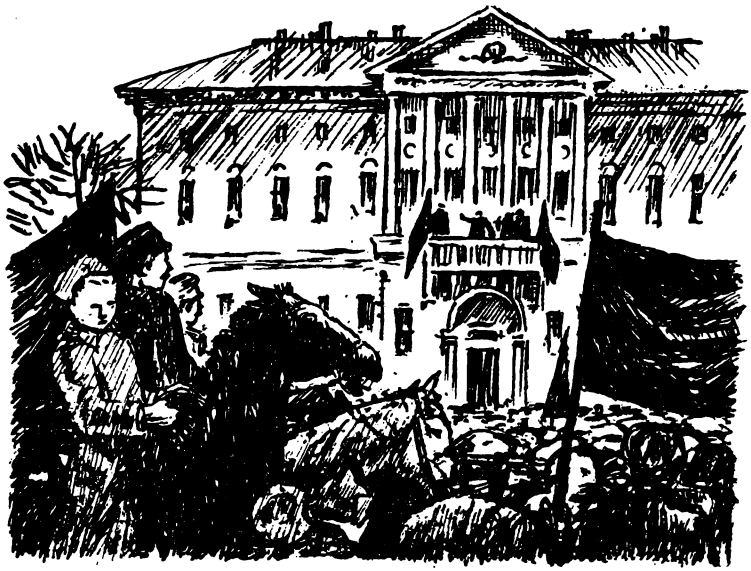
На заставе Маруся говорила:

— Я встретила красноармейца. Я сказала, как меня зовут, и странно, что он смеялся и пел песни.

Тогда командир нахмурился, крикнул дежурного и приказал отрядить за этим «веселым» человеком погоню.

Всадники умчались, а Маруся вышла на крутой берег и положила свой букет на свежую могилу отца, только вчера убитого в пограничной перестрелке.

1940 г.



СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ

Это был 1919 год — кажется, февраль. Мне только исполнилось пятнадцать лет.

И вот командующий, который, по добродушию, именовал меня то ординарцем, то адъютантом, сказал:

— Я уезжаю на Советскую площадь. Герой, не хмурься! Я взял бы и тебя, но в машине нет бензина, и я поеду верхом.

Но я уже знал, зачем торопятся войска на площадь. И вздрогнул и попросил: «Товарищ командующий, мне горько! Разрешите и мне поехать верхом с вами?»

Он предупредил: «Смотри!»

И я помчался на конюшню выбирать лошадь потише, потому что держался в седле я еще совсем плохо.

Но все, что потише, были клячи, убогие, дохловатые.

И мне оседлали высокого лукавого коня, который, едва очутился на площади, стал храпеть, крутить мордой и толкать крупом других...

И был митинг, и с балкона Моссовета выступали лучшие коммунисты многих стран.

И всадники, зло поглядывая на меня, тихо бранились и украдкой шпыняли моего коня кто носком сапога, а кто черенком плетки.

Вдруг вся площадь замерла, и на балкон вышел Ленин. Радостный, поднялся я на стременах, но конь мой вздрогнул, захрапел, попятился...

И во время короткой речи Ленина все свои силы, все невысокое умение я истратил только на то, чтобы конь мой хоть кое-как стоял смирно и если не мне, то хотя бы людям дал послушать то, что скажет великий вождь.

Но когда Ленин окончил говорить и площадь загремела музыкой и криками, то в гневе и слезах жиганул я коня нагайкой, вылетел из строя и помчался куда глаза глядят по пустынным, занесенным сугробами улицам.

Больше я Ленина никогда не слышал и не видел. Но в этот же день люди, кто как мог, речь его мне пересказали. А я задумался, отпросился у командующего и вскоре ушел с его красноармейцами на фронт — в далекую Двенадцатую армию.

1940 г.



ПОХОД

Ночью красноармеец принес повестку. А на заре, когда Алька еще спал, отец крепко поцеловал его и ушел на войну — в поход.

Утром Алька рассердился, зачем его не разбудили, и тут же заявил, что и он хочет идти в поход тоже. Он, вероятно бы, закричал, заплакал. Но совсем неожиданно мать ему в поход идти разрешила.

И вот для того, чтобы набрать перед дорогой силы, Алька съел без каприза полную тарелку каши, выпил молока. А потом они с матерью сели готовить походное снаряжение. Мать шила ему штаны, а он, сидя на полу, выстругивал себе из доски саблю. И тут же, за работой, разучивали они походные марши, потому что с такой

песней, как «В лесу родилась елочка», никуда далеко не нашагаешь. И мотив не тот, и слова не такие, в общем эта мелодия для боя совсем неподходящая.

Но вот пришло время матери идти дежурить на работу, и дела свои они отложили на завтра.

И так день за днем готовили Альку в далекий путь. Шили штаны, рубахи, знамена, флаги, вязали теплые чулки, варежки. Одних деревянных сабель рядом с ружьем и барабаном висело на стене уже семь штук. А этот запас не беда, ибо в горячем бою у звонкой сабли жизнь еще короче, чем у всадника.

И давно, пожалуй, можно было бы отправляться Альке в поход, но тут наступила лютая зима. А при таком морозе, конечно, недолго схватить и насморк или простуду, и Алька терпеливо ждал теплого солнца.

Но вот и вернулось солнце. Почернел талый снег. И только бы, только начать собираться, как загремел звонок. И тяжелыми шагами в комнату вошел вернувшийся из похода отец. Лицо его было темное, обветренное, и губы потрескались, но серые глаза глядели весело.

Он, конечно, обнял мать. И она поздравила его с победой. Он, конечно, крепко поцеловал сына. Потом осмотрел все Алькино походное снаряжение. И, улыбнувшись, приказал сыну: все это оружие и амуницию держать в полном порядке, потому что тяжелых боев и опасных походов будет и впереди на этой земле еще немало.

1940 г.



СОВЕСТЬ

Нина Карнаухова не приготовила урока по алгебре и решила не идти в школу.

Но, чтобы знакомые случайно не увидели, как она во время рабочего дня болтается с книгами по городу, Нина украдкой прошла в рощу.

Положив пакет с завтраком и связку книг под куст, она побежала догонять красивую бабочку и наткнулась на малыша, который смотрел на нее добрыми, доверчивыми глазами.

А так как в руке он сжимал букварь с заложенной в него тетрадкой, то Нина смекнула, в чем дело, и решила над ним подшутить.

— Несчастный прогульщик! — строго сказала она.— И это с таких юных лет ты уже обманываешь родителей и школу?

— Нет! — удивленно ответил малыш.— Я просто шел на урок. Но тут в лесу ходит большая собака. Она залаяла, и я заблудился.

Нина нахмурилась. Но этот малыш был такой смешной и добродушный, что ей пришлось взять его за руку и повести через рощу.

А связка Нининых книг и завтрак так и остались лежать под кустом, потому что поднять их перед малышом теперь было бы стыдно.

Вышмыгнула из-за ветвей собака, книг не тронула, а завтрак съела.

Вернулась Нина, села и заплакала. Нет! Не жалко ей было украденного завтрака. Но слишком хорошо пели над ее головой веселые птицы. И очень тяжело было на ее сердце, которое грызла беспощадная совесть.

1940 г.



ТИМУР И ЕГО КОМАНДА

Вот уже три месяца, как командир бронедивизиона полковник Александров не был дома. Вероятно, он был на фронте.

В середине лета он прислал телеграмму, в которой предложил своим дочерям Ольге и Жене остаток каникул провести под Москвой на даче.

Сдвинув на затылок цветную косынку и опираясь на палку щетки, насупившаяся Женя стояла перед Ольгой, а та ей говорила:

— Я поехала с вещами, а ты приберешь квартиру. Можешь бровями не дергать и губы не облизывать. Потом запри дверь. Книги отнеси в библиотеку. К подругам не заходи, а отправляйся прямо на вокзал. Оттуда пошли

папе вот эту телеграмму. Затем садись в поезд и приезжай на дачу... Евгения, ты меня должна слушаться. Я твоя сестра...

— И я твоя тоже.

— Да... но я старше... и, в конце концов, так велел папа.

Когда во дворе зафырчала отъезжающая машина, Женя вздохнула и оглянулась. Кругом был разор и беспорядок. Она подошла к пыльному зеркалу, в котором отражался висевший на стене портрет отца.

Хорошо! Пусть Ольга старше и пока ее нужно слушаться. Но зато у нее, у Жени, такие же, как у отца, нос, рот, брови. И, вероятно, такой же, как у него, будет характер.

Она туже перевязала косынкой волосы. Сбросила сандалии. Взяла тряпку. Сдернула со стола скатерть, сунула под кран ведро и, схватив щетку, поволокла к порогу груду мусора.

Вскоре запыхтела керосинка и загудел примус.

Пол был залит водой. В бельевом цинковом корыте шипела и лопалась мыльная пена. А прохожие с улицы удивленно поглядывали на босоногую девчонку в красном сарафане, которая, стоя на подоконнике третьего этажа, смело протирала стекла распахнутых окон.

Грузовик мчался по широкой солнечной дороге. Поставив ноги на чемодан и опираясь на мягкий узел, Ольга сидела в плетеном кресле. На коленях у нее лежал рыжий котенок и теребил лапами букет васильков.

У тридцатого километра их нагнала походная красноармейская мотоколонна. Сидя на деревянных скамьях рядами, красноармейцы держали направленные дулом к небу винтовки и дружно пели.

При звуках этой песни шире распахивались окна и двери в избах. Из-за заборов, из калиток вылетали обрадованные ребятишки. Они махали руками, бросали красноармейцам еще недозрелые яблоки, кричали вдогонку «ура» и тут же затевали бои, сражения, врубаясь в полынь и крапиву стремительными кавалерийскими атаками.

Грузовик свернул в дачный поселок и остановился перед небольшой, укрытой плющом дачей.

Шофер с помощником откинули борта и взялись

сгружать вещи, а Ольга открыла застекленную террасу.

Отсюда был виден большой запущенный сад. В глубине сада торчал неуклюжий двухэтажный сарай, и над крышею этого сарая развевался маленький красный флаг.

Ольга вернулась к машине. Здесь к ней подскочила бойкая старая женщина — это была соседка, молочница. Она вызвалась прибрать дачу, вымыть окна, полы и стены.

Пока соседка разбирала тазы и тряпки, Ольга взяла котенка и прошла в сад.

На стволах обклеванных воробьями вишен блестела горячая смола. Крепко пахло смородиной, ромашкой и полынью. Замшелая крыша сарая была в дырах, и из этих дыр тянулись поверху и исчезали в листве деревьев какие-то тонкие веревочные провода.

Ольга пробралась через орешник и смахнула с лица паутину.

Что такое? Красного флага над крышей уже не было, и там торчала только палка.

Тут Ольга услышала быстрый тревожный шепот. И вдруг, ломая сухие ветки, тяжелая лестница — та, что была приставлена к окну чердака сарая,— с треском полетела вдоль стены и, подминая лопухи, гулко брякнулась о землю.

Веревочные провода над крышей задрожали. Царапнув руки, котенок кувыркнулся в крапиву. Недоумевая, Ольга остановилась, осмотрелась, прислушалась. Но ни среди зелени, ни за чужим забором, ни в черном квадрате окна сарая никого не было ни видно, ни слышно.

Она вернулась к крыльцу.

— Это ребятишки по чужим садам озоруют,— объяснила Ольге молочница.— Вчера у соседей две яблони обтрясли, сломали грушу. Такой народ пошел... хулиганы. Я, дорогая, сына в Красную Армию служить проводила. И как пошел, вина не пил. «Прощай,— говорит,— мама». И пошел и засвистел, милый. Ну, к вечеру, как положено, взгрустнулось, всплакнула. А ночью просыпаюсь, и чудится мне, что по двору шныряет кто-то, шмыгает. Ну, думаю, человек я теперь одинокий, заступиться некому... А много ли мне, старой, надо? Кирпичом по голове стукни — вот я и готова. Однако бог миловал — ничего не украли. Пошмыгали, пошмыгали и ушли. Кадка у меня во дворе стояла — дубовая, вдвоем не своротишь,— так ее

шагов на двадцать к воротам подкатили. Вот и все. А что был за народ, что за люди — дело темное.

В сумерки, когда уборка была закончена, Ольга вышла на крыльцо. Тут из кожаного футляра бережно достала она белый, сверкающий перламутром аккордеон — подарок отца, который он прислал ей ко дню рождения.

Она положила аккордеон на колени, перекинула ремень через плечо и стала подбирать музыку к словам недавно услышанной ею песенки:

Ах, если б только раз
Мне вас еще увидеть,
Ах, если б только... раз...
И два... и три...
А вы и не поймете
На быстром самолете,
Как вас ожидала я до утренней зари.
Да!

Летчики-пилоты! Бомбы-пулеметы!
Вот и улетели в дальний путь.
Вы когда вернетесь?
Я не знаю, скоро ли,
Только возвращайтесь... хоть когда-нибудь.

Еще в то время, когда Ольга напевала эту песенку, несколько раз бросала она короткие настороженные взгляды в сторону темного куста, который рос во дворе у забора. Закончив играть, она быстро поднялась и, повернувшись к кусту, громко спросила:

— Послушайте! Зачем вы прячетесь и что вам здесь надо?

Из-за куста вышел человек в обыкновенном белом костюме. Он наклонил голову и вежливо ей ответил:

— Я не прячусь. Я сам немного артист. Я не хотел вам мешать. И вот я стоял и слушал.

— Да, но вы могли стоять и слушать с улицы. Вы же для чего-то перелезли через забор.

— Я?.. Через забор?..— обиделся человек.— Извините, я не кошка. Там, в углу забора, выломаны доски, и я с улицы проник через это отверстие.

— Понятно! — усмехнулась Ольга.— Но вот калитка.

И будьте добры проникнуть через нее обратно на улицу.

Человек был послушен. Не говоря ни слова, он прошел через калитку, запер за собой задвижку, и это Ольге понравилось.

— Погодите! — спускаясь со ступени, остановила его она.— Вы кто? Артист?

— Нет,— ответил человек.— Я инженер-механик, но в свободное время я играю и пою в нашей заводской опере.

— Послушайте,— неожиданно просто предложила ему Ольга.— Проводите меня до вокзала. Я жду младшую сестренку. Уже темно, поздно, а ее все нет и нет. Помните, я никого не боюсь, но я еще не знаю здешних улиц. Однако постойте, зачем же вы открываете калитку? Вы можете подождать меня и у забора.

Она отнесла аккордеон, накинула на плечи платок и вышла на темную, пахнувшую росой и цветами улицу.

Ольга была сердита на Женю и поэтому со своим спутником по дороге говорила мало. Он же сказал ей, что его зовут Георгий, фамилия его Гараев и он работает инженером-механиком на автомобильном заводе.

Поджидая Женю, они пропустили уже два поезда, наконец прошел и третий, последний.

— С этой негодной девчонкой хлебнешь горя! — огорченно воскликнула Ольга.— Ну, если бы еще мне было лет сорок или хотя бы тридцать. А то ей тринадцать, мне — восемнадцать, и поэтому она меня совсем не слушается.

— Сорок не надо! — решительно отказался Георгий.— Восемнадцать куда как лучше! Да вы зря не беспокойтесь. Ваша сестра приедет рано утром.

Перрон опустел. Георгий вынул портсигар. Тут же к нему подошли два молодцеватых подростка и, дожидаясь огня, вынули свои папиросы.

— Молодой человек,— зажигая спичку и озаряя лицо старшего, сказал Георгий.— Прежде чем тянуться ко мне с папиросой, надо поздороваться, ибо я уже имел честь с вами познакомиться в парке, где вы трудолюбиво выламывали доску из нового забора. Вас зовут Михаил Квакин. Не так ли?

Мальчишка засопел, попятился, а Георгий потушил спичку, взял Ольгу за локоть и повел ее к дому.

Когда они отошли, то второй мальчишка сунул замусоленную папиросу за ухо и небрежно спросил:

— Это еще что за пропагандист выискался? Здешний?

— Здешний,— нехотя ответил Квакин.— Это Тимки Гараева дядя. Тимку бы поймать, излупить надо. Он подобрал себе компанию, и они, кажется, гнут против нас дело.

Тут оба приятеля заметили под фонарем в конце платформы седого почтенного джентльмена, который, опираясь на палку, спускался по лесенке.

Это был местный житель, доктор Ф. Г. Колокольчиков. Они помчались за ним вдогонку, громко спрашивая, нет ли у него спичек. Но их вид и голоса никак не понравились этому джентльмену, потому что, обернувшись, он погрозил им суковатой палкой и степенно пошел своей дорогой.

С московского вокзала Женя не успела послать телеграмму отцу, и поэтому, сойдя с дачного поезда, она решила разыскать поселковую почту.

Проходя через старый парк и собирая колокольчики, она незаметно вышла на перекресток двух огороженных садами улиц, пустынный вид которых ясно показывал, что попала она совсем не туда, куда ей было надо.

Невдалеке она увидела маленькую проворную девчонку, которая с ругательствами волокла за рога упрямую козу.

— Скажи, дорогая, пожалуйста,— закричала ей Женя,— как мне пройти отсюда на почту?

Но тут коза рванулась, крутанула рогами и галопом понеслась по парку, а девчонка с воплем помчалась за ней следом. Женя огляделась: уже смеркалось, а людей вокруг видно не было. Она открыла калитку чьей-то серой двухэтажной дачи и по тропинке прошла к крыльцу.

— Скажите, пожалуйста,— не открывая дверь, громко, но очень вежливо спросила Женя,— как бы мне отсюда пройти на почту?

Ей не ответили. Она постояла, подумала, открыла дверь и через коридор прошла в комнату. Хозяев дома не было. Тогда, смутившись, она повернулась, чтобы выйти, но тут из-под стола бесшумно выползла большая светло-

рыжая собака. Она внимательно оглядела оторопевшую девчонку и, тихо зарычав, легла поперек пути у двери.

— Ты, глупая! — испуганно растопыривая пальцы, закричала Женя.— Я не вор! Я у вас ничего не взяла. Это вот ключ от нашей квартиры. Это телеграмма папе. Мой папа — командир. Тебе понятно?

Собака молчала и не шевелилась. А Женя, потихоньку подвигаясь к распахнутому окну, продолжала:

— Ну вот! Ты лежишь? И лежи... Очень хорошая собачка... такая с виду умная, симпатичная.

Но едва Женя дотронулась рукой до подоконника, как симпатичная собака с грозным рычанием вскочила, и, в страхе прыгнув на диван, Женя поджала ноги.

— Очень странно,— чуть не плача, заговорила она.— Ты лови разбойников и шпионов, а я... человек. Да! — Она показала собаке язык.— Дура!

Женя положила ключ и телеграмму на край стола. Надо было дожидаться хозяев.

Но прошел час, другой... Уже стемнело. Через открытое окно доносились далекие гудки паровозов, лай собак и удары волейбольного мяча. Где-то играли на гитаре. И только здесь, около серой дачи, все было глухо и тихо.

Положив голову на жесткий валик дивана, Женя тихонько заплакала.

Наконец она крепко уснула.

Она проснулась только утром.

За окном шумела пышная, омытая дождем листва. Неподалеку скрипело колодезное колесо. Где-то пилили дрова, но здесь, на даче, было по-прежнему тихо.

Под головой у Жени лежала теперь мягкая кожаная подушка, а ноги ее были накрыты легкой простыней. Собаки на полу не было.

Значит, сюда ночью кто-то приходил!

Женя вскочила, откинула волосы, одернула помятый сарафанчик, взяла со стола ключ, неотправленную телеграмму и хотела бежать.

И тут на столе она увидела лист бумаги, на котором крупно синим карандашом было написано:

«Девочка, когда будешь уходить, захлопни крепче дверь». Ниже стояла подпись: «Тимур».

«Тимур? Кто такой Тимур? Надо бы повидать и поблагодарить этого человека».

Она заглянула в соседнюю комнату. Здесь стоял письменный стол, на нем чернильный прибор, пепельница, небольшое зеркало. Справа, возле кожаных автомобильных краг, лежал старый, ободранный револьвер. Тут же у стола в облупленных и исцарапанных ножнах стояла кривая турецкая сабля. Женя положила ключ и телеграмму, потрогала саблю, вынула ее из ножен, подняла клинок над своей головой и посмотрелась в зеркало.

Вид получился суровый, грозный. Хорошо бы так сняться и потом притащить в школу карточку! Можно было бы соврать, что когда-то отец брал ее с собой на фронт. В левую руку можно взять револьвер. Вот так. Это будет еще лучше. Она до отказа стянула брови, сжала губы и, целясь в зеркало, надавила курок.

Грохот ударил по комнате. Дым заволок окна. Упало на пепельницу настольное зеркало. И, оставив на столе и ключ и телеграмму, оглушенная Женя вылетела из комнаты и помчалась прочь от этого странного и опасного дома.

Каким-то путем она очутилась на берегу речки. Теперь у нее не было ни ключа от московской квартиры, ни квитанции на телеграмму, ни самой телеграммы. И теперь Ольге надо было рассказывать все: и про собаку, и про ночевку в пустой даче, и про турецкую саблю, и, наконец, про выстрел. Скверно! Был бы папа, он бы понял. Ольга не поймет. Ольга рассердится или, чего доброго, заплачет. А это еще хуже. Плакать Женя и сама умела. Но при виде Ольгиных слез ей всегда хотелось забраться на телеграфный столб, на высокое дерево или на трубу крыши.

Для храбрости Женя выкупалась и тихонько пошла отыскивать свою дачу

Когда она поднималась по крылечку, Ольга стояла на кухне и разводила примус. Заслышав шаги, Ольга обернулась и молча враждебно уставилась на Женю.

— Оля, здравствуй! — останавливаясь на верхней ступеньке и пытаясь улыбнуться, сказала Женя.— Оля, ты ругаться не будешь?

— Буду! — не сводя глаз с сестры, ответила Ольга.

— Ну, ругайся,— покорно согласилась Женя.— Та-

кой, знаешь ли, странный случай, такое необычайное приключение! Оля, я тебя прошу, ты бровями не дергай, ничего страшного, я просто ключ от квартиры потеряла, телеграмму папе не отправила...

Женя зажмурила глаза и перевела дух, собираясь выпалить все разом. Но тут калитка перед домом с треском распахнулась. Во двор заскочила, вся в репьях, лохматая коза и, низко опустив рога, помчалась в глубь сада. А за нею с воплем пронеслась уже знакомая Жене босоногая девчонка.

Воспользовавшись таким случаем, Женя прервала опасный разговор и кинулась в сад выгонять козу. Она нагнала девчонку, когда та, тяжело дыша, держала козу за рога.

— Девочка, ты ничего не потеряла? — быстро сквозь зубы спросила у Жени девчонка, не переставая колошматить козу пинками.

— Нет,— не поняла Женя.

— А это чье? Не твое? — И девчонка показала ей ключ от московской квартиры.

— Мое,— шепотом ответила Женя, робко оглядываясь в сторону террасы.

— Возьми ключ, записку и квитанцию, а телеграмма уже отправлена,— все так же быстро и сквозь зубы пробормотала девчонка.

И, сунув Жене в руку бумажный сверток, она ударила козу кулаком.

Коза поскакала к калитке, а босоногая девчонка прямо через колючки, через крапиву, как тень, понеслась следом. И разом за калиткою они исчезли.

Сжав плечи, как будто бы поколотили ее, а не козу, Женя раскрыла сверток:

«Это ключ. Это телеграфная квитанция. Значит, кто-то телеграмму отцу отправил. Но кто? Ага, вот записка! Что же это такое?»

В этой записке крупно синим карандашом было написано:

«Девочка, никого дома не бойся. Всё в порядке, и никто от меня ничего не узнает». А ниже стояла подпись: «Тимур».

Как завороженная, тихо сунула Женя записку в карман. Потом выпрямила плечи и уже спокойно пошла к Ольге.

Ольга стояла все там же, возле неразожженного примуса, и на глазах ее уже выступили слезы.

— Оля! — горестно воскликнула тогда Женя.— Я пошутила. Ну за что ты на меня сердишься? Я прибрала всю квартиру, я протерла окна, я старалась, я все тряпки, все полы вымыла. Вот тебе ключ, вот квитанция от папиной телеграммы. И дай лучше я тебя поцелую. Знаешь, как я тебя люблю! Хочешь, я для тебя в крапиву с крыши спрыгну?

И, не дожидаясь, пока Ольга что-либо ответит, Женя бросилась к ней на шею.

— Да... но я беспокоилась,— с отчаянием заговорила Ольга.— И вечно нелепые у тебя шутки... А мне папа велел... Женя, оставь! Женька, у меня руки в керосине! Женька, налей лучше молоко и поставь кастрюлю на примус!

— Я... без шуток не могу,— бормотала Женя в то время, когда Ольга стояла возле умывальника.

Она бухнула кастрюлю с молоком на примус, потрогала лежавшую в кармане записку и спросила:

— Оля, бог есть?

— Нету,— ответила Ольга и подставила голову под умывальник.

— А кто есть?

— Отстань! — с досадой ответила Ольга.— Никого нет!

Женя помолчала и опять спросила:

— Оля, а кто такой Тимур?*

— Это не бог, это один царь такой,— намыливая себе лицо и руки, неохотно ответила Ольга,— злой, хромой, из средней истории.

— А если не царь, не злой и не из средней, тогда кто?

— Тогда не знаю. Отстань! И на что это тебе Тимур дался?

— А на то, что, мне кажется, я очень люблю этого человека.

— Кого? — И Ольга недоуменно подняла покрытое мыльной пеной лицо.— Что ты все там бормочешь, выдумываешь, не даешь спокойно умыться! Вот погоди, приедет папа, и он в твоей любви разберется.

— Что ж папа! — скорбно, с пафосом воскликнула Женя.— Если он и приедет, то так ненадолго. И он, конеч-

но, не будет обижать одинокого и беззащитного человека.

— Это ты-то одинокая и беззащитная? — недоверчиво спросила Ольга.— Ох, Женька, не знаю я, что ты за человек и в кого только ты уродилась!

Тогда Женя опустила голову и, разглядывая свое лицо, отражавшееся в цилиндре никелированного чайника, гордо и не раздумывая ответила:

— В папу. Только. В него. Одного. И больше ни в кого на свете.

Пожилой джентльмен, доктор Ф. Г. Колокольчиков, сидел в своем саду и чинил стенные часы.

Перед ним с унылым выражением лица стоял его внук Коля.

Считалось, что он помогает дедушке в работе. На самом же деле вот уже целый час, как он держал в руке отвертку, дожидаясь, пока дедушке этот инструмент понадобится.

Но стальная спиральная пружина, которую нужно было вогнать на свое место, была упряма, а дедушка был терпелив. И казалось, что конца-края этому ожиданию не будет. Это было обидно, тем более, что из-за соседнего забора вот уже несколько раз высовывалась вихрастая голова Симы Симакова, человека очень расторопного и сведущего. И этот Сима Симаков языком, головой и руками подавал Коле знаки, столь странные и загадочные, что даже пятилетняя Колина сестра Татьянка, которая, сидя под липою, сосредоточенно пыталась затолкать репей в пасть лениво развалившейся собаке, неожиданно завопила и дернула дедушку за штанину, после чего голова Симы Симакова мгновенно исчезла.

Наконец пружина легла на свое место.

— Человек должен трудиться,— поднимая влажный лоб и обращаясь к Коле, наставительно произнес седой джентльмен Ф. Г. Колокольчиков.— У тебя же такое лицо, как будто бы я угощаю тебя касторкой. Подай отвертку и возьми клещи. Труд облагораживает человека. Тебе же душевного благородства как раз не хватает. Например, вчера ты съел четыре порции мороженого, а с младшей сестрой не поделился.

— Она врет, бессовестная! — бросая на Татьянку сердитый взгляд, воскликнул оскорбленный Коля.— Три

раза я давал ей откусить по два раза. Она же пошла на меня жаловаться да еще по дороге стянула с маминого стола четыре копейки.

— А ты ночью по веревке из окна лазил,— не поворачивая головы, хладнокровно ляпнула Татьянка.— У тебя под подушкой есть фонарь. А в спальню к нам вчера какой-то хулиган кидал камнем. Кинет да посвистит, кинет да еще свистнет.

Дух захватило у Коли Колокольчикова при этих наглых словах бессовестной Татьянки. Дрожь пронизала тело от головы до пяток. Но, к счастью, занятый работой дедушка на такую опасную клевету внимания не обратил или просто ее не расслышал. Очень кстати в сад тут вошла с бидонами молочница и, отмеривая кружками молоко, начала жаловаться:

— А у меня, батюшка Федор Григорьевич, жулики ночью чуть было дубовую кадку со двора не своротили. А сегодня, люди говорят, что чуть свет у меня на крыше двух человек видели: сидят на трубе, проклятые, и ногами болтают.

— То есть как на трубе? С какой же это, позвольте, целью? — начал было спрашивать удивленный джентльмен.

Но тут со стороны курятника раздался лязг и звон. Отвертка в руке седого джентльмена дрогнула, и упрямая пружина, вылетев из своего гнезда, с визгом брякнулась о железную крышу. Все, даже Татьянка, даже ленивая собака, разом обернулись, не понимая, откуда звон и в чем дело. А Коля Колокольчиков, не сказав ни слова, метнулся, как заяц, через морковные грядки и исчез за забором.

Он остановился возле коровьего сарая, изнутри которого, так же как из курятника, доносились резкие звуки, как будто бы кто-то бил гирей по отрезку стального рельса. Здесь-то он и столкнулся с Симой Симаковым, у которого взволнованно спросил:

— Слушай... Я не пойму. Это что?.. Тревога?

— Да нет! Это, кажется, по форме номер один позывной сигнал общий.

Они перепрыгнули через забор, нырнули в дыру ограды парка. Здесь с ними столкнулся широкоплечий крепкий мальчуган Гейка. Следом подскочил Василий Ладыгин. Еще и еще кто-то. И бесшумно, проворно, одними

только им знакомыми ходами они неслись к какой-то цели, на бегу коротко переговариваясь:

— Это тревога?

— Да нет! Это форма номер один позывной общий.

— Какой позывной? Это не «три — стоп», «три — стоп». Это какой-то болван кладет колесом десять ударов кряду.

— А вот посмотрим!

— Ага, проверим!

— Вперед! Молнией!

А в это время в комнате той самой дачи, где ночевала Женя, стоял высокий темноволосый мальчуган лет тринадцати. На нем были легкие черные брюки и темно-синяя безрукавка с вышитой красной звездой.

К нему подошел седой лохматый старик. Холщовая рубаха его была бедна. Широченные штаны — в заплатах. К колену его левой ноги ремнями была пристегнута грубая деревяшка. В одной руке он держал записку, другой сжимал старый, ободранный револьвер.

— «Девочка, когда будешь уходить, захлопни крепче дверь»,— насмешливо прочел старик.— Итак, может быть, ты мне все-таки скажешь, кто ночевал у нас сегодня на диване?

— Одна знакомая девочка,— неохотно ответил мальчуган.— Ее без меня задержала собака.

— Вот и врешь! — рассердился старик.— Если бы она была тебе знакомая, то здесь, в записке, ты назвал бы ее по имени.

— Когда я писал, то я не знал. А теперь я ее знаю.

— Не знал. И ты оставил ее утром одну... в квартире? Ты, друг мой, болен, и тебя надо отправить в сумасшедший дом. Эта дрянь разбила зеркало, расколотила пепельницу. Ну хорошо, что револьвер был заряжен холостыми. А если бы в нем были патроны боевые?

— Но, дядя... боевых патронов у тебя не бывает, потому что у врагов твоих ружья и сабли... просто деревянные.

Похоже было на то, что старик улыбнулся. Однако, тряхнув лохматой головой, он строго сказал:

— Ты смотри! Я все замечаю. Дела у тебя, как я вижу, темные, и как бы за них я не отправил тебя назад, к матери.

Пристукивая деревяшкой, старик пошел вверх по лестнице. Когда он скрылся, мальчуган подпрыгнул, схватил за лапы вбежавшую в комнату собаку и поцеловал ее в морду.

— Ага, Рита! Мы с тобой попались. Ничего, он сегодня добрый. Он сейчас петь будет.

И точно. Сверху из комнаты послышалось откашливание. Потом этакое тра-ля-ля!.. И наконец низкий баритон запел:

...Я третью ночь не сплю. Мне чудится все то же
Движенье тайное в угрюмой тишине...

— Стой, сумасшедшая собака! — крикнул Тимур.— Что ты мне рвешь штаны и куда ты меня тянешь?

Вдруг он с шумом захлопнул дверь, которая вела наверх, к дяде, и через коридор вслед за собакой выскочил на веранду.

В углу веранды возле небольшого телефона дергался, прыгал и колотился о стену подвязанный к веревке бронзовый колокольчик.

Мальчуган зажал его в руке, замотал бечевку на гвоздь. Теперь вздрагивающая бечевка ослабла — должно быть, где-то лопнула.

Тогда, удивленный и рассерженный, он схватил трубку телефона.

Часом раньше, чем все это случилось, Ольга сидела за столом. Перед нею лежал учебник физики.

Вошла Женя и достала пузырек с йодом.

— Женя,— недовольно спросила Ольга,— откуда у тебя на плече царапина?

— А я шла,— беспечно ответила Женя,— а там стояло на пути что-то такое колючее или острое. Вот так и получилось.

— Отчего же это у меня на пути не стоит ничего колючего или острого? — передразнила ее Ольга.

— Неправда! У тебя на пути стоит экзамен по математике. Он и колючий и острый. Вот посмотри, срежешься!.. Олечка, не ходи на инженера, ходи на доктора,— заговорила Женя, подсовывая Ольге настольное зеркало.— Ну, погляди: какой из тебя инженер? Инженер должен быть — вот... вот... и вот... (Она сделала три

энергичные гримасы.) А у тебя — вот... вот... и вот...— Тут Женя повела глазами, приподняла брови и очень нежно улыбнулась.

— Глупая! — обнимая ее, целуя и легонько отталкивая, сказала Ольга.— Уходи, Женя, и не мешай. Ты бы лучше сбегала к колодцу за водой.

Женя взяла с тарелки яблоко, отошла в угол, постояла у окна, потом расстегнула футляр аккордеона и заговорила:

— Знаешь, Оля! Подходит ко мне сегодня какой-то дяденька. Так с виду ничего себе — блондин, в белом костюме, и спрашивает: «Девочка, тебя как зовут?» Я говорю: «Женя...»

— Женя, не мешай и инструмент не трогай,— не оборачиваясь и не отрываясь от книги, сказала Ольга.

— «А твою сестру,— доставая аккордеон, продолжала Женя,— кажется, зовут Ольгой?»

— Женька, не мешай и инструмент не трогай! — невольно прислушиваясь, повторила Ольга.

— «Очень,— говорит он,— твоя сестра хорошо играет. Она не хочет ли учиться в консерватории?» (Женя достала аккордеон и перекинула ремень через плечо.) «Нет,— говорю я ему,— она уже учится по железобетонной специальности». А он тогда говорит: «А-а!» (Тут Женя нажала один клавиш.) А я ему говорю: «Бэ-э!» (Тут Женя нажала другой клавиш.)

— Негодная девчонка! Положи инструмент на место! — вскакивая, крикнула Ольга.— Кто тебе разрешает вступать в разговоры с какими-то дяденьками?

— Ну и положу,— обиделась Женя.— Я и не вступала. Это вступил он. Хотела я тебе рассказать дальше, а теперь не буду. Вот погоди, приедет папа, он тебе покажет!

— Мне? Это тебе покажет. Ты мешаешь мне заниматься.

— Нет, тебе! — хватая пустое ведро, уже с крыльца откликнулась Женя.— Я ему расскажу, как ты меня по сто раз в день то за керосином, то за мылом, то за водой гоняешь! Я тебе не грузовик, не конь и не трактор.

Она принесла воды, поставила ведро на лавку, но, так как Ольга, не обратив на это внимания, сидела, склонившись над книгой, обиженная Женя ушла в сад.

Выбравшись на лужайку перед старым двухэтажным

сараем, Женя вынула из кармана рогатку и, натянув резинку, запустила в небо маленького картонного парашютиста.

Взлетев кверху ногами, парашютист перевернулся. Над ним раскрылся голубой бумажный купол, но тут крепче рванул ветер, парашютиста поволокло в сторону, и он исчез за темным чердачным окном сарая.

Авария! Картонного человечка надо было выручать. Женя обошла сарай, через дырявую крышу которого разбегались во все стороны тонкие веревочные провода. Она подтащила к окну трухлявую лестницу и, взобравшись по ней, спрыгнула на пол чердака.

Очень странно! Этот чердак был обитаем. На стене висели мотки веревок, фонарь, два скрещенных сигнальных флага и карта поселка, вся исчерченная непонятными знаками. В углу лежала покрытая мешковиной охапка соломы. Тут же стоял перевернутый фанерный ящик. Возле дырявой замшелой крыши торчало большое, похожее на штурвальное, колесо. Над колесом висел самодельный телефон.

Женя заглянула через щель. Перед ней, как волны моря, колыхалась листва густых садов. В небе играли голуби. И тогда Женя решила: пусть голуби будут чайками, этот старый сарай с его веревками, фонарями и флагами — большим кораблем. Она же сама будет капитаном.

Ей стало весело. Она повернула штурвальное колесо. Тугие веревочные провода задрожали, загудели. Ветер зашумел и погнал зеленые волны. А ей показалось, что это ее корабль-сарай медленно и спокойно по волнам разворачивается.

— Лево руля на борт! — громко скомандовала Женя и крепче налегла на тяжелое колесо.

Прорвавшись через щели крыши, узкие прямые лучи солнца упали ей на лицо и платье. Но Женя поняла, что это неприятельские суда нащупывают ее своими прожекторами, и она решила дать им бой.

С силой управляла она скрипучим колесом, маневрируя вправо и влево, и властно выкрикивала слова команды.

Но вот острые прямые лучи прожектора поблекли, погасли. И это, конечно, не солнце зашло за тучи. Это разгромленная вражья эскадра шла ко дну.

Бой был окончен. Пыльной ладонью Женя вытерла лоб, и вдруг на стене задребезжал звонок телефона. Этого Женя не ожидала; она думала, что этот телефон просто игрушка. Ей стало не по себе. Она сняла трубку.

Голос, звонкий и резкий, спрашивал:

— Алло! Алло! Отвечайте. Какой осел обрывает провода и подает сигналы, глупые и непонятные?

— Это не осел,— пробормотала озадаченная Женя.— Это я — Женя!

— Сумасшедшая девчонка! — резко и почти испуганно прокричал тот же голос.— Оставь штурвальное колесо и беги прочь. Сейчас примчатся... люди, и они тебя поколотят.

Женя бросила трубку, но было уже поздно. Вот на свету показалась чья-то голова: это был Гейка, за ним Сима Симаков, Коля Колокольчиков, а вслед лезли еще и еще мальчишки.

— Кто вы такие? — отступая от окна, в страхе спросила Женя.— Уходите!.. Это наш сад. Я вас сюда не звала.

Но плечо к плечу, плотной стеной ребята молча шли на Женю. И, очутившись прижатой к углу, Женя вскрикнула.

В то же мгновение в просвете мелькнула еще одна тень. Все обернулись и расступились. И перед Женей встал высокий темноволосый мальчуган в синей безрукавке, на груди которой была вышита красная звезда.

— Тише, Женя! — громко сказал он.— Кричать не надо. Никто тебя не тронет. Мы с тобой знакомы. Я — Тимур.

— Ты Тимур?! — широко раскрывая полные слез глаза, недоверчиво воскликнула Женя.— Это ты укрыл меня ночью простынею? Ты оставил мне на столе записку? Ты отправил папе на фронт телеграмму, а мне прислал ключ и квитанцию? Но зачем? За что? Откуда ты меня знаешь?

Тогда он подошел к ней, взял ее за руку и ответил:

— А вот оставайся с нами! Садись и слушай, и тогда тебе все будет понятно.

На покрытой мешками соломе вокруг Тимура, который разложил перед собой карту поселка, расположились ребята.

У отверстия выше слухового окна повис на веревочных качелях наблюдатель. Через его шею был перекинут шнурок с помятым театральным биноклем.

Неподалеку от Тимура сидела Женя и настороженно прислушивалась и приглядывалась ко всему, что происходит на совещании этого никому не известного штаба. Говорил Тимур:

— Завтра, на рассвете, пока люди спят, я и Колокольчиков исправим оборванные ею (он показал на Женю) провода.

— Он проспит,— хмуро вставил большеголовый, одетый в матросскую тельняшку Гейка.— Он просыпается только к завтраку и к обеду.

— Клевета! — вскакивая и заикаясь, вскричал Коля Колокольчиков.— Я встаю вместе с первым лучом солнца.

— Я не знаю, какой у солнца луч первый, какой второй, но он проспит обязательно,— упрямо продолжал Гейка.

Тут болтавшийся на веревках наблюдатель свистнул. Ребята повскакали.

По дороге в клубах пыли мчался конно-артиллерийский дивизион.

Могучие, одетые в ремни и железо кони быстро волокли за собою зеленые зарядные ящики и укрытые серыми чехлами пушки.

Обветренные, загорелые ездовые, не качнувшись в седле, лихо заворачивали за угол, и одна за другой батареи скрывались в роще. Дивизион умчался.

— Это они на вокзал, на погрузку поехали,— важно объяснил Коля Колокольчиков.— Я по их обмундированию вижу: когда они скачут на учение, когда на парад, а когда и еще куда.

— Видишь — и молчи! — остановил его Гейка.— Мы и сами с глазами. Вы знаете, ребята, этот болтун хочет убежать в Красную Армию!

— Нельзя,— вмешался Тимур.— Это затея совсем пустая.

— Как нельзя? — покраснев, спросил Коля.— А почему же раньше мальчишки всегда на фронт бегали?

— То раньше! А теперь крепко-накрепко всем начальникам и командирам приказано гнать оттуда нашего брата по шее.

— Как по шее? — вспылив и еще больше покраснев, вскричал Коля Колокольчиков.— Это... Своих-то?

— Да вот!..— И Тимур вздохнул.— Это своих-то! А теперь, ребята, давайте к делу.

Все расселись по местам.

— В саду дома номер тридцать четыре по Кривому переулку неизвестные мальчишки обтрясли яблоню,— обиженно сообщил Коля Колокольчиков.— Они сломали две ветки и помяли клумбу.

— Чей дом? — И Тимур заглянул в клеенчатую тетрадь.— Дом красноармейца Крюкова. Кто у нас здесь бывший специалист по чужим садам и яблоням?

— Я,— раздался сконфуженный голос.

— Кто это мог сделать?

— Это работал Мишка Квакин и его помощник, под названием «Фигура». Яблоня — мичуринка, сорт «золотой налив», и, конечно, взята на выбор.

— Опять и опять Квакин! — Тимур задумался.— Гейка! У тебя с ним разговор был?

— Был.

— Ну и что же?

— Дал ему два раза по шее.

— А он?

— Ну и он сунул мне раза два тоже.

— Эк у тебя все — «дал» да «сунул»... А толку что-то нету. Ладно! Квакиным мы займемся особо. Давайте дальше.

— В доме номер двадцать пять у старухи молочницы взяли в кавалерию сына,— сообщил из угла кто-то.

— Вот хватил! — И Тимур укоризненно качнул головой.— Да там на воротах еще третьего дня наш знак поставлен. А кто ставил? Колокольчиков, ты?

— Я.

— Так почему же у тебя верхний левый луч звезды кривой, как пиявка? Взялся сделать — сделай хорошо. Люди придут — смеяться будут. Давайте дальше.

Вскочил Сима Симаков и зачастил уверенно, без запинки:

— В доме номер пятьдесят четыре по Пушкаревой улице коза пропала. Я иду, вижу — старуха девчонку колотит. Я кричу: «Тетенька, бить не по закону!» Она говорит: «Коза пропала. Ах, будь ты проклята!» — «Да куда же она пропала?» — «А вон там, в овраге за пере-

леском, обгрызла мочалу и провалилась, как будто ее волки съели!»

— Погоди! Чей дом?

— Дом красноармейца Павла Гурьева. Девчонка — его дочь, зовут Нюркой. Колотила ее бабка. Как зовут, не знаю. Коза серая, со спины черная. Зовут Манька.

— Козу разыскать! — приказал Тимур.— Пойдет команда в четыре человека. Ты... ты и ты. Ну всё, ребята?

— В доме номер двадцать два девчонка плачет,— как бы нехотя сообщил Гейка.

— Чего же она плачет?

— Спрашивал — не говорит.

— А ты спросил бы получше. Может быть, кто-нибудь ее поколотил... обидел?

— Спрашивал — не говорит.

— А велика ли девчонка?

— Четыре года.

— Вот еще беда! Кабы человек... а то — четыре года! Постой, а чей это дом?

— Дом лейтенанта Павлова. Того, что недавно убили на границе.

— «Спрашивал — не говорит»,— огорченно передразнил Гейку Тимур. Он нахмурился, подумал.— Ладно... Это я сам. Вы к этому делу не касайтесь.

— На горизонте показался Мишка Квакин! — громко доложил наблюдатель.— Идет по той стороне улицы. Жрет яблоко. Тимур! Выслать команду: пусть дадут ему тычка или взашеину!

— Не надо. Все оставайтесь на местах. Я вернусь скоро.

Он прыгнул из окна на лестницу и исчез в кустах.

А наблюдатель сообщил снова:

— У калитки, в поле моего зрения, неизвестная девица, красивого вида, стоит с кувшином и покупает молоко! Это, наверно, хозяйка дачи.

— Это твоя сестра? — дергая Женю за рукав, спросил Коля Колокольчиков. И, не получив ответа, он важно и обиженно предостерег: — Ты смотри не вздумай ей отсюда крикнуть,

— Сиди! — выдергивая рукав, насмешливо ответила ему Женя.— Тоже ты мне начальник...

— Не лезь к ней,— поддразнил Гейка Колю,— а то она тебя поколотит.

— Меня? — Коля обиделся.— У нее что? Когти? А у меня — мускулатура. Вот... ручная, ножная!

— Она поколотит тебя вместе с ручною и ножною. Ребята, осторожно! Тимур подходит к Квакину.

Легко помахивая сорванной веткой, Тимур шел Квакину наперерез. Заметив это, Квакин остановился. Плоское лицо его не показывало ни удивления, ни испуга.

— Здорово, комиссар! — склонив голову набок, негромко сказал он.— Куда так торопишься?

— Здорово, атаман! — в тон ему ответил Тимур.— К тебе навстречу.

— Рад гостю, да угощать нечем. Разве вот это? — Он сунул руку за пазуху и протянул Тимуру яблоко.

— Ворованные? — спросил Тимур, надкусывая яблоко.

— Они самые,— объяснил Квакин.— Сорт «золотой налив». Да вот беда: нет еще настоящей спелости.

— Кислятина! — бросая яблоко, сказал Тимур.— Послушай: ты на заборе дома номер тридцать четыре вот такой знак видел? — И Тимур показал на звезду, вышитую на своей синей безрукавке.

— Ну, видел,— насторожился Квакин.— Я, брат, и днем и ночью все вижу.

— Так вот: если ты днем или ночью еще раз такой знак где-либо увидишь, ты беги прочь от этого места, как будто бы тебя кипятком ошпарили.

— Ой, комиссар! Какой ты горячий! — растягивая слова, сказал Квакин.— Хватит, поговорили!

Ой, атаман, какой ты упрямый,— не повышая голоса, ответил Тимур.— А теперь запомни сам и передай всей шайке, что этот разговор у нас с вами последний.

Никто со стороны и не подумал бы, что это разговаривают враги, а не два теплых друга. И поэтому Ольга, державшая в руках кувшин, спросила молочницу, кто этот мальчишка, который совещается о чем-то с хулиганом Квакиным.

— Не знаю,— с сердцем ответила молочница.— Наверное, такой же хулиган и безобразник. Он что-то все возле вашего дома околачивается. Ты смотри, до-

рогая, как бы они твою сестренку не отколошматили.

Беспокойство охватило Ольгу. С ненавистью взглянула она на обоих мальчишек, прошла на террасу, поставила кувшин, заперла дверь и вышла на улицу разыскивать Женю, которая вот уже два часа как не показывала глаз домой.

...Вернувшись на чердак, Тимур рассказал о своей встрече ребятам. Было решено завтра отправить всей шайке письменный ультиматум.

Бесшумно соскакивали ребята с чердака и через дыры в заборах, а то и прямо через заборы разбегались по домам в разные стороны. Тимур подошел к Жене.

— Ну что? — спросил он.— Теперь тебе все понятно?

— Все,— ответила Женя,— только еще не очень. Ты объясни мне проще.

— А тогда спускайся вниз и иди за мной. Твоей сестры все равно сейчас нет дома.

Когда они слезли с чердака, Тимур повалил лестницу.

Уже стемнело, но Женя доверчиво пошла за ним следом.

Они остановились у домика, где жила старуха молочница. Тимур оглянулся. Людей вблизи не было. Он вынул из кармана свинцовый тюбик с масляной краской и подошел к воротам, где была нарисована звезда, верхний левый луч которой действительно изгибался, как пиявка.

Уверенно лучи он обровнял, заострил и выпрямил.

— Скажи, зачем? — спросила его Женя.— Ты объясни мне проще: что все это значит?

Тимур сунул тюбик в карман, сорвал лист лопуха, вытер закрашенный палец и, глядя Жене в лицо, сказал:

— А это значит, что из этого дома человек ушел в Красную Армию. И с этого времени этот дом находится под нашей охраной и защитой. У тебя отец в армии?

— Да! — с волнением и гордостью ответила Женя.— Он командир.

— Значит, и ты находишься под нашей охраной и защитой тоже.

Они остановились перед воротами другой дачи.

И здесь на заборе была начерчена звезда. Но прямые светлые лучи ее были обведены широкой черной каймой.

— Вот! — сказал Тимур.— И из этого дома человек ушел в Красную Армию. Но его уже нет. Это дача лейтенанта Павлова, которого недавно убили на границе. Тут живет его жена и та маленькая девочка, у которой добрый Гейка так и не добился, отчего она часто плачет. И если тебе случится, то сделай ей, Женя, что-нибудь хорошее.

Он сказал все это очень просто, но мурашки пробежали по груди и по рукам Жени, а вечер был теплый и даже душный.

Она молчала, наклонив голову. И только для того, чтобы хоть что-нибудь сказать, она спросила:

— А разве Гейка добрый?

— Да,— ответил Тимур.— Он сын моряка, матроса. Он часто бранит малыша и хвастунишку Колокольчикова, но сам везде и всегда за него заступается.

Окрик резкий и даже гневный заставил их обернуться. Неподалеку стояла Ольга.

Женя дотронулась до руки Тимура: она хотела подвести его и познакомить с ним Ольгу.

Но новый окрик, строгий и холодный, заставил ее от этого отказаться.

Виновато кивнув Тимуру головой и недоуменно пожав плечами, она пошла к Ольге.

— Евгения! — тяжело дыша, со слезами в голосе сказала Ольга.— Я запрещаю тебе разговаривать с этим мальчишкой. Тебе понятно?

— Но, Оля,— пробормотала Женя,— что с тобою?

— Я запрещаю тебе подходить к этому мальчишке,— твердо повторила Ольга.— Тебе тринадцать, мне восемнадцать. Я твоя сестра... Я старше. И, когда папа уезжал, он мне велел...

— Но, Оля, ты ничего, ничего не понимаешь! — с отчаянием воскликнула Женя. Она вздрагивала. Она хотела объяснить, оправдаться. Но она не могла. Она была не вправе. И, махнув рукой, она не сказала сестре больше ни слова.

Сразу же она легла в постель. Но уснуть не могла долго. А когда уснула, то так и не слыхала, как ночью постучали в окно и подали от отца телеграмму.

...Рассвело. Пропел деревянный рог пастуха. Старуха молочница открыла калитку и погнала корову к стаду. Не успела она завернуть за угол, как из-за куста акации, стараясь не греметь пустыми ведрами, выскочило пятеро мальчуганов, и они бросились к колодцу.

— Качай!

— Давай!

— Бери!

— Хватай!

Обливая холодной водой босые ноги, мальчишки мчались во двор, опрокидывали ведра в дубовую кадку и, не задерживаясь, неслись обратно к колодцу.

К взмокшему Симе Симакову, который без передышки ворочал рычагом колодезного насоса, подбежал Тимур и спросил:

— Вы Колокольчикова здесь не видали? Нет? Значит, он проспал. Скорей, торопитесь! Старуха пойдет сейчас обратно.

Очутившись в саду перед дачей Колокольчиковых, Тимур стал под деревом и свистнул. Не дождавшись ответа, он полез на дерево и заглянул в комнату. С дерева ему была видна только половина придвинутой к подоконнику кровати да завернутые в одеяло ноги.

Тимур кинул на кровать кусочек коры и тихонько позвал:

— Коля, вставай! Колька!

Спящий не пошевельнулся. Тогда Тимур вынул нож, срезал длинный прут, заострил на конце сучок, перекинул прут через подоконник и, зацепив сучком одеяло, потащил его на себя.

Легкое одеяло поползло через подоконник. В комнате раздался хрипловатый изумленный вопль. Вытаращив заспанные глаза, с кровати соскочил седой джентльмен в нижнем белье и, хватая рукой уползающее одеяло, подбежал к окну.

Очутившись лицом к лицу с почтенным стариком, Тимур разом слетел с дерева.

А седой джентльмен, бросив на постель отвоеванное одеяло, сдернул со стены двустволку, поспешно надел очки и, выставив ружье из окна дулом к небу, зажмурил глаза и выстрелил.

...Только у колодца перепуганный Тимур остановился.

Вышла ошибка. Он принял спящего джентльмена за Колю, а седой джентльмен, конечно, принял его за жулика.

Тут Тимур увидел, что старуха молочница с коромыслом и ведрами выходит из калитки за водой. Он юркнул за акацию и стал наблюдать.

Вернувшись от колодца, старуха подняла ведро, опрокинула его в бочку и сразу отскочила, потому что вода с шумом и брызгами выплеснулась из уже наполненной до краев бочки прямо ей под ноги.

Охая, недоумевая и оглядываясь, старуха обошла бочку. Она опустила руку в воду и поднесла ее к носу. Потом побежала к крыльцу проверить, цел ли замок у двери. И, наконец, не зная, что и думать, она стала стучать в окно соседке.

Тимур засмеялся и вышел из своей засады. Надо было спешить. Уже поднималось солнце. Коля Колокольчиков не явился, и провода все еще исправлены не были.

...Пробираясь к сараю, Тимур заглянул в распахнутое, выходящее в сад окно.

У стола возле кровати в трусах и майке сидела Женя и, нетерпеливо откидывая сползавшие на лоб волосы, что-то писала.

Увидав Тимура, она не испугалась и даже не удивилась. Она только погрозила ему пальцем, чтобы он не разбудил Ольгу, сунула недоконченное письмо в ящик и на цыпочках вышла из комнаты.

Здесь, узнав от Тимура, какая с ним сегодня случилась беда, она позабыла все Ольгины наставления и охотно вызвалась помочь ему наладить ею же самой оборванные провода.

Когда работа была закончена и Тимур уже стоял по ту сторону изгороди, Женя ему сказала:

— Не знаю за что, но моя сестра тебя очень ненавидит.

— Ну вот,— огорченно ответил Тимур,— и мой дядя тоже!

Он хотел уйти, но она его остановила:

— Постой, причешись. Ты сегодня очень лохматый.

Она вынула гребенку, протянула ее Тимуру, и тотчас же позади, из окна, раздался негодующий окрик Ольги:

— Женя! Что ты делаешь?..

Сестры стояли на террасе.

— Я тебе знакомых не выбираю,— с отчаянием защищалась Женя.— Каких? Очень простых. В белых костюмах. «Ах, как ваша сестра прекрасно играет!» Прекрасно! Вы бы лучше послушали, как она прекрасно ругается. Вот смотри! Я уже обо всем пишу папе.

— Евгения! Этот мальчишка — хулиган, а ты глупа,— холодно выговаривала, стараясь казаться спокойной, Ольга.— Хочешь, пиши папе, пожалуйста, но если я хоть еще раз увижу тебя с этим мальчишкой рядом, то в тот же день я брошу дачу, и мы уедем отсюда в Москву. А ты знаешь, что у меня слово бывает твердое?

— Да... мучительница! — со слезами ответила Женя.— Это-то я знаю.

— А теперь возьми и читай.— Ольга положила на стол полученную ночью телеграмму и вышла.

В телеграмме было написано:

«На днях проездом несколько часов буду Москве число часы телеграфирую дополнительно тчк Папа».

Женя вытерла слезы, приложила телеграмму к губам и тихо пробормотала:

— Папа, приезжай скорей! Папа! Мне, твоей Женьке, очень трудно.

Во двор того дома, откуда пропала коза и где жила бабка, которая поколотила бойкую девчонку Нюрку, привезли два воза дров.

Ругая беспечных возчиков, которые свалили дрова как попало, кряхтя и охая, бабка начала укладывать поленницу. Но эта работа была ей не под силу. Откашливаясь, она села на ступеньку, отдышалась, взяла лейку и пошла в огород. Во дворе остался теперь только трехлетний братишка Нюрки — человек, как видно, энергичный и трудолюбивый, потому что едва бабка скрылась, как он поднял палку и начал колотить ею по скамье и по перевернутому кверху дном корыту.

Тогда Сима Симаков, только что охотившийся за беглой козой, которая скакала по кустам и оврагам не хуже индийского тигра, одного человека из своей команды оставил на опушке, а с четырьмя другими вихрем ворвался во двор.

Он сунул малышу в рот горсть земляники, всучил ему в руки блестящее перо из крыла галки, и вся четверка рванулась укладывать дрова в поленницу.

Сам Сима Симаков понесся кругом вдоль забора, чтобы задержать на это время бабку в огороде. Остановившись у забора, возле того места, где к нему вплотную примыкали вишни и яблони, Сима заглянул в щелку.

Бабка набрала в подол огурцов и собиралась идти во двор.

Сима Симаков тихонько постучал по доскам забора.

Бабка насторожилась. Тогда Сима поднял палку и начал ею шевелить ветви яблони.

Бабке тотчас же показалось, что кто-то тихонько лезет через забор за яблоками. Она высыпала огурцы на межу, выдернула большой пук крапивы, подкралась и притаилась у забора.

Сима Симаков опять заглянул в щель, но бабки теперь он не увидел. Обеспокоенный, он подпрыгнул, схватился за край забора и осторожно стал подтягиваться. Но в то же время бабка с торжествующим криком выскочила из своей засады и ловко стегнула Симу Симакова по рукам крапивой. Размахивая обожженными руками, Сима помчался к воротам, откуда уже выбегала закончившая свою работу четверка.

Во дворе опять остался только один малыш. Он поднял с земли щепку, положил ее на край поленницы, потом поволок туда же кусок бересты.

За этим занятием и застала его вернувшаяся из огорода бабка. Вытаращив глаза, она остановилась перед аккуратно сложенной поленницей и спросила:

— Это кто же тут без меня работает?

Малыш, укладывая бересту в поленницу, важно ответил:

— А ты, бабушка, не видишь — это я работаю.

Во двор вошла молочница, и обе старухи оживленно начали обсуждать эти странные происшествия с водой и с дровами. Пробовали они добиться ответа у малыша, однако добились немногого. Он объяснил им, что прискочили из ворот люди, сунули ему в рот сладкой земляники, дали перо и еще пообещали поймать ему зайца с двумя ушами и с четырьмя ногами. А потом дрова покидали и опять ускочили.

В калитку вошла Нюрка.

— Нюрка,— спросила ее бабка,— ты не видала, кто к нам сейчас во двор заскакивал?

— Я козу искала,— уныло ответила Нюрка.— Я все утро по лесу да по оврагам сама скакала.

— Украли! — горестно пожаловалась бабка молочнице.— А какая была коза! Ну, голубь, а не коза. Голубь!

— Голубь,— отодвигаясь от бабки, огрызнулась Нюрка.— Как почнет шнырять рогами, так не знаешь, куда и деваться. У голубей рогов не бывает.

— Молчи, Нюрка! Молчи, разиня бестолковая! — закричала бабка.— Оно, конечно, коза была с характером. И я ее, козушку, продать хотела. А теперь вот моей голубушки и нету.

Калитка со скрипом распахнулась. Низко опустив рога, во двор вбежала коза и устремилась прямо на молочницу.

Подхватив тяжелый бидон, молочница с визгом вскочила на крыльцо, а коза, ударившись рогами о стену, остановилась.

И тут все увидали, что к рогам козы крепко прикручен фанерный плакат, на котором крупно было выведено:

Я коза-коза,
Всех людей гроза.
Кто Нюрку будет бить,
Тому худо будет жить.

А на углу за забором хохотали довольные ребятишки.

Воткнув в землю палку, притопывая вокруг нее, приплясывая, Сима Симаков гордо пропел:

Мы не шайка и не банда,
Не ватага удальцов,
Мы веселая команда
Пионеров-молодцов.
У-ух, ты!

И, как стайка стрижей, ребята стремительно и бесшумно умчались прочь.

...Работы на сегодня было еще немало, но, главное, сейчас надо было составить и отослать Мишке Квакину ультиматум.

Как составляются ультиматумы, этого еще никто не знал, и Тимур спросил об этом у дяди.

Тот объяснил ему, что каждая страна пишет ультиматум на свой манер, но в конце для вежливости полагается приписать:

«Примите, господин министр, уверение в совершеннейшем к Вам почтении».

Затем ультиматум через аккредитованного посла вручается правителю враждебной державы.

Но это дело ни Тимуру, ни его команде не понравилось. Во-первых, никакого почтения хулигану Квакину они передавать не хотели; во-вторых, ни постоянного посла, ни даже посланника при этой шайке у них не было. И, посовещавшись, они решили отправить ультиматум попроще, на манер того послания запорожцев к турецкому султану, которое каждый видел на картине, когда читал о том, как смелые казаки боролись с турками, татарами и ляхами.

За серыми воротами с черно-красной звездой, в тенистом саду того дома, что стоял напротив дачи, где жили Ольга и Женя, по песчаной аллейке шла маленькая белокурая девчушка. Ее мать, женщина молодая, красивая, но с лицом печальным и утомленным, сидела в качалке возле окна, на котором стоял пышный букет полевых цветов. Перед ней лежала груда распечатанных телеграмм и писем — от родных и от друзей, знакомых и незнакомых. Письма и телеграммы эти были теплые и ласковые. Они звучали издалека, как лесное эхо, которое никуда путника не зовет, ничего не обещает и все же подбадривает и подсказывает ему, что люди близко и в темном лесу он не одинок.

Держа куклу кверху ногами, так, что деревянные руки и пеньковые косы ее волочились по песку, белокурая девочка остановилась перед забором. По забору спускался раскрашенный, вырезанный из фанеры заяц. Он дергал лапой, тренькая по струнам нарисованной балалайки, и мордочка у него была грустновато-смешная.

Восхищенная таким необъяснимым чудом, равного которому, конечно, и нет на свете, девочка выронила

куклу, подошла к забору, и добрый заяц послушно опустился ей прямо в руки. А вслед за зайцем выглянуло лукавое и довольное лицо Жени.

Девочка посмотрела на Женю и спросила:

— Это ты со мной играешь?

— Да, с тобой. Хочешь, я к тебе спрыгну?

— Здесь крапива,— подумав, предупредила девочка.— И здесь я вчера обожгла себе руку.

— Ничего,— спрыгивая с забора, сказала Женя,— я не боюсь. Покажи, какая тебя вчера обожгла крапива? Вот эта? Ну смотри: я ее вырвала, бросила, растоптала ногами и на нее плюнула. Давай с тобой играть: ты держи зайца, а я возьму куклу.

Ольга видела с крыльца террасы, как Женя вертелась около чужого забора, но она не хотела мешать сестренке, потому что та и так сегодня утром много плакала. Но когда Женя полезла на забор и спрыгнула в чужой сад, обеспокоенная Ольга вышла из дома, подошла к воротам и открыла калитку. Женя и девчурка стояли уже у окна, возле женщины, и та улыбалась, когда дочка показывала ей, как грустный смешной заяц играет на балалайке.

По встревоженному лицу Жени женщина угадала, что вошедшая в сад Ольга недовольна.

— Вы на нее не сердитесь,— негромко сказала Ольге женщина.— Она просто играет с моей девчуркой. У нас горе...— Женщина помолчала.— Я плачу, а она...— женщина показала на свою крохотную дочку и тихо добавила:— а она и не знает, что ее отца недавно убили на границе.

Теперь смутилась Ольга, а Женя издалека посмотрела на нее горько и укоризненно.

— А я одна,— продолжала женщина.— Мать у меня в горах, в тайге, очень далеко, братья в армии, сестер нет.

Она тронула за плечо подошедшую Женю и, указывая на окно, спросила:

— Девочка, этот букет ночью не ты мне на крыльцо положила?

— Нет,— быстро ответила Женя.— Это не я. Но это, наверное, кто-нибудь из наших.

— Кто? — И Ольга непонимающе взглянула на Женю.

— Я не знаю,— испугавшись, заговорила Женя,— это не я. Я ничего не знаю. Смотрите, сюда идут люди.

За воротами послышался шум машины, а по дорожке от калитки шли два летчика-командира.

— Это ко мне,— сказала женщина.— Они, конечно, опять будут предлагать мне уехать в Крым, на Кавказ, на курорт, в санаторий...

Оба командира подошли, приложили руки к пилоткам, и, очевидно, расслышав ее последние слова, старший — капитан — сказал:

— Ни в Крым, ни на Кавказ, ни на курорт, ни в санаторий. Вы хотели повидать вашу маму? Ваша мать сегодня поездом выезжает к вам из Иркутска. До Иркутска она была доставлена на специальном самолете.

— Кем? — радостно и растерянно воскликнула женщина.— Вами?

— Нет,— ответил летчик-капитан,— нашими и вашими товарищами.

Подбежала маленькая девчурка, смело посмотрела на пришедших, и видно, что синяя форма эта ей была хорошо знакома.

— Мама,— попросила она,— сделай мне качели, и я буду летать туда-сюда, туда-сюда. Далеко-далеко, как папа.

— Ой, не надо! — подхватывая и сжимая дочурку, воскликнула ее мать.— Нет, не улетай так далеко... как твой папа.

На Малой Овражной, позади часовни с облупленной росписью, изображавшей суровых волосатых старцев и чисто выбритых ангелов, правей картины «страшного суда»* с котлами, смолой и юркими чертями, на ромашковой поляне ребята из компании Мишки Квакина играли в карты.

Денег у игроков не было, и они резались «на тычка», «на щелчка»» и на «оживи покойника». Проигравшему завязывали глаза, клали его спиной на траву и давали ему в руки свечку, то есть длинную палку. И этой палкой он должен был вслепую отбиваться от добрых собратий своих, которые, сожалея усопшего, старались вернуть его к жизни, усердно настегивая крапивой по его голым коленям, икрам и пяткам.

Игра была в самом разгаре, когда за оградой раздался резкий звук сигнальной трубы.

Это снаружи у стены стояли посланцы от команды Тимура.

Штаб-трубач Коля Колокольчиков сжимал в руке медный блестящий горн, а босоногий суровый Гейка держал склеенный из оберточной бумаги пакет.

— Это что же тут за цирк или комедия? — перегибаясь через ограду, спросил паренек, которого звали Фигурой.— Мишка! — оборачиваясь, заорал он.— Брось карты, тут к тебе какая-то церемония пришла!

— Я тут,— залезая на ограду, отозвался Квакин.— Эге, Гейка, здоро́во! А это еще что с тобой за хлюпик?

— Возьми пакет,— протягивая ультиматум, сказал Гейка.— Сроку на размышление вам двадцать четыре часа дадено. За ответом приду завтра в такое же время.

Обиженный тем, что его назвали хлюпиком, штаб-трубач Коля Колокольчиков вскинул горн и, раздувая щеки, яростно протрубил отбой. И, не сказав больше ни слова, под любопытными взглядами рассыпавшихся по ограде мальчишек оба парламентера с достоинством удалились.

— Это что же такое? — переворачивая пакет и оглядывая разинувших рты ребят, спросил Квакин.— Жили-жили, ни о чем не тужили... Вдруг... труба, гроза! Я, братцы, право, ничего не понимаю!..

Он разорвал пакет и, не слезая с ограды, стал читать:

— «Атаману шайки по очистке чужих садов Михаилу Квакину...» Это мне,— громко объяснил Квакин.— С полным титулом, по всей форме. «...и его,— продолжал он читать,— гнуснопрославленному помощнику Петру Пятакову, иначе именуемому просто Фигурой...» Это тебе,— с удовлетворением объяснил Квакин Фигуре.— Эк, они завернули: «гнуснопрославленный»! Это уж что-то очень по-благородному, могли бы дурака назвать и попроще. «...а также ко всем членам этой позорной компании у л ь т и м а т у м». Это что такое, я не знаю,— насмешливо объявил Квакин.— Вероятно, ругательство или что-нибудь в этом смысле.

— Это такое международное слово. Бить будут,—

объяснил стоявший рядом с Фигурой бритоголовый мальчуган Алешка.

— А, так бы и писали! — сказал Квакин.— Читаю дальше. Пункт первый:

«Ввиду того, что вы по ночам совершаете налеты на сады мирных жителей, не щадя и тех домов, на которых стоит наш знак — красная звезда, и даже тех, на которых стоит звезда с траурной черной каймою, вам, трусливым негодяям, мы приказываем...»

— Ты посмотри, как, собаки, ругаются! — смутившись, но пытаясь улыбнуться, продолжал Квакин.— А какой дальше слог, какие запятые! Да!

«...приказываем: не позже чем завтра утром Михаилу Квакину и гнусноподобной личности Фигуре явиться на место, которое им гонцами будет указано, имея на руках список всех членов вашей позорной шайки.

А в случае отказа мы оставляем за собой полную свободу действий».

— То есть в каком смысле свободу? — опять переспросил Квакин.— Мы их, кажется, пока никуда не запирали.

— Это такое международное слово,— объяснил бритоголовый Алешка.— Бить будут!

— А, тогда так бы и говорили! — с досадой сказал Квакин.— Жаль, что ушел Гейка; видно, он давно не плакал.

— Он не заплачет,— сказал бритоголовый,— у него брат — матрос.

— Ну?

— У него и отец был матросом. Он не заплачет.

— А тебе-то что?

— А то, что у меня дядя матрос тоже.

— Вот дурак — заладил! — рассердился Квакин.— То отец, то брат, то дядя. А что к чему — неизвестно. Отрасти, Алеша, волосы, а то тебе солнцем напекло затылок. А ты что там мычишь, Фигура?

— Гонцов надо завтра изловить, а Тимку и его компанию излупить,— коротко и угрюмо предложил обиженный ультиматумом Фигура.

На том и порешили.

Отойдя в тень часовни и остановившись вдвоем возле картины, где проворные мускулистые черти ловко волокли

в пекло во́ющих и упирающихся грешников, Квакин спросил у Фигуры:

— Слушай, это ты в тот сад лазил, где живет девчонка, у которой отца убили?

— Ну, я.

— Так вот...— с досадой пробормотал Квакин, тыкая пальцем в стену.— Мне, конечно, на Тимкины знаки наплевать, и Тимку я всегда бить буду...

— Хорошо,— согласился Фигура.— А что ты мне пальцем на чертей тычешь?

— А то,— скривив губы, ответил ему Квакин,— что ты мне хоть и друг, Фигура, но никак на человека не похож ты, а скорей вот на этого толстого и поганого черта.

Утром молочница не застала дома троих постоянных покупателей. На базар было идти уже поздно, и, взвалив бидон на плечи, она отправилась по квартирам.

Она ходила долго без толку и наконец остановилась возле дачи, где жил Тимур.

За забором она услышала густой приятный голос: кто-то негромко пел. Значит, хозяева были дома, и здесь можно было ожидать удачи.

Пройдя через калитку, старуха нараспев закричала:

— Молока не надо ли, молока?

— Две кружки! — раздался в ответ басистый голос.

Скинув с плеча бидон, молочница обернулась и увидела выходящего из кустов косматого, одетого в лохмотья хромоногого старика, который держал в руке кривую обнаженную саблю.

— Я, батюшка, говорю, молочка не надо ли? — оробев и попятившись, предложила молочница.— Экий ты, отец мой, с виду серьезный! Ты что ж это, саблей траву косишь?

— Две кружки. Посуда на столе,— коротко ответил старик и воткнул саблю клинком в землю.

— Ты бы, батюшка, купил косу,— торопливо наливая молоко в кувшин и опасливо поглядывая на старика, говорила молочница.— А саблю лучше брось. Этакой саблей простого человека и до смерти напугать можно.

— Платить сколько? — засовывая руку в карман широченных штанов, спросил старик.

— Как у людей,— ответила ему молочница.— По

рубль сорок — всего два восемьдесят. Лишнего мне не надо.

Старик пошарил и достал из кармана большой ободранный револьвер.

— Я, батюшка, потом...— подхватывая бидон и поспешно удаляясь, заговорила молочница.— Ты, дорогой мой, не трудись! — прибавляя ходу и не переставая оборачиваться, продолжала она.— Мне, золотой, деньги не к спеху.

Она выскочила за калитку, захлопнула ее и сердито с улицы закричала:

— В больнице тебя, старого черта, держать надо, а не пускать по воле. Да, да! На замке, в больнице.

Старик пожал плечами, сунул обратно в карман вынутую оттуда трешницу и тотчас же спрятал револьвер за спину, потому что в сад вошел пожилой джентльмен, доктор Ф. Г. Колокольчиков.

С лицом сосредоточенным и серьезным, опираясь на палку, прямою, несколько деревянною походкой он шагал по песчаной аллее.

Увидав чудно́го старика, джентльмен кашлянул, поправил очки и спросил:

— Не скажешь ли ты, любезный, где мне найти владельца этой дачи?

— На этой даче живу я,— ответил старик.

— В таком случае,— прикладывая руку к соломенной шляпе, продолжал джентльмен,— вы мне не скажете: не приходится ли вам некий мальчик, Тимур Гараев, родственником?

— Да, приходится,— ответил старик.— Этот некий мальчик — мой племянник.

— Мне очень прискорбно,— откашливаясь и недоуменно косясь на торчавшую в земле саблю, начал джентльмен,— но ваш племянник сделал вчера утром попытку ограбить наш дом.

— Что?! — изумился старик.— Мой Тимур хотел ваш дом ограбить?

— Да, представьте! — заглядывая старику за спину и начиная волноваться, продолжал джентльмен.— Он сделал попытку во время моего сна похитить укрывавшее меня байковое одеяло.

— Кто? Тимур вас ограбил? Похитил байковое одея-

ло? — растерялся старик. И спрятанная у него за спиной рука с револьвером невольно опустилась.

Волнение овладело почтенным джентльменом, и, с достоинством пятясь к выходу, он заговорил:

— Я, конечно, не утверждал бы, но факты... факты! Милостивый государь! Я вас прошу, вы ко мне не приближайтесь. Я, конечно, не знаю, чему приписать... Но ваш вид, ваше странное поведение...

— Послушайте,— шагая к джентльмену, произнес старик,— но все это, очевидно, недоразумение.

— Милостивый государь! — не спуская глаз с револьвера и не переставая пятиться, вскричал джентльмен.— Наш разговор принимает нежелательное и, я бы сказал, недостойное нашего возраста направление.

Он выскочил за калитку и быстро пошел прочь, повторяя:

— Нет, нет, нежелательное и недостойное направление...

Старик подошел к калитке как раз в ту минуту, когда шедшая купаться Ольга поравнялась с взволнованным джентльменом.

Тут вдруг старик замахал руками и закричал Ольге, чтобы она остановилась. Но джентльмен проворно, как козел, перепрыгнул через канаву, схватил Ольгу за руку, и оба они мгновенно скрылись за углом.

Тогда старик расхохотался. Возбужденный и обрадованный, бойко притопывая своей деревяшкой, он пропел:

А вы и не поймете
На быстром самолете,
Как вас ожидала я до утренней зари.
Да!

Он отстегнул ремень у колена, швырнул на траву деревянную ногу и, на ходу сдирая парик и бороду, помчался к дому.

Через десять минут молодой и веселый инженер Георгий Гараев сбежал с крыльца, вывел мотоцикл из сарая, крикнул собаке Рите, чтобы она караулила дом, нажал стартер и, вскочив в седло, помчался к реке разыскивать напуганную им Ольгу.

В одиннадцать часов Гейка и Коля Колокольчиков отправились за ответом на ультиматум.

— Ты иди ровно,— ворчал Гейка на Колю.— Ты шагай легко, твердо. А ты ходишь, как цыпленок за червяком скачет. И все у тебя, брат, хорошо — и штаны, и рубаха, и вся форма, а виду у тебя все равно нет. Ты, брат, не обижайся, я тебе дело говорю. Ну, вот скажи: зачем ты идешь и языком губы мусолишь? Ты запихай язык в рот, и пусть он там и лежит на своем месте... А ты зачем появился? — спросил Гейка, увидав выскочившего наперерез Симу Симакова.

— Меня Тимур послал для связи,— затараторил Симаков.— Так надо, и ты ничего не понимаешь. Вам свое, а у меня свое дело. Коля, дай-ка я дудану в трубу. Экий ты сегодня важный! Гейка, дурак! Идешь по делу — надел бы сапоги, ботинки. Разве послы босиком ходят? Ну, ладно, вы туда, а я сюда. Гоп-гоп, до свиданья!

— Этакий балабон! — покачал головой Гейка.— Скажет сто слов, а можно бы четыре. Труби, Николай, вот и ограда.

— Подавай наверх Михаила Квакина! — приказал Гейка высунувшемуся сверху мальчишке.

— А заходите справа! — закричал из-за ограды Квакин.— Там для вас нарочно ворота открыты.

— Не ходи,— дергая за руку Гейку, прошептал Коля.— Они нас поймают и поколотят.

— Это все на двоих-то? — надменно спросил Гейка.— Труби, Николай, громче. Нашей команде везде дорога.

Они прошли через ржавую железную калитку и очутились перед группой ребят, впереди которых стояли Фигура и Квакин.

— Ответ на письмо давайте,— твердо сказал Гейка.

Квакин улыбался, Фигура хмурился.

— Давай поговорим,— предложил Квакин.— Ну, сядь, посиди, куда торопишься?

— Ответ на письмо давайте,— холодно повторил Гейка.— А разговаривать с вами будем мы после.

И было странно, непонятно: играет ли он, шутит ли, этот прямой, коренастый мальчишка в матросской тельняшке, возле которого стоит маленький, уже побледневший трубач? Или, прищурив строгие серые глаза свои, босоногий, широкоплечий, он и на самом деле требует ответа, чувствуя за собою и право и силу?

— На́, возьми,— протягивая бумагу, сказал Квакин.

Гейка развернул лист. Там был грубо нарисован кукиш, под которым стояло ругательство.

Спокойно, не изменившись в лице, Гейка разорвал бумагу. В ту же минуту он и Коля крепко были схвачены за плечи и за руки.

Они не сопротивлялись.

— За такие ультиматумы надо бы вам набить шею,— подходя к Гейке, сказал Квакин.— Но... мы люди добрые. До ночи мы запрем вас вот сюда,— он показал на часовню,— а ночью мы обчистим сад под номером двадцать четыре наголо.

— Этого не будет,— ровно ответил Гейка.

— Нет, будет! — крикнул Фигура и ударил Гейку по щеке.

— Бей хоть сто раз,— зажмурившись и вновь открывая глаза, сказал Гейка.— Коля,— подбадривающе буркнул он,— ты не робей. Чую я, что будет сегодня у нас позывной сигнал по форме номер один общий.

Пленников втолкнули внутрь маленькой часовни с наглухо закрытыми железными ставнями. Обе двери за ними закрыли, задвинули засов и забили его деревянным клином.

— Ну, что? — подходя к двери и прикладывая ко рту ладонь, закричал Фигура.— Как оно теперь: по-нашему или по-вашему выйдет?

И из-за двери глухо, едва слышно донеслось:

— Нет, бродяги, теперь по-вашему уже никогда и ничего не выйдет.

Фигура плюнул.

— У него брат — матрос,— хмуро объяснил бритоголовый Алешка.— Они с моим дядей на одном корабле служат.

— Ну,— угрожающе спросил Фигура,— а ты кто — капитан, что ли?

— У него руки схвачены, а ты его бьешь. Это хорошо ли?

— На́ и тебе тоже! — обозлился Фигура и ударил Алешку наотмашь.

Тут оба мальчишки покатились на траву. Их тянули за руки, за ноги, разнимали...

И никто не посмотрел наверх, где в густой листве липы, что росла близ ограды, мелькнуло лицо Симы Симакова.

Винтом соскользнул он на землю. И напрямик, через чужие огороды, помчался к Тимуру, к своим на речку.

Прикрыв голову полотенцем, Ольга лежала на горячем песке пляжа и читала.

Женя купалась. Неожиданно кто-то обнял ее за плечи.

Она обернулась.

— Здравствуй,— сказала ей высокая темноглазая девочка.— Я приплыла от Тимура. Меня зовут Таней, и я тоже из его команды. Он жалеет, что тебе из-за него от сестры попало. У тебя сестра, наверное, очень злая?

— Пусть он не жалеет,— покраснев, пробормотала Женя.— Ольга совсем не злая, у нее такой характер.— И, всплеснув руками, Женя с отчаянием добавила:— Ну, сестра! Сестра и сестра! Вот погодите, приедет папа...

Они вышли из воды и забрались на крутой берег, левей песчаного пляжа. Здесь они наткнулись на Нюрку.

— Девочка, ты меня узнала? — как всегда, быстро и сквозь зубы спросила она у Жени.— Да! Я тебя узнала сразу. А вон Тимур! — сбросив платье, показала она на усыпанный ребятами противоположный берег.— Я знаю, кто мне поймал козу, кто нам уложил дрова и кто дал моему братишке землянику. И тебя я тоже знаю,— обернулась она к Тане.— Ты один раз сидела на грядке и плакала. А ты не плачь. Что толку?.. Гей! Сиди, чертовка, или я тебя сброшу в реку! — закричала она на привязанную к кустам козу.— Девочки, давайте в воду прыгнем!

Женя и Таня переглянулись. Очень уж она была смешная, эта маленькая, загорелая, похожая на цыганку Нюрка.

Взявшись за руки, они подошли к самому краю обрыва, под которым плескалась ясная голубая вода.

— Ну, прыгнули?

— Прыгнули!

И они разом бросились в воду.

Но не успели девчонки вынырнуть, как вслед за ними бултыхнулся кто-то четвертый.

Это, как он был — в сандалиях, трусах и майке,— Сима Симаков с разбегу кинулся в реку. И, отряхивая слипшиеся волосы, отплевываясь и отфыркиваясь, длинными саженками он поплыл на другой берег.

— Беда, Женя! Беда! — прокричал он обернувшись. — Гейка и Коля попали в засаду!

Читая книгу, Ольга поднималась в гору И там, где крутая тропка пересекала дорогу, ее встретил стоявший возле мотоцикла Георгий. Они поздоровались.

— Я ехал,— объяснил ей Георгий,— смотрю, вы идете. Дай, думаю, подожду и подвезу, если по дороге.

— Неправда! — не поверила Ольга.— Вы стояли и ожидали меня нарочно.

— Ну, верно,— согласился Георгий.— Хотел соврать, да не вышло. Я должен перед вами извиниться за то, что напугал вас утром. А ведь хромой старик у калитки — это был я. Это я в гриме готовился к репетиции. Садитесь, я подвезу вас на машине.

Ольга отрицательно качнула головой.

Он положил ей букет на книгу.

Букет был хорош. Ольга покраснела, растерялась и... бросила его на дорогу.

Этого Георгий не ожидал.

— Послушайте! — огорченно сказал он.— Вы хорошо играете, поете, глаза у вас прямые, светлые. Я вас ничем не обидел. Но мне думается, что так, как вы, не поступают люди... даже самой железобетонной специальности.

— Цветов не надо! — сама испугавшись своего поступка, виновато ответила Ольга.— Я... и так, без цветов, с вами поеду.

Она села на кожаную подушку, и мотоцикл полетел вдоль дороги.

Дорога раздваивалась, но, минуя ту, что сворачивала к поселку, мотоцикл вырвался в поле.

— Вы не туда повернули,— крикнула Ольга,— нам надо направо!

— Здесь дорога лучше,— ответил Георгий,— здесь дорога веселая.

Опять поворот, и они промчались через шумливую тенистую рощу. Выскочила из стада и затявкала, пытаясь догнать их, собака. Но нет! Куда там! Далеко.

Как тяжелый снаряд, прогудела встречная грузовая машина. И когда Георгий и Ольга вырвались из поднятых клубов пыли, то под горой увидали дым, трубы, башни, стекло и железо какого-то незнакомого города.

— Это наш завод! — прокричал Ольге Георгий.—

Три года тому назад я сюда ездил собирать грибы и землянику.

Почти не уменьшая хода, машина круто развернулась.

— Прямо! — предостерегающе кричала Ольга.— Давайте только прямо домой.

Вдруг мотор заглох, и они остановились.

— Подождите,— соскакивая, сказал Георгий,— маленькая авария.

Он положил машину на траву под березой, достал из сумки ключ и принялся что-то подвертывать и подтягивать.

— Вы кого в вашей опере играете? — присаживаясь на траву, спросила Ольга.— Почему у вас грим такой суровый и страшный?

— Я играю старика инвалида,— не переставая возиться у мотоцикла, ответил Георгий.— Он бывший партизан, и он немного... не в себе. Он живет близ границы, и ему все кажется, что враги нас перехитрят и обманут Он стар, но он осторожен. Красноармейцы же молодые — смеются, после караула в волейбол играют. Девчонки там у них разные... Катюши!

Георгий нахмурился и тихо запел:

За тучами опять померкнула луна.
Я третью ночь не сплю в глухом дозоре.
Ползут в тиши враги. Не спи, моя страна!
Я стар. Я слаб. О, горе мне... о, горе!

Тут Георгий переменил голос и, подражая хору, пропел:

Старик, спокойно... спокойно!

— Что значит «спокойно»? — утирая платком запыленные губы, спросила Ольга.

— А это значит,— продолжая стучать ключом по втулке, объяснял Георгий,— это значит, что: спи спокойно, старый дурак! Давно уже все бойцы и командиры стоят на своем месте... Оля, ваша сестренка о моей с ней встрече вам говорила?

— Говорила, я ее выругала.

— Напрасно. Очень забавная девочка. Я ей говорю «а», она мне «бэ»!

— С этой забавной девочкой хлебнешь горя,— снова

повторила Ольга.— К ней привязался какой-то мальчишка, зовут Тимур. Он из компании хулигана Квакина. И никак я его от нашего дома не могу отвадить.

— Тимур!.. Гм...— Георгий смущенно кашлянул.— Разве он из компании? Он, кажется, не того... не очень... Ну, ладно! Вы не беспокойтесь. Я его от вашего дома отважу. Оля, почему вы не учитесь в консерватории? Подумаешь — инженер! Я и сам инженер, а что толку?

— Разве вы плохой инженер?

— Зачем плохой? — подвигаясь к Оле и начиная теперь стучать по втулке переднего колеса, ответил Георгий.— Совсем не плохой, но вы очень хорошо играете и поете.

— Послушайте, Георгий,— смущенно отодвигаясь, сказала Ольга.— Я не знаю, какой вы инженер, но... чините вы машину как-то очень странно.

И Ольга помахала рукой, показывая, как он постукивает ключом то по втулке, то по ободу.

— Ничего не странно. Все делается так, как надо.— Он вскочил и стукнул ключом по раме.— Ну, вот и готово! Оля, ваш отец командир?

— Да.

— Это хорошо. Я и сам командир тоже.

— Кто вас разберет! — пожала плечами Ольга.— То вы инженер, то вы актер, то командир. Может быть, к тому же вы еще и летчик?

— Нет,— усмехнулся Георгий.— Летчики глушат бомбами по головам сверху, а мы с земли через железо и бетон бьем прямо в сердце.

И опять перед ними замелькали рожь, поля, рощи, речка. Наконец вот и дача.

На треск мотоцикла с террасы выскочила Женя. Увидав Георгия, она смутилась, но когда он умчался, то, глядя ему вслед, Женя подошла к Ольге, обняла ее и с завистью сказала:

— Ох, какая ты сегодня счастливая!

Условившись встретиться неподалеку от сада дома № 24, мальчишки из-за ограды разбежались.

Задержался только один Фигура. Его злило и удивляло молчание внутри часовни. Пленники не кричали, не стучали и на вопросы и окрики Фигуры не отзывались.

Тогда Фигура пустился на хитрость. Открыв наружную дверь, он вошел в каменный простенок и замер, как будто бы его здесь не было.

И так, приложив к замку ухо, он стоял до тех пор, пока наружная железная дверь не захлопнулась с таким грохотом, как будто бы по ней ударили бревном.

— Эй, кто там? — бросаясь к двери, рассердился Фигура.— Эй, не балуй, а то дам по шее!

Но ему не отвечали. Снаружи послышались чужие голоса. Заскрипели петли ставен. Кто-то через решетку окна переговаривался с пленниками.

Затем внутри часовни раздался смех. И от этого смеха Фигуре стало плохо.

Наконец наружная дверь распахнулась. Перед Фигурой стояли Тимур, Симаков и Ладыгин.

— Открой второй засов! — не двигаясь, приказал Тимур.— Открой сам, или будет хуже!

Нехотя Фигура отодвинул засов. Из часовни вышли Коля и Гейка.

— Лезь на их место!— приказал Тимур.— Лезь, гадина, быстро! — сжимая кулаки, крикнул он.— Мне с тобой разговаривать некогда!

Захлопнули за Фигурой обе двери. Наложили на петлю тяжелую перекладину и повесили замок.

Потом Тимур взял лист бумаги и синим карандашом коряво написал:

«Квакин, караулить не надо. Я их запер, ключ у меня. Я приду прямо на место, к саду, вечером».

Затем все скрылись. Через пять минут за ограду зашел Квакин.

Он прочел записку, потрогал замок, ухмыльнулся и пошел к калитке, в то время как запертый Фигура отчаянно колотил кулаками и пятками по железной двери.

От калитки Квакин обернулся и равнодушно пробормотал:

— Стучи, Гейка, стучи! Нет, брат, ты еще до вечера настучишься.

Дальше события развертывались так.

Перед заходом солнца Тимур и Симаков сбегали на рыночную площадь. Там, где в беспорядке выстроились ларьки — квас, воды, овощи, табак, бакалея, мороженое,— у самого края торчала неуклюжая пустая будка, в которой по базарным дням работали сапожники.

В будке этой Тимур и Симаков пробыли недолго.

В сумерки на чердаке сарая заработало штурвальное колесо. Один за одним натягивались крепкие веревочные провода, передавая туда, куда надо, и те, что надо, сигналы.

Подходили подкрепления. Собрались мальчишки, их было уже много — двадцать — тридцать. А через дыры заборов тихо и бесшумно проскальзывали всё новые и новые люди.

Таню и Нюрку отослали обратно. Женя сидела дома. Она должна была задерживать и не пускать в сад Ольгу

На чердаке у колеса стоял Тимур.

— Повтори сигнал по шестому проводу,— озабоченно попросил просунувшийся в окно Симаков.— Там что-то не отвечают.

Двое мальчуганов чертили по фанере какой-то плакат Подошло звено Ладыгина.

Наконец пришли разведчики. Шайка Квакина собиралась на пустыре близ сада дома № 24.

— Пора,— сказал Тимур.— Всем приготовиться!

Он выпустил из рук колесо, взялся за веревку. И над старым сараем под неровным светом бегущей меж облаков луны медленно поднялся и заколыхался флаг команды — сигнал к бою.

...Вдоль забора дома № 24 продвигалась цепочка из десятка мальчишек. Остановившись в тени, Квакин сказал:

— Все на месте, а Фигуры нет.

— Он хитрый,— ответил кто-то.— Он, наверное, уже в саду. Он всегда вперед лезет.

Квакин отодвинул две заранее снятые с гвоздей доски и пролез через дыру. За ним полезли и остальные. На улице у дыры остался один часовой — Алешка.

Из поросшей крапивой и бурьяном канавы по другой стороне улицы выглянуло пять голов. Четыре из них сразу же спрятались. Пятая — Коли Колокольчикова — задержалась, но чья-то ладонь хлопнула ее по макушке, и голова исчезла.

Часовой Алешка оглянулся. Все было тихо, и он просунул голову в отверстие — послушать, что делается внутри сада.

От канавы отделились трое. И в следующее мгновение часовой почувствовал, как крепкая сила рванула его

за ноги, за руки. И, не успев крикнуть, он отлетел от забора.

— Гейка,— пробормотал он, поднимая лицо,— ты откуда?

— Оттуда,— прошипел Гейка.— Смотри молчи! А то я не посмотрю, что ты за меня заступался.

— Хорошо,— согласился Алешка,— я молчу.— И неожиданно он пронзительно свистнул.

Но тотчас же рот его был зажат широкой ладонью Гейки. Чьи-то руки подхватили его за плечи, за ноги и уволокли прочь.

Свист в саду услыхали. Квакин обернулся. Свист больше не повторялся. Квакин внимательно оглядывался по сторонам. Теперь ему показалось, что кусты в углу сада шевельнулись.

— Фигура! — негромко окликнул Квакин.— Это ты там, дурак, прячешься?

— Мишка! Огонь! — крикнул вдруг кто-то.— Это идут хозяева!

Но это были не хозяева.

Позади, в гуще листвы, вспыхнуло не меньше десятка электрических фонарей. И, слепя глаза, они стремительно надвигались на растерявшихся налетчиков.

— Бей, не отступай! — выхватывая из кармана яблоко и швыряя по огням, крикнул Квакин.— Рви фонари с руками! Это идет он... Тимка!

— Там Тимка, а здесь Симка! — гаркнул, вырываясь из-за куста, Симаков.

И еще десяток мальчишек рванулись с тылу и с фланга.

— Эге! — заорал Квакин.— Да у них сила! За забор вылетай, ребята!

Попавшая в засаду шайка в панике метнулась к забору.

Толкаясь, сшибаясь лбами, мальчишки выскакивали на улицу и попадали прямо в руки Ладыгина и Гейки.

Луна совсем спряталась за тучи. Слышны были только голоса:

— Пусти!

— Оставь!

— Не лезь! Не тронь!

— Всем тише! — раздался в темноте голос Тимура.— Пленных не бить! Где Гейка?

Здесь Гейка!

Веди всех на место.

— А если кто не пойдет?

Хватайте за руки, за ноги и тащите с почетом, как икону богородицы.

— Пустите, черти! — раздался чей-то плачущий голос.

— Кто кричит? — гневно спросил Тимур.— Хулиганить мастера, а отвечать боитесь! Гейка, давай команду, двигай!

Пленников подвели к пустой будке на краю базарной площади. Тут их одного за другим протолкнули за дверь.

— Михаила Квакина ко мне,— попросил Тимур.

Подвели Квакина.

— Готово? — спросил Тимур.

— Все готово.

Последнего пленника втолкнули в будку, задвинули засов и просунули в пробой тяжелый замок.

— Ступай,— сказал тогда Тимур Квакину.— Ты смешон. Ты никому не страшен и не нужен.

Ожидая, что его будут бить, ничего не понимая, Квакин стоял, опустив голову.

— Ступай,— повторил Тимур.— Возьми вот этот ключ и отопри часовню, где сидит твой друг Фигура.

Квакин не уходил.

— Отопри ребят,— хмуро попросил он.— Или посади меня вместе с ними.

— Нет,— отказался Тимур,— теперь все кончено. Ни им с тобою, ни тебе с ними больше делать нечего.

Под свист, шум и улюлюканье, спрятав голову в плечи, Квакин медленно пошел прочь. Отойдя десяток шагов, он остановился и выпрямился.

— Бить буду! — злобно закричал он, оборачиваясь к Тимуру.— Бить буду тебя одного. Один на один, до смерти! — И, отпрыгнув, он скрылся в темноте

— Ладыгин и твоя пятерка, вы свободны,— сказал Тимур.— У тебя что?

— Дом номер двадцать два, перекатать бревна, по Большой Васильковской.

— Хорошо. Работайте!

Рядом на станции заревел гудок. Прибыл дачный поезд. С него сходили пассажиры, и Тимур заторопился.

— Симаков и твоя пятерка, у тебя что?

— Дом номер тридцать восемь по Малой Петраков-

ской.— Он рассмеялся и добавил:— Наше дело, как всегда: ведра, кадка да вода... Гоп! Гоп! До свиданья!

— Хорошо, работайте! Ну, а теперь... сюда идут люди. Остальные все по домам... Разом!

Гром и стук раздался по площади. Шарахнулись и остановились идущие с поезда прохожие. Стук и вой повторился. Загорелись огни в окнах соседних дач. Кто-то включил свет над ларьком, и столпившиеся люди увидели над палаткой такой плакат:

ПРОХОЖИЙ, НЕ ЖАЛЕЙ!

Здесь сидят люди, которые трусливо по ночам обирают сады мирных жителей.

Ключ от замка висит позади этого плаката, и тот, кто отопрет этих арестантов, пусть сначала посмотрит, нет ли среди них его близких или знакомых.

Поздняя ночь. И черно-красной звезды на воротах не видно. Но она тут.

Сад того дома, где живет маленькая девочка. С ветвистого дерева спустились веревки. Вслед за ними по шершавому стволу соскользнул мальчик. Он кладет доску, садится и пробует, прочны ли они, эти новые качели. Толстый сук чуть поскрипывает, листва шуршит и вздрагивает. Вспорхнула и пискнула потревоженная птица. Уже поздно. Спит давно Ольга, спит Женя. Спят и его товарищи: веселый Симаков, молчаливый Ладыгин, смешной Коля. Ворочается, конечно, и бормочет во сне храбрый Гейка.

Часы на каланче отбивают четверти: «Был день — было дело! Дин-дон... раз, два!..»

Да, уже поздно.

Мальчуган встает, шарит по траве руками и поднимает тяжелый букет полевых цветов. Эти цветы рвала Женя.

Осторожно, чтобы не разбудить и не испугать спящих, он всходит на озаренное луною крыльцо и бережно кладет букет на верхнюю ступеньку. Это — Тимур.

Было утро выходного дня. В честь годовщины победы красных под Хасаном* комсомольцы поселка устроили в парке большой карнавал — концерт и гулянье.

Девчонки убежали в рощу еще спозаранку. Ольга торопливо доканчивала гладить блузку. Перебирая платья, она тряхнула Женин сарафан, из его кармана выпала бумажка.

Ольга подняла и прочла:

«Девочка, никого дома не бойся. Все в порядке, и никто от меня ничего не узнает. Тимур».

«Чего не узнает? Почему не бойся? Что за тайна у этой скрытной и лукавой девчонки? Нет! Этому надо положить конец. Папа уезжал, и он велел... Надо действовать решительно и быстро».

В окно постучал Георгий.

— Оля,— сказал он,— выручайте! Ко мне пришла делегация. Просят что-нибудь спеть с эстрады. Сегодня такой день — отказать было нельзя. Давайте аккомпанируйте мне на аккордеоне.

— Да... Но это вам может сделать пианистка! — удивилась Ольга.— Зачем же на аккордеоне?

— Оля, я с пианисткой не хочу. Хочу с вами! У нас получится хорошо. Можно, я к вам через окно прыгну? Оставьте утюг и выньте инструмент. Ну вот, я его вам сам вынул. Вам только остается нажимать на лады пальцами, а я петь буду.

— Послушайте, Георгий,— обиженно сказала Ольга,— в конце концов, вы могли не лезть в окно, когда есть двери...

В парке было шумно. Вереницей подъезжали машины с отдыхающими. Тащились грузовики с бутербродами, с булками, бутылками, колбасой, конфетами, пряниками.

Стройно подходили голубые отряды ручных и колесных мороженщиков.

На полянах разноголосо вопили патефоны, вокруг которых раскинулись приезжие и местные дачники с питьем и снедью.

Играла музыка.

У ворот ограды эстрадного театра стоял дежурный старичок и бранил монтера, который хотел пройти через калитку вместе со своими ключами, ремнями и железными «кошками».

— С инструментами, дорогой, сюда не пропускаем. Сегодня праздник. Ты сначала сходи домой, умойся и оденься.

— Так ведь, папаша, здесь же без билета, бесплатно!

— Все равно нельзя. Здесь пение. Ты бы еще с собой телеграфный столб приволок. И ты, гражданин, обойди тоже,— остановил он другого человека.— Здесь люди поют... музыка. А у тебя бутылка торчит из кармана.

— Но, дорогой папаша,— заикаясь, пытался возразить человек,— мне нужно. я сам тенор.

— Проходи, проходи, тенор,— показывая на монтера, отвечал старик.— Вон бас не возражает. И ты, тенор, не возражай тоже.

Женя, которой мальчишки сказали, что Ольга с аккордеоном прошла на сцену, нетерпеливо ерзала на скамье.

Наконец вышли Георгий и Ольга. Жене стало страшно: ей показалось, что над Ольгой сейчас начнут смеяться.

Но никто не смеялся.

Георгий и Ольга стояли на подмостках, такие простые, молодые и веселые, что Жене захотелось обнять их обоих.

Но вот Ольга накинула ремень на плечо.

Глубокая морщина перерезала лоб Георгия, он ссутулился, наклонил голову. Теперь это был старик, и низким звучным голосом он запел:

Я третью ночь не сплю. Мне чудится все то же
Движенье тайное в угрюмой тишине.
Винтовка руку жжет Тревога сердце гложет,
Как двадцать лет назад ночами на войне.
Но если и сейчас я встречуся с тобою,
Наемных армий вражеский солдат,
То я, седой старик, готовый встану к бою,
Спокоен и суров, как двадцать лет назад.

— Ах, как хорошо! И как этого хромого смелого старика жалко! Молодец, молодец...— бормотала Женя.— Так, так. Играй, Оля! Жаль только, что не слышит тебя наш папа.

После концерта, дружно взявшись за руки, Георгий и Ольга шли по аллее.

— Все так,— говорила Ольга.— Но я не знаю, куда пропала Женя.

— Она стояла на скамье,— ответил Георгий,— и кричала: «Браво, браво!» Потом к ней подошел...— тут Георгий запнулся,— какой-то мальчик, и они исчезли.

— Какой мальчик? — встревожилась Ольга.— Геор-

гий, вы старше, скажите, что мне с ней делать? Смотрите! Утром я у нее нашла вот эту бумажку!

Георгий прочел записку. Теперь он и сам задумался и нахмурился.

— Не бойся — это значит не слушайся. Ох, и попадись мне этот мальчишка под руку, то-то бы я с ним поговорила!

Ольга спрятала записку. Некоторое время они молчали. Но музыка играла очень весело, кругом смеялись, и, опять взявшись за руки, они пошли по аллее.

Вдруг на перекрестке в упор они столкнулись с другой парой, которая, так же дружно держась за руки, шла им навстречу. Это были Тимур и Женя.

Растерявшись, обе пары вежливо на ходу раскланялись.

— Вот он! — дергая Георгия за руку, с отчаянием сказала Ольга.— Это и есть тот самый мальчишка.

— Да,— смутился Георгий,— а главное, что это и есть Тимур — мой отчаянный племянник.

— И ты... вы знали! — рассердилась Ольга.— И вы мне ничего не говорили!

Откинув его руку, она побежала по аллее. Но ни Тимура, ни Жени уже видно не было. Она свернула на узкую кривую тропку, и только тут она наткнулась на Тимура, который стоял перед Фигурой и Квакиным.

— Послушай,— подходя к нему вплотную, сказала Ольга.— Мало вам того, что вы облазили и обломали все сады, даже у старух, даже у осиротевшей девчурки; мало тебе того, что от вас бегут даже собаки,— ты портишь и настраиваешь против меня сестренку. У тебя на шее пионерский галстук, но ты просто... негодяй.

Тимур был бледен.

— Это неправда,— сказал он.— Вы ничего не знаете.

Ольга махнула рукой и побежала разыскивать Женю.

Тимур стоял и молчал.

Молчали озадаченные Фигура и Квакин.

— Ну что, комиссар? — спросил Квакин.— Вот и тебе, я вижу, бывает невесело?

— Да, атаман,— медленно поднимая глаза, ответил Тимур.— Мне сейчас тяжело, мне невесело. И лучше бы вы меня поймали, исколотили, избили, чем мне из-за вас слушать... вот это.

— Чего же ты молчал? — усмехнулся Квакин.—

Ты бы сказал: это, мол, не я. Это они. Мы тут стояли, рядом.

— Да! Ты бы сказал, а мы бы тебе за это наподдали,— вставил обрадованный Фигура.

Но, совсем не ожидавший такой поддержки, Квакин молча и холодно посмотрел на своего товарища. А Тимур, трогая рукой стволы деревьев, медленно пошел прочь.

— Гордый,— тихо сказал Квакин.— Хочет плакать, а молчит.

— Давай-ка сунем ему по разу, вот и заплачет,— сказал Фигура и запустил вдогонку Тимуру еловой шишкой.

— Он... гордый,— хрипло повторил Квакин,— а ты... ты — сволочь!— И, развернувшись, он ляпнул Фигуре кулаком по лбу.

Фигура опешил, потом взвыл и кинулся бежать. Дважды нагоняя его, давал ему Квакин тычка в спину.

Наконец Квакин остановился, поднял оброненную фуражку; отряхивая, ударил ее о колено, подошел к мороженщику, взял порцию, прислонился к дереву и, тяжело дыша, жадно стал глотать мороженое большими кусками.

На поляне возле стрелкового тира Тимур нашел Гейку и Симу.

— Тимур! — предупредил его Сима.— Тебя ищет (он, кажется, очень сердит) твой дядя.

— Да, иду, я знаю.

— Ты сюда вернешься?

— Не знаю.

— Тима! — неожиданно мягко сказал Гейка и взял товарища за руку.— Что это? Ведь мы же ничего плохого никому не сделали. А ты знаешь, если человек прав...

— Да, знаю... то он не боится ничего на свете. Но ему все равно больно.

Тимур ушел.

К Ольге, которая несла домой аккордеон, подошла Женя.

— Оля!

— Уйди! — не глядя на сестру, ответила Ольга.— Я с тобой больше не разговариваю. Я сейчас уезжаю в Москву, и ты без меня можешь гулять с кем хочешь, хоть до рассвета.

— Но, Оля...

— Я с тобой не разговариваю. Послезавтра мы переедем в Москву. А там подождем папу.

— Да! Папа, а не ты — он все узнает! — в гневе и слезах крикнула Женя и помчалась разыскивать Тимура.

Она разыскала Гейку, Симакова и спросила, где Тимур.

— Его позвали домой, — сказал Гейка. — На него за что-то из-за тебя очень сердит дядя.

В бешенстве топнула Женя ногой и, сжимая кулаки, вскричала:

— Вот так... ни за что... и пропадают люди!

Она обняла ствол березы, но тут к ней подскочили Таня и Нюрка.

— Женька! — закричала Таня. — Что с тобой? Женя, бежим! Там пришел баянист, там начались танцы — пляшут девчонки.

Они схватили ее, затормошили и подтащили к кругу, внутри которого мелькали яркие, как цветы, платья, блузки и сарафаны.

— Женя, плакать не надо! — так же как всегда, быстро и сквозь зубы сказала Нюрка. — Меня когда бабка колотит, и то я не плачу! Девочки, давайте лучше в круг!.. Прыгнули!

— «Пр-рыгнули»! — передразнила Нюрку Женя.

И, прорвавшись через цепь, они закружились, завертелись в отчаянно веселом танце.

Когда Тимур вернулся домой, его подозвал дядя.

— Мне надоели твои ночные похождения, — говорил Георгий. — Надоели сигналы, звонки, веревки. Что это была за странная история с одеялом?

— Это была ошибка.

— Хороша ошибка! К этой девочке ты больше не лезь: тебя ее сестра не любит.

— За что?

— Не знаю. Значит, заслужил. Что это у тебя за записки? Что это за странные встречи в саду на рассвете? Ольга говорит, что ты учишь девочку хулиганству.

— Она лжет, — возмутился Тимур, — а еще комсомолка! Если ей что непонятно, она могла бы позвать меня, спросить. И я бы ей на все ответил.

— Хорошо Но, пока ты ей еще ничего не ответил, я запрещаю тебе подходить к их даче, и вообще, если ты будешь самовольничать, то я тебя тотчас же отправлю домой к матери

Он хотел уходить.

— Дядя,— остановил его Тимур,— а когда вы были мальчишкой, что вы делали? как играли?

— Мы? Мы бегали, скакали, лазили по крышам, бывало, что и дрались. Но наши игры были просты и всем понятны.

Чтобы проучить Женю, к вечеру, так и не сказав сестренке ни слова, Ольга уехала в Москву.

В Москве никакого дела у нее не было. И поэтому, не заезжая к себе, она отправилась к подруге, просидела у нее дотемна и только часам к десяти пришла на свою квартиру Она открыла дверь, зажгла свет и тут же вздрогнула: к двери в квартиру была пришпилена телеграмма. Ольга сорвала телеграмму и прочла ее. Телеграмма была от папы.

К вечеру, когда уже разъезжались из парка грузовики, Женя и Таня забежали на дачу. Затевалась игра в волейбол, и Женя должна была сменить туфли на тапки.

Она завязывала шнурок, когда в комнату вошла женщина — мать белокурой девчурки. Девочка лежала у нее на руках и дремала.

Узнав, что Ольги нет дома, женщина опечалилась.

— Я хотела оставить у вас дочку,— сказала она.— Я не знала, что нет сестры... Поезд приходит сегодня ночью, и мне надо в Москву — встретить маму.

— Оставьте ее,— сказала Женя.— Что же Ольга... А я не человек, что ли? Кладите ее на мою кровать, а а я на другой лягу.

— Она спит спокойно и теперь проснется только утром,— обрадовалась мать.— К ней только изредка нужно подходить и поправлять под ее головой подушку.

Девчурку раздели, уложили. Мать ушла. Женя отдернула занавеску, чтобы видна была через окно кроватка, захлопнула дверь террасы, и они с Таней убежали играть в волейбол, условившись после каждой игры прибегать по очереди и смотреть, как спит девочка.

Только что они убежали, как на крыльцо вошел поч-

тальон. Он стучал долго, а так как ему не откликались, то он вернулся к калитке и спросил у соседа, не уехали ли хозяева в город.

— Нет,— отвечал сосед,— девчонку я сейчас тут видел. Давай я приму телеграмму.

Сосед расписался, сунул телеграмму в карман, сел на скамью и закурил трубку. Он ожидал Женю долго.

Прошло часа полтора. Опять к соседу подошел почтальон.

— Вот,— сказал он.— И что за пожар, спешка? Прими, друг, и вторую телеграмму.

Сосед расписался. Было уже совсем темно. Он прошел через калитку, поднялся по ступенькам террасы и заглянул в окно. Маленькая девочка спала. Возле ее головы на подушке лежал рыжий котенок. Значит, хозяева были где-то около дома. Сосед открыл форточку и опустил через нее обе телеграммы. Они аккуратно легли на подоконник, и вернувшаяся Женя должна была бы заметить их сразу.

Но Женя их не заметила. Придя домой, при свете луны она поправила сползшую с подушки девчурку, турнула котенка, разделась и легла спать.

Она лежала долго, раздумывая о том: вот она какая бывает, жизнь! И она не виновата, и Ольга как будто бы тоже. А вот впервые они с Ольгой всерьез поссорились.

Было очень обидно. Спать не спалось, и Жене захотелось булки с вареньем. Она спрыгнула, подошла к шкафу, включила свет и тут увидела на подоконнике телеграммы.

Ей стало страшно. Дрожащими руками она оборвала заклейку и прочла.

В первой было:

«Буду сегодня проездом от двенадцати ночи до трех утра тчк Ждите на городской квартире папа».

Во второй:

«Приезжай немедленно ночью папа будет в городе Ольга».

С ужасом глянула на часы. Было без четверти двенадцать. Накинув платье и схватив сонного ребенка, Женя, как полоумная, бросилась к крыльцу. Одумалась. Положила ребенка на кровать. Выскочила на улицу и помчалась к дому старухи молочницы. Она грохала

в дверь кулаком и ногой до тех пор, пока не показалась в окне голова соседки.

— Чего стучишь? — сонным голосом спросила она.— Чего озоруешь?

— Я не озорую,— умоляюще заговорила Женя.— Мне нужно молочницу, тетю Машу. Я хотела ей оставить ребенка.

— И что городишь? — захлопывая окно, ответила соседка.— Хозяйка еще с утра уехала в деревню гостить к брату.

Со стороны вокзала донесся гудок приближающегося поезда. Женя выбежала на улицу и столкнулась с седым джентльменом, доктором.

— Простите! — пробормотала она.— Вы не знаете, какой это гудит поезд?

Джентльмен вынул часы.

— Двадцать три пятьдесят пять,— ответил он.— Это сегодня на Москву последний.

— Как последний? — глотая слезы, прошептала Женя.— А когда следующий?

— Следующий пойдет утром, в три сорок. Девочка, что с тобой? — хватая за плечо покачнувшуюся Женю, участливо спросил старик.— Ты плачешь? Может быть, я тебе чем-нибудь смогу помочь?

— Ах нет! — сдерживая рыдания и убегая, ответила Женя.— Теперь уже мне не может помочь никто на свете.

Дома уткнулась головой в подушку, но тотчас же вскочила и гневно посмотрела на спящую девчурку. Опомнилась, одернула одеяло, столкнула с подушки рыжего котенка.

Она зажгла свет на террасе, в кухне, в комнате, села на диван и покачала головой. Так сидела она долго и, кажется, ни о чем не думала. Нечаянно она задела валявшийся тут же аккордеон. Машинально подняла его и стала перебирать клавиши. Зазвучала мелодия, торжественная и печальная. Женя грубо оборвала игру и подошла к окну. Плечи ее вздрагивали.

Нет! Оставаться одной и терпеть такую муку сил у нее больше нет. Она зажгла свечку и, спотыкаясь, через сад пошла к сараю.

Вот и чердак. Веревка, карта, мешки, флаги. Она зажгла фонарь, подошла к штурвальному колесу, нашла

нужный ей провод, зацепила его за крюк и резко повернула колесо.

Тимур спал, когда Рита тронула его за плечо лапой. Толчка он не почувствовал. И, схватив зубами одеяло, Рита стащила его на пол.

Тимур вскочил.

— Ты что? — спросил он, не понимая.— Что-нибудь случилось?

Собака смотрела ему в глаза, шевелила хвостом, мотала мордой. Тут Тимур услыхал звон бронзового колокольчика.

Недоумевая, кому он мог понадобиться глухой ночью, он вышел на террасу и взял трубку телефона.

— Да, я, Тимур, у аппарата. Это кто? Это ты... Ты, Женя?

Сначала Тимур слушал спокойно. Но вот губы его зашевелились, по лицу пошли красноватые пятна. Он задышал часто и отрывисто.

— И только на три часа? — волнуясь, спросил он.— Женя, ты плачешь? Я слышу... Ты плачешь. Не смей! Не надо! Я приду скоро...

Он повесил трубку и схватил с полки расписание поездов.

— Да, вот он, последний, в двадцать три пятьдесят пять. Следующий пойдет только в три сорок.— Он стоит и кусает губы.— Поздно! Неужели ничего нельзя сделать? Нет! Поздно!

Но красная звезда днем и ночью горит над воротами Жениного дома. Он зажег ее сам, своей рукой, и ее лучи, прямые, острые, блестят и мерцают перед его глазами.

Дочь командира в беде! Дочь командира нечаянно попала в засаду.

Он быстро оделся, выскочил на улицу, и через несколько минут он уже стоял перед крыльцом дачи седого джентльмена. В кабинете доктора еще горел свет. Тимур постучался. Ему открыли.

— Ты к кому? — сухо и удивленно спросил его джентльмен.

— К вам,— ответил Тимур.

— Ко мне? — Джентльмен подумал, потом широким жестом распахнул дверь и сказал: — Тогда... прошу пожаловать!..

Они говорили недолго.

— Вот и все, что мы делаем,— поблескивая глазами, закончил свой рассказ Тимур.— Вот и все, что мы делаем, как играем, и вот зачем мне нужен сейчас ваш Коля.

Молча старик встал. Резким движением он взял Тимура за подбородок, поднял его голову, заглянул ему в глаза и вышел.

Он прошел в комнату, где спал Коля, и подергал его за плечо.

— Вставай,— сказал он,— тебя зовут.

— Но я ничего не знаю,— испуганно тараща глаза, заговорил Коля.— Я, дедушка, право, ничего не знаю.

— Вставай,— сухо повторил ему джентльмен.— За тобой пришел твой товарищ.

На чердаке на охапке соломы, охватив колени руками, сидела Женя. Она ждала Тимура. Но вместо него в отверстие окна просунулась взъерошенная голова Коли Колокольчикова.

— Это ты? — удивилась Женя.— Что тебе надо?

— Я не знаю,— тихо и испуганно отвечал Коля.— Я спал. Он пришел. Я встал. Он послал. Он велел, чтобы мы с тобой спустились вниз, к калитке.

— Зачем?

— Я не знаю. У меня у самого в голове какой-то стук, гудение. Я, Женя, и сам ничего не понимаю.

Спрашивать позволения было не у кого. Дядя ночевал в Москве. Тимур зажег фонарь, взял топор, крикнул собаку Риту и вышел в сад. Он остановился перед закрытой дверью сарая. Он перевел взгляд с топора на замок. Да! Он знал — так делать было нельзя, но другого выхода не было. Сильным ударом он сшиб замок и вывел мотоцикл из сарая.

— Рита! — горько сказал он, становясь на колено и целуя собаку в морду.— Ты не сердись! Я не мог поступить иначе.

Женя и Коля стояли у калитки. Издалека показался быстро приближающийся огонь. Огонь летел прямо на них, послышался треск мотора. Ослепленные, они зажмурились, попятились к забору, как вдруг огонь погас, мотор заглох и перед ними очутился Тимур.

— Коля,— сказал он, не здороваясь и ничего не спрашивая,— ты останешься здесь и будешь охранять спящую девчонку. Ты отвечаешь за нее перед всей нашей командой. Женя, садись. Вперед! В Москву!

Женя вскрикнула, что было у нее силы, обняла Тимура и поцеловала.

— Садись, Женя, садись! — стараясь казаться суровым, кричал Тимур.— Держись крепче! Ну, вперед! Вперед, двигаем!

Мотор затрещал, гудок рявкнул, и вскоре красный огонек скрылся из глаз растерявшегося Коли.

Он постоял, поднял палку и, держа ее наперевес, как ружье, обошел вокруг ярко освещенной дачи.

— Да,— важно шагая, бормотал он.— Эх, и тяжела ты, солдатская служба! Нет тебе покоя днем, нет и ночью!

Время подходило к трем ночи. Полковник Александров сидел у стола, на котором стоял остывший чайник и лежали обрезки колбасы, сыра и булки.

— Через полчаса я уеду,— сказал он Ольге.— Жаль, что так и не пришлось мне повидать Женьку. Оля, ты плачешь?

— Я не знаю, почему она не приехала. Мне ее так жалко, она тебя так ждала. Теперь она совсем сойдет с ума. А она и так сумасшедшая.

— Оля,— вставая, сказал отец,— я не знаю, я не верю, чтобы Женька могла попасть в плохую компанию, чтобы ее испортили, чтобы ею командовали. Нет! Не такой у нее характер.

— Ну вот! — огорчилась Ольга.— Ты ей только об этом скажи. Она и так заладила, что характер у нее такой же, как у тебя. А чего там такой! Она залезла на крышу, спустила через трубу веревку. Я хочу взять утюг, а он прыгает кверху. Папа, когда ты уезжал, у нее было четыре платья. Два — уже тряпки. Из третьего она выросла, одно я ей носить пока не даю. А три новых я ей сама сшила. Но все на ней так и горит. Вечно она в синяках, царапинах. А она, конечно, подойдет, губы бантиком сложит, глаза голубые вытаращит. Ну конечно, все думают — цветок, а не девочка. А пойди-ка. Ого! Цветок! Тронешь и обожжешься. Папа, ты не выдумывай, что у нее такой же, как у тебя, характер. Ей только об этом скажи! Она три дня на трубе плясать будет.

— Ладно,— обнимая Ольгу, согласился отец.— Я ей скажу. Я ей напишу. Ну и ты, Оля, не жми на нее очень. Ты скажи ей, что я ее люблю и помню, что мы вернемся скоро и что ей обо мне нельзя плакать, потому что она дочь командира.

— Все равно будет,— прижимаясь к отцу, сказала Ольга.— И я дочь командира. И я буду тоже.

Отец посмотрел на часы, подошел к зеркалу, надел ремень и стал одергивать гимнастерку. Вдруг наружная дверь хлопнула. Раздвинулась портьера. И, как-то угловато сдвинув плечи, точно приготовившись к прыжку, появилась Женя.

Но, вместо того чтобы вскрикнуть, подбежать, прыгнуть, она бесшумно, быстро подошла и молча спрятала лицо на груди отца.

Лоб ее был забрызган грязью, помятое платье в пятнах. И Ольга в страхе спросила:

— Женя, ты откуда? Как ты сюда попала?

Не поворачивая головы, Женя отмахнулась кистью руки, и это означало: «Погоди!.. Отстань!.. Не спрашивай!..»

Отец взял Женю на руки, сел на диван, посадил ее к себе на колени. Он заглянул ей в лицо и вытер ладонью ее запачканный лоб.

— Да, хорошо! Ты молодец человек, Женя!

— Но ты вся в грязи, лицо черное! Как ты сюда попала? — опять спросила Ольга.

Женя показала ей на портьеру, и Ольга увидела Тимура.

Он снимал кожаные автомобильные краги. Висок его был измазан желтым маслом. У него было влажное, усталое лицо честно выполнившего свое дело рабочего человека. Здороваясь со всеми, он наклонил голову.

— Папа! — вскакивая с колен отца и подбегая к Тимуру, сказала Женя.— Ты никому не верь! Они ничего не знают. Это Тимур — мой очень хороший товарищ.

Отец встал и, не раздумывая, пожал Тимуру руку. Быстрая и торжествующая улыбка скользнула по лицу Жени — одно мгновение испытующе глядела она на Ольгу. И та, растерявшаяся, все еще недоумевающая, подошла к Тимуру:

— Ну... тогда здравствуй...

Вскоре часы пробили три.

— Папа,— испугалась Женя,— ты уже встаешь? Наши часы спешат.

— Нет, Женя, это точно.

— Папа, и твои часы спешат тоже.— Она подбежала к телефону, набрала «время», и из трубки донесся ровный металлический голос:

— Три часа четыре минуты!

Женя взглянула на стену и со вздохом сказала:

— Наши спешат, но только на одну минуту. Папа, возьми нас с собой на вокзал, мы тебя проводим до поезда!

— Нет, Женя, нельзя. Мне там будет некогда.

— Почему? Папа, ведь у тебя билет уже есть?

— Есть.

— В мягком?

— В мягком.

— Ох, как и я хотела бы с тобой поехать далеко-далеко в мягком!..

И вот не вокзал, а какая-то станция, похожая на подмосковную товарную, пожалуй, на Сортировочную. Пути, стрелки, составы, вагоны. Людей не видно. На линии стоит бронепоезд. Приоткрылось железное окно, мелькнуло и скрылось озаренное пламенем лицо машиниста. На платформе в кожаном пальто стоит отец Жени — полковник Александров. Подходит лейтенант, козыряет и спрашивает:

— Товарищ командир, разрешите отправляться?

— Да! — Полковник смотрит на часы: три часа пятьдесят три минуты.— Приказано отправляться в три часа пятьдесят три минуты.

Полковник Александров подходит к вагону и смотрит. Светает, но в тучах небо. Он берется за влажные поручни. Перед ним открывается тяжелая дверь. И, поставив ногу на ступеньку, улыбнувшись, он сам себя спрашивает:

— В мягком?

— Да! В мягком...

Тяжелая стальная дверь с грохотом захлопывается за ним. Ровно, без толчков, без лязга вся эта броневая громада трогается и плавно набирает скорость. Проходит паровоз. Плывут орудийные башни. Москва остается позади. Туман. Звезды гаснут. Светает.

...Утром, не найдя дома ни Тимура, ни мотоцикла, вернувшийся с работы Георгий тут же решил отправить Тимура домой к матери. Он сел писать письмо, но через окно увидел идущего по дорожке красноармейца.

Красноармеец вынул пакет и спросил:

— Товарищ Гараев?

— Да.

— Георгий Алексеевич?

— Да.

— Примите пакет и распишитесь.

Красноармеец ушел. Георгий посмотрел на пакет и понимающе свистнул. Да! Вот и оно, то самое, чего он уже давно ждал. Он вскрыл пакет, прочел и скомкал начатое письмо. Теперь надо было не отсылать Тимура, а вызывать его мать телеграммой сюда на дачу.

В комнату вошел Тимур — и разгневанный Георгий стукнул кулаком по столу. Но следом за Тимуром вошли Ольга и Женя.

— Тише! — сказала Ольга.— Ни кричать, ни стучать не надо. Тимур не виноват. Виноваты вы, да и я тоже.

— Да,— подхватила Женя,— вы на него не кричите. Оля, ты до стола не дотрагивайся. Вон этот револьвер у них очень громко стреляет.

Георгий посмотрел на Женю, потом на револьвер, на отбитую ручку глиняной пепельницы. Он что-то начинает понимать, он догадывается, и он спрашивает:

— Так это тогда ночью здесь была ты, Женя?

— Да, это была я. Оля, расскажи человеку все толком, а мы возьмем керосин, тряпку и пойдем чистить машину.

На следующий день, когда Ольга сидела на террасе, через калитку прошел командир. Он шагал твердо, уверенно, как будто бы шел к себе домой, и удивленная Ольга поднялась ему навстречу. Перед ней в форме капитана танковых войск стоял Георгий.

— Это что же? — тихо спросила Ольга.— Это опять... новая роль оперы?

— Нет,— отвечал Георгий.— Я на минуту зашел проститься. Это не новая роль, а просто новая форма.

— Это,— показывая на петлицы и чуть покраснев, спросила Ольга,— то самое?.. «Мы бьем через железо и бетон прямо в сердце»?

— Да, то самое. Спойте мне и сыграйте, Оля, что-нибудь на дальнюю путь-дорогу.

Он сел. Ольга взяла аккордеон:

...Летчики-пилоты! Бомбы-пулеметы!
Вот и улетели в дальний путь.
Вы когда вернетесь?
Я не знаю, скоро ли,
Только возвращайтесь... хоть когда-нибудь.
Гей! Да где б вы ни были,
На земле, на небе ли,
Над чужими ль странами —
Два крыла,
Крылья краснозвездные,
Милые и грозные,
Жду я вас по-прежнему,
Как ждала.

Вот,— сказала она.— Но это все про летчиков, а о танкистах я такой хорошей песни не знаю.

— Ничего,— попросил Георгий.— А вы найдите мне и без песни хорошее слово.

Ольга задумалась, и, отыскивая нужное хорошее слово, она притихла, внимательно поглядывая на его серые и уже не смеющиеся глаза.

Женя, Тимур и Таня были в саду.

— Слушайте,— предложила Женя.— Георгий сейчас уезжает. Давайте соберем ему на проводы всю команду Давайте грохнем по форме номер один позывной сигнал общий. То-то будет переполоху!

— Не надо,— отказался Тимур.

— Почему?

— Не надо! Мы других так никого не провожали.

— Ну, не надо так не надо,— согласилась Женя.— Вы тут посидите, я пойду воды напиться.

Она ушла, а Таня рассмеялась.

— Ты чего? — не понял Тимур.

Таня рассмеялась еще громче.

— Ну и молодец, ну и хитра у нас Женька! «Я пойду воды напиться»!

— Внимание! — раздался с чердака звонкий, тор-

жествующий голос Жени.— Подаю по форме номер один позывной сигнал общий.

— Сумасшедшая! — подскочил Тимур.— Да сейчас сюда примчится сто человек! Что ты делаешь?

Но уже закрутилось, заскрипело тяжелое колесо, вздрогнули, задергались провода: «Три — стоп», «три — стоп», остановка! И загремели под крышами сараев, в чуланах, в курятниках сигнальные звонки, трещотки, бутылки, жестянки. Сто не сто, а не меньше пятидесяти ребят быстро мчались на зов знакомого сигнала.

— Оля,— ворвалась Женя на террасу,— мы пойдем провожать тоже! Нас много. Выгляни в окошко.

— Эге,— отдергивая занавеску, удивился Георгий.— Да у вас команда большая. Ее можно погрузить в эшелон и отправить на фронт.

— Нельзя! — вздохнула, повторяя слова Тимура, Женя.— Крепко-накрепко всем начальникам и командирам приказано гнать оттуда нашего брата по шее. А жаль! Я бы и то куда-нибудь там... в бой, в атаку. Пулеметы на линию огня!.. Пер-р-вая!

— Пер-р-вая... ты на свете хвастунишка и атаман! — передразнила ее Ольга, и, перекидывая через плечо ремень аккордеона, она сказала: — Ну что ж, если провожать, так провожать с музыкой.

Они вышли на улицу. Ольга играла на аккордеоне. Потом ударили склянки, жестянки, бутылки, палки — это вырвался вперед самодельный оркестр, и грянула песня.

Они шли по зеленым улицам, обрастая все новыми и новыми провожающими. Сначала посторонние люди не понимали: почему шум, гром, визг? О чем и к чему песня? Но, разобравшись, они улыбались и кто про себя, а кто и вслух желали Георгию счастливого пути. Когда они подходили к платформе, мимо станции, не останавливаясь, проходил военный эшелон.

В первых вагонах были красноармейцы. Им замахали руками, закричали. Потом пошли открытые платформы с повозками, над которыми торчал целый лес зеленых оглобель. Потом — вагоны с конями. Кони мотали мордами, жевали сено. И им тоже закричали «ура». Наконец промелькнула платформа, на которой лежало что-то большое, угловатое, тщательно укутанное серым брезентом. Тут же, покачиваясь на ходу поезда, стоял часовой.

Эшелон исчез, подошел поезд. И Тимур попрощался с дядей.

К Георгию подошла Ольга.

— Ну, до свиданья! — сказала она.— И, может быть, надолго?

Он покачал головой и пожал ей руку:

— Не знаю... Как судьба!

Гудок, шум, гром оглушительного оркестра. Поезд ушел. Ольга была задумчива. В глазах у Жени большое и ей самой непонятное счастье.

Тимур взволнован, но он крепится.

— Ну вот,— чуть изменившимся голосом сказал он,— теперь я и сам остался один.— И, тотчас же выпрямившись, он добавил: — Впрочем, завтра ко мне приедет мама.

— А я? — закричала Женя.— А они? — Она показала на товарищей.— А это? — И она ткнула пальцем на красную звезду.

— Будь спокоен! — отряхиваясь от раздумья, сказала Тимуру Ольга.— Ты о людях всегда думал, и они тебе отплатят тем же.

Тимур поднял голову. Ах, и тут, и тут не мог он ответить иначе, этот простой и милый мальчишка!

Он окинул взглядом товарищей, улыбнулся и сказал:

— Я стою... я смотрю. Всем хорошо! Все спокойны. Значит, и я спокоен тоже!

1940 г.



КОМЕНДАНТ СНЕЖНОЙ КРЕПОСТИ

Киноповесть

Над стройной снежной крепостью с фортами, зубчатыми стенами и башнями развевается флаг — звезда с четырьмя лучами. У открытых ворот выстроился крепостной гарнизон.

Из ворот выходит Тимур — комендант снежной крепости. Он оборачивается к Коле Колокольчикову и твердо говорит:

— С сегодняшнего числа часовые у крепости будут сменяться через час, днем и ночью.

— Но... если которых дома не пустят?

— Мы подберем таких, которых всегда пустят.

* * *

В штабе военной части у дверей стоит шофер Коля Башмаков.

Капитан артиллерии Максимов кладет телефонную трубку. Встает, одергивает ремни. Шофер четко поворачивается. Но тут раздается телефонный звонок, и дежурный останавливает капитана:

— Товарищ капитан, вас просят.

Капитан слушает, а потом говорит в трубку:

— Итак, вы опять отступили? Печально... Товарищ командир дивизии, вы генерал, я же только капитан. Но я осмелюсь напомнить, что неоднократно предупреждал: дисциплина в ваших войсках хромает на обе ноги...

Дежурный в недоумении смотрит на капитана. Тот продолжает:

— Ваши подразделения лезут по сугробам без лыж, надеясь сокрушить противника только гиком, криком и диким завыванием. Кроме того, вы штурмуете крепость без плана, без подготовки, кулаками, штыками и саблями, и, конечно, противник бьет вас самой новейшей техникой. Генерал, я высоко ценю ваше личное мужество и вашу храбрость, но одного этого в современной войне для победы — увы! — никак не достаточно... Прошу извинить за прямоту... Через час я буду.

Капитан кладет трубку.

* * *

Кладет у себя дома телефонную трубку и сын капитана Максимова Саша. Он берет сигнальный горн. Перед Сашей на покрытом узорной клеенкой столе строй оловянных солдатиков.

Раздается резкий сигнал жестяной трубы. Саша трубит. Внезапно он закашлялся, схватился за грудь. Нянька торопливо передает ему платок.

В темное стекло окна глухо ударяет снежок. Нянька и Сашина сестра Женя разом оборачиваются. Саша, отбросив платок, кидается к окну. Еще удар.

— Это что же такое? — негодует нянька.— Я пойду позову дворника... Отойди от окна, Саша!

Распахивается дверь, и показывается маленькая растрепанная фигура запыхавшегося Вовки.

— О-го-го!.. Мы дрались, как львы, как тигры... Саша, ты слыхал, как мы «ура» кричали?

Нянька вскакивает:

— Вовка, ты с ума сошел! Скинь пальто! Саша болен, и у него температура...

— Ты не лев и не тигр, ты просто ушастый кролик,— хладнокровно замечает Вовке Женя.

— Домашняя кошка! Я вчера был ранен дважды, а сегодня четырежды! Да знаешь ли ты, что мы подступили к самым стенам крепости?

— Мне неважно, как вы подступили,— гневно перебивает Вовку Саша,— мне важно, почему вы отступили!

— Кто? Мы отступили? — возмущается Вовка и тут же меняет тон: — Ну конечно, отступили... Мы пошли в атаку без лыж. Сугробы по пояс... А этот комендант ночью протянул под снегом проволоку.

— Проволоку?!

— Да, проволоку. А она цепляет за штаны и за валенки... Но берегись! Сегодня ночью мы с Юркой проберемся к ним в крепость!

— Ты?.. В крепость? — насмешливо говорит Женя.— Жил-был у бабушки серенький кролик...

— Я кролик? Я... орел! Улетаю! — кричит Вовка и, взмахнув руками, убегает.

Снова ударяют в окно два снежка, и Женя говорит Саше:

— Пришел чужой мальчик. Привел отряд. Построил у нас под боком крепость... И вы не можете взять ее две недели!

Из двери в соседнюю комнату выглядывает Нина, студентка, соседка:

— Саша, ты с отцом говорил по телефону?

— С папой. Он скоро придет... Он тебе нужен, Нина?

— Он мне всегда нужен. А сейчас я хочу показать ему свою работу.

Нина входит в комнату, вносит картину и ставит ее на стол, прислонив к стене. Саша кашляет. Нина говорит ему:

— Отойди от окна, слышишь?

Саша нехотя отходит. Нянька обижена:

— Я просила — он стоял, а как она сказала — пошел... Я тебе кто, нянька? А она человек посторонний... соседка...

— Анна Егоровна, вы скажите это при Степане,— добродушно улыбается Нина.

— И скажу. Это для тебя он капитан, а я его вынянчила, и для меня он мальчик...

— И для меня мальчик,— перебивает Нина.— Особенно когда он так: губы вниз, брови вверх... Нянечка, на кого похож Степан Петрович?

— На мать,— смягчаясь, отвечает нянька.— Мать у него была из Рязани, спокойная, работящая. И отец ничего бы, да суров по старинке...

— Раз на мать — примета счастливая. Я, нянечка, тоже работящая... Рязанская, деревенская, песни знаю, плясать умею...

— Ну, пошла-поехала! Ты на свое поворотишь... У каждого командира должна быть жена, у детей командира — мать. Я три года Степану говорила, что ему нужно жениться. Так нет! И кого ждал? — Она смотрит Нине в глаза и говорит с иронией: — Уж не тебя ли?

Нина предостерегающе косит глазами в сторону детей.

— Ты мне не мигай, я твои мысли вижу. А они,— нянька кивает на детей,— в этом деле еще ничего не понимают.

Женя говорит, не отрываясь от тетрадки:

— Мы, нянечка, все понимаем. Правда, Саша?

— Мне твои слова неинтересны. Я командир дивизии,— холодно отвечает Саша.

Входит капитан Максимов. Он идет прямо к сыну и, положив руку на его лоб, спрашивает:

— Доктор уже был?

— Сейчас будет,— отвечает нянька.

Максимов чем-то взволнован. Он подошел к Нине и тихо сказал ей:

— Нина...

Но, заметив пристальный взгляд няньки, запнулся и посмотрел на картину. На картине нарисованы люди разных возрастов и национальностей. С плодами и цветами в руках они выходят по тропкам на широкую дорогу, которая ведет к освещенным солнцем горным вершинам.

— Это называется «Дорога к коммунизму»? — спрашивает Максимов.

Нина молча кивает головой и настороженно слушает, что скажет он дальше.

Максимов показывает на картину:

— Этот трактор туда идет тоже? Он не дойдет: мал бензиновый бак и велики ведущие шестеренки.

Нина вспыхивает:

— Тебе не нравится? Ну конечно, тебе бы впереди этих людей пустить разведку. По бокам — сторожевое охранение. Вот сюда посадить артиллерийского наблюдателя... Странно, Степан... это же... аллегория, фантазия...

Максимов, улыбаясь, показывает на свои артиллерийские петлицы:

— Не знаю. Очевидно, моя артиллерия твою аллегорию не понимает... Это беспечные люди возвращаются с пикника домой.— Он видит ее взволнованное лицо и успокаивающе, дружески продолжает: — Девочка, не сердись... но таких дорог к коммунизму не бывает.

Он заглядывает ей в лицо, но Нина, отступая и широко открыв глаза, спрашивает:

— Ты... ты тоже сказал, что я девочка?

— Конечно, девчонка,— не отрываясь от шитья, хладнокровно говорит нянька.— Он командир, капитан. Их дело военное. И куда какая дорога идет, он лучше знает. На это у них план... карты. А ты: коммунизм, коммунизм... А в голове, поди-ка, один ветер.

— Няня! — укоризненно останавливает старуху Максимов.

Женя дипломатично вмешивается:

— Папа, скоро каникулы, и мы устроим у нас веселую елку.

— Очень жаль, что меня на этой елке не будет. Через час-полтора я уезжаю в далекую командировку.

На лице Нины испуг. Лицо няньки настороженно. Женя растеряна. А Саша, прямо глядя отцу в глаза, показывает рукой на карту Финляндии, висящую на стене:

— Папа, неправда! Ты с батареей уходишь туда... на фронт...

Глухо ударяется в окно снежок.

Нянька оборачивается и всплескивает руками:

— Это что же такое? Нет! Людям на свете покоя нету!

Входит доктор Колокольчиков. Отряхиваясь от снега, он говорит:

— Прошу извинения, но во дворе не стихает бой, и к вам пробраться можно только на бронемашине.

Нянька показывает на Сашу:

— Вот, батюшка, у него температура.

— У каждого человека температура.

— У него сто градусов температура,— говорит Женя.

— Это не у каждого,— соглашается доктор.

— Они, батюшка, затеяли войну,— объясняет нянька,— скачут по сугробам. Ну, вот где-то он и схватил себе простуду.

— Он схватил простуду или она его схватила, это мы сейчас разберемся.

Доктор подходит к Саше, который хмуро стоит возле своих оловянных солдатиков:

— Молодой человек, у тебя что?

Саша показывает на солдат:

— У меня армия.

— Да. Но ты болен.

— Я командир дивизии.

— Следовательно, вы... вы генерал.— Доктор отыскивает Сашин пульс.— Генерал должен лечь в лазарет. У генерала высокая температура.

Он уводит Сашу в его комнату. За ними идет нянька. Максимов поворачивается к Нине:

— Ты обиделась?

— Ты уезжаешь. Почему ты смеешься?

— Чтобы ты не плакала.

— Я не буду. Была Монголия. Была Польша... Мы привыкли.

В дверь стучат, и у порога останавливается осыпанный снегом мальчик в пальто, перетянутом ремнем. Он вежливо и с достоинством козыряет капитану Максимову:

— Меня зовут Тимур. Я комендант снежной крепости. Прошу извинить, если несколько наших снарядов случайно залетело на вашу нейтральную территорию.

Он показывает на окно.

На звук его голоса выходит Саша в белой рубашке с распахнутым воротом и останавливается, придерживаясь за дверь. Лицо у него бледное, гордое.

— Ваша орда сегодня отступила по всему фронту...— говорит Саше Тимур.— Но ты болен. Твой помощник Юрка командовать не умеет. И я пришел предложить тебе перемирие.

Закрыв глаза и сжав губы, Саша отрицательно мотает головой. Женя удивленно смотрит на Тимура. Тимур слегка пожимает плечами:

— Как хочешь. Но крепости вам не взять! И, чтобы вести бой, у вас должны быть лыжи, крюки, веревки и приставные лестницы... Ты мне враг, но это я тебе говорю как другу.

Саша, открывая глаза, говорит с ненавистью:

— Уходи, уйди! Крепость твою мы все равно захватим!

— Ее сожжет солнце, растопит дождь, сровняет ветер, но вашей она никогда не будет! — вспыльчиво отвечает Тимур, поворачивается и выходит.

Женя бежит за ним следом.

— Молодой комендант! — кричит вдогонку Тимуру доктор.— Я Красный Крест, и я прошу обеспечить мне свободный проход через вашу опасную территорию...

Открывая в передней Тимуру дверь, Женя спрашивает:

— Так вы с моим братом враги?

— Да. И ты на меня за это сердита?

— Нет,— вздыхает Женя.— Что же... ваше дело военное...

Закрыв дверь, Женя возвращается в столовую, где доктор и капитан Максимов разговаривают о Саше.

— У вашего сына, вероятно, воспаление легких,— говорит доктор.— Режим — постель. Еда — легкая. Питье — кислое. Возьмите рецепт. Надо быстро сбегать в аптеку.

Нянька сует Нине в руки рецепт:

— Сходи, Нина. Мне надо собирать капитана.

Нина в замешательстве смотрит на няньку.

— Но, нянечка, можно позвонить,— рассудительно говорит Женя.— Можно послать дворника... А то за папой придет машина, и они не попрощаются.

— Успеет. С трамвая на трамвай, а там рядом,— спокойно отвечает нянька.

Нина тревожно смотрит в глаза Максимову. Он взглянул на часы и молча кивает головой.

— Нина, не ходи,— говорит из своей комнаты уже уложенный в постель Саша.— Я подожду. Мне не больно...

Нина входит к нему, наклоняется и целует в лоб:

— Спасибо, командир. Спи. Все хорошо будет.

Нина ушла. Нянька укладывает чемодан. Максимов садится на стул возле Саши, рядом с ним пристраивается Женя. У изголовья Сашиной кровати стоит стол, на нем цветок, коробочка, стакан и отряд оловянных солдатиков. Стучат. Входит шофер Коля и передает Максимову конверт:

— Товарищ капитан, есть машина... Саша, здравствуй!

Максимов, разрывая конверт, говорит шоферу:

— Вы приехали на час раньше.— Читает приказ.— Все понятно. Дети, мне пора. Няня, скажи Нине, что я ее ждал... Ты на нее не сердись. Ты поцелуй ее от меня.

Саша привстает:

— Папа! Ты пиши мне часто... И ты, Коля, если у него бой, он занят, пиши мне тоже.— Тут он оборачивается, берет со стола оловянного солдатика и протягивает его шоферу: — На, возьми от меня на память.

Коля осторожно приближается, издали протягивая руку:

— Есть писать часто, Саша! А солдат назад вернется с медалью.

Кладет солдата в карман.

— Ты, шальная голова, там, на фронте, не очень-то с капитаном за медалями гоняйся,— строго говорит Коле нянька.— Ты, если где видишь — нельзя, опасно, постой, обожди, обвези капитана кругом.

— Есть обвозить капитана кругом!

Саша манит отца и что-то говорит ему на ухо. Отец подумал, загадочно кивнул головой, вынул из полевой сумки бумагу и что-то быстро на ней пишет. Нянька настораживается. Максимов складывает записку и передает ее Саше. Саша взял коробочку, сунул в нее записку, положил коробочку на стол. Потом подумал и поставил около нее двух оловянных часовых.

Максимов берет сына за руку и целует его:

— Товарищ генерал! Желаю счастья, здоровья, а в боях — успеха... Пожелайте и мне того же.

Когда Нина возвращается из аптеки, капитана Максимова уже нет. В опустевшей столовой беспорядок. Не глядя на няньку, Нина тихо спрашивает:

— Анна Егоровна, Степан, уезжая, ничего не сказал? Ничего мне не передал?

— Он? — как бы припоминает нянька.— Ничего. Да!

Он просил, чтобы ты отнесла его книги в полковую библиотеку.

— Хорошо,— говорит Нина, опустив голову, потом поворачивается и дрогнувшим голосом спрашивает: — Скажите, за что вы меня не любите?

— Я всех люблю,— суховато отвечает нянька.— Но у него большие дети, и им нужна настоящая мать, а не такая, как ты, девчонка.

* * *

Вдоль стены снежной крепости мерно шагают часовые.

С деревянными винтовками, немного сутулясь, они ходят навстречу один другому. Потом останавливаются у костра. Часы гулко отбивают четверти.

Первый часовой прислушивается:

— Уже должна быть смена.

— Смена не придет,— отвечает второй часовой, грея над огнем руки.— Никого дома не отпустят.

— Не те времена. Теперь отпустят.

Часовые поворачиваются. По тропке плечом к плечу шагает смена. Большие валенки в калошах четко, с протяжкой отбивают по скрипучему снегу шаг за шагом. Караул сменяется.

— Все спокойно? — спрашивает третий часовой.

— Пробежала собака. Пролетела ворона. Орда спит, и караулить нечего,— отвечает второй.

— Порядок! — говорит первый часовой.— Комендант молодец! Комендант знает, что делает!

— Коменданту хорошо, комендант спит под теплым одеялом! — ворчит третий.

— Комендант проверяет караулы...— говорит, выходя из-за куста, Тимур и, заметив смущенное лицо третьего часового, жмет ему руку: — Ты пришел, ты не подвел, Гриша.— Он выпрямляется.— Встаньте по уставу! Плечи не гни! Стой свободно и гляди в оба!

Из пролома каменной стены высовываются недоуменные лица Вовки и Юры.

— Он сошел с ума! Такой мороз... Брр!..— жмется Вовка.— Вон кошка подохла. А у них опять сменяются часовые... Мне домой пора. Отец ничего, а бабка вредная, и она может стукнуть по затылку.

— Вот тебе и разведка...— уныло шепчет Юрка.— Эх, заложить бы под стены крепости хорошую бомбу!

— Бомбу?! — Вовка оглядывается и, заметив драный валенок на снегу, хватает его: — Отвлекай часовых! Засекай время! Бомба сейчас будет брошена!!!

Вовка и Юрка крадутся к стенам крепости.

— Стой! Кто идет? — кричит третий часовой.

К нему подбегает четвертый. Оба настороженно вглядываются в темноту. А в этот момент с другой стороны перелетает через стену крепости и падает на снег драный валенок.

Не заметив его, часовые ходят опять четким шагом вдоль стены.

* * *

Тревожно раскинувшись, бормочет что-то в полусне Саша. У него жар. Температура поднимается все выше и выше.

Стена над Сашиной кроватью увешана деревянным оружием. На столе у изголовья — цветок в стакане и коробочка. У коробочки замерли два оловянных часовых. Дальше, на краю стола, выстроился целый отряд.

Саша приоткрывает блестящие от жара глаза и смотрит на своих солдат. И вдруг оба часовых точным движением сходят со своих подставок и, приподняв с полу приклады винтовок, чеканным шагом идут навстречу один другому вдоль охраняемого пространства. Саша улыбается. Но вот лицо его насторожилось. Быстрым движением поворачиваются оловянные часовые, перехватывают винтовки наизготовку, приклад к плечу. Пятятся. Смешным клубочком один за другим подымается дым выстрелов. Часовые выхватывают из-за пояса бомбы, бросают их. Беззвучно вспыхивает огонь, вздымаются клубы дыма.

А когда молочный дым рассеивается, над поваленными часовыми протягивается чья-то рука, открывает коробку и достает записку. Это нянька. Торопливо сует она записку в карман и оборачивается. У дверей стоит Нина в пестром халатике и тихо говорит:

— Анна Егоровна, идите, я посижу... Мне все равно не спится.

Нянька поправила Саше подушку, вышла и, прикрыв за собой дверь, торопливо разворачивает записку. На ее

лице недоумение. Это чистый белый лист, без единой буквы.

А Нина взяла со столика термометр, покачала головой, подняла опрокинутый пузырек и присела на край кровати. Подняв откинутую, сжатую в кулак руку Саши, она замечает в кулаке бумажку, разнимает Саше пальцы, берет записку и читает: «Милая Нина, береги детей. Расти и сама. Прощай. Вернусь — все хорошо будет. Степан».

Лицо Нины загорелось волнением и улыбкой. Она положила записку в коробку, опять поставила около нее двух оловянных часовых. И, благодарная, опускает голову на грудь Саше.

Стоят опять на посту оловянные часовые.

* * *

Часовые у стен снежной крепости прислушиваются к звону башенных часов.

— Должна быть смена,— говорит один.

— Смена не придет. Их дома не отпустят,— возражает другой.

— Не то время. Теперь отпустят.

И тут же оба часовых поворачиваются, услышав мерный, чеканный топот тяжелых шагов по скрипучему снегу Идут Коля Колокольчиков и еще один мальчик, укутанный с головы до ног.

Караул сменяется у раскрытых ворот. Вдруг Колокольчиков бросается внутрь крепости, поднимает драный валенок и, заикаясь от волнения, кричит прямо в растерянные лица часовых:

— Ротозеи! Я пост не приму! Я доложу об этом коменданту!

* * *

На снежной лесной поляне все перекорежено. Возвышается какое-то полуразрушенное железобетонное сооружение. Лежит вверх колесами пушка.

Лыжник в белом халате пересекает поляну и ныряет в чащу леса. Его окружают черные деревья, зубья скалистых камней. Вокруг угрюмая тишина.

Лыжник бежит. Зацепил халатом за сук, рванул, остановился и снимает халат.

Сверху раздается вдруг каркающий голос:

— Гляди под ноги, не задень провод!

Лыжник поднимает голову и видит наверху в ветвях артиллерийского наблюдателя. У него резкое лицо, орлиный нос, на шее — бинокль, в руке — телефонная трубка.

— Ворон-птица! Капитан Максимов у вас на батарее? — спрашивает лыжник.

Наблюдатель резко, как крылом, махнул рукой, показывая направление, и поднес бинокль к глазам.

* * *

Внутри полуразрушенного финского дота два красноармейца и шофер Коля пьют чай на дощатом столе возле железной печки.

Телефонист принимает телефонограмму, записывает и через ровные промежутки повторяет:

— Давайте... давайте...

Коля вынимает из кармана бумагу, спички, махорку и оловянного солдата. Он ставит солдата на стол и, свертывая цигарку, говорит:

— Война нелегка. Жена далека. Кругом шинели летят шрапнели. Давай, солдат, табаку покурим.

Красноармеец-башкир отхлебывает чай и усмехается:

— Большой человек с маленький игрушка играет... Смеяться можно.

— Смейся,— отвечает Коля.— Это солдат волшебного войска... Не понимаешь? Ну, как бы по-вашему? Колдун, что ли?

— Жулик? Так будет?

— Эк, хватил не по той мишени... Этого солдата мне подарил один генерал. У него солдат ученый: он говорить умеет. Скажи, солдат, почему Абдул Муртазин пьет чай без сахару?

Коля пускает густой клуб дыма, который почти закрывает его лицо, и тонким голосом сам отвечает:

— Стоял в секрете и съел на рассвете.

Второй красноармеец хохочет. Телефонист грозит всем кулаком.

— Он у меня еще и не то может! — гордо говорит Коля и снова наклоняется к оловянному солдатику: — Раз, два, три, четыре, пять! — Он дунул, окутал солдата

густым клубом дыма и заканчивает, обращаясь к башкиру: — Можешь сахар получать!

Дым рассеивается. Рядом с алюминиевой кружкой башкира лежит кусок сахару.

Башкир добродушно улыбается...

Отодвинулась рогожа, заменяющая сорванную дверь. В клубах пара входит капитан Максимов. Все встают. Рогожа опять отодвинулась, входит лыжник. Его халат перекинут через руку. Лыжник подает пакет и рапортует:

— Товарищ капитан, посыльный лыжник штаба батальона Егоров прибыл в ваше распоряжение.

Максимов пробегает глазами бумагу.

— Почему вы без маскировочного халата?

— Зацепил, разорвал. Сейчас чинить буду. Товарищ капитан, вам от жены телеграмма. Попала на третью батарею случайно. Распечатана потому, что, меняя позицию, третья батарея передала ее по телефону на вторую.

Лыжник передал телеграмму, отошел и греет руки у железной печки.

— Мне... от жены? — удивленно переспрашивает Максимов, читает, улыбается и показывает телеграмму шоферу Коле.

Коля читает: «Саша поправляется, опять собирается штурмовать крепость. Мы для раненых устраиваем елку. Все целуем. Жена Нина».

Капитан, показывая карандашом на подпись, тихонько говорит:

— Женя, Нина.

И быстро пишет что-то на телеграмме. Лицо его лукаво.

Красноармеец-башкир улыбается чуть хвастливо:

— У меня дома в Уфе тоже жена есть. Она мне тоже смешной писем пишет.

— Врешь, врешь! — говорит второй красноармеец.— Никакой жены у тебя нету...

— Невеста есть в Стерлитамаке, Лола зовут,— задумчиво и безобидно отвечает башкир.— Она мне тоже смешной пишет.

Максимов кладет телеграмму в конверт и протягивает его Коле:

— Не забудьте сегодня отправить.

Телефонист, окончивший приемку, молча передает ка-

питану исписанный лист, подходит к печке, греет руки и, усмехаясь, спрашивает у лыжника:

— А у тебя есть Лола?

— Лолы у меня, я прямо скажу, нету,— отвечает лыжник.— Лола у меня после войны будет.

— Тебя убьют, потому что ты бегаешь без маскировочного халата,— строго говорит телефонист.

Лыжник усаживается, расправляет халат, достает иголку и говорит серьезно:

— Убьют? Тогда, конечно, никакой Лолы не будет...

Капитан Максимов, прочитав телефонограмму, приказывает шоферу:

— Приготовьте машину. Едем в штаб участка.

Коля подтягивается:

— Есть приготовить машину, товарищ капитан!

— Товарищ посыльный,— спрашивает капитан Максимов у лыжника,— по опушке леса вдоль озера дорога не под обстрелом?

— Я проскочил, было тихо, товарищ капитан... Но я что? Тень... стрела... заяц...

— Заяц? — усмехается телефонист.— От таких зайцев волки на деревья скачут!..

* * *

Через лес пробираются два дозорных финских лыжника. Что-то услыхали, насторожились и направились к дороге, по которой едут в штаб капитан Максимов и шофер Коля.

Максимов молча смотрит вперед. Коля говорит, не поворачиваясь к нему, глядя на дорогу:

— Разрешите, товарищ командир, спросить? Почему вам дома картина у Нины не понравилась?.. А мне понравилась. Люди идут, цветы несут. Ребятишки по хорошей дороге на палках скачут. Весело...— Коля вертит рулевую баранку, машина прыгает.— А это разве дорога? Погибель! — говорит он, меняя тон, и искоса смотрит на озабоченное лицо Максимова.— Вы бы что-нибудь, товарищ командир, сказали... Очень мрачная вокруг территория.

А вокруг действительно мрачно: угрюмый лес, черный скелет сгоревшей избы, обломки скал, расщепленное дерево, причудливо-уродливые фигуры из снега.

— Да, на картине дорога красивая,— задумчиво го-

ворит Максимов.— Только очень ровная, гладкая, без задержки, без боя...

— Как — без боя?! — восклицает Коля, резко меняясь в лице, дает тормоз и хватает пулемет.

Взрыв, дым.

Коля в снегу. Ручной пулемет лежит стволом на пне, и, перед тем как нажать на спуск, Коля кричит:

— Как — без боя?! Нынче без боя дорог не бывает!

Мчатся на лыжах белофинны. Капитан Максимов стреляет. Коля дает очередь в полдиска.

В небе внезапно появляются два самолета, на крыльях у них красные звезды. Настороженно смотрит вниз наблюдатель. Вдруг он делает резкое движение: он увидел, как внизу, на дороге, отряд лыжников окружает крохотную машину. Стремительно и круто ложатся самолеты на крыло.

Один из финнов бросает ручные гранаты. Коля падает навзничь. Максимов хватает пулемет и дает по финнам очередь. Потом он смотрит на пустой диск и стреляет из нагана в затвор пулемета.

Стремительно нарастает рев моторов: низко пролетая над дорогой, самолеты бьют сверху по финнам. Максимов тянет за плечи Колю. Тот неподвижен. Капитан становится на колени и, достав из простреленной сумки индивидуальный пакет, бинтует голову Коли. Закончив перевязку, он встает, сдергивает шинель с убитого финна, потом другую, третью и закутывает ими Колю. Потом становится на лыжи и, взглянув на компас, уходит.

Улетели своим путем самолеты. На дороге остались исковерканная машина и убитые белофинны. Близ дороги, укутанный шинелями, лежит Коля.

А капитан Максимов мчится на лыжах под гору через лес. Внезапно он спотыкается и со всего размаха летит в снег. Лыжа сломана пополам. Максимов стоит по пояс в снегу и рассматривает сломанную лыжу. Отбросил ее, прислонился к дереву и ест снег.

* * *

По дороге идет, покачиваясь, башня с пушкой — бронемашина. Позади еще три. И на всех на них красные звезды. Водитель первой машины смотрит через узкую щель бойницы и видит, что на пустынной дороге рядом

с убитыми финнами валяются полузанесенные снегом обломки легковой машины капитана Максимова. Броневик останавливается, выскакивают красноармейцы.

Коля услышал шум. Он приподнялся, открыл глаза и озирается. Рядом с ним лежит на снегу перчатка капитана.

* * *

Раздается громкий звонок. Это началась большая перемена. В школе обычная суматоха. В углу шепчутся две девочки — это Катя и Женя Александрова.

Женя Максимова поймала за руку и теребит малыша Вовку:

— Ты зачем утром опять в пальто к Саше ввалился? Он болен, к нему нельзя... Я знаю, я сама санитарка.— Она показывает на значок.

— Да... Но было спешно! Было важно! Было очень срочно нужно!

— «Спешно, срочно, важно, нужно»!..— скороговоркой передразнивает Женя.— Я попрошу Юру или Петьку, чтобы они тебя срочно поколотили.

Вдруг, заметив шепчущихся девочек и как бы не веря своим глазам, изумленная Женя медленно выпускает руку Вовки, который улепетывает прочь. Но тут же его крепко хватает за руку Тимур.

— Стой прямо! Ногами не дрыгай и гляди мне в глаза! — холодно говорит он.

— Ну, глянул,— робко отвечает Вовка.

— И что ты там видишь?

— Ну, ничего... Синяк вижу, царапину...

— Не туда смотришь, смотри глубже...

— Ну, круги вижу... Зрачок, дырку...

— Ты видишь в моих глазах гнев! Кто высыпал ведро золы, а вчера бросил валенок и мерзлую кошку за стены нашей крепости? Ага, молчишь! — Он хочет дать Вовке щелчка, но раздумал и усмехнулся.— Исчезни! Здесь нейтральная территория, но смотри не попадись мне на поле боя!

Тимур отпустил руку Вовки. Вовка мчится прочь и тотчас же попадает в лапы Юры.

— Стой! О чем ты шептался с Тимой Гараевым? — спрашивает Юра.— Ага, измена! Ты замышляешь предать родной двор и переметнуться к нему на чужбину!

— Нет, он не задумал на чужбину, но он хвастун и он надоедает больному Саше,— с презрением говорит Женя Максимова.— Юрка! Значит, решено? Устроим для раненых елку?

Юрка поворачивается к Вовке:

— Ты смотри, пока об этом молчок!

— Я, братцы, никому... Я человек-камень... Человек-могила!..

Женя Максимова подскочила к Кате и дернула ее за руку:

— С кем это ты всю перемену шепталась?

— Это Женя Александрова, одна девочка из шестого «Б». И она мне рассказывала, какое шьет к елке платье...

— Знаю я эту Александрову. Я стояла, я тебе мигала, моргала, а ты... Какое у нее платье? Из материи или из бумаги?

— Она не велела говорить... Она говорит, что ты задава́ла и что ты вместо нее просунула не в очередь пальто в раздевалке.

Женя остолбенела, потом всплеснула руками и говорит, задыхаясь:

— Я задавала? Я не в очередь? Вот клевета, какой еще не было на свете!

В это время гремит звонок, и Женя меняет голос на обыкновенный:

— Катя, не верь: никуда и ничего я не просовывала.

Она удивленно смотрит и видит, что Женя Александрова подошла и взяла Тимура за руку. Оба они смеются.

— Подумаешь, принцесса крепостного гарнизона! — говорит Женя с гримасой.— Саша выздоровеет, крепость возьмет, а их поколотит.

— Что ты, что ты! Какая принцесса? Она дочь броневого командира...

— Я сама дочь артиллерийского капитана, и это я, а не она придумала устроить для раненых елку.

— Ну, вот ты и задавала! Женька, сознайся, ну чуточку, ну вот столечко, а все-таки задавалочка.

* * *

В комнате отдыха, в отделении для выздоравливающих прифронтового лазарета, сидит за столом шофер Коля в халате; с повязкой на голове. Перед ним ском-

канная бумага и конверт. На столе стоит оловянный солдатик. Коля что-то чертит на белом листе бумаги. Обращаясь не то к сидящему напротив с книгой раненому, не то к солдату, он говорит:

— Когда я закрою глаза, чу́дная встает передо мной картина... Тепло... светло. Идут люди, а также ребятишки и красивые девушки. Песни поют... Несут цветы... Лимоны там, фрукты разные. Весело! А дорога перед ними...— Он зажмурился.— Дорога... лети, вертись, как круглый шар по бильярду! — Коля смотрит на лист бумаги, на нем довольно точно воспроизведена по памяти картина Нины, но человечки нарисованы очень смешные: очень уж широко открыты их поющие рты, слишком пышны в их руках букеты, и слишком беспечны их веселые лупоглазые лица.— И вот, когда возникает передо мной эта чудная картина, то сразу представляется мне еще другая дорога: разбитая «эмка», дым, пустые обоймы. И на снегу перчатка моего капитана, который укутал меня шинелями, чтобы я, Башмаков, не сдох и жил для общей, а отчасти и для своей пользы...

Раненый удивленно поднял от книги глаза на Колю и смотрит, как тот говорит, обращаясь теперь только к игрушечному солдатику:

— Странно! И что мне эта картина? Картон... Краска... Звук далекой музыки... Вроде как и ты, смешной солдат, чужая тень, простая оловяшка... Так почему же, когда я смотрю на вас, сжимается у меня за людей сердце?..

— Потому что ты сидишь с утра за бумагой,— говорит раненый с книгой.— Сейчас я позову сестру, и она отберет у тебя ручку и чернила.

Коля торопливо принимается писать снова.

Двое раненых играют в шашки; один, сидя в кресле, тренькает на мандолине и тихонько напевает:

Письмо придет — она узнает,
На щеку скатится слеза...
И горько-горько зарыдают
Ее прекрасные глаза...

Коля отрывается от письма и говорит раненому:

— Прошло всего четыре дня, а мне кажется, что прошло четыре года.

Он задумался. Потом опять заговорил не то с раненым, не то сам с собой:

— Когда я вступал в партию, меня один человек спрашивает: «Чего тебе впереди надо?» Я отвечаю: «Чего всем людям: счастья...» Он говорит: «Про это в программе не написано. Наша цель — социализм и далее коммунизм в развернутом виде. А счастье — понятие неопределенное и ненаучное...» — «Нет,— говорю я,— для отдельного типа действительно так. Кто его угадает, что ему в жизни надо? Одному — жена, другому — изба, третий на рояле играть любит... Но чего всем людям вместе надо, это и научно определить возможно».

Медицинская сестра проходит мимо:

— Товарищ Башмаков, что вы бормочете? Оставьте чернила и бумагу. Идите гулять или играть в шашки.

— Шашки — пустое развлечение. Это игра не для моего характера... Сестра, как бы мне получить из цейхгауза вещи? В гимнастерке лежит неотправленное письмо капитана.

— Вещи и документы вы получите послезавтра, когда пойдете в отпуск.

Сестра уходит, и Коля снова обращается к раненому:

— Доктор сказал: «Странный случай в медицине. Если обыкновенного человека стукнуть по голове, он дуреет. В вас же швырнули бомбой, ударили головой о дерево, а вы сидите и рассуждаете, как настоящий философ».

— Он пошутил. Это он сказал для ободрения духа.— Раненый показывает на рваную бумагу: — Вот ты уж десять раз письмо рвешь и опять пишешь... Это разве философия? Это дурь!

— Я пишу семье моего погибшего начальника... Я пишу: «Девушка, зачеркните на вашей картине цветы. Капитан был прав, и нынче без боя дороги не бывает!»

Раненый пожимает плечами:

— Доктор определенно пошутил. Случай в медицине самый обыкновенный...

Сестра подходит и говорит твердо:

— Больной Башмаков, оставьте ручку и чернила. Идите гулять. Отдыхайте или играйте в шашки.

Коля торопливо берет конверт, вкладывает в него исписанный лист бумаги и пишет адрес: «Ленинград, Красноармейская, 119, Максимовым. Лично для Нины»

Быстро подходит он к стоящему тут же в комнате почтовому ящику. И мгновение медлит.

Раненый с мандолиной громко запевает:

Письмо придет — она узнает,
На щеку скатится слеза...

Коля рывком бросает письмо в щель почтового ящика.

Играющие в шашки с треском заканчивают партию. Раненый, который читал, захлопывает книгу. Все они разом, дружно подхватывают:

И гор-р-рько-горько зарыдают
Ее прекрасные глаза...

* * *

Нина сидит на кровати около Саши. Она берет его за руку и говорит:

— Женя в школе, няня в магазине. Я вернусь скоро. Саша, я прошу тебя, к окну не подходи близко...

— Женька моих голубей не кормит. И там кто-то их к своему окну переманивает.

— Хорошо, я буду их кормить сама. Ты мне веришь?

— Почему папа не ответил на твою телеграмму?

— Почему? Очень просто: они, вероятно, перешли в наступление, и телеграмма его не застала на старом месте.

— А где у него было старое место?

— Я не знаю... Ну, где-нибудь в лесу,— Нина улыбается,— под елкой. Ты, Саша, сам командир и это дело лучше меня знаешь.

— Да, конечно,— благодарно улыбаясь, говорит Саша.— Они перешли в наступление. И я перейду в наступление тоже. Иди. Я тебя люблю, Нина.

Нина ушла, а Саша подошел к окну, поцарапал по заснеженному стеклу пальцем и сделал круглую дырочку. Прилетают голуби и усаживаются на карниз окна.

В это время раздается звонок. Саша выходит в переднюю и видит, как сквозь щель просовывается письмо. Он поднял его и бежит в свою комнату. На лице его волнение. Он повертывает письмо. Глядит на свет. Ему

очень хочется вскрыть письмо. Но на конверте надпись: «Лично для Нины».

Саша кладет письмо на подоконник и стоит у окна. Вдруг он замечает, что к одному из окон в стене высокого дома напротив слетаются на снежный карниз голуби. Через форточку просовывается рука и сыплет крошки голубям. Голуби клюют. Тогда Саша в гневе поворачивает рукоятку оконного запора и распахивает обе рамы. Пар врывается в комнату. Саша высовывается из окна, шарит по подоконнику и тянет тряпку. А тряпка зацепила и тянет письмо. Тянет и оловянных солдатиков.

Саша кричит:

— Это кто моих голубей переманивает?

Снизу, со двора, удивленно наблюдает за Сашей Коля Колокольчиков.

Саша швыряет тряпку. Летит вниз письмо, и падают солдатики. Перегибаясь, с отчаянием смотрит Саша вниз, но письма не видно. Он поднял голову и замер, потому что в окне напротив он теперь видит изумительной красоты девочку. У нее белые, падающие кольцами на плечи локоны. Волосы схвачены обручем, от которого расходятся мерцающие лучи. На ней легкое, как дымка, усеянное звездами платье, и она пальцем показывает куда-то вниз. Там, внизу, за уступом, невидимое Саше, лежит письмо.

Саша высовывается глубже. Но тут в комнату вбегает Нина, хватает за плечи Сашу, оттаскивает от окна и закрывает рамы. Саша бросается в переднюю. У дверей Нина его задерживает.

Саша бормочет:

— Оставь! Пусти!.. Я уронил за окно письмо... Это письмо с фронта, от Коли, про папу...

— Сашенька... Саша... Мы письмо сейчас найдем. Мы его разыщем.

Саша, сразу ослабев, прижимает голову к груди Нины, глаза его закрываются, он бормочет:

— Письмо лежит в снегу... там в окне девочка, она звезда... Она вам покажет... Она его видит...

Нина в недоумении.

А загадочная девочка все еще смотрит через морозное окно. Вдруг она что-то внизу увидела и всплеснула руками.

* * *

Саша лежит в постели. Снова его томит жар. Температура снова все растет и растет. Неподвижно стоит в углу комнаты целый полк оловянных солдатиков, лежит на ковре у дверей котенок. И вдруг четким движением все солдатики сходят со своих оловянных подставок, маршируют и поют:

Спит, тревожным сном объятый,
Наш начальник до утра.
Оловянные солдаты,
Нам в поход идти пора.
Сон его не потревожа,
Разумеется само,
Отыскать ему поможем
Очень важное письмо.
Тра-та. Тра-та.
Тра-та-та-та.
Снега, сугробы и леса...
Оловянные солдаты
Разошлись на полчаса.

При этих словах все войско разделяется на несколько отрядов, которые вполоборота расходятся в разные стороны.

* * *

С винтовками наизготовку, по пояс в снегу торчат возле рваного валенка оловянные солдатики.

Стоит Тимур, рядом с ним — Коля Колокольчиков. В руках у Тимура распечатанное письмо.

— Оно лежало здесь...— показывает Коля и видит солдатиков.— Смотри, куда свалились из окна оловянные солдаты.— Он поднимает их.

— Зачем ты письмо распечатал? — спрашивает Тимур.

— Оно намокло и в кармане отклеилось. Я иду — дай, думаю, отнесу. А потом иду — дай, думаю, прочитаю.

— Это письмо тревожное. Письмо неясное. И я еще не знаю, нужно ли, чтобы такие письма доходили по адресу...

Тимур быстро прячет письмо в карман, потому что подходит нянька.

— Эй, вояки! Вы здесь ничего не поднимали? — спрашивает она.

— Да, они упали из вашего окна,— говорит Коля и протягивает солдатиков.— Это ваши солдаты?

— А больше ничего? Письма в снегу не было?

Мальчики молчат.

— Он бормочет: «Голубая звезда, она письмо видела»,— задумчиво говорит нянька.— Бред, температура... Какое письмо? Какие звезды? А может быть...— Тут нянька пристально смотрит на мальчиков.— Вы глядите, я правду все равно узнаю!..

* * *

В кровати сидит Саша с книгой «Прорыв танками укрепленной полосы». Рядом с Сашей — Вовка. Саша читает:

— «После того как тяжелые танки пройдут предполье, старший артиллерийский начальник должен перенести всю мощь огня в тыл, препятствуя продвижению вражеских резервов...» — Он бросает книгу.— Нет, это нам никак не подходит...

— Может быть, подойдет где-нибудь в другом месте...— нерешительно говорит Вовка и листает книгу.

— Нет, и в другом месте не подойдет тоже... Но крепость должна быть взята и разрушена! Прикажи Юрке поставить людей на лыжи, запасти лестницы, щиты, крюки, веревки...

— Да, но ты сначала не хотел этого сам. Кто велел гнать инженерную роту? Кто сказал, что мы не плотники, не столяры, а казаки?

— «Казаки, казаки»! У казаков разведка, а у нас?.. Неужели нельзя узнать, что этот комендант нам еще приготовил?!

— Я тебе говорю, он сумасшедший. Часовые сменяются вторые сутки, а за стенами что-то стучит у них, колотит,— уныло отвечает Вовка; и тут же радостно вспыхивает: — Есть идея! Молчи и не спрашивай. Я направлю в крепость свою агентуру.

— Какая беда, что я болен! Наступайте! Вызовите на помощь мальчишек из дома тридцать шесть, из сорок

четвертого!.. Мы им осенью помогали. Достаньте рогожи, доски! Нападайте, когда темно, к ночи... Нам стыдно! Их мало, а они над нами смеются и зовут нас то «Дикой дивизией», то «Большой ордой»... Нет папы! Был бы папа, он бы подсказал, посоветовал. Вовка, будь другом...— Саша показывает на окно: — Разыщи, чья там квартира. Там у окна сидела девочка. Она как звезда, в волосах искры, сама голубая. И кто со снега письмо про папу взял, она видела.

— Да! Но в этот дом ход... совсем с другого квартала: надо через парк, мимо крепости. А как ее, девочку, зовут?

— Ну вот, кабы я знал! А ты спроси: не у вас ли живет вот такая?

Саша пробует показать, как выглядит девочка: делает надменное лицо, крутит от головы к плечам пальцами, изображая локоны.

— Такая? — Вовка повторяет Сашины движения, потом неуверенно говорит: — Да, но если я даже найду квартиру и стану спрашивать, не живет ли здесь вот такая, то жильцы очень просто могут подумать, что я какой-нибудь ненормальный.

— Ну и пусть подумают. Экое дело!

— Обидно. Кроме того, меня по дороге изловят часовые из крепости.

— Так ты не пойдешь? Для товарища! Ты трус!

— Кто, я? — Вовка смотрит на увешанную деревянным оружием стену.— Дай мне какую-нибудь саблю! — Снимает одну, гнет, швыряет.— Не та сталь... Вот эту. Дай пистолет.— Снимает со стены пистолет, важно жмет Саше руку.— Прощай!

Вовка уходит, но в дверях поворачивается:

— Вот такую? — Он чертит вокруг своей головы звезду и локоны.— Засекай время! Я тебе приволоку эту звезду сюда... За волосы!

* * *

Через четверть часа Вовка выводит во двор свою маленькую, четырехлетнюю сестренку. Она похожа на шар. На руках ее большие варежки, а на ногах неуклюжие валенки.

Вовка вынимает руку из кармана:

— Смотри. Это конфета...— Он вынул вместо конфеты чернильную резинку, увидел и запнулся.— Гм... Это не конфета. Но здесь будет конфета. Одна, две... Четыре! Иди вот туда.— Он показывает в сторону крепости.— Видишь стены, ворота? Иди. Махай прутиком, как будто бы ты гуляешь, а сама пой песню: «Тра-ля-ляй, тра-ля-ляй...» Они тебя не тронут. А ты смотри, в ворота заглядывай! Потом все мне расскажешь. А потом я тебе за это дам... ну, там увидим что... смотря по заслугам. Иди! А мне,— он вздохнул,— звезду искать надо.

Вовка задирает голову на стену восьмиэтажного дома и считает окна:

— Первое, второе, третье, три уступа, два балкона, окно снизу третье, сбоку шестнадцатое. Раз, два! Засекаю! — Он взмахивает саблей, оборачивается и видит перед собой вооруженного Колю Колокольчикова.

— Я дозорный крепости Колокольчиков. Кто ты? — холодно спрашивает Коля.

— Я... Вовка...

— Что у тебя в руке?

— У меня? У меня палочка.

— Врешь, это сабля. Стой и защищайся.

— Очень странно. Вы, кажется, хотели... перемирие...

— Мир для воинов, а не для диверсантов! Ты же ночью забросил к нам в крепость мерзлую кошку, а кто-то недавно высыпал за стену ведро с золой. За это мы должны тебя уничтожить!

— Золу не я. Это Юрка.

— Юрка будет уничтожен особо, а ты особо!

Коля вынимает саблю, но тут же растерянно оглядывается, отскакивает и убегает прочь, потому что с метлой в руке к ним приближается дворник. Он басовито кричит вдогонку Коле:

— Ты... разведка! Со двора выметайся! Вы меж собой воюйте, сражайтесь, но у меня чтобы все стекла целы были!

Завидев приближающуюся Женю Максимову, Вовка нахохливается и важно сует саблю за пояс.

— Трус! Так я тебя и испугался! Жаль только, что помешал дворник... Женя, возьми мою сестренку. Пойдите с ней вон там погуляйте. Очень интересно. Вон стоит комендант Тимка. Ты подойди к нему и что-нибудь тыр... быр... тыр. Ну, ты умеешь... А я тихо, как тигр, проскочу мимо крепости.

Женя берет за руку девочку и критически оглядывает Вовку:

— Ты не тигр, а ты просто смешной ушастый кролик.

* * *

На небольшой площадке около парка толпится народ: здесь продают елки. Меж деревьев, направо от дороги, видна снежная крепость. За нею стена ограды большого дома. В сторонке стоят Катя и Женя Александрова.

— Ты Женя, и она Женя,— говорит Катя.— Я вас помирю. Она очень хорошая. Ее отец тоже на фронте... И мы решили устроить для раненых елку.— Катя оборачивается и резко спрашивает подошедшего к ним вплотную Тимура: — Тебе что надо?

— Это Тимур, мой товарищ,— говорит Женя и тихо предупреждает Тимура: — «Большая орда» готовит к штурму лыжи, крюки, палки.

— Знаю.

— Ты всегда все сам знаешь! — слегка обижается Женя и, увидев приближающуюся к ним Женю Максимову, отворачивается.

— Ты что? — удивляется Тимур.

— Это идет одна девчонка. Ты ее, кажется, тоже знаешь...

— Это идет Женя Максимова. Знаю.

Он тянет Женю Александрову за собой, но она вырывает руку. Тимур подходит к Жене Максимовой. Они дружески здороваются.

— Тимур определенно помешался,— говорит Женя Александрова Кате.— Он ведет ее в нашу крепость, а она все расскажет своему брату!..

Тимур подводит Женю Максимову и Вовкину сестренку к прекрасной снежной крепости с фортами, башнями и зубцами. За ними идет и Катя.

На одной из башен развевается флаг — звезда с лучами. Ниже, в стене башни, часы — это вправленный в снег будильник. Над часами решетка. У ворот крепости стоит часовой. Внутри деловито суетится гарнизон. На уступах стен возвышаются пирамиды снежных снарядов. Между зубьями самодельный зеркальный перископ. В углу стоит что-то громоздкое, тщательно укутанное рогожей. Горит костер, над костром котелок. Коля Коло-

кольчиков торопливо пьет из кружки чай и ест булку. У огня лежит большая собака.

Тимур показывает девочкам какое-то замысловатое орудие. Казенная часть его — это косой, покрытый льдом лоток, по которому уложены цепочкой круглые снаряды. Справа колесо с рукояткой. По ободу колеса широкие стальные пластинки. Это автопушка. Около нее возятся артиллеристы. Знакомя с ними девочек, Тимур называет номера расчета: замковый, наводящий, подающий, заряжающий.

— Сколько? — показывая на орудие, спрашивает Тимур.

— Проверял по часам: сто двадцать выстрелов в минуту,— отвечает замковой.— Была одна задержка — перекос снаряда. Но это вина их,— он показывает в сторону мальчишек, которые лепят снежки,— а не наша.

Замковой поворачивает круг, стальная пластинка оттягивается. Снаряд скользит по лотку и становится перед казенной частью. Пластинка с треском срывается, снаряд вылетает. На его место стал другой, потом третий, четвертый.

Целая очередь снарядов пролетает над головой Вовки, который осторожно крадется по тропке через парк. Вовка присел. А замковой в крепости дает еще несколько выстрелов, к полному восхищению Жени и Кати. Только маленькая Вовкина сестренка, не обращая ни на что внимания, опасливо смотрит на большую собаку.

Женя видит сооружение, покрытое рогожей. Хочет его приоткрыть. Но Тимур быстро задергивает рогожу:

— Простите, но этого нельзя. Это наша военная тайна.

Резкий свисток прерывает Тимура: часовой заметил пробирающегося меж деревьев Вовку. Часовой хватает снежок. Но Вовка уже за забором.

— Это сигнал,— говорит Тимур.— Теперь я попросил бы женщин с территории крепости удалиться.

Женщины — Женя и Катя — с достоинством откланиваются. Маленькая девчурка, не опуская недоверчивых глаз, опасливо кланяется собаке.

— Послушай,— говорит Женя,— почему ты с нами так разговариваешь? Какие мы женщины? Какая территория? Какая тайна? Ты над нами смеешься!

С лица Тимура сходит суровая маска. Теперь это

обыкновенное лицо задорного мальчугана, он улыбается.

— Я смеюсь, но не над вами. Мне весело. Твой брат — наш враг, и им не взять нашу крепость ни за что на свете! Что свистишь? — обращается он к часовому.

— Шпион проскочил. Вовка Брыкин.

— А Вовку надо изловить и вот на этой башне повесить! — говорит Тимур.

Но Вовка в это время уже поднимается по чужой лестнице. Немного помявшись на площадке у двери, он звонит. Высовывается здоровенный дяденька и молча ждет вопроса.

— Скажите, пожалуйста, не живет ли здесь одна девочка? — спрашивает Вовка.

Дяденька хладнокровно оборачивается и зовет басом:

— Варвара... тебя спрашивают.

Выходит очень маленькая девчурка в белом переднич-ке, с вымазанными мукой руками. Она отряхивает муку, потирая одной рукой о другую, и спрашивает:

— Ты ко мне, мальчик? Я занята.

— Это не то. Это с другого подъезда,— пятится Вовка и мчится вниз по лестнице.

Девчурка пожимает плечами, улыбается:

— Он меня, кажется, испугался.

Вовка останавливается перед другой дверью и звонит. Дверь осторожно отворяется. В щель просовывается рука. Рука хватает Вовку и бесцеремонно втаскивает в темную прихожую. Худенькая старушка теребит Вовку:

— Я тебя пустила на полчаса, а тебя нет два часа! Разбойник! Ты хочешь моей погибели!

— Нет, тетенька, я совсем не хочу вашей гибели,— заикаясь, лепечет Вовка.

— Ты кто? — изумляется старушка и зажигает свет.

— Я, тетенька, хотел спросить... нет ли тут у вас одной девочки?

Старушка выталкивает Вовку за дверь:

— Нет у нас никакой девочки! Хватит нам и одного мальчика!

Вовка снова пускается на поиски и звонит у третьей двери. За дверью слышна музыка. Кто-то играет на аккордеоне. Дверь распахивается — перед Вовкой стоит Женя Александрова. На ней просторный длинный халат.

— Тебе что? — спрашивает Женя.

— Я хотел спросить... Не живет ли здесь одна девочка?

— Я живу. Я девочка.

— Ты? А нет ли какой-нибудь еще... в другом роде? — говорит Вовка, критически оглядывая Женю.

— Девочки в другом роде не бывают,— усмехается Женя.— Девочки все в одном роде.

— Это конечно. Но я хотел спросить... нет ли у вас тут такой... покрасивей?..

— Ты глуп, и что тебе надо, я не понимаю! — вспыхивает Женя, захлопывает дверь и уходит в комнату.

Там ее сестра Ольга играет на аккордеоне и тихонько поет:

Летчики-пилоты... Бомбы, пулеметы.
Вот и улетели в дальний путь...

Ольга кладет аккордеон и спрашивает:

— Женя, я не пойму: ты на Тимура сердита?

— Не знаю... Он переменился,— с горечью говорит Женя.— Что же? Разве он на самом деле командир или начальник?

— Я не знаю, как сейчас... Но большим командиром этот Тимур когда-нибудь будет... Это кто приходил?

— Приходил какой-то мальчишка, спрашивал какую-то девчонку...

Женя сбрасывает халат. На ней замечательное, в звездах, платье. Она подошла к зеркалу, надела белокурый в локонах парик с мерцающими лучами, расходящимися от светлого обруча.

Это и есть та «голубая звезда», которая так нужна Саше.

* * *

В коридоре военного учреждения перед каким-то командиром, подтянувшись, стоит Тимур. Рядом с военным молодой, еще неуклюжий призывник.

— Скажите, если человек убит, ранен или пропал без вести... об этом с фронта в письме писать можно? — спрашивает Тимур.

— Можно, но не нужно! — отвечает военный.— Об этом только после проверки и кому нужно мы сообщаем сами.

Тимур хочет еще что-то спросить, но вдруг в глубине коридора он замечает няньку, которая идет и осматривает на дверях таблички.

— Можно, но не нужно? Спасибо! — поспешно говорит он и козыряет.— Больше мне ничего знать не надо,— четко повернулся и вышел.

— Товарищ, одерните ворот, поправьте ремень,— говорит военный призывнику, показывая на уходящего Тимура.— Смотрите, как нынче мальчишки-пионеры ходят...

Тем временем нянька, найдя нужную комнату, разговаривает там с военным о Максимове.

— Значит, Степан не убит? — спрашивает нянька.

Военный сочувственно и огорченно пожимает плечами.

— Тогда он, может, в плену?

— Вряд ли.— Военный быстро поправляется: — Капитан Максимов значится пока как пропавший без вести... Дети у него есть?

— Двое.

— Вы пришли, и я вам сказал, но детям его я бы советовал пока ничего не говорить... Да и жене не надо.

— Жены у него нет... Невеста.

— Невесте я бы несколько дней подождал говорить тоже.

— Значит, без вести?

Нянька поднимает на военного свое старое умное лицо и не то про себя говорит, не то спрашивает:

— Война?..

Военный, вставая, смотрит ей в глаза и, кивнув головой, твердо отвечает:

— Война!

* * *

Сидя за столом, заваленным ворохом бумаги, лент и лоскутков, Женя Максимова шьет маскарадное платье. Рядом в кресле сидит Саша, ноги его укутаны одеялом. Перед Сашей стоит растерянный Вовка.

— Ты подумай, она была в крепости и не хочет сказать нам ни слова! — с досадой говорит Вовка, показывая на Женю.

— Я была у коменданта как гость, а не как ваш разведчик! Понятно?

— Понятно, понятно,— сердито отвечает Саша и поворачивается к Вовке: — А что же твоя агентура?

— Моя агентура — просто дура! Я ее спрашиваю: «Что видела?» — «Собаку».— «Еще что?» — «У ней на лапах когти».— «Ну ладно, а еще, кроме собаки?» — «Мальчишек видела. На них собака не смотрит, а на меня глаза уставила и зубами ворочает». Вот и поди с такой агентурой поработай!

— Лыжи, палки, рогожи, крюки готовы?

— Все готово. Сегодня к ночи от крепости останется один пепел!

— Я буду смотреть через окно. И, если вы, трусы, опять отступите, я сам на улицу выскочу!

— Кто отступит? Мы? — Вовка протягивает Саше руку: — Считай, что крепость уже разрушена! Остались обломки... угли, дым, пепел. Вороны летают. Бродят собаки, волки... и жрут трупы...

Вовка важно уходит.

— Ой, и до чего же хвастун этот Вовка! — почти восхищенно говорит Женя.

— Женя, когда от папы последняя была телеграмма? — спрашивает Саша.

— Давно: две недели,— отвечает Женя, доставая из кармана телеграмму, и повторяет давно заученный наизусть текст: — «Ленинград, Красноармейская, 119, Максимовым. Пишите чаще, как здоров Саша. Целую. Папа».

— Пишите чаще, а сам ничего не пишет... Женя, Вовка не смог. Узнай ты, чье это окно.

— Ну как его узнаешь? Таких окон сто. А ход в тот дом с другой улицы... Ну, какая у окна примета?

— Там сидят мои голуби. Там живет такая девчонка. Она как звезда... Красавица.

— Голубь — примета летучая. Он то здесь, то там сядет. А красавиц в нашем квартале ни одной нету,— пожимает плечами Женя и, увидев вошедшую Нину, радостно кричит: — Нина, шей скорее мне платье! Скоро елка, и у всех все уже готово.

— Нина, ты моего папу любишь? — спрашивает Саша.

— Да. Очень! — просто и прямо отвечает Нина.

— Тогда найди ту девочку. Она видала письмо. Оно про папу...

— Сашенька, у тебя была температура, жар. Тебе, может быть, просто показалось?

— Нет! Это мне потом показалось... А сначала мне ничего не показалось...

— Не кричи. Смотри, какой горячий...— говорит, входя в комнату, нянька.— Дед твой был солдатом. Отец — капитан. А ты... ты, наверное, будешь генералом.

Нина внимательно вглядывается в Сашино лицо:

— Саша, у тебя глаза блестят, лицо горит. У тебя опять температура.

Пристально смотрит за окно Саша.

* * *

Вечером, в сумерках, за сараями торопливо собирается «Дикая дивизия». В воротах домов толпятся болельщики и любопытные. В одних воротах стоит Женя Александрова, в других — Женя Максимова.

В руках у мальчишек крюки, палки, веревки. На снегу лыжи. Большинство мальчишек укутано в самодельные маскировочные халаты из простыней, наволочек и передников. У некоторых на голове белые тюрбаны из полотенец. Особо великолепен Вовка. Куском материи у него закрыты грудь и живот, спина черная. В руке труба. В другой руке флаг с замысловатой эмблемой: разинув пасть, стоит на задних лапах полосатый тигр. Другой флаг развевается над башней крепости. На нем простая звезда с лучами — это эмблема Тимура и его команды.

Над часами на снежной башне опускается железная решетка. Из стены сбоку выдвигаются деревянные, покрытые льдом ворота и наглухо закрывают вход в крепость. Через одну из бойниц пристально смотрит Тимур. Рядом с ним трубач, Коля Колокольчиков. У автопушки выстроился артиллерийский расчет. Весь гарнизон наготове стоит у стен. Все спокойны, но насторожены. В углу торчит какое-то сооружение, закутанное рогожей.

К крепости пробираются через кусты парка мальчишки «Дикой дивизии». Меж деревьев осторожно движется отряд лыжников. По пояс в снегу волокут мальчишки приставные лестницы.

Тимур повернулся, взмахнул рукой. Ребята из его команды сдергивают рогожу, под ней оказывается прожектор; он сделан из автомобильной фары. Ребята кру-

тят колесо, и на стекло падает проволочная сетка. Прожектор поднимается над стенами. Вот блеснул яркий луч. И мальчишки, пробирающиеся через парк, падают в снег.

— Разведчик! Что же ты не узнал, что у них есть прожектор...— сердито шепчет Юрка Вовке и командует остальным: — Лежите, не шевелитесь! А ты, Вовка, беги назад, ползи, как кошка. Скажи штурмовикам и лыжному отряду, чтобы они незаметно перестроились и заходили с тылу.

Мальчишки волокут салазки. Тащат через сугробы лестницы.

Луч прожектора приближается. И снова все падают в снег. Но внезапно из репродуктора, висящего в парке, раздается голос диктора:

«Внимание! Объявляется воздушная тревога! Немедленно тушите свет и затемняйте окна!»

Луч прожектора гаснет. В темноте слышен обрадованный голос Юрки:

— Потух! Вовка, передай штурмовикам и лыжникам, чтобы шли своим прежним направлением.

— Они больше не послушают. Они ругаться будут.

Ревут гудки и сирены. В столовой у Максимовых Нина, выключив свет, торопливо опускает маскировочные шторы на окнах. В соседней комнате Саша бросается к окну и смотрит на стену дома напротив. Там быстро, целыми секциями, гаснут огни. Остается освещенным только одно окно,— и это — то самое, которое так нужно Саше.

Саша вскакивает на подоконник и распахивает форточку.

Со двора доносятся крики:

— Тушите свет!

— Чья квартира?

— Это двадцать четвертая.

А в это время в квартире у Александровых Ольга с намыленной головой стоит в ванной комнате. Затрещал телефон, почти одновременно раздался оглушительный звонок в дверь. Ольга вылетает из ванной и бросается к выключателю.

Свет тухнет. Саша спрыгивает с подоконника и выбегает, бормоча:

— Двадцать четвертая... двадцать четвертая...

Хлопнула входная дверь.

— Кто там? — тревожно спрашивает Нина и включает свет: шторы ведь уже опущены.

Никто не отвечает. В передней пусто. Нина бросается в комнату Саши. Саши там нет. Нина выскакивает на лестничную площадку и в страхе кричит:

— Саша! Саша!

* * *

Голос диктора объявляет отбой пробной воздушной тревоги. Дают отбой гудки и сирены.

Из крепости доносится голос Тимура:

— Огонь! Прожектор!

В панике пятится попавший под луч прожектора Вовка. Штурмовики, которые тащат крюки и лестницы, в замешательстве останавливаются. Луч прожектора медленно шарит по парку и вдруг освещает на тропинке меж сугробов Сашу, взлохмаченного, без шапки и без пальто. Саша делает несколько шагов, но свет слепит его, и Саша, пошатнувшись, хватается за куст.

— Что за герой? — недоумевает Коля Колокольчиков.— Он идет прямо на батарею.

— Он не герой, он болен,— говорит Тимур.

— Командир с нами! — кричит в кустах Вовка.— Ура! В атаку! — И он трубит наступление.

Коля Колокольчиков в крепости трубит сигнал к бою.

— Не надо! — кричит Тимур и вырывает у Коли трубу.

Коля выхватывает из-за пояса пистолет и пускает ракету. Раздаются крики: «Ур-ра-а-а!!!» Из жерл орудий выбрасывается черный дым. Снежки вылетают из автопушки. Полоса снарядов бьет по одному из отрядов наступающих. Ослепленный прожектором и осыпаемый снарядами, отряд разбегается.

На тропке появляется Нина в легком платьице. Она в центре огня.

— Стойте! Стойте! — кричит Нина.

На тропу выскакивает Женя Максимова и сталкивается в упор с появившейся с другой стороны Женей Александровой.

— Труби отбой! Белый флаг наверх! — кричит Тимур.

— Какой отбой? — злобно восклицает Коля.— Смотри, они отступают!

— Вперед!.. Вперед, трусы!!! — кричит Саша отступающим мальчишкам.

Бросается к крепости, но оступился, зашатался и падает в сугроб.

Тимур вырывает трубу у Коли:

— Я комендант! Даю отбой! Прожектор на флаг!!! Белый флаг наверх!!! — Он трубит отбой.

В кустах Вовка, поднимая голову, говорит Юре:

— Смотри, кажется, наша взяла... Они сдаются!

Над крепостью поднимается белый флаг. Луч прожектора ползет за флагом.

— Ура! Наша взяла! Вперед! Смелее! — орет Вовка.

Со всех сторон мчатся ребята из «Дикой дивизии» на умолкнувшую крепость. Ворота крепости медленно раздвигаются. Выходит Тимур и бежит к Саше.

Нина хватает Сашу и прижимает его к себе. Женя Максимова рвет крючки, пытаясь снять шубку, но, прежде чем она успела это сделать, Женя Александрова набрасывает свою шубку на плечи Саше. При этом она говорит Жене Максимовой:

— Оставь! У тебя кофта, у меня свитер... Теперь моя очередь — пальто не в очередь!..

Ворвавшись под командой Вовки, «Дикая дивизия» громит крепость. Поленом ударяют по замку автопушки. Падает прожектор.

Коля Колокольчиков в отчаянии показывает Тимуру на крепость:

— Скажи, зачем? Что... Что ты наделал!

Он швыряет в снег трубу, ухватился за ствол дерева, плечи его вздрагивают. Он плачет.

Саша открывает глаза:

— Крепость взяли?

— Есть, командир! Взяли! — подскакивает Вовка.— Остаются угли... дым... пепел...

* * *

Утро. На разрушенных зубьях крепости сидит ворона. Над башней торчит обломок древка от флага. Внутри крепости все разворочено и засыпано золой. Валяются

замок автопушки, сломанный прожектор, разбитый перископ.

Ворота крепости сорваны и прислонены к стене. На воротах — простая тимуровская звезда с лучами. Задумчиво стоит перед ней Тимур.

Сзади подходит Женя Александрова. С сожалением смотрит она на Тимура и тихонько поет:

Гори, гори... моя звезда...

Тимур обернулся. Женя насвистывает тот же мотив, потом продолжает петь, показывая на звезду:

Лишь ты одна, моя заветная...
Другой не будет... никогда.

— Зачем ты нарочно сдал крепость?

— Не говори об этом Саше. Мне от этого легче все равно не будет.

— Я с ним незнакома. А с его сестрой мы в ссоре... Глупо! Ссора нелепая. Она дочь артиллериста, я дочь броневого командира, отцы оба на фронте. Ты меня с ней помири. Я знаю, что ты с ней дружишь... Тимур, заходи сегодня ко мне вечером.

Она ушла. Тимур стоит. Ему тяжело, и он насвистывает:

Лишь ты одна, моя заветная...

Пара чьих-то глаз наблюдала за Тимуром и Женей через щель бойницы. Теперь из проломанных ворот медленно выходит Женя Максимова.

— Ты сдал крепость нарочно. Зачем ты это сделал? — говорит она.

— Твой брат был болен. Кроме того... Есть еще одна причина, но я тебе ее не скажу, Женя. Ты куда идешь?

— Я иду в тот двор. Ты не знаешь, кто живет в квартире номер двадцать четыре?

— Зачем тебе квартира двадцать четыре? — настораживается Тимур.

— Саша говорит, что там живет девочка, которая через окно видела, кто поднял письмо с фронта от папы.

— Он давно вам писал?

— А что?

— Так. У меня дядя тоже на фронте. Он редко пишет. Война — некогда.

— И нам редко...— Женя достает телеграмму.— Вот была последняя...

— Две недели. Это еще немного... Мой дядя и всего-то раз в месяц пишет,— врет Тимур.

Женя сует телеграмму за обшлаг рукава шубки. Она обрадована.

— Да? Значит, и тебе редко... Тимур, а все-таки зачем ты сдал Саше крепость?

Тимур подходит к ней вплотную, рука его трогает ее рукав:

— Так было надо. А может быть, и не надо. Нет... Надо!

При слове «надо» Тимур тихонько выдергивает телеграмму из-за обшлага шубки Жени Максимовой.

* * *

На столе перед Тимуром лежат две телеграммы. На одной написано: «Ленинград, Красноармейская, 119, Максимовым. Пишите чаще, как здоров Саша. Целую. Папа». На другой: «Ленинград, Пушкинская, 6, Тимуру Гараеву. Жив. Здоров. Поздравляю с Новым годом. Целую. Дядя».

Тимур обмакивает кисточку в пузырек с клеем, наклеивает на первую телеграмму полоску от второй. Получается: «Ленинград, Красноармейская, 119, Максимовым. Жив. Здоров. Поздравляю с Новым годом. Папа».

Затем он снимает со стены грубый брезентовый дождевик и охотничью сумку.

Через десять минут у дверей в квартиру Максимовых звонит очень странный почтальон. Он в брезентовом дождевике с накинутым на голову капюшоном, с охотничьей сумкой в руках. Щека завязана, как будто бы у него болят зубы. В руках разносная книжка.

Дверь приоткрывается на цепочке. Выглядывает нянька. Почтальон торопливо, чуть подавшись вбок, сует в отверстие телеграмму, карандаш с книжкой и хрипло говорит:

— Вот телеграмма. Распишитесь.

Нянька, расписавшись, сует ему обратно разносную книжку. Дверь захлопывается. Почтальон хочет уйти, но видит, что внизу по лестнице поднимается Женя. Испуганный почтальон взлетел этажом выше, прислонился к чужой двери и тяжело дышит.

Женя останавливается у своей двери, достает ключ. Вдруг за дверьми она слышит шум, топот и отчаянно-торжествующие крики. Женя остолбенела. Торопливо сует она ключ в скважину. Рука ее дрожит. Женя исчезает за дверью. Крик и шум усиливаются.

На площадке у дверей, прислушиваясь к этому радостному шуму, стоит очень смешной почтальон — Тимур. На его глазах слезы.

* * *

На дверях, напротив квартиры Максимовых, висит табличка: «Красный уголок». Рядом — плакат, изображающий елку и раненого красноармейца. Сверху на плакате надпись: «Слава героям!», снизу — «Добро пожаловать!»

Гремит веселая музыка. Дверь поминутно хлопает. Пробегают ребята в маскарадных костюмах. Внутри дети поспешно развешивают по стене картины и гирлянды зелени. Две девочки подметают пол. Нина, со сбившейся прической, в рабочем халате, командует ребятами, украшающими елку. В углу репетирует джаз. Он состоит из пятнадцати малышей, которыми дирижирует Вовка. Внезапно музыка замолкает, слышен чей-то вопль.

— Дирижер Брыкин, что у вас в оркестре за драка? — спрашивает, подбегая, Нина.

— Большой барабан поспорил с бубном. Он говорит, что крепость вчера мы не взяли. Он врет!

На лестнице слышны крики:

— Идут, едут! Приехали!..

— Приготовились, Вовка, греми! Звени! — командует Нина.— Чтобы все кружились, смеялись! Я сама с вами танцевать буду.

Оркестр грянул веселый марш.

— Но я еще не одета... Я лохматая,— спохватывается Нина и убегает.

Внизу, у подъезда, ребята подхватывают под руки

приехавших на машинах раненых, помогают им подняться по лестнице. Некоторые раненые опираются на костыли.

Доктор Колокольчиков, стараясь освободиться от ребят, которые тащат его под руки, кричит:

— Молодые люди! Постойте! Пощадите!.. Я не раненый! Я сам доктор...

Вся лестница гудит от восторженных криков.

Саша Максимов у себя в квартире слышит эти крики и торопливо надевает валенки. Нянька накидывает ему на шею шарф. Саша его отстраняет.

— Доктор сказал, чтобы ты оделся теплее, возле елки не прыгал и через лестничную площадку не бегал,— внушает ему нянька.— Ты меня должен слушаться, как маму.

Женя подбегает к зеркалу. На ней нарядное фантастическое платье.

— Но, няня, раньше ты говорила, что он маму совсем не слушал!

— Он был маленький и ничего не понимал. А теперь он вырос и все понимает.

— Ничего он и сейчас не понимает.

— Ты, сорока, все понимаешь!

— Да, понимаю...— сквозь зубы говорит Женя и потирает шею.— Вот синяк. Мне из крепости снарядом попало. Ну хорошо, я за это Тимура сейчас отчитаю...

— Как сейчас? — опешил Саша.— И это после вчерашнего... он придет?

— Я его позвала.

— Да... Но я уверен, что над ним все смеяться будут.

— «Я уверен... Я... я!..» — вспыхивает Женя.— Подумаешь, герой, Чапаев... А хочешь ли ты знать, что крепость вы не взяли, что Тимур сам дал сигнал отбоя, что, жалея тебя, он открыл ворота?

Саша взволнованно кричит:

— Неправда!

— Правда! Да об этом сегодня во дворе говорят все твои же мальчишки.

Саша после короткого молчания сбрасывает с ног валенки и отрывисто говорит:

— Дай сапоги.

Женя недоуменно смотрит на него и подает сапоги.

Саша сбрасывает с шеи шарф и так же коротко и резко говорит:

— Ремень дай... папин...

Подтянутый, туго подпоясанный, с перекинутым через плечо ремешком, Саша входит в красный уголок и отыскивает Тимура.

Тимур сдержан, Саша взволнован.

— Кто тебя об этом просил? — говорит он.— Какое тебе до меня было дело?

— Я сделал только то, что и ты был обязан сделать для меня.

— Я?.. Для тебя?..

— Да, ты для меня. Если бы,— Тимур запнулся,— у меня была беда и я был болен.

— Н-не знаю...— растерянно отвечает Саша.

— Не знаешь?..— Тимур смотрит Саше в глаза и говорит очень твердо, как бы внушая: — Нет, знаешь! Ты сын командира, и ты своих жалеть должен.

Саша смущенно молчит. Тимур неожиданно рассмеялся. Сейчас у него очень простое, веселое лицо.

— Пойми, пусть это позже... Но когда-нибудь воевать-то будем рядом.

Все это слышит Вовка. Он застыл, подняв свою дирижерскую палочку. Потом отчаянно взмахивает ею. И джаз ударяет песню «По военной дороге». Ее дружно, весело и грозно подхватывают и ребята и раненые.

Музыка доносится в квартиру Максимовых, где нарядная Нина торопливо причесывает волосы. Она смотрит на портрет Максимова, берет с подзеркальника телеграмму и прижимает ее к губам. Потом смотрит, и как будто змея ужалила ее в губы. Отскочила приклеенная полоска, и теперь виден прежний текст: «Пишите чаще, как здоров Саша. Целую. Папа». В полном смятении Нина комкает телеграмму.

Входит нянька. Нина, задыхаясь, говорит ей:

— Это телеграмма поддельная. Что со Степаном? Вы меня обманываете?

— Как — поддельная? — Нянька, как подкошенная, опускается в кресло.— Значит, Степан не пришел? Не вернулся?

— Откуда? Куда? Говорите прямо. Я не девчонка.

— Дочка... оставь меня,— говорит нянька, устало опускаясь в кресло.— Я сама ничего не знаю...

Вбегает Женя и, не замечая состояния няньки и Нины, быстро тараторит:

— Нина, ну конечно, без тебя не может жить Сашка. И я не могу тоже. Весело. Очень весело! — Она удивленно смотрит на Нину и няньку.— Вы поссорились? И это под Новый год! Такой вечер! Нина, иди, тебе танцевать надо...

— Уйди, Женя. Я сейчас, я приду после...

— Хорошо,— небрежно говорит Женя,— тогда Саша сейчас сам прибежит за тобой, раздетый, через площадку.

— Кто через площадку? — рассеянно переспрашивает Нина, закрыв глаза, и, сразу опомнившись, вскакивает и бежит к двери: — Нельзя через площадку!..

* * *

На елке веселье в полном разгаре. Тимур и Саша сидят рядом.

— Мы вам крепость восстановим, отремонтируем и тогда начнем войну сначала,— говорит Саша.

— Нет. Возьмите эту крепость себе. Это хорошая, надежная крепость, и она вам послужит еще долго...

— А вы?.. Что же у вас тогда останется?

— А мы... Мы себе найдем.— Тимур поворачивается к Коле Колокольчикову и хлопает его по плечу: — Что, старая гвардия? Мы себе найдем еще дело?

Нина, не обращая ни на кого внимания, пробирается к Саше. Кругом раздаются голоса: «Тише, тише!» Саша порывисто тянет Нину за руку и усаживает ее с собой рядом.

На эстраду выходит раненый красноармеец с забинтованной рукой. Звучит гордая музыка, и раненый поет:

Под треск пулеметов, под грохот и гул
Вставала из снега пехота.
Но самою первой навстречу врагу
Поднялась четвертая рота.
Четвертая рота второго полка,
Фланговый участок бригады...
Огонь пулемета, удары штыка,
Снаряды... снаряды... снаряды...
На серых папахах сверкает звезда.
Приказ командира короток.

Железобетонный тяжелый блиндаж
Штурмует четвертая рота.
Вперед же, товарищ! Смотри, как в огне
За все.. за любовь и заботу..
Свой долг отдавая любимой стране,
Поднялась четвертая рота.

— Если бы меня пустили... приняли...— взволнованно шепчет Тимуру Саша.— Я бы пошел служить только в четвертую роту. И ты тоже?

— Нет. Я бы в пятую.

— Почему?

— Наша пятая еще лучше вашей четвертой будет! — задорно отвечает Тимур.

Саша вспыхнул, он хочет что-то возразить, но тут глаза его широко раскрываются. У дверей в дымчатом платье со звездами в белокурых локонах, стянутых обручем, от которого расходятся мерцающие лучи, стоит Женя Александрова.

Саша хватает Нину за руку:

— Это она! «Голубая звезда»! Пойдем спросим про письмо.

К Жене Александровой быстро подходит Женя Максимова.

Они внимательно оглядывают одна другую и вдруг разом улыбаются и берутся за руки.

— Скажи, кто тогда со снега мое письмо поднял? — спрашивает Саша.

— Кто? — Женя Александрова улыбается и повертывается к Коле Колокольчикову, но лицо у того смущенное, а Тимур строго смотрит на Женю, и в его глазах приказ: «Не говори». И, глядя в упор на оробевшего Колю, Женя отвечает: — Я того человека не знаю.

— Гей-ля-ля! — увидав Колю Колокольчикова, торжествующе кричит Вовка.— А все-таки дохлую кошку вам в крепость бросил я! — Он взмахивает палочкой, и джаз в бешеном темпе играет веселый танец.

Растерянная, подавленная, Нина отходит к окну Опирается о широкий, заваленный игрушками подоконник и отворачивается, чтобы никто из гостей не увидел ее слез.

Сверкает огнями елка. Мчатся танцующие пары, мелькают маски.

В сторонке, дружно разговаривая, стоят Саша, Тимур, Женя Александрова и Женя Максимова. К ним вдруг подбегает запыхавшаяся Катя.

— Стойте! Радуйтесь! — кричит она.— Вы сейчас увидите...

И в ту же минуту в дверях появляется нянька. А за ней, опираясь на палку, входит военный — шофер Коля. Нина смотрит на него почти с ужасом.

— Не бойтесь! Капитан жив,— говорит Коля,— и даже не ранен... Его в лесу нашла наша разведка.— Он протягивает оцепеневшей Нине письмо и добавляет: — Письмо запоздало, но вы ему будете очень рады...

Как завороженная, берет Нина конверт. На нем адрес: «Ленинград, Красноармейская, 119, Максимовым. Для моей жены Нины». В конверте развернутая телеграмма: «Саша волнуется, почему не пишешь, все целуем. Жена Нина».

— Это ошибка, надо: Женя, Нина...— растерянно говорит Нина.

— Все правильно,— отвечает Коля.— Ваша телеграмма летала по телефону с батареи на батарею... Но капитан сказал, что ошибки нет и текст передан совершенно точно.

Коля Башмаков и Саша отходят к окну. Там, на подоконнике, среди игрушек, приготовленных для подарков, выстроились оловянные солдатики. Коля достает из кармана солдатика и ставит его на подоконник перед строем. Солдатик поцарапан, помят, но глядит весело.

Саша быстро выдвигает знаменосца, двух солдат с шашками на караул и командира, отдающего вернувшемуся солдату честь.

Коля смотрит на висящую на стене картину Нины.

— Что? Не та дорога? — смущенно спрашивает Нина.

— Прямо скажу, не обижайтесь: дорога не та. Круче повороты. Тверже люди.— Коля кладет руку на плечо раненому, который пел песню четвертой роты, и показывает на картину: — Не знаю, что они там поют, но, наверное, это мелодия для боя совсем неподходящая. Так ли я говорю, мой неизвестный товарищ?

— Я знаю сама. Я нарисую другую...

— Хотите, я вам дам идею? — улыбается Женя Александрова.— Нарисуйте вот их.— Она показывает

на Сашу, Колю, Юрку, Тимура.— У них каждый день мелодия самая боевая!

Вовка подбегает и быстро просовывает свою голову между Сашей и Колей.

— Да, но только не рисуй, пожалуйста, этого кошкометателя и пролазу Вовку,— поспешно добавляет Женя Максимова.

Тимур кладет Вовке на плечо руку:

— Почему? Ты погоди. Он будет славным гранатометчиком.

— Ну, если... так говорит бывший комендант самой лучшей снежной крепости,— разводит руками Женя Александрова,— то это будет совершенно точно.

* * *

Сверкает елка. Звенит веселая музыка. Кружатся вокруг елки в танце дети.

И вот через эту блестящую елку под нарастающий гул проступает другая — большая черная ель на снежной поляне. На нижних ветвях ее висят два котелка, три винтовки, белый халат, сигнальный флаг.

Чуть правее ели стоит батарея.

Командир поднимает руку — раздается залп.

Командир смотрит в бинокль и видит, как из снега встала и пошла пехота. Идет твердым шагом. Он снова поднимает руку — могучий залп. Командир быстро поворачивается. У него простое, энергичное, чуть усталое лицо; сдернув перчатку, он вытирает оборотной стороной ладони влажный лоб.

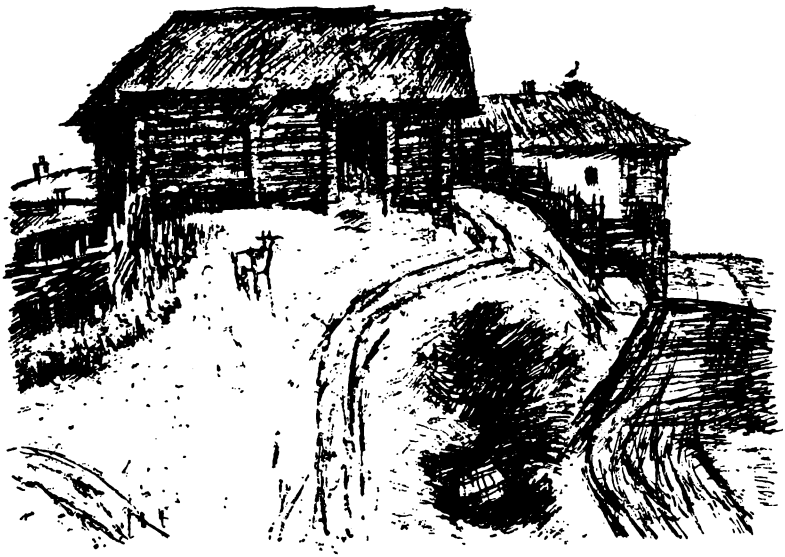
Это капитан Максимов.

* * *

Последний раз перед зрителем возникает стройная снежная крепость. Над крепостью развевается флаг нового гарнизона.

Войско Саши у стен крепости прощается и с почетом провожает куда-то уходящее на лыжах войско бывшего коменданта Тимура.

Декабрь 1940 г.



ПАТРОНЫ

При отступлении испуганные лошади опрокинули в придорожную канаву разбитый ящик с патронами. В спешке никто их не подобрал. И только через неделю, срезая для козы траву, наткнулся на них Гришка. Он вытряхнул козий корм. Навалил в сумку много патронных пачек, принес домой и похвалился:

— Вот, мама! Нашел! Блестящие, новенькие. Я сейчас побегу, принесу еще кучу.

Но мать быстро закрыла огонь в печке и на Гришку закричала:

— Умный ты, Гришка, или полоумный? Тащи сейчас же этот страх и утопи в пруду или в речке. Быстро, или я деда позову!

Вздохнул Гришка: как тут будешь спорить? Взвалил сумку на плечо и понес из хаты.

Но патроны в речку не кинул. Оставил себе три пачки, остальные свалил в кустах, за огородом, накрыл соломой и засыпал сухими листьями.

Утром дед Семен вошел в хату, бросил топор, сел на лавку, распахнул окно, закурил, задымил и сказал:

— Беда, Ганна! Сдается мне, что либо махновцы, либо казаки опять близко. Стою я у колодца и слышу, как за речкой громко да тяжко бомба раза два на лугах грохнула.

Тогда мать кинулась в чулан, проворно собрала одежду, что получше: платок с бахромой, платье, серые дедовы шаровары, розовую Гришкину рубаху. Связала все в узел и спрятала в хлеве, под сухим свиным корытом.

Но махновцы были тут ни при чем.

Вернулся Гришка с речки только к вечеру. Принес он одного карасика, двух ершей да плотичку. Хмуро повесил эту рыбу на гвоздь, чтобы не сожрала кошка, и, не похвалившись уловом и даже не спросив обедать, боком-боком направился было спать на сеновал к деду.

Но мать сразу заметила, что рука у него обмотана тряпкой, глаза виноватые, а лицо унылое. И в тревоге спросила:

— Это что у тебя с рукой, Гришка? Опять патроны?

— Нет, у костра обжог, когда пек картошку. Ты мне смажь да завяжи покрепче, мама.

Тогда мать уверенно сказала:

— Ой, врешь, Гришка!

Но руку ему салом смазала, приложила свежий лопух и чистым лоскутом завязала.

Потом она вышла и села у крылечка.

Большая кругом лежала земля. Большая ходила по дорогам война. Вот тут-то, на войне, и стояла серая с белой трубой хата, где жила мать и ее сын Гришка.

На другой вечер пронесся по улице топот, стук и гром.

Просунулась в дверь винтовка, за ней бородатый казак. Стукнул он прикладом об пол и приказал:

— А подать сюда хорошей еды и самого холодного молока крынку!

Испугался Гришка, вынул патрон из кармана и незаметно кинул его за окошко. Да вот беда! Упал патрон прямо другому казаку под ноги.

Поднял казак патрон, отнес в хату и показал его старшóму.

Отодвинул пустую крынку старшой. Расстегнул ворот, распустил пояс и объявил:

— Не иначе, как здесь оружейный склад. Обыщите вы все сараи и погреба, да и сундуки тоже. А кто тут есть в доме хозяин — посадите его под замок в амбар.

И посадили старого деда Семена в амбар.

Вышла во двор Гришкина мать, заплакала, заругала Гришку:

— Чтоб ты пропал со своими патронами! Беги, расскажи про беду дяде Егору.

— Плохи дела! — сказал Гришке дядя Егор.— Надо выручать старика, а как — не знаю. Пойди узнай, много ли казаков и думают ли они остановиться на ночевку. А я подожду тебя у речки.

Пошел Гришка считать казаков. Но казаки не стоят на месте, а взад-вперед по селу шмыгают. И очень просто одного казака за двоих сосчитать можно. И стал тогда Гришка считать по дворам казачьих коней. Насчитал двадцать три, хотел бежать к дяде Егору — вдруг за кустами раздался выстрел.

Тут выбегает казак, ведет под уздцы коня и кричит:

— Сюда, сюда! Здесь красные близко.

— Что ты городишь, баранья голова? — спросил старшой.— Это наш конь.

— Нет, это их конь,— отвечал казак.— Сейчас я сбил с этого коня одного партизана.

Пока они дивились, выбегает еще казак — сапоги в руках, волосы мокрые — и давай ругаться:

— Ах, такие-сякие, кто моего жеребца увел?

— Да разве же это твой?

— А то чей же? Или у вас глаза ослепли?

Собрались тогда все казаки в кучу и стали разбирать: как же оно такое вышло?

А вышло вот как. Привязал казак коня, а сам кустами по круче полез к речке купаться. А в кустах дядя Егор

сидел и ждал Гришку. Увидел Егор коня без хозяина: «Дай,— думает,— вскочу и помчусь за помощью в лес, к партизанам». Только вскочил на коня, вдруг — хлоп! — ударил сбоку выстрел. Слетел под обрыв дядя Егор и задал скорей ходу назад, в деревню. Пуля только ремень порвала.

Пробрался дядя Егор к амбару и слышит, как дед Семен через стену часового ругает. И так он его стыдит — и жуликом зовет, и разбойником бранит. Рассердился часовой, прислонил винтовку к стене, а сам по лестнице забрался к чердаку и давай тоже деда ругать через окошко.

Вылез тогда дядя Егор, открыл затвор и все пять патронов из казачьей винтовки вынул. «Сейчас,— думает он,— ты слезешь, и я тебя из-за угла тихо возьму, голубчика». И только отпрыгнул дядя Егор за угол, как опять наткнулся на другого казака.

— Ты что здесь прыгаешь? — спросил казак.— Или ты не знаешь приказа по домам сидеть, а по задворкам не шляться?

Отвел он Егора к старшому, и тот приказал:

— А заприте этого прыгуна к старику в соседи.

Заперли и дядю Егора в амбар.

Не нашел Гришка Егора у речки. Когда вернулся, уже совсем темнело.

— Чтоб ты провалился со своими патронами! — еще горше заплакала мать.— Посадили теперь под замок и дядю Егора.

И стало тогда Гришке так жалко деда Семена и дядю Егора, что потекли по его щекам сначала две слезы, потом еще четыре. Но вздохнул он, перестал плакать и молча скрылся.

Подполз он от огорода к амбару. Лежит в крапиве и тихонько шепчет.

— Дядя Егор, дед Семен! Вы разгребайте руками под бревнами дыру, а я отсюда лопатой копать буду.

Но казак, что за плетнем дверь караулил, уши, как волк, расставил и шум услышал.

— Стой! — крикнул он.— Кто идет?

Гришка — бежать. Хлопнул часовой раз, хлопнул курком два, а выстрела-то и нету.

Прибежал старшой и стал ругаться:

— Ты зачем, баранья голова, на посту с незаряженной винтовкой ходишь?

— Неправда! — заорал казак.— Только что заложил я в коробку четыре патрона, пятый загнал в ствол и свернул предохранитель. Вот она, в ногах лежит, от патронов пустая обойма.

Поднял старшой обойму. Подошли тут еще казаки, сбились кучей и стали думать: «Как же оно так вышло?»

Сидела мать у окна и горько плакала. Вдруг просунулась в окно, вся в репьях, лохматая Гришкина голова.

— Ты откуда? — воскликнула мать.

— Дай спички!

— Зачем?

— Дай! — настойчиво повторил Гришка и, схватив с подоконника коробок, скрылся.

И вовремя. Вошел из сеней казак, оглянулся и спросил:

— Ты с кем это, баба, сейчас разговаривала?

— Да так, сама с собой,— отвечала мать, испугавшаяся за Гришку.

Удивился казак и позвал старшого. Удивился старшой и сказал:

— Чудны́ дела, казаки! Люди сами с собой разговаривают. Убитые исчезают. Заряженные винтовки не стреляют.

И тогда покосились казаки на темные окна. И каждый подумал: «А не лучше ли отсюда на ночь убраться к своему полку поближе?»

Но тут грянул в темноте выстрел. И пошел огонь, пошла канонада.

— Красные!

— Окружают!

Повскакали казаки в седла, и только окна зазвенели от конского топота.

А когда все стихло, осторожно просунулась в хату голова Гришки:

— Никого, мама?

— Никого, Гришка.

— Пойдем открывать амбар, мама!

— Погоди, Гришка. Пусть отопрут сами товарищи

— Какие товарищи?

— Красные! Каких ждали!

— Никого, мама, на дворе нету,— хмуро сказал Гришка.— Это я за огородом патроны разложил, завалил сеном, да и зажег спичкой. Вот тут-то они у меня и загрохотали!

Ничего не сказала мать. Вытерла слезы. Зажгла фонарь. Взяла топор. И пошли они с Гришкой сбивать замок с амбара.

1925. 1933. 1941 гг.



КЛЯТВА ТИМУРА

Киносценарий

СЛАВА

Обложка детиздатовской книги «Тимур и его команда». Книгу держит Коля Колокольчиков. Заикаясь и показывая на книгу, он говорит Квакину:

— Не люблю, когда врут! Здесь написано, что когда ты был хулиганом, то я стоял перед тобой бледный. Я никогда ни перед кем не стоял бледный. Это не в моем характере...

Квакин (добродушно):

— Ты стоял весь красный и языком лизал губы. Но вот нос у тебя, кажется, действительно был бледный.

Колокольчиков (обидчиво):

— Нос — это не я. Я... (Делает энергичный жест.) Это вот!.. Вся натура!.. (С досадой.) И художник также нарисовал непохоже: Тимур совсем не такой. (Показывает на обложку книги.) И уж никак не такой! (Тычет пальцем на прикрепленный к стене рекламный киноплакат.) Тимур вот. (Разворачивает номер районной газеты с портретом Тимура.) Стоит прямо! Нос кверху! Смотрит гордо! Уж если кто в кино и был похож, так это ты да Женя...

Гейка снимает трубку телефона и говорит:

— Да... слушаю!

Над его столиком на картоне надпись:

НАЧАЛЬНИК ШТАБА

Внутри чердака все прибрано, механизировано и модернизировано. От прежнего загадочного беспорядка нет и следа. Вместо чурбаков стоят ветхие стулья. На стенах надписи:

СОРИТЬ ВОСПРЕЩАЕТСЯ
НЕ БОЛТАЙСЯ БЕЗ ДЕЛА

Штурвальное колесо с протянутыми от него проводами.

Над ним тоже надпись:

БЕЗ ПРИКАЗА НАЧАЛЬНИКА
ПОДАВАТЬ ОБЩИЙ СИГНАЛ ВОСПРЕЩЕНО

Гейка (недоумевая):

— Слушай, Симаков. Но ведь мы этой старухе только вечером наполнили двадцативедерную бочку. Что ей, в воде купаться, плавать? (Слушает.) Ах, это не ей... соседке... (Берет карандаш, бумагу.) Хорошо. Чей дом? (Готовится записать, но останавливается и говорит.) Дом двоюродной сестры красноармейца Муштакова... (С досадой.) Ну, знаешь... то двоюродная сестра, то троюродная тетка! (Подумав.) Принесите ей ведра четыре. Мы, в конце концов, не водовозная команда...

Положив трубку, зевнул. Смотрит в окно. Заинтересовался.

Через окно: поляна, площадка, играют ребята в волейбол...

Раздается звонок.

Гейка сердито плюхается в рваное кресло, хватает трубку, слушает, потом нехотя отвечает:

— Ничего нового. Все старое. (Выглянув в окно.) Вот идет почтальон, несет почту. Прикажете вскрыть или оставить до вашего прихода?

По узкой тропке между кустов идет почтальон. Общий вид сарая с флагом над крышей. Подошел почтальон к сараю. Крупная надпись:

ШТАБ КОМАНДЫ

Почтальон опускает письмо в висячий фанерный ящик.

Дергает ручку. Раздается звонок.

И почти одновременно ящик с письмами по веревке ползет наверх.

По дачной улице с портфелем идет Тимур.

Он шагает прямо, пожалуй даже преувеличенно деловито. За ним с прохладцей, вразвалочку идут Артем и Юрка.

У поворота, в кустах за забором,— подозрительная четверка ребят вместе с их вожаком Фигурой. Вдруг четверка насторожилась: шагает Тимур.

Четверка слегка попятилась к забору, ребята принимают рассеянно-равнодушный вид. Один из них торопливо прячет за спину окурок.

Увидав ребят, Тимур остановился.

Сопровождающие его Артем и Юрка мгновенно подтянулись: не будет ли боя?

Но Фигура несколько иронически и в то же время опасливо стягивает с головы картузишко и, кланяясь, говорит:

— Знаменитому капитану почет и уважение...

Ничего не сказав, Тимур повернулся, шагнул, и опять вразвалочку двинулись за ним сопровождающие.

Выпятив грудь и скорчив гримасу, передразнивает Фигура тимуровскую походку и показывает ему вдогонку кулак.

Тимур оборачивается.

Фигура быстро делает вид, что эта гримаса относится к одному из его приятелей.

С полными ведрами наперерез Тимуру выскакивают Симаков и Левка.

Тимур (останавливая их):

— Почему днем? Почему не ночью — тайно?

Симаков (со вздохом):

— Тайно больше ничего не выходит. Вот вчера — темно, тихо. Мы с ведрами во двор, а нам из окошка (передразнивает): «Ребятишки, назад пойдете, калитку затворите... Вы что же, не могли поспеть пораньше?» (Тимуру, нерешительно.) Тима, давай наплюем на воду.

Тимур (недоуменно):

— То есть как это — наплюем на воду?

Симаков (запинаясь):

— Ну, конечно, не сюда... не в ведра, а вообще...

Тимур:

— Вообще надо делать то, что тебе приказано! Кончишь работу, приходи к штабу. (Уходит.)

БУНТ

Чердак. Звуки далекой военной музыки. Квакин и Коля Колокольчиков высунулись из окна и слушают. Гейка стоит не шелохнувшись. Музыка обрывается. Гейка поворачивает голову к большой карте Европы. Лицо его сосредоточенно, губы что-то шепчут.

Тимур за столом читает письма. Что-то прочел. Горделивая улыбка на лице Тимура. Он зовет:

— Гейка!

Гейка (не отрываясь от карты и не очень охотно):

— Есть Гейка.

Тимур:

— Иди сюда... Читай письма.

Гейка (не оборачиваясь):

— Знаю не читая: «Дорогой Тимур, нам очень понравилось все, что написано о вашей команде в книге. Ответь, пожалуйста, правда ли все так было или кое-что присочинил писатель». Дальше хвалят тебя и ругают Квакина.

Квакин (оборачиваясь):

— Ой! Как будто нет хуже людей, чем этот Квакин... Тимур, Гейка угадал точно?

Тимур (несколько сконфуженно):

— Точно. (Прислушивается.) Кто свистит?

Женя (просовываясь в дверь чердака):

— Это я. Тимур, что за безобразие?..

Сует ему в руку маленькую районную газету с портретом Тимура.

Тимур (сконфуженно):

— Это действительно безобразие. Я вовсе никого не просил об этом.

Женя (тыча пальцем в портрет):

— Это не безобразие, хотя тоже безобразие. Но я не на это, а вот про это...

Внизу, под портретом, подпись:

«Пионеры обещают колхозу помочь прополоть огороды. Будут организованы две бригады — одна Гейки Рохманова, другая Жени Александровой».

Женя:

— Кто обещал? Я ничего не обещала. Я тебе сказала, что полоть не умею. Я повыдергаю их с хвостами подряд все, что нужно и не нужно. (Запнулась.) Кроме того, если я буду копаться в земле, у меня засохнут пальцы, и Ольга не будет учить меня играть на аккордеоне...

Тимур:

— Это, конечно, самое главное! (Оборачивается и удивленно смотрит на подошедшего Гейку.) Ты что? Может быть, ты отказываешься тоже?

Гейка:

— Да! Щипать траву — это девчачье, а не наше, мужское, дело...

Тимур:

— А какое дело наше?

Гейка (вызывающе):

— Уже говорил. Наше дело — бой и строй... Пер-р-вая рота, напрраво! (Иронически.) А ты скоро заставишь меня щипать кур и вязать кружева для подушек!

Женя (обозлившись на Гейку):

— Очень глупо... «Девчачье»! Подумаешь, какой воин! (Приближая лицо к Тимуру.) Что ты на меня уставился? Все равно ты ничего не видишь! (Горько.) Ты не видишь, что над тобой смеются. (Показывает на надписи и обстановку чердака.) Начальник! Кабинет!.. Телефон!.. «Не курите... Не сорите...» Ты загонял всех ребят своими

приказами, а сам сидишь (швыряет газету) и любуешься своими портретами!

Тимур бледен.

Он дышит тяжело. Он старается сдержаться и отрывисто, но еще пытаясь улыбнуться, говорит:

— Женя, что ты говоришь? Уйди! И сначала подумай... (Берет ее за руку.)

Женя (запальчиво):

— Была команда. Было весело. А теперь тоска. Бухгалтерия. Обыкновенная контора.

Тимур (в бешенстве):

— Контора?! Иди! Уходи прочь! Играй на своей перламутровой гармошке, белоручка...

Женя (сощурив глаза):

— Я... я белоручка... а ты... ты зазнавшийся барин! И это скажет тебе вся команда.

Она вырывает свою руку и одним прыжком подскакивает к штурвальному колесу, над которым крупная надпись:

БЕЗ ПРИКАЗА НАЧАЛЬНИКА
ПОДАВАТЬ ОБЩИЙ СИГНАЛ ВОСПРЕЩЕНО

Тимур кричит:

— Оставь! Не тронь! Пустая девчонка!

Женя поспешно и резко поворачивает тяжелое штурвальное колесо.

Снаружи вздрогнули и натянулись веревочные провода.

Где-то под крышей чужого сарая грохнули жестянки... Звякнули бутылки... Затрещал сломанный будильник...

Чердак... Тимур возле Жени. С силой хватает ее за руку.

Внезапно перед Тимуром появляется Квакин. Он не дерется, а только отрывает Тимура от Жени и взволнованно говорит:

— Ты оставь... Ее ты не трогай.

Тимур рванул колесо... Что-то треснуло... Колесо упало. Звякнули еще раз под крышами бутылки, звякнули, упали и разбились. Бегут через пролазы заборов, через сады мальчишки.

Сад около сарая. Много ребят. Шум, свист, беспорядок. Заметно, что толпа делится на группы.

Квакин стоит, охраняя Женю.

Один из мальчишек пытается дернуть ее за косу и тотчас от тычка Квакина летит на траву.

Востроносая загорелая девочка Нюрка кричит Жене:

— Ты заграничная барышня, нарядная кукла... Ты все хочешь делать только по-своему!

Группа Гейки стоит против маленькой группы Симакова. Тимур идет к Гейке и на ходу говорит:

— Поднимай, собирай, бунтуй! Ты карьерист, а не пионер и начальник штаба.

Коля Колокольчиков подбегает сзади и в страхе кладет Тимуру руку на плечо.

Тимур, не оборачиваясь, отталкивает Колокольчикова. Коля отлетает прочь и горько, обиженно кричит:

— Так я же за тебя... Это ты своих? Своих-то!

Он отходит за деревья. Останавливается. Отворачивается. И, кажется, плачет.

Тимур и Гейка.

Тимур:

— Ну?

Гейка:

— Ну?

Тимур:

— Не сошлись?

Гейка:

— Не сошлись!

Квакин (успокаивая взволнованную Женю):

— Мы соберем свою компанию... Подадимся в лес, на озера... собирать грибы, ловить рыбу... А какие места я знаю! Какие рощи!

Тимур и Гейка.

Тимур:

— Итак?

Гейка:

— Итак!

Тимур:

— Разошлись?

Гейка:

— Разошлись!

Тимур срывает надпись «Штаб команды» и бросает на землю:

— Так пусть же сюда никто... Пусть здесь ничего не будет!

Гейка командует своей группе:

— Перррвая рота, напрраво!

Ребята довольно дружно поворачиваются.

Гейка (оборачиваясь):

— Так помни, Тимур!

Тимур:

— Помни, Гейка!

Ему тяжело. Он поднимает голову и видит Женю, которую уводит за руку окруженный своей группой Квакин.

На мгновение Женя оборачивается, она делает какое-то движение, как бы пытаясь пойти навстречу Тимуру.

Но ее закрывают, торопят...

И, опустив голову, Тимур быстро уходит в чащу кустов. За ним уходит Симаков и еще несколько ребят.

Пусто на поляне перед сараем.

Выходит из-за деревьев заплаканный Коля Колокольчиков. Он смотрит на провисшие веревочные провода, на сорванную фанерную надпись «Штаб команды» и говорит:

— Разошлись... Все в разные стороны.

Потом совсем тихо, удивленно заканчивает:

— А какая была команда! (Пауза.) Какие люди!

В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ

Река. На берегу Тимур. В руках у него дешевенький клеенчатый портфель. Сидя на траве, он расстегивает портфель, просматривает какие-то бумаги, развернул газету. Читает текст: «Пионеры обещают колхозу помочь...» Смотрит на свой портрет.

В гневе комкает Тимур газету, собирает охапкой бумаги, запихивает их обратно в портфель, вскакивает и швыряет портфель с обрыва в речку.

Шлепнулся портфель в воду. Рассыпались и поплыли по реке бумаги. Плывут бумаги. Рябят волны. Красивые зеленые берега.

Плывет по реке лодка. Сидят в лодке Женя, ее подруга Таня. На веслах Квакин. В руках у девочек большие букеты полевых цветов. На голове у Жени венок.

Квакин (обращаясь к Жене):

— Когда я был хулиганом...

Женя:

— Врешь! Никогда ты не был хулиганом...

Квакин (обиженно):

— Был. Спроси у кого хочешь. Мы не только по садам шныряли... Были дела и почище.

Женя (хладнокровно):

— Все равно врешь. Не такое у тебя лицо. Нос не такой. Хулиган должен быть — вот... вот... и вот... (Делает три энергичных движения и гримасы.) А у тебя — вот... вот... и вот... (Делает три глуповато-добродушные гримасы.)

Квакин (обиженно):

— Очень странно! Как это не был, когда был? Конечно, у некоторых выражение бывает вот! (Делает надменное лицо, по-видимому передразнивая Тимура.) Но о них, мне кажется, вспоминать совсем некстати.

Женя (просто):

— Я, Миша, никого не вспоминаю...

Она сняла венок с головы, опустила его в воду. Плывет венок. Плывут корабликами белые тимуровские бумажки.

Сарай. Флаг над сараем.

Чердак. Разгром. Все развалено и растащено.

Поклевывая крошки, воркуют голуби. Вдруг голуби взлетают.

Из темного угла чердака показывается Тимур. Он подходит к древку, развязывает веревки. Сарай снаружи. Опускается флаг.

Чердак. Ножом обрезает Тимур веревку. Флаг команды — звезда с четырьмя расходящимися лучами. Бережно прячет Тимур флаг за пазуху. Еще раз оглянулся. Разор, разгром.

Спрыгнул Тимур с чердака и наткнулся на Колю Колокольчикова.

Тимур:

— Ты что?

Коля (заикаясь):

— Мы тебя ищем. Мы тебя ждем. Мы будем с тобой...

Тимур (обрадованно):

— Кто мы? Где ждете?

Коля (показывая на кусты):

— Ну, мы... народ... люди...

Быстро раздвигает Тимур кусты и видит, что...

На поляне сидят Симаков, маленькая востроносая Нюрка (которой Тимур когда-то вернул козу), за руку она держит круглоголового братишку.

Тут же стоит белокурая шестилетняя девчурка (дочь убитого лейтенанта Павлова). Она держит в руках фанерного зайца. Улыбка скользнула по губам Тимура. И он говорит:

— Гей, люди, люди! Чего вы от меня ждете? Теперь я больше никому не начальник.

Белокурая девчурка молча протягивает Тимуру фанерного зайца. Тимур берет девчурку на руки и, неловко улыбнувшись, говорит:

— Ну что же, люди! Будем начинать жить сначала.

Поле, огород.

Жарко палит солнце. Видны согнутые спины женщин, занятых прополкой. Рука тянется к вдавленному в грядку кувшину с водой. Тимур пьет.

Он босой, одет во все старенькое. На голове плохонькая кепка. Руки его черны. Локтем вытирает он лоб и через борозду передает кувшин Коле Колокольчикову, который, стоя на коленях, выпалывает траву.

На Коле широкая дырявая шляпа из соломы. Глотнув воды, он передает кувшин дальше.

На участке работает всего человек десять мальчиков и девочек.

Возле маленькой загорелой растрепанной Нюрки сидит ее большеголовый братишка и тычет пальцем в какую-то букашку.

Поднялась, перепрыгнула Нюрка через грядку и, остановившись возле работающего Тимура, объясняет:

— Ты хватаешь лебеду одной рукой; бери двумя сразу. (Показывает). А полынь не тяни за стебель, запускай пальцы в землю, дергай под корень.

Тимур:

— Хорошо, понятно!.. Я свою гряду окончу, приду к тебе на помощь.

Нюрка (удивленно):

— Да я в два раза скорее тебя окончу. Эту работу я знаю. Это тебе не колесо крутить. (Показывает.) Трын... брынь... зазвенело!

Она перепрыгнула к Коле Колокольчикову, сразу что-то заметила и наклонилась:

— А ты, дорогой, рассаду выдернул да и пхнул назад без корня в землю! Бригадир придет — стыдить будет. А меня бабка раньше за такие дела по ногам крапивой.

Раздается удар о подвешенный железный рельс — это перерыв. Кончают работу взрослые женщины.

На ребячьем участке Коля встает, пробует выпрямиться, гладит свою поясницу.

Медленно, вытирая лбы, поправляя сбившиеся волосы и отряхиваясь от земли, выходят на межу и садятся рядышком на траву мальчишки и девчонки.

Высоко в небе летят самолеты.

И как сидят ребятишки по меже, так, не сходя с места, один за другим ложатся спиной на траву и смотрят в небо.

Летят самолеты.

Нюрка (лежа возле Тимура):

— Далеко полетели?

Тимур:

— Не знаю.

Нюрка:

— Это простые или военные?

Тимур:

— Военные...

Нюрка:

— А война будет?

Тимур:

— Говорят, будет...

Нюрка:

— Нам что!.. Нас не возьмут... Нас это дело не касается...

Откуда-то из-под лопуха возмущенный голос Колокольчикова:

— Как не касается?! А еще пионерка! Это всех касается.

Нюрка (равнодушно):

— Сиди! Ты капусту зачем в грядку без корня втыкнул?.. А тоже — касается!..

Мужской голос:

— Здоро́во, ребята!

Все вскакивают и опять садятся на меже рядом.

Мужчина:

— Кто у вас тут старший?

Коля Колокольчиков (показывая на Тимура):

— Он старший... А она (на Нюрку) вроде как бы ученый специалист по капустной части.

Мужчина (Коле):

— А ты кто?

Коля (задорно):

— Я рядовой пионер, товарищ председатель. Чин небольшой, но весьма почетный...

Раздается удар молотка о рельс. Все поднимаются.

Мужчина (приглядываясь к измазанному, плохо одетому Тимуру):

— Ты Тимур?

Тимур (не очень охотно):

— Да... Тимур...

Мужчина (оглядывая небольшую кучку ребят):

— Почему же народу пришло так мало? Я слыхал, что у вас ребят много...

Тимур (горько):

— Все пришли... (Отворачиваясь). Остальные... заняты, товарищ председатель.

За кадром громкая команда:

— Рота, кр-р-ругом!

И видно, как на зеленой площадке у забора, возле которого сидит на лавочке старуха, человек двадцать ребят маршируют строем.

Гейка командует:

— Стой!

Остановились ребята.

Гейка командует:

— Ложись!

Легли.

Гейка:

— Вставай!

Встали.

Гейка:

— Ложись!

Легли.

Гейка:

— Вставай!

Встали.

Гейка очутился рядом с сидящей на скамейке старухой.

Старуха поднимается. У ее головы на калитке вычерчена углем пятиконечная звезда — знак тимуровской команды.

Старуха спрашивает у Гейки:

— А что, сынок, разве воды в бочку вы мне и сегодня не принесете?

Гейка смутился, отвернулся и командует:

— Стоять смирно! Не шевелись! Вы кто? Военная рота! Ваше дело — строй, бой! (Меняя голос.) За мной, ша-агом марш!

Дружно топнули за Гейкой ребята.

Гейка, оборачиваясь к старухе, хмуро вполголоса говорит ей:

— Нет, мамаша, воды больше никому не будет.

Вдоль забора по аллейке идет усталый, измазанный Тимур. Он тащит два ведра с водою, за ним следом двумя руками тащит одно ведро Нюрка.

Слышен мерный, ровный топот и команда: «Ать... два... ать... два...»

Из-за поворота во всю ширину аллеи прямо навстречу Тимуру ведет свой отряд Гейка.

Увидал Тимура. (Лицо Гейки.) Усталая, немного смешная фигурка обтрепанного, чумазого Тимура.

Встревоженное лицо Нюрки.

Шагает отряд.

Удивленные лица всей первой шеренги отряда.

Гейка (сурово):

— Ать... два... ать... два!

Отряд идет прямо на Тимура.

Тимур оборачивается и видит, что Нюрке нести ведро трудно. Тогда он продолжает идти не сворачивая.

Большой отряд и Тимур с маленькой Нюркой сближаются почти вплотную.

Гейка не выдерживает и зло командует:

— Пол-оборота на-пра-во!

Отряд сворачивает и обходит Тимура и Нюрку.

Гейка (зло, но почти с восхищением):

— Упрямый... черт! (Кричит.) Пол-оборота на-ле-во!

Тимур, продолжая идти, говорит Нюрке насмешливо, но удовлетворенно:

— Кутузов! Барклай де Толли... Эк он команду рявкнул!

...Музыка аккордеона.

На террасу поднимается полковник Александров. Аккордеон внезапно смолкает. Навстречу отцу выскакивает Женя. За ней — Ольга.

Женя бросается отцу на шею, виснет, болтает ногами и, счастливая, ревниво отталкивает Ольгу.

Ольга:

— Женька!.. Папа, что она меня к тебе не пускает!

Женя:

— Папа, ты как... ты к нам почему?

Отец:

— А что? Разве ты мне не рада?

Женя:

— Рада. Но ты говорил: нельзя... Тебе всегда некогда... (Смотрит на отца.) Папа, почему у тебя было три шпалы, а стало четыре? Ты теперь полковник? А ты генералом будешь?

Ольга (мягко обнимая отца и отталкивая Женю):

— Нет, не будет, потому что ты оторвешь ему голову или свернешь шею. Папа, ты к нам надолго?

Отец:

— Надолго!

Женя (обрадованно):

— О, как давно ты не приезжал к нам надолго!

Она не знает, как услужить отцу: хватает его фуражку, кладет ее на подоконник, берет из его рук плащ, полевую сумку. Ведет за руку в комнату, заглядывает ему в лицо и бормочет:

— Тебе будет с нами хорошо... (Оглядывается.) Ты будешь спать в моей постели... (Показывает.) Здесь мягче... А я лягу вот на этом диване. (Садится на диван.)

Широкоплечий полковник смотрит на ее узкую легкую кровать с кружевными оборками и, улыбнувшись, говорит:

— Нет, дорогая, уж лучше я лягу на диван.

И сел с ней рядом. К ним подсаживается Ольга.

Полковник, освобождая Ольге место, берет с дивана книгу и, заглядывая в нее, спрашивает:

— Как дела с твоей железобетонной специальностью?

Ольга (со вздохом):

— Папа, завтра я должна уехать в город, у меня консультация. Из города я вернусь только послезавтра к обеду. (Торжествующе.) Но зато в понедельник у меня последний экзамен!

...Утро. Яркое солнце. На веранде за чайным столом сидит полковник. Он в простой белой рубашке. Ольга ставит на стол завтрак. Во время всей сцены она готовит и жарит яичницу, подчитывает учебник и укладывает свои книги и вещи в чемоданчик.

Женя подхватывает с середины стола тарелки с едой, пододвигает их вплотную к стакану отца, и вот на столе перед ним не остается и сантиметра свободного места.

Ольга подает еще тарелку. Женя хватает ее и ставит вторым этажом (больше некуда) на молочник.

Отец, оглядевшись, отодвигает посуду:

— Постой... постой! Ты меня совсем посудой задавила. Я не голоден. Я приехал из богатого края.

Женя:

— А из какого?

Отец (хитро покосившись на дочь):

— Спрашиваешь? А что не скажу — знаешь.

Женя:

— Папа, а там еще войско есть?

Отец:

— Есть.

Женя:

— Но лучше твоего танкового полка уж, наверное, нигде нету. Я так давно решила!

Отец (добродушно):

— Ну конечно, если ты так решила, то тогда нету.

Женя:

— А если бы сам нарком?..

Отец:

— Он... он бы, вероятно, еще подумал.

Женя (со смехом):

— Я не могу думать! Я уже сказала об этом всем своим друзьям и подругам.

Отец:

— У тебя друзей много? И конечно, из них Тимур первый?

Ольга:

— Ну как же... Женя, почему его и вчера и сегодня не видно?

Лицо Жени. (Растерялась.)

Отец (поддразнивая):

— Что же ты так вспыхнула? А я его по пути с другой девчонкой встретил... (После паузы, успокоительно.) Он

был чумазый, и они несли в ведрах воду. Ты его позови сюда, Женя.

Женя встала. Она, по-видимому, хочет что-то сказать отцу, но Ольга не так поняла ее движение и остановила:

— Женя, погоди, не сейчас. Папа приехал надолго, и ты еще Тимура сто раз позвать успеешь...

Женя (вспыхнув):

— Я?.. Позвать... Ты ничего не понимаешь!

Полковник посмотрел на Женю.

На глазах у нее слезы.

Полковник:

— Женя, что с тобой?

Она быстро проводит пальцами по ресницам и говорит задумчиво:

— Ничего! Папа, на земле все говорят: «Война и война...» Папа, посмотри, какое небо голубое! Мы будем ходить в лес... на речку... купаться... кататься на лодке... и ты будешь не полковник, не рабочий, не служащий, а просто папа. (Пытливо заглядывает ему в глаза.) Так не бывает? Ну, хорошо, пусть ненадолго, только на один месяц. Мы будем жить весело. Если у тебя есть деньги, ты подари мне патефон, мы будем заводить марши, танцы. Папа, я что-то говорю... говорю... а сама знаю, что это глупости. Но мне хорошо, и я при тебе не могу говорить иначе.

Ольга (укоризненно, отодвигая стакан):

— Женя, когда ты так говоришь, я не могу пить чай. Вот видишь, и папа ничего не ест тоже. Ты говори что-нибудь поспокойнее и попроще.

Женя (зажмуриваясь):

— Ах, это просто! Это все очень просто!..

Отец (меняя тему разговора):

— Мы попьем чаю, проводим на вокзал Ольгу и пойдем гулять. Ты покажешь мне ваш сад, ваш штаб, ты позовешь Тимура.

Женя (опять растерявшись):

— Его, наверное, дома нет. Они в колхозе на работе.

Отец (добродушно):

— А ты почему не на работе?

Женя (совсем растерявшись):

— Я... не знаю... там, наверное, уже есть люди... и больше туда не нужно.

Полковник (заглядывая Жене в лицо):

— Ты что-то краснеешь, путаешься. Женя, сядь и скажи мне правду.

Тропкой по роще-парку идут возвращающиеся с работы Тимур, Нюрка и ее маленький братишка. В руках у них прополочные тяпки.

В лесу слышен далекий свист.

Тимур (передавая Нюрке свою тяпку):

— Ты иди, а я пойду напрямик (показывает) рощей...

Нюрка:

— Завтра на работу опять в то же время?

Тимур:

— И завтра и послезавтра. Людей у нас теперь мало, а что обещано, то будет сделано. (Взглядывает Нюрке в лицо.) Почему у тебя на носу ссадина?

Нюрка (беспечно):

— Эка беда, ссадина! Кабы на ноге или руке... А я не носом работать буду.

Тимур скрылся в кустах.

Нюркин братишка-малыш (показывая палец):

— А у меня, Нюрка, на пальце царапина.

Нюрка (добродушно):

— И тебе не беда. Ты все равно большой лодырь... (Насторожилась.)

В роще повторяется свист.

Тимур выходит на маленькую поляну. Окрик:

— Стой!

Тимур остановился.

Его окружает шайка под командой Фигуры.

Фигура:

— Ну, теперь мы тебе покажем!

Тимур смотрит на Фигуру и, пожав плечами, свысока спрашивает:

— А что ты, Фигура, со мной можешь сделать?

Фигура (озадаченно):

— Как что? Мы тебя изобьем по чем попало.

Тимур (после паузы):

— Бей! Но до смерти ты меня не заколотишь. А наши узнают, и тебе самому спуска не будет.

Фигура:

— Врешь! У тебя больше нет команды! Ваша команда кончилась, разлетелась... Теперь опять мы — сила!

Тимур:

— Кончилась? Разлетелась? Это наше, а не твое дело. Ну, бей! Видишь, я уже и глаза зажмурил.

Фигура (после колебания — ударить Тимура или нет, говорит грозно и удивленно):

— У тебя две жизни или одна? Ты со мной как разговариваешь? О чем думаешь?

Тимур трогает Фигуру за рукав и совсем неожиданно спрашивает:

— Фигура, ты стихи любишь?

Фигура (вылупил глаза, удивлен до крайности):

— Чего-о?

Тимур:

— Стихи. Ну вот, например:

Отец, отец! Дай руку мне...
Ты чувствуешь — моя в огне.
Знай, этот пламень с юных дней,
Таяся, жил в душе моей...

Скажи, Фигура, у тебя пламень в душе есть?

Фигура (опять вылупив глаза):

— Чего-о? Я тебя еще раз спрашиваю: ты когда со мной говоришь, о чем думаешь?

Тимур (продолжает):

Имел одной он думы власть,
Одну, но пламенную страсть...

(Деловито.) Вы меня бить будете? Так бейте, не задерживайте! (С досадой.) А то вам зря шататься, а мне завтра чуть свет на работу!..

Фигура (после долгого колебания, зло):

— Иди к черту!

Тимур:

— Прощай, Фигура... Стихи я тебе потом дочитаю... (Уходит.)

Повернувшись к ребятам и кивнув головой в сторону ушедшего Тимура, Фигура говорит:

— Вот упрямая порода! Что это он там бормотал? (Надвигаясь на одного из мальчишек.) А у тебя есть в душе пламень?

Мальчишка (гордо):
— Нет... этого нету...
Фигура (горько и зло):
— Вот то-то и есть, что нету!

НОВЫЕ ВРЕМЕНА

Ровным строем катит по дороге к парку отряд мороженщиков.

Идет по дороге к парку отряд бутербродно-конфетных лоточниц.

Мощный радиатор пятитонки.

На ней играет, поблескивая медными трубами, оркестр духовой музыки.

В роще танцующие пары.

Широкая, врезающаяся клином в лес поляна с островками густой зелени. Вдали под деревом на грузовике оркестр, там кружатся танцующие пары. Проглядывая сквозь просветы между белыми облаками, светит солнце.

По опушке под деревьями и кустарником расположились веселые отдыхающие группы.

От опушки к чаще кустов, в тень, осторожно подъезжает легковой «ЗИС».

Выскакивают из него с кульками, с провизией, с сумками взрослые и ребята.

Мимо «ЗИСа» идут полковник Александров и Женя.

Женя (неуверенно):

— Я... я думаю, что Тимура здесь нет... Они, наверное, опять на работе.

Полковник:

— А ты завтра пойдешь на работу?

Женя (отрицательно мотает головой):

— Нет. (Пауза.) Если они там, я к ним пойду еще сегодня.

На пне под кустом стоит патефон.

На траве, на скатерти, закуска. Тут же, прислонившись к дереву, сидит задремавший дедушка.

Молодой человек (наклонившись к девушке):

— Идем! Мы только немножко потанцуем и вернемся обратно.

Девушка:

— Да! Но тогда нужно разбудить дедушку.

Стоя, они берутся за руки и, счастливо улыбаясь, смотрят в глаза друг другу.

Хруст шагов — и, испуганно разжав руки, они прячут их за спину.

Невдалеке показались полковник Александров и Женя.

Женя (прижимаясь к отцу):

— Папа, а ты мне патефон подаришь?

Полковник:

— Сказано.

Женя:

— Слово?

Полковник:

— Слово!

Женя (лукаво):

— А какое? Бывает слово пионерское, советское, комсомольское, красноармейское...

Полковник (полушутя):

— Мое — бронетанковое.

Женя (удовлетворенно):

— О! Это, конечно, тяжелое и верное слово!

«ЗИС» в тени дерева. Около машины стоят два бледных человека... Один из них, напряженно слушая радио, машет рукой в сторону духового оркестра.

Оркестр продолжает играть.

Около «ЗИСа» стоит уже человек двадцать... Подбегают еще люди... И уже многие отчаянно машут оркестру руками. Но дирижер стоит спиною, он не видит, и оркестр продолжает играть. Ближайшие танцующие пары, обрывая танец, бегут к «ЗИСу».

Кто-то дернул дирижера за ногу. Он останавливается, на его лице недоумение.

Он растерянно машет рукой, музыка стихает.

В лесу молодой человек и девушка. Он говорит ей решительно:

— Идем! Мы только немного потанцуем и придем обратно.

Девушка:

— Да, но тогда нужно подойти и разбудить дедушку...

Молодой человек озорно подкрадывается к патефону, поднимает мембрану и пускает пластинку.

Дедушка открыл глаза, улыбнулся и увидел, как счастливая пара выскочила на поляну и, чем-то пораженная, остановилась.

Недоуменные и растерянные лица молодой пары.

Перед ними безмолвно замершая поляна. И, не шелохнувшись, все, сколько ни есть людей, стоят, повернувшись лицом к «ЗИСу».

Голос наркома из репродуктора:

«...Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну...»

Безмолвные люди. Бледные лица взрослых. Лица ребят, стоящих возле Гейки. Молодая пара.

Лицо полковника Александрова и Жени.

Голос наркома продолжает:

«...Атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города...»

Тревожный лязг металла о железный рельс.

Голос наркома продолжает:

«...Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие...»

...Рука с молотком тревожно бьет по рельсу.

Огород позади села.

Быстро поднимают головы женщины-пололыщицы. И на тревожный звон бегут к селу.

Тимур, Нюрка, Симаков и другие ребята вскакивают с земли.

Тимур:

— Это не на обед... (Недоуменно.) Я не знаю, что это значит!

Нюрка:

— Это, наверное, пожар... Бежим... бежим... ребята!

Перескакивая через грядки, они мчатся к взрослым, бегущим к селу.

Опять поляна. Безмолвная толпа.

Голос наркома: «...Теперь, когда нападение на Советский Союз уже совершилось...»

Лицо полковника Александрова и Жени, которая смотрит в его лицо.

...Село.

Перед репродуктором в толпе колхозников стоят Тимур и Нюрка.

Голос наркома:

«...Советским правительством дан нашим войскам приказ — отбить разбойничье нападение и изгнать германские войска с территории нашей Родины...»

Глаза Тимура становятся все шире и шире, и, не глядя, он прижимает к себе маленькую перепуганную Нюрку.

В музыке нарастающий гул самолетов, звук сигнальных труб. И могучий гром артиллерии.

Настольный календарь:

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 22 ИЮНЯ 1941 ГОДА

На столе рядом с календарем лежат крепкие командирские пояс, ремни, полевая сумка и револьвер в кожаной кобуре.

Рука берется за пояс.

Полковник Александров (одергивая надетые ремни) старается говорить ясно, спокойно, что ему не совсем удается:

— Жаль, что нет Оли. Но ты скажи ей, что я ее люблю, помню. Ты скажи ей, что мы вернемся...

Женя (подсказывает полушепотом и как будто безучастно):

— Не скоро...

Полковник сжал губы, чуть опустил голову, но, тотчас подняв ее, медленно, как бы подыскивая слова, продолжает:

— Ты скажи ей, что она — дочь командира... И что вы не должны обо мне плакать. Слышишь? (Он трогает окаменевшую Женю за плечо.) Женя! Ты меня слышишь?

Женя (ровно, чтобы не сорваться):

— Слышу... (Пауза.) Мы... не будем... (И шепотом доканчивает.) Мы привыкли...

Женя отворачивается, плечи ее вздрагивают.

За окном резкий гудок машины.

У подъезда дачи стоит «ЗИС». В нем свободно только одно место, остальные заняты ожидающими полковника командирами.

Полковник берет Женю за руки и говорит ей совсем другим голосом, простым и взволнованным:

— Что мне тебе сказать еще, Женя? Вот я большой... уже седой. А я стою... смотрю... и что говорить, не знаю...

Женя хочет ответить, она мотает головой, машет руками и только потом бормочет:

— Ничего... ничего не говори, папа!.. Я все... все сама понимаю...

Она бросается к отцу...

Настольный календарь:

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 22 ИЮНЯ 1941 ГОДА

...Возле стола у окна стоит Женя. Слышен стук...

Распахивается дверь. Входит взволнованная Ольга и, остановившись у порога, в страхе спрашивает:

— Женя! Где папа?

Женя ничего не ответила.

Не поворачиваясь, молча, медленно она подняла руку... потом резко вниз, в сторону окна руку опустила.

Резкий переход на шумливо-взволнованную музыку.

Несутся навстречу один другому двое мальчишек...

Расстояние между ними уменьшается. Но, еще не добежав один до другого, как бы что-то вспомнив, они останавливаются; поворачиваются и в том же темпе мчатся назад в противоположные стороны.

Бежит один из этих мальчишек, столкнулся с другим мальчишкой.

Первый мальчишка (растерянно):

— Ну что?

Второй:

— Ну ничего!

Первый:

— Ты куда?

Второй:

— Я... не знаю.

Бегут рядом.

Выскакивают из-за поворота две девчонки.

Первая девчонка:

— Мальчики, погодите, и мы с вами!

Первый мальчишка (зло):

— С нами... с нами... Мы никуда сами...

Обгоняя их, по улице рысью промчались два кавалериста.

...Густая полоска кустарника разделяет две тропки. По одной шагает Гейка, по другой — Квакин.

В просвет между кустами они увидали один другого. Сразу замедлили шаг.

Гейка (Квакину):

— Ты куда?

Квакин (обламывая веточку и небрежно ею обмахиваясь):

— Я? Гуляю... А ты?

Гейка хочет что-то сказать, но раздумал, потом махнул рукой и буркнул:

— Ну и гуляй своей... а я своей стороной!

Разошлись.

Сарай. Опущенные, провисшие провода. Возле сарая бестолково мечется несколько ребятишек.

Выглянули из-за забора сразу три головы. Увидав, что они не первые, нахохлились... И одна голова кричит сердито:

— Вы сюда зачем? Это не ваше место!

Пробирается кустами к сараю Квакин. С противоположной стороны пробирается кустами к сараю Гейка.

Столкнулись...

Гейка (Квакину):

— Гуляешь?

Квакин (сделав Гейке страшную гримасу):

— Гуляю.

Поворачивается и бежит к сараю...

За ним Гейка.

Поляна.

Увидав двух вожаков, бросились к ним навстречу мальчики.

Разом перепрыгнула через забор тройка. Подбегают еще мальчишки.

Квакин громко спрашивает:

— Где Тимур?

Чей-то голос:

— Нет Тимура!

Квакин смотрит на провисшие провода...

Он махнул одному из мальчишек рукою... Тот ловко взбирается ему на плечи, хватает руками и дергает за веревочные провода.

Звякнули где-то горлышки разбитых бутылок..

Машет впустую железная палка... Дружно звякнули жестянки.

На поляне уже много народу, но еще и еще подбегают ребята.

С заплаканным лицом, закрыв глаза, стоит у дерева Женя...

Шум, волнение, крики:

— Где Тимур, куда его черт носит?!

Вдруг шум смолкает.

Из-за кустов с тяпкой в руках выходит вернувшийся с работы Тимур. За ним Нюрка, Артем, Симаков, Коля Колокольчиков.

Раздается шум, свист, «ура» и крики:

— Да здравствует наша команда!

Гейка хватает за руку растерявшегося Тимура и хмуро говорит:

— Иди... иди... говори! Не ломайся!

У калитки дачи Александровых раздается команда:

— Взвод, стой!

С топорами, ломами, лопатами красноармейский взвод останавливается.

Лейтенант открывает калитку. Поднимается по ступенькам террасы. Что-то увидел. Замялся.

Опустив голову на руки, сидит у стола Ольга.

Лейтенант кашлянул. Ольга обернулась. Вскочила и, торопливо вытирая слезы, спросила:

— Вы к кому? Папа уже уехал...

Лейтенант (здороваясь):

— У меня к вам дело.

На поляне перед сараем много ребят; поодаль, наблюдая за ребятами, стоит несколько взрослых.

Придерживаясь рукой за круто приставленную к чердаку лестницу, взволнованный Тимур говорит:

— Что я могу вам сказать? Я не капитан, не командир... а такой же, как вы, мальчишка. Люди идут на фронт, и надо много работать... молотком, топором, лопатой, в лесу, в огороде, в поле. Была игра, но на нашей земле война — игра окончена...

Шум в толпе.

Тимур (звонко):

— Мальчишки и девчонки! Вот вы киваете головами,

шумите: «Давай! Давай! Будем ворочать горы!» А пройдет три дня... (ропот) ну, три недели, три месяца — работа надоест, и выйдет, что мы не пионеры, а хвастуны и лодыри. (Ропот.) Мне говорить так горько, но лучше сказать сразу напрямик, чтобы потом никто не ныл и не хныкал. Давайте жить дружно!

Лица Квакина, Гейки, Жени.

Тимур:

— Нас много, а будет еще больше!

Резкий свист. Свистит Симаков. Люди оборачиваются.

В тени дерева стоит подошедший со всей своей компанией Фигура.

Тимур (командует):

— Отставить! Подходит подкрепление — «последний могикан», гроза садов и морковных огородов.

Тимур вытаскивает из кармана и развертывает старый флаг команды: пятиконечную звезду с опущенными вниз четырьмя лучами.

— И вот у нас уже целый пионерский отряд — и не одна, а три команды: Гейкин — весь поселок, у Квакина — лес и поле, а эти... (улыбнувшись и показывая на Фигуру) ночной патруль по охране покоя и общественного порядка!

Лицо Фигуры озадачено.

Треск. Как по волшебству, сдвигается с места целиком весь ветхий заборчик.

Теперь видно, что как он стоял, так его целиком выдернула из земли и, развертывая, отнесла в сторону шеренга красноармейцев.

Стоят лейтенант и Ольга. К ним бросаются ребята, Тимур, Женя.

Ольга (Тимуру):

— Свой штаб вы можете перенести к нам на террасу, а здесь, около сарая, будет стоять зенитная батарея.

На улице под деревьями стоят, одетые в чехлы, пушки.

Окно незнакомого дома. Квадрат стекла снаружи.

На стекле две пары рук быстро ставят «знак войны» — это узкие, скрещенные наискосок и еще раз перекрещенные через центр бумажные полосы для предохранения стекол от бомбежки.

Внутри комнаты ловко работают, оклеивая окна, Женя и Таня.

Одеты они по-рабочему просто, волосы туго завязаны косынками.

Еще две девочки режут на столе полосы бумаги.

Грудной ребенок, сидя на полу, ловит и дергает, играя, свесившиеся со стола полоски.

Женя погрозила ему пальцем.

Оклеив окно, девочки выбегают во двор.

Во дворе возле грядок много мальчишек с лопатами, ломами, топорами. Они сидят на досках, положенных на бугры свежевыкопанной глины.

Глубокая, идущая траверсами бомбозащитная щель.

Тимур с куском мела в руках стоит у забора. Тут же — его лопата. К нему подходит Коля Колокольчиков.

Тимур приказывает:

— Дай сигналы: «Внимание!», «Вижу врага», «Подать патроны».

Коля Колокольчиков поднимает согнутую правую руку ладонью вперед — пальцы на уровне головы, опускает правую руку. Левую вытянутую относит в сторону, опускает. Потом высоко, во всю длину, поднимает правую и крутит ею над головой.

Тимур (передавая мел):

— Хорошо! Напиши: «Вижу взвод».

Коля рисует.

Тимур:

— «Вижу роту с пулеметом и две пушки».

Коля к кресту прибавляет еще продольную черточку, потом менее уверенно ставит еще два знака.

Тимур, забирая мел, зачеркивает последний знак и говорит с усмешкой:

— Обедать будешь после. Пулемет на плане обозначается так. (Рисует.) А это у тебя не пулемет, а кашевар с походной кухней.

Гейка (поднимаясь, командует):

— Становись на работу!

Ребята хватают топоры, грабли и лопаты.

Один из них прыгает в узкую земляную траншею. Другие тянут доски, пилят и рубят крепежные стойки.

Женя (подходя к взявшему лопату Тимуру):

— Мы побежали. Мы пойдем к комсомолкам... шить мешки и брезентовые рукавицы. Там нас ждет Оля...

Тимур:

— Никуда вы не побежали. Собирай девчонок, идите на огороды!

Женя (жалобно):

— Но, Тима! Мы только недавно оттуда... Нас прогнали... Квакин нагнал туда столько народу, что председатель нам велел уходить обратно. Если не веришь (показывает в сторону улицы), спроси у Фигуры.

Тимур (строго):

— Не зови его больше Фигурой, зови Васькой.

Женя (улыбаясь):

— Есть Фигуру звать Васькой!

Улица.

Фигура и с ним еще несколько мальчишек несут ведро, мочальную кисть и свертки бумаги.

Не держась за руль, лихо прокатил мимо них щеголеватый, в брюках гольф, паренек-велосипедист.

Ребята останавливаются у забора.

Приклеивают белый лист: «Приказ штаба противовоздушной обороны № 1». Второй лист — лозунг:

ТЫЛ, ПОМОГАЙ ФРОНТУ ЗАЩИЩАТЬ РОДИНУ!

Полюбовавшись на свою работу, Фигура сухой тряпкой разглаживает бумагу.

Щеголеватый паренек соскочил с велосипеда и, расталкивая ребят, читает приказ.

Фигура (давая тычка пареньку):

— Кати, кати!.. Не для таких лодырей про эти дела писано...

Паренек обиженно попятился.

Поле. Очень много голов склонилось над грядами.

Раздается русская песня, но слова ее не все знают, и поэтому поющие часто повторяют одни и те же строки:

Эх ты, степь моя...
Степь широкая,
Степь широкая
Да раздольная...

Квакин, поднимая голову, говорит Симакову:

— Когда я был хулиганом, я совсем не знал, что полоть капусту — это тоже трудно...

Степь широкая,
Степь раздольная...

Квакин выпрямился и говорит задумчиво:
— Когда я буду красноармейцем, тогда я буду...
Симаков:
— Ну, и что ты тогда будешь?
Квакин (гордо):
— А вот увидишь, что я тогда буду!

Ночь. Дачный поселок точно вымер. Тявкает собака.
Шаги.
Силуэт патруля. Это какой-то комсомолец и Ольга. Они с противогазами.

Чужая комната. Яркий электрический свет.
Старуха подходит и поправляет одеяло, закрывающее окно.
Рядом с окном этажерка. На ней спит кошка.
Старуха подходит к дивану, где спит возле игрушек малыш, берет его на руки и уносит.
Кошка на этажерке просыпается, открывает пасть и, потягиваясь, выпускает когти.

Ночь.
Идут Тимур, Фигура и еще четверо из ночного патруля.
Тимур прощается с Фигурой.
— Вася! Я на тебя надеюсь... Ты смотри, не того... чтобы все было как надо!
Фигура (хмуро):
— Капитан! У меня или уже как не надо, или уже все как надо. А на две стороны я никогда не работаю.
Разошлись.

Плывут светлячками затемненные фары.
Возле Фигуры бесшумно остановилась легковая машина. Открывается дверца, и виден силуэт головы человека. Человек спрашивает:
— Мальчики! Как проехать к штабу противовоздушной обороны?
Фигура (после паузы):
— Сначала скажи быстро, как зовут Ворошилова.

Человек, не запинаясь, отвечает:

— Климент Ефремович.

Фигура:

— Откуда он родом?

— Донецкий слесарь из Луганска.

Фигура:

— Первый поворот налево, второй переулок направо. Там вас остановят.

Машина отъезжает.

Голос из машины:

— Молодец! Ты хитер, парень!

Фигура (хмуро, своим ребятам):

— Пятнадцать лет все за хитрость ругали, а вот хоть один раз да похвалили!

Светлая комната.

Изогнувшись, прыгнула с этажерки кошка на закрывающее окно одеяло, вцепилась в него когтями и сорвала неплотно прибитый край.

Улица.

Узкий, но яркий луч света падает со второго этажа на патруль Фигуры.

Фигура бросается к дверям дома и стучит кулаками и ногами.

Другая комната.

Заснула старуха возле кровати ребенка.

Отчаянно колотят в дверь ребята.

Проворно по водосточной трубе, потом по карнизу лезет Фигура к освещенному окошку, добрался и громко стучит в переплет рамы.

Вдруг раздается зловещий вой сирены и паровозных гудков.

Это воздушная тревога.

Ребята шарахнулись внизу от двери.

Фигура сверху кричит:

— Вы куда? Лезь через забор! Пробирайся в дом с черного хода!

Ударила зенитная батарея.

Искаженное лицо Фигуры.

Он смотрит вниз, собираясь прыгнуть в темноту, но вот он выпрямляется и, придерживаясь раскинутыми ру-

ками за шероховатую стену, закрывает своей спиной узкую полоску света.

Удар!

Еще удар!!!

Прожектор...

Тени возле зенитки.

Женя проснулась. Вскочила. Надела на плечо противогаз.

Дрожащими руками схватила со стола и поцеловала фотографию отца, выбежала на улицу.

Удар!

Недалеко от входа в подвал-бомбоубежище, взявшись за руки, торопливо шагают цепочкой совсем маленькие ребятишки с няньками, очевидно из детского сада.

Один малыш тащит игрушечного слона и, задрав голову к небу, спотыкается.

Их встречают Ольга и дежурный комсомолец.

Из-за его спины выглядывает лицо Жени.

Ольга (заметив Женю):

— Женя, иди вниз. Здесь без тебя обойдутся.

Женя (хватает спотыкающегося малыша).

— Я сейчас, я только возьму вот этого!

(Берет малыша на руки.)

Гул приближающихся самолетов.

Удар.

Разрывы зениток.

Малыш (Жене, доверчиво):

— Это гром?

Женя:

— Да, это гром.

Опять удар и треск зенитного пулемета.

Малыш:

— Потом будет дождь?

Женя (пригнувшись и опасливо глянув на небо):

— Да, потом будет дождь.

Удар.

Длинная очередь из пулеметов.

Трассирующие пули в небе.

Малыш:

— А потом будет хорошая погода?

Женя, скрываясь за тяжелой дверью бомбоубежища, говорит торопливо:

— Да!.. Да!.. Потом будет очень хорошая погода.

Удар.

Стоит, заслоняя собой свет, Фигура.

Снизу, откуда-то из-под кустов, ему кричат:

— Васька! Скорее вниз прыгай! Что ты думаешь?

Фигура (злорадно):

Имел одной он думы власть,
Одну, но пламенную страсть!..

Трусы! А что скажет наш капитан? Я ему обещал, что все будет сделано как надо!

Бегут взрослые дружинники.

Влезают через окошко в дом, и с улицы видно, как гаснет свет. Выстрелы стихают.

Фигура прыгает вниз, в палисадник.

К нему подбегают товарищи.

На лице Фигуры полоска крови.

Один из мальчишек в страхе спрашивает:

— Ты что? Ты ранен?

Фигура (гордо):

— Да, когда прыгал, зацепился щекой за бельевую веревку!

Возле террасы стоят лопаты, грабли, топоры, доски. По лестнице сбегает несколько мальчишек. Разобрали инструмент и убежали. На террасе возле Тимура — Гейка, Квакин, Колокольчиков, Женя, Фигура и другие мальчишки и девчонки.

Вошел почтальон и внес квадратный, запакованный в картон сверток.

Он говорит Жене:

— Распишись. Тебе из города посылка. А твоей сестре письмо.

Женя (расписываясь и волнуясь):

— Что это такое? (Берет письмо.) Почему письмо от папы не мне, а только Ольге?

На столе стоит патефон.

Женя (закусив губу, чуть не плача):

— Папа!.. Он вспомнил... Зачем? Мне этого теперь ничего не нужно...

Сдерживая слезы, смотрит в окошко.

Тимур рассматривает патефонные пластинки.

Вдруг лицо его насторожилось.

Он подносит к глазам небольшую прозрачную пластинку.

Потом, загадочно глянув на Женю, он осторожно заводит патефон и ставит пластинку.

Коля Колокольчиков (шепотом):

— Тима!.. Не надо... Она (на Женю) от музыки заплачет.

Тимур отмахнулся от Коли и пускает пластинку.

Недоуменно смотрят на Тимура притихшие ребята.

Крутится пластинка.

Стоит лицом к окну Женя.

Вдруг раздается ровный, знакомый голос отца.

— Женя!

Мгновенно Женя оборачивается и, ухватившись за подоконник руками, замирает с широко открытыми глазами.

Крутится пластинка.

Голос отца:

— Когда ты услышишь эти мои слова, я буду уже на фронте. Дочурка, начался бой, равного которому еще на земле никогда не было... А может быть, больше никогда и не будет.

Лицо Жени.

Голос отца:

— Если тебе будет трудно, не плачь, не хнычь, не унывай. Помни, что тем, которые бьются сейчас за счастье и славу нашей Родины, за всех ее милых детей и за тебя, родную, еще труднее, что своей кровью и жизнью они вырывают у врага победу. И враг будет разбит, разгромлен и уничтожен. Женя! Я смотрю тебе сейчас в глаза прямо, прямо...

Крупно: поясной портрет отца. Он в шлеме, комбинезоне и кожаных перчатках.

Голос отца:

— Я клянусь тебе своей честью старого и седого командира, что еще тогда, когда ты была совсем крошкой, этого врага мы уже знали, к смертному бою с ним готовились. Дали слово победить. И теперь свое слово

мы выполним. Женя! Поклянись же и ты, что ради всех нас там у себя... далеко... далеко... ты будешь жить честно, скромно, учиться хорошо, работать упорно, много. И тогда, вспоминая тебя, даже в самых тяжелых боях я буду счастлив, горд и спокоен.

Уже давно смолк голос отца, и с шипением впустую вертится пластинка.

Как зачарованные, стоят, не двигаясь, ребята.

Но вот Тимур подошел к Жене, смотрит ей прямо в лицо, а она тихо и взволнованно ему шепчет:

— Да! Но я не знаю как... Я не умею...

Тогда Тимур сжимает руки Жене и говорит горячо и звонко:

— Я клянусь, Женя. Я давно знаю. И я научу тебя этой клятве!

Болшево
24 июня — 3 июля 1941 года.



ГОРЯЧИЙ КАМЕНЬ

I

Жил на селе одинокий старик. Был он слаб, плел корзины, подшивал валенки, сторожил от мальчишек колхозный сад и тем зарабатывал свой хлеб.

Он пришел на село давно, издалека, но люди сразу поняли, что этот человек немало хватил горя. Был он хром, не по годам сед. От щеки его через губы пролег кривой рваный шрам. И поэтому, даже когда он улыбался, лицо его казалось печальным и суровым.

II

Однажды мальчик Ивашка Кудряшкин полез в колхозный сад, чтобы набрать там яблок и тайно насытиться ими до отвала. Но, зацепив штаниной за гвоздь ограды, он свалился в колючий крыжовник, оцарапался, взвыл и тут же был сторожем схвачен.

Конечно, старик мог бы стегануть Ивашку крапивой или, что еще хуже, отвести его в школу и рассказать там, как было дело.

Но старик сжалился над Ивашкой. Руки у Ивашки были в ссадинах, позади, как овечий хвост, висел клок от штанины, а по красным щекам текли слезы.

Молча вывел старик через калитку и отпустил перепуганного Ивашку восвояси, так и не дав ему ни одного тычка и даже не сказав вдогонку ни одного слова.

III

От стыда и горя Ивашка забрел в лес, заблудился и попал на болото. Наконец он устал. Опустился на торчавший из мха голубой камень, но тотчас же с воплем подскочил, так как ему показалось, что он сел на лесную пчелу и она его через дыру штанов больно ужалила.

Однако никакой пчелы на камне не было. Этот камень был, как уголь, горячий, и на плоской поверхности его проступали закрытые глиной буквы.

Ясно, что камень был волшебный! — это Ивашка смекнул сразу. Он сбросил башмак и торопливо начал оббивать каблуком с надписей глину, чтобы поскорее узнать: что с этого камня может он взять для себя пользы и толку.

И вот он прочел такую надпись:

КТО СНЕСЕТ ЭТОТ КАМЕНЬ НА ГОРУ И ТАМ РАЗОБЬЕТ ЕГО НА ЧАСТИ, ТОТ ВЕРНЕТ СВОЮ МОЛОДОСТЬ И НАЧНЕТ ЖИТЬ СНАЧАЛА

Ниже стояла печать, но не простая, круглая, как в сельсовете, и не такая, треугольником, как на талонах в кооперативе, а похитрее: два креста, три хвоста, дырка с палочкой и четыре запятые.

Тут Ивашка Кудряшкин огорчился. Ему было всего

восемь лет — девятый. И жить начинать сначала, то есть опять на второй год оставаться в первом классе, ему не хотелось вовсе.

Вот если бы через этот камень, не уча заданных в школе уроков, можно было из первого класса перескакивать сразу в третий — это другое дело!

Но всем и давно уже известно, что такого могущества даже у самых волшебных камней никогда не бывает.

IV

Проходя мимо сада, опечаленный Ивашка опять увидел старика, который, кашляя, часто останавливаясь и передыхая, нес ведро известки, а на плече держал палку с мочальной кистью.

Тогда Ивашка, который был по натуре мальчиком добрым, подумал: «Вот идет человек, который очень свободно мог хлестнуть меня крапивой. Но он пожалел меня. Дай-ка теперь я его пожалею и верну ему молодость, чтобы он не кашлял, не хромал и не дышал так тяжко».

Вот с какими хорошими мыслями подошел к старику благородный Ивашка и прямо объяснил ему, в чем дело. Старик сурово поблагодарил Ивашку, но уйти с караула на болото отказался, потому что были еще на свете такие люди, которые, очень просто, могли бы за это время колхозный сад от фруктов очистить.

И старик приказал Ивашке, чтобы тот сам выволок камень из болота в гору. А он потом придет туда ненадолго и чем-нибудь скоренько по камню стукнет.

Очень огорчил Ивашку такой поворот дела.

Но рассердить старика отказом он не решился. На следующее утро, захватив крепкий мешок и холщовые рукавицы, чтобы не обжечь о камень руки, отправился Ивашка на болото.

V

Измазавшись грязью и глиной, с трудом вытянул Ивашка камень из болота и, высунув язык, лег у подножия горы на сухую траву.

«Вот! — думал он.— Теперь вкачу я камень на гору, придет хромой старик, разобьет камень, помолодеет и начнет жить сначала. Люди говорят, что хватил он немало горя. Он стар, одинок, избит, изранен и счастливой жизни, конечно, никогда не видел. А другие люди ее видели». На что он, Ивашка, молод, а и то уже три раза он такую жизнь видел. Это — когда он опаздывал на урок и совсем незнакомый шофер подвез его на блестящей легковой машине от конюшни колхозной до самой школы. Это — когда весной голыми руками он поймал в канаве большую щуку. И, наконец, когда дядя Митрофан взял его с собой в город на веселый праздник Первое мая.

«Так пусть же и несчастный старик хорошую жизнь увидит»,— великодушно решил Ивашка.

Он встал и терпеливо потянул камень в гору.

VI

И вот перед закатом к измученному и продрогшему Ивашке, который, съежившись, сушил грязную, промокшую одежду возле горячего камня, пришел на гору старик.

— Что же ты, дедушка, не принес ни молотка, ни топора, ни лома? — вскричал удивленный Ивашка.— Или ты надеешься разбить камень рукою?

— Нет, Ивашка,— отвечал старик,— я не надеюсь разбить его рукой. Я совсем не буду разбивать камень, потому что я не хочу начинать жить сначала.

Тут старик подошел к изумленному Ивашке, погладил его по голове. Ивашка почувствовал, что тяжелая ладонь старика вздрагивает.

— Ты, конечно, думал, что я стар, хром, уродлив и несчастен,— говорил старик Ивашке.— А на самом деле я самый счастливый человек на свете.

Ударом бревна мне переломило ногу,— но это тогда, когда мы — еще неумело — валили заборы и строили баррикады, поднимали восстание против царя, которого ты видел только на картинке.

Мне вышибли зубы,— но это тогда, когда, брошенные в тюрьмы, мы дружно пели революционные песни. Шашкой в бою мне рассекли лицо,— но это тогда, когда

первые народные полки уже били и громили белую вражескую армию.

На соломе, в низком холодном бараке метался я в бреду, больной тифом. И грозней смерти звучали надо мной слова о том, что наша страна в кольце и вражья сила нас одолевает. Но, очнувшись вместе с первым лучом вновь сверкнувшего солнца, узнавал я, что враг опять разбит и что мы опять наступаем.

И, счастливые, с койки на койку протягивали мы друг другу костлявые руки и робко мечтали тогда о том, что пусть хоть не при нас, а после нас наша страна будет такой вот, как она сейчас,— могучей и великой. Это ли еще, глупый Ивашка, не счастье?! И на что мне иная жизнь? Другая молодость? Когда и моя прошла трудно, но ясно и честно!

Тут старик замолчал, достал трубку и закурил.

— Да, дедушка! — тихо сказал тогда Ивашка.— Но раз так,— то зачем же я старался и тащил этот камень в гору, когда он очень спокойно мог бы лежать на своем болоте?

— Пусть лежит на виду,— сказал старик,— и ты посмотришь, Ивашка, что из этого будет.

VII

С тех пор прошло много лет, но камень тот так и лежит на той горе неразбитым.

И много около него народу побывало. Подойдут, посмотрят, подумают, качнут головой и идут восвояси.

Был на той горе и я однажды. Что-то у меня была неспокойна совесть, плохое настроение. «А что,— думаю,— дай-ка я по камню стукну и начну жить сначала!»

Однако постоял-постоял и вовремя одумался.

«Э-э! — думаю, скажут, увидав меня помолодевшим, соседи.— Вот идет молодой дурак! Не сумел он, видно, одну жизнь прожить так, как надо, не разглядел своего счастья и теперь хочет то же начинать сначала».

Скрутил я тогда табачную цигарку. Прикурил, чтобы не тратить спичек, от горячего камня. И пошел прочь — своей дорогой.

1941 г.

ГАЗЕТНЫЕ ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ.

ТАЛИСМАН

Работаю над повестью «Талисман» — рассказываю о том, как солдат искал счастье.

И как раз в часы этой моей работы пришло большое счастье ко мне, и как замечательный талисман, удесятеряющий мои творческие силы, я принял великое внимание правительства и партии.

У моего талисмана чудесные свойства. Это подарок страны... И волшебная творческая сила моего талисмана прекращается там, где кончается труд.

«Литературная газета», 5 февраля 1939 г.

ТИМУР ГОТОВИТСЯ К ВОЙНЕ

Только что (в первом варианте) я закончил сценарий фильма «Комендант снежной крепости». Это вторая (самостоятельная) серия «Тимура и его команды».

Сейчас я должен сесть и заново переработать «Коменданта» в повесть.

Действие происходит в семье капитана артиллерии Максимова в дни войны с белофиннами. Тимур во время войны настоящей готовится сам и готовит своих товарищей к войне будущей.

Этой работы на весну мне хватит. Над чем работать дальше — подскажет сама жизнь.

«Правда», 31 декабря 1940 г.

ВОСПИТАНИЕ МУЖЕСТВА

Когда я был мальчишкой, в том городе, где я жил, была одна семья. В этой семье были двое мальчишек: Федька и Гошка. К ним приходил ночью дед и пел им. Тогда они вскакивали.

Потом опять приходил, опять пел, и опять они вскакивали. Они были дворяне.

Мне таких песен никто не пел, и я не вскакивал, но я присматривался к этим мальчикам и заметил, что они отличаются чем-то от нас. Я бы не сказал, что они были очень богатые.

Позже, когда я во время гражданской войны был в Красной Армии, я догадался, что эти ребята — Федька и Гошка — попали, если не к Деникину, то к Корнилову. И они, вероятно, должны были стать настоящими солдатами, потому что их с детства к этому приучали.

С тех пор прошло очень много времени. И я уже работал в детской литературе, когда мне вспомнились Федька и Гошка. Это было, когда я из какой-то книги или из газетной статьи узнал, что японские школьники, увидев проходящего мимо полковника, снимают шапку. Я много думал об этом, доказывал, что и у нас военное воспитание надо начинать значительно раньше, чем начинают его теперь.

Нужно сделать так, чтобы тот юноша, который приходит в армию в восемнадцатилетнем возрасте, получал бы военное воспитание уже лет с семи.

Когда говорят у нас о детской книге, об издательском плане, то все разговоры сводятся к тому, что вот нужно издавать такую книгу, и еще такую-то книгу, и такую-то книгу. Это верно. Книгу нужно издавать. Нужно объяснить ребятам, как сделан винт или устроен танк, и тогда автор сможет себе сказать: «Тот командир, тот начальник, который получит из моих рук подготовленного бойца, будет мне благодарен».

Но этого мало,— писатель должен объяснить ребятам некоторые слова: «честь», «знамя», «смелость», «правда». За это тот командир, который будет ребят принимать из школы в армию, так же останется писателю благодарен.

Герой Советского Союза генерал-майор Кашуба рас-

сказывал о финской девчонке, которая стреляла из пулемета и потом отказывалась от еды, когда попала к красноармейцам. Красноармейцы ее спросили, что бы она хотела делать дальше, и девчонка сказала, что она должна «бить москалей».

После этого мне стало как-то больно,— не потому, что мне было завидно,— у нас много найдется таких смелых ребят,— но мне было бы обидно за нашего мальчишку, которому пришлось бы дойти до того, что он должен стрелять из пулемета. У нас есть взрослые для этого. Но поворачивать на военный курс нашу молодежь мы должны, должны приучить ребенка к определенным понятиям.

Это можно делать на простых примерах. Вот, скажем, видит мальчик, что пришел дворник, принес аршин, измеряет окно. Зачем он это делает? Он делает это для того, чтобы завесить окна против бомб. Ведь не такой уж добрый управдом, от которого часто ничего не допросишься, чтобы он вдруг пришел и, вроде как для игры, начал окно завешивать.

Значит, здесь что-то серьезное. Значит, нужно вперед смотреть дальше и зорче.

Вот и говоришь мальчишке: «Видишь, это серьезное дело. Если бы упала рядом бомба, ты бы, конечно, заорал бы со страха, другой и третий заорал бы, но кто-то заорал бы меньше. Потом, когда самолеты отгонят, все мальчишки соберутся вместе и каждому захочется быть таким, который меньше всех орал, но уже поздно будет».

Наступит день, когда ребенок вырастет, ему будет столько-то лет, и ему придется воевать. И вот нужно, чтобы он знал заранее, что это обязательное для него дело не только интересное, но и трудное. Нужно, чтобы он сам хотел воевать. И чтобы он знал, за что борется.

И еще, когда ему придется лежать где-нибудь в грязи, то ему будет нелегко. Но может стать легче. Ведь на войне человек всегда или очень занят или очень свободен. Вот он лежит и думает: «Я где-то читал, что был какой-то Овод, ему кочергой попало. Значит, я не один».

И когда войдет в его сознание, что он не один, что были и еще такие люди,— это его как-то подбодрит.

Вот это я и стараюсь объяснить своему читателю того возраста, с которым я имею честь работать. А читателю того возраста, с которым я не имею чести работать, читателю трех-четырех лет, я это так объясняю: «Это красные вздули белых, а это заяц вышел и смотрит и очень этим доволен». И больше я пока не объясняю. Хватит с него пока.

Пусть потом когда-нибудь люди подумают, что вот жили такие люди, которые из хитрости назывались детскими писателями. На самом же деле они готовили краснозвездную крепкую гвардию.

«Детская литература», 1941, № 2



Фронтовые очерки, корреспонденции. Обращения к читателям.

У ПЕРЕПРАВЫ

Наш батальон вступал в село.

Пыль походных колонн, песок, разметанный взрывами снарядов, пепел сожженных немцами хат густым налетом покрывали шершавые листья кукурузы и спелые несобранные вишни.

Застигнутая врасплох немецкая батарея второпях ударила с пригорка по головной заставе зажигательными снарядами.

Огненные змеи с шипением пронеслись мимо. И тотчас же бледным, прозрачным на солнце пламенем вспыхнула соломенная кровля пустого колхозного сарая.

Прежде чем броситься на землю, секретарь полкового комсомола Цолак Купалян на одно-другое мгновение оглянулся: все ли перед боем идет своим установленным чередом и где сейчас находится комбат?

Командир батальона старший лейтенант Прудников был рядом, за углом хаты. Соскочив с коня и бросив поводья ординарцу, он уже приказывал четвертой роте броском занять боевой рубеж, пятой — поддержать огнем четвертую, а шестой — усилить свой фланг и держаться к локтю пятой.

Дальше следовали приказы разведчикам, пулеметчикам, минометчикам, взводам связи, связным от артиллерии...

И вот пошла четвертая, пошла пятая.

Все пошло — вернее, поползло по пшенице, по гречихе, головой в песок, лицом по траве, по земле, по сырому торфяному болоту.

Грохот усиливается.

Бьют вражеские минометы. Горят хаты. Людей не видно. И поэтому сначала кажется, что среди этого разноголосого визга и грома никакого осмысленного порядка нет и быть не может.

Но вскоре оказывается, что свой незримый железный порядок у этого боя есть.

Вот в лощине спешно складывают свой тяжелый груз и открывают огонь минометчики.

С холма по картофельному полю кубарем, перекатываясь с боку на бок, тянет телефонный провод комсомолец Сергиенко. Радист ставит под густым орешником маленькую, похожую на ежа, станцию.

Вдруг — ба-бах! — не туда поставил. Обжегся, поежился, перетащил ящик в канаву, нацепил наушники и что-то там накручивает, настраивает.

Четвертая рота врывается на рубеж. Вот крайняя хата. Три минуты назад здесь был враг. Он убежал. В панике, в спешке. Еще и сейчас внизу, меж кустами, перебегают вражеские солдаты. Один, два, три... пятнадцать... сорок! Стоп! Уже не сорок...

Взмокший пулеметчик с ходу рванул пулемет, нажал на спуск «максима», и счет разом изменился.

Хата. Сброшены на пол подушки, перины. Здесь они спали.

Стол. На столе тарелки, ложки, опрокинутая крынка молока. Здесь они жрали.

Настежь открытый сундук, скомканное белье. Вышитое петушками полотенце. Детский валенок. Здесь они грабили. Над сундуком в полстены жирным углем начерчен паучий фашистский знак.

Стены мирной хаты дрожат от взрывов, от горя и гнева.

Бой продолжается. По пшенице быстро шагает чем-то взволнованный начальник штаба батальона Шульгин.

Вдруг он приседает. Потом поднимается, недоуменно смотрит на свою ногу. Нога цела, но голенище сапога срезано осколком. Он спрашивает:

— Где комбат? Прудникова не видали? Он сейчас был там.

«Там», за пригорком, где только что был командный пункт, миною взорван сарай, он раскидан и горит, поджигая вокруг колосья густой пшеницы.

На лице начальника штаба тревога за своего комбата. Это самый лучший и смелый комбат самого лучшего полка всей дивизии.

Это он, когда, надрывая душу, надсадно, угрожающе, запугивающе запели, заныли немецкие трубы, пугая атаками, на вопрос командира полка по телефону: «Что это такое?» — сжав чуть оттопыренные губы, с усмешкой ответил:

— Все в порядке, товарищ командир. Начинается музыка. Сейчас и я впишу пулеметами свою гамму.

С биноклем через шею, с простым пистолетом «ТТ» в кобуре, внезапно возникает из-за дыма целый и невредимый комбат.

Ему рады. На вопросы о себе он не отвечает и приказывает:

— Переходим на оборону. Здесь у врага большие силы. Дайте мне связь с артиллерией. Всем командирам рот прочно окопаться.

По торфяному полю опять тянет провод Сергиенко. Вот он упал, но он не ранен. Он устал. Он уткнулся лицом в мокрый торф и тяжело дышит. Вот он поворачивает голову и видит, что совсем рядом перед ним, перед его губами — воронка от взрыва мины и, как на дне блюдечка, скопилось в ней немного воды. Он наклоняет голову, пьет жадно, потом поднимает покрытое бурым торфом лицо и ползет с катушкой дальше.

Через несколько минут связь с полком налажена. Поступает приказание:

«Немедленно переходите...»

И вдруг приказ обрывается. Комбат сурово смотрит на Купаляна: куда переходить?

На этом фронте, слева и впереди нас, ведется бой. Идет сражение большого масштаба, борьба за узловой город. Может быть, приказ означает: «Немедленно переходите в атаку на превосходящие силы противника»?

Тогда командиров бросить вперед. Коммунистов и комсомольцев тоже вперед. Собрать всю волю в кулак и наступать.

Комбат отдает последние распоряжения...

Вдруг связь опять заработала. Оказывается, что приказ гласит:

«Немедленно выходите из боя. Перейти вброд реку и занять высоту 165».

Красноармеец-связист опять хочет пить. Он забегает в крайнюю хату.

Он видит развал, погром.

Он видит паучий крест на стене.

Он плюет на него.

Зачеркивает углем. И быстро чертит свою красноармейскую звезду.

Батальон собирается у брода.

На берегу, на полотнищах палаток, лежат ожидающие переправы раненые. Вот один из них открывает глаза. Он смотрит, прислушивается к нарастающему гулу и спрашивает:

— Товарищи, а вы меня перенесете?

— Милый друг, это, спасая тебя, бьют до последней минуты, прижимая врага к земле, полуоглохшие минометчики.

— Слышишь? Это, обеспечивая тебе переправу, за девять километров открыли свой могучий заградительный огонь батареи. Из полка резервов главного командования. Мы перейдем реку спокойно. Хочешь закурить? Нет! Тогда закрой глаза и пока молчи. Ты будешь здоров, и ты еще увидишь гибель врага, славу своего народа и свою славу.

Действующая армия
«Комсомольская правда», 1941, 8 августа.

Ребята!

(Обращение к тимуровцам Киева и всей Украины)

Ребята! Прошло меньше года с тех пор, как мною была написана повесть «Тимур и его команда».

Злобный враг напал на нашу страну. На тысячеверстном фронте героически сражается горячо любимая Красная Армия. Новые трудные задачи встали перед нашей страной, перед нашим народом. Все усилия народа направлены для помощи Красной Армии, для достижения основной задачи — разгрома врага.

Ребята, пионеры, славные тимуровцы! Окружите еще большим вниманием и заботой семьи бойцов, ушедших на фронт. У вас у всех ловкие руки, зоркие глаза, быстрые ноги и умные головы. Работайте безустанно, помогая старшим, выполняйте их поручения безоговорочно, безотказно и точно. Поднимайте на смех и окружайте презрением белоручек, лодырей и хулиганов, которые в этот час остались в стороне, болтаются без работы и мешают нашему общему священному делу.

Мчитесь стрелой, ползите змеей, летите птицей, предупреждая старших о появлении врагов — диверсантов, неприятельских разведчиков и парашютистов.

Если кому случится столкнуться с врагом — молчите или обманывайте его, показывайте ему не те, что надо, дороги. Следите за вражескими проходящими частями, смотрите: куда они пошли? какое у них оружие?

Родина о вас позаботилась, она вас учила, воспитывала, ласкала и часто даже баловала. Пришел час доказать и вам, как вы ее бережете и любите. Не верьте шептунам, трусам и паникерам.

Что бы то ни было — нет и не может быть такой силы, которая сломала бы мощь нашего великого, свободного народа. Победа обязательно будет за нами.

Пройдут годы. Вы станете взрослыми. И тогда в хороший час, после радостной мирной работы вы будете с гордостью вспоминать об этих грозных днях, когда вы не сидели сложа руки, а чем могли помогали своей стране одержать победу над хищным и подлым врагом.

«Советская Украина», 1941 9 августа. *Арк. Гайдар*

МОСТ

Прямой и узкий, как лезвие штыка, лег через реку железный мост. И на нем высоко, между водой и небом, через каждые двадцать—тридцать метров стоят наши часовые.

Вправо по берегу за камышами — а где точно, знают только болотные кулики да длинноногие цапли — спрятан прикрывающий мост батальон пехоты. На другом берегу на горе, в кустарнике,— артиллеристы-зенитчики.

По мосту к линиям боя беспрерывно движутся машины с войсками, оружием и боеприпасами. По мосту проходят и проезжают в город на рынок окрестные колхозники.

Внизу по реке снуют в челнах рыбаки, вылавливая оглушенную бомбами немецких «хейнкелей» рыбу.

По песчаной косе маленький колесный трактор, зацепив веревкой за ногу, тянет, оставляя глубокий след, случайно убитого осколком вола.

Перед изъеденной, как оспой, осколками избой-караулкой со сдвинутой набекрень крышей возникает связной от батальонной пехоты красноармеец Федор Ефимкин. Он пробрался напрямик, осокой и топью. Поэтому нижняя половина его почти до пояса мокро-черная, гимнастерка же и пилотка на солнце выгорели и покрылись сухой светло-серой пылью. Рыжий ремень до того густо увешан ручными гранатами, что при быстрых поворотах Ефимкина они отходят и топорщатся во все стороны.

Он останавливается возле старшины Дворникова, который пытливо исследует рваные дыры смятого, пробитого котелка, и, козырнув, спрашивает:

— Разрешите, товарищ старшина, обратиться по вопросу неофициальному? Котелок, который имеет все попадания от полутонной фугасной бомбы, вследствие сжатия образует трещины, а также различные дыры, и его можно выбросить через перила в реку. Но если вы, товарищ старшина, на час-два одолжите мне вон ту плетеную корзинку, то, вот мое слово, пойду назад, принесу вам котелок новый, трофейный, крашенный во все голубое.

Старшина Дворников оборачивается:

— На что тебе корзина?

— Не могу сказать, товарищ старшина: военная тайна.

— Не дам корзины,— заявляет старшина.— Вы у нас мешок взяли и не вернули.

— Мешок, товарищ старшина, готов был к возврату. Но тут случился факт, что наши захватили в плен трех немцев, а в сумках у них был обнаружен грабленый материал: четыре колоды игральных карт, трусы для обоего пола, полотенца, кофты, какао и кружевные пододеяльники. Все означенное, кроме какао, было сложено в ваш мешок и отправлено как доказательство в штаб дивизии, откуда вполне можно мешок истребовать по закону.

— Ты мне зубы не заговаривай,— невольно улыбнувшись, сказал старшина.— Ты мне лучше скажи, зачем столько гранат на пояс навесил. Что у тебя тут — арсенал, цейхгауз?

— Ходил вчера в разведку, товарищ старшина, шесть бросил, двух даже не хватило. У меня еще пара круглых лимонов лежит в кармане. Хо-орошая это штука для ночной разведки: огонь яркий, звук резкий; который немец не помрет, так все равно от страха обалдеет. Дайте, товарищ старшина, корзину. Вот нужно! Иначе срывается вся моя операция.

— Какая операция? — недоумевает старшина.— Ты, друг, что-то заболтался.

Старшина смотрит на Ефимкина.

Ох, и хитер, задорен! Но молодец этот парень. Всегда он мокрый или пыльный, промасленный, но глянешь на его прямые, угловатые плечи, на его добродушную, лукавую улыбку, на то, как он стоит, как ловко скручивает тугую махорочную цигарку, и сразу скажешь: «Это боевой парень».

— Возьми,— говорит старшина,— да скажи вашему

лейтенанту: что же, мол, нас бомбят, а вы на самом деле внизу себе рыбу промышляете, и попроси у него — пусть пришлет на уху щурят или ершей и на нашу долю.

— Вот еще! Из-за каких-то там ершей буду я лейтенанта беспокоить,— поспешно забирая корзинку, говорит Ефимкин.— Вас, наверное, сегодня опять бомбить будут, так я к вечеру за пропуском приду — целую корзину свежих лещей принесу. Высокий у вас пост, товарищ старшина,— со вздохом добавляет Ефимкин.— Мы что — у нас трава, канавы, земля, кустарники. А вы... стоите на глазах у всего света.

Ефимкин берет корзинку и, грязно-сизый, пыльный сверху, побрякивая своими нацепленными гранатами, идет через мост мимо ряда часовых, которые молча провожают его любопытными взглядами. Многих из них он знает уже по фамилиям. Вот Нестеренко, Курбатов. Молча, сощурив узкие глаза, стоит туркмен Бекетов.

Этого человека вначале назначили было в разведку. Ночью в лесу он отстал, растерялся, запутался. На следующий раз то же самое. Уже решили было, что он трус. Командование хотело наложить дисциплинарное взыскание. Но комиссар быстро понял, в чем дело. Бекетов вырос и жил в бескрайных песках Туркмении. Леса он никогда не видел и ориентировался в нем плохо. А сейчас он гордо стоит на самом опасном посту. Тридцать метров над водой! На самой середине моста. На той самой точке, куда с воем и ревом вот уже три недели ожесточенно, но неудачно бьют бомбами фашистские самолеты.

Ефимкину нравится спокойное, невозмутимое лицо этого часового. Он хотел было сказать ему что-нибудь приятное по-туркменски, но, кроме русского языка и нужных в разведке немецких слов: «хальт» (стой), «хенде хох» (руки вверх), «вафэн хинлэгэн» (бросай оружие), Ефимкин ничего не знает, и поэтому он, прищелкнув языком, подмигнув, хлопает одобрительно рука об руку и, оставив туркмена в полном недоумении, хватает на руки маленькую девчурку, сажает ее в корзину и мимо улыбающихся часовых, покачивая, несет ее до самого конца моста.

Там он отдает ребенка на руки матери, а сам, осторожно оглядываясь, лезет под крутой откос, к болоту.

Старшине Дворникову, который наблюдает за Ефимкиным в бинокль, теперь ясна и военная тайна, и вся

операция Ефимкина. Утром снарядом разбило фургон со сливами. По дороге шли бойцы и подобрали, но часть слив осталась, и Ефимкин набирает в корзину, чтобы отнести их своим товарищам и командирам. Старшина оглядывается. Кругом ширь и покой. Правда, за холмами где-то идет война, гудят взрывы, но это далекая и не опасная для моста музыка.

Старшина еще раз смотрит на помятый, продырявленный котелок и решительно швыряет его через перила.

Но, прежде чем котелок успевает пролететь и бухнуться в теплую сонную воду, раздается отрывистый, хватающий за сердце вой ручной сирены, и от конца к концу моста летит тревожный окрик: «Воздух!»

Стремительно мчатся прочь застигнутые на мосту машины, повозки, люди. Они прячутся под насыпь, в канавы, сворачивают на луга к стогам сена, ползут в ямы, скрываются в кустарнике.

Еще одна, две... три минуты! И вот он, как сверкающий клинок, острый, прямой, безмолвно зажат над водой, у земли в ладонях, грозный железный мост.

Честь и слава смелым, мужественным часовым всех военных дорог нашего великого Советского края — и тем, что стоят в дремучих лесах, и тем, что на высоких горах, и тем, что в селениях, в селах, в больших городах, у ворот, на углах, на перекрестках,— но ярче всех горит суровая слава часового, стоящего на том мосту, через который идут груженные патронами и снарядами поезда и шагают запыленные мужественные войска, направляясь к решительному бою.

Он стоит на узкой и длинной полоске железа, и над его головой открытое, ревущее гулом моторов и грозящее смертью небо. Под его ногами тридцать метров пустоты, под которыми блещут темные волны. В волнах ревут сброшенные с самолетов бомбы, по небу грохочут взрывы зениток, и с визгом, скрежетом и лязгом, ударяясь о туго натянутые металлические фермы, вкривь и вкось летят раскаленные осколки.

Два шага направо, два шага налево.

Вот и весь ход у часового.

Луга — пехота — молчат и напряженно наблюдают за боем.

Но гора — зенитчики — в гневе. Гора защищает мост всей мощью и силой своего огромного шквала.

Протяжно воют «мессершмитты». Тяжело ревут бомбардировщики. Они бросаются на мост стаями. Их много — тридцать, сорок. Вот они один за другим ложатся на боевой курс. И кажется, что уже нет силы, которая помешает им броситься вниз и швырять бомбы на самый центр моста, туда, где, прислонившись спиной к железу и сдвинув на лоб тяжелую каску, молча стоит часовой Бекетов, но гора яростно вздымает к небу грозную завесу из огня и стали.

Один вражеский самолет покачнулся, подпрыгнул, зашатался и как-то тяжело пошел вниз, на луг, а там обрадованно его подхватила на свой станковый пулемет пехота.

И тотчас же соседний самолет, который стремительно ринулся на цель книзу, поспешно бросив бомбы, раньше, чем надо, выравнивается, ложится на крыло и уходит.

Бомбы летят, как каменный дождь, но они падают в воду, в песок, в болото, потому что строй самолетов разбит и разорван.

Несколько десятков ярко светящих «зажигалок» падает на настил моста, но, не дожидаясь пожарников, ударом тяжелого, окованного железом носка, прикладом винтовки часовые сшибают их с моста в воду.

Преследуемые подоспевшим «ястребком», самолеты противника беспорядочно отходят.

И вот, прежде чем связисты успеют наладить порванный воздушной волной полевой провод, прежде чем начальник охраны поста лейтенант Меркулов донесет по телефону в штаб о результатах бомбежки, много-много людей, заслонив ладонью глаза от солнца, напряженно смотрят сейчас в сторону моста.

Семьсот «самолетоналетов» сделал уже противник и больше пяти тысяч бомб бросил за неделю в районе моста.

Проходят долгие, томительные минуты... пять, десять, и вдруг...

Сверху вниз, с крыш, из окон, с деревьев, с заборов, несутся радостные крики:

— Пошли, пошли!

— Наши тронулись!

Это обрадованные люди увидели, что тронулись и двинулись через мост наши машины.

— Значит, все в порядке!

К старшине Дворникову, который стоит возле группы красноармейцев, подходит связной Ефимкин. Он протягивает старшине новый железный котелок. Ставит на землю корзину со свежей, глушенной немецкими бомбами рыбой и говорит:

— Добрый вечер! Все целы?

Ему наперебой сообщают:

— Акимов ранен. Емельянов толкал бомбу, прожег сапог, обжег ногу.

Старшина берет корзину, ведет Ефимкина в помещение и получает у лейтенанта ночной пропуск.

Перед тем как спуститься под насыпь, оба они оборачиваются. Через железный, кажущийся сейчас ажурным переплет моста светит луна.

Далеко на горизонте вспыхивает и медленно плывет по небу голубая ракета.

Налево из деревушки доносится хоровая песня. Да, песня. Да, здесь, вскоре после огня и гула, громко поют девчата.

Ефимкин удерживает старшину за рукав.

— Высокий у вас пост, товарищ старшина! — опять повторяет он.— Днем на двадцать километров вокруг видно, ночью — на десять все слышно...

Действующая армия
«Комсомольская правда», 1941, 20 августа.



ВОЙНА И ДЕТИ

Тыловая железнодорожная станция на пути к фронту. Водонапорная башня. Два прямых старых тополя. Низкий кирпичный вокзал, опоясанный густыми акациями.

Воинский эшелон останавливается. К вагону с кошелками в руках подбегают двое поселковых ребятишек.

Лейтенант Мартынов спрашивает:

— Почем смородина?

Старший отвечает:

— С вас денег не берем, товарищ командир.

Мальчишка добросовестно наполняет стакан верхом, так что смородина сыплется на горячую пыль между шпал. Он опрокидывает стакан в подставленный котелок, задирает голову и, прислушиваясь к далекому гулу, объявляет:

— «Хенкель» гудит... Ух! Ух! Задохнулся. Вы не бойтесь, товарищ лейтенант, вон они наши пошли истребители. Здесь немцам по небу прохода нет.

Он подхватывает кошелку и мчится дальше. У вагона остается его белобрысый, босоногий братишка лет семи от роду. Он сосредоточенно прислушивается к далекому гуду зениток и серьезно объясняет:

— Ось! Там вона бухает...

Лейтенанта Мартынова это сообщение заинтересовывает. Он садится на пол у дверей и, свесив ноги наружу, поедая смородину, спрашивает:

— Гм! А что же, хлопец, на той войне люди делают?

— Стрыляют,— объясняет мальчишка,— берут ружье или пушку, наводют... и бах! И готово.

— Что готово?

— Вот чего! — с досадой восклицает мальчишка.— Наведут курок, нажмут, вот и смерть будет.

— Кому смерть — мне? — И Мартынов невозмутимо тычет пальцем себе в грудь.

— Да ни! — огорченно вскрикивает удивленный непонятливостью командира мальчишка.— Пришел якийсь-то злыдень, бомбы на хаты швыряет, на сараи. Вот там бабку убили, двух коров разорвало. О то чего,— насмешливо пристыдил он лейтенанта,— наган нацепил, а как воевать, не знает.

Лейтенант Мартынов сконфужен. Окружающие его командиры хохочут.

Паровоз дает гудок.

Мальчишка, тот, что разносил смородину, берет рассерженного братишку за руку и, шагая к тронувшимся вагонам, протяжно и снисходительно ему объясняет:

— Они знают! Они шутят! Это такой народ едет... веселый, отчаянный! Мне один командир за стакан смородины бумажку трехрублевую на ходу подал. Ну, я за вагоном бежал, бежал. Но все-таки бумажку в вагон сунул.

— Вот...— одобрительно кивает головой мальчишка.— Тебе что! А он там на войне пусть квасу или ситра купит.

— Вот дурной! — ускоряя шаг и держась вровень с вагоном, снисходительно говорит старший.— Разве на войне это пьют? Да не жмись ты мне к боку! Не крути головой! Это наш «И-16» — истребитель, а немецкий гудит тяжко, с передыхом. Война идет на второй месяц, а ты своих самолетов не знаешь.

Фронтовая полоса. Пропуская гурты колхозного скота, который уходит к спокойным пастбищам на восток, к перекрестку села, машина останавливается.

На ступеньку вскакивает хлопчик лет пятнадцати. Он чего-то просит. Скотина мычит, в клубах пыли щелкает длинный бич.

Тарахтит мотор, шофер отчаянно сигналит, отгоняя бестолковую скотину, которая не свернет до тех пор,

пока не стукнется лбом о радиатор. Что мальчишке надо? Нам непонятно. Денег? Хлеба?

Потом вдруг оказывается:

— Дяденька, дайте два патрона.

— На что тебе патроны?

— А так... на память.

— На память патронов не дают.

Сую ему решетчатую оболочку от ручной гранаты и стреляную блестящую гильзу.

Губы мальчишки презрительно кривятся:

— Ну вот! Что с них толку?

— Ах, дорогой! Так тебе нужна такая память, с которой можно взять толку? Может быть, тебе дать вот эту зеленую бутылку или эту черную, яйцом, гранату? Может быть, тебе отцепить от тягача вот ту небольшую противотанковую пушку? Лезь в машину, не ври и говори все прямо.

И вот начинается рассказ, полный тайных недомолвок, уверток, хотя в общем нам уже все давно ясно.

Сурово сомкнулся вокруг густой лес, легли поперек дороги глубокие овраги, распластались по берегам реки топкие камышовые болота. Уходят отцы, дяди и старшие братья в партизаны. А он еще молод, но ловок, смел. Он знает все лощинки, последние тропинки на сорок километров в округе.

Боясь, что ему не поверят, он вытягивает из-за пазухи завернутый в клеенку комсомольский билет. И не будучи вправе рассказать что-либо больше, облизывая потрескавшиеся, запыленные губы, он ждет жадно и нетерпеливо.

Я смотрю ему в глаза. Я кладу ему в горячую руку обойму. Это — обойма от моей винтовки. Она записана на мне.

Я беру на себя ответ за то, что каждая выпущенная из этих пяти патронов пуля полетит точно в ту, куда надо, сторону.

— Как тебя зовут?

— Яков.

— Послушай, Яков, ну зачем тебе патроны, если у тебя нет винтовки? Что же ты, из пустой крынки стрелять будешь?

Грузовик трогается. Яков спрыгивает с подножки, он подскакивает и весело кричит что-то несуразное, бес-

толковое. Он смеется и загадочно грозит мне вдогонку пальцем. Потом, двинув кулаком по морде вертевшуюся около корову, он исчезает в клубах пыли.

Ой, нет! Этот паренек заложит обойму не в пустую крынку.

Дети! На десятки тысяч из них война обрушилась точно так же, как и на взрослых, уже хотя бы потому, что сброшенные над мирными городами фашистские бомбы имеют для всех одинаковую силу.

Остро, чаще острее, чем взрослые, подростки — мальчуганы, девочки — переживают события Великой Отечественной войны.

Они жадно, до последней точки, слушают сообщения Информбюро, запоминают все детали героических поступков, выписывают имена героев, их звания, их фамилии.

Они с беспредельным уважением провожают уходящие на фронт эшелоны, с безграничной любовью встречают прибывающих с фронта раненых.

Я видел наших детей в глубоком тылу, в тревожной прифронтовой полосе и даже на линии самого фронта. И повсюду я видел у них огромную жажду дела, работы и даже подвига.

Перед боем на берегу одной речки встретил я недавно парнишку.

Разыскивая пропавшую корову, чтобы сократить путь, он переплыл реку и неожиданно очутился в расположении немцев.

Спрятавшись в кустах, он сидел в трех шагах от фашистских командиров, которые долго разговаривали о чем-то, держа перед собой карту

Он вернулся к нам и рассказал о том, что видел.

Я у него спросил:

— Погоди! Но ведь ты слышал, что говорили их начальники, это же для нас очень важно.

Паренек удивился:

— Так они же, товарищ командир, говорили по-немецки!

— Знаю, что не по-турецки. Ты сколько окончил классов? Девять? Так ты же должен был хоть что-нибудь понять из их разговора?

Он уныло и огорченно развел руками:

— Эх, товарищ командир! Кабы я про эту встречу знал раньше...

Пройдут годы. Вы станете взрослыми. И тогда в хороший час отдыха после большой и мирной работы вы будете с радостью вспоминать о том, что когда-то, в грозные дни для Родины, вы не болтались под ногами, не сидели сложа руки, а чем могли помогали своей стране в ее тяжелой и очень важной борьбе с человеконенавистным фашизмом.

Действующая армия
«Комсомольская правда», 1941, 21 августа.



БЕРИСЬ ЗА ОРУЖИЕ, КОМСОМОЛЬСКОЕ ПЛЕМЯ!

Война!

Ты говоришь: я ненавижу врага. Я презираю смерть. Дайте винтовку, и я пулей и штыком пойду защищать Родину.

Все тебе кажется простым и ясным.

Приклад к плечу, нажал спуск — загремел выстрел. Лицом к лицу, с глазу на глаз — сверкнул яростно выброшенный вперед клинок, и с пропоротой грудью враг рухнул.

Все это верно. Но если ты не сумеешь поставить правильно прицел, то твоя пуля бесцельно, совсем не пугая и даже ободряя врага, пролетит мимо.

Ты бестолково бросишь гранату, она не разорвется.

В гневе, стиснув зубы, ты ринешься на врага в атаку. Прорвешься через огонь, занесешь штык. Но если ты не привык бегать, твой удар будет слаб и бессилен.

И тебе правильно говорят: учись, пока не поздно. Когда тебя призовут под боевые знамена, командиры будут учить тебя, но твой долг знать военное дело, быть всегда готовым к боям.

Тебе дадут винтовку, автомат, ручной пулемет, разных образцов гранаты. В умелых руках, при горячем, преданном Родине сердце это сила грозная и страшная. Без умения, без сноровки твое горячее сердце вспыхнет на поле боя, как яркая сигнальная ракета, выпущенная без цели и смысла, и тотчас же погаснет, ничего не показав, истраченная зря...

Комсомолец, школьник, пионер, юный патриот, война еще только начинается, и знай, что ты еще нужен будешь в бою.

Приходи к нам на помощь не только смелым, но и умелым. Приходи к нам таким, чтобы ты сразу, вот тут же рядом, быстро отрыл себе надежный окоп, хлопнул по рыхлой груде земли лопатой, обмял ладонью ямку для патронов, закрыл от песка лопухом гранату, метнул глазом — поставил прицел. Потом закурил и сказал: «Здравствуйте все, кто есть слева и справа».

Поняв, что ты начал не с того, чтобы сразу просить помощи, что тебе не нужно ни военных нянек, ни мамок, тебя полюбят и слева и справа.

И знай, что даже где-то на далеком фланге подносчик патронов, связной или перевязывающий раны санитар кому-то непременно скажет:

— Прислали пополнение. Видел одного. Молодой и, наверное, комсомолец.

— Ну! Прыгает?

— Ничего не прыгает. Сел на место, окопался, молчит и работает.

Двадцать два года тому назад, в эти же августовские дни, я, тогда еще мальчишка, комсомолец, был с комсомольцами на фронтах Украины в этих же местах.

Какие были среди нас политики! Какие стратеги! Как свободно и просто разрешали мы проблемы европейского и мирового масштаба.

Но, увы! Учились мы военному делу тогда мало. Дисциплина хромала. Стреляли неважно и искренне думали, что обрезать напильником стволы у винтовки нам не разрешают только из-за косности военспецов главного штаба.

Но нас в армии было тогда еще немного. За молодость бородатые дяди нас любили. Многое нам прощали и относились к нам покровительственно, благодушно.

Теперь время совсем не то. Сейчас комсомол — большая сила в армии.

В грозные для одного большого города дни встали недавно у сложных орудийных расчетов студенты-математики, комсомольцы.

За баррикадами из мешков песка, возле тяжелых противотанковых пулеметов стояли запасными номерами наводчики-комсомольцы.

На окраинах города уже шел бой, а они все еще спешно и жадно, как перед самым важным в жизни экзаменом, заглядывали в стрелковые таблицы.

Вот и ты приходишь с учебы, с работы. Ты знаешь, что тебе ночью еще нужно дежурить на чердаке, на крыше. И все-таки, наверное, ты берешь боевой устав. Ты идешь в военный кружок. Ты становишься в строй.

Жжет ли солнце, льет ли дождь, покрыты ли суровой тьмой улицы твоего родного города, люди слышат твои твердые шаги, слова команды и стук винтовочного приклада, опущенного на гулкую мостовую.

А ночью за черной маскировочной шторой ты, наверное, сидишь, изучая тяжелую ручную гранату, огонь которой вместе с огнем твоих глаз и твоего сердца взорвет и испепелит тех, кого мы все так клятвенно и непримиримо ненавидим.

Берись за оружие, комсомольское племя!

Москва, 1941 г., август.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

РЕБЯТА!

Беспрестанно гудят паровозы. Уходят длинные эшелоны. Это ваши отцы, братья, родные, знакомые идут на фронт — туда, где отважная Красная Армия ведет с врагами бой, равного которому еще никогда на свете не было.

По ночам, отражая нападения вражьих самолетов на наши города и села, ослепительно вспыхивают огни прожекторов, грозно грохочут орудия наших зенитчиков.

Утром вы слышите слова военной команды, мерный топот. Это мимо окон вашей школы проходят батальоны народного ополчения.

Но так же, как всегда, ни днем, ни часом позже первого сентября вы начинаете свою школьную учебу.

В добрый путь!

Этот суровый, грозный год покажет, кто из вас действительно трудолюбив, стоек и мужественен.

В этом году вы должны будете не только хорошо учиться, не только крепить дисциплину — эту основу победы в тылу и на фронте,— вы должны будете много работать, помогая старшим дома, во дворе, на заводе, в поле — повсюду и всем чем можете.

Грош цена тому пылкому стратегу, который, стоя и тыкая пальцем в карту, азартно и складно предрекает врагу погибель, взмахом руки окружает и уничтожает его полки и дивизии, а сам боится натереть мозоль на своей ладони, принести ведро воды, вымыть пол или выкопать из грядок мешок картошки.

Позор тому «герою», который мечтает, вскочив на коня, ринуться в гущу боя и изрубить шашкой десяток-

другой танков, а сам боком-боком, трусливо норовит отлынить, свалить на плечи товарищей всю черную и непарадную работу.

В славе у нас всюду те честные, скромные ребята-труженики, пионеры-тимуровцы, которые по примеру своих отцов и старших братьев упорно учатся, работают, терпеливо постигают сложное военное дело, помогают семьям бойцов и заботятся о наших героях-раненых.

Это много? Да! Это немало. Но для победы нужны немалые усилия.

Страна о вас всегда заботилась, она вас воспитывала, учила, ласкала и частенько даже баловала.

Пришло время и вам — не словами, а делом — показать, как вы ее цените, бережете и любите.

Москва

«Пионерская правда», 1941, 30 августа.



У ПЕРЕДНЕГО КРАЯ

У прохода через тяжелую, обшитую грубым тесом баррикаду милиционер проверил мой пропуск на выход из осажденного города.

Он посоветовал мне подъехать к передовой линии на попутной машине или повозке, но я отказался. День был хороший, и путь недалекий. А кроме того, на пригорках по машинам иногда открывалась стрельба минами. На одиноко же идущего человека мину тратить — не расчет. Да и в случае чего пешему всегда легче вовремя бухнуться в придорожную канаву.

Я шел мимо опустевших, покинутых домиков с заколоченными окнами и закрытыми воротами. Было тихо. Тарахтела трещотка, и охотились за воробьями голодные кошки.

Через сады, среди которых желтели размытые дождем бомбозащитные траншеи, я вышел на скат оврага и зацепил ногой за полевой провод. Прикинув направление, я взял путь по проводу напрямик, потому что мне нужны были люди.

Вдруг раздался удар. Казалось, что грохнул он над самым гребнем моей стальной каски. Быстро перелетел я в старую воронку, осторожно огляделся и увидел неподалеку замаскированный бугор дзота, из темной щели которого торчал ствол коренастой пушки.

Я спустился к дзоту и, поздоровавшись, спросил у старшего сержанта, чем его люди сейчас заняты.

Ясно, что, прежде чем ответить, сержант проверил мой пропуск, документы. Спросил, как живет Москва. Только после этого он готов был отвечать на мои вопросы.

Но тут вдалеке, вправо, послышались очень частые взрывы.

Телефонист громко спрашивал соседний дзот через телефонную трубку:

— Что у тебя? Говори громче. Почему ты говоришь так тихо? Ах, около тебя рвутся мины! А ты думаешь, что если будешь говорить громко, то они испугаются!

От таких простых слов вспыхнули улыбки в притихшем, насторожившемся дзоте. Потом раздалась суровая команда, и взревела наша пушка.

Ее поддержали соседи. Враги отвечали. Они били снарядами «205» и дальнобойными минами.

Мины... О них уже много писали. Писали, что они ревут, воют, гудят, похрапывают. Нет! Звук на полете у мины тонок и мелодично-печален. Взрыв сух и резок. А визг разлетающихся осколков похож на мяуканье кошки, которой внезапно тяжелым сапогом наступили на хвост.

Грубые, скрепленные железными скобами бревна потолочного наката вздрагивают. Через щели на плечи, за воротник сыплется сухая земля. Телефонист поспешно накрывает каской миску с гречневой кашей, не переставая громко кричать:

— Правей, ноль двадцать пятью снарядами! Теперь точно! Беглый огонь!

Через пять минут огневой шквал с обеих сторон, как обрубленный, смолкает.

Глаза у всех горят, лбы влажные, люди пьют из горлышка фляжек. Телефонист запрашивает соседей, что и где случилось.

Выясняется: у одного воздухом опрокинуло бак с водою; у второго оборвали полковой телефонный провод; у третьего дело хуже: пробили через амбразуру осколком щит орудия и ранили в плечо лучшего батарейного наводчика; у нас накопало вокруг ям, воронок, разорвало в клочья и унесло, должно быть за тучу, один промокший сапог, подвешенный красноармейцем Коноплевым у дерева под солнышком на просушку.

— Ты не шахтер, а ворона,— укоризненно ворчит сержант на красноармейца Коноплева, который задумчиво и недоуменно уставился на уцелевший сапог.— Теперь время военное. Ты должен был взять бечевку и провести отсюда к сапогу связь. Тогда, чуть что, потянул

и вытащил сапог из сектора обстрела в укрытие. А теперь у тебя нет вида. Во-вторых, красноармеец в одном левом сапоге никакой боевой ценности не представляет. Ты бери свой сапог в руки, неси его, как факт, к старшине и объясни ему свое грустное положение.

Пока все, обернувшись, с любопытством слушали эти поучения, через дверь дзота кто-то вошел. На вошедшего сначала внимания не обратили: думали — кто-то свой из орудийного расчета. Потом спохватились. Сержант подошел отдавать начальнику рапорт.

По какому-то единому, едва уловимому движению мне стало ясно, что этого человека здесь и уважают и глубоко любят.

Лица заулыбались. Люди торопливо оправили пояса, одернули гимнастерки. А красноармеец Коноплев быстро спрятал свою босую ногу за пустые ящики из-под снарядов.

Это был старший лейтенант Мясников, командир батальона.

Мы пошли с ним вдоль запасной линии обороны, где красноармейцы — в большинстве донецкие шахтеры — дружно и умело рыли ходы сообщения и окопы полного профиля.

Каждый из этих бойцов — это инженер, вооруженный топором, киркой и лопатой. Путаные лабиринты, укрытия, гнезда, блиндажи, амбразуры они строят под огнем быстро, умело и прочно. Это народ бывалый, мужественный и находчивый. Вот навстречу нам из-за кустов по лощине вышел красноармеец. Присутствие командира его на мгновение озадачивает.

Вижу, командир нахмурился, вероятно, усмотрел какой-то непорядок и сейчас сделает красноармейцу замечание. Но тот, не растерявшись, идет прямо навстречу. Он веселый, крепкий, широкоплечий.

Приблизившись на пять — семь метров, он переходит на уставный, «печатный» шаг, прикладывает руку к пилотке и, подняв голову, торжественно и молодцевато проходит мимо.

Командир останавливается и хохочет.

— Ну, боец! Ну, молодец! — восхищенно заливается он, глядя в сторону скрывшегося в окопе бойца.

И на мой недоуменный вопрос отвечает:

— Он (боец) шел в пилотке, а не в каске, как поло-

жено. Заметил командира, деваться некуда. Он знает, что я люблю выправку, дисциплину. Чтобы замять дело, он и рванул мимо меня, как на параде. Шахтеры! — с любовью воскликнул командир.— Бывалые и умные люди. Пошли меня в другую часть, и я пойду в штаб и буду о своих шахтерах плакать.

Мы пробираемся к переднему краю. На одном из поворотов командир зацепил плащом о рукоятку лопаты. Что-то под отворотом его плаща очень ярко блеснуло. На первом же уступе я осторожно, скосив глаза, заглянул сверху на грудь командирской гимнастерки.

А, вот что: там под плащом горит «Золотая Звезда». Он, лейтенант,— Герой Советского Союза.

Но вот мы уже и у самого переднего края. Боя нет. Враг здесь наткнулся на твердую стену. Но берегись! Здесь, наверху, все простреливается и врагом и нами. Здесь властвуют хорошо укрытые снайперы. Здесь узкий, как жало, пулемет «ДС» может выпустить через амбразуру от семисот до тысячи пуль в одну точку из одного ствола в одну минуту.

Здесь, на подступах к городу, бесславно положил свои пьяные головы не один фашистский полк. Здесь была разгромлена начисто вся девяносто пятая немецкая дивизия.

Идет одиночная стрельба. Через узкую щель уже хорошо различается замаскированный вал вражьих окопов. Вот что-то за бугром шевельнулось, шарахнулось и под выстрелом исчезло.

Темная сила! Ты здесь! Ты рядом! За нашей спиной стоит светлый, большой город. И ты из своих черных нор смотришь на меня своими жадными бесцветными глазами.

Иди! Наступай! И прими смерть вот от этих тяжелых шахтерских рук. Вот от этого высокого спокойного человека с его храбрым сердцем, горящим золотой звездой.

Действующая армия
«Комсомольская правда», 1941, 17 сентября.



РАКЕТЫ И ГРАНАТЫ

Десять разведчиков под командой молодого сержанта Ляпунова крутой тропкой спускаются к речному броду. Бойцы торопятся. Темнеет, и надо успеть в последний раз на ночь перекурить в покинутом пастушьем шалаше, близ которого расположился и окопался полевой караул сторожевой заставы.

Дальше — где-то на том берегу — враг. Его надо разыскать.

Пока десять человек в лежку — голова к голове — жадно затягиваются крепким махорочным дымом, начальник разведки молодой сержант Ляпунов такого же молодого начальника караула сержанта Бурыкина предупреждает:

— Пойдем назад, так я тебе, дорогой, с того берега пропуск орать не буду. И ты по этому поводу огонь по мне открывать не вздумай. Я вышлю бойца вперед. Ты его окрикни с берега на воду тихо. Он подойдет, тогда скажет.

— Знаю,— важно отвечает Бурыкин.— Наука нехитрая.

— То-то, нехитрая! А вчера часовой так громко крикнул, что противник мог бы услышать. Что на том берегу? Тихо?

— Две ракеты вот так в направлении. Потом два выстрела,— объясняет Бурыкин.— Иногда ветер дунет — тарахтит что-то. Да! Потом самолет прилетал, разведчик. Покрутился, покружился да вон туда, сволочь, скрылся.

— Самолет — хищник неба,— солидно говорит сержант Ляпунов,— а наше дело — шарь по земле, по траве и по лесу. Ну! — сурово поворачивается он.— Как, перекурили? И какая у меня мечта — это некурящая разведка, а они без табачной соски жить не могут.

Подвесив на шею патронташи, держа над водой винтовки и гранаты, темная цепочка переходит реку.

Голубоватым огоньком мерцает над волнами яркий циферблат компаса на руке сержанта.

Выбравшись на лесную опушку, сержант отстегивает светящийся компас, прячет его в карман, и безмолвная разведка исчезает в лесной чаще. Ядро разведки движется по лесной дорожке. Два человека впереди, по два слева и справа. Через каждые десять минут без часов, без команды, по чутью разведка останавливается. Упершись прикладами в землю, опустившись на колени, затаив дыхание люди напряженно вслушиваются в ночные звуки и шорохи.

Чу! Прокричал где-то еще не́ сожранный немцами петух.

Потом что-то вдалеке загудело, звякнуло, как будто бы стукнулись буферами два пустых вагона.

А вот что-то затарахтело. Это мотор. Здесь где-то бродят мотоциклисты. Их надо разыскать во что бы то ни стало.

Из темноты возникает красноармеец Мельчаков и, запыхавшись, докладывает:

— Товарищ сержант, на пригорке, через дорогу, под ногами — провод.

Сержант идет вперед. Он ощупывает провод рукою и раздумывает: идти по проводу влево или вправо? Но оказывается, что слева провод уходит в топкое болото. Нога вязнет, и сапог с трудом выдирается из липкой грязи. Вправо то же самое.

К сержанту подходит Мельчаков, вынимает нож и предлагает:

— Разрешите, товарищ сержант, я провод перережу.

Сержант Мельчакова останавливает. Он хмурится, потом хватает провод, наматывает его на ножны штыка и с силой тянет. Провод подается. В болоте что-то чавкает. И вот на дорогу выползает тяжелый камень.

Сержант торжествует. Ага, значит, провод фальши-

вый. Так и есть, на другом конце провода привязан и заброшен в осоку кусок железной рессоры.

— «Перережу, перережу!» — передразнивает сержант Мельчакова.— «Товарищ сержант, доношу, что телефонную связь между двумя батальонами болотных лягушек уничтожил». Очень ты, Мельчаков, на все тороплив. Иди вперед. Ищи. Где-нибудь неподалеку тут есть настоящий провод.

Опять слышится впереди фырчанье мотора. Разведка движется ползком по песчаной опушке. Отсюда виден за кустарником силуэт хаты. У хаты — плетень. За плетнем — неясный шум.

Сержант шепотом приказывает:

— Приготовить гранаты. Подползти к плетню. Я с тремя иду вперед справа. Гранаты бросать точно по тому направлению, куда я дам пологий удар красной ракетой.

Приготовить гранаты — это значит: щелк — взвод, щелк — предохранитель, щелк — и капсюль на место.

И вот он, скрытый, готовый взорваться огонь, лежит возле груди, у самого сердца.

Проходит минута, другая, пять, десять. Ракеты нет. Наконец появляется сержант Ляпунов и приказывает:

— Разрядить гранаты. Дом брошен. Это бьется во дворе, у сарая, раненая лошадь. Быстро поднимайся. Берем влево. Слышите? Немцы где-то здесь, за горкой.

К сержанту подходит Мельчаков. Он мнется и правую руку, сжатую кулаком, держит как-то странно наотлет.

— Товарищ сержант,— сконфуженно говорит он,— у меня граната — не «бутылка», а «Ф-1», «лимонка». И вот — результат печальный.

— Какой результат? Что ты бормочешь?

— Она, товарищ сержант, стоит на боевом взводе.

Мгновенно, инстинктивно от Мельчакова все шарахаются.

— Химик! — отчаянным шепотом восклицает озадаченный сержант.— Так ты что... уже чеку выдернул?

— Да, товарищ командир. Я думал: сейчас будет ракета, и я ее тут же брошу.

— «Брошу, брошу»! — огрызается сержант.— Ну, теперь держи ее в кулаке и не разжимай руки хоть до рассвета.

Положение у Мельчакова незавидное. Он поторопился, и боек гранаты теперь держится только зажатой в ладони скобой. Вставить предохранитель, не зажигая огня, нельзя. Бросить гранату в лес, в болото нельзя тоже — будет сорвана вся разведка. Бойцы на ходу шепотом Мельчакова ругают:

— Ты куда, парень, к людям жмешься? Ты иди стороной или боком.

— Куда ему боком? Пусть идет дорогой, где глаже, а то о корень зацепится да как брякнет.

— Не махай рукой, не на параде. Ты ее держи, гранату, двумя руками.

В конце концов у обиженного Мельчакова забирают винтовку и его с гранатой посылают вперед, головным дозорным.

Через несколько минут ядро разведки застает его сидящим на краю дороги.

— Ты что?

— У меня тут под ногой провод,— хмуро сообщает Мельчаков.

Разведка идет по проводу. Вдруг треск моторов раздается совсем рядом. Блеснул и потух огонь. Впереди, у колхозных сараев, шум, движение. Сержант, за ним вся разведка плашмя падают на землю и ползут прочь от дороги, на которой вот-вот, вероятно неподалеку, стоит сторожевое охранение. Двести метров разведка ползет минут сорок. Потом долго лежит недвижно, прислушиваясь к шуму, треску и звукам незнакомого языка. Сержант дергает Мельчакова за пятку и показывает ему на заряженную ракетницу. Мельчаков молча и понимающе кивает головой. Сержант отползает

Опять одна, другая, долгие минуты. Вдруг красной змейкой, показывая направление, вспыхивает брошенная сержантом ракета.

Мельчаков вскакивает и что есть силы бросает свою гранату через крышу сарая.

Раздается гром, потом вой, затем оглушительный треск моторов сливается с треском немецких автоматов. Разведчики открывают огонь.

Загорается соломенная крыша сарая. Светло. Видны враги. Так и есть — это мотоциклетная рота.

Но вот в бестолковый треск автоматов ввязываются тяжелые пулеметы.

Перерезав в нескольких местах провод, разведка отходит.

Пальба сзади не прекращается. Теперь она будет продолжаться до рассвета.

Темно. Далеко на том берегу проснулся, конечно, командир роты. Он слышит этот огонь и думает сейчас о своей разведке.

А его разведчики шагают по лесу дружно и быстро. Не сердито ругают они теперь длинноногого Мельчакова. Нетерпеливо ощупывают карманы с махоркой.

И, чтобы хоть за рекой, в шалаше, он дал им вдоволь накуриться, дружно и громко хвалят они своего молодого сержанта.

Действующая армия
«Комсомольская правда», 1941, 4 октября.

Комментарии

Во 2-й том Собрания сочинений А. П. Гайдара вошли художественные произведения, созданные за период с 1932 по 1941 год; немногочисленные выступления и заметки писателя о воспитании и собственном творчестве (они впервые собраны вместе), а также очерки и статьи, присланные с фронта и опубликованные в первые месяцы Великой Отечественной войны.

«АВТОБИОГРАФИЯ». 1937

Автобиография была впервые напечатана в журнале «Детская литература» № 22 за 1937 год в разделе «Писатели о себе». В этой рубрике с рассказами о своей жизни и своем творчестве выступали С. Маршак, М. Ильин, К. Чуковский, Л. Квитко, Л. Кассиль и другие.

Перед нами краткая художественная автобиография, которая состоит из четырех лирических эпизодов. Каждый соответствует поворотному событию или периоду жизни писателя. Наиболее драматичным моментом автобиографии 1937 года стал рассказ о Якове Оксюзе. Оксюз был командиром курсантской полуроты. И когда в начале боя Оксюза тяжело ранило, командование на себя принял 15-летний Аркадий Голиков. «Оксюз Яшка — убит при мне, я его заменил. 27 авг. 1919 г. Ст. Боярка» (А. П. Гайдар. Дневник. 30 ноября 1940 г.).

Таким образом, можно считать, что 27 августа 1919 года — день рождения А. П. Гайдара как командира.

Печатается по тексту: журнал «Детская литература», 1937, № 22.

* * *

Стр. 6. «...Петлюра убежит с Днепра». Петлюра С. В. (1879—1926) — один из главарей буржуазно-националистического движения и контрреволюции на Украине в 1918—1920 гг.

Стр. 6. «...Колчака прогнали уже за Волгу» Колчак А. В. (1847—1920) — адмирал царского флота, один из руководителей контрреволюции. В 1918 году объявил себя «верховным правителем Российского государства» После разгрома белогвардейских войск в Сибири был схвачен, судим и расстрелян.

Стр. 7 А. П. Гайдар заболел осенью 1922 года: 18 ноября ему был предоставлен «шестимесячный отпуск с сохранением содержания», т к. он нуждался в «основательном лечении»

Стр. 7 А. П. Гайдар был уволен в запас с 1 ноября 1924 г.

«ВОЕННАЯ ТАЙНА»

Повесть была задумана и начата летом 1932 года на Дальнем Востоке, где А. П. Гайдар в ту пору работал разъездным корреспондентом хабаровской газеты «Тихоокеанская звезда». На Дальнем Востоке в то время ждали возможных провокаций со стороны милитаристской Японии.

«За последние дни в Хабаровске спокойнее,— отмечал Аркадий Петрович в дневнике.— Немного улеглись толки о возможности войны. А все-таки тревожно. Все чего-то ждут»

Дальневосточный дневник Гайдара (см. т IV) и черновики повести «Военная тайна» дают возможность проследить главные этапы работы писателя над произведением.

В двадцатых числах мая 1932 г А. П. Гайдар заносит в дневник: «Надо собраться и написать для М<олодой> Г<вардии> книгу...»

В июле 1932 года он сообщает из Владивостока А. Я. Трофимовой: «...Прошлый год — в это время — я писал «Дальние страны» Теперь урывками пишу другую <книгу>, назову ее, вероятно: «Такой человек». Какой это человек? И кто этот человек? Это будет видно потом»

Никаких набросков повести «Такой человек» не сохранилось.

Первого августа Аркадий Петрович занес в дневник: «...Только сегодня начинаю писать.. книгу. Она вся у меня в голове, и через месяц я ее окончу.. Это будет повесть. А назову я ее «Мальчиш-Кибальчиш».

Из черновиков видно, что повесть «Мальчиш-Кибальчиш» была задумана как продолжение «Школы» Здесь мы опять встречаем Бориса Горикова, в прошлом — бойца, разведчика и сапера, а ныне — военного инженера. У него растет шестилетний Алька. Иногда Борис встречался со своим бывшим командиром Шебаловым, который стал ответственным сотрудником Генштаба. Пионервожатая Натка приходилась Шебалову племянницей.

В «Школе» автор прослеживал, как под воздействием отца, учителя Галки и опытных солдат Чубука и Шебалова формировались характер и мировоззрение Бориса. А в новой повести Гайдар хотел показать, как уже Борис воспитывает Альку, как воспитывают детей в нашей стране.

Борис относился к Альке, как к равному. Они дружили всерьез. Никогда друг друга не обманывали. Смело признавались в своих ошибках. И Борис первым показывал тому пример. В черновике сохранился эпизод:

«—Да, пожалуй, что я неправ, Алька,— согласился Борис..

— Это ты ошибался,— свеликодушничал Алька.. — Это ничего.. Помнишь, утром я был неправ и тоже сознался.. —И уже потом он вскользь объяснил Натке: — Это у нас с ним договор такой — чтобы кто неправ, то сознавался»[1]

Взаимоотношения Бориса и Альки раскрывались на фоне жизни всесоюзного пионерского лагеря «Артек». И это не случайно. Писатель хотел показать разные формы воспитания. И здесь особая роль отводилась вожатой Натке.

В разгар работы Гайдар заболел, но потребность завершить повесть была столь велика, что, почувствовав себя немного лучше, Аркадий Петрович попросил принести ему в больницу начатую рукопись и чистые тетради.

«Дела мои двигаются,— читаем в дневнике от 10 августа,— упорно работаю... Настроение у меня очень хорошее...»

«Как я сейчас живу: весь в книге — весь около тени — Марицы Маргулис, около Альки и Натки...»

Но в процессе работы замысел меняется. 23 августа Гайдар отмечает в дневнике: «Сегодня я неожиданно, но совершенно ясно понял, что повесть моя должна называться не «Мальчиш-Кибальчиш», а «Военная тайна». Мальчиш остается мальчишем,— но упор надо делать не на него, а на «военную тайну», которая вовсе не тайна».

Работа над повестью затягивается на полтора с лишним года.

«Сегодня просматривал «Военную тайну»,— записал он в дневнике 19 мая 1934 года.— Может получиться хорошая книга».

«27 августа. Последние дни крепко работал. Наконец-то кончаю «Военную тайну».

Эта повесть моя будет за Гордую Советскую страну

---

[1] Черновики повести «Военная тайна» хранятся у Л. Л. Соломянской. Это две столистовых тетради в коленкоровых переплетах. Одна начата 13 и закончена 28 августа 1932 года. Вторая начата 31 октября того же года. Отрывок цитируется по копии черновиков, снятой с разрешения Л. Л. Соломянской.

За славных товарищей, которые в тюрьмах.
За крепкую дружбу.
За любовь к нашим детям.
И просто за любовь...
Очень, очень странно, что на днях я все-таки заканчиваю повесть»

* * *

В апреле 1933 года «Пионерская правда» напечатала «Сказку о военной тайне, Мальчише-Кибальчише и его твердом слове». В том же году «Сказка» вышла отдельной книгой в Детиздате с рисунками В. Конашевича.

В «Мурзилке» № 3 за 1934 год Гайдар опубликовал отрывок из повести «Военная тайна» — «Невидимки». В 1935 году повесть была напечатана во «взрослом» журнале «Красная новь» (№ 2) и одновременно вышла отдельной книгой в Детгизе.

Опубликованный текст повести существенно отличался от первоначального варианта. Гайдар отказался от намерения сделать «Военную тайну» продолжением «Школы» Борис Гориков стал Сергеем Ганиным, Шебалов — Шегаловым. Но главное отличие заключалось в другом. Повесть должна была показать готовность всего нашего народа — от мала до велика — противостоять врагу, единство взглядов советских людей с революционерами разных стран. И в то же время книга призвана была пробудить эту готовность. Вот почему «Военная тайна» оказалась произведением со своим особым «секретом».

Особое значение в повести обретала знаменитая гайдаровская интонация. С. Я. Маршак однажды сказал, что в ней есть «та теплота и верность тона, которые волнуют читателя сильнее всяких художественных образов».

Это была поэтическая интонация, которая позволяла передать в каждом слове и н о е и б о л ь ш е е, чем в нем непосредственно заключено. Вот почему при внешне бесхитростном сюжете эта вещь глубоко волновала, и внимательному читателю в ней открывалась «многоэтажность смысла».

Еще до выхода повести Аркадий Петрович читал ее в детских библиотеках Ростова-на-Дону, а потом оставил рукопись для обсуждения. Вскоре Гайдару переслали протокол обсуждения и письмо ребят, которые сообщали, что им «очень жалко» Альку, и просили переделать финал. Гайдар ответил широко известным теперь «письмом ростовским пионерам», где объяснял, что борьба без жертв «не бывает» (см. т. IV).

* * *

Известны три опубликованных текста «Военной тайны». Журнальный вариант («Красная Новь») лишь незначительно отличается от первого детгизовского издания 1935 года. Осенью 1935 года А. П. Гайдар перечитал повесть и сделал «для себя несколько заметок ко второму изданию» (письмо к А. Я. Трофимовой, осень 1935 г.)

Автор тщательно выправил текст и включил в издание 1936 года ряд новых эпизодов: первое обследование Владиком и Толькой крепости *(см. с. 44 наст. т.)*, сцену допроса Сергеем вора Дягилева *(с. 75)* и рассказ Сергея о том, где Алька в последний раз виделся с Марицей *(с. 103)*.

В 1958 году по книге «Военная тайна» на Ялтинской киностудии был поставлен одноименный фильм.

Печатается по тексту: А. Гайдар, «Военная тайна». М., Детиздат, 1936.

* * *

Стр. 10. «Машина ...продвигалась по Мясницкой». Мясницкой раньше в Москве называлась улица Кирова.

Стр. 23. «Ты знаешь, где в Польше Брест-Литовск?» До 1918 года Польша входила в состав России. 29 августа 1918 года Советское правительство предоставило Польше право на самоопределение. Возникло буржуазно-помещичье государство. Его правители в 1920 году, при поддержке империалистических государств, совершили нападение на Советскую Россию. О драматических событиях той поры Владик и рассказывает Тольке.

Стр. 60. «Это была песня о заводах, которые восстали» Речь идет о песне «Заводы, вставайте!» на слова поэта Ильи Френкеля, созданной в 1929 году. Музыка В. Белого.

Стр. 70. «Музыканты ударили «Марш Буденного». По всей вероятности, А. П. Гайдар имеет в виду знаменитый марш «Мы — красная кавалерия» на стихи Анатолия Д'Актиля, созданный в 1919 году Музыку к нему сочинил боец Первой Конной армии Дм Покрасс

Стр. 84. «...популярная астрономия Фламмариона» Фламмарион К. (1842—1925) — французский астроном, известный пропагандист науки. Его книга — «Астрономия» — была переведена во многих странах.

Стр. 103. «Марицу тогда Румыния в Болгарии

искала». В начале тридцатых годов, к которым относится действие повести «Военная тайна», и до конца второй мировой войны Болгария и Румыния были буржуазно-монархическими государствами.

«ГОЛУБАЯ ЧАШКА»

Рассказ впервые опубликован в журнале «Пионер», 1936, № 1. И в том же году напечатан отдельной книгой в Детгизе.

Летом 1935 года в селе Заречное под Арзамасом, куда А. П. Гайдар приехал для «встречи с детством», он задумывает произведение о семье, где живут трое: отец, Маруся и пятилетний Димка («Голубая чашка». Черновик. ЦГАЛИ, ф. 1672, оп. 1, ед. хр. 26, л. 1). В этом доме возникает тревожная ситуация, но семья не распадается, а становится только дружнее и крепче, потому что тут все любят и доверяют друг другу.

В конце октября — начале ноября, в Доме творчества «Малеевка», Гайдар возвращается к рукописи и создает второй вариант рассказа. Вместо Димки здесь появляется шестилетняя Светлана, которая совершает вместе с отцом путешествие «куда глаза глядят».

В декабре 1935 г. закончив рассказ, Гайдар едет в Ленинград, к С. Я. Маршаку, чтобы показать ему свою новую работу. По воспоминаниям Самуила Яковлевича, он искренне обрадовался приезду Гайдара. Придирчиво прочитав рукопись «Голубой чашки», Маршак за многое его похвалил. И прежде всего за то, что в рассказе для детей серьезно обсуждаются проблемы семьи и заботы взрослых.

* * *

В Государственном литературном музее в Москве хранится «амбарная книга». На первой ее странице рукою Аркадия Петровича зачеркнуто название «Хорошая жизнь» и написано новое: «Голубая чашка», Гайдар, 1935»

Это вариант рассказа, над которым Аркадий Петрович работал в Доме творчества. На последней странице рукописи имеется пометка: «6 дек. 1935 г. Малеевка». Черновик дает представление о том, как трудно подбиралось каждое единственно точное слово. Отдельные фразы имеют множество вариантов. А сопоставление черновика с опубликованным текстом позволяет увидеть, в каком направлении шла дальнейшая работа.

В окончательном варианте «Голубой чашки» появились новые лирические эпизоды, углубились психологические мотивы поступков. Автор тщательно выстраивал «второй план» и в то же время убирал те

подробности, которые мешали раскрытию главной мысли произведения.

В черновике, услышав историю Саньки, отец говорил ему: «И если бы был твой отец (белый.— *Б. К.*) генерал или кулак, а мать белогвардейская принцесса, торговка или королева, то и то не так обидно было бы, когда ты, рабочий человек, Санька, а как настоящий фашист трудящуюся девчонку обидел» (А. П. Гайдар, «Голубая чашка». Гослитмузей. КП 32790, с. 6)

Монолог с таким количеством подробностей мог отвлечь внимание читателя от серьезности обсуждаемой проблемы. И в окончательном варианте Гайдар написал: «Посмотрели мы на Саньку и подумали: «Ну, брат, плохая у тебя история. Даже слушать противно. А мы-то еще собирались за тебя заступаться».

Творческая история «Голубой чашки» интересна еще и тем, что почти все действующие лица имеют реальных прототипов. В отце Светланы, в его облике, в умении мгновенно входить в контакт с детьми, мы угадываем черты самого Гайдара. Кроме того, известно, что на Тамбовщине в 1921 году семнадцатилетний командир полка А. П. Голиков был контужен и ранен гранатой мятежников и попал в госпиталь. А «моделью» для образов Саньки и Пашки Букамашкина стали двое мальчишек, с которыми писатель познакомился во время своего пребывания в Крыму. Гайдар вспомнил о них в дневнике 30 мая 1939 года: «Выслать книгу — Ялта, Черноморский пер., № 1, кв. 7—9, Вильвовскому — Лене, Данцеву Виктору. Это ребята, которые дали мне «Голубую чашку».

* * *

Как и «Военная тайна», рассказ «Голубая чашка» произведение сложное. В нем параллельно развиваются два сюжета — внешний и «подводный». Внешний — это было в чем-то забавное, в чем-то драматичное путешествие отца с дочерью по окрестностям дачного поселка.

Второй план раскрывал историю любви отца и Маруси, рассказанную «стихами в прозе». А из бесед отца с дочерью прояснялся нравственный кодекс семьи, где всегда говорили только правду и где от Светланы не было секретов, потому что она «видела все» и участвовала в обсуждении семейных проблем наравне с родителями (см. т I, стр. 25—26).

Но глубины подтекста открывались читателю в зависимости от возраста, развития и жизненного опыта. В этом главный секрет рассказа «Голубая чашка», который не имеет себе подобных во всей мировой литературе для детей.

* * *

Рассказ «Голубая чашка» вызвал многочисленные отклики в печати (см. ж. «Детская литература», 1937, № 5, 7, 13, 19—20; «Литературная газета», 1937, № 34).

Известный исследователь литературы писатель В. Б. Шкловский отмечал: «Начиная с «Голубой чашки», у Гайдара появляется новый голос и новое литературное умение. Он как-то более лирически понял жизнь» («Новый рассказ А. Гайдара». «Детская литература», 1939, № 4, с. 37).

В короткий срок «Голубая чашка» стала «произведением для всех»: ею заслушивались малыши, ее читали школьники, ею восхищались взрослые.

В 1965 году на Центральном телевидении создан фильм «Голубая чашка».

Печатается по тексту: А. Гайдар, «Голубая чашка». М., Детиздат, 1936.

«ВОЕННАЯ ТАЙНА»

Киносценарий

По свидетельству Р. И. Фраермана, киносценарий был задуман А. П. Гайдаром летом 1937 г. в Болшеве под Москвой. Причем с самого начала было очевидно, что «сценарий... будет далек от повести».

«Разные виды искусства требуют разных приемов,— объяснял Гайдар.— Кроме того, с тех пор, как на Дальнем Востоке была задумана повесть, прошло пять лет. Тогда еще только можно было догадываться, что скоро вспыхнет война... А теперь уже вовсю идет гражданская война в Испании» (Р. Фраерман, «Радость встречи». «Пионер», 1969, № 5, с. 4).

В киносценарии «Военная тайна» писатель сохранил прежнее место действия (экспресс Москва — Севастополь и пионерлагерь на берегу Черного моря), прежних действующих лиц, но юные герои при этом чуть старше, нежели в повести. Уже отчетливее вырисовывается их внутренний облик. Они поставлены в иные обстоятельства, и потому перед ними возникают другие нравственные проблемы.

Киносценарий был произведением о готовности советских детей к борьбе с фашизмом. Владику, Натке и Альке в разных ситуациях приходится решать уже нешуточные «задачи на преодоление». *(См. т. I, с. 20—22).*

Из воспоминаний Б. Г Закса[1] известно, что для будущего фильма Гайдар поначалу написал трогательную непритязательную песенку:

И мы бы хотели в те грозные дали,
Но нас не спросили, с собою не взяли.

Однако события в Испании и в других странах показали жестокую и бесчеловечную сущность фашизма. Было очевидно, что нашей стране и нашему народу предстоит суровая борьба с коварным и сильным врагом. И в окончательном варианте сценария появляется полная сурового драматизма песня.

Другой в сценарии и финал. Но события в сценарии обрываются раньше, чем в повести. Еще не пришла телеграмма Сергею, и все еще там, за кадром, может произойти...

Фильм «Военная тайна» по сценарию А. П. Гайдара поставлен не был. За исключением нескольких начальных страниц, хранящихся в ЦГАЛИ, основной текст произведения считался утраченным. Но выяснилось, что перед уходом на фронт в 1941 году Аркадий Петрович отдал сценарий вместе с другими своими бумагами на сохранение С. Г. Розанову. А Розанов, незадолго до своей смерти, переслал их В. С. и Р. И. Фраерман.

С предисловием Р И. Фраермана сценарий «Военная тайна» впервые опубликован в журнале «Пионер», 1969, № 5 и 6.

Печатается по рукописи, начало которой хранится в ЦГАЛИ, в Москве, а весь остальной текст в отделе рукописей Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР в Ленинграде.

* * *

Стр. 141. «Быстро погрузимся — и в Испанию»...— «Дядя, дядя, как мне хочется с тобой в Испанию». В июле 1936 г. в Испании вспыхнул фашистский мятеж генерала Франко, поддержанный гитлеровской Германией и фашистской Италией. Испанский народ героически отстаивал республику. Добровольцы из Советского Союза и других стран участвовали в этой борьбе на стороне республиканцев.

---

[1] Борис Германович Закс — художник, известный журналист, друг А. П. Гайдара.

«ЧУК И ГЕК»

Рассказ «Чук и Гек» впервые опубликован в газете «Пионерская правда», 1939, 1—10 января; под названием «Телеграмма» — в журнале «Красная новь», 1939, № 2. В том же году вышел отдельной книгой в Детиздате.

В своих произведениях писатель часто размышлял вместе с героями о причинах неблагополучия в семьях. Если в «Голубой чашке» Гайдар показал счастливую семью в драматической ситуации, то в «Чуке и Геке» мы видим счастливую семью в счастливых обстоятельствах, которые лишь ненадолго омрачаются шалостями мальчишек.

Примечательно, что именно этот рассказ А. П. Гайдар заканчивает широко известными теперь словами: «Что такое счастье — это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную счастливую землю, которая зовется Советской страной».

Критик А. Ивич писал: «Пожалуй, еще ни разу не подымался Гайдар до такого высокого мастерства, как в этом рассказе. Это мастерство уже на той ступени, когда оно не ощущается» («Рассказы Гайдара». «Литературное обозрение», 1939, № 20, с. 9).

В 1953 г. на киностудии им. А. М. Горького снят фильм «Чук и Гек».

Печатается по тексту: А. Гайдар, «Чук и Гек». М., Детиздат, 1939.

«ДЫМ В ЛЕСУ»

Рассказ впервые напечатан в журнале «Пионер», 1939, № 2.

В дневнике А. П. Гайдара имеется запись от 17 мая того же года: «Дым в лесу» подписан к печати». Речь шла об издании рассказа отдельной книжкой в Детиздате в Москве.

По свидетельству бывшей заведующей городской библиотекой г. Клина К. И. Зотовой, «поводом для его написания послужил пожар на клинской фабрике «Волокнострой» (Г. Стручков, «Гайдар шагает впереди». «Коломенская правда», г. Коломна, 1967, 27 декабря).

Известны два опубликованных текста рассказа: журнальный и книжный.

В настоящем издании за основу взят журнальный текст. Из отдельного, т. е. книжного издания 1939 г. в эпизод, где летчик Федосеев дарит Володе компас (см. с. 226 этого тома), вставлен абзац:

«Я стою молча. Погибли! Погибли теперь без возврата все мальчишки нашего двора. Нет им от меня сожаления, нет пощады!»

Печатается по тексту: Аркадий Гайдар, «Дым в лесу». «Пионер», 1939, № 2.

«СУДЬБА БАРАБАНЩИКА»

Повесть впервые напечатана в Детиздате в 1939 году.

А. П. Гайдар задумал книгу летом 1936 года в Голицыне под Москвой, делился возникшим замыслом и читал на память готовые отрывки Л. Кассилю, Б. Ивантеру, М. Лоскутову, Р Фраерману Однако в ту пору Гайдар был занят повестью «Талисман» («Семен Бумбараш») и смог приступить вплотную к «Судьбе барабанщика» лишь осенью 1937 года в Солотче.

Давно задуманная книга подвигалась быстро. « Сегодня я кончаю работу,— сообщал он А. Я. Трофимовой из Солотчи,— потому что работаю каждый день регулярно» Но вскоре выяснилось, что Гайдар «Судьбой барабанщика» недоволен. «Живу тихо, глухо, одиноко,— писал он Р. И. Фраерману в январе 1938 года из деревни Головково.— Взялся за работу... Вернусь, закончив повесть к первому (февраля.— *Б. К.*) — из пяти листов оставлю, кажется, полтора-два...» Но сомнения оказались неосновательными. И уже 21 января Гайдар сообщал С. Г. Розанову: «Заканчиваю последние страницы повести... Работал крепко, кажется, выходит хорошо»

Еще в 1929 году Гайдар опубликовал повесть «На графских развалинах» (см. т. III) Главным ее героем был тринадцатилетний мальчишка по прозвищу Дергач. Во время революции и гражданской войны он потерял родителей, попал в банду воров, но в мальчике жила память о доме и мечта о честной жизни Чтобы вернуться к честной жизни, Дергач совершал подвиг

Однако если в повести «На графских развалинах» нашли свое отражение проблемы двадцатых годов, то в «Судьбе барабанщика» — проблемы второй половины тридцатых В «Автобиографии» 1937 года Гайдар сообщал: «Сейчас заканчиваю повесть «Судьба барабанщика». Эта книга не о войне, но о делах суровых и опасных не меньше, чем сама война». Писатель решил показать, что́ грозит детям, которые предоставлены сами себе, если в семье о них некому заботиться...

Несчастье с отцом и подвиг Сережи, который не дал уйти от возмездия убийцам и шпионам,— это были две крайние точки внешнего сюжета. А второй план повести раскрывал, какие глубинные причины привели сперва к «падению», а затем — к «выпрямлению барабанщика»

Повесть «Судьба барабанщика» показывает, что в первую очередь высокие нравственные устои воспитывают в ребенке честность, благородство, доброту и готовность к подвигу.

* * *

Известны два текста повести «Судьба барабанщика»: машинописная рукопись с правкой автора, хранящаяся в Библиотеке-музее А. П. Гайдара в Каневе, и текст, опубликованный в 1939 году в Детиздате.

Рукопись — это, скорее всего, предпоследний вариант повести. Он имеет ту же композицию и тех же действующих лиц, что и опубликованный в 1939 году текст, но разнится в некоторых второстепенных подробностях.

В рукописи содержится ряд психологически точных зарисовок и деталей, не вошедших в издание 1939 года, но в ней еще нет упоминания о вожатом Павле Барышеве, нет ряда сцен с дядей и других эпизодов, поэтому книжный текст 1939 года является наиболее полным и совершенным.

* * *

В марте 1938 года по договору с Одесской киностудией А. П. Гайдар приступил к сценарию фильма «Судьба барабанщика», но неожиданно возникшие трудности прервали эту работу. Год спустя писатель заключил договор уже с московской киностудией «Союздетфильм».

Постановка кинокартины не состоялась. Сценарий «Судьба барабанщика» был впервые опубликован в журнале «Искусство кино», 1955, № 4. В 1955 году по нему на киностудии им. Горького был поставлен фильм.

* * *

Повесть печатается по тексту: А. Гайдар, «Судьба барабанщика», Детиздат, 1939.

* * *

Стр. 232. «Элероны, лонжероны, вибрация, деривация». Элерон — подвижная часть крыла, отклоняемая вверх и вниз для управления полетом. Лонжерон — элемент конструкции самолета, корабля, автомашины. В автомашине два лонжерона, соединенные поперечной перекладиной, образуют раму, несущую двигатель, кузов и колеса. Вибрация — здесь: колебания корпуса

самолета в момент работы двигателя. Деривация — отклонение пули или снаряда при полете от первоначального направления.

Стр. 258. «...пионерский галстук с блестящей пряжкой». В 30-е годы пионерский галстук не завязывали, а скрепляли специальным металлическим зажимом, на котором был изображен горящий костер.

Стр. 258. «Чкалов... Молоков! Владимир Коккинаки!» Чкалов В. П. (1904—1938) — советский летчик, Герой Советского Союза. Экипаж под его командованием совершил в 1937 году беспосадочный перелет из Москвы в США через Северный полюс. Молоков В. С. (род. в 1895) — советский летчик, Герой Советского Союза, участвовал в экспедиции по спасению экипажа ледокола «Челюскин». Коккинаки В. К. (род. в 1904) — летчик-испытатель, дважды Герой Советского Союза, установил свыше 20 мировых рекордов.

Стр. 260. «...читал старую «Ниву». «Нива» — дореволюционный иллюстрированный журнал.

Стр. 260. «...то ты давно бы уже сидел в исправдоме». Исправдом — исправительный дом для правонарушителей.

Стр. 263. «Его не сломали ни тюрьма, ни казематы». Каземат — в данном случае: одиночная тюремная камера в бывшей крепости. При царе в казематах содержались особо опасные политические заключенные. Упоминая о казематах, дядя пытался создать впечатление, будто старик Яков имеет очень большие революционные заслуги.

Стр. 269. «Талант! Капабланка!» Капабланка Х. Р. (1888—1942) — кубинский шахматист, в 1921—1927 годах — чемпион мира.

Стр. 269. «Герой!.. Геркулес!» В древней Греции были созданы мифы об отважном и благородном боге и герое Геракле, который совершил множество подвигов: убил чудовищной величины льва, расправился с девятиголовой гидрой, очистил от навоза скотный двор царя Авгия... В Италии и других странах Геракла называли Геркулесом.

Стр. 273. «Юморист... Смирнов-Сокольский!» Смирнов-Сокольский Н. П. (1898—1962) — известный артист эстрады, народный артист РСФСР. Смирнов-Сокольский сочинял злободневные фельетоны, которые сам исполнял в концертах.

Стр. 273. «В цирк его!.. Гладиатором на арену!» Гладиаторы в Древнем Риме — специально обученные рабы или военнопленные, которых заставляли на потеху публике

вступать в бои между собой или в поединки с дикими зверями. Побежденный гладиатор чаще всего погибал.

Стр. 278. «Да ты про Эдисона слыхал ли?» Эдисон Т. А. (1847—1931) — выдающийся американский изобретатель. Ему принадлежит свыше тысячи изобретений и усовершенствований, в том числе — фонограф, телефон, аккумулятор, измерительные приборы. Он усовершенствовал электрическую лампочку и создал электронную, без которой сегодня было бы невозможно создать даже простейший радиоприемник.

Стр. 287. «Видишь, это красные гонят Юденича». Юденич Н. Н. (1862—1933) — генерал, глава контрреволюции на Северо-Западе России, возглавил белую армию, которая в июле 1919 года наступала на красный Петроград и потерпела поражение.

Стр. 293. «Помнишь, как у Некрасова: «Вырастешь, Саша, узнаешь...» Дядя, мнимый брат Валентины, якобы цитирует поэму Н. А. Некрасова «Саша». Но в поэме этой фразы нет.

Стр. 293. «...слева — захваченная румынами страна Бессарабия». В январе 1918 года буржуазно-помещичье правительство Румынии захватило Бессарабию, принадлежавшую Советской России. Бессарабия воссоединилась с Советским Союзом в июне 1940 года.

Стр. 298. «...громко напевая «По военной дороге...» Слова из «Конармейской» песни поэта Алексея Суркова, созданной в 1935 году. Музыка Дм. и Дан. Покрасс.

Стр. 298. «Моряк! Лаперузо!..» Лаперу́з Ж. Ф. (1741—1788?) — известный французский мореплаватель, открыл между островами Сахалин и Хоккайдо пролив, названный его именем.

Стр. 304. «Между небом и землей жаворонок вьется...» Отец и Сережа спорят о романсе «Жаворонок» на стихи поэта XIX века Нестора Кукольника. У Кукольника первые две строчки звучат так: «Между небом и землей песня раздается».

«ПРОХОЖИЙ»

Пьеса «Прохожий» была написана А. П. Гайдаром по просьбе писателя С. Г. Розанова для сборника «К бою готовы».

В дневнике А. П. Гайдара имеется запись от 13 августа 1939 года:

«За этот месяц... написал для сборника небольшую сцену в двух картинах «Прохожий». Говорят, что получилось хорошо».

Пьеса, где партизан приходит в штаб белых, чтобы дезориентировать противника, по своему сюжету примыкает к рассказам Гайдара 20-х годов, таким, как «У белых», «Левка Демченко» (случай третий) и др. (см. т. III).

В сборнике «К бою готовы» пьеса была опубликована под названием «Старуха и офицер», а под заглавием «Прохожий» — в журнале «Затейник», 1939, № 10.

Печатается по тексту: А. Гайдар, «Старуха и офицер», сб. «К бою готовы», М.— Л., Детиздат, 1939 г. Издательство сочло нужным оставить название, которое автор дал пьесе в своем дневнике, как более точное.

* * *

Стр. 324. «Здесь не лабаз...» Лабаз — лавка, торговое помещение.

Стр. 325. «...и ставит на аналой...» Аналой — высокий столик с покатым верхом, на который в церкви во время богослужения кладут иконы или книги.

Стр. 326. «Стой, баба, на подаче вторым номером!» Боевой расчет тяжелого, станкового, пулемета состоит из двух человек: один ведет стрельбу, а второй подносит и подает в пулемет ленты.

«ВАСИЛИЙ КРЮКОВ»

Под названием «Василий Кратов» рассказ впервые напечатан в сборнике «К бою готовы», М.— Л., Детиздат, 1939 г. А под заглавием «Василий Крюков»,— в «Детском календаре» на 1940 год. М., Детиздат.

По сюжету и теме «Василий Крюков» примыкает к рассказам «старого красноармейца», созданным в 1927—1928 годах и напечатанным в газете «Красный воин» (см. т. III). Героями этих произведений были бойцы, которые в трудных, порой безвыходных ситуациях проявляли находчивость, хладнокровие, смелость.

Печатается по тексту: А. Гайдар «Василий Кратов», сб. «К бою готовы», М.—Л., Детиздат, 1939 г. В настоящем Собрании сочинений сохранено уже привычное читателю название рассказа.

«МАРУСЯ»

Рассказ впервые опубликован в сборнике «К бою готовы», М.—Л., Детиздат, 1939, а затем в «Детском календаре» на 1940 год (листок от 17 мая).

Печатается по тексту календаря.

«СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ»

Рассказ написан в июне 1940 года (см. дневник от 14 июня) Произведение автобиографично. В феврале 1919 года пятнадцатилетний А. П. Гайдар служил в Москве адъютантом и начальником узла связи у командующего войсками охраны железных дорог Республики Е. О. Ефимова (см. письмо к П. И. Голикову, январь 1920 г. в т. IV)

Но, «отпросившись у командующего» на фронт, А. П. Гайдар попал сначала не в действующую армию, а на Командные курсы Красной Армии (см. там же).

Рассказ впервые напечатан в «Детском календаре» на 1941 год. М., Детиздат (листок от 2 января). Публикуется по этому тексту

«ПОХОД»

Рассказ написан в июне 1940 года (см. дневник от 14 июня)

В «Походе» А. П. Гайдар раскрывает один из секретов своего искусства общения с детьми — «включение», когда взрослый включается в затеи и даже капризы детей и руководит их поступками, не нарушая правил игры.

Печатается по тексту: А. Гайдар. «Поход», «Детский календарь» на 1941 год (листок от 8 ноября).

«СОВЕСТЬ»

Когда был написан рассказ — неизвестно.

Впервые опубликован в журнале «Мурзилка», 1946, № 8—9. Печатается по этому тексту.

«ТИМУР И ЕГО КОМАНДА»

В июле—августе 1940 года в журнале «Пионер» был опубликован сценарий фильма «Тимур и его команда».

С 5 сентября по 8 октября 1940 года в «Пионерской правде» печаталась одноименная повесть.

1 января 1941 года на экранах страны начал демонстрироваться фильм, поставленный режиссером А. Е. Разумным.

В январе 1941 г. в Детиздате вышла книга «Тимур и его команда».

Повесть о Тимуре — самое известное произведение А. П. Гайдара. В ней воплотился громадный жизненный, педагогический и литературный опыт писателя, его удивительное понимание духовных запросов и возможностей детей.

Истоки повести следует искать в детстве и юности самого Гайдара. В мальчишеские годы он дружил с двумя замечательными людьми — своим отцом, П. И. Голиковым, и преподавателем словесности в Арзамасском реальном, Н. Н. Соколовым, по прозвищу Галка. Отец показал будущему писателю пример уважительной и равноправной дружбы взрослого с детьми, а Н. Н. Соколова отличало понимание того, что любой подросток больше всего на свете мечтает участвовать в настоящем полезном деле. И Соколов умел подобрать каждому мальчишке занятие по его склонностям.

Во время гражданской войны, уже будучи командиром, Гайдар вместе с бойцами помогал убирать хлеб семьям красноармейцев, а также больным и престарелым.

Всю жизнь Гайдар дружил с детьми и много раз убеждался в их благородстве и готовности помочь в любом нужном и добром деле. Однажды он пришел в гости. Пробыл там долго и уже собрался уходить, когда узнал: на лестнице его ждут знакомые ребята. Выяснилось, что утром, когда Гайдар спустился во двор, мальчишкам показалось, что он нездоров. И они отправились за ним следом и просидели на лестнице несколько часов, чтобы проводить Аркадия Петровича домой. «Гайдар был потрясен»,— рассказывала Валентина Сергеевна Фраерман.

«Года за два до того, как вышел фильм «Тимур и его команда», Гайдар зашел как-то ко мне,— вспоминал К. Г. Паустовский.— У меня был трудно болен сын, и мы сбились с ног в поисках одного редкого лекарства. Его нигде не было. Гайдар подошел к телефону и позвонил к себе домой.

— Пришлите сейчас же ко мне,— сказал он,— всех мальчиков из нашего двора. Я жду.

Он повесил трубку. Через десять минут раздался отчаянный звонок у двери. Гайдар вышел в переднюю. На площадке за дверью

стояло человек десять мальчиков, очень взволнованных и запыхавшихся.

— Вот что,— сказал им Гайдар,— тяжело болен один мальчик. Нужно вот такое лекарство. Я вам запишу каждому его название на бумажке. Сейчас же — во все аптеки: на юг, восток, на север и запад! Из аптек звонить мне сюда. Все понятно?

— Понятно, Аркадий Петрович! — закричали мальчики и понеслись вниз по лестнице.

Вскоре начались звонки.

— Аркадий Петрович! — кричал в трубку взволнованный детский голос.— В аптеке на Маросейке нет.

— Поезжай дальше, на Разгуляй.

Гайдар сидел у телефона, как капитан на мостике корабля. Через сорок минут восторженный детский голос прокричал в трубку:

— Аркадий Петрович, есть! Я достал!..

Лекарство было привезено, и сыну вскоре стало легче.

— Ну, что,— спросил меня Гайдар, собираясь уходить,— хорошо работает моя команда?» (К. Паустовский, «Встречи с Гайдаром». Сб. «Жизнь и творчество А. П. Гайдара», М., 1964, с. 189—190).

Замысел книги возник, видимо, осенью 1939 года, когда фашистская Германия напала на Польшу. Началась вторая мировая война.

2 октября Гайдар сообщал из Дома творчества в Малеевке, что приступил к новой вещи: «Работа передо мной очень большая». Несколько дней после этого Аркадий Петрович живет «в большой тревоге». Никак не может «подойти к работе». «И только сейчас,— пишет он Д. М. Гайдар 9 октября,— в голове прояснилось, работа показалась и важною и интересною...»

Уже на самых первых страницах рукописи Аркадий Петрович разрабатывал правила новой игры-дела:

«...и опять появляется красная звездочка».

«Бабка прощается с сыном», который уходит в Красную Армию. «Вечером возникает ★ »

В новой повести — она поначалу называлась «Дункан и его команда» — главным героем стал мальчишка Вовка, но все звали его по фамилии — Дункан. Известный критик и беллетрист Кирилл Андреев, который близко знал писателя, усматривал в первоначальном названии произведения и «скрипучем штурвале», установленном на чердаке ребячьего штаба, «живую связь детской команды Тимура с романтической повестью Жюля Верна о детях капитана Гранта». («Ребята ждут нового Тимура», «Комсомольская правда», 1944, 30 июня.) Как известно, яхта «Дункан» по первому тревожному сигналу отправилась на помощь попавшему в беду капитану Гранту.

Уже в набросках новой повести Гайдар четко обозначил кон-

фликты. Ольга «убеждена, что Дункан — хулиган. И Жене строго-настрого запрещает с ним видеться» («Дункан и его команда». Черновик. ЦГАЛИ, ф. 1672, оп. 1, ед. хр. 29, л. 203)

Дядя заявлял племяннику: «Мне кажется, что ты дружишь с хулиганами».— «Нет, не то. Я — испытываю характер»,— отвечал Дункан. (там же.) А самого дядю, когда он репетировал роль и был в гриме, старуха молочница приняла «за разбойника». Очень многие, отмечал писатель, думают, что «кругом разбойники», то есть склонны думать о других только плохое.

Сложные конфликты возникали и в самой команде. Женя обнаруживала штаб. Гейка с молчаливого согласия товарищей запускал в нее тяжелый ком земли. В тот же миг от удара подоспевшего Дункана Гейка летел на землю.

Дункан: «Пятеро на одну девчонку?»

Гейка: «Я, кто меня тронет, тому спуску не дам... У меня отец командир конной разведки. Вот кто!..»

Дункан: «А у меня отца нету. Вот что! И за его спину я не прячусь... Меня хоть привяжите к дереву — а другого слова от меня не услышите».

Гейка (презрительно): «Ой, и долго бы ты устоял под деревом?»

«Долго. Сколько — скажу сам».

Слово за слово — и Дункан требует, чтобы его привязали к дереву... на четыре часа («Дункан и его команда». ЦГАЛИ, ф. 1672, оп. 1, ед. хр. 27, л. 89—91).

Дальнейшие события развиваются стремительно и сложно. Но и приведенный отрывок дает основания для размышлений. Видимо, Гейка поначалу был задуман, как полная противоположность Дункану. Гейка не считал зазорным обидеть девчонку. Уличенный в отсутствии благородства, спешил прикрыться авторитетом отца. Высмеянный за это Дунканом, злорадно ловил его на слове.

А Дункан олицетворял благородство и рыцарство. Дункан соглашается на суровое испытание, демонстрируя силу воли и верность своим убеждениям.

По всей вероятности, автор предполагал дать в повести не только правила «игры-дела», но и детально разработанный кодекс «современного рыцарства».

Неожиданно писатель получил предложение: не откладывая, сделать сценарий фильма «Дункан и его команда». Гайдар, естественно, понимал, что лучше бы сначала закончить повесть. Но он видел и другое: «Тревожно на земле, и добро́м дело, видать, не кончится» (Дневник. 29 июня 1939 г.). Дорог был каждый день. А фильм за короткий срок могли увидеть миллионы зрителей.

Когда сценарий был готов, от автора на студии потребовали множество переделок. Прежде всего́ — дать другое имя главному герою. Гайдар назвал капитана ребячьей команды Тимуром Гараевым. И это как раз вышло удачно. А затем начались обсуждения сценария. Студия требовала что-то убрать, сгладить, упростить...

Отказаться от работы над фильмом Гайдар уже не мог: он понимал значение будущей картины. Но и мириться с так называемой «спецификой кино» он тоже не желал. И писатель принял решение: пусть режиссер А. Е. Разумный начинает на Волге съемки, но до того, как выйдет фильм, будет закончена и опубликована повесть — с прежним названием и теми подробностями, без которых Гайдар эту вещь уже не представлял.

14 июня 1940. «Было немало. Сижу в Клину... Сегодня начал «Дункан», повесть». Фильм по сюжету не должен был отличаться от книги. Ведь главное и в повести, и в киноленте — программа того, что́ делать детям, когда начнется война.

29 июля 1940. «Пишу «Тимур и его команда», работа идет неровно, рывками... Разумный снимает картину на Волге».

27 августа. «Сегодня закончил повесть о Тимуре — больше половины работы сделал в Москве за последние две недели».

5 сентября «Пионерская правда» начала печатать повесть. Произведение имело небывалый успех. «Каждый свежий номер «Пионерской правды» ...ожидался с большим нетерпением,— писала пионервожатая А. Соколова.— Газету брали нарасхват... В пионерской комнате, в коридорах ребята много говорили о Тимуре, строили предположения — о чем будет рассказано в следующем номере» («Комсомольская правда», 1940, 28 декабря) Мальчишки со станции Косино, не имея силы ждать, пока в газете — через два дня — появится очередное продолжение, приехали в Москву «Комсомольская правда» поместила о повести и фильме три статьи (10 сентября, 18 и 28 декабря), «Правда» — две (27 октября и 30 декабря) В отзывах читателей обеих газет «о лучших произведениях года» наряду с «Тихим Доном» М. Шолохова и поэмой «Маяковский начинается» Н. Асеева была названа повесть о Тимуре.

Но главное, что отмечали все критики: «Ребята уже играют в Тимура» (Е. Журбина, «Деятельная романтика». «Известия», 1940, 27 октября). «Миллионы мальчишек начинают подражать Тимуру, миллионы девочек — Жене.. В Тимура играют так, как... недавно играли в чапаевцев и папанинцев» (С. Гарбузов, «Тимур и его команда». «Правда», 1940, 27 октября)

А. Гайдар в это время записывал в дневнике: «7 декабря. Смотрел «Тимура»... Засорен диалог. Надо впредь работать лучше».

* * *

Известны три опубликованных текста «Тимура»: литературный сценарий фильма («Пионер»), газетная редакция повести («Пионерская правда») и окончательный, книжный, текст. Литературный сценарий имеет заметные отличия не только по сравнению с повестью, но и по сравнению с фильмом. Так, в сценарии сестры сперва приезжали на дачу, а потом уже Ольга отсылала Женю в город — прибрать квартиру. По дороге на станцию Женя попадала на дачу к Тимуру. В литературном сценарии не было еще эпизода, когда Женя, попав на чердак сарая, обнаруживала штурвал и начинала играть в капитана. Менее глубоко были разработаны конфликты Ольга — Тимур и Тимур — дядя.

А газетный и книжный тексты уже не имели отличий в эпизодах, но при подготовке отдельного издания автор произвел основательную стилистическую правку.

Сравнение черновых и опубликованных вариантов дает представление о громадной работе, проделанной А. П. Гайдаром в процессе создания повести и фильма «Тимур и его команда», которые положили начало тимуровскому движению у нас и за рубежом. Это движение существует уже четыре десятилетия.

В 1976 году Одесская киностудия по заказу Гостелерадио выпустила двухсерийный телевизионный фильм «Тимур и его команда».

Печатается по тексту: А. Гайдар, «Тимур и его команда». Детиздат, 1941. (Первое издание повести было подписано к печати 19.XII.1940.)

* * *

Стр. 348. «Оля, а кто такой Тимур?» — «Это один царь такой». Тимур, Тимур-ленг, то есть «Тимур-хромец»,— разные имена Тамерлана (1366—1405), среднеазиатского полководца и государственного деятеля, совершавшего походы-завоевания в Туркестан, Персию, Индию и Сирию...

Стр. 369. «...картины «страшного суда». По религиозным верованиям, каждого человека после смерти ждал суд, где грешники приговаривались к разного рода мукам. Вот почему в картинах «страшного суда», над которыми иронизирует писатель, непременно изображались котлы с кипящей смолой, а так же «исполнители приговоров» — черти.

Стр. 385. «...победы красных под Хасаном». В районе озера Хасан в июле — августе 1938 года японские империалисты пытались силой захватить часть советской территории. Попытка закончилась поражением японской армии.

«КОМЕНДАНТ СНЕЖНОЙ КРЕПОСТИ»

Киноповесть была завершена в конце декабря 1940 г. и впервые опубликована в журнале «Пионер», 1941, № 1.

Повесть «Тимур и его команда» начала печататься в «Пионерской правде» 5 сентября 1940 года, а уже 8 сентября А. П. Гайдар сообщал из Старой Рузы: «...Третий день сижу и работаю... На этот раз я работаю несколько иначе, чем всегда. Я сижу, обдумываю заранее сюжет, положения, события. Все еще пока туманно, но за этим туманом уже слышны и звон, и крик, и неясная музыка... На этот раз будет труднее, потому что задумал я вещь с о в с е м н о в у ю...»

Замысел киноповести «Комендант снежной крепости» был подсказан событиями той поры. В марте 1940 года закончилась Советско-финляндская война.

Анализ событий подсказал А. П. Гайдару, что в новой киноповести правила игры «в команду» нужно усложнить. Защищая или штурмуя снежную крепость, ребята должны были закаляться духом и телом, учиться воевать.

Капитан Максимов говорил своему сыну, генералу мальчишеской армии: «Вы штурмуете крепость без плана, без подготовки... и, конечно, противник бьет вас самой новейшей техникой... я высоко ценю ваше личное мужество... но одного этого в современной войне для победы — увы! — никак не достаточно...»

В новом произведении писатель возвращался к проблемам семьи. Аркадий Петрович развивал свои мысли, высказанные в «Голубой чашке», что за «хорошую жизнь» в семье должны бороться не только взрослые, но и дети.

За постановку фильма «Комендант снежной крепости» взялся режиссер Л. В. Кулешов. Работу над картиной прервала война.

В 1945 г. киноповесть вышла отдельной книгой в Детгизе.

Печатается по тексту: А. Гайдар, «Комендант снежной крепости», «Пионер», 1941, № 1.

«ПАТРОНЫ»

Рассказ впервые напечатан в ленинградской газете «Ленинские искры» 1 и 8 февраля 1925 года. Подпись: «Арк. Голиков».

«Патроны» — первый опубликованный рассказ А. П. Гайдара и его первое произведение для детей.

Печатается по тексту: А. Гайдар, «Патроны». «Пионерская правда», 1941, 27 мая.

«КЛЯТВА ТИМУРА»

Киносценарий «Клятва Тимура» впервые опубликован в газете «Пионерская правда» 19 июля — 5 августа 1941 года.

Замысел произведения возник весной 1941 года.

Озабоченность дальнейшей судьбой тимуровского движения и породила замысел «Клятвы Тимура». После выхода «Тимура» — книги и фильма — в стране возникли тысячи команд. Но все увлекательное со временем становится привычным и скучным. И писатель считал нужным объяснить: игра, которую он предложил, не только игра, но и дело, которое не должно зависеть от настроения.

По воспоминаниям Л. В. Кулешова и его жены — киноактрисы и педагога А. С. Хохловой, в первый же день войны, 22 июня 1941 года, поступило указание Комитета по делам кинематографии «создать условия» А. П. Гайдару и Л. В. Кулешову и немедленно поручить им делать «вторую серию «Тимура и его команды» с учетом нынешних обстоятельств». Сценарий следовало представить «через пятнадцать дней» (Л. Кулешов, А. Хохлова «50 лет в кино». М., «Искусство», 1975, с. 181).

23 июня Гайдар и Кулешовы переехали в Болшево под Москвой, в Дом творчества кинематографистов, и приступили к работе. До полудня Аркадий Петрович писал в своей комнате. После обеда Лев Владимирович брал у него утренние страницы и сразу делал по ним режиссерский план.

В Болшеве была завершена вторая часть киноповести «Клятва Тимура», которая рассказывала о возрождении команды.

Киносценарий «Клятва Тимура» был создан за десять дней. И сразу принят к постановке и к печати.

21 июля А. П. Гайдар уехал на фронт. Фильм «Клятва Тимура» самоотверженными усилиями коллектива во главе с Л. В. Кулешовым был снят в самые короткие сроки, но на экраны не вышел. Лента хранится в Центральном Государственном архиве кинофотофонодокументов СССР. Отрывки из кинокартины вошли в документальный фильм «Партизанской тропой Гайдара», снятый в 1973 году в творческом объединении «Экран».

Киноповесть печатается по тексту: А. Гайдар, «Клятва Тимура». М., Детиздат, 1941.

«ГОРЯЧИЙ КАМЕНЬ»

Впервые опубликован в журнале «Мурзилка», 1941, № 8—9.

Время написания сказки и обстоятельства, при которых она была создана, неизвестны.

Печатается по тексту журнала «Мурзилка».

ГАЗЕТНЫЕ ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ

«ТАЛИСМАН»

1 февраля 1939 года А. П. Гайдар в числе 172 писателей «за выдающиеся успехи... в развитии советской художественной литературы» был награжден орденом «Знак Почета». Заметка является откликом на это событие. Гайдар в ту пору работал над повестью «Талисман» («Семен Бумбараш»).

Заметка была напечатана в «Литературной газете», 1939, 5 февраля. Печатается по тексту газеты.

«ТИМУР ГОТОВИТСЯ К ВОЙНЕ»

В конце декабря 1940 года «Правда» провела анкету «Наши творческие планы на 1941 год». Заметка А. П. Гайдара является ответом на нее.

Заметка «Тимур готовится к войне» была опубликована в «Правде», 1940, 31 декабря. Печатается по тексту газеты.

«ВОСПИТАНИЕ МУЖЕСТВА»

В январе 1941 года в ЦК ВЛКСМ состоялось совещание по проблемам трудового и военного воспитания, на котором выступил и А. П. Гайдар.

«Он не произносил речь,— вспоминал один из участников совещания, В. Г. Компаниец.— Он делился своими мыслями, размышлял вслух о том, насколько сложна сейчас обстановка в мире и велика наша ответственность перед детьми» («Слушая Аркадия Гайдара». «Детская литература», 1979, № 2, с. 35).

В этом выступлении писатель дал наиболее полное изложение своих педагогических и художественных принципов. «Воспитание му-

жества», по сути, явилось подведением итогов работы А. П. Гайдара в литературе за полтора десятилетия.

Стенограмма совещания не сохранилась.

Печатается по тексту: А. Гайдар, «Воспитание мужества». «Детская литература», 1941, № 2.

ФРОНТОВЫЕ ОЧЕРКИ, КОРРЕСПОНДЕНЦИИ. ОБРАЩЕНИЯ К ЧИТАТЕЛЯМ

23 июня 1941 года, на второй день Великой Отечественной войны, А. П. Гайдар подал заявление с просьбой направить его, как бывшего командира полка, в действующую армию. Но по состоянию здоровья писатель мобилизации не подлежал. И 21 июля 1941 года Гайдар уехал на Юго-Западный фронт военным корреспондентом «Комсомольской правды».

Гайдар прибыл в Киев, где весной 1919 года курсантом начинал свой боевой путь. Всем, кто встречался с Гайдаром на Юго-Западном фронте, было очевидно, что Аркадий Петрович приехал в действующую армию прежде всего воевать, но за короткий отрезок времени, с конца июля по 18 сентября 1941 г., когда Аркадий Петрович оказался в окружении, он написал для разных изданий пять очерков и три обращения к своим читателям.

«У ПЕРЕПРАВЫ»

Очерк был напечатан 8 августа 1941 года в газете «Комсомольская правда» на специальной полосе, посвященной «героическим комсомольцам орденоносного 306 полка», которые показывали «пример мужества... и презрения к смерти».

По воспоминаниям героя очерка — И. Н. Прудникова — Гайдар участвовал в бою за деревню А.— Андреевичи — и в других боевых операциях.

Очерк был перепечатан в сборнике «Ракеты и гранаты», М., «Советский писатель», 1942.

Печатается по тексту: А. Гайдар, «У переправы». «Комсомольская правда», 1941, 8 августа.

«Ребята!»

(Обращение к тимуровцам Киева и всей Украины)

5 августа 1941 года в Киеве, в кинотеатре «Смена» А. П. Гайдар встретился с тимуровцами Центральной команды города. Она была создана талантливым педагогом и известным в Киеве комсомольским работником М. Т. Боярской. Штаб при кинотеатре «Смена» руководил деятельностью многих тысяч ребят.

Тимур команды — Норик Гарцуненко — в этот день записал в дневнике: «Большая радость. Вся команда взволнована. На линейку пришел писатель Аркадий Гайдар — автор «Тимура и его команды». Он только что вернулся с фронта» («Странички из дневника», газ. «Советская Украина», 1941, 9 августа).

Однако многие тимуровцы в это утро были на заданиях, не могли прийти в штаб. Норик Гарцуненко попросил Гайдара написать им несколько слов. Аркадий Петрович обещал. 9 августа 1941 г. в прифронтовой газете «Советская Украина» целая страница вышла под заголовком: «Тысячи тимуровцев помогают своей стране одержать победу над подлым и хищным врагом!» На этой странице было помещено обращение Гайдара «Ребята!».

Обращение перепечатано в книге: Б. Камов, «Партизанской тропой Гайдара». М., «Детская литература», 1965.

Печатается по тексту газеты «Советская Украина», 1941, 9 августа.

«МОСТ»

Очерк был написан после поездки А. П. Гайдара на могилу Т. Г. Шевченко в город Канев.

«Прямой и узкий, как лезвие штыка... железный мост» через Днепр соединял Канев с селом Леплява, куда Аркадий Петрович вновь попал через полтора месяца, выходя из окружения...

По рассказам шофера Гайдара, А. К. Ольховича, на обратном пути, когда они возвращались из Канева, движение на мосту застопорилось. Аркадий Петрович выскочил из кабины и навел порядок на переправе.

Неуязвимый для вражеской авиации, мост был взорван при отступлении нашими саперами. Его бетонные опоры и часть ферм и сейчас можно видеть с берега Днепра в окрестностях Леплявы и Канева.

Очерк был перепечатан в сборнике «Ракеты и гранаты». М., «Советский писатель», 1942.

Печатается по тексту газеты «Комсомольская правда», 1941, 20 августа.

«ВОЙНА И ДЕТИ»

По свидетельству боевых товарищей, у А. П. Гайдара на фронте и в партизанском отряде было много встреч с детьми. Полковник А. Д. Орлов, с которым писатель выходил из окружения, вспоминал: «Невозможно подсчитать, сколько их было, «адъютантов» Гайдара, за время нашего с ним пути. Стоило наведаться в какое-нибудь село, как возле Аркадия Петровича (других в его присутствии мальчишки не признавали) вырастал, словно гриб после дождя, какой-нибудь Сашко или Гришко, который с готовностью сообщал, что за обстановка в деревне и много ли там немцев, точно сидел и ждал, когда мы, наконец, появимся. Я не переставал удивляться этому дару Аркадия Петровича мгновенно завоевывать доверие ребят... Никаких добреньких слов он им при этом не говорил. Но тянулись к нему гурьбой».

Очерк «Война и дети» отразил несколько таких встреч в первые недели войны. Был опубликован в один и тот же день — 21 августа — в «Комсомольской правде» и «Пионерской правде».

Был перепечатан в сборнике «Ракеты и гранаты», М., «Советский писатель», 1942.

Печатается по тексту газеты «Комсомольская правда», 1941, 21 августа.

«БЕРИСЬ ЗА ОРУЖИЕ, КОМСОМОЛЬСКОЕ ПЛЕМЯ!»

В начале августа 1941 года А. П. Гайдар был на короткий срок отозван с фронта в Москву. Здесь он написал обращение «Берись за оружие, комсомольское племя!», выступил с ним по радио, а текст, по просьбе редактора Детгиза Б. И. Камира, оставил в издательстве для книги «Советским детям», которая готовилась к печати в то время. Сборник вышел в Москве в Детгизе в конце 1941 года, уже после гибели писателя.

Обращение печатается по тексту сборника.

«В ДОБРЫЙ ПУТЬ!»

Это обращение к школьникам перед началом учебного года было написано А. П. Гайдаром во время недолгого пребывания в Москве в августе 1941 г. Пленка с выступлением писателя прозвучала по радио 30 августа. В тот же день обращение было напечатано в «Пионерской правде».

Пленка с речью А. П. Гайдара «В добрый путь» долгое время считалась утраченной. Но в начале 60-х годов она была найдена.

Усилиями большого коллектива специалистов Государственного дома радиовещания и звукозаписи в Москве (оператор-реставратор В. Таболин) и Всесоюзной фирмы грамзаписи (оператор-реставратор Е. Осауленко) запись голоса А. П. Гайдара была восстановлена. В 1964 году обращение «В добрый путь!» вновь прозвучало по радио, а в 1966 году фирма «Мелодия» выпустила две пластинки «Говорят писатели» (составитель И. Андроников). Голос Гайдара запечатлен на второй из них.

Публикуется по тексту газеты «Пионерская правда», 1941, 30 августа.

«У ПЕРЕДНЕГО КРАЯ»

Очерк написан после возвращения А. П. Гайдара из Москвы в прифронтовой Киев в августе 1941 г. Впервые Аркадий Петрович кратко рассказывает здесь о своем военном быте: как он добирается до передовой, почему не пользуется машинами, какую ему приходится проявлять сноровку, если начинается артобстрел.

Но очерк примечателен и другим: в первые месяцы жестокой борьбы с гитлеровской армией, когда советским войскам приходилось вести бои в исключительно трудных условиях, Гайдар писал о войне, как о деле суровом, но для наших бойцов уже привычном. Он подмечал и смешные ситуации, вроде истории с красноармейцем Коноплевым, у которого взрывом унесло подвешенный сушиться сапог. Вот почему статьи Гайдара на фронте любили и перечитывали по многу раз.

Очерк «У переднего края» был опубликован в «Комсомольской правде», 1941, 17 сентября.

Перепечатан в сборнике «Ракеты и гранаты». М., «Советский писатель», 1942.

Печатается по тексту газеты.

«РАКЕТЫ И ГРАНАТЫ»

Фронтовой кинооператор, дважды лауреат Государственной премии СССР А. Н. Козаков рассказывал: однажды они с А. П. Гайдаром приехали в штаб на реке Ирпень. И писатель ночью ушел с разведчиками в немецкий тыл. Проводниками у них стали двое детей — Саша и Марина, у которых на немецком берегу был родной дом.

Об этом ночном рейде и написан очерк «Ракеты и гранаты». Но рассказать о детях, которые помогли бойцам глубоко проникнуть в расположение противника, а потом остались дома и каждый день сообщали разведчикам важные сведения, Аркадий Петрович не мог

18 сентября 1941 года наши войска оставили Киев. А. П. Гайдар шел с отступающей армией и 4 октября вступил в партизанский отряд под селом Леплява близ Канева. В тот же день, 4 октября, очерк «Ракеты и гранаты» появился в «Комсомольской правде». Видимо, перед уходом из Киева писатель отправил его на Большую землю с оказией или с последней почтой.

Боевые товарищи Гайдара вспоминали, что в окружении и в партизанском отряде Аркадий Петрович читал им очерки о подвигах летчиков в небе Киева, о жестокостях оккупантов и даже юмористический рассказ о том, как он, Гайдар, чуть не потонул в болотистой речке Трубеж. Кроме того, Аркадий Петрович вел дневник.

18 октября 1941 года полковник А. Д. Орлов уходил с сильным отрядом из партизанского лагеря под Леплявой к линии фронта. Гайдар попросил его взять с собой небольшой пакет с рукописями. Но полковнику предстоял длинный путь по занятой врагом территории, и взять пакет он не смог.

«Ракеты и гранаты» — последний очерк А. П. Гайдара, который достиг Москвы.

Очерк был перепечатан в сборнике «Ракеты и гранаты» М., «Советский писатель», 1942.

Печатается по тексту: А. Гайдар, «Ракеты и гранаты» «Комсомольская правда», 1941, 4 октября.

СОДЕРЖАНИЕ

АВТОБИОГРАФИЯ. 1937 г. 5
ВОЕННАЯ ТАЙНА. *Повесть* 9
ГОЛУБАЯ ЧАШКА 109
ВОЕННАЯ ТАЙНА. *Киносценарий* 133
ЧУК И ГЕК 180
ДЫМ В ЛЕСУ 206
СУДЬБА БАРАБАНЩИКА 227
ПРОХОЖИЙ. *Пьеса* 318
ВАСИЛИЙ КРЮКОВ 329
МАРУСЯ 331
СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ 333
ПОХОД 335
СОВЕСТЬ 337
ТИМУР И ЕГО КОМАНДА 339
КОМЕНДАНТ СНЕЖНОЙ КРЕПОСТИ. *Киноповесть* 403
ПАТРОНЫ 447
КЛЯТВА ТИМУРА. *Киносценарий* 453
ГОРЯЧИЙ КАМЕНЬ 487

ГАЗЕТНЫЕ ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ.

Талисман 492
Тимур готовится к войне . . . . . —
Воспитание мужества 493

ФРОНТОВЫЕ ОЧЕРКИ, КОРРЕСПОНДЕНЦИИ. ОБРАЩЕНИЯ К ЧИТАТЕЛЯМ.

У переправы 496
Ребята! *(Обращение к тимуровцам Киева и всей Украины)* 500
Мост 502
Война и дети 508
Берись за оружие, комсомольское племя! 513
В добрый путь! 516
У переднего края 518
Ракеты и гранаты 522

Комментарии 527

Аркадий Петрович Гайдар

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

Том 2

ПОВЕСТИ. РАССКАЗЫ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ДЛЯ ТЕАТРА И КИНО.
ПУБЛИЦИСТИКА.

ИБ № 3463

Ответственный редактор
Н. С. АБРАМОВА

Художественный редактор
Л. Д. БИРЮКОВ

Технический редактор
Н. Г. МОХОВА

Корректоры
Л. А. ЛАЗАРЕВА и З. С. УЛЬЯНОВА

Сдано в набор 11.04.80. Подписано к печати 17.10.80. Формат 84×108 1/32. Бум. типогр. № 1 Шрифт литературный. Печать высокая. Усл. печ. л. 29,5. Уч.-изд. л. 29,39+1 вкл.=29,44. Тираж 300 000 (150 001—300 000) экз. Заказ № 1433. Цена 1 р. 40 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сущевский вал, 49.

На фронтисписе: А. П. Гайдар, 1939 г.

Гайдар А. П.

Г14 Собрание сочинений в четырех томах/ Рис. А. Веркау.— М.: Дет. лит., 1980.— Т. 2. Автобиография. Повести. Рассказы. Киносценарии. Пьеса. Публицистика.— 558 с., 1 л. ил.

В пер.: 1 р. 40 к.

В том входят: Автобиография (1937). Повести. Рассказы. Произведения для театра и кино. Газетные заметки, выступления. Фронтовые очерки, корреспонденции, обращения к читателям.

Г $\frac{\text{70803—518}}{\text{М101(03)80}}$ Подп. изд. Р2



АРКАДИЙ ГАЙДАР